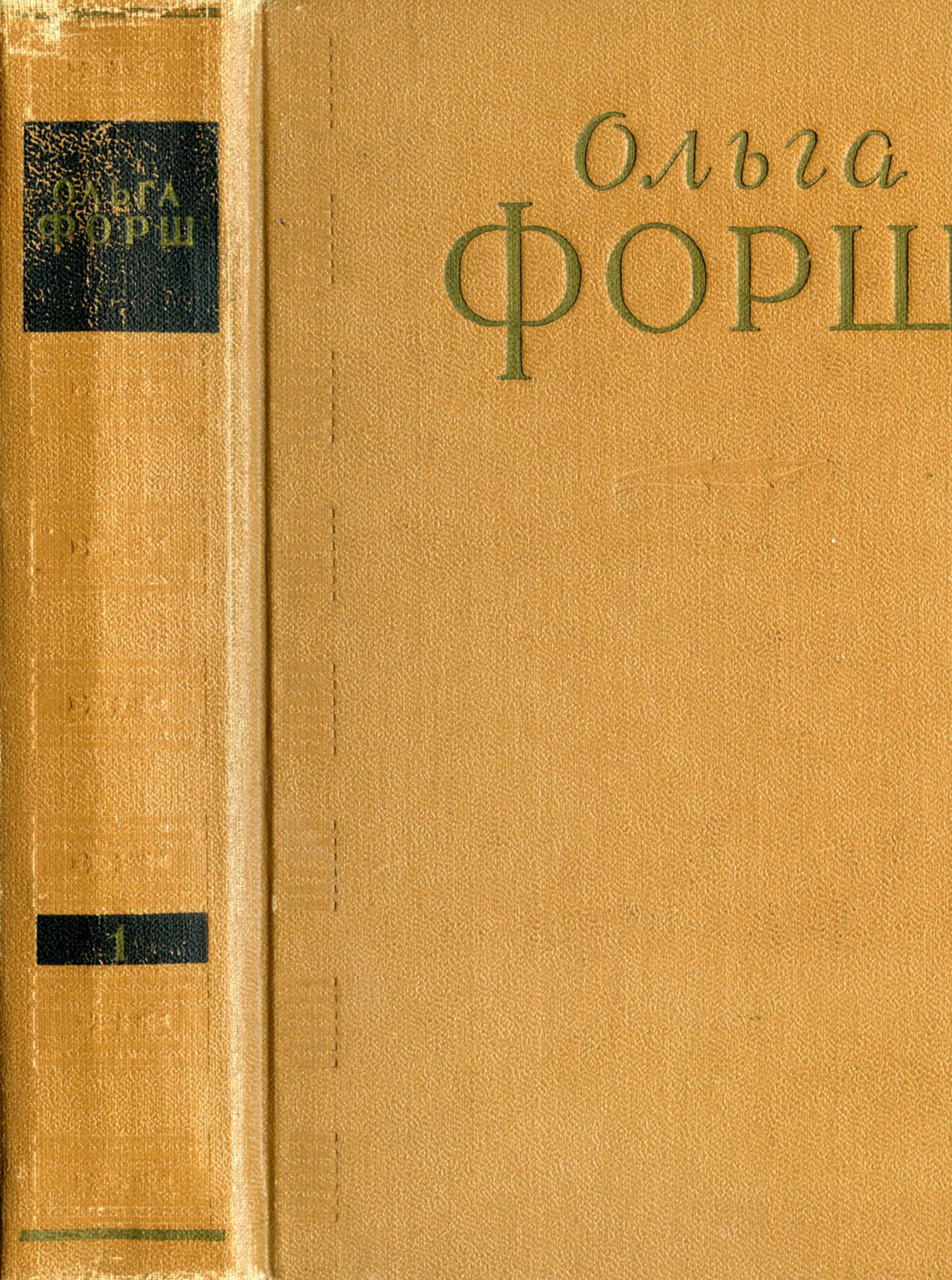

ОЛЬГА
ФОРШ
1
Ольга
ФОРШ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Ольга ФОРШ

СОЧИНЕНИЯ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Государственное издательство
Художественной литературы
МОСКВА
1956

Ольга Форш

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ

I

РОМАНЫ

Государственное издательство
Художественной литературы
МОСКВА
1956

*Издание осуществляется
под наблюдением
П. А. СИДОРОВА*

*Портрет работы
А. В. МОЖАЕВА*


55 г.

ГЛУБОКИЙ МАСТЕР

В яркий, зимний, солнечный день, когда Москва тонула в голубом холодном блеске, когда декабрьское солнце заставляло особенно жарко светиться малые и большие купола кремлевских храмов и шпили дворцов, литераторы, приехавшие со всех концов советской земли, шли в большом возбуждении в Кремль, совсем не на обычный осмотр исторических памятников и не как гости. Они шли на открытие Второго всесоюзного писательского съезда, и их волнение, и возбужденные голоса, и радостные восклицания при встрече со старыми друзьями были вполне оправданы.

Они проходили в древние ворота, над которыми на весь мир часы отзванивали время, по гулким внутренним переходам и видели с высоты Кремля весь огромный город, раскинувшийся до сверкающего морозного горизонта, все бесчисленные строения Москвы, погруженные в легкий морозный туман. Казалось, что этот простор дышит и голубой пар от его дыхания остается в воздухе, подобно этому легкому, дрожащему, как в зной, туману.

Делегаты проходили по широкой лестнице, над которой на огромной картине рубились воины Дмитрия Донского с полчищами Мамая, делегаты толпились в белом Георгиевском зале и рассаживались в историческом зале Большого кремлевского дворца, где происходило столько исторических собраний. И теперь здесь собирались писатели, представители многонациональной литературы нашей великой страны. Отсюда ясно ощущалось, как вся страна, да и за пределами страны будут слушать, что скажут с этой высокой трибуны, кто выйдет и начнет первый.

Все ждали с нетерпением начала этого необычного съезда, собравшегося через двадцать лет после первого, который открывал Максим Горький. Ждали с затаенным волнением в зале не только

русские, советские, из всех республик писатели — ждали наши гости из многих стран, и особенно писатели народов, которые были провозвестниками нового в древней Азии, — посланцы Китайской народной республики, Индии, Кореи, Вьетнама.

В правительственных ложах появились члены правительства. Долго не смолкали горячие аплодисменты, встретившие их. Потом все успокоилось, и появились на заднем плане большого пустого пространства президиума двое людей. Они медленно, не торопясь, почти торжественно приближались к столу президиума. Все узнали их и приветствовали от всего сердца. Константин Александрович Федин, как бы представляя собравшимся, подвел к столу Ольгу Дмитриевну Форш. Когда Федин занял свое место возле нее, она встала и начала речь, которую она никогда до этого не думала произносить, так как она никогда не думала, что будет открывать Второй всесоюзный съезд писателей.

И, однако, она его открыла. Это было очень хорошо и очень естественно. Перед собравшимися стояла всем известная советская писательница. Старейшины поручили ей вступительную речь.

Уверенным, звонким, молодым голосом говорила она простые и большие слова о двадцатилетнем промежутке между съездами, о советском народе, о Максиме Горьком, о вкладе советских писателей в народную жизнь.

Она говорила о силе нашей литературы, живущей «интересами народа, государственными задачами строительства коммунизма».

Она говорила о многонациональности советской литературы, о том, что «вместе с нами — вся прогрессивная литература мира...»

Ее лицо было освещено внутренним огнем, глаза блестели, гордость за то, что ей поручили от имени всех первой сказать слово на таком знаменательном собрании, как бы сливалась с тем чувством высокой писательской ответственности, которое всегда жило в ней, и жаром этого чувства горели ее щеки. Она как бы являлась примером той настоящей значительности, почти суровости писателя, прожившего большую творческую жизнь, служившего родной литературе с беззаветной преданностью. Ее доброе напутственное слово звучало с такой глубокой искренностью, что все, кто видел ее в эти минуты, не мог не почувствовать к ней благодарности, не мог не найти в себе волнения, потому что это волнение сливалось с волнением всех, находившихся в этом зале. Это было сложное чувство писателя, стоящего со своими трудами, своими замыслами, своими ошибками перед народом, перед партией, перед всем миром. И обо всем этом говорила ставшая моложе своих лет старейшая писательница нашей страны.

Старейшины сделали правильный выбор. Ольга Дмитриевна Форш прошла с достоинством тот длинный путь, который начался в сумерках дореволюционной России и привел ее в этот сверкающий зал, откуда видно на все стороны света.

Она была в первых рядах зачинателей советской литературы. Она написала первый исторический роман «Одеты камнем». Он стал известен миллионам. Она написала сценарии «Дворец и крепость», «Пугачев». Трилогия о великом просветителе-революционере Радищеве нашла свое продолжение в романе «Михайловский замок» и «Первенцы свободы». Вы можете прийти на места, где разыгрывались те события, которые описаны в этих больших, великолепных произведениях. Об исторических романах Форш с похвалой отзывался Максим Горький. Роман «Современники» поставил он в ряд значительных книг, совершенно неожиданных.

На берегу широкой Невы стоит, выдвинувшись своими серыми гранитами, Петропавловская крепость, и напротив нее дворец, обиталище самодержцев-тиранов, крепость со своими глухими казематами и дворец со своими сотнями комнат и зал, где ныне живут мирные произведения великих мастеров всех эпох.

И площадь, называемая площадью Декабристов, раскинется перед любопытным взглядом, хотя она и сужена ныне садом Трудящихся, и красная громада Михайловского замка доступна любителю старины, несколько таинственно подымаясь среди зелени Летнего сада, если идти к ней от Невы через сад, переполненный статуями муз и богов с богинями.

А если вы окажетесь в Пушкине, бывшем Царском Селе, в Павловске и Гатчине, то не все тут будет в таком виде, как его видели герои прошлых столетий. Истребительная рука нашествия, злая воля захватчиков в годы осады Ленинграда многое смела начисто. Мерзость запустения, какую нашли здесь наши войска, освободившие эти священные по воспоминаниям русские места, правда, сейчас исчезла. И кое-что встало как бы в первоначальном виде, но многое исчезло безвозвратно. Погибли и произведения знаменитейших мастеров и русских крепостных художников, погибли неповторимые залы Большого дворца в Пушкине, Павловского и Гатчинского. И парки поредели, и, в общем, многое изменилось.

Но почему я говорю об этом? Об истории можно писать поразному. Особенно о той истории, которая исчезает даже в своих архитектурных выражениях навсегда. Остаются только воспоминания, и они зависят от таланта автора. Маленькие городки с большими дворцами, петербургские места — это не простые места. Здесь отложились великие исторические события. И вот о тех давних

временах, о тех далеких людях рассказывает в своих книгах Ольга Форш, рассказывает с таким знанием, отчетливостью и словесным изяществом, что перед вами действительно проходят картины и люди далекого прошлого. В этой связке лет встают большие и малые деятели, оживают знаменитые современники, и мы видим их без прикрас, но в той исторической обнаженности, которая будет жить и тогда, когда материальные памятники той эпохи исчезнут. А эти книги останутся, потому что они плод большой любви и большой ненависти. Ольга Форш писала о людях, которых мы никогда не забудем, и мы их помним по-разному: Пугачева, заставившего в ужасе трепетать всесильную царицу, Радищева — горячего патриота, революционера, Гоголя с его трагедией расколовшейся души, художника Александра Иванова, архитектора Баженова, вечного узника Бейдемана и других. Все они — большие и малые герои этих исторических романов — явились на свет как изображение огромной темы борьбы за счастье, за будущее счастье Родины, ее сынов и дочерей.

С какой строгой и точной изобразительностью предстают они перед нами. Я как бы вижу старого фельдмаршала воочию, когда читаю: «Суворов вошел. Обычная легкость его существа от усилившейся худобы и болезней стала какой-то невесомой, крылатой. Казалось, он освобожден от всей земной тяжести и, если захочет, может взлететь. Гармоничность его быстрых мелких движений и соразмерность всех членов создавали впечатление отлично подогнанного легчайшего механизма, вместе с тем не хрупкого, но обладающего гибкой крепостью стали.

От нервного возбуждения сейчас особо подчеркнут был мускул правой щеки, чуть змеилась улыбка. Его глаза, широко раскрытые, синие, полны были такого зоркого огня, такой превышающей силы, что Павел вдруг смешался и не знал, что сказать».

Это подлинный портрет во всей живописной правде, во всей жизненной силе. Вот это уменье видеть во мраке веков, вызывать эти далекие, исчезнувшие в темноте прошедшего образы, давать почувствовать эпоху, так удаленную от нас, и обращаться с этим материалом по-хозяйски, серьезно, строго, доказательно — есть наивысший признак мастера умного, глубокого, мастера большого искусства.

Светом своего оригинального таланта она осветила, как прожектором, целый, и очень важный, исторический период. Неустанной исследовательской работой она день за днем, как археолог, раскапывающий курган или гробницу, погружалась в прошлое

и осторожно, как археолог, отделяла даже самые мелкие вещи от мельчайших, потому что в такой большой лаборатории нужно не пропустить наряду с главным и самого микроскопического.

Но книги Ольги Форш — широкие книги. И она писала много не только на исторические темы. Это книги самого разного содержания, но все они носят следы острого, веселого, глубокого мастерства. Она писала и пьесы, и очерки, и сказки. Так и должно было быть, потому что ей свойственно прекрасное ощущение времени, в котором она живет, и чувство своих современников — простых советских людей. Она писала и о загранице, и книга «Под куполом» — сильная, живописная картина парижских впечатлений, которая не устарела и сегодня.

Я когда-то, по любви к горам, странствовал в долинах Аварии, над которыми, как фантастический каменный утюг, возвышается Гуниб. Там, на верхнем Гунибе, еще белеют омытые столетними дождями развалины последнего аула Шамиля и растут березы в роще, где окончилось его многолетнее сопротивление.

В среднем Гунибе стоит большой белый дом со стенами почти двухметровой толщины. Из окон дома раскрывается безмерная пропасть, в глубине которой шумит река. И я представил себе, как маленькая девочка смотрит большими, удивленными глазами на необъятный мир гор, на орлов, проносящихся ниже ее по ущелью, слышит шорох их серо-стальных крыльев и видит исчерченные темными выходами пород отвесные склоны Кегерского хребта. Там прошли ранние годы будущей писательницы, и эта природная ширь, эта суровость окружающего и какая-то внутренняя свобода остались в ней от этих неповторимых ощущений детства.

Я видел, как писались многие ее книги. Молодой писатель мог бы позавидовать этому негаснущему упорному творческому волнению, этой неустанной энергии и непрерывной работе. В периоды отдыха, когда все эти теснившиеся в ней толпы героев ее книг, требовавших воплощения, оставляли ее на время в покое, она начинала рассказывать, и если бы вы знали, как она умеет рассказывать!

Это яркие, жизнерадостные, приправленные хорошей иронией рассказы, где слова светятся, и если рассказ смешной, то вы уже не можете не смеяться. Беседы Ольги Форш об искусстве и о литературе следовало бы записывать, настолько они богаты глубокими мыслями, полны самых удивительных фактов и прекрасного знания классической и современной литературы.

Если сегодня вы захотите сделать нетрудную, но содержательную прогулку, приезжайте в Пушкин, побродите по старинному

парку, осмотрите уцелевшие памятники прошлого, руины и целые стены дворцов и павильонов, сидящего на скамейке бронзового лицеиста, доберитесь оттуда пешком до Павловска, пройдите парком до так называемой старой фермы, пройдите через поле, и вы будете в деревне Тярлево, где сейчас часто живет наша писательница.

Вы пройдете места, которые не раз ею описаны и полны самых разных воспоминаний. Возможно, что Ольга Дмитриевна будет говорить с вами об этих местах, о их значении, о их судьбе. Но, возможно, она будет говорить совсем о другом. О сегодняшнем дне, о новых задачах писателя, о новых темах, о будущем и о молодости.

Мне кажется, что старейшины литературные, которые выбирали Форш для открытия съезда, именно потому и выбрали ее, что она была самой старейшей и самой молодой по духу и сердцу.

Она глубокий мастер, и новое собрание ее сочинений с удовольствием встретит широкий советский читатель, который давно ее знает и любит ее замечательные произведения, полные такой любви к жизни, к людям, к свободе, к человеческому счастью.

Ольга Дмитриевна Форш — выдающийся русский советский писатель, человек неистощимой творческой энергии, сказавший свое большое слово, которое останется навсегда в истории нашей литературы.

Николай Тихонов

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ О. Д. ФОРШ

I

В советской литературе есть целая значительная группа художников слова, творческий путь которых начинался задолго до Великого Октября. Сюда относятся такие разные писатели, как А. С. Серафимович, С. Н. Сергеев-Ценский, К. А. Тренев, А. Н. Толстой, А. П. Чапыгин, В. Я. Шишков, М. М. Пришвин, Ф. В. Гладков и другие. С большей или меньшей четкостью определилось уже в предреволюционные годы творческое лицо каждого из названных писателей, казались ясными масштабы дарования, идейно-художественные возможности, пути дальнейшего развития многих из них. Предреволюционная критика писала, скажем, очень много об А. Н. Толстом; оценки были категорическими, суждения безапелляционными, возможные итоги творческого движения писателя, гадательно предрешенные критикой, подавались как нечто само собой разумеющееся. Грандиозные исторические события Великой Октябрьской революции с непреодолимой силой вторглись в литературу — и опрокинули все хитроумные расчеты и философические домыслы кадетствующих, эсерствующих, декадентствующих «теоретиков искусства». Многие серьезные, значительные писатели, начинавшие свой путь в старом обществе, стали строителями советской, социалистической культуры. Великая революция дала творчеству этих писателей новое направление, новую, глубокую проблематику, новое, большое содержание. Кто из буржуазных критиков, со вкусом рассуждавших о том, что Алексей Толстой неспособен подняться выше жанровых зарисовок, а Треневу никогда не преодолеть бытовизма, узнал бы в мощном монументальном драматизме «Любови Яровой» «бытовика» Тренева, в широких обобщенно-эпических полотнах «Петра I» и «Хождения по мукам» — «жанриста»

Алексея Толстого? Этот глубоко поучительный процесс идейно-художественного перевооружения писателей под воздействием нового мировоззрения и новых форм общественной жизни еще не изучен вширь и вглубь. К числу художников, чье творчество, наполнившись новыми идеями и новым жизненным содержанием, приобрело непредвиденные размах, глубину и значительность, принадлежит и Ольга Дмитриевна Форш.

О. Д. Форш относится к зачинателям большой советской прозы. Ее роман «Одеты камнем» — одно из первых значительных произведений советской литературы. «Одеты камнем» — роман о прошлом; но прошлое, история — осмыслены здесь с позиций победившей социалистической революции, поэтому это — явление новой литературы нового общества. Одним из важнейших путей становления советской литературы был путь, намеченный в советском историческом романе. Для того чтобы двигаться дальше, нужно было по-новому, с точки зрения победивших в революции трудящихся, взглянуть на прошлое, произвести его переоценку, выдвинуть на первый план то, что намеренно затенялось, о чем намеренно умалчивалось, что искаженно освещалось старой официальной историей и старой официозной беллетристикой. Именно к такому — широкому и обобщающему — пониманию процессов развития советской литературы призывал А. М. Горький. Еще в 1930 году, оценивая достижения молодой советской литературы, наряду с крупнейшими для той поры ее победами — созданием широкой и разносторонней картины событий революции и гражданской войны в книгах Серафимовича, Фурманова, Фадеева, Шолохова и т. д., Горький отмечал и важность того факта, что в советской литературе появился нового типа исторический роман, разрушающий официозные легенды и устанавливающий новый взгляд на прошлое. Борясь с недооценкой этого явления в вульгаризаторской критике рапповцев, Горький писал: «Незаметно, между прочим, у нас создан подлинный и высокохудожественный исторический роман. В прошлом, в старой литературе, — слащавые, лубочные сочинения Загоскина, Масальского, Лажечникова, А. К. Толстого, Всеволода Соловьева и еще кое-что, столь же мало ценное и мало историческое».[1] Аналогичное утверждение находим мы в несколько более ранней оценке первых исторических романов О. Д. Форш в письме к автору: «А «Одеты камнем» уже большая вещь. Высоко ценю ее, как одну из книг, которые начинают на Руси подлинный исторический роман, какого до сей поры не было, а сейчас есть уже че-

---

[1] М. Горький, Собрание сочинений в 30 томах, т. 25, стр. 254.

тыре: два ваших, «Кюхля» Тынянова и колоссальный «Разин» Чапыгина».[1] Горький решительно утверждает, что ряд созданных в советской прозе 20-х годов исторических романов отличается высоким художественным качеством и идейной новизной, подсказанной революционной эпохой: «Все это поучительные, искусно написанные картины прошлого и решительная переоценка его. Я не знаю в прошлом десятилетия, которое вызвало бы к жизни столько ценных книг».[2] И, наконец, Горький считает, что опыт, накопленный в советском историческом романе, поучителен и для оценки вчерашнего дня. то есть важен с точки зрения осмысления закономерностей революционной эпохи, углубленного исторического понимания современности: «Повторяю еще раз: создан исторический роман, какого не было в литературе дореволюционной, и молодые наши художники снова получили хорошие образцы, на которых можно учиться писать о прошлом, не столь далеком, как далека эпоха Петра Первого, но очень похожем на нее — я говорю о вчерашнем дне».[3] Таким образом, высоко оценивая новаторские качества советского исторического романа, связывая эти ценные особенности с новой исторической эпохой, его породившей, Горький устанавливает закономерность, необходимость существования этой струи в общем потоке советской литературы, указывает, что найденные в исторической прозе принципы подхода к явлениям жизни ценны и плодотворны и при решении иных тем, более близких к сегодняшнему дню. Советский исторический роман рассматривается Горьким как актуальное и необходимое явление литературной современности, которое именно так и следует оценивать. Одним из создателей этого нового типа исторического романа, художником, занимающим своеобразное, особенное место в этом ряду, является писательница, чье художественное творчество началось задолго до революции, а в революционную эпоху приобрело новое направление, новое идейное наполнение, — О. Д. Форш.

Ольга Дмитриевна Форш пришла в литературу зрелым уже человеком, с некоторым опытом работы в другой отрасли искусства — в живописи. Первые публикации литературных произведений Форш относятся к 1908 году: в этом году выходит отдельной книжкой ее повесть «Рыцарь из Нюренберга» и появляется ряд рассказов в детских и взрослых журналах. Уже в этих — очень разных и по тематике и по художественному решению — произведениях

---

[1] «Звезда», 1945, № 2, стр. 103.
[2] М. Горький, Собрание сочинений в 30 томах, т. 25, стр. 254.
[3] Там же.

определяются главные особенности чрезвычайно противоречивого творческого развития писательницы в дореволюционный период. С одной стороны — повесть философской темы, обильно уснащенная эпиграфами из Вл. Соловьева, Вяч. Иванова, Штейнера; с другой стороны — немудреные на вид детские рассказы с явственными элементами сатиры. Линии эти существуют то порознь, то они пересекаются, но органического единства, художественной целостности творчество Форш так и не приобретает. Ольга Форш примыкает в дореволюционной своей прозе к символистской литературной школе. В «Рыцаре из Нюренберга» символистские тенденции, приемы и идеи выражены в форме наивной, неумелой, почти крикливой. Рассказывается в этой повести о некоем художнике декадентского толка Ребихе. Этот художник пишет картины, в которых действительность уродливо разложена, разъята, раздроблена. По мысли писательницы, Ребих обладает незаурядной художественной силой, создаваемые им живописные кошмары поражают, врезаются в сознание зрителя. Но сила их — одностороння, неполноценна. Ребих в своих картинах зло издевается над жизнью и человеком, но не в силах дать им высшее художественное оправдание. Отсюда возникает внутренняя драма художника, который представлен крайним индивидуалистом, близким к безумию и гибели. Спасти художника хочет влюбленная в него девушка Вера; но выясняется, что предлагаемый ею способ спасения ничем не отличается от демонических кошмаров самого Ребиха. «То самое, что вы предложили — предлагает мне он, то самое неумолчно шепчет мне кровь. То самое, с чем борюсь с нечеловеческой силой, держась омертвелыми руками за призрак какого-то чуда». «Он» здесь — не больше и не меньше как сам дьявол. Выясняется, что жизнь Ребиха повторяет средневековую легенду о рыцаре Карле фон Эренберге, продавшем душу дьяволу. Живописное искажение и омертвение жизни есть дьявольское наущение.

Соблазнительно было бы то влечение к «жизни» и к «простоте», которым одержим Ребих, истолковать как попытку самой писательницы «осудить» и «преодолеть» символизм. Сюжет как будто бы подтверждает такое предположение: «чудо», спасающее Ребиха, оказывается любовью простой малограмотной женщины Марьи Ивановны. Кончается повесть так: «Батюшка, — сказала она вставая, — батюшка, а ведь мне нельзя белой фаты, я вдовая». Однако это «чудо» выхода в жизнь оказывается на поверку повторением символистских конструкций и домыслов: поиски Ребиха увенчиваются нахождением «Христа», который не так уж далек от «Антихриста», смысл происходящего возрождения Ребиха вы-

ражен так: «Что вверху, то внизу. Внизу то, что вверху». Повесть построена по известной схеме «двух бездн», «Христа и Антихриста» Мережковского.

Тем не менее в раннем творчестве Форш есть элементы, уводящие писательницу от символизма и объясняющие ее последующую эволюцию. В 1910 году Форш опубликовала фрагменты из неоконченного романа «Дети земли». Сюжет романа во многом близок к первой повести Форш, в известном смысле слова даже повторяет основные ситуации «Рыцаря из Нюренберга». Герой романа Богдан Суховской — незаконный сын богатого помещика и цыганки, после смерти отца он терпит всяческие унижения от старшего брата Валериана, пока, наконец, не убивает его. После убийства брата Богдан впадает в депрессию, из духовного мрака его выводит знаменитый французский писатель — теософ Дюмениль-Алкмеон. Теософский салон описан в сатирических тонах, Богдан в конце концов обнаруживает, что «чудо возрождения», обещанное «учителем», решительно ничем не отличается от того злого наваждения, в котором он жил до встречи с теософом. Он порывает с теософом. Спасает Богдана от нового «рыцаря из Нюренберга» опять-таки простая жизнь, земное, природное начало, к которому он тянется, как тянулся Ребих. О Богдане в романе говорится, что «он был пока связан лишь тайными древними узами с одной черной землей, с муравьиными кучами, с зверьми и травами, с ночным смолкшим небом». Только «черная земля» и «муравьиные кучи», по мысли писательницы, и могли бы спасти Богдана. Схема «Рыцаря из Нюренберга» повторена в романе, и сюжет его решительно ничем не отличается от обычных символистских конструкций.

Но в романе есть и такие особенности, которые при дальнейшем развитии могли бы вывести писательницу из символистского тупика. При всем сходстве с «Рыцарем из Нюренберга» роман «Дети земли» и отличается от него. Здесь надо сказать несколько слов о некоторых общих для всей символистской литературной школы недостатках. На протяжении всего своего развития русский символизм не смог создать сколько-нибудь значительной прозы. Объяснялось это, конечно, в первую очередь идеалистическими мировоззренческими предпосылками. Главный теоретик школы Вяч. Иванов призывал идти в искусстве «от реального к реальнейшему», то есть утверждал, что конкретный жизненный материал должен быть подчинен раскрытию мистической «идеи», которая и является, по мысли Иванова, «реальнейшей» основой материальной действительности. Даже если бы у художника символистской школы был запас конкретных жизненных наблюдений, то этот запас дол-

жен был представать в извращенном, искаженном виде, поскольку, по канонам школы, его следовало подогнать к определенному схематическому идеалистическому заданию. Идеалистическая схема убивала всю жизненную конкретность. Уже в послереволюционную пору, касаясь вопроса о художественных недостатках символической школы, Ал. Блок в письме к М. Шагинян указывал, что символизм игнорирует реальную логику жизненных отношений, что нужно «более твердое знание предмета», чем у символистов. Конкретизируя художественную сторону этого общего недостатка, Ал. Блок писал: «Говоря о недостатках, которые есть в большем или меньшем числе во всех драмах, я бы повторил все-таки, что книжность и производность есть, язык не особенно органический (общий порок «символистов», от которого ни один из нас не был свободен); главный же недостаток, всего труднее определимый, тоже общий нам всем: некоторая торопливость, короткое дыхание, неравномерное внимание ко всем частям, иногда — предпочтение более легких путей — более трудным, недостаточная пристальность взгляда». Проницательно и зорко отмечены Блоком действительно чрезвычайно существенные недостатки — неумение выделить главное в реальном явлении, обусловленное подгонкой реальных вещей «под идею»; неумение охватить всю широту и многообразие жизненных отношений — «короткое дыхание», определяемое пренебрежением к закономерностям самой действительности, «недостаточной пристальностью взгляда»; и как следствие — искусственность, книжность произведения, однообразие, выспренность и вычурность языка, его «неорганичность».

Все эти недостатки в разной степени свойственны и многим ранним вещам Форш, ими вызваны существенные дефекты дореволюционной прозы писательницы. Раннее творчество Форш характеризуется очень «коротким дыханием», и этим объясняется малый общественный резонанс прозы Форш. Но в ранних произведениях Форш есть не только это. В них есть и некоторый запас жизненных наблюдений, умно и точно, помимо и поверх всяких символистских схем, обобщенный. В «Детях земли», например, с известной реалистической выразительностью написан образ Валериана Суховского, брата главного героя. Это — дворянин-вырожденец, его дикий разгул явно обусловлен вполне конкретными социальными причинами. Валериан ясно понимает, что его классу приходит конец; стать иным он не может и не хочет, он хочет только погулять, побезобразничать напоследок. Его полковой товарищ предается декадентству, — Валериан зло и точно определяет социальную природу этого «изысканного развлечения»: «Плюю я на твой

декаданс — тех же щей да пожиже влей. По мне — старая гуща вкуснее». Стародворянское бурбонство, насильничество, безобразие, по мысли Валериана, откровеннее и проще выражают ту же социальную суть, что и декадентство. В этой атмосфере растления и упадка гибнет средний брат, Василий. Тоску, бездомность, душевную опустошенность Богдана внимательному читателю гораздо лучше объяснит выразительно нарисованная общая атмосфера дворянской семьи Суховских, чем мистические схемы «Христа и Антихриста», «земли и неба», отчетливо проступающие в романе Форш.

В большинстве ранних вещей Форш причудливо переплетаются идеалистические схемы с реалистической «пристальностью взгляда», подмечающей то, что заурядный символист не подметил бы вовсе. Скажем, Форш часто пишет в дореволюционный период о мечтателях, о людях, оторвавшихся от жизни, об однодумах и фантазерах, раздавленных грубой прозой повседневной жизни. В рассказе «За жар-птицей» крестьянский юноша Иван Лапоток влюбляется в уродливую Степошу, — она на редкость искусная вышивальщица, и Иван за красотой ее рисунка не видит ни ее уродливости, ни того, что все вокруг хлопотливо гонятся за приданым Степоши. Но вот появилась цыганка Грунька, в ее танце опять и еще отчетливее проступает «жар-птица» красоты, «песня». Иван тянется к этой «песне», но Груньке нужны деньги. Иван убивает жену, но деньги предусмотрительная Степоша отказала не ему, и Грунька попрежнему недоступна, на долю Ивана остается только тюрьма. Как будто бы обычный символистский рассказ о губительности мечты, о разладе души и тела. Но, как чаще всего бывает в ранних рассказах Форш, реальный жизненный материал, увиденный пристальным взглядом художника, противоречит символистскому заданию. Губит Ивана не мечта сама по себе, а продажность этой мечты. Зорко подмечены черты характера Степоши: скаредность, жадность, злоба, готовность пойти на что угодно, только бы удержать молодого и красивого, дешево купленного мужа. За «песней» Груньки стоит дешевый кабак буржуазного города. И результат: «Дома — деревня с прокопченными избами, неизбывные беды, убожество. Здесь — грязный город с базарами, дымной фабрикой, продажной песней». Реальный материал противоречит заданию. Писательница уделяет больше внимания «мечтательности» и «нездешности» Ивана, чем этому реальному материалу. Но крупицы жизненной правды, проникшие в рассказ, даже этот иконописно стилизованный характер героя объясняют иначе, проще и жизненней, чем это входило в прямые намерения писа-

тельницы. «Потому скушно мне здесь, господин, — повернулся Иван к побледневшему старичку нотариусу, — мочи нет, скушно».

Среди дореволюционных рассказов Форш есть и такие, в которых внешних особенностей символистской прозы почти нет, есть рассказы, кажущиеся добротно реалистическими — символистские идеи еле внятно звучат в них где-то в подтексте. Характерно, что ослабление символистской конструктивности определяет наибольшую художественную значительность этих произведений («Белый слон», «Был генерал», «Ночная дама», «Гнездышко»). Но характерно также и то, что именно эти, художественно самые полноценные из ранних вещей Форш, наиболее явственно окрашены в тона мрачной безысходности. Писательнице кажется, что нет выхода из тех духовных и социальных тупиков, которые она рисует в этих реалистических по форме рассказах. В конечном счете символизм не преодолевается писательницей и в этом цикле рассказов.

Пристально следивший за разнообразными явлениями предреволюционной литературы, М. Горький впоследствии в письме к О. Д. Форш писал, что ему особенно запомнился один из дореволюционных рассказов Форш: «Еще ваш рассказ в «Русской мысли» — Медвежонок — удивил меня рисунком и затем многое другое».[1] Интересно и важно для понимания противоречий творческого развития Форш само направление горьковской мысли. Произведение, о котором здесь идет речь, — это сказка Форш «Медведь Панфамил». Философская тема этой сказки не выходит за пределы обычных символистских построений, характерных для дореволюционного творчества Форш. Богдан Суховской искал выход из духовного тупика, в который он зашел, в слиянии с природой, с «землей», с «муравьиными кучами» и «ночным лесом». В сказке о медведе Панфамиле рассказывается о том, что люди живут жизнью неправедной, нечистой и лживой, а подлинный смысл жизни открыт простому, доброму сердцем и не умудренному знанием медведю Панфамилу. Сюжет сказки состоит в том, что медведь уносит с собой в лес мальчика Фомку, и мальчик становится «омедведышем». Тут-то ему и открывается настоящая «правда жизни»: «В последние сумерки перед темной ночью выходили из цветов хорошие запахи, все в зеленых чулках, и водили Фому по туманам. Запахи научали ни о чем ровно не думать, а быть как семечко одуванчика». Можно было бы подумать, что именно это влечение к «природе» и «простой жизни» и является тем началом, которое выводит Форш из идеалистических туманов символизма.

---

[1] «Звезда», 1945, № 2, стр. 103.

На деле — и ряд представителей символистской школы и особенно усилившиеся в 910-е годы акмеисты и футуристы проповедовали уход от «цивилизации» в «простую и первозданную жизнь». В сюжете сказки нет решительно ничего такого, что противоречило бы мировоззрению самых разнообразных направлений «нового искусства», и внимание Горького привлекло отнюдь не противопоставление «природы» и «цивилизации». Характерно, что у самой Форш рассказ назван не именем мальчика Фомки, а именем мудрого медведя, постигшего смысл жизни. Горькому же запомнился как раз характер мальчика, «омедведыша». Привлек внимание Горького и остался в его памяти образ самого мальчика Фомки. Одной из художественных проблем, с которой символизм не смог справиться, была проблема индивидуального характера. Идеалистическая схема в произведениях символистов подминала характер, уничтожала его индивидуальное своеобразие, и это было одним из важнейших последствий пренебрежения к жизненной конкретности, многообразию реальной действительности. Отсутствие «органического языка», как выражался А. Блок, его книжность и вычурность усиливали этот недостаток и делали невозможной сколько-нибудь продуктивную работу в области прозы и драматургии. В рассказе Форш личность мальчика Фомки выступает не столько в сценах его «слияния с природой», сколько в тех сценах, где он входит в круг обычных взаимоотношений помещичьей усадьбы, дореволюционной деревни. Само влечение Фомки к медвежьей жизни объясняется скукой, мещанской прозой и пустотой усадебной жизни. В образе Фомки отсутствуют, естественно, так как это маленький мальчик, элементы обычной в таких случаях у Форш стилизации под «нездешнего мечтателя». Возникает наметка реалистического характера, поставленного в сложный «рисунок» (как выражается Горький) взаимоотношений с обитателями помещичьей усадьбы, соседней деревни и условного «лесного царства». Такие не развернутые до конца наметки характеров были и в других вещах Форш — образы Валериана, Василия и Богдана Суховских в «Детях земли», Степоши в «За жар-птицей» и т. д. Так Форш приходила в явственное противоречие с канонами символизма. Жизненный материал, во многом продуманный и обобщенный в реалистическом плане, не укладывался в ту схему сюжета, по которой строилось произведение. Это противоречие усугублялось и обострялось элементами сатиры. В сатирической сказке «Шелушея», в плане формы отмеченной чрезвычайно резким воздействием символизма, самый образ мечтателя становился предметом сатиры: односторонность мечтателя показывалась как праздность, ничегонеделание, духовная

пустота, как оборотная сторона буржуазно-мещанской скуки жизни. На смену мечтателям, в качестве их законных наследников, приходили купчиха Шелушеева и мещанка Индрыгина. Творчество Форш, скованное канонами символизма, несмотря на наличие в нем реалистических элементов, находилось в тупике. Значительным мастером прозы О. Форш становится в революционную эпоху. Новый, важный жизненный материал, новый идейный подход к этому материалу обеспечивают творчеству Форш 20-х годов глубину, серьезность, содержательность.

II

В течение первого послереволюционного десятилетия происходят процессы творческого перевооружения писателей, начинавших свою деятельность в дореволюционный период. Для многих из этих писателей характерен путь от эскизных зарисовок новой действительности в рассказах и очерках к широким обобщающим полотнам, в которых наиболее развернуто и последовательно выражено новое мировоззрение, приобретенное художниками в процессах создания новых форм жизни. Так, К. А. Тренев, известный в дореволюционный период как писатель-бытовик, в «Пугачевщине» стремится воспроизвести явления прошлого в свете революционной современности. Через драму о крестьянской революции он идет к «Любови Яровой». А. П. Чапыгин сложными путями приходит к концепции монументального романа о Разине. Быть может, наиболее показателен путь А. Н. Толстого. Придя в советскую литературу относительно позже других литераторов своего поколения, он от бытовых зарисовок действительности революционной эпохи идет к эпическим полотнам «Хождения по мукам» (второй том трилогии издается именно в двадцатые годы, и в нем решительно переосмыслен предшествующий опыт работы писателя) и «Петра I».

Воздействие революционной действительности резко меняет направление творческой работы О. Д. Форш. В течение первого десятилетия нового общественного строя писательница много и плодотворно работает в самых разных литературных жанрах — она пишет и пьесы, и многочисленные рассказы, и романы. В произведениях Форш этого периода отчетливо можно проследить и поиски молодой советской литературой нового метода и целый ряд типических для советского искусства периода его становления промахов и неудач. Тут и расчеты с прошлым — острые, выразительные образы дореволюционных мещан, «бывших людей», пытающихся

найти себе место в новую, сложную эпоху революционных потрясений и возникновения новых форм жизни («Из Смольного»), тут и искатели нового отношения к труду и обществу («Хируроид»), тут и бытовавшая во многих произведениях коллизия «революционного долга» и «гуманизма» («Климов кулак», «Товарищ Пфуль»; ср. «Голубые города» или «Гадюка» А. Н. Толстого). Остротой и оригинальностью отмечен ряд рассказов об обывателях нэповского времени, представленных в сборниках «Летошный снег» (1925) и в особенности «Московские рассказы» (1926). Здесь рисуются преимущественно отрицательные явления жизни, но даются они всегда на фоне многочисленных примет неодолимо побеждающего, властно входящего в жизнь, в сознание, в повседневность, в быт — нового. В совокупности своей весь этот ряд произведений свидетельствует об исключительном внимании писательницы к становлению новых форм жизни, о стремлении ее постичь историческую логику событий, постичь общественные истоки происходящих на ее глазах изменений, связать свою художественную деятельность с созданием новых жизненных отношений. Однако наиболее четко важнейший в творческой судьбе Форш перелом выражен не в этих рассказах, а в ее романах на исторические темы. Именно в историческом романе нашла Форш соответствующий ее индивидуальным данным литературный жанр, который позволил ей поставить волновавшие ее как писателя большие вопросы жизни, вопросы судеб культуры, искусства, вопросы гражданского долга и высокой нравственности, вопросы, которые приобрели новое звучание в революционную эпоху. В области исторического романа Форш удалось ярче всего выразить себя как значительного художника, выдвигающего проблемы серьезного общественного звучания.

Роман О. Форш «Одеты камнем» (1924—1925) открывает собою целую серию советских историко-революционных художественных произведений. Существенно важно и плодотворно обращение зачинателей большой советской прозы к историко-революционной теме. Старая историческая беллетристика или обходила эту тему, или, обращаясь к ней, вольно или невольно представляла ее в суженном, а то и вовсе искаженном виде. Стремясь переосмыслить прошлое с точки зрения победоносной народной революции, молодая советская проза должна была вывести эту пребывавшую в тени тему на первый план. Прежде всего здесь необходимо было раскрыть исторически обусловленный, объективно закономерный характер революционных выступлений против самодержавно-крепостнического строя. В романе О. Форш изображается деятельность революционных кружков 60-х годов. В центре повествования — судьба

«таинственного узника Алексеевского равелина» Михаила Бейдемана, человека, работавшего в лондонской типографии Герцена, вернувшегося в Россию для участия в цареубийстве и в народном восстании в связи с недовольством крестьян реформой, после ареста отправленного без суда и следствия в Петропавловскую крепость и всю последующую жизнь проведшего в одиночном заключении.

Для романа Форш важно не только то, что все симпатии художника отданы революционной молодежи, хотя, разумеется, и это имеет существенное значение. (Ведь в романе наиболее интеллектуально значительные герои отдают всю свою жизнь революции, на стороне самодержавно-крепостнического строя только светская чернь да духовно незначительные, бедные умом и талантами посредственности.) Еще важнее другое. В «Одеты камнем» изображены светские салоны с их пустотой и ничтожеством, привилегированные светские и военные школы, пользующиеся особым покровительством монарха, непосредственное окружение царя с его сервилизмом, шкурничеством и бездушием, сам царь с его ханжеством, сластолюбием, лицемерием и злобой, ужасающая обездуховленность жизни военной среды и звериная практика крепостничества в картинах жизни помещика Лагутина, убитого своими крестьянами в момент осуществления «великой реформы». Духовная опустошенность крепостников — не случайная деталь их облика, она вытекает из всего жизненного строя крепостнической монархии. Возможно, есть некоторые моменты упрощенности в показе духовной близости замученных крепостной неволей Марфы и Петра с их хозяйкой Верой Лагутиной, связавшей свою жизнь с революцией. Существенно не это. В некоторых антинигилистических романах 60—70-х годов, как, скажем, в «Некуда» Лескова, отдельные революционеры (Райнер) показывались субъективно честными и чистыми людьми. Однако с точки зрения автора эти люди заблуждались, не понимали самых основ народной жизни, не понимали того, что в стране невозможна революция, что она не нужна народу. Тем самым отрицалась объективная необходимость и возможность революции. В романе Форш дело не в сочувствии писательницы отдельным революционерам, а в том, что всей своей атмосферой и всей логикой образов роман утверждает, что самодержавно-крепостнический строй прогнил насквозь, что он должен быть сметен бурей народного гнева. Революционное преобразование России — не просто субъективные мечтания духовно чистых одиночек, а объективная необходимость народной жизни. Утверждается не просто правда отдельных революционеров, а правда самой революции. Поэтому существенно то,

что какой бы незрелой и утопической ни была конкретная программа революционеров, какими бы наивными ни показались нам сейчас их средства борьбы, — важно, что сама их борьба определяется исторической ситуацией, что объективный исторический конфликт, непримиримость интересов основных враждующих общественных лагерей обрисованы в романе выпукло и четко, хотя, может быть, и несколько прямолинейно. Коллизия между народом и крепостничеством, самодержавным произволом и революцией рисуется как объективно исторический конфликт, и все симпатии писательницы — на стороне революции. Это значит, что в романе Форш есть общественно-историческая, объективно реалистическая основа. Это значит, что писательница выходит в данном случае за рамки воспитавшей ее литературной школы не в каких-либо отдельных частностях, не в обрисовке отдельных персонажей или ситуаций, а в самом основном и существенном. Здесь объективно-исторический, реалистический характер носит самая основа художественного конфликта.

В идейно-художественной концепции романа наиболее существенное значение имеет проблема формирования новой человеческой личности в революционном действии. Непосредственную, прямую деятельность революционных кружков Форш показывает относительно мало. Ее художественное задание состоит в том, чтобы показать, что дает участие в революционном движении герою, деятелю, человеку. Центральный герой романа, Михаил Бейдеман, поэтому показан не в его практической работе с Герценом. О пребывании его за границей, переходе границы только упоминается, о целях этого перехода, о поведении Бейдемана в III отделении после ареста даже и не упомянуто. Важно для писательницы, каким предстает Бейдеман в кругу типической дворянской «золотой молодежи», во встречах с Достоевским, в тюрьме. Лицо героя как бы озарено светом будущего. Всю личную жизнь подчинивший своему делу, он обретает в нем трагическое величие, необычайную красоту души, глубочайшую осмысленность жизни, которую целиком заполняет революционный подвиг, дающий герою все богатство, всю интенсивность чувств. «Ежели древний смельчак испытывал сильное чувство, так он его не душил во имя земных добродетелей и каких-то там небесных благ. Он чувству своему отдавался и — что надо было — свершал. Да, один только опыт, доведенный до конца, отсекает все то, что непригодно для роста. И когда настоящие, свободные люди создадут, наконец, последующим поколениям прекрасную жизнь, достигнуто это будет не трусливым умытием рук, а одной лишь попыткой, хотя бы насильно,

но опрокинуть негодные формы, заменив их формами лучшими. Итак, во имя жизни надлежит быть хозяином жизни!» — так говорит в романе Бейдеман. Несостоятельно было бы в романе Форш видеть в изображении революционеров — Бейдемана, Каракозова — одну лишь жертвенность, которую иногда сама писательница чересчур настойчиво подчеркивает. В сложной философской и психологической концепции романа при обрисовке героев-революционеров наиболее существенно именно это необычайно интенсивное чувство жизни, заполненной до конца высоким духовным содержанием. Не случайно образ Бейдемана в романе дается весь как бы в стремительном полете, в горении, в неудержимом движении вперед, не случайно Бейдеман в изображении Форш покоряет своей духовной красотой наиболее живых людей из своего крепостнического окружения, покоряет во многом ему чуждого Достоевского и, наконец, читателя. В описании Каракозова важны черты детской чистоты, трогательной хрупкости в соединении с внутренним пламенем, сжигающим этого человека. Большой трагический эффект сцены казни Каракозова строится именно на том, что среди тупых и как бы стыдящихся свершаемого ими морд палачей, среди праздных зевак с их животным любопытством возникает единственное подлинно человеческое лицо — лицо самого Каракозова.

О подвиге и гибели Бейдемана, о работе революционных кружков, о грозовой атмосфере народного возмущения, в которой осуществлялась «великая реформа», в романе Форш рассказано устами вымышленного героя — школьного товарища и предателя Бейдемана Сергея Русанина. В критике высказывалось мнение, что образ этот не нужен, что он подсказан писательнице ее былыми литературными увлечениями. Между тем образ этот важен прежде всего для того, чтобы основная психологическая коллизия романа носила характер исторически закономерного, конкретно реалистического конфликта. В способах связи, сплетения судеб Михаила Бейдемана и Сергея Русанина много литературно-условного. В анализе его характера есть элементы болезненного психологизма, но сам по себе этот образ в идейно-философском замысле автора воплощает одну из наиболее существенных граней этого замысла. Сергей Русанин — художественная натура, он мог бы стать значительным живописцем, но у него слабая воля, он не в силах преодолеть инерцию социальных навыков и привычек, он типический представитель своей общественной среды: для дворянина Русанина в занятиях живописью есть нечто унижающее, недостойное, плебейски-ничтожное. Характер героя проверен центральной исторической коллизией романа — конфликтом революции и самодержавно-кре-

постнического строя. Отстраняясь от деятельности революционеров, невольным свидетелем которой он является, Русанин тем самым определяет свою социальную позицию, свое место в общественной борьбе. Он не хотел бы быть предателем, но он им становится. Ф. Энгельс писал об ограниченности, о духовной опустошенности господствующих классов старого общества следующее: «...образованные классы» вообще порабощены разнообразными формами местной ограниченности и односторонности, своей собственной физической и духовной близорукостью, своей изуродованностью воспитанием, выкроенным по мерке одной определенной специальности, своей прикованностью на всю жизнь к этой самой специальности — даже и тогда, когда этой специальностью является просто ничегонеделание».[1] Порабощение своей физической и духовной близорукостью характерно для Русанина; так он становится «рабом своей собственной низости». Духовная опустошенность, безличие, бесцветность — вот удел Русанина. Наблюдая светскую чернь в салоне Кушиной, жадно слушающую сообщение о последних минутах жизни Каракозова, Русанин думает: «Да ведь и сейчас у людей нету лиц, блин к блину, блин к блину...» И далее: «Лицо было у Михаила и у того... с серо-голубыми глазами. Даже с высоты черного эшафота, у позорного столба, сине-мертвенное — это было *лицо*». Лица, определенности, полноты духовной жизни нет у Русанина. Отстранившись от того большого исторического дела, случайным свидетелем которого он стал, Русанин обрек себя на подлость, пустоту жизни, безличность. Бейдеман и Русанин — противники, враги, антиподы в плоскости психологической. Эта психологическая контрастность обусловлена социально-историческим конфликтом, в котором они выступают. Найти себя как человека и художника, как полноценную личность — в том числе и личность нравственную — Русанин мог бы, только отказавшись от своей «физической и духовной близорукости», отказавшись от своих социальных навыков и привычек, от своей социальной среды.

Сделать это Русанин не в силах, и его мемуарный рассказ о своих современниках и о самом себе есть вместе с тем рассказ о все большей и большей деградации человека. В духовном поединке Русанина и Бейдемана победу одержал Бейдеман. Картина распада сознания завершается безумием Русанина. В сумасшедшем бреду Русанину представляется, что он мог бы искупить ошибки своей бессмысленно и постыдно прожитой жизни, преодолев время. Композиционно — «сдвигами во времени», производимыми безум-

---

[1] Ф. Энгельс. Анти-Дюринг, 1952, стр. 276—277.

ным Русаниным, оправдано введение эпизодов, очевидцем которых Русанин не мог быть никак, — скажем, эпизодов из жизни Бейдемана в крепости. До сведения читателя доводится то, что в безумном сознании Русанина, осуждающего себя, причудливо перерабатывается реальный материал, почерпнутый им из опубликованной после революции исторической литературы: «Я не знаю, видел ли я все это сам, или только слышал рассказы, или только на днях прочел из тех книжек, что принес мне Иван Потапыч». Художественная мотивировка подобного рода является, конечно, рискованной, такой прием может быть оправдан только очень большим мастерством психологического анализа, высокие образцы которого и дает Форш в своем романе.

Однако местами усложненность психологии граничит с болезненностью и обнаруживает следы воздействия символизма. Присутствует в романе и символистская тема «милой земли», простой бездумной жизни в слиянии с мистифицированной «природой», — она связана в романе с образом Ларисы, женщины, отвергнутой Бейдеманом и предавшей его под влиянием Русанина. «О, если б обратно в мать-землю, в ее темные недра, и не думать, не знать, не чувствовать». Правда, осмыслена эта тема иначе, чем в ранних вещах Форш: «мать-земля» здесь уже не спасает от социальных противоречий — предав Бейдемана, Лариса восклицает, что у нее нет ничего, что могло бы оправдать дальнейшую жизнь, и кончает с собой. Но как бы то ни было, здесь, в теме «козьего бога», наиболее явственно звучат слабые стороны творчества Форш.

Русанин доживает до дней революции и упрочения нового социального строя, — картинами новой жизни перемежается весь рассказ Русанина о прошлом. Этим приемом Форш хочет показать неотвратимую историческую гибель Русанина и тех социальных сил, которые он представляет, в их борьбе с революцией, исторически неизбежный крах самодержавно-дворянской и буржуазной России. Поскольку роман вообще строится на очень широких обобщениях, на обобщенно-интеллектуальной и психологической основе (что является важнейшей чертой своеобразия Форш — исторического романиста) — такой способ осмысления прошлого с точки зрения революционной современности реалистически оправдан.

В течение 20-х годов Форш создает еще два исторических романа — «Современники» (1926) и «Горячий цех» (1927). В романе «Современники» Форш хотела углубленно-исторически осветить судьбу великого русского художника Александра Иванова. Главное внимание уделяется здесь живописным исканиям А. Иванова,

биографическое, личное, конкретно-жизненное и конкретно-эпохальное намеренно оставлено в тени. Судьба художника, его духовная драма — вот главная тема романа. Скорбную эпопею тридцатилетнего подвижнического труда живописца над его центральным полотном Форш хочет объяснить совокупностью важнейших исторических фактов эпохи, взятых в их идеологическом преломлении. Подосновой духовной драмы Иванова, по мысли Форш, являются противоречия крепостнического строя, искусственно отторгающего художника от широкой общественно-политической жизни эпохи. Сам Иванов в романе произносит знаменательную фразу: «Русскому таланту, чтобы совершить задуманное, надлежит прожить не одну, а две жизни. В первой жизни его лишь измучают до смерти». С этой точки зрения чрезвычайно важна эпизодически, на первый взгляд, проходящая в романе фигура Герцена. Деятельность Герцена и его соратников, по мысли писательницы, и направлена к уничтожению тех общественных ненормальностей, которые обусловливают духовные противоречия лучших людей крепостнической России. Роман в этом плане как бы продолжает идейную концепцию «Одеты камнем». Полет творческого дерзания Иванова-художника в романе Форш во многом обессиливают непреодоленные элементы патриархально-косного семейного и художественного воспитания. Общественный рост художника выражается не только в его интересе к деятельности Герцена, но и в искреннем сочувствии передовым общественным силам, в попытках осмысления исторической закономерности революционного и национально-освободительного движения в Европе, и в частности в Италии, в попытках участвовать в этом движении. Этот общественный взлет обусловливает взлет художественный, выражающийся в завершении «Явления Христа народу» и в создании серии гениальных эскизов на библейско-мифологические темы. Однако холод бюрократически-самодержавного Петербурга убивает художника физически и обрывает свершение его грандиозных замыслов. Параллельно к судьбе Иванова дана судьба вымышленного героя — Багрецова. Напряженные духовные поиски, не имеющие выхода в общественную практику, в недостаточно органическом жизненном движении Багрецова превращаются в духовную пустоту и позерство. Безо всяких к тому оснований Багрецов кутается в плащ романтического героя. Одиночество Иванова, подлинного творца, трагично. Одиночество Багрецова — больше поза, чем реальная жизненная драма. Жизнь его бессмысленна. Идейная функция фигуры Багрецова во многом аналогична функции Русанина в «Одеты камнем».

Вместе с тем идейная концепция «Современников» противоречива. Духовная драма А. Иванова в основном объясняется в романе общественно-исторической ситуацией. Но иногда Форш склонна давать и иное освещение этой драме, а именно — трактовать ее как проявление извечного конфликта между художником и жизнью, замыслом и свершением. И здесь опять-таки сказывается воздействие на писательницу символистских идей, особенно неприятно омрачающих в романе образ еще одного «современника» — Гоголя.

Роман «Современники» был высоко оценен М. Горьким. В письме к О. Д. Форш М. Горький писал: «Современники» — значительнейшая вещь, на мой взгляд. И — богатая мыслями, каждая из коих — тема большой книги». [1]

Не меньшей двойственностью отмечен роман «Горячий цех», посвященный изображению революционных событий 1905 года. В центре романа стоит во многом неожиданный для Форш образ интеллигентного юноши из рабочей среды, формирование характера которого многообразным общественным и духовным опытом эпохи хочет показать писательница. Кузьма Вереда, казалось бы, должен прямо и безоговорочно идти в революцию, однако путь его осложнен поисками личного своеобразия, которые, по мысли Форш, правомерны, поскольку революция требует от ее деятелей самоограничения и личных жертв. Образы революционеров — Десницкого, Рута, при всей их юношеской привлекательности, отмечены чертами односторонности. Восполнить эту односторонность в формировании Кузьмы должен символизм, который трактуется здесь — совершенно ошибочно (как и в вышедших позднее нескольких мемуарных книгах Андрея Белого) — как своеобразная «революция духа». Реалистически достоверен в романе ряд сцен, рисующих непосредственно революционные события — солдатские бунты на Украине, московское вооруженное восстание. Однако реалистическая правдивость и этих сцен во многом снижается как отмеченной выше попыткой писательницы найти «духовную правду» в символизме, так и отсутствием в романе сколько-нибудь четкого изображения роли партии в революционных событиях.

О том, что реалистическая тенденция побеждает в основной линии творческого развития Форш в 20-х годах, свидетельствует книга сатирических рассказов о жизни буржуазной Европы «Под куполом». Советская литература 20-х годов в целом уделяет большое внимание жизни буржуазного мира. При изображении жизни Европы и Америки наши передовые писатели оценивают эту жизнь,

---

[1] «Звезда», 1945, № 2, стр. 103.

порождаемых ею людей, ее коллизии с точки зрения интересов победившего трудящегося народа страны Советов, с точки зрения нового общественного строя, с точки зрения революционной действительности и нового мировоззрения. Именно так оценивается жизнь буржуазного мира в ряде стихотворных циклов и в прозе Вл. Маяковского, в очерках М. Горького. Применение приемов сатиры здесь обоснованно и закономерно, наряду с приемами сатиры здесь наличествуют и элементы лирики, жизнеутверждающего драматизма и психологизма при освещении фигур простых трудящихся людей. Этими двумя особенностями характеризуется и книга рассказов Форш. Писательница избегает здесь широких обобщений, характерных для ее исторических романов, — в поле ее зрения входят факты, относящиеся преимущественно к области культуры, повседневной жизни, быта. Сатирическому осмеянию подвергаются механизация и стандартизация разных сторон буржуазной культуры и быта — будь то выборы нового академика (рассказ «Под куполом») или супружеское счастье и супружеская верность буржуазной четы («Лебедь Неоптолем»), религиозное ханжество мещанства («Последняя Роза») или его же мнимое свободомыслие («Собачье заседание»). Вообще французский мещанин является здесь главным объектом сатирического осмеяния. Сквозь ряд рассказов проходит тема трудностей жизни простого человека, достигающая иногда трагического звучания («Куклы Парижа», «Последняя Роза»). Через всю книгу проходит противопоставление омещанившихся и измельчавших характеров западных буржуа национальному русскому характеру, приобретшему новый размах и новую глубину в итоге величайшей в истории революции. Сформулирована она чаще всего просто и непритязательно («Да, пора домой, в наш, никому не понятный, необычайный быт»), но для понимания единства идейной концепции книги тема эта необыкновенно важна.

Книга рассказов «Под куполом» была очень высоко оценена М. Горьким, считавшим, что ознакомление с нею было бы воспитательно полезно и для людей буржуазного Запада. В письме к О. Д. Форш от 7 мая 1929 года М. Горький писал: «Талантливейший человек вы, дорогая Ольга Дмитриевна. И — умница. Такая настоящая русская умница. Человек умной души. Книжку вашу прочитал с наслаждением, — очень хорошая, «сытная» книжка, эдакая кулебяка, начинки — много, начинка разнообразная, и все анафемски вкусно. Хорошо видит глазок у вас, и язычок хорошо заострен. Старый, прокопченный литератор и писатель, я такие книги, как «Под куполом», читаю, — т. е. воспринимаю — с радостью. Я — «извиняюсь» — очень русский, очень варвар, и, как

таковой, обожаю людей, живущих без «купола» над ними. Как хотелось бы, чтобы француз без «традиции» и знающий дух нашего языка перевел вашу книгу на свой, элегантный! Вот шокировался бы Париж».[1]

III

Большая работа советских прозаиков 20-х годов над исторической темой дала богатые плоды в литературе 30-х годов, в литературе предвоенного периода. Более углубленное звучание приобретают основные проблемы, волновавшие советских писателей в 20-е годы, — подведение итогов прошлого, показ исторически неотвратимой гибели старого общества, показ ведущих сил исторического прогресса, стремившихся к революционному пребразованию мира. Велико значение творчества Горького в литературном движении 20—30-х годов. В эпопее «Жизнь Клима Самгина», охватывающей сорок предреволюционных лет, синтетически, многосторонне рассматриваются разные стороны русской действительности, кризис старых форм социальной и духовной жизни, неодолимо побеждающая социалистическая революция. Роман о событиях эпохи революции и гражданской войны в 30-х годах приобретает углублённо историческое звучание, эпический размах: именно в этот период получают завершение грандиозные идейно-художественные концепции «Хождения по мукам» и «Тихого Дона». Новую глубину и содержательность приобретает в этот период исторический роман в собственном смысле слова. А. Н. Толстой, завершив работу над первой частью «Петра I», продолжает дальнейшую работу над романом. Начата работа Ю. Н. Тынянова над «Пушкиным», В. А. Шишкова над «Емельяном Пугачевым». Важное место среди исторических романов 30-х годов занимает и трилогия О. Д. Форш «Радищев».

Переосмысление и переоценка исторического прошлого с точки зрения революционной действительности затруднялась зародившейся еще в 20-е годы в творческом сознании писательницы идеей нахождения в культуре символизма «рационального зерна» и использования этого «рационального зерна» в строительстве новых форм отношений между людьми. Эта идея находит наиболее законченное художественное выражение в романах «Сумасшедший корабль» и «Ворон», задуманных еще в 20-е годы, но окончательно оформленных и опубликованных уже в начале 30-х годов. Недавнее

---

[1] «Звезда», 1945, № 2, стр. 106.

прошлое в этих книгах переплетается с современностью, рассказ о деятелях буржуазной культуры вчерашнего дня перемежается размышлениями автора о создании нового типа отношений между людьми, о месте писателя в общих процессах перестройки быта, морали и культуры. Многое в этих рассуждениях писательницы неверно, хотя обе книги проникнуты искренним стремлением по новому осмыслить роль деятеля культуры в процессах созидания новых форм жизни. Нужно воздать должное остроте реалистического взгляда автора: в деятелях символизма, в их общественном и повседневном бытовом поведении отмечено много смешного, подчас — уродливого и отталкивающего. Гротесковая тенденция в ряде сюжетных линий в обеих книгах несомненна. Однако Форш склонна истолковывать гротесковое и уродливое как неизбежные «накладки» и «издержки» в работе «первооткрывателей». Упадочный, эпигонский, по отношению к худшим сторонам буржуазной культуры, антиобщественный смысл деятельности «вождей» символизма остается вне поля зрения автора. Устанавливается мнимая преемственная связь между творчеством Гоголя и символизмом; и наконец, символизму отводится исключительная роль в формировании духовного облика, воспитания культуры чувств у нового, подрастающего поколения советских людей.

Начало 30-х годов в развитии советской литературы характеризуется идейной и творческой консолидацией всего ценного, что было в литературе, преодолением групповщины на основе нового творческого метода и объединением всех передовых писателей в единый Союз советских писателей, преодолением рапповского сектантства и вульгарно-социологического схематизма. Исключительную роль в процессах идейно-творческой консолидации играет М. Горький, воплощающий в своей организаторской работе наиболее передовые устремления эпохи. Все эти явления объясняются социально-историческими процессами, происходящими в стране, и они, наряду с развитием всего ценного, что было накоплено в творческой практике Форш 20-х годов, обусловливают победу основной, реалистической линии в идейно-художественном развитии писательницы. Новым этапом в литературном движении Форш становится трилогия о великом революционере дворянского периода освободительного движения в России — монументальный роман о Радищеве, работа над которым протекает в течение тридцатых годов (1932—1939).

Жизненный путь и деятельность Радищева прослежены в трилогии начиная с годов ученичества и кончая отъездом в ссылку после выхода в свет «пагубной книги». В романе о Радищеве

находят свое дальнейшее развитие и углубление творческие идеи, волновавшие писательницу и ранее, он ни в какой степени не является неожиданным для творчества Форш, ибо в нем отчетливо проступает новое решение ряда вопросов, поднимавшихся автором и в романах 20-х годов. Никак не может быть недооценена в становлении идейной концепции романа и коллективная практика советской прозы в решении ею исторической темы. В советской литературе к 30-м годам появляется целый ряд произведений на исторические темы, в которых с незаурядной силой ставятся большие вопросы общенародной жизни на материале исторического прошлого, — достаточно назвать здесь только «Петра I» А. Н. Толстого. Стремление воплотить в художественных образах важнейшие для народной жизни исторические конфликты, выявить социальные коллизии, определяющие узловые, решающие моменты национальной истории, характеризует передовой советский исторический роман, новаторская сущность которого так ярко и выпукло обрисована в оценках М. Горького. С этой точки зрения — с точки зрения акцентирования в передовой советской прозе в качестве главного объекта художественного изображения именно наиболее существенных, решающих моментов в историческом и духовном движении народа — становится понятной эволюция творческого замысла Форш. Ещё в 20-е годы был задуман ею роман о передовых общественных деятелях XVIII века, центральной фигурой в нем должен был быть Н. И. Новиков. Творческий рост самой писательницы и углубление исторического видения, общий подъем всей советской исторической прозы к 30-м годам обусловливают то обстоятельство, что роман о борьбе передовых деятелей дворянской культуры с самодержавно-крепостническим строем становится романом о Радищеве: художественно воспроизведенная историческая судьба Радищева позволяла острее и конфликтнее выявить важнейшие исторические противоречия эпохи.

Одной из существеннейших черт поэтики Форш — исторического романиста является влечение писателя к идейным, духовным коллизиям эпохи. Непосредственное протекание борьбы, прямой ход событий изображаются писательницей обычно менее подробно и детально. Воспроизведение их нужно Форш, но в качестве исторической, социальной основы, объясняющей духовную борьбу, которая является главным предметом внимания. В романе о Радищеве рассказывается больше всего о том, как возникла, как появилась, из каких истоков выросла великая книга Радищева. Соответственно этому — главное внимание уделяется изображению тех многообразных фактов социальной и духовной жизни, которые формировали

великого революционера, готовили его к свершению подвига. Сам же подвиг, даже создание книги изображаются относительно меньше. Важна для Форш больше всего та идейная, духовная атмосфера, определяемая социальной борьбой эпохи, в которой становится понятным особое место Радищева, особенный тип его личности, особенный характер его устремлений и особенный общественный резонанс его книги. Первая часть романа целиком посвящена студенческой жизни Радищева, показу Радищева в Лейпциге, завершается она отъездом молодого Радищева в Россию. Легче всего было бы усмотреть в этом попытку писательницы свести вопрос о складывании мировоззрения Радищева к иностранным истокам. На деле это совсем не так, и такое построение целиком обусловлено как раз совершенно обратным по своему значению идейным замыслом писательницы. Бюргерский Лейпциг, ограниченная обывательская среда, окружающая молодого Радищева, резко контрастирует с образом молодого русского революционера, готовящегося к своей великой борьбе. Возможно, здесь есть даже некоторое упрощение и выпрямление характера героя: Радищев резко противопоставлен студенческой молодежи бюргерской Германии, как уже почти до конца осознавший свои цели человек совершенно иного типа. Даже само движение характера, рост его и изменение относительно мало интересуют Форш, — в этом тоже одна из особенностей творческой манеры писательницы. Ее скорее интересует резкое разграничение, противопоставление характеров, которые даются в одной-двух определяющих чертах их идейно-духовного облика, больше в противопоставлении, столкновении разных характеров, чем в становлении единичного характера со всем многообразием оттенков и подробностей движения разносторонней личности. Форш идет на некоторое обеднение личности героя, на некоторую статичность характера, для того чтобы резче подчеркнуть то, что больше всего волнует ее как художника: определенность идейно-духовной позиции героя.

Так, в первой части романа о Радищеве рассказывается о разных сторонах жизни бюргерского Лейпцига — о ханжестве и тупости обывателей, о диких суевериях, о жестокости и лицемерии, о величайшем насилии, производимом над личностью в бюргерской Пруссии (сцена казни), об ограниченности типичных буршей, так похожих на своих тупых отцов, о трудной жизни русских студентов, за которыми самодержавно-крепостническая Россия неусыпно следит и настигает их даже здесь, в Лейпциге, о духовных исканиях передовой русской молодежи (образ Федора Ушакова), об усвоении и переработке того, что может дать передовая западная культура (энциклопедисты, Вольтер, Руссо), — и на всем этом слож-

ном историческом, бытовом, культурном фоне четко и прямо выявлена оригинальная позиция молодого Радищева, уже сделавшего свой основной, никак не совпадающий ни с энциклопедистами, ни с Руссо, вывод. Вывод этот подсказан прежде всего жизнью крепостнической России, которая все время чувствуется за рамками повествования, он подсказан и отталкиванием Радищева от путей развития бюргерской Пруссии и преодолением Радищевым некоторых слабых сторон просветительской философии. В беседе с Ушаковым, доканчивая, довершая мысль своего друга, Радищев говорит: «А ежели притеснение переходит все пределы, то рождается возмущение, выходящее из всех границ. И вот гляди: уже зреет восстание рабов и диктует новому Спартаку, куда и на что их вести». Из всего доступного ему жизненного и идеологического материала Радищев делает революционные выводы.

Вторая часть романа, в которой изображается жизнь Радищева в Петербурге до создания его знаменитой книги, имеет наиболее существенное значение с точки зрения развития основ ее социально-исторической, реалистической концепции. Вся первая половина повествования посвящена показу правящих верхов самодержавной России с самой императрицей во главе. В отличие от «Одеты камнем», в романе о Радищеве крепостничество прямо и непосредственно не изображено. Специфическая жизнь двора Екатерины отражает — во всем своем бытовом уродстве, в сочетании безумной, неслыханной роскоши с ужасающим, педантически расчисленным развратом — грязную практику крепостничества. Образ самой Екатерины построен писательницей без всяких упрощений. Показана цена либеральных фраз императрицы, показано постепенное все более и более точное понимание царицей социального смысла своих поступков, действий и мыслей. Окончательно «прозревает» Екатерина в момент высшей точки крестьянской войны под руководством Пугачева. Потрясенная всем происходящим, явственно ощущающая колебание не только ее личной власти, но и всей системы крепостничества, Екатерина говорит на государственном совете, созванном в связи с осадой Пугачевым Казани: «В столь доблестной дворянской семье и мне пожелалось стать членом. Я с радостью именую себя казанской помещицей». Еще четче осмысляет объективную суть своей позиции дворянская фронда, руководимая Паниными. На том же государственном совете руководитель дворянской оппозиции Н. Панин, предостерегая своих слушателей от недооценки крестьянской войны, утверждает, что опасность для крепостнического строя очень велика, «потому, государи мои, что господские крестьяне явно привержены самозванцу, а крестьяне

заводские отлили ему пушки, качеством превосходящие наши». Разные группировки дворянства объединяются вокруг трона для защиты основ своего существования.

Во второй половине книги «Казанская помещица» показан ход крестьянского восстания вплоть до его поражения и казни Пугачева. Завершается книга описанием поездки Радищева в поместье своих родителей после разгрома крестьянского восстания, не случайно именно в этот момент определяется окончательно жизненная задача главного героя книги: «Радищев давал себе самому горячую клятву, что он положит всю силу, всю волю, чтобы вместо несносного мучительства рождена была рабам вольность». Основой жизненного движения всех главных героев книги, и в особенности центрального, является реальная историческая коллизия, важнейшее историческое противоречие эпохи, ее ведущий классовый конфликт. В этот конфликт втянуты — в более сложных, более жизненно противоречивых формах, чем это было в книгах Форш 20-х годов, — все герои книги. Более углубленное решение проблемы исторических, типических обстоятельств позволяет говорить о дальнейшем развитии реалистической тенденции творчества Форш.

Большая широта реалистического охвата действительности, большая сложность подхода к исторически обусловленному характеру героя сказываются, между прочим, с очень большой силой в решении образов отрицательных героев книги, противников Радищева. Один из наиболее колоритных образов-характеров в романе — Потемкин. Форш показывает человека широкого кругозора, острой мысли, большого темперамента, человека, переходящего от кипучей деятельности к мертвящей хандре. Потемкин в книге — и жадный корыстолюбец и дальновидный политик. Противоречивость этой сложной души доходит до того, что Потемкин явно любуется мощным умом и дерзновением человеческим, читая книгу Радищева. Секрет этой противоречивости — в социальной позиции героя, определяющей глубокий, иссушающий скептицизм, неверие в силы и возможности личности, глубокое презрение к людям, как важнейшие черты внутреннего облика Потемкина: «...к человеку стал холоден, потому что человек жулик и скот и вовек не устроит он себе золотой век. Человек человеку был, есть и будет скот». Здесь мы подходим к центральным психологическим коллизиям книги, коллизиям, вырастающим на четко обрисованной социально-исторической основе.

Положительное и отрицательное в этом романе Форш связано нитями более тонкими, противоречиями более сложно реали-

стически переплетающимися, чем это было, скажем, в «Одеты камнем», где в построении сюжета, конфликта, характеров явственно ощущались элементы мелодрамы и детектива, подчиненные, разумеется, определенному идейному заданию. В «Радищеве» центральной духовной коллизией, как и в книгах Форш 20-х годов, является столкновение людей, по-разному понимающих рост, совершенствование человеческой личности, индивидуальности. Кажется на первый взгляд, что первая книга трилогии, «Якобинский заквас», демонстрирует всего лишь накопление разнородных впечатлений жизни молодым Радищевым, впечатлений, прямо и просто ведущих к осознанию необходимости революционного действия. На деле все обстоит значительно сложнее. Насилие над личностью, ее порабощение, опустошение и уничтожение представляются молодому Радищеву важнейшим и зловещим последствием современных ему общественных отношений. Следовательно, во имя человека надо бороться с социальным злом, которое и необходимо и возможно уничтожить. Но далеко не все соученики Радищева по Лейпцигскому университету думают так. В романе представлена колоритная фигура властителя дум и мод студентов-бюргеров — Бериша. Этот изысканный скептик, так остроумно и зло издевающийся над тупостью и пресностью прусского мещанства, проповедует неисцелимость социальных язв, ибо коренятся они, по мысли Бериша, в самой природе человека: «Уничтожение всех видов насилия еще вовсе не значит уничтожение самого насилия. Его причина бессмертна». В качестве спутника и товарища этого бурша-мефистофеля выступает в романе молодой Гете. Образ Гете дается как образ совершенной художественной красоты («Антиной»). Эта артистическая красота духовного облика достигается подчинением вопроса о совершенстве общественных отношений — совершенствованию личности. Для молодого Гете, по мысли Форш, не существует конфликта между личностью и обществом, он думает, что неверной является дилемма: «Совершенство своей личности и жертва этой личности для других». По мысли Гете, «...в идее первой уже заключена и вторая идея, а потому...» Мысль Гете доводит до логического конца Бериш: «а потому обожайте себя самого на здоровье, мой друг». [1] На внутреннем споре Радищева с этой типичной для немецкой идеологии мыслью об эстетическом

[1] В идейной концепции первой части романа Форш представлена одна, наиболее слабая сторона противоречивой идейно-эстетической позиции молодого Гете. В последующем развитии основных тем трилогии выступает и другая — прогрессивная сторона в деятельности гениального немецкого поэта.

совершенствовании личности как пути к устранению социальных противоречий и движется главная психологическая коллизия романа «Якобинский заквас». Последняя фраза романа завершает эту внутреннюю полемику Радищева с «немецкой идеологией». Уезжая в Россию, Радищев подводит итог своему духовному развитию: «Нет, будь я даже Шекспир, ни к какому бессмертию один я двигаться не желаю». В цитированном выше разговоре Гете и Бериша — Бериш пророчил Гете бессмертную славу преемника Шекспира. Гуманизм Радищева носит общественно-революционный характер — таков итог книги.

Во второй части романа тема совершенствования личности продолжена и развита. Изысканный «мефистофельский» скептицизм Бериша в условиях накаленной социальной атмосферы самодержавно-крепостнической России оборачивается душевным холодом, опустошенностью и предательством Прасковьи Брюс, отношения которой с Радищевым показаны в «Казанской помещице» как продолжение психологической темы, начатой в первой части трилогии; они оборачиваются также хандрой и пресыщенностью Потемкина, ужасающим цинизмом императрицы. Бездушный скепсис — органическая черта психологии и мышления представителей господствующих классов, он неотъемлем от них, в какие бы формы он ни облекался. Мы видим, как усложнилась и реалистически конкретизировалась тема Русанина, Багрецова в творчестве Форш 30-х годов. Довершается тема в спорах Радищева с его друзьями. Искренне хотят счастья народа Фонвизин, Новиков. Но и перед ними основное социальное противоречие эпохи не встает в столь осознанном, трагически обнаженном виде, как оно стоит перед Радищевым, и поэтому Новикову, скажем, более существенным, чем революционное действие, представляется просвещение народа, подготовка людей к новым формам жизни, а не активная прямая борьба за эти новые формы жизни. С особой остротой коллизия революционного действия и личного совершенствования предстает в отношениях Радищева и его друга Алексея Кутузова. Мечтатель Кутузов дается в романе человеком донкихотского склада, он всегда искренен и честен, прямодушен и незлобив, он способен и пожертвовать своей жизнью ради дела, в которое поверил бы, но его бескорыстные и пламенные увлечения на поверку оборачиваются тем же неверием в возможности социального преобразования жизни. Завершает отношения Радищева и Кутузова их встреча в начале третьей части трилогии, в тот момент развития сюжета, когда Радищев уже вполне готов к свершению своего подвига — к созданию своей «пагубной книги». Здесь должны быть произве-

дены последние расчеты с прошлым и поставлены все точки над «и». В этом решающем исповедальном разговоре двух друзей Радищев требует от Кутузова признания того факта, что порабощенный крестьянин имеет такие же права на совершенствование и развитие своей личности, на духовный рост и обогащение, что и дворянин: «...почему не болеешь ты душой за то, что подобная же свобода не предоставлена наравне с тобой и бесправному твоему крестьянину?» Кутузов на это отвечает: «Прежде чем ратовать за вольность, надлежит подготовить к ней души людей». Подготовкой же душ к «вольности» оказывается личное совершенствование. Отказ от революционного действия оборачивается в романе потерей души, личности. В масонских хитросплетениях мысли теряет своеобразие своей личности Кутузов. Высшую, жизненно действенную красоту личности обретает в своем революционном подвиге — создании «пагубной книги» — Радищев. Так завершается эта тема.

Эта же проблема нахождения индивидуального своеобразия личности стоит, по мысли Форш, и перед простыми людьми. Пагубность общественного порабощения, социального насилия в плане духовном сказывается в том, что простой человек, трудящийся, лишается культуры, образования, возможностей личного развития. Эту мысль в романе воплощает образ Середовича, дядьки лейпцигских студентов Власия, образ, проходящий далее через весь роман. Середович не находит себя в попытках приобщиться к прусской бюргерской среде, окончательно запутывают и обессмысливают его существование втягивающие его в свои козни масоны и иезуиты, наконец он попадает в войска Пугачева, и этот период является наиболее высокой точкой его личного развития. Тут Форш напрасно запутывает реальный ход событий тем, что колоритно в целом изображенному Пугачеву приписывает своеобразное «двойничество»: судьба Пугачева ломается в тот момент, когда некий казак на валу прямо в лицо назвал его Емельяном Ивановичем, донским казаком. «Самозванство» Пугачева выводится не из конкретных слабостей крестьянского движения, а из внутренних потребностей «обретения личности», хотя бы и чужой. Делать этого не следовало, ибо символистская тема «двойничества» тут вовсе неуместна. После поражения Пугачева Середович мечется в поисках своего места в жизни, попадает к императрице во время ее знаменитого путешествия на юг с его «потемкинскими деревнями». Здесь опять-таки пределом утверждения себя, своего человеческого достоинства оказывается признание Середовича в том, что он был у Пугачева: «Я буду министр... Министр самого Емельяна Ивановича Пугачева». Наконец Середович попадает опять с Кутузовым за границу

и погибает при взятии Бастилии, применив при штурме крепости некий пугачевский тактический прием и оказав тем содействие восставшим в овладении Бастилией. Образ этот несколько запутан и неправомерно усложнен, но основная идея здесь та же, что и в показе взаимоотношений Радищева с типическими представителями правящих классов: от обезличивающего, опустошающего воздействия насилия и социальной неправды простой человек, так же как и передовой дворянин, окончательно освобождается в революционном действии.

В трилогии о Радищеве есть ряд существенных недостатков. Несколько чересчур «идеологизированный» характер носит основной конфликт, мало в нем прямой драматической борьбы. Мало движения и конкретного жизненного роста в характерах основных героев. Чересчур много внимания уделяется проискам иезуитов и масонов, их деятельности придается не соответствующее действительным общественным отношениям значение. В некоторых сюжетных линиях романа всплывают подчас традиционные символистские мотивы. Но роман в целом построен на прочной социально-исторической, реалистической основе и представляет собой значительный этап в творческом развитии Форш.

IV

В конце 30-х — начале 40-х годов О. Д. Форш работает над рядом рассказов, в которых рисуются иногда колоритные случаи из дореволюционного прошлого, бытовые, а подчас и социальные нелепости старого жизненного уклада («Шапокляк», «Филаретки»), революционная эпоха («Новый памятник»), иногда даются своеобразно схваченные детали нового, советского быта («Два штрафа»). Наиболее ярким и глубоким из этих произведений является рассказ «В Париже».

Две фигуры, две человеческие судьбы предстают перед нами. Мосье Франсуа собирается переводить Маяковского, но он внутренне возмущен непривычностью содержания и формы стихов великого советского поэта. Выступает с чтением своих стихов Маяковский. Буржуазный литератор пленен, увлечен Маяковским — он видит в нем грозного судью буржуазного строя, «ангела мщения»: «Ангел страшного суда, он держит в руках весы правосудия. То же самое грозное лицо». Иным он видится маленькому человеку — Алисе, девушке-манекену из модного магазина, задавленному, опустошенному, почти что духовно убитому человеку: «Он гнал

свои строки неистовым бегом, он испепелял благополучие мещан, он заражал доверием к силе великих идей, которые одни могут дать счастье всему человечеству... Он словно брал в руку свое полновесное слово и доносил до сознания каждого, убеждая, вовлекая в стремительность обновления жизни». Эта огромная действенная сила утверждающих идей социализма, с предельной эмоциональной заразительностью воплощенная и в стихах и в самом облике величайшего поэта революции, духовно выпрямляет загнанного буржуазной жизнью простого человека, дает ему новые силы для жизненной борьбы. Рассказы в целом показывают рост реалистического мастерства Форш, повествование протекает в простой, жизненно достоверной форме, нет здесь ни нарочитого аллегоризма дореволюционных вещей писательницы, ни сгущенной, подчеркнутой гротескности рассказов 20-х годов. Обобщением тех новых идейных и художественных тенденций, которыми характеризуется творчество О. Д. Форш 40-х годов, является исторический роман «Михайловский замок» (1945—1946), как бы завершающий трилогию основных, определяющих творческое лицо писательницы романов («Одеты камнем», «Радищев», «Михайловский замок»). В этом романе получают новое, углубленное звучание все важнейшие темы, волновавшие Форш на протяжении всего ее творческого пути.

В романе «Михайловский замок» изображается трудный период в русском общественном и культурном развитии между зверской расправой самодержавия над Радищевым и новым подъемом общественного сознания после войны 1812 года. Преимущественное внимание уделяется автором процессам культурного развития в собственном смысле слова в эту сложную эпоху. Главными героями романа являются деятели искусства — великие архитекторы Баженов, Воронихин и Росси. Как и в прежних романах Форш, показано драматическое столкновение, напряженный конфликт между подлинной культурой, выражающей в своих специфических формах духовный рост народа, и самодержавно-крепостническим строем, в деятельности Павла доходящим до безумия, полного алогизма в попытках военно-полицейской регламентации и удушения всего живого. В основе романа лежит, таким образом, реальный общественно-исторический конфликт, и роман в целом является новым выражением и развитием реалистических идейно-художественных концепций, характеризующих основную линию творческого развития Форш в 20-е и 30-е годы.

Принципиально новым художественным качеством в «Михайловском замке» является то, что в нем изображаются процессы

развития, роста, общественного воспитания передовой личности, стремящейся противопоставить крепостнической узости, оцепенелости, обездуховленности творческие ценности передовой культуры. Здесь уже не один большой художник противостоит растлевающему воздействию самодержавно-крепостнического консерватизма, как это было, скажем, в «Современниках». Трагична судьба Баженова, гениального архитектора, не увидевшего воплощенными свои основные творческие замыслы; но Баженов не одинок, его замыслы подхвачены и развиты Воронихиным, по-своему продолжающим идейно-художественную борьбу сломленного самодержавием Баженова; дело Воронихина продолжит Росси, человеческое и художественное воспитание которого на широком общественном фоне и представлено в качестве главной сюжетной линии романа. Новый большой художник формируется в результате многообразных общественных и культурных воздействий и выходит на жизненную борьбу — такова центральная психологическая тема романа. Несмотря на обилие драматических и трагических ситуаций, поворотов в отдельных судьбах, роман проникнут подлинным оптимизмом, в нем отчетливо виден поступательный ход истории.

С первых же страниц романа судьба Росси сплетается с судьбой Мити Сверлова, юноши, осознающего в результате жизненных испытаний, перенесенных им, необходимость прямой борьбы с самодержавием и крепостничеством и готовящегося к ней. Полными юных сил и творческой радости созидания предстают перед читателем в начале романа Карло Росси и Митя Сверлов. Немедленно же настигает их большое личное испытание, которое могло бы сломить слабых духом. Митя любит талантливую балерину Машу, которая может купить себе право на творчество только ценой величайшего унижения и позора, посрамления своего человеческого достоинства. Холодной расчетливостью, цинизмом, душевной опустошенностью губит горячую юную страсть Росси светская красавица Катрин Тугарина, готовая пойти на легкую интрижку с красивым молодым человеком после замужества, но предпочитающая брак с тупым крепостником Игреневым. Одна и та же злая общественная сила готовится сломить личное счастье каждого из юных друзей-художников. Оба молодых человека переживают серьезную душевную драму, выводы из нее у каждого — разные по форме и близкие по результатам. Митя осознает, что для создания условий личного и творческого развития человека первейшей необходимостью является общественная борьба, борьба с крепостничеством. Великий город, национальная гордость России, город, художественные богатства которого собирались умножать юноши, — построен

на человеческих костях — такова мысль Мити Сверлова. «Как в сказке, по щучьему веленью, воздвиг его здесь великий Петр. Что людей на работе легло! Дядя Хайлов сказывал, дед наш тут в основание тоже залег. На родных мне костях город наш... Дядя Хайлов монумент Петров с опасностью собственной жизни, как вам известно, спас, ну, а мне уж не украшать город придется, а исправлять в нем великое зло бесправия». Сложность и противоречивость общественного развития открылись заново юноше в его личной драме, и он путям искусства предпочитает путь прямого служения народу.

Иные выводы из своих личных потрясений делает Росси: «Если весь город перестроить в новой дивной гармонии, я уверен — и люди, в нем живущие, найдут в душе своей великий покой. Найдут и порядок и силу самим что-либо сотворить. Ведь все, среди чего мы растем и живем, что видит наш глаз, слышит ухо, — нечувствительно образовывает наши чувства, ум и вкус. А творцом, Митя, каждый человек быть обязан. В чем, как, кем — его дело. Но обязан вырасти из себя самого и создать что-либо». Здесь, в размышлениях молодого Росси, начинающего свой путь в искусстве и уже отягощенного серьезной личной драмой, по-новому предстает перед нами столь излюбленная писательницей проблема соотношения между культурой и деятельностью по революционному преобразованию жизни.

В прежних книгах Форш констатировался факт реально существующего противоречия между искусством и жизнью в старом обществе. Однако работа в искусстве, в культуре истолковывалась часто как результат личного совершенствования, которому крепостнический уклад ставит препоны и тем самым опустошает художественно-одаренную личность. Если человеку удается спасти свою целостность, органичность своего индивидуального развития (что создает предпосылки большого искусства), то это означает одновременно отстранение его от общественной борьбы, — так трактовалась в трилогии о Радищеве фигура Гете, противостоящая Радищеву с его пафосом революционного гуманизма. В «Михайловском замке» деятель искусства должен «вырасти из самого себя», для того чтобы создать что-либо подлинно значительное в самом искусстве. Сама работа в искусстве в основах своих предстает как гуманистическое, творческое служение народу, как одна из форм общенародного движения и развития, исторического, а не только личного, прогресса. Личность и в искусстве, а не только в революционном действии находит себя в подчинении своих устремлений задачам общенародной жизни. В таком направлении развивается центральная проблематика романа. Молодой Росси осознал, в итоге первых

личных испытаний, только начальную часть задачи — «выход из себя». Дальнейшее его общественно-художественное воспитание состоит именно в том, что определяются более конкретно последующие пути служения обществу, народу средствами искусства. Темы народа и культуры, общества и личности — сливаются в одно, в некое нерасторжимое единство в творческой программе Воронихина. По существу главным героем романа является не Росси, проходящий общественное и художественное воспитание, а именно Воронихин, пример которого и определяет окончательно жизненные пути Росси.

Воронихин происходит из крепостных, и окружающих его людей несколько удивляет его кажущийся холод, надменность, видимое безразличие к судьбам своих собратьев по классу. В особенности это удивляет Митю Сверлова, страстно устремленного к ниспровержению несправедливого строя, находящего много сходства в своей судьбе с судьбой Воронихина и поэтому особенно скорбно изумляющегося видимой общественной индифферентности Воронихина. Вершинные пункты в развитии идейной концепции романа связаны именно с фигурой Воронихина. Одной из таких вершин является встреча Воронихина, Росси и Баженова — представителей трех поколений деятелей культуры — у подводящего итоги своей жизни Баженова. Судьбы искусства показаны здесь неразрывно сплетенными с судьбами общества. Воплощение творческих замыслов Баженова разбито произволом самодержавия, кажущейся прихотью Екатерины: «В парадной карете появление императрицы, ее знакомое надменное лицо, не смягчаемое, как на портретах, искусной приветливой улыбкой, а лицо злое, с угрожающе стиснутым властным тонкогубым ртом». Выясняется, что злоба Екатерины на Баженова — не вздорная прихоть самодержавной интриганки: она вызвана опасениями за крепость трона, тревогой за власть крепостников. Возникает органически и естественно радищевская проблематика: «Но что за безумие питать надежду о преобразовании деспотизма в разумную власть рукой самого деспота». Темы свободы искусства и свободы общественной органически сливаются. Для Росси выводом из горестной судьбы Баженова является дальнейшее развитие его идеи о «выходе из себя» в искусстве. Здесь тема уже оборачивается как тема нахождения себя, своей личности в служении «делу», подлинный общественный объем и направленность которого еще не до конца ясны Росси. Вот выводы Росси: «Перед ним только что раскрылась жизнь человека замечательного, и он ярко понял, что каждый рожден как бы начерно, условно названный — человек, но по-настоящему большое это имя каждому

надо еще заслужить. По праву назовется им не за то только, что растет, множится, умирает, а лишь когда найдет *дело* своей жизни и вольет в это дело всего себя, всю свою энергию, отдаст ему свое неповторимое, неотъемлемое лицо».

Конкретизация жизненных путей, которая здесь найдена, — это не просто и не только выход из себя, но и слияние своей личности с «делом» и новое нахождение «неотъемлемого лица» в «деле». Особенность позиции Воронихина в том, что он самое свое «дело» подчинил воспитательным задачам, будущему народа и страны. Здесь уже не «самовоспитание» и «самоусовершенствование» Кутузова в «Радищеве», а воспитание народа большим гуманистическим искусством, большой гуманистической культурой. Позиция Воронихина четче всего выявлена в его отношении к Мите Сверлову. Воронихин вполне осознает, что они с Митей делают общее дело, хотя и разными способами. Когда в решающий момент своей жизни Митя спрашивает, во что же верит Воронихин, великий художник отвечает: «Только в лучшие будущие времена. Не скоро, но таковые настанут. А сейчас вашему поколению надлежит самих себя создавать, *людьми* делаться, такими, которые достойны будут принять лучшее, чем наше, сегодня». Объективный смысл слов Воронихина заключается в том, что большая русская культура должна продолжать дело Радищева своими средствами. То, что воспитательная работа, которую предлагает Воронихин в качестве личного выхода при создавшемся положении, носит характер серьезного, беззаветного служения обществу, народу, — подтверждается в сюжете тем, что, по инициативе Воронихина, довершать свой воспитательный искус Митя Сверлов должен в армии Суворова.

В романе Форш создан художественно значительный, обаятельный и своеобразный характер Суворова. Этот литературный портрет великого полководца является одним из лучших в нашей исторической прозе. Образ Суворова включен автором в общую идейную концепцию романа. Суворов выступает в романе не только в его воинском подвиге, но и в его конфликте с императором Павлом. В связи с художественным раскрытием личных особенностей характера Павла ставится вопрос о том, что характер этот не может быть сведен к одной лишь патологии. Регламентирующее, стремящееся подавить любое проявление личной жизни начало во внутренней политике Павла объясняется не просто особенностями его извращенного индивидуального развития, но отсутствием понимания путей общественного развития. Борющийся со всяким напоминанием об екатерининских порядках, Павел вместе с тем, как и Екатерина, может реально опираться только на вооруженную силу

помещичьего класса. У него нет большой исторической задачи, которая соответствовала бы общенародным задачам. Такое истолкование судьбы Павла дает центральный герой романа Воронихин: «Но если человек, в данном случае Павел, возникающий в нем огонь чувства, пускай даже порой превышающий то, что доступно среднему человеку, отдает одним бесплотным мечтам, ему жизнь не прощает. Павел не имел характера и ума осуществлять необходимые для всеобщего блага замыслы, подобно своему великому предку Петру. Он не двигал жизнь, он не делал никому ее условия легче и прекраснее, напротив того, не понимая законов развития и движения своей страны, засорял ее всяким вздором». Безумие Павла — частный патологический случай, в котором проявляются общие противоречия крепостнического строя. Поэтому Павел приходит в противоречие со всем, в чем есть личная инициатива, творческое начало, историческая закономерность. Гатчинская муштра противостоит реальным интересам страны, и она не может не вступить в конфликт с тем творческим началом, которое воплощено в Суворове. Суворов выступает как представитель реальных государственных интересов России, и поэтому ему присуще совершенно иное отношение к обществу и людям. Конфликт Павла и Суворова сформулирован обобщенно психологически так: «А строптивый фельдмаршал, ему не раз доносили, во всеуслышанье объявлял: действуй неустанно собственным разумом — будешь жив человек!» Взаимоотношения Павла и Суворова полны в романе глубокого и сложного исторического смысла.

Вообще, решая вопрос о воздействии крепостнических отношений на индивидуальную человеческую психологию, на человеческий характер, писательница избегает в новом романе чрезмерно сложных художественных построений, отдаляющих взаимоотношения реальных характеров от прямо питающей их социальной среды, как это было, скажем, в «Одеты камнем». Большее реалистическое правдоподобие характеров и конкретных обстоятельств в «Михайловском замке» позволяет автору более жизненно достоверно показывать конкретные отношения людей. Такой образ, как Катрин Тугарина, свидетельствует об углублении подхода автора к социальной и психологической характеристике героя. Сложное переплетение отрицательных и положительных качеств, движение и изменение личности — вот что ценно в этом характере, созданном писательницей. Катрин в начале романа предстает перед читателем как расчетливое, душевно опустошенное существо, отталкивающее Росси своим циническим отношением к естественным человеческим чувствам. Катрин сама не понимает, что оскорбительного для Росси

было в том, что она предназначала ему роль «друга дома» и даже готова была делить его любовь с подругой, обещавшей содействие ее замыслам. Происходит это потому, что всем своим социальным и индивидуально-человеческим воспитанием она приучена не верить в человеческое чувство вообще.

Обстоятельства складываются так, что судьба невесты Мити Сверлова, крепостной балерины Маши, оказывается в руках Катрин. В момент, когда Маше во что бы то ни стало нужна вольная, ибо она должна ехать к раненому в суворовских походах Мите, Катрин учиняет Маше сложную психологическую пытку, стремясь убедиться в том, что человеческое чувство вообще мираж, нечто несуществующее. На вопрос Маши, на чем же может строиться человеческая жизнь, если любовь, гуманность, возможность пожертвовать собой ради высокой цели реально не существуют, Катрин отвечает: «Исключительно на себялюбии. От себя никуда не уйдешь, себя никогда не разлюбишь, как бы собой ни был недоволен. И вся свобода ваша всегда при вас». Типичный, хотя и умный и по-своему глубокий представитель своей социальной среды, Катрин оказывается способной подняться на некоторое время над социальными предрассудками: она дарит вольную Маше и заявляет, что она сама, «может быть, жертва не меньше вашего»; столкнувшись с серьезным, подлинным человеческим чувством, готова пересмотреть свои убеждения и жизненные навыки. Она сближается снова с Росси, но продолжает проявлять властолюбие, тщеславие, эгоистическую требовательность. Образ дан в реальном развитии и в реальных противоречиях, но строится он иными, гораздо более простыми художественными средствами, чем, скажем, образ Русанина в «Одеты камнем».

В конце романа все его темы сливаются в одну: борьба с крепостничеством за революционное преобразование общества не затихла, хотя она приняла иные формы. Митя Сверлов, хотевший стать живописцем, потерял правую руку. Теперь, пройдя большую школу жизни — в работе и общении с Воронихиным и Росси, в личных испытаниях, в походах Суворова, он не падает духом и окончательно предназначает себя к борьбе с крепостническим строем. Вырос во всех своих жизненных, общественных, художественных перипетиях и Карло Росси. Большая русская культура, духовно подымая народ, содействуя формированию души человеческой, будет так же готовить народ к социальному обновлению. Митя Сверлов едет в конце романа управляющим в имение Давыдовых Каменку — один из очагов будущего декабризма. Росси и Воронихин склоняют свои головы на последних страницах романа над рисун-

ками будущего Казанского собора, который построит Воронихин, продолжая новаторское дерзновение Баженова и формируя творческое сознание Росси. Мрачному образу самовластия — Михайловскому замку — противопоставлен Казанский собор — полный гармонии, света, возвышающей жизненной радости образ одного из величайших творений русского художественного гения.

На пороге своего восьмидесятилетия (1953) О. Д. Форш закончила работу над новым романом — «Первенцы свободы». Роман этот посвящен изображению восстания декабристов и органически завершает целый ряд произведений писательницы о деятелях русского революционного движения. В романе воспроизведены важные события, относящиеся к деятельности как Северного, так и Южного обществ, колоритно изображены главные фигуры движения, события на Сенатской площади, суд над декабристами, последовавшая затем казнь пятерых. Как и всегда у Форш, роман насыщен огромным идейно-духовным материалом, сосредоточенным вокруг выразительно, психологически тонко нарисованных образов Пестеля и Рылеева. Показаны разногласия в среде декабристов и объединяющий их на подвиг освободительный пафос. С особой проникновенностью даны картины трагического крушения и духовной стойкости побежденных, но внутренне не сломленных лучших представителей декабризма. В романе фигурирует и Пушкин, связи и сложные взаимоотношения которого с декабристами хочет показать писательница. Форш стремится создать единый, целостный образ всего движения декабристов. Однако для «Первенцев свободы» характерна некоторая хроникальность, дробность, не всегда достаточно четко ощущается целостная идейная концепция, которая объединила бы многообразный, богато представленный в романе исторический материал. В «Первенцах свободы» в целом развиваются, при изображении новых исторических обстоятельств, обычные для исторической прозы Форш проблемы общественной, культурной и художественной жизни России.

* * *

Исторические романы Форш, как это мы видели в конкретном анализе отдельных произведений, характеризуются целым рядом индивидуально-неповторимых художественных особенностей. В основе того или иного романа Форш всегда лежит значительная общественная проблема. Основные социальные противоречия эпохи даются в резкой, обнаженной, обостренно конфликтной форме. Особое внимание уделяет писательница философским, интеллектуальным, духовным, психологическим коллизиям, вырастающим из

реальных исторических событий. Поэтому писательница своеобразно решает вопросы сюжета, характера, художественного языка. Для романов Форш характерен острый, напряженный, драматически насыщенный сюжет. Такое построение сюжета подсказывается писательнице стремлением предельно точно и драматически выразительно показать те интеллектуальные, духовные столкновения, которые являются преимущественным предметом ее внимания. Особенным образом строит Форш характеры своих героев. Так как в ее романах обычно повествуется о больших явлениях русской культуры и русской общественной мысли, то характер героя — будь то реальное историческое лицо или созданный творческим воображением писателя, проникшим в изображаемую эпоху, вымышленный персонаж — насыщен большим материалом интеллектуальной, умственной жизни. Характер героя у Форш чаще всего несколько статичен. Умственное богатство положительного героя постепенно развертывается перед читателем. Характер этот определяется больше в интеллектуальных столкновениях, чем в наглядных, зримых, чувственно-конкретных проявлениях. Поэтому характер часто несколько односторонен, развернут не столько вширь, сколько вглубь. Несколько иначе, как мы видели, строятся сюжет и характеры только в «Михайловском замке». Подобное решение проблем сюжета и характера следует считать не недостатком, а индивидуальной особенностью писателя, связанной с содержанием того или иного произведения.

Творчество Форш отличается глубиной, содержательностью, широким охватом разных явлений исторической жизни, ярким своеобразием индивидуальной творческой манеры. Без прозы О. Д. Форш невозможно представить себе общие процессы развития советской художественной литературы. В особенности это относится к области советского исторического романа, одним из крупнейших мастеров которого является старейшая советская писательница Ольга Дмитриевна Форш.

Павел Громов

ОДЕТЫ КАМНЕМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I
БЫВШИЙ ЧЕЛОВЕК

12 марта 1923 года, в день, когда мне, Сергею Русанину, стукнуло восемьдесят три года, произошло нечто, добившее в корне мои чувства монархиста и дворянина. Одновременно с этим пал последний запрет с моих уст предать гласности то, что хранил я в безмолвии всю жизнь. Но об этом потом...

Я родился в сороковом году, пережил четырех императоров и четыре крупных войны; из них последняя — беспримернейшая и мировая. Я служил в кавалерии, отличался на Кавказе и пошел было в гору, но в 87-м году одно событие меня выбило из седла, так сказать, без возврата в первобытное состояние. Я вышел в отставку и зарылся отшельником в своем имении, пока в революцию его не сожгли. Наше Угорье — Н-ской губернии, рядом с бывшим имением Лагутина.

Вместе дедушки покупали, вместе бабушки обсуждали, что, дескать, подрастут: у одних внук, у других внучка и, соединившись узами Гименея, естественно, сольют воедино угодья. В таком расчете и в соответствии с планом местности и покупали дальнейшие десятины.

Да, вместе росли, играли, учились я и Вера Лагутина. В семнадцать лет соловья слушали и кое в чем обещались навеки. И вышло бы все так, как тогда выходило, по родительскому предрешению с отвечающим расположением взаимности, если бы не собственная моя дурость. Сам себе яму вырыл.

Привез я на последние каникулы своего товарища Михаила. В 59-м году поступил он к нам из киевского Владимирского кадетского корпуса прямо на третий курс, а мы все — из столичных кадет, косились на провинцию. Да и нелюдимый он был такой, все читает. Из себя же весьма пригож, вроде итальянца: глаза горят, а брови союзные. Родом он был из Бессарабии; по отцу не то румын, не то молдаванин.

Про наружность Михаила в архивных о нем изысканиях нет ни слова, да и не мудрено. В тюрьме запечатлевают того, кому хоть когда-нибудь суждено быть на свободе, на случай, если он опять в чем-нибудь попадется. У Михаила же судьба иная: о нем, на протяжении двадцати лет, каждое первое число месяца шел государю доклад: там-то сидит такой-то...

И каждый раз государю благоугодно было подтвердить собственный приказ от 61-го года, 2 ноября, об оставлении Михаила в одиночном заключении в п р е д ь д о о с о б о г о р а с п о р я ж е н и я.

Типографии эти последние слова надлежит всегда брать вразрядку, чтобы хоть своим внешним видом, отличным от однородного шрифта страниц, одернуть равнодушного читателя, преданного одним собственным радостям и страданиям.

Внимание, читатель, внимание! Особого распоряжения не последовало ни-ко-гда!

Заключенный без суда и без следствия, по одному собственному оговору, прекраснейший юноша свои юные и зрелые годы до самой смерти провел в одиночестве в Алексеевском равелине.

Последующему царю Александру III директором департамента полиции Плеве был представлен все тот же доклад, и записано высочайшее повеление: если узник пожелает, выпустить его и свезти в далекие малолюдные места Сибири на жительство.

Правдоподобно допустить, что, при общей системе жестокого лицемерия, начальник тюрьмы представил эту резолюцию давно безумному человеку, забывавшему даже собственное имя. И в ответ на торжественно прочтенную бумагу, вызывая хохот сторожей, Михаил, должно быть, нырнул под койку и плотно забился к стене,

как проделывал он позднее в сумасшедшем доме в Казани, когда входил в одиночку к нему человек.

Не проделал он этого только при последней встрече со мной и лишь потому, вероятно, что прыгнуть с койки у него уже не было сил. Ведь это был его последний, смертный час. Но ужас его раскрытых глаз при виде близко подошедших людей и смертная мука замученного, которому бы убежать от мучителей, — это все со мною с утра и до вечера, все часы моей жизни.

И как могло быть иначе? Ведь не кто иной, как я, истинный виновник этой беспримерной, превышающей силы человека, одинокой и ненужной гибели.

Иной читатель, прочтя мои записки, скажет, что состав моего преступления, так сказать, психологический и что строжайший суд меня бы оправдал. Но разве не известен читателю случай, когда иной даже совсем безответственный человек, оправданный единогласно присяжными, кончал с собой, засудив себя судом собственной совести?

Загадочность судьбы Михаила давно волновала исследователей. Один из них, желая раскрыть тайну этой русской Железной Маски, еще в 1905 году обращался в печати ко всем, прося дать хоть какие-нибудь сведения, проливающие свет на это дело. Я заболел нервным расстройством, но сведений не дал.

Я еще не был готов. Я еще был не тот, что сейчас. Я не мог сказать громко: предатель Михаила Бейдемана, заключенного без суда и следствия в Алексеевском равелине, — я, Сергей Русанин, его товарищ по Константиновскому училищу.

Совсем недавно собраны и оглашены подлинные архивные документы об особо важных, доныне таинственных узниках.

Иван Потапыч, мой хозяин из общежития, приносит книжку, другую. Принес и эти листки. Сам прочел и дал мне: вот, говорит, житие многострадальных людей; хоть и злоумышленники они, а без слез не прочесть.

Взял я, многократно прочел... О, как жестоки, как обличительны неподкупные события в кратких сведениях о Михаиле! Земля ушла из-под ног. Некая громада рухнула, придавила. Так, верно, бывает, когда минер той самой миной, что им заложена, чтобы взорвать

неприятеля, взрывается сам. Шестьдесят один год тому назад была заложена моя мина.

Да, конечно, не мне, старику, пережившему четыре царствования четырех императоров, было безнаказанно переживать революцию.

Зачем не погиб я с доблестью, как погибли товарищи, на поле бранном или по приговору Ревтрибунала, как несокрушимый, но честный враг? Кем войду я в память потомства? Как назовут?

Но будь что будет: мой час пробил, и я все расскажу.

От производства шестьдесят первого года сейчас нас осталось два константиновца: я и Горецкий 2-й, генерал-от-инфантерии, кавалер Георгия высшей степени при золотом оружии. Ныне Горецкий 2-й с трудкнижкой — Савва Костров, гражданин города Велижа, надзиратель в театре за мужской уборной.

Наголодавшись, он доволен тихим местом, хвалится, что порядок навел образцовый, а чаевых столько, что хватает ему на халву. Человек, в свое время проевший два состояния, ныне, как маленький, рад фунту халвы.

В последнюю встречу я спросил его: «А помнишь ли, братец, атаку аула Гильхо?» Взбодрился, замахнулся, как саблей, старой шваброй, которой тер изразцовый пол своего учреждения. Подробно вел речь. Но вот генерала назвал он неверно. Не Войноранский, а сам он, Горецкий 2-й, в безумной вылазке взял этот аул.

Старик пропустил себя, забыл свое имя. Михаил Бейдеман в безумии звал себя — Шевич, запомнив случайную надпись на стене, а я... да неужто исполнится надо мной то предсказание в Париже?

Но это не к делу. Хотя, конечно, как говорят китайцы, предав гласности мои записки, я потеряю свое лицо.

Еще при жизни выпадает на долю иного человека умереть и будто жить снова. Вернее, какой-то оставшейся силой, объедками себя самого, таскать, пока оно не истлеет, свое изможденное тело.

Горецкий 2-й на коне, перед войском, сабля наотмашь, — так его печатали полвека назад, — и он же блюститель уборной.

Я дал ему на четверть фунта халвы, когда недавно, прощаясь, поцеловал его, единственного, который знает меня как Сергея Русанина.

Когда рукопись эта появится в свет и о том, кто был я в отношении к другу, узнает всякий, надо надеяться, я не буду в живых.

Вон оно предо мною — роковое мне изыскание о судьбе Михаила! В комиссию архивных работ пошлю и я свою лепту. В ней будет заключаться как раз то, чего узнать невозможно ни из каких источников, кроме одной моей погибшей души.

Я живу в большом доме, имеющем историческое прошлое. В зале его с лепным потолком бывали блестящие балы, а у меня первые успехи в свете. Позднее, при переходе дома в частные руки, я там продувался на бильярде Горецкому, который без промаха резал шара и в среднюю лузу и в угол и знаменит был своими клопштоссами. Там же, в отдельных кабинетах, мы напивались до положения риз, и лакеи, завернув нас в николаевки, развозили под утро домой.

У меня кутежи эти были припадками от невыносимых страданий несчастной любви к Вере, — о ней повесть ниже. Особенно бесшабашен был я в тот год, когда Михаил прямо из войск Гарибальди, едва вступив на границу Финляндии, пропал без вести и, как сейчас только стало известно, уже на веки вечные был замурован в каменный мешок равелина.

Но вернемся к порядку дня, как сейчас говорят...

Ныне я помещаюсь на третьем дворе, в самом поднебесье этого многопамятного мне дома.

Меня взял жильцом-нянькой к внучатам Иван Потапыч, бывший лакей последнего владельца.

Ивану Потапычу всего шестьдесят лет, и он крепкий старик-бобыль с двумя девчонками. Невестку с сыном унес тиф, дети сами пришли к дедушке, — куда же им еще?

Здесь, в доме, общежитие и столовая. Потапыч ходит мыть посуду, за что повар ему отпускает обед: супа — три порции, второго — две. Одной тарелкой с ломтем черного хлеба я сыт, пусть едят молодые. А к детям я привязан. В эти страшные годы только с ними забывался порой.

Ну, сейчас не до них; впрочем, и я им не нужен после того, как отвел их в школу. Со второго дня они пошли сами.

Потапыч день-деньской при посуде, говорит: «При нэпе все взбогатели, опять пачкают и мелкое и глубокое».

До сумерек в комнате никого. Когда я не на промысле, то можно писать. А промысел мой один — подаяние. Я хожу вдоль Невского по теневой стороне, от Полицейского моста до Николаевского вокзала, норовлю на трамвае обратно. Беда с ногами, пухнут ноги-то!

Когда прошу, много знакомых лиц вижу; все тем же заняты. Они меня не знают, а я узнаю. Хотя сам я, как сказано, давно выбыл из строя, но, приезжая в столицу, новым ходом жизни интересовался. Показывали видных людей, называли...

Ну, а сами-то небось знают друг друга досконально. Но, хотя и с протянутой рукой, бывает, столкнутся, — а все будто незнакомые. Так им легче.

Вот товарищ министра, да какого... продает газеты. Среди них — ныне модный «Безбожник». Ежели у покупателя вид неопасный, вроде прежнего, продавец не удержится, скажет: «Это вам стыдно, гражданин, покупать». А когда ему обратно: «А продавать вам не стыдно?» — вспыхнет, уйдет бородою в пальтишко, прошепчет: «Мне неволя!»

Однако зря я болтаю все. К делу. Затруднительно мне сейчас выражение мыслей плавное и в последовательности. Все я с детворою, и у самого речи детские. Но предполагаю так: не стесняя естественности изложения, буду писать, как пишется, без отсекновения само собой вступающей современности. Перед отправкою рукописи в «Архивные изыскания» сделаю выборку и приведу все в отменный порядок, имеющий в виду одну цель: по мере возможности воскресить многострадальную память друга.

Для экземпляра, предназначенного гласности, коплю белую линованную бумагу первейшего сорта, для чего удвоил свою прогулку по Невскому, предприняв ее по солнечной стороне. А в трамвае платном я себе отказал. Если кондукторша не везет христа ради (а «подайте безработному товарищу», как ныне принято, я не прошу), то на ближайшей остановке слезаю и тихо бреду, как пес, в свою конуру.

Все сторублевки коплю я на бумагу, перо и чернила для чистового. Этот же черновик предпринимаю на обратной стороне страховых квитанций былого Центрального банка. Квитанции эти наши девочки в обилии натаскали из нижнего этажа.

Пойдем же, читатель, шаг за шагом за мной по скорбным следам Михаила, со дня нашей с ним первой встречи. И прежде всего к Обухову мосту, где стоит наше училище. Там были мы юнкерами, оттуда были выпущены в один и тот же Орденский полк.

Наше училище мало изменилось с тех пор. У него все тот же благородный фасад, с александровской колоннадой; только проспект, на котором он стоит, переименован в «Международный», как отражающий революционное время, и на самом училище значится красными буквами так: «1-я артшкола».

Но попрежнему возглавляют окна первого этажа львы, держащие в зубах кольца, а повыше — шлемы с перьями. Две пушки при входе — не наши, это после переименования училища в артиллерийское. В мое же время оно было пехотным, так что присвоены нам были винтовки, и ходили мы держать внутренний караул во дворец, посещали балы в институтах, словом — были на положении гвардейских училищ. От этой близости к жизни двора, от чтения заграничных изданий, в частности проклятого «Колокола» господ Огарева и Герцена, — вся трагедия Михаила. Но о ней — в свое время...

На входных воротах училища и сейчас щиты со скрещенными секирами, а за каменным желтым забором — тенистый сад. Белые легкие березки ныне разрослись в два обхвата.

Круто замешены люди нашего века: пережить то, что пережил я, а память не только свежа: все, что ни вызовешь, — оно тут как тут, перед тобою.

Я помню план нашего сада, всматриваюсь, узнаю: да, конечно, это они. Вот те два стройных клена среди лип, знак краткой дружбы с Михаилом. Помню, как мы прочли вместе Шиллера и в честь Позы и Карлоса, — а я, с своей стороны, подразумевая нас обоих, — посадили эти два деревца.

О, сколь знаменательны порой и чреваты содержанием иные выражения чувства!

Я зашатался, кружилась голова. Острой болью рвануло сердце. Опираясь на палку (спасибо внучкам Потапыча, что приделали к ней резиновый наконечник, не скользит больше палка), я сел на тумбу против забора.

Афиши рябят перед глазами: «Общество друзей воздушного флота»... «Призыв к красной деревне красных инструкторов»... «Реформа старой церкви». И тут же превыше всего с разноцветными какими-то змеями: «Синтетический театр». От трапеции до трагедии покажет все один, как есть, Кобчиков...

И как это управится он один? Прыгает в бедной моей голове, и кажется мне, что я с ума сошел. Не вместить мне, не выдержать своих мыслей. Ведь рядом с тем, что кругом себя вижу, возникает еще с большей яркостью то, что сметено историей в могилу. Сметено, да не забыто!

Помню нашу первую встречу. Я достаивал штрафной под часами за опоздание на молитву, когда Петька Карский, пробежав мимо, крикнул:

— Из Киева к нам хохлов привезли, а с ними сам черт, ей-богу.

Новичков провели мимо меня в баню. Их было четверо. Трое, как говорится, без особых примет, но последний, высокий и тонкий, с черными бровями, был весьма приметен. Еще выделялся он тем, что ни в одном движении у него не было общей всем нам фрунтовой невыразительности.

Голова чуть закинута назад, шаг свободный, и на бледно-матовом лице, с резкою, как бы углем обведенною бровью, печаль и задумчивость. Мне он показался очень красив и понравился.

В этот же день вечером произошел наш первый знаменательный разговор с Михаилом. Оказалось, что кровать его рядом с моей. После ужина и молитвы юнкера в дортуаре одни, и это было наше самое любимое время.

Хотя карты строго воспрещены, но, разумеется, у каждого под матрацем колода, и сейчас, пользуясь бесконтрольностью, дуются. Для отвода глаз, на столе целая фортеция библиотечных книг, и по жребию выбранный читает вслух. На этот раз чтение было не только отводом глаз: вокруг выбранного густо сидели

на скамьях и на столе, жадно слушая увлекательные главы «Князя Серебряного». Роман еще не вышел из печати и в редком рукописном экземпляре попал от приятеля автора к юнкерам.

— И охота жевать расписной пряник на розовой водице, — сказал досадливо Михаил, проходя к своей койке. Ни чтец, ни слушатели не обратили на эти слова внимания, но я их себе очень отметил.

Я слышал от тетушки моей, графини Кушиной, что недавно весь двор восхищался «Князем Серебряным», которого автор самолично читал на вечерних собраниях у императрицы. По окончании чтения императрица поднесла графу золотой брелок в форме книги. На одной стороне стояло «Мария», на другой: «В память «Князя Серебряного», и в образах муз портреты прекрасных фрейлин-слушательниц. Правда, князь Барятинский нашел роман этот пустым, но это, конечно, была лишь понятная зависть одного светского человека к светским успехам другого. Но Михаил ведь ни по рождению, ни по вкусам не стремился к придворной жизни. Какой же зуб он мог иметь против графа Алексея Константиновича Толстого?

Я лег в свою постель рядом с постелью Михаила и, видя, что он еще не спит, я спросил его о значении брошенной им фразы. Он разъяснил охотно и без всякого высокомерия, как я ожидал:

— Видите ли, сам граф Толстой, как мне доподлинно известно через одного близкого ему друга, говорил, что, изображая обезумевшего от власти деспота, он часто бросал перо — не столько от мысли, что мог существовать такой Иоанн Грозный, сколько от мысли, что могло существовать общество, которое терпело его и ему покорялось. Но этого своего гражданского чувства он в роман не перенес, а покрыл его сусальною позолотой. Вот на трилогию, которой он теперь занят, надеюсь я более.

— А я слышал, что эта трилогия — затея предерзостная и едва ли будет одобрена нашей цензурой.

— Очень возможно; в трилогии, хотя прикровенно и косвенно, но как-никак убивается самодержавие, — сказал Михаил. — Конечно, это в случае, если будет таково выполнение, каков проспект, поведанный графом

в кружке приятелей. Опять Иоанн Грозный, в угоду своему тиранству, попирает все права человеческие. В лице царя Федора, лично высокого, развенчание царской власти как таковой. Борис Годунов — реформатор. Но борьба за власть убьет его волю и сведет с ума... Да, подобное произведение сейчас, накануне реформ, когда писатель-гражданин так желателен, можно приветствовать.

И с особой выразительностью он произнес:

— Ведь наверху раньше всех должны понять, что реформы и самодержавие несовместимы! Начав делать реформы, надлежит отказаться от самодержавия, которое есть злая ложь.

В окно смотрела луна прямо в лицо Михаила. С пламенными глазами и вдохновительной бледностью оно было и прекрасно и страшно.

— Я возмущен вашими словами, — сказал я, — и даже не позволю себе понимать их во всем их значении. Они меня оскорбляют.

— Вот как? Это мне любопытно! — и Михаил, приподнявшись на локте, с вниманием меня оглядел, как будто увидел впервые.

Это была его особенность. Он не различал людей, когда говорил. Так сильна была его собственная внутренняя жизнь, что, лишь встречая противодействие, он, как степной конь, наскочив на препятствие, взвивался на дыбы и сверкающим оком глядел, куда ему дальше ступить. Впрочем, у него было много природной мягкости и нежелания задеть лично.

— Отчего же вам оскорбительны мои мнения?

— Мои противоположны, — сказал я. — Моя тетушка, графиня Кушина, заменившая мне мать, воспитала меня не только в чувствах верноподданного, но и в религиозном обосновании этих чувств.

— У вашей тетушки бывают славянофилы? — прервал меня Михаил.

— Не они именно, но писатели, не чуждые им, бывают. Вот не хотите ли пойти со мной туда в первое воскресенье?

И сейчас не могу понять, как это я мог позвать Михаила. Впрочем, пугаясь бестактности, которая могла бы легко возникнуть по причине его дерзких суждений, я, спохватившись, тогда же сказал:

— Предупреждаю вас, моя тетушка против немедленного освобождения крестьян, так что для вас многое в ее гостиной может оказаться не по душе.

— Это нимало меня не смущает, — возразил Михаил. — Чтобы вернее разбить врагов, их надо видеть вблизи!

И, засмеявшись, он сверкнул мелкими белыми зубами.

В нем как-то не было переходов. Начиная с шага внезапного и резкого, все, до черных бровей на белом лице, до прыжков речи от угрожающей к детски доверчивой и простодушной, все обличало в нем, как теперь принято выражаться, глубокую неуравновешенность души. Но, быть может, как раз это его качество и притягивало меня, выросшего в дисциплине строжайшей, неодолимым очарованием. И, как внезапно ввел я его в недра нашей семьи, так некий злой гений двух наших судеб толкнул меня не только познакомить его с отцом Веры — Лагутиным, но и рекомендовать его отменнейшим образом, — причина, почему чуть ли не с первого знакомства Михаил получил приглашение приехать на каникулы в лагутинскую усадьбу.

Глава II

ТЕТУШКИН САЛОН

Библиотека моей тетушки, графини Кушиной, где велись воскресные разговоры, была комнатой, обличавшей пристрастие хозяйки к наукам оккультическим. В такой комнате мог бы проповедовать граф Сен-Жермен и начать свои успехи Калиостро.

Над бархатным угловым диваном шли в причудливых рамках картины, вскрывавшие, по свидетельству тетушки, символику девяти Дантовых адских кругов. Самого Данте тетушка относила к адептам того же тайного ордена, к которому, по намекам, принадлежала и она с юных лет. И вот почему, указуя на противоположную стену, украшенную диаграммой ее собственноручной работы, а может быть и измышления, тетушка любила сказать:

— Мое вдохновение совершенно подобно вдохновению Дантову, и ежели б этого он не признал, то уж, конечно, не стал бы давать мне знак утверждения, троекратно стуча ножкой столика.

В эту зиму сделалось модным верчение столов и общение с духами, чем, как известно, увлекались не одни поэтические головы, подобные Федору Ивановичу Тютчеву, а люди значительно посолидней.

Диаграмма тетушки, которую называла она: «Птоломеева система, применительно к государству Российскому», занимала всю стену и по первому взгляду казалась огромной мишенью, какие бывают в тирах летних садов — развлечения для стрельбы в цель.

По лазурному атласному фону, долженствующему изображать небесную сферу, шел огромный белый круг, включающий в себя, с небольшими просветами, еще несколько концентрических кругов. Все круги были нашиты тетушкой на первоначальную сферу небесной лазури. Помнится мне, яркожелтый круг, включенный в круг белый, достоинства божественного, обозначал самодержавие, а в дворянский, травянисто-зеленый, цвета надежды, включен был круг черный, круг труда землепашца. Все круги были отменного материала, обметаны чудесным тамбурным швом и включены, как пасхальные яйца, друг в друга. Получалась приятная глазу и завлекающая воображение выразительность.

И, поясняя диаграмму своей маленькой ручкой в перстнях, говорила тетушка какому-нибудь стороннику немедленного освобождения крестьян:

— Как это ты, батенька, хочешь расстроить гармонию русской сферы? Едва один кружок выхватишь — ан все и отпорются. Тамбурная строчка на том и стоит, что петля в петлю вяжется: тут либо все сохрани, либо чуть тронь — пойдет прахом.

У тетушки в библиотеке бывал писатель Достоевский, или — как тогда звали его в нашем кругу — Достóевский. В то время первоклассным его никто не почитал, а, переводя оценку литературную на более мне обычную в военных чинах, не совру, ежели скажу, что ходил он, приблизительно, не более, как в майорах. Григорович против него был полковником, а уж генералом — как тетушка раз навсегда решила — Иван Сергеевич Тургенев.

Soirées[1] тетушки распадались обыкновенно на две части. Первая, так сказать разговорная часть протекала

[1] Вечера *(франц.)*.

в библиотеке, завершаясь легким чаем, вторая — был ужин в парадной столовой для связей сердечных и родственных.

В библиотеку вхожи были люди разного чина и звания, но к ужину оставались строго свои.

И библиотечные гости сами знали, что званы только на чай, после которого прощались с хозяйкой.

Взяв на свой страх появление Михаила, я дорогой просил его выражать свои мнения без резкости, а того предпочтительней хранить их про себя.

— Не беспокойся, — сказал он мне, — будущий деятель обязан учиться и наблюдению.

После этого разговора о «Князе Серебряном» мы на другой же день с Михаилом стали на «ты». Как будто по взаимному уговору, мы больше с ним в политические споры не вступали, безотчетно не желая расстраивать тех не подверженных человеческой воле симпатических нитей, которые, по неисповедимым наукой причинам, как в любви, так и в дружбе притягивают иной раз ни в чем не сходных между собой индивидуумов.

Не происходят ли такие пересечения с людьми по предначертанию каждому данного гороскопа, чтобы совершились над каждым все ему присужденные в нашей грустной юдоли испытания? Из дальнейшего будет видно, что с нами обоими вышло именно так.

Мы вошли в библиотеку. Михаил с нарочитым почтением подошел к ручке тетушки, на что та в ответ благосклонно сказала ему, по своему обычаю обращаясь на «ты»:

— А, Сережин приятель! Что же, послушай нас, стариков, да на ус намотай. Аль не выросли?

Тетушка — в седых буклях, с яркими глазами — одевалась всегда в черный шелк с воротником драгоценного кружева. А ручки ее были в перстнях с амулетными камнями. Постоянство избранного ею облика и чудачества выделяли тетушку из других дам ее круга, подверженных изменению моды, и придавали ей интересность загадки.

В библиотеке, кроме отца Веры, Эраста Петровича Лагутина, осанистого старика, сегодня были мне сплошь незнакомые новые люди: нарядные дамы, много военных и бледноликие «архивные» юноши. Последние еще

Пушкиным остроумнейше аттестованы так: «Стоит их тронуть пальцем, дабы полилась из них всемирная ученость, ибо они всё знают, они всё читали».

Когда мы вошли, эти юноши друг за дружкой, как молодые борзые, еще не умеющие травить зайца, накидывались на невысокого средних лет человека, стоявшего спиной у окна. Он отвечал им с поразившим меня раздражением и совсем не в той манере, какая принята для светского разговора.

— Это Достóевский! — шепнула мне тетушка, зараз и с гордостью и с снисходительным извинением, как о человеке, не знающем обычаев нашего круга.

— Да, я написал это в статье и повторять не устану, надо веровать, что русская нация — необыкновенное явление всего человечества! — выкрикнул Достоевский.

На слова «всего человечества» он так сильно нажал, будто собирался навеки вдавить их в лоб слушателей. Я заметил — это многих покоробило: всякая подчеркнутость для светских людей — признак дурного тона, а он словно весь был подчеркнут. Движения угловаты, голос глух и без основания выразителен. Словом, в нем не было и тени той одаряющей приятности, благодаря которой человек, на деле вам ничем не помогший, запоминается вами с благодарностью навсегда.

— Как это вы, сударь, сказали? Мы, русские, явление в истории человечества? — разъярился вдруг один почтенный, очень европейский старичок. — Как? И даже при условии, что в семье цивилизованных народов мы всего без года неделю, да и то под понукой дубинки Петровой?..

— À propos,[1] — прервал другой старичок, давнишний поклонник тетушки, как опытный светский рулевой торопясь перевести колючий разговор в спокойное русло, — à propos, — кто помнит, господа, как недавно Погодин убил наповал одну славянофильскую музу, осуждавшую между строк как раз вот эту дубинку Петрову?

Архивные юноши пустились наперебой приводить цитату Погодина. «Хоть каша, замешенная Петром, и солона и крута», — начал один, а другой на лету словно

[1] Кстати *(франц.)*.

блюдо выхватил: «...да по крайности есть что хлебать, есть чем быть».

Положение было спасено, и светский салон не утратил своего легкого порхающего характера без углубления в тяжелые материи во вкусе учителей-бурсаков, если б не легкомыслие кузины.

— Почему именно русским вы отдаете такой преферанс перед англичанами и французами? — сказала она и наставила на Достоевского свой черепаховый лорнет.

По началу Достоевский ответил даме как бы шутя:

— Англичанин, сударыня, до сих пор не любит видеть никакой разумности во французе, и обратно — француз в англичанине. И тот и другой в целом мире замечают лишь себя самих, а всех других мыслят как себе личное препятствие...

Но уже через минуту Достоевский забыл и о барыне и о салоне. Отдаваясь потоку собственных заветных мыслей, он, как ураган, смял плотину всех светских обычаев. При этом, не соразмеряя силы своего голоса с комнатой, он пустился громить, как с трибуны.

— Таковы все европейцы. Идея общечеловечности все более стирается между ними. Вот причина, почему они совершенно не понимают русских и величайшую особенность характера нашего, способность всечеловечности они называют безличием. Сейчас особенно, когда христианская связь, соединявшая народы, с каждым днем теряет свою силу, сейчас особенно необходима...

В эту минуту случилось необычайное для нравов салона.

Михаил, не сводивший горячих своих глаз с говорившего, забыв все свои обещания и то, где он находится, шагнул вдруг на середину комнаты и, не владея собою, крикнул:

— Если прежняя связь, соединявшая народы Европы, слабеет, то это лишь признак того, что связь старую должна сменить новая — социализм!

Это был удар грома. Ахнули дамы, перешепнулись архивные юноши, тетушка грозно встала. Один лишь Достоевский, слегка побледнев, с интересом глянул на Михаила и сказал:

— Наш спор с вами длинный, зайдите ко мне как-нибудь...

Неизвестно, каков был бы финал этого фармазонского выступления Михаила, если бы не подоспела на помощь одна не относящаяся к делу случайность.

Лакей, подносивший тетушке чайный поднос, где был огромных размеров английский чайник кипятку, поскользнулся и должен был обварить Лагутина, сидевшего рядом, если бы не Михаил. Он стоял сзади и одним порывом заслонил собою старика. Весь чайник кипятку, таким образом, он получил на свою правую руку, которая немедленно стала багрово-алой.

Дамы разохались, тетушка принесла мазь и бинты и, властно засучив рукав Михаила, стала делать ему перевязку.

Здесь я должен оговорить одно, как бы пустяковое, но для дальнейшего крайне важное обстоятельство: немного выше запястья у Михаила была черная родинка, по форме совершеннейший паук. Как пером, отмечены были на белой коже тонкие ножки. Паук этот — следствие испуга матушки Михаила, когда она им была в тягости.

Паука этого одна сердобольная девица, — как сейчас помню, — слегка пискнув, пыталась смахнуть кружевным платочком с руки Михаила, в ответ на что он превесело рассмеялся и рассказал происхождение диковины.

Гости изъявили сочувствие пострадавшему, шутили над пауком и девицей. Михаил отшучивался и просил тетушку помиловать лакея, его обварившего.

Так в светском обществе ничтожное обстоятельство меняет впечатление от всей личности. За минуту подозрительный и пренеприятный юноша стал вдруг всем мил и любезен.

— Молодой человек, — сказал Михаилу старик Лагутин, нюхая из табакерки с той вельможной жеманностью, как это умели делать одни лишь старинные люди, — вы спасли мне больше, чем жизнь. Вы спасли меня от ужаса быть ridicule.[1] Сегодня мне надлежит появиться на рауте в Михайловском дворце, а с лысиной, вздувшейся пузырем, я бы принужден был сидеть дома, обвязанный платком à la московская просвирня.

Достоевский откланялся и, проходя мимо, еще раз сказал выразительно Михаилу:

---

[1] Смешным *(франц.)*.

— Итак, я вас жду для дальнейшего спора.

Михаил молча ему поклонился.

В салоне стало весело: остряки подробно вычисляли возможный полет чайника и смехотворно выводили, у кого и что именно должно было быть обваренным, если б не смелая интервенция Михаила.

На прощанье тетушка ему сказала:

— Приходи с Сергеем еще; хоть ты, батюшка, и зубаст, да зато не квелый, как архивные. Ну, дай срок, мы тебе зубы обточим. Ты из киевского корпуса, говорил Сергей; знаем, чьи это штуки...

Тетушка намекала на известных киевских педагогов: одного — родню Герцена, другого — учителя словесности с вреднейшим направлением.

Михаил, к радости моей, ничего не возражая, лишь вторично приложился тетушке к ручке.

Да, я опять должен оговорить второе примечательнейшее обстоятельство: среди гостей присутствовал один человек, на которого обваренная рука Михаила не произвела вовсе действия, смягчившего и даже как бы совершенно затушевавшего его дерзкую фразу о социализме. Человек этот был молодой блестящий генерал, граф Петр Андреевич Шувалов, начальник III отделения, высокий красавец с таким правильным и породистым лицом, что в своей неподвижной белизне оно казалось отлично раскрашенным мрамором. В движениях его не было ничего лишнего: точная определенность, как следствие способности к мгновенной обдуманности поведения.

Шувалов вышел вместе с нами в переднюю. Старый тетушкин лакей ловко набросил на плечи ему николаевку. Плотно запахиваясь, Шувалов сказал, глядя своим острым взором в черные глаза Михаила:

— Молодой человек! Примите дружеский совет и остережение: не всякая поспешность может завершиться удачно. Памятуйте также одно изречение Кузьмы Пруткова: «Степенность есть надежная пружина в механизме общежития».

Михаил, сверкнув своими зубами, не без задора ответил:

— У Кузьмы Пруткова есть и применительно к вам, ваше превосходительство, нравоучительное изречение: «Не всё стриги, что растет».

Шувалов мило улыбнулся, как светский человек, показывая, что в частном доме он вовсе не начальство, и как-то знаменательно сказал Михаилу:

— До свиданья! Мы еще с вами, конечно, увидимся.

О, сколь горестно сбылось в скором времени его предположение!

По дороге домой я сказал Михаилу:

— Советую тебе быть с ним осторожней; он управляющий Третьим отделением и жестокий карьерист, не оглянешься — подведет.

— Какое мне до него дело! — вспыхнул Михаил и, понизив голос, сказал с глубиной, незабвенной до последнего дня моей жизни: — Поверь, Сергей, я, как Рылеев, уверен, что погибну, но пример мой останется. Ибо, как истинно утверждал этот герой-поэт, вся сила, вся честь революции в словах: «Каждый дерзай!»

По спокойной лености моей природы и привычному доверию, что рука промысла ведет каждого неисповедимыми путями, я не стал противопоставлять Михаилу авторитетные в нашем доме, совсем иные взгляды на земное устроение. К тому же, после напоминания тетушки о вольнодумстве киевских педагогов, я понял, что атеизм и мечтанья революционные не были следствием испорченной натуры Михаила, а лишь чужими перенятыми мнениями.

Я решил противоречить ему только в крайности, а лучше всего, не теряя с ним чисто приятельской связи, водить его чаще к тетушке, где он будет встречать людей, не менее господ Огарева и Герцена желающих пользы отечеству, но с пониманием последней в совершенно иной диспозиции.

О, сколь розовы и детски неопытны были эти мечтанья! Михаил наотрез отказался посещать салон тетушки, угрюмо сказав: «Хороший охотник не ходит дважды в то же болото». Впрочем, со мной он стал так усугубленно ласков, что меня это даже задело; он, будто с игрушкой, отдыхал со мной от своих мрачных дум, любил бороться, загибать салазки, играть в чехарду. Бывал он приступами бурно весел, а порою чувствителен; именуя меня пастушком с картины Ватто, он просил читать вместе Шиллера. Вот тогда-то мы оба пленились

дружбой маркиза Позы и дон Карлоса и посадили в училищном саду деревца.

Впрочем, глубокое значение нашим отношениям, как в скорости оказалось, придавал я один. У Михаила уже к тому времени все, даже священнейшие, чувства были одним только средством для приближения к злодейскому замыслу, которым он был одержим.

Глава III
ПОЕЗДКА К ОЗЕРУ КОМО

Мне сейчас предстоит переход к тому этапу наших отношений с Михаилом, когда событие на балу в институте превратило его из пленительного друга в заклятого врага, не только личного, но и политического.

Но как мне сейчас говорить о последнем обстоятельстве, когда, благодаря произведенной в стране революции, во мне самом, как уже сказано, произошло изменение, вырвавшее с корнем доверие к себе самому!

Так многократные бури вырывают крепкое, но ниоткуда не защищенное дерево.

Окончательно убедился я в том, что не только подточен фундамент, а, как негодное, рухнуло все мое внутреннее здание, когда я попал в упомянутый выше день, 12 марта, на Дворцовую площадь.

Я переходил эту площадь, как всегда, с особым волнением. Вот она, все та же, вознесенная при императоре Николае, Александровская колонна, и все тот же над колонною ангел. А над Главным штабом все та же квадрига; и рвутся кони. Я уже семьдесят два года, с десятилетнего возраста, все помню, как рвутся эти кони, а их держат воины.

Сейчас на площади — четыре громадные мачты. Верхушкой они выше штаба, и на каждой крылатое красное знамя. От главного полотнища, как от хоругви, с обеих сторон легкие лопасти-ленты. Они вьются красными змейками.

Человек вверху, снизу глядеть — малый карла, укрепляет знамя. Развернулось оно, блеснуло серебром, и явственны буквы: «пал западный фронт». И второй, и третий, и четвертый столбы — все увенчаны алым, на всех

серебро: «пал восточный, пал южный, пал северный». Эти знамена — в память недавно бывших четырех фронтов. Были — и нет их.

И кто, кто поймет человека? Ведь какой гордостью взыграло мое старое сердце былого вояки! Спохватился: что такое? Эти знамена не меня вовсе касаются, даже совсем наоборот. Я, начальник эскадрона, я, который из уст своего государя слыхал: «Поздравляю тебя георгиевским кавалером»... я, который верил всю жизнь, что монарх помазан свыше... И когда, в семнадцатом году, пришел к Потапычу рабочий и сказал: «Чхеидзе смеется, что помазанник смазан», я ведь в петлю полез. Вынули, отходили, — зачем? Чтобы мне дожить до предела скорбей? Стать себе самому и палачом и казнимым?

Да, как палача к лобному месту, влечет меня к этой площади. А дойду — там мне казнь. Разве могу, например, не припомнить, как впервые мальчонкой тут я шел с моим батюшкой, лейб-гвардии сапером? Батюшка, указуя на дворцовое крыльцо, с волнением сказал:

— Сережа, в незабвенный день 14 декабря 25 года, хранимый высшей силой император Николай нам, саперам, вручил отсюда своего первенца-цесаревича. Царь приказал лобызать отрока первому от каждой роты; я был одним из счастливцев.

Сейчас здесь уже красные войска. Как-то перед концом зимы, когда выдалась совсем необыкновенная погода, прибрел я на это свое лобное место. Туман стоял такой густоты, что Главный штаб был затушеван до незримости, как бы множеством кисейных завес. Кто-то, тоже незримый, с высокого амфитеатра производил смотр войскам, и проходили войска. Будто из бесконечности возникали. На миг явственны и, глядь, уже канули в ночную бесконечность.

Впереди Балтфлот в курточках, брюки клеш, с наушниками шапки. За Балтфлотом, как зимние зайцы-беляки, мохнатые белые лыжники; дальше — кавалерия. Из молочной перламутровой мглы выступают одни лошадиные морды да первых рядов молодцы; крупы коней уже тонут в тумане. Над конями, от половины, как бы возникает из облаков колонна и над нею ангел черный и громадный. И столь дивно звучала команда откуда-то и ни от кого! Люди слушали и, как прежние, заводные, шли.

— Почище старых, — сказал кто-то в толпе. — Те, ровно бараны, знай глазами жрали начальство, а эти с собственным смыслом. Сознательные, революционные войска.

Уж насколько они сознательны и похвально ли вообще это военному, не берусь судить, но что они уже не шантрапа, как их именуют враги революции, а регулярные дисциплинированные войска — очевидная несомненность. А коль скоро есть у страны войско — есть опять и страна.

Как добрёл я, не знаю — шатался. «Эй, назюзюкался самогону!» — кричали мне мальчишки. Добрёл. К счастью, в комнате никого. Сел и заплакал.

Штатские люди этого не поймут. Но для военного тут все. И как же это, как? Прежнего уклада жизни нет, а войско есть? Да ведь с войском, дай срок, по всем швам докажут, что возможно прежнее развитие жизни воскресить. А что, если лучше прежнего? Есть войско, есть и страна.

Что же, прав, что ли, был Михаил? Помню его с запрокинутой головой, лицо ветру навстречу. Глаза мечут искры, в руках Герценов «Колокол». Свернув его в трубку, как маршал жезлом, Михаил машет им вправо и влево. И, должно быть, у него в мыслях толпы народа, и это им он кричит своим глубоким гневным голосом:

— Совершенное уничтожение нелепого самодержавия есть вызов к жизни нового строя, новой прекрасной жизни.

И вот опять спрашиваю: что, если окажется прав Михаил, отдав без оглядки свою свободу, свой светлый разум за это дело, и новая жизнь, как уже во многом сейчас примечаю, выйдет окончательно справедливее прежней? В таком случае, кто же тут Иуда, который погубил Михаила не только как соперника личного, а как борца за эту вот свободнейшую и лучшую жизнь? Но кому до меня дело! О нем одном речь, пока действует память и, хоть дрожит, но выводит буквы рука.

Как уже сказано, наше имение было совсем рядом с имением Лагутиных. Веру по слабости здоровья, не в пример прочим институткам, по настоянию отца отпускали летом домой. Проводя каникулы вместе, мы с ней жаждали видеться зимой. Многие интересы нас связывали: я кончал училище, она институт. У меня всегда

было много женственного в натуре, и хотя как воин я не из последних, но втайне знаю про себя, что гожусь только лишь в общем строю. Дерзкая независимость, столь любезная характеру Михаила, мне совершенно чужда. Склонность влекла меня к искусству живописи. Часами я мог поглощаться сочетанием красок и чудесными световыми эффектами. Предполагаю, по тому месту в жизни, которое брало у меня восхищение созерцательное, что рожден я был только художником. Но как в моем звании дворянина и военного не подобало серьезно предаваться искусству, мои качества поэтические, не помещенные как дарование, выражались в чрезмерной чувствительности. Это сразу приметил Михаил и окрестил их «сентиментами Бедной Лизы».

Веру Лагутину я обожал с детских лет, а она мной командовала. Теперь это должно было измениться, но как взять верный тон, я не знал. И можно ль поверить нелепости? Михаила, коему втайне я завидовал как мужчине и хотел подражать, я сам подговорил ехать на торжественный бал, чтобы подсмотреть, как он себя держать будет с женщинами, и затем самому подхватить этот тон. Глупец! Как было мне не понять, что если сам я им столь зачарован, то как избегнуть этих чар существу, которому по самой его природе надлежит быть плененным силой и мужеством?

Но моя голова была полна какими-то грезами, и действительной жизни я не понимал.

Хотя Михаил ехал в институт в первый раз, а я ездил постоянно, волновался я больше него. То духи мне казались неприлично крепкими, то думалось, не плохо ли выбрит мой подбородок, то назойливо представлялось, что на блестящем, как зеркало, полу большого танцевального зала я сегодня поскользнусь и с собой увлеку свою даму.

Сколько бы я ни видел его, по моей великой чувствительности к перлам искусства изобразительного, я без особого волнения не мог подъезжать к этому чуду строительства графа Растрелли — собору Смольного монастыря.

В тот знаменательный день белые пилястры на голубовато-сером фоне как бы продолжали атмосферу морозного вечера и придавали и без того легчайшей постройке невещественность совершенную.

Башни-церкви, монастырские помещения вызывали память об итальянском зодчестве и преданиях о чудных девах, чудовищах, драконах и рыцарях. За садом, через синий лед Невы, мигали то тут, то там далекие огни в домишках предместья.

Весною, в воскресный день отпуска, я, бывало, любил, взяв у лодочника быстрый ялик, перерезывать в этом месте широкую водяную гладь, не уставая любуясь на несравненные пропорции собора, сизо-дымчатого в заходящих лучах. Я любил воображением выполнять иной план Растрелли, превысивший безумием своей сметы даже расточительный век Елизаветы, почему он и не получил заслуженного воплощения.

Первоначально Растрелли затеял взметнуть на берегу Невы колокольню в шестьдесят саженей, крытую золотом и серебром с белоснежными украшениями на фоне ослепительной бирюзы. Для постройки заведены уже были особые кирпичные заводы, к заводам приписаны были деревни, а чугунная черепица отливалась под руководительством иностранного мастера.

О, зачем не рожден я был в век Возрождения, когда все три Парки, по велению Рока, первенствующей нитью вплели в историю человечества пробуждение чувства к прекрасному! Там был бы я не последним жрецом.

Но, капризно для смертного, ныне судьба путает этикетки. Не в своем веке, в чужом духу его окружении, не на своем месте рождается человек. Впрочем, Яков Степанович, мудрейший из старцев, которого я в дальнейшем введу в свой рассказ, пояснил мне строптивые недоумения моей мысли так:

— Премудрость строения мира противоположна человеческой справедливости, и все наше горе лишь в том, что нам этого нечем понять. Но ежели б поняли, то не дивились бы, почему, например, на убийство избирается тот, кому в тайниках сердца нет тяжелее пролития крови, а кровожадный поставлен в условия благодетеля. Исполненный дарований бьется ради хлеба насущного, и скудны в своем тупоумье богатые... Но посуди: разве по добровольному хотенью человек впряжется в ярмо или глянет внимательно в жизнь другого? Нет, как стрела, метнувшись из лука, он полетит по одной своей линии. Но люди — не одинокие стрелы, а малые капли. Из них над-

лежит быть великому океану. Вот для того, чтобы могли мы расширить свои берега, полезно каждому и работать и жить не в своей скорлупе.

— Впрочем, — прибавил Яков Степанович, — понимать это надо особенно, а не то усугубишь ерундистику жизни.

Однако я так отвлекся, что и для черновика разорительно. Бумагу-то из подвала таскать запретили. Вчера девочки набрали полный подол, а управдом налетел, велел им снести назад в кучу. Но все же об институте скажу несколько слов.

Моя тетушка, графиня Кушина, рассказывала мне, что первоначальный замысел Екатерины был — создание воспитательного заведения для образования «новой породы людей», при ближайшем участии, как во Франции, просвещенных монахинь.

Для этой цели святейший синод посылал московскому митрополиту указ персонально пересмотреть игумений и монахинь, чтобы выбрать достойнейших. Но оказалось так мало грамотных и хотя бы только пригодных для услуживания в лазарете, что они в небольшом количестве оставлены были, так сказать, для ландшафта. Скоро Екатерина увлеклась в своих поисках влияния на «новую породу людей» в направлении, более соответствующем ее личным вкусам, а именно: привлечением к тому делу Вольтера и Дидерота.

Тетушка Кушина, ненавидевшая энциклопедистов, рассказывала, что Вольтер, давший обещание написать благонравную комедию для девиц института, но, привыкнув выводить одни лишь кощунства, всякий раз, приступая к сей невинной работе, заболевал сильным расстройством желудка. Екатерина жаловалась Дидероту, что за преклонностью лет старик не способен на изящное творчество для театральных упражнений девиц, на что Дидерот, не меньше безбожник, доподлинно отвечал: «Комедии для девиц будут составлены мною и притом ранее, нежели я достигну преклонных лет».

Но, как известно, Дидерот не потрафил императрице, настаивая на преподавании в институте в первую голову анатомии — науки, по мнению тетушки Кушиной, почти что лишавшей девицу невинности.

В традиции Смольного до конца его существования живописно вплетены были эти обе ноты, при его основании взятые Екатериной: нечто от монастырской повадки в соединении с прелестной живостью светскости вольтерьянской. Воспитанницы сохраняли свои неуклюжие одеяния из добротной негнущейся ткани зеленого, голубого, кофейного и белого камлота, белые пелерины и фартуки и привязанные рукавчики так же ритуально, как монашенки — облачение монашеское. К этому присоединялись внешняя богомольность, обилие образков, суеверие и ладонки, кроме того — обычай держать за щекой непроглоченный кусок освященного артоса на труднейших экзаменах, запихивание ватки от Иверской, нарочно привезенной из Москвы, во вставочку для пера при письменной математике. Рядом с этим переходили от выпусков к выпускам изощреннейшие способы переписки амурной и легкость завязок и развязок романов с «подоконными супирантами».[1] Последнее производилось без различия сословия и ранга, что отнюдь не имело места при вопросе серьезном о замужестве, которое заключать со «шпаком» или офицером не гвардейцем можно было при окончательной пламенной, «роковой» любви или из-за особых, чисто житейских преимуществ жениха.

Институтки с малолетства до выпуска оторваны были от родной семьи. Под руководительством особо подобранных учителей обучались они разным наукам и упражняли свои таланты в искусствах танцев и рукоделия. Помимо обучения, предписывалось развивать, по замыслу основательницы заведения, «веселые мысли» и доставлять им разные «непорочные забавы». Вот почему блестящей кистью Левицкого запечатлено не однажды кокетливое обаяние девиц: Хованской, Хрущевой и Левшиной в костюмах маскарадных и бальных.

Со времен екатерининских институт оставался в особом приближении ко двору, и девицы, вследствие частого посещения дворцов и внимания царственных особ, были полны повышенного и несколько экзальтированного монархического чувства, но Вера, под влиянием Линученка, своего побочного дядюшки, о котором будет подробная речь, отнюдь не разделяла общего обожания институток

[1] Воздыхателями *(франц.)*.

к царской фамилии. Хотя она и была на линии chiffreuse, она настойчиво умоляла отца, не доводя ее до класса пепиньерок, взять домой. Но старому Лагутину, при всем его вольтерьянстве, было лестно, чтобы сама императрица пришпилила шифр [1] к левому плечу его дочери, что давало ей право бывать на придворных балах и приближало к званию фрейлины. Это звание кружило не одну честолюбивую головку, особенно сейчас, когда прекрасная наружность и грация вызывали особое внимание государя и были причиною немалого фавора не только по отношению к взысканной девице, но и ко всем ее близким. Последнее обстоятельство возбуждало порой низкую страсть сводничества в ближайшей родне. Так, в случае, который предстоит воскресить мне в памяти, заинтересованным лицом являлся не кто иной, как родной отец девицы, титулованной и богатой, но соблазнившейся блеском придворной жизни.

Мы подъехали к зданию самого института. Да, конечно, нужен был изощренный талант Джиакомо Кваренги и его благороднейший вкус, чтобы без скуки и казарменности создать длиннейший фасад в более чем сто саженей, при том, что единственным украшением его являются лишь трижды повторенные полуколонны с роскошными капителями. Институт этот поистине достоин быть рядом с пышной роскошью собора Растрелли. Так великие зодчие, чуждые мелкому соревнованию, умели передавать из рук в руки факел красоты. Я и сейчас с удовольствием вспоминаю, что Кваренги, в знак особого преклонения перед творением Растрелли, во всякую погоду снимал свою шляпу перед Смольным собором, кланяясь низко его создателю...

Огромный швейцар Матвей Иванович, в красной ливрее с орлами и с бронзовой булавой, нас, как и прочих гостей, встретил при главном входе с поклоном. Старшему швейцару была присвоена двора его величества камер-лакейская ливрея. Другой швейцар открыл дверь, третий снял шинели. Мы натянули белые замшевые перчатки и пошли вверх по мраморной лестнице, устланной красным сукном. Звуки вальса, как шампанское, мне ударили в голову, и я вошел вслед за Михаилом, заранее смущаясь, что не сумею найти Веру.

---

[1] Знак отличных успехов при окончании института.

В громадном белом зале в два света шел в длину по обе стороны ряд стройных колонн. Гирлянды зелени вились от одной стоячей люстры к другой вдоль всех стен. Огромные, в рост, портреты царствующих особ под светом люстр переливали шелками, драгоценностями, слепили горностаевой мантией, но не могли затмить своей пышностью скромной прелести институток. Девицы были однообразно одеты в камлотовые платья с обнаженными шеей и руками, в кисейных пелеринах с большими розовыми бантами. В своей юной свежести они, как нежный яблоневый цвет, облетающий под ветерком, носились в танцах по залу. Начальница — высокая кавалерственная дама в небесно-голубом форменном платье — в окружении целого штата таких же ярких классных дам, в просторечии «синюх», важным кивком отвечала на почтительность наших поклонов.

Всякий раз, когда я попадал в это женское царство, я терялся, и то одну, то другую головку принимал за Верину, и мне то тут, то там кричали:

— Сержик, Серж Русанин!

— Вот она у колонны, — указал мне Михаил Веру Лагутину.

Я поразился:

— Как мог ты узнать ее, не видавши?

— В этом нет ничего сверхъестественного, — усмехнулся Михаил. — Мне компасом послужила чудесно спасенная от обварки лысина ее отца: гляди-ка, она отражает, как в зеркале, люстру. Старик — ни дать ни взять — индюк в орденах, но дочь очень мила.

И Михаил, не озираясь на меня, своим стремительным легким шагом перешел зал. Он расшаркался перед Лагутиным и, будучи им тотчас представлен Вере, через минуту уже с нею вальсировал. Когда я подошел звать Веру на контрданс, оказалось, что она уже первый отдала Михаилу. Мне ничего другого не оставалось, как стать визави с одной из приятельниц Веры. Рассеянно слушал я щебет своей дамы:

— А представьте, малявок совсем не пустили на бал, но они сделали ужас: вообразите, надушились мылом бергамот!

— Как же так мылом?

— Наскоблили ножом, натерлись — и запахли, как целая лавка сквернейших духов. Душиться ведь нам разрешается только в самых старших классах, и бергамот — неприличнейший запах.

— А какой же считаете вы запах приличным? — спросил я, чтобы поддержать болтовню моей дамы и тем облегчить себе наблюдение над визави.

У Веры и Михаила были совсем не бальные лица. Иногда, как бы спохватываясь, они улыбались и для вида бросали пустые фразы. Но я видел ясно: у них сразу же вышел серьезнейший разговор. И как же могло быть иначе? Вера читала бездну книг, и у нее давно были вредные фантазии. Будучи внучкой декабриста, она особенно относилась ко всем либеральным бредням, а в деревне у нее в столике был заперт томик Рылеева.

— Да, он не даром носит свою фамилию, — услышал я восторженный голос Веры в ответ на что-то, тихо сказанное Михаилом, — я благородней сердца не знаю.

Она сделала ударение на слове «сердце», и я понял, что этот каламбур относился к Герцену.

Мне всегда было страшно за Верино направление мыслей, но сейчас радость соперника охватила меня. Я подумал: нет, так романы не начинаются, быть может Михаилу удастся, как тогда по-новому выражались, «распропагандировать» Веру, но едва ли он пробудит влюбленность в ее воображении. А с вредными его мыслями я через салон тетушки Кушиной сумею вести ловкую борьбу. Тетушка Веру очень любила, и та ей платила взаимностью.

Но происшествие чрезвычайное по своему значению, как рука великана Гулливера в стране лилипутов, в один миг смело все хитроумные ходы моей маленькой шахматной игры.

Вдруг среди девиц произошло невероятное смятение. Все, бросив танцы, кинулись к окнам с криком:

— Карета в главном подъезде!

Средний подъезд, всегда запертый, раскрывался лишь для царских особ. Классные дамы, пунцовые от волнения, увели куда-то группу красивейших воспитанниц, которые в короткий миг появились снова, облеченные в заготовленные на этот случай парики и костюмы маркиз и маркизов. Прочие институтки выстроились полукружием,

скрывая девиц, костюмированных как при Екатерине. При появлении государя с начальницей, все, как одна, под приветственные звуки музыки опустились в глубоком придворном реверансе. Заиграл традиционный менуэт. Маркизы с маркизами выпорхнули из засады и, соединившись в колонну, пошли по направлению к царю.

Александр II был в гусарском мундире. Столь эффектный в санях или верхом на параде, как любили изображать его живописцы, он проигрывал без соответственного военного окружения. Он был хорош, как составная часть картины, выделяясь из войска отличнейшим от всех ростом, наследственной от отца богатырской грудью и неподдельностью царской осанки. Но среди цветущей юности, где вместо монументальности любезна прелесть интимная, он был только импозантен. Притом лицо его, уже немолодое, поражало своей желтизной, а глаза, не соответствуя восхищенной улыбке и приятности грассирующего разговора, оставались неизменны своему оловянному, как бы застылому выражению.

Очень красивая пепиньерка сказала царю стихотворное приветствие и, густо покраснев в ответ на его приглашение сесть рядом, опустилась в кресло. Царь сделал знак музыке, и бал возобновился. Государь очень скоро удалился, сопутствуемый адъютантом, пить чай в апартаменты начальницы. Во время антрактов между танцами, когда Вера и мы с Михаилом, как сопутствующие ей пажи, угощались оршадом и конфетами в живописном уголке между фикусов, гиацинтов и пальм, Верина подруга Китти Тарутина подошла к нам со своим правоведом.

Китти, курносенькая и веселая блондинка, нам сказала:

— Хотите участвовать в поездке к озеру Комо?

Мы с Верочкой знали, что это значит, и, смеясь, согласились, посвятив в секрет Михаила. Одна из классных дам, молодая и всеми любимая итальянка, не отличалась стародевической чопорностью прочих синюх. Она охотно предоставляла девицам в своей комнате видаться с братьями и кузенами. Молодая и веселая, она сочувствовала шалостям молодежи, но, дабы не пострадать ей самой в случае доноса, дело было обставлено по взаимному

соглашению так: дверь в комнату классной дамы будет только притворена, но никак не заперта на ключ. В случае, если нагрянет контроль, попавшиеся должны будут сказать, что они зашли сюда самовольно.

Прикрываемые дюжиной камлотовых юбок подружек Китти, величайших охотниц до шаловливых эскапад, мы выскользнули вон из зала, не замеченные строгим оком дежурившей инспектрисы. По бесконечным коридорам мы отправились в комнату итальянки, где на стене висел огромный вид прелестного озера Комо, чьим именем называлась вся веселая затея.

— А вы знаете, Земфира исчезла сейчас же, как только ушел государь? Она в него влюблена по уши, — сказал Киттин правовед про пепиньерку, говорившую приветственный стих. За восточный тип лица ей дали прозвание Земфира, как это часто водится в закрытом заведении.

— И предпочтение, которое ей оказывает государь, тоже всем очень заметно, но фрейлиной императрицы ей все же не быть, — сказала досадливо Китти. — Она неуспешна в науках, начальница ее не выносит и даст ей плохую аттестацию.

— Государь часто вас посещает? — спросил Михаил.

Китти, польщенная вниманием красивого, но доселе сурового юнкера, стала с удвоенной скоростью болтать о том, как обожаемый царь любит внезапно посещать институт.

— Чаще всего он появляется вечером, в часы, обычные для уроков танцев у старшего класса. Иногда царь приходит в столовую, садится за стол и пьет с нами чай из казенной кружки. Разумеется, кружку эту мы разбиваем и делим кусочки. Многие девочки носят их в ладонках на груди, а одна даже съела.

— Эта девица, очевидно, сродни страусу, — усмехнулся Михаил.

— О нет, у нее фамилия чисто русская! — возразила наивная Китти и под общий наш смех продолжала лепет, который, как я заметил по нахмуренным бровям Михаила, немало его раздражал. Но Китти не смущалась.

— Во время обеда государь садится то к одному столу, то к другому поровну, чтобы никого не обидеть.

Теперь, впрочем, он все больше идет к пепиньеркам и садится рядом с Земфирою, она нарочно самая крайняя... А в прошлом году постом государь приходил к нам на вечернюю молитву и, на «господи владыко живота моего», вместе с нами бил поклоны.

— Хорошая подготовка к реформам! — начал было Михаил так насмешливо, что Китти на половине слова споткнулась, а правовед с холодным удивлением оглядел его с ног до головы.

Вера вспыхнула, но нашла, как спасти положение.

— Бежимте скорее, а не то другие займут наше место, — вскричала она и, схватив меня и Михаила за руки, кинулась с нами вдоль бесконечных коридоров, пересекающих один другой и путаных, как лабиринт. Китти и правовед побежали вслед за нею.

Вот и комната итальянки. Дверь притворена, но мы дернули — она отворилась. Заслышав голоса вблизи за углом, мы поспешно вошли на цыпочках. Как стая пичуг, знакомых с выстрелом охотника, мы с опаской присели на край большого дивана, в случае чего готовые вспорхнуть или спрятаться.

Опасность могла угрожать из дверей другой комнаты, принадлежащей той же классной даме, но через коридорчик, смежный с комнатой инспектрисы. Последняя, под видом дружественного покровительства, любила войти невзначай, чтобы проверить красивую и легкомысленную итальянку. Китти, как мышка, сбегала в коридор и, удостоверившись, что инспектрисы нет дома, пришла нам сказать, что мы в безопасности.

Вдруг из другой комнаты, тоже запертой изнутри, мы услышали голоса: женский плачущий и утешающий мужской. Говорили по-французски.

— Однако я с таким трудом вырвался от почтенной начальницы совсем не для того, чтобы сейчас утонуть в ваших слезах, прелестная Земфира. Что же касается вашего отца, то, поверьте, мои нежные к вам чувства уже давно заручились его родительской санкцией, а его радость видеть вас фрейлиной...

Мы не могли не узнать этого голоса, так же своеобразно грассирующего в любовном лепете, как мы привыкли это слышать в публичных приветствиях и на парадах.

— Итак, не правда ли, до очень скорой и решительной встречи? Я не враг мифологии и, подобно проказнику Зевсу...

Тут послышался малоискренний смех и поцелуи. Мы вскочили, испугавшись своей невольной нескромности, и кинулись к выходу. Но Михаил с искаженным лицом поднялся и шагнул к дверям.

— Ты себя погубишь, — шепнул я ему, стиснув руку: — государь сейчас может выйти отсюда.

— Я ему не позволю губить...

Глаза Михаила горели таким бешенством, что, казалось, способны были одной своей силой причинить зло человеку.

Я выбежал в коридор, где уже не было ни правоведа, ни Китти. Одна Вера, белея лицом и плечами, как призрак, стояла в глубокой нише. Я стал с ней рядом и тихо взял ее руку в свою.

Я не постигал, как могла дверь итальянки остаться без стражи, но две фигуры, в дали коридора, мне объяснили загадку. Молодая воспитательница и адъютант, увлеченные собственным флиртом, не заметили, как покинули свой ответственный пост.

Государь, очевидно, выходя от начальницы, чтобы еще раз подняться в зал, зашел в комнату, соседнюю с «озером Комо», где его по уговору уже ожидала Земфира, для каких-то окончательных решений.

Минуты тянулись часами. Вдруг дверь запертой комнаты отворилась, и кто-то вышел. В ту же минуту, задыхаясь от волнения, глухой голос Михаила сказал:

— Это... низость!

Мы не дышали. Я почему-то ждал выстрела. Но выстрела не последовало.

Государь торопливым, убегающим шагом, не свойственно своему обычаю втянув голову в плечи, как бы не желая быть узнанным, вышел из комнаты. Он в один миг свернул за угол. Испуганные адъютант и итальянка подбежали к нему.

— Там был ее брат? — гневно спросил государь, должно быть вспомнив неприятную историю с Шевичем.

— Ваше величество, у нее нет брата, — сказала смертельно бледная итальянка.

— Там не должно было быть никого...

И, не появляясь более на балу, раздраженный государь уехал в сопровождении своего адъютанта. Из глубокой ниши, меня скрывавшей, я видел, как итальянка кинулась в свою комнату искать, кто там был, но Михаил, открыв противоположную дверь в коридорчик, благополучно исчез. Мы с Верой пустились бегом в танцевальный зал.

Прошло более полувека, когда, в один из зимних дней 1918 года, я снова попал как-то в Смольный. Я метался больной и бездельный по столице, ища приюта у прежних друзей и знакомых. Многих не было в живых, другие не оказались на прежних местах.

Влекомый узами прошлого и неистребимым во мне интересом художника, я добрел до института, где мы с Михаилом были на балу.

Весь длиннейший фасад, как и тогда, в день бала, горел огнями, и так же непрерывно вливался в огромное здание поток людей. Но это не была линия нарядных карет с лакеями на запятках. Здесь не было рысаков с драгоценными полостями и кучером, возглавляющим наподобие идола козлы.

В средний, главный, исключительно царский въезд, охраняемый вооруженными красноармейцами, тянулся бесчисленный хвост, держа в руках листки-пропуска.

Автомобили, мотоциклеты, серые броневики, все с красными флагами, с воем сирены, с трубными звуками, то и дело влетали и вылетали из ворот, охраняемых тоже двумя рядами часовых. Везде пулеметы. Шумели моторы, суетились люди с портфелями.

Мохнатые шапки делали лица суровыми. Многие в защитного цвета и серых военных пальто, где от споротых пуговиц и наскоро снятых погон были свежие следы. Крестьяне — в онучах и лаптях, с ружьем на веревочной перевязи. Все кричат, и все спорят. Когда вышли из подъезда двое штатских и, взобравшись на большой ящик, сказали несколько слов, им не дали кончить. Их речь покрыл пропетый всей площадью «Интернационал».

— Что тут такое? — спросил я одного, сильно вооруженного, с очень свежим и почему-то мне знакомым лицом.

— Чрезвычайное заседание Петроградского совета, дедушка, — охотно сказал он и, в свою очередь вскочив на ящик, повысил голос до крика, обращаясь ко всем:

— Товарищи! Социализм — отныне единственное средство, с помощью которого страна избежит нищеты и ужасов войны.

Зажженный пикетом костер вдруг ярко осветил говорившего, и когда он кончил и слез, я невольно вскрикнул:

— Я знаю вас! — и я его назвал.

Я хорошо был знаком с его отцом и самого юношу совсем еще недавно видал в гимназическом мундире и особливо запомнил по причине резких левых речей против войны. Речи эти мне очень напомнили Михаила.

Сейчас юноша был пламенный коммунист. И он узнал меня. Это он дал мне денег и помог устроиться у Ивана Потапыча. Сам же он торопился, как говорил, на «красный фронт». Там вскоре доблестно пал он одним из перных. Его имя прочел я в «Известиях», которые принес мне Горецкий 2-й. Вместе помянули мы храброго юношу, а кстати отца его и деда, столь же доблестно павших первыми в свое время, но на иных фронтах.

Глава IV

ВЕДЬМИН ГЛАЗ

Пасха в том году была не очень поздняя. В зеленом пуху стоял лес, и особенно зловеще чернели старые сосны от соседства с цветущей молодой порослью. Таким и остался у меня в памяти этот путь в Лагутино — зловещим.

Был шестидесятый год. Крепостное право доживало последние дни. Среди разных направлений и кружков, за и против освобождения, было немало отдельно стоящих очень образованных, вольтерьянского закала дворян, над которыми ни бог, ни человеческие постановления не имели никакой власти — в первую очередь выступал их собственный самодурный нрав.

Таков был отец Веры, Эраст Петрович Лагутин, один из умнейших людей своего времени, по собственному выражению не веривший ни в сон, ни в чох, ни в вороний

грай. Всю цивилизацию обзывал он мировым свинством, что, однако, не мешало ему иметь у себя в Лагутине отменную картинную галерею. Он видел в раскрепощении крестьян нарушение пределов своей власти и навыков и напоследок, как говорят, распоясался вовсю.

Был Эраст Петрович вдов и большой женолюб. За барщину мужики его не корили, но, так как не пропускал он ни одной пригожей девки или бабы, то злоба на него была велика.

Дочь его Вера выросла сиротой под опекой француженок, то вознесенных прихотью барина на положение хозяйки дома, то разжалованных в бонны при дочери. Эти бонны часто менялись. Вера приучилась жить в самой себе и прибегать за поддержкой к самым верным и скромным друзьям человека — бесчисленным книгам отцовской библиотеки.

Правда, наше имение было рядом, но с матушкой моей, великой хозяйкой и хлопотуньей, у Веры близости не вышло. Была она несколько дика и безмолвна и матушке моей непонятна. Может быть, впоследствии отношения бы обошлись, но матушка скоро скончалась, я осиротел, а над имением опекуншей назначили тетушку Кушину.

Один я делил с Верой досуги. Собирали все лето грибы и ягоды, обучались вместе французскому языку и танцам. Вере нравились изобретаемые мной рисунки и сказки, которые во множестве я ей посвящал. Но, хотя мы и были погодки, Веру чувствовал я гораздо зрелее себя. Ее вопросы касательно цели жизни и мучения насчет участи декабристов были мне совершенно чужды. Декабристы в глазах моих казались обыкновенными мятежниками, усугублявшими свое злодеяние тем, что они были хорошо образованы и дворянского роду. Но Вера их чтила героями.

Жизнь в нашей усадьбе при матушке и позднее, под управлением тетушки, мирно текла, как у прочих помещиков средней руки. Тысячью интересов, кумовством и взаимным расположением из рода в род владельцы Угорья были связаны со своими людьми.

Ближе всего к сердечной и умственной жизни Веры была одна неприятная мне чета, сыгравшая впоследствии немалую роль в ее необыкновенной судьбе.

Верстах в трех от усадьбы жил художник Линученко со своей женой Калерией Петровной. Он был ученик знаменитого живописца Иванова, того самого, который чуть ли не тридцать лет писал одну и ту же картину — «Явление Христа». Картина эта была выставлена в свое время рядом с батальной живописью некоего Ивона, и, признаться, на большинство посетителей последняя произвела впечатление сильнейшее отменной мускулатурой коней. Повторяли также эпиграмму остроумнейшего Федора Ивановича Тютчева о том, что громадный холст Иванова изображает собой не апостолов, а является фамильным портретом семьи Ротшильдов...

Художник Линученко — по боковой линии дядюшка Веры. Надо обмолвиться: насколько наш род был спокоен и в простоте души выполнял свои обязанности верноподданных дворян, настолько род Лагутиных был тревожен. Он славился необыкновенными похождениями дедов, увозом чужих жен, кутежами, дуэлями, а при Александре Благословенном чернокнижьем и богопротивной мерзостью.

Порода Лагутиных высокая, плечи — косая сажень, волосы кудреватые, нос прямой с особо красивыми ноздрями, а глаз — под дугообразной бровью светлый и острый, как у ястреба.

Дед Веры от любовного каприза с украинской девкой прижил сына Кирилла Линученка, которого отдал в обучение живописцу, а матери его отрезал в приданое пятьдесят десятин к хутору, но дарственной на эти десятины он не дал, сказав: «Пока я жив, не сгоню». Эраст Петрович подтвердил то же самое.

Вот этот, в то время пожилой уже, художник и побочный дядюшка Веры был и закадычнейшим ее другом.

Линученко, наполовину холопской крови, имел в деревне кучу родни. Он не только ее не чурался, но, напротив, всячески защищал и только и делал, что науськивал Веру против отца. Кроме того, давал ей в руки вольнодумные книжки, неустанно толковал о правах человека и прочих атеизмах французской революции, которых сам был усердным поклонником.

Он этим достиг того, что все кровные естественные чувства дворянки были у Веры жестоко искажены. И не

мудрено, что столь злачно взошли в ее беспокойной и великодушной душе зловредные семена, брошенные рукой Михаила. Впрочем, во всей пагубной силе влияние Михаила на Веру я понял позднее.

После случая в Смольном мы так крупно поспорили с Михаилом, что потеряли всякую охоту общаться. Он грубейшим образом поносил государя за его человеческую слабость, столь понятную при красоте, которой он обладал. Я защищал государя, утверждая, что половина приписываемых ему похождений не что иное, как порождение клеветы, а другая половина лишь является ответом на вызов со стороны легкомысленного, хотя и прекрасного пола, который втайне почитает за счастье свою так называемую «гибель» от монарших ласк. Частный же случай, на который мы натолкнулись, был вызван сводничеством родного отца этой пепиньерки, титулованной и изрядно богатой, честолюбиво желавшей себе звания фрейлины.

Михаил оборвал меня, как обычно, бунтарской речью против самодержавия и сказал:

— С корнем бы их, как крапиву, да и дворян всех туда же... и вырвем, дай срок!

Я остановил его, прося не испытывать дольше моего терпения верноподданного, ибо я обязан, по чувству долга, вызвать его на дуэль, так как донос не по мне, а пресечь его поносную речь я обязан.

Михаил совершенно неожиданно засмеялся добродушнейшим образом и весело сказал:

— Ну, цвети в невинности, не буду тебя разъярять; успеешь в чинах даст бог — меня же и повесишь!

С тех пор мы перекидывались самыми поверхностными разговорными речами. Но помешать приезду Михаила в Лагутино я уже не мог. Он был туда приглашен самим стариком, угодив ему ловкостью в танцах и снискав его благосклонность с того достопамятного вечера у тетушки, когда был спасен Михаилом от кипящего чайника. О том же, что Михаил, под видом кузена, посещает Веру в институте, старик вовсе не знал ничего. Сейчас Вера, вследствие общей слабости и малокровия, в виде исключения была отпущена на праздники домой. По всем признакам, отец согласился, наконец, уступить ее настояниям и взять ее из института совсем.

Сейчас мы почти молча проехали десяток верст, отделявший Лагутино от почтовой станции. Созерцая по своему обыкновению излюбленный мной закат солнца в широком просторе полей и смягченный умиляющим душу зрелищем, я стал говорить Михаилу иносказательно о моей любви к Вере. Я помянул о Платоновом мифе — двух рассеченных половинках человека, которые при встрече должны непременно или слиться, или погибнуть. Михаил понял и сказал:

— Подобная любовь недостойна человека. Погибнуть можно никак не от чего-нибудь, а только за что-либо. Каждому, ежели он мнит себя человеком, надлежит иметь соответственную высокую идею. — И, подумав, прибавил: — Впрочем, сие — привилегия нашего брата. Прекрасный пол чаще всего обречен на гибель бабочки от огня.

— Значит, ты думаешь, — не скрывая радости, прервал я, — женщина неспособна пойти на костер, как некогда Иоганн Гус и ему подобные?

Я решил, что Михаил был желчно настроен против Веры из-за неуспеха своих бунтарских речей.

— Женщина пойдет куда угодно, — возразил Михаил, — но редко сама, чаще за тем, кого она любит.

Как я был счастлив: опять надежды были при мне! Ни внезапного румянца, ни потупленных и вдруг вспыхнувших взоров, этих безошибочных улик юной страсти, не наблюдал я ни разу при встречах Михаила и Веры. Конечно, я знал, что на приемах в институте Михаил, почтительно кланяясь, подавал Вере не французские конфеты, как стояло на коробке, а ту или иную либеральную книжку. Разговоры же их были всегда серьезны, на мой взгляд — отменно скучны. Со дня на день я ждал, что и Вере все это обучение надоест и она будет искать разнообразия хотя бы в искусствах, более свойственных поэтической юности. Тем часом, дабы быть — в противовес Михаилу — во всеоружии своего дела, я усердно посещал императорский Эрмитаж и прочел немало иностранных увражей [1] касательно чудесных коллекций картин.

Старик Лагутин встретил нас на крыльце, увитом свежей хвоей. Во множестве нарезанные прутья с зеле-

---

[1] Сочинений.

ными перьями-листьями были причудливо воздеты на высоких шестах. Казалось, в Н-ской губернии вдруг возросла роща финиковых пальм. Перед домом была покрыта немалая горка молодым газоном, и десятка два красивейших девушек, в нарядных сарафанах, и парней, в алых, как маков цвет, рубахах, катали разноцветные яйца. В ряд, сверху вниз, шло множество деревянных желобков, и весело было смотреть, как синие, красные, зеленые и желтые яйца драгоценными камешками катились друг за дружкой в изумруд муравы. В заключение повели хоровод, и все девки и бабы пошли христосоваться с барином, а он их одарял — кого рублем, кого платком.

— Из всей христианской религии сего поцелуйного обряда я — наибольший поклонник, — сказал старый греховодник Лагутин.

Он захохотал, показывая крупные, еще целые зубы. Он был дороден и красив, но совершенно лысая голова и жирный кадык, как это верно нашел Михаил, делали его похожим на индюка.

Я глянул на Веру: лицо ее было бледно и выражало тревогу, она не спускала глаз с Мосеича. Этот уродливый человек, с большой головой, но ростом с малолетнего, был злым гением Эраста Петровича. Сам из французских дворян, образован и жесток, он служил у Лагутина по вольному найму. Он был по фамилии Charles Delmasse, но мужичками переименован в «Мосеича». Человек этот обладал всей извращенностью умного дьявола. Обучившись по-русски, он объединил в своей особе весь цинизм и утонченность своей безбожной нации с жестокой грубостью наших нравов. По части безнравственности и садических удовольствий себе лучшего наперсника и советника Эрасту Петровичу было бы не сыскать. Посему в деревенской глуши он особенно дорожил Мосеичем, уважая его, к тому же, и за прекрасный французский язык.

Когда черед христосоваться дошел до красавицы Марфы, молодой жены Петра-конюха, отличного парня, Мосеич шепнул что-то Эрасту Петровичу. Тот ухмыльнулся и сделал вид, что не заметил, как Марфа, спрятавшись за соседку, нырнула в толпу девушек, чтобы миновать барского поцелуя. Но когда все, поблагодарив за подарки, пошли с песней домой, Эраст Петрович

повернулся к старосте, дрянному угодливому мужику, и небрежно обронил:

— Петра не вредно б отметить.

Вера вспыхнула и, подойдя к отцу, смело сказала:

— Нет, батюшка, вы не сделаете Петру худого!..

Брови Эраста Петровича дрогнули, и как-то еще более побелели острые светлые глаза, а ноздри раздулись. Но он себя сдержал и, обернувшись к дочери, сказал ей по-французски:

— Мое желание — чтобы ваши юные мечты не выходили из стен вашей библиотеки.

— А теперь, — обратился он к нам, — прошу, обедайте без меня, я прощаюсь с вами до вечера. Пользуйтесь деревенской свободой в свое удовольствие: есть отличные верховые, есть лодка и экипажи... Но куда бы ни заехали, чуть взовьются над домом три ракеты — прошу всех обратно. Я приготовил вам спектакль и сюрприз: последний, надеюсь, для всех трех одинаковый! — Эраст Петрович обвел нас всех взором, от которого мне стало не по себе.

Обед прошел довольно чопорно, с лакеями и блестящей сервировкой. На месте хозяина сидела старуха Архиповна, Верина няня: таков был каприз старика после изгнания последней француженки.

— Пойдемте на хутор к Линученкам; быть может, они уже приехали! — сказала после обеда Вера.

Взволнованные, каждый от своих причин, мы долго шли молча по деревне. У околицы свернули в улочку, узкую, словно труба, — двум телегам не разъехаться. У ставней сбоку, как хвост у собаки, болтался железный болт, и хоть был большой праздник, а неубраны стояли то тут, то там корыта и валялись тряпье и битые черепки.

— Какая темнота! — сказала Вера. — Уж сколько раз выгорала деревня, а строят все снова по-старому. Зато у батюшки целая полка книг по усовершенствованию деревянных построек. До бедных крестьян никому нет дела.

— Дайте срок, — возразил Михаил, — они сами возьмутся за ум, только б нам не зевать.

Мне, конечно, не нравился их разговор. Мы проходили такими чудными лужайками, где уже голубели

цветы и медовый одуванчик потряхивал золотой головкой. Я сорвал самый крупный, поднес его Вере и сказал:

— Тут, как в ромашке, стоит только сказать: «поп, поп, выпусти собак», — черные козявки и вылезут.

Вера глянула на меня в упор своими светлыми, как у отца, глазами и с усмешкой сказала:

— Вы, Сержик, опоздали родиться; вам бы, правда, быть пастушком с картины Ватто.

В первый раз, что она мне говорила это с насмешкой; я это отнес за счет влияния Михаила и умолк.

Тропинка наша то терялась в оврагах, то растекалась в широких песках в одно с ними общее море.

Я глядел, как Вера ловила свой газовый шарф, сдуваемый ветром, глядел и не мог наглядеться на это лицо. Оно было необычайно. Будто не одно, а два лица — не слитые, а включенные друг в друга. В худощавом теле, подавшемся вперед, в узких покатых плечах, как на старинных портретах, была почти слащавая покорная женственность. Цвет лица, слишком белый, с неестественной розоватостью щек, придавал лицу нечто кукольное. Когда она шла, как сейчас, склонив голову с заложенными назад светлыми косами, приходила на память какая-то средневековая покорная жена. Вот держит она стремя рыцарю или, сидя за пяльцами, высматривает запоздавшего в кутежах властелина. Но вот, отвечая на какой-то вопрос Михаила, Вера подняла глаза. И в них показался иной ее облик. Глаза серые, твердые, с той же ястребиной хваткой, как у отца, с затаенной мыслью, которую — умрет, а не захочет — не выскажет.

На хуторе ждала неудача. Сторож сказал, что Линученко прислал письмо: он не может приехать, и передал Вере записку, которую она читала, бледнея.

— Калерия в чахотке, — сказала она, — и они уехали на год в Крым. О, как мне будет страшно тут без них! — вырвалось у ней невольно. И того не замечая, она взяла под руку Михаила, а он крепко пожал ей руку, как бы обещая защиту.

А я, пастушок Ватто, значит, теперь уже ей не в счет.

— До вечера времени много, — предложила Вера, — пойдемте к озеру.

И мы пошли.

Недалеко от хутора, как говорили, по старому шляху в город, было странное место. Сходились близко один к другому высокие холмы, поросшие широким листом зеленой мать-мачехи и каким-то пахучим кустом. У своего подножья холмы эти вдруг обрывались, и ровной блестящей водой стояло небольшое круглое озеро, неизвестно как тут возникшее; говорили: по заклятью старой помещицы над непокорной дочерью, бежавшей с заезжим гусаром. Здесь настигли беглецов злые думы матери: от этих злых дум кони увязли в трясине, а над ней забурлили ключи, и к утру было ровное, как чашечка, озеро. Тут Верина няня, Архиповна, в рассказе вставляла пояснение: «Старая-то помещица ведьма была. Чай в час тот пила, брови сдвинула, как повернет полную чашку на блюдце: «Пусть и ей, непокорной, так будет!» Вот озерко и круглое, ровно чашка с чаем. Одно слово — ведьмин глаз».

Вера эту знакомую мне легенду рассказывала дорогой Михаилу и, кончив, выразительно глянула на него и промолвила: «Вот за непокорство дочери я это озеро и люблю». А Михаил засмеялся.

Нет, решительно у них что-то затеяно, надо быть настороже.

Вера села на большой камень. Михаил рядом с Верой, а я в ногах у нее внизу. Солнце зашло, небо было нежно-зеленое.

— Смотрите, первая звездочка, — показала Вера, — да какая чистая, будто умытая. Скоро пустят ракеты, надо поспешить домой, а мне, признаться, просидеть бы на камне всю ночь...

— Я в небе одну звезду люблю, — сказал Михаил. — Звезду Веспер, воспетую поэтами, предвестницу зари. И знаете, почему? Еще в детстве я где-то прочел, будто алхимики верили, что Венера дает земле треть той силы, что получает от солнца сама, а получает она много больше земли. И потому дух земли должен быть подчинен духу Венеры, полнокровному, жизненному духу знания опытного. Басня эта мила и моему нраву очень любезна. А тебе, Сергей, уж, наверно, любезней стишок: «Приди грустить со мной, луна, печальных друг!»

— Не понимаю твоих слов, — сказал я, — что такое путь опытный и в каком это смысле?

— А в таком, что ежели древний смельчак испытывал сильное чувство, так он его не душил во имя земных добродетелей и каких-то там небесных благ. Он чувству своему отдавался и — что надо было — свершал. Да, один только опыт, доведенный до конца, отсекает все то, что непригодно для роста. И когда настоящие, свободные люди создадут, наконец, последующим поколениям прекрасную жизнь, достигнуто это будет не трусливым умытием рук, а одной лишь попыткой, хотя бы насильно, но опрокинуть негодные формы, заменив их формами лучшими. Итак, во имя жизни надлежит быть хозяином жизни!

Вера слушала Михаила, как пророка, а меня высокомерный тон возмутил, и я сказал:

— Но кто же тебя-то поставил этим хозяином над другими и кто порукой, что ты думаешь мудрее и лучше других?

Не забуду лица Михаила, когда, сперва покраснев, а потом по привычке откинув голову, он сказал, совсем не высокомерно, а в какой-то особой сердечнейшей глубине:

— Так бывает с иным человеком, что для себя самого у него нет больше радости на земле, пока на ней худо другим. И такой человек, даже в случае, если свяжет себя какой-нибудь иной связью, кроме блага всего человечества, большей утехи от этого не получит, только лишится своей самой нужной и драгоценной свободы. Да, так. Словом, явились люди, явятся еще и еще, которые не захотят требовать счастья себе, а радостно будут искать, где и куда сложить свои силы на освобождение и радость всеобщую!

Михаил нагнулся ко мне и, как давно этого не делал, положил свою руку ко мне на плечо.

— Милый Серж! — сказал он. — Тебе сладостен каждый закат солнца, луна и стихи. А подумал ли ты, где у тебя на все это право, когда кругом, быть может, люди и лучше и умнее тебя все еще родятся, живут и умирают рабами?

— Михаил... — начала и почему-то не кончила Вера.

А у меня в сердце как нож: не договорила она от волнения, или уж ей так привычнее его звать и только

невзначай она обнаружила всю короткость их отношений?

Вдруг послышался стон, кто-то всхлипывал на дальней могиле. К озеру почти вплотную примыкало старое кладбище.

— Никак это Марфа на могиле своей матери! — воскликнула Вера и, легко перепрыгнув канаву, отделявшую нас от кладбища, подбежала к молодой женщине. Марфа повалилась в ноги Вере и заголосила:

— Заступись за Петра, не то ему лоб забреют!

Вера стояла бледная, с поникшим лицом.

— Батюшка меня не слушает, — сказала она.

— Что же мне — руки на себя наложить? Его забреют, а меня, сама знаешь, к себе возьмет вместо Палашки. Да я в прорубь скорей...

— Слушай, Марфа! — сказала Вера; лицо ее было жестко и горело почти тем же светом, как у Эраста Петровича, когда он, бывало, тихонько говорил: «На конюшню по-роть»... — Завтра на заре жди меня в голубятне, лучшего места нет. И ты узнаешь, что я решу. Поверь мне в одном: я тебя в обиду не дам, потерпи до утра.

Когда успокоенная Марфа пошла домой, Вера сказала Михаилу:

— Мы включим ее в наш кружок. Иного выхода нет.

— Ну, что же? — сказал Михаил. — Баба, кажется, молодец.

Меня эти двое откровенно не замечали, должно быть не в шутку относили к эпохе Ватто.

Взвились одна за другой три ракеты, мы встали и, прибавив шагу, пошли обратно к усадьбе. Дом был освещен разноцветными шкаликами. С балкона верхнего этажа до балконов нижнего они ниспадали сверкающими гирляндами. Это был великолепный барский дворец работы Монферрана, строителя Исаакиевского собора, с белоснежною колоннадой и сводчатыми крыльями по обе стороны главного корпуса.

Освежившись в приготовленных нам комнатах, мы с Михаилом облеклись в новые мундиры, лакированные бальные сапоги и, стараясь ступать в них мягко и размеренно, появились среди гостей.

Посреди зала устроен был грот, где бил прелестный фонтан, а на камнях под цветущими олеандрами, замас-

кированными так, что не видать было кадок, а казалось, что будто деревья росли меж камней, сидели грации, пастушки и нимфы.

Сквозь узкие прорези шелковых черных масок лукаво сверкали глазами костюмированные гости. Огромные стенные зеркала отражали всю эту роскошь и как бы передавали ее в бесконечность. В глубине зала возвышалась сцена, куда внезапно по хлопку хозяина, под звуки незримого в зелени хора, умчались от бассейна нимфы, пастушки и грации.

На Эрасте Петровиче надет был бархатный кафтан его деда, екатерининского вельможи, с лентой и регалиями. В соответствующем парике, он казался важным выходцем с того света.

Кроме нас, не костюмирован был еще один гость — князь Нельский, ближайший богатый сосед, очень просвещенный и гуманнейший человек, уже немолодой, но с лицом прекрасным по выражению душевных качеств.

Эраст Петрович настоял, чтобы мы облеклись в костюмы маркизов: князь — в кафтан шарлахового бархата, мы — в одинаковые голубые камзолы и парики.

Мы были с Михаилом одного роста, так что, надев маски, легко могли сойти друг за друга. Обстоятельство это оказалось новым звеном в той, объединяющей нас, тяжкой цепи, которой, не спросясь нас, сковала судьба.

Перед ужином Вера, прелестно носившая костюм «помпадур», шепнула мне в ухо:

— Сейчас беги в беседку!

Я глупо спросил:

— Ты придешь?

От звука моего голоса Вера вздрогнула и сказала:

— Нет, Сержинька, не приду, я нарочно... — И легче перышка она отлетела.

Я понял, что приглашение относилось к Михаилу.

Тут словно бес меня обуял. Острая пронзительная ненависть к товарищу, которого моя же рука привела мне на гибель, разбила и пронзила мою душу. Истинны слова некоего старца, которые тетушка Кушина любила повторять: «Бесы не сильней человека, но, когда человек до них снизится, он станет с ними единой природы, и ему уже их не стряхнуть. Ибо их легион!»

Легион низких страстей пробудился в моей душе. Увы, она не оказалась подобной величавому океану, а дрянным болотцем, подернутым сверху приятной для глаза изумрудовой ряской.

Месть, ненависть, оскорбленная любовь и мелочное самолюбие, задетое Михаилом, столкнули меня по крутой тропинке к пруду, где стояла беседка.

Я укрылся в кусты. Начался фейерверк.

Сотни огненных мячей взметнулись в темном небе и, как бы не удержав воздуха, разорвались в вышине и брызнули вниз разноцветными искрами. А озеро, большое водное зеркало, отдало небу обратно огни.

Мои чувства художника были столь дивно встревожены, что на минуту все злое как будто отлегло от души. Но два знакомых голоса заговорили в беседке. О, этим двум не было никакого дела ни до красоты сего мира, ни до моей разбиваемой ими жизни!

Ведь мы все, Русанины, — однолюбы. Две тетки от несчастной любви ушли в монастырь, а дядя Петр застрелился.

— Дорогая моя! — сказал Михаил с таким страстным чувством, которого я не ожидал от него. — Дорогая, так неужто не сон, ты решила соединить свою жизнь с моей?

И в ответ ее нежный голос:

— Ты можешь еще спрашивать?

На минуту затихли: они целовались.

У меня мутнело в глазах, и ракеты, падавшие в воду, казалось, падали в мое сердце и жгли его.

— Но я тебе должен признаться, — голос Михаила вдруг стал отвратительно жесток, — я для своего дела пожертвую и любовью. Когда одна женщина пыталась меня обратить в свою вещь, я едва не свершил убийства. Это было в Крыму... рассказать тебе?

— Мне твое прошлое нечего знать, я соединяюсь с тобой для грядущего, — сказала с достоинством Вера.

— Дорогая, но ведь, кроме лишений, со мной ничего. И это еще в лучшем случае. Мой выбор неизменен: отдать жизнь на восстание рабской страны против деспота. В случае неудачи, ты знаешь, даже не каторга, а виселица.

Но она прервала его древними, как мир, как любовь мужчины и женщины, словами:

— С тобой, мой милый, — на плаху!

Опять убийственное молчание, опять поцелуи.

Потом, смеясь, как ребенок, она сказала:

— Сейчас за ужином батюшка объявит меня невестой князя Нельского. Он только что строго со мной говорил и был поражен, что я не возражаю ему, как это обычно у нас бывает и по менее важному поводу. Представь себе, это и был обещанный сюрприз всем троим. Батюшка вспомянул вас обоих: «Твои кавалеры, — сказал он многозначительно, — не будут столь спокойны, как ты». На что я ответила: «Тем хуже для них! Я ложных надежд никому не давала, и хоть князя я тоже не люблю, но не за мальчишек же мне выходить!» Теперь батюшка далек от подозрения, что к одному из этих мальчишек я завтра сбегу.

Михаил хохотал:

— Ты Макьявелли, моя дорогая! Но серьезно, когда же побег?

— Утром я обо всем скажу Марфе, а она Петру. Если не удастся вскорости попасть к твоей матушке, как мы решили, то жди письма, я пришлю с Сержем — он верный.

— Да, пороху он не выдумает, но парень, кажется, действительно верный, — сказал снисходительно Михаил.

Несчастный! Это были слова, которые его погубили. Эти слова вырвали из моего сердца последние остатки великодушия, на которое я еще был способен. Как, мне предстояло отказаться от всех радостей жизни, созидать счастье соперника и за все это лишь получить малолестное определение — недалекого парня!

Звуками гонга и труб гостей созывали на ужин. Среди блистательной сервировки и благоухания цветов, вынесенных на торжественный случай в вазонах из оранжерей, Эраст Петрович встал с бокалом шампанского. Он был все в том же кафтане екатерининских времен и особливо торжественен — как французский маршал двора.

— Дорогие гости, почитаю себе за честь объявить мою дочь Веру Эрастовну невестою князя Нельского, — сказал он.

Заиграли туш, пошли поздравления и тосты в честь жениха и невесты...

Я, не в силах вынести вероломных лиц Михаила и Веры, убежал. Последнее вышло как бы естественным выражением моих обманутых чувств, ибо все знали о моем давнем расположении к Вере. Таким образом, и тут я остался в дураках, невольно помогая их планам.

Глава V
ГОЛУБИНЫЕ ШЕЙКИ

Начинался день. Небо было серое, сеял дождь. Моим измученным чувствам была приятна эта невыразительность природы. К рассвету я забрался в ту беседку, где было ночное свидание Михаила и Веры. Под скамьей что-то белело. Я нагнулся взглянуть: это были листы заграничного «Колокола»: верно, их Михаил обронил этой ночью. Я подобрал с отвращением.

Эти листы были лазейкой хищного волка, через которую удалось похитить ему, убийце и заговорщику, мой покой и отраду. Вид этих страниц, в два черных печатных столбца, был для меня — как гробовая змея древнему князю Олегу, выползающая из мертвого черепа. Бешенство охватывало меня все сильней по мере того, как в печатном тексте я узнавал почти дословные изречения Михаила. Я не заметил, как в беседку вошел Мосеич.

— Не ожидал я от вас, сударь, столь вольнодумного увлечения, — сказал он по-французски, осклабляя свой большой рот.

— И были правы, мой друг, мсье Дельмас, — отвечал я, как обычно, называя его по фамилии, за что пользовался неизменною его дружбою. — Дворяне, как вы и как я, не должны быть предателями своего сословия. Собственник подобной заразы может быть лишь тот, кто сам ею заражен.

— Подобно вашему другу Бейдеману?

— Я его не назвал.

— Но у меня есть свои наблюдения. Прошу вас, — сказал Мосеич, — дайте мне этот проклятый журнал. Я считаю долгом чести бороться с врагом своего сословия. А в данном случае еще предстоит оградить от злого влияния юную девичью душу. Разве вы не видите: Бей-

деман околдовал Веру Эрастовну. Вчера, когда объявили ее помолвку, я подметил интересные вещи: она с ним перемигнулась. Это был взгляд заговорщиков. Они нечто задумали, чему надлежит помешать. Или вас не трогает судьба неопытной жертвы? — прибавил карлик с коварностью.

— Я погибну, но не дам ее погубить! — воскликнул я вне себя.

— Так дайте мне журнал.

Передавая журнал в длинную, как у обезьян, цепкую руку Мосеича, я уже не хочу говорить, как говорил себе всю жизнь, что не знал вполне того, что я делаю. Конечно, я не мог знать той формы, какую примет это мое первое предательство, но не знать, что обличение Михаила как распространителя запрещенных изданий не пройдет для него без вреда, я, конечно, не мог, особенно отдавая журнал такому злодею, как Мосеич.

Я сейчас в тех годах, когда человек больше от своей совести не желает уйти и когда уже больше не тешит никакое прикрытие. Мне осталась бесславная, но гордая отрада: быть своим собственным правдивым судьей. И вот надо отметить: едва я в гневе дал Мосеичу «Колокол», как тотчас кинулся за ним взять обратно. Но, как опытный совратитель, зная все изгибы слабой воли, Мосеич, не дав мне опомниться, скрылся из кустов в подвальном этаже дома. Там была у него мастерская, про которую ходили темные слухи и где, за ходами и переходами, мне б его было все равно не найти. Я горел, как в лихорадке, прыгали мысли. Только неизменным оставалось одно руководящее чувство: быть около Веры, не отдавать ее Михаилу...

Мне все чудилось почему-то Лобное место на московской площади и палач, обмотавший вокруг кулака русые Верины косы. Ее белая шейка на плахе, сверканье топора... Я галлюцинировал, я был болен. И вдруг мозг с точностью записи восстановил разговор, слышанный ночью в беседке: дальнейшее в судьбе Веры будет связано с Марфою и Петром, — отсюда обещанный Верою визит в голубятню...

Едва вышедшее еще слабое солнце чуть позлатило верхушки березовых рощ и березки затрепетали от привета первым лучам, я, как тать, пробрался на голубятню

и скрылся за разной рухлядью, в беспорядке сваленной в кучу.

Еще раз: не буду лгать вовсе. Мне не было стыдно, хоть я и знал, что делаю низкое дело. Но в тот миг я не был корыстен. О своем счастье я больше не думал. Мне надо было спасти Веру, обольщенную мятежной волей, быть может, больного человека. Михаил говорил мне, что у них в роду есть сумасшедшие. Эта его устремленность в одну точку, этот огонь, всегда его сжигавший, могли быть и началом болезни. Подслушанное мною признание, что он едва не совершил убийства любимой женщины, привело меня в ужас. Слова же его Вере, что, в союзе с ним, ей придется делить не только Сибирь, но и виселицу, — обличали гордыню бездушного злодея. Слова эти жгли мое сердце: если Вера за ним пойдет, на полдороге ведь она не остановится! А помыслить ее в тюрьме, в ссылке и лишениях — я не мог. Я должен спасти ее. У нее к Михаилу не любовь — злое наваждение. К тому же, как верноподданный, зная о вредных умыслах юнкера, которому скоро, как и мне, предстояло облечься в офицерский мундир, я чувствовал себя обязанным их пресечь.

Кто знает, как далеко могла посягнуть его злая воля? Ведь говорил же он не раз: «Если имеющий высшую власть от нее не откажется, можно его к отказу принудить».

Послышался легкий шорох, будто кралась кошка. Я глянул в просвет. Это был Мосеич.

«Что ему надо здесь?» — подивился я, и мне вдруг стало страшно.

Мосеич подошел к домику, где сидели молоденькие голубки, вытащил одного, свернул ему шею, другому и третьему. Лицо его было отвратительно, как у колдуна из «Страшной мести». Как у того, нос Мосеича показался мне больше обычного. Из плотоядно приоткрытого рта глядел желтый клык. Длинные, не по росту, руки, с костлявыми пальцами, вдруг мертвой хваткой зажали трепетной птице клюв и головку. Как штопором в пробке, он крутнул сизой шейкой раз, два; хрустнули позвонки. Старые голуби вздымали крыльями и курлыкали с жалобою несказанною...

Негодование мое было так велико, что я было двинулся схватить негодяя за шиворот, как внезапно он сам, подхватив мертвых голубей, юркнул в дальний угол. По лестнице взошли Вера и Марфа.

— Ахти беда! — воскликнула Марфа и кинулась к дверце голубиного домика, которую Мосеич не поспел захлопнуть. — Опять трех голубочков унес, дьявол горбатый!

— Кого ты бранишь? — спросила Вера.

— Карла Мосеич голубкам свернет шейку да съест. «Вкусней, говорит, чем цыплячье!» Хуже этого дьявола никого нет на свете, барышня; ведь это он барина подучает...

— Низкий человек, — вспыхнула Вера. — Но оставим его, нам с тобой время дорого; брось голубей, сядь ко мне.

При всем моем волнении, я не мог не оценить и не запомнить навсегда восхитительной картины, которую увидел. Как в Рембрандтовом освещении, прорезывая окружающую мглистую тьму, через слуховое окошечко на головы Веры и Марфы упадал золотой солнечный луч. Тонкое лицо Веры, охваченное внутренним возбуждением, как ангел страшного суда, и сейчас сияет предо мной своими непреклонными взорами, а девичья небольшая рука ее легко лежит на золотой волне густых и пышных волос Марфы, русской красавицы в белой шитой рубахе и излюбленном в наших местах синем кубовом сарафане. Они условились бежать нынешней ночью. Петр, один из старших конюхов, должен был выкрасть пару вороных, запрячь шарабан и ждать ночью за околицей. Марфа под вечер, как старый Лагутин любил, должна была принести ему в спальню после ужина графинчик вина, куда будет подсыпан сонный порошок, чтоб избежать ей ночного плясанья.

Вера была немногоречива и покойна. Весь план у нее был твердо обдуман.

— А дальше, барышня милая, куда денемся?

— Дальше в Лесное, под Петербург; там нас укроют, пока не приедет Линученко. Сейчас мешкать нечего. Выпускай голубей и беги ко мне в комнату. Только б вырваться на свободу. Не пропадем...

— За вами, барышня, в огонь и воду! — сказала восторженно Марфа.

Вера встала и пошла к лесенке. Когда она нагнулась, чтоб сойти на ступеньку, ее легкий газовый шарф скользнул мне по лицу. За нею спустилась и Марфа, а освобожденные голуби, оттолкнувшись красными лапками от деревянных домиков, взвились над березами.

Я сидел неподвижно, потрясенный всем слышанным. Какую силу над Верой имел Михаил!..

Два месяца тому назад он — незнакомый ей человек, сейчас заставляет порвать навеки со старым отцом, с родным домом и бежать с челядью путем вероломных обманов. А я, друг ее нежного детства, как от первого ветерка пух одуванчика, вылетел вон из ее памяти.

— A la bonne heure, [1] — сказал вдруг голос Мосеича, — вот нежданная дичь! — И с любезностью, какую позволяло его безобразие, прибавил: — Не спрашиваю вас, сударь, о том, как вы попали сюда. Надеюсь, мы с вами единомышленники по поводу заговора юных дев. Все, вплоть до сонного порошка, как в мелодраме — невинный результат французской библиотеки отца! Мы, для благополучия героинь, разумеется, должны помешать им разыграть пьесу в жизни. Что, впрочем, будет тоже «по пьесе». Извините, мой галльский вкус к остроумию не покидает меня ни при каких обстоятельствах жизни.

Мне был отвратителен сей Квазимодо, но я должен был с ним согласиться в желании помешать ночному побегу. Мысль, что Вера совсем уйдет к Михаилу, мне темнила сознание, лишала рыцарских чувств.

— Сейчас ни звука, мой друг, — зашептал мне горбун, — положитесь во всем на меня. Пусть злой похититель уедет в надежде свидания, а героиня со златокудрой наперсницей приготовит все к бегству из отчего дома. Пусть попробуют; мы их у околицы хлоп — и в мышеловку мышат. Мы их допустим, mon ami, [2] на шарабанчик к Петру, с узелочками, с сувенирами; а чуть кони с места, верная стража — наперерез с фонарями и гиканьем. Можно ракету-другую пустить, от помолвки остались! Хе, хе... Невеста, разумеется, в обморок, ее в девичью светлицу на замок. Петра, по обычаю здешних мест, на конюшню, а рыжую Марфу... — Лицо Мосеича стало как

---

[1] В добрый час (*франц.*).

[2] Мой друг (*франц.*).

у мерзкого павиана, — разверстка по чинам! А утешителем при героине опять вы, как было раньше — один.

— Негодяй! — сказал я, дрожа от бешенства. — Я не участник в издевательстве.

— Это вы? — Мосеич попятился к слуховому окну и на всякий случай первый спустил ноги наружу, на перекладину лестницы. — Вы, сударь, участник решительно во всем, от вас первый толчок к семейной драме. Вы предали Бейдемана, раздавив его «Ко-ло-ко-лом». Не правда ли, для Китая то был бы недурной каламбур?

Я кинулся к лестнице и крикнул ему:

— Что вы сделали с журналом?

— Ничего плохого, я передáл его в сохраннейшую из библиотек, в отцовские гневные руки Эраста Петровича.

— Куда вы меня вовлекли... — вырвалось у меня.

— Полно, mon cher,[1] вы не малолетний. — Мосеич уже не скрывал презрения. — Но, по русской пословице, вы хотите, чтоб у вас рыльце не было в пуху. А я, сударь, и для своего стола имею мужество собственноручно свертывать голубкам шеи. Что же, еще не поздно, — сказал этот дьявол, и опять он сказал правду: — идите, предупредите Веру Эрастовну!

Он не сомневался в моей низости.

Когда я сошел вниз по чердачной лесенке, яркий день ослепил меня. Серое небо сменила сплошная синяя эмаль. Я побрел к усадьбе. Дойдя до скамьи, откуда издали было видно поросшее диким виноградом окно девичьей спальни Веры, я свалился без сил. Всю ночь я не смыкал глаз. Пережитые волнения были слишком сильны. Если б сейчас Михаил оказался рядом и спросил меня, что со мной, я, не думая о последствиях, рассказал бы ему решительно все.

За кустом в ручье щелкали утки, ловя червяков; стадо коров, тяжело топая, прошло к водопою. Слабо звякнули бубенцы, к крыльцу подкатила тройка. Я сообразил, что это для Михаила, который, попрощавшись со всеми еще с вечера, торопился попасть в город к поезду, чтобы в последний день отпуска повидать еще свою старушку мать в Лесном.

---

[1] Мой дорогой *(франц.)*.

Вдруг из плотных кустов буксуса, росших прямо под окном Веры, как из-под земли, показался Михаил. Он был в шинели и фуражке. Сорванным прутом он легко постучал в ставень. Конечно, его стука ждали: окно распахнулось, и Вера, в розовом кисейном капоте, сияющая, ликуя в ответ солнцу на чистом, без облака, небе, протянула ему свои тонкие девичьи руки. Михаил ловко прыгнул на подоконник. Они обнялись.

Решительно судьба надо мной издевалась: в том, что ночью я лишь угадывал по слуху, сейчас должен был воочию убедиться.

Вера что-то долго шептала Михаилу, верно рассказывала про побег. Он торопил ее, оглядываясь по сторонам; он боялся, что их заметят, раза два глянул в моем направлении. Я был от них скрыт густой беседкой сирени, но мне-то они были видны сквозь небольшой просвет.

Они прощались так весело и былы полны таких непреложных надежд, что я не заметил и тени боли, этой неизбежной спутницы любви при малейшей разлуке.

Он спрыгнул с окна, обернулся. Она ему махнула оставленной им веткой и долго смотрела на дорогу, пока не улегся последний столб пыли, взметенный умчавшейся тройкой. Не отрывая глаз от нее, я видел, как она все с той же победной ликующей улыбкой ушла вглубь своей комнаты. Если б она знала, что в это сияющее утро она видела Михаила в последний раз... Впрочем, нет: она увидала его еще однажды. Но это уже был не он.

Мой отпуск кончался через несколько дней, но я не мог выдержать так долго пытки. В доме было напряженно, как перед грозой. Старик Лагутин сказался больным, и Мосеич от него не выходил; очевидно, обдумывали вместе ловушку. Вера появлялась, как лунатик, видимо отсутствуя где-то чувствами, и все больше сидела запершись с Марфой; как потом оказалось — отбирала все ценное для побега. Улучив минуту, я подошел к Вере и сказал:

— Прощайте! Я ухожу на охоту, и, чего доброго, завтра не удастся попрощаться. Вы спите долго, а мне ехать зарей, как сегодня Михаилу.

Я нарочно подчеркнул последнюю фразу, я с вызовом смотрел на нее, я внутренно молил ее обеспокоиться моим возбуждением, задать вопросы, потребовать ответа. Кто

знает, хоть минуту обрати она на меня лично внимание, я, может быть, ей рассказал бы про Мосеича... я бы не знал удержу в благородстве, я бы создал новый план бегства, я сам бы помог его выполнить! Кто же знает всю глубину низости и всю высоту подвига самоотверженія собственной таинственной природы?

Вера насторожилась при имени Михаила, но тут же, должно быть, привычно учтя мою недалекость и постылое «благородство», решила, что подчеркиванье случайно, рассеянно сказала мне: «Вот как! Ну, прощайте», — и ушла к себе на зов Марфы.

Я схватил ружье и пошел, куда глаза глядят. Целый день пробродил я, ничего не убив, да и было мне не до охоты. Сам, как смертельно раненный зверь ищет место, где бы ему приткнуться и зализать свои раны, я со стоном прометался по чаще всю ночь и на заре, охваченный мучительным беспокойством относительно судьбы Веры, с чувством вины перед ней и презрением к себе, подходил я к усадьбе Лагутиных.

Вдруг из конюшни, мимо которой лежал путь, донеслось нечеловеческое рычание. Я прислушался: хлест плети и оханье после удара, как от поднятия тяжести, без слов объяснили мне о производимой там мерзостной экзекуции.

— Стой! — раздался голос Мосеича. — Он не дышит. Окати его водой.

Я изо всех сил дернул дверь, сорвал ее с петель и вошел. На скамье лежал туго связанный, смертельно бледный Петр. Он был без сознания. Его здоровое голое тело было вздуто сине-багровыми рубцами и залито кровью.

— Мерзавцы, вы его забили до смерти!

— Последнее всыпали, — сказал равнодушно огромный мужик. — Пущай отлежится.

И он стал обтирать трехконечную плеть от крови.

Мосеич, сощурив ядовитые свои глаза, закурил трубку.

— Сорвалось, — сказал он. — Всем трем голубкам свернута шея!

— Что с Верой? — крикнул я.

— Королева под крепким запором, хоть и не в круглой башне, но едва ли сбежит. Старый король с большим вкусом воскресил этой ночью рождение Афродиты из пены морской при участии рыжей Марфы.

— Что решил он для Веры Эрастовны?

— Нечто вам приятное. Выдать ее немедленно за князя Нельского... Он вдвое старше, и молодой утешитель будет хорош...

Я пощечиной свалил дьявола с ног и побежал к дому. Был очень ранний час. Двери и ставни заперты. Я подтянулся на руках, как вчера Михаил, к подоконнику Веры и постучал кулаком в ставень. Не сразу чуть приоткрыла его старуха Архиповна. Она замахала на меня:

— Погубишь нас, уходи, стерегут...

Послышался голос Веры, она спрашивала, кто говорит. Архиповна опять высунулась, оглядываясь кругом, и шепнула мне:

— Жди в кусту.

Как заяц, я прыгнул в густую акацию и во-время. Гришка-цыган, приспешник Мосеича, с дубиной выскочил из-за угла и крикнул:

— Кто здесь?

Целый час просидел я в засаде, пока Гришку не позвали в людскую и сменить его под окном пришел Кондрат, молодой славный парень, с которым я ходил в ночное. Он был мне очень предан, и я хотел выкупить его у Лагутина.

— Кондрат! — крикнул я.

— Что вы, барин! — отмахнулся он. — Меня запорют, если вас допущу...

Сморщенная рука няни Архиповны, с красной шерстинкой от ревматизма, высунула письмо из окна.

— Кондрат, дай скорей письмо, — попросил я.

Кондрат оглядел зорким глазом вокруг и, взяв у няни конверт, отдал мне. Я скрыл его на груди. Ставень захлопнулся.

— Как было дело, Кондрат, скажи в двух словах?

Кондрат рассказал, что Марфа под вечер принесла старику Лагутину вино, куда барышня сыпнула сонного зелья, а как барин про всю затею уже знал от Мосеича, то графинчик он обменил другим, заготовленным. Марфе плясать приказал, а сам притворился, что засыпает.

Марфа, уверившись в его сне, побежала к барышне, и обе, схватив узлы, за околицу. А уж там Петр ожидал

их с коляской. Только сели, Эраст Петрович им наперерез да с револьвером. Хоть стрелял он в воздух, а обе со страху сомлели. Петр ударил по коням, да куда против скакунов... Тут его, раба божьего, спѐшили, связали по рукам и по ногам и Мосеичу сдали, заплечных дел мастеру. Барышню на руках в светлицу внесли, с нянькой заперли, а Марфу — всю ночь плясать...

— Пляши! — кричит барин. — Пока пляшешь, Петра пороть не велю, а как присядешь — начнется работа! До утра буду взбадривать. А ну-ка, сократи ему срок!

Всю ночь, как ведьма на шабаше, плясала Марфа, пока, словно сноп подрезанный, не свалилась. Сейчас больная лежит.

— Идите, барин, от греха...

Кондрат, завидев сторожа, отскочил от меня, а я пошел заказывать лошадей.

Верино письмо не было запечатано. Я так мало был для нее человек, что не стеснял ее в проявлении самых заветных чувств. На преданность мою и великодушие она, повидимому, надеялась совершенно.

Как оскорбительно и опасно для человека то, что люди именуют уважением и что на деле — лишь величайшее равнодушие при удобном для них признании тех или иных возвышенных качеств души! Но ведь от бездушности признания человек немедленно теряет все эти качества, чем, конечно, печально свидетельствует, что совершенное бескорыстие, ради самой красоты поступка, является уделом лишь самых немногих избранных.

Вера описывала Михаилу неудачу побега, равно как и причину, побудившую ее не пытаться что-либо предпринять без договора с ним. Отец явился к ней с листами «Колокола» и с заявлением, что он представит начальству Михаила все дело как совращение дочери в политических видах.

У Веры был страх, что Михаил при своей горячности станет открыто говорить о своих убеждениях, чем немедленно лишит себя свободы, а с ней и действительной работы для дела революции.

«Впрочем, — заключила она, — если находишь нужным себя обнаружить и пасть сейчас, застрельщиком дела, то умоляю лишь об одном: не забыть и меня взять с собой. Ведь мы соединены навеки»...

Тут следовали такие признания любви, которых я сам и в мыслях не посмел бы сделать Вере.

И она даже не сомневалась, что такое письмо я передам! Так напрасно же она не сомневалась!

Глава VI

КРУГЛАЯ КОМНАТА

Какие дожди этим летом! С холодной зимы не отогреться. Я ухитрился подшить под валенки по куску линолеума, чтобы не промокли: калоши — не по карману. Девочки очень смеялись, однако помогли.

И сколь счастливы их ручонки: денег набрал я, как никогда. Жалели проходящие старика: под дождем, а в валенках, и с подметкой из клетчатого линолеума.

В сущности люди больше художники, чем они это думают. Их трогает не сама нищета, а лишь ее новый живописный оттенок.

Когда я шлепал по лужам в прежних намокших валенках, мне было куда хуже, а давали-то меньше. А сейчас, с этой остроумной заменой калош, когда я выиграл в смысле здоровья, впридачу и люди на меня умиляются и дают вдвое больше.

Купил я к хлебу полфунта костей в мясной. Девочкам я купил по конфете ирис; спохватился, да поздно, что мальчишки с лотками их для блеска облизывают языком. Ну, ничего, обварю кипятком, будто нечаянно; съедят девочки на здоровье.

Приехал домой я сегодня в трамвае. Сидя в углу, я читал объявление о разоблачении плутней гадалок и гипнотизеров каким-то заезжим профессором психологии. Я вспомнил вдруг Париж и гадалку m-me де Тэб. У нее в приемной комнате висел гипсовый слепок одной руки, такой мне знакомой по карточной игре. Я всмотрелся и говорю: «А ведь это рука генерала Д.». Де Тэб как привскочит:

— Как вы узнали? Дайте-ка мне вашу. — И вдруг грустная стала, чуть не плачет: — Ужасная ваша судьба...

Я пристал:

— Расскажите.

— Большой художник в вас погиб, — сказала она. — А если человек убьет данного ему художника, в нем неиз-

бежно возникнет злодей: таковы законы духа. Ну, это ваше прошлое...

А про будущее она, уступая моим настояниям, сказала, бледнея, в ответ на вопрос, какою смертью мне суждено помереть:

— Вы умрете, сударь, от истощения, после невыразимых мук одиночного двадцатилетнего заключения и сумасшедшего дома.

Нынче мне 83 года. Если даже сегодня, придя домой, я буду посажен в тюрьму, то и в безумном состоянии прожить еще двадцать лет и умереть 103 лет от роду едва ли вероятно.

Да, с предсказанием m-me де Тэб, как говорили у нас в корпусе, села в лужу. Кто тронет нищего старика?

Я не мог писать эти дни. От дождей вспыхнул ревматизм. Я, как больной зверь из берлоги, смотрел в непроглядное небо, ожидая солнышка.

Завтра первое мая, день навеки мне памятный, когда я сделал свой второй шаг на пути гибели Михаила. Первый шаг, если читатель помнит, свершен был в беседке, когда я в руки Мосеича передал заграничный журнал «Колокол». О последствиях этого дела скажу в этой главе, но прежде для себя самого надлежит занести мне ближайшее: первомайское торжество в шестой год революции.

Еще накануне сеяло весь день, словно из сита, и девочки наши всплакнули, что не удастся им завтра справить праздник. Однако первого мая солнце вдруг вышло такое пышное, жаркое, как в лучший день июля. Девочки весело щебетали, нацепляя друг на друга красные банты; старик Потапыч надел сбоку коммунистический знак: серп и молот на красной звезде. А в красный галстук воткнул он булавку с портретом товарища Ленина.

Я смотрел, как Потапыч брился и надевал эти новые знаки, признак окрепшей власти.

Все ушли из дому; я — один. Девочки со своей школой уехали на грузовике, увитом еловыми ветками, с огромными плакатами о преимуществах грамоты над темнотой.

Старик Потапыч тоже идет нога в ногу с «работниками просвещения» — он числится сторожем в Наробразе. Уходя, он сказал мне с гордостью:

— У нас свое знамя, отменной вышивки. Обратите внимание: колосья на вишневом бархате и лозунг...

Я не долго оставался один. Кряхтя от высокой лестницы, взгромоздился Горецкий. Любопытнейший старик, любит зрелища, а у нас окна на Невский и к тому же с птичьего полета.

Горецкий окончательно впал в детство: он прежнее все забыл, живет последней минутой. Прежде всего он спросил, есть ли сахар и не вредно б чайку... Пили вприкуску — такова стала роскошь. Впрочем, это заветный, припрятан у меня для девочек.

Горецкий с жаром описывал, какие пойдут процессии и инсценировки. Ему посетители нередко оставляют газеты и болтают со словоохотливым стариком.

Видя превосходное состояние здоровья Горецкого по сравнению с моим, я взял обещание со старика, что он, в случае моей смерти, записки мои передаст по назначению. Он долго упрямился, говоря, что у него нет свободного времени, но за фунт махорки согласился, что, в случае чего, снесет мое писание в редакцию сам.

Вдруг ударили трубы: от Николаевского вокзала по всему Невскому широко протянулась процессия. Шли рабочие, шли войска, шли дети. Шел просто народ и праздновал свой праздник. Посреди на грузовике — огромных размеров земной шар. На нем красной краской среди голубых морей отмечены революционные земли, где революция уже совершена или ожидается. А вместо экватора подвижной пояс с лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

И когда вокруг этой громады хор чистых девичьих голосов выкликнул тот самый призыв, который, бывало, с такой горячей верой в грядущее мне шептал Михаил, мне чудилось: незримый, он тут. Надо признаться, что было и чувствительно и прекрасно. В другом грузовике, громадной калоше, — веселая буржуазия всех стран. Из калоши — обмен острословия с окружающими ко всеобщему удовольствию.

А в стройных колоннах — войска. На войсках отлично пригнана форма с разноцветными петлицами. Все они в шлемах, как витязи. Опять понабрались откуда-то рослые молодцы... Не оскудевает Россия! Давно ли поля битвы усеяны были лучшими бойцами, а она уже,

гляди, — как целина, напоенная солнцем, не устает выгонять стройный колос, — опять выгнала новых в ряды.

От духовой музыки охваченный воинским пылом, мой бедный Горецкий вдруг вспомнил про прежнее.

— Сережа, порой я от старческой злости ведь вру. Я сторож... а ведь аул-то Гильхо взят был мной, мной!

Он было всхлипнул, но тут же, ликуя, как будто и он участник первомайского торжества, вдруг сказал мне:

— Ага, теперь небось можно так, теперь и с красными, со знаменами, а прежде-то, прежде?

Меня взорвала его безответственность.

— Дурак! — сказал я ему по-старому. — Да из-за кого же нельзя было, соломенная голова? Из-за таких вот, как ты да как я. Протестовал ты, когда вешали террористов, когда гнали в тюрьмы? Ты, братец мой, одобрял.

— Ну, mon cher, — сказал он, не смущаясь, — это другое дело, террористы хотели применять насилие...

Я с ним не стал разговаривать. Старик явно сходит с ума. К тому же он так радовался, что у милиции новая красивая форма, черная с красным воротом, и сшита по росту.

— Mon cher, у нас снова полиция, и насколько приличнее прежней, ma foi, [1] — европейская. О, если б я знал, что будет так, ни за что я бы не саботировал! И они, между нами говоря, поторопились истреблять нас. Сразу надо было нас кооптировать... Впрочем, я не ропщу: мое место тихое и, так сказать, са-мо-дер-жавное. Сам себе голова, и канцелярии... хе-хе... никакой.

Я устал от Горецкого и обрадовался, когда он стал уходить. Но, тут же устыдясь, что тягостен мне этот последний родной человек, я сам вызвался его проводить.

Идя обратно, вовлекся я в общий поток и со всеми попал на эту роковую для меня площадь Урицкого. Несметная толпа народу в образцовой тишине и порядке слушала речи высоко на трибуну взошедших ораторов. А когда вознесли и развернули пурпурное знамя, грянул из тысячи уст «Интернационал».

Что действительно видел я и что мне пригрезилось? Не на этой ли самой площади, неотделимый от слова

---

[1] Честное слово *(франц.)*.

«Россия», казалось, навеки, мощно звучал иной гимн? И давно ль это было? По времени — краткое пятилетие, по пережитому — века. И вот таким же неотъемлемым от страны стал «Интернационал».

Девочки вернулись веселые, с гостинцами, а Иван Потапыч явно выпивши.

— Угостили кооператоры пивом, не по-товарищески отказаться, — объяснил он свое состояние.

Снимая свои новые значки, Иван Потапыч, желая праздник Первого мая утвердить в домашнем быту, крикнул громко, как на улице: «Да здравствует красный пролетариат!» Затѐм, облекшись в халат и позевывая, нимало не шутя, спросил у девочек:

— А долго ли протянутся царские дни?

Младшая, Сашенька, с досадой сказала:

— Вот еще выдумал: про-тянутся! Завтра же уроки.

Революция решительно стала бытом. И как скоро! Дольше зарастает молодняком старый, с корнем выкорчеванный лес. Отстоялись и становятся милыми новые формы. Из-за чего же, спрашивается, из-за чего столь бесславно погиб Михаил, а я дожил? Не я ведь, а он хотел этих форм.

От солнечного ли дня, от музыки ль и чужой бодрости, но утих мой ревматизм. Когда наутро все ушли, я, как назначено, сел за тетрадь. На чем же я остановился в повести о Михаиле? Да, на письме, данном Верой с такой уверенностью в передаче...

Я не передал этого письма. Оно и сейчас со мною.

Письмо это — моя улика, мое сокровище, мой позор и оправдание. Выцветшее от времени, со следами горьких слез, оно пусть пойдет со мной в могилу.

Как же это вышло, что такого важного письма для судьбы Веры и Михаила я не отдал?

Как и всегда в таких случаях, моя злая воля как бы создала и благоприятные к тому обстоятельства. Вернулся я из отпуска в срок, а Михаила все не было. Оказывается, он днем просрочил, в оправдание чему представил медицинское свидетельство, которому, разумеется, никто не доверял, но по форме так водилось.

Я же, к своему удивлению, оказался вдруг настолько больным от всего мною пережитого, что вечером, за всенощной, упал в обморок и, будучи отнесен в лазарет,

оказался в нервической лихорадке. Когда меня раздевал служитель, письмо Веры, хранимое на груди, я успел сунуть в ящик больничного столика и впал в трехдневное беспамятство.

Первое дело, когда я очнулся, было проверить, тут ли письмо, и еще сохраннее спрятать его в ящик под разными туалетными мелочами. Через неделю ко мне пустили товарищей, пришедших меня проведать; между ними был и Михаил. Это было — навсегда помню — первое мая. Оставшись один, он спросил: что случилось в Лагутине и есть ли ему письмо? Я молчал, как бы собираясь с силами, а у самого молнией пронеслось в голове: если скажу, что побег не удался, он найдет способ подвигнуть Веру на поступки чрезвычайные, а я сейчас распростерт и бессилен охранить ее. И притворяясь более больным, нежели был, я сказал ему:

— Я подробнее расскажу все позднее. Особенного ничего не случилось. Вера пока у себя в имении, на днях же тебе вышлет письмо, а со мной не успела: я уехал внезапно по вызову тетки.

Так велико было невнимание Михаила к моей личности, что, приняв меня однажды за готовую схему, он себе не дал труда всмотреться в меня как в живого человека.

— Нет письма, — сказал я.

Вот оно — и сейчас тут! Голубоватый конверт, вложенный в большой полотняный, прочнейшего качества. И Михаил и Вера истлели, даже вещи Михаила, пробывшие, как и он, в заключении двадцать один год, по донесению коменданта, пришли в ветхость и по его предписанию были уничтожены сожжением в присутствии двух жандармских офицеров, а письмо это цело.

Не отдав письма, я решил окончательно не говорить всей истины, и, выйдя из лазарета, в единственном разговоре, которым меня Михаил удостоил, я был уклончив, отзывался неведением, пребыванием на охоте.

Между тем был конец мая, день производства в офицеры близился. День этот для каждого юнкера — необычайное торжество и в некотором смысле единственный, неповторяемый день в биографии.

Впоследствии, для военного, многие дни могли быть счастливее и торжественнее, как, например, получение за

храбрость Георгия; но более разительному психологическому переходу из одного состояния в другое — не повториться.

Производство — это как бы посвящение в рыцари. Вместе с погонами офицера вчерашний юнкер должен был спешно усвоить себе целый курс особой офицерской тактики и знания законов офицерской чести, прав и обязанностей. Этот сложный кодекс был своеобразен и часто прямо противоречил кодексу общечеловеческому.

Этот наш особый уклад был не однажды описан писателями, и я упоминаю о нем лишь потому, что столько лет был он мне как цыпленку скорлупа, охватывающая все, что необходимо для его питания и роста. Но цыпленок, коль скоро он разбил скорлупу, уже на ногах. Я же из разбитых осколков не знаю, куда мне ступить.

На производстве был государь. Он нас поздравлял и целовал фельдфебеля и портупеев. Я обратил внимание на то, что Михаил, смертельно бледный, не сводил горящих взоров с царя. Он был портупей-юнкер. Когда государь слушал рапорт фельдфебеля, он встретился глазами с Михаилом. Я видел: что-то дрогнуло в его лице; он его узнал. Царь повернулся и заговорил с Адлербергом. Я потом узнал от его племянника, моего товарища, что царь спросил: «Кто этот юнкер?» Услыхав фамилию, как бы боясь забыть, он повторил ее дважды: «Бейдеман, Бейдеман». Потом прибавил: «Пренеприятное лицо!»

Михаил вынул носовой платок и, приложив его, как бы удерживая внезапное кровотечение, вышел. Он не хотел принять поцелуя.

Когда прошли мы в столовую на парадный обед с военной музыкой, не утерпел я и сказал Михаилу:

— Что это ты, при общей радости, как некий Мельмот-скиталец, таящий зловещую тайну?

— Не всегда будет тайной, дай срок; но зловещей кое для кого останется!

И вдруг, приблизившись, он быстро спросил:

— А ты мне правду сказал, было мне письмо от Веры?

И второй раз я постыдно солгал, опуская глаза:

— Да, карандашом было две строчки, даже незапечатанные, но, прости меня, в болезни я его потерял и по

слабости не мог признаться. Но я рассказал тебе все, что знал, и если б захотел, ты бы мог действовать.

— Со связанными руками? — в бешенстве прохрипел он. — Но знай однако, если письмо не потеряно, а ты мне солгал и от этой лжи пострадает наше с Верой дело, я убью тебя.

— Предлагаю хоть завтра дуэль, — сказал я.

Мы не могли оторваться друг от друга. Михаил опомнился первый.

— Прости! — сказал он. — У меня порой чувство, что ты мне будешь причиной великой беды. А на дуэли драться не стану. Моя жизнь нужна делу.

Я был почти счастлив. Михаил стал меня замечать. Дивно устроена природа всех склонных к художествам! Я понял, что не только Вера, а и сам Михаил мне, пожалуй, не менее дорог.

Осмелев, я спросил:

— Ну, а если затронут твою честь офицера, ты и тогда не пойдешь на дуэль?

Он сказал задумчиво:

— Моя честь — честь человека, а не офицера.

— Тогда ты не сможешь и месяц прожить в полку!

— А кто тебе сказал, что я там собираюсь жить?

Под вечер из залы собрания, где предполагалось изрядное вспрыскивание производства, я был вызван вестовым, который сообщил мне, что меня дожидается пришедший с письмом нижний чин, никому не известный. Я вышел в переднюю, и немалым было мое изумление: передо мною стоял Петр, муж красивой Марфы. Хотя смотрел он очень бодро и вытянул руки по швам со столичной выправкой, в моем воображении встало лицо его, тогда на конюшне, мертвенно бледное, и ужасная спина: вся иссеченная, сине-багровая. И потому невольно первое, что я спросил его, было:

— Ну, как же ты, поправился?

— Да, с недельку валялся, вашбродь, а потом лоб забрили и сюда в гвардию. От барышни нашей два письма — к вам и поручику Бейдеманову.

Михаил был у дверей; услыхав свою фамилию, он подошел, взглянул на Петра, вмиг узнал его, вспыхнул, потом побледнел, молча протянул руку за письмом Веры.

— Когда поручик Русанин тебя отпустит, найди меня в библиотеке, — и он спешно ушел.

Петр рассказал мне, что Вера вышла замуж за князя Нельского. Марфа, которую Вера выпросила у отца себе в дар в счет приданого, тоже прислала весточку, где говорит, что молодые собираются за границу, куда хотят взять и ее.

Я не верил ушам, переспрашивал много раз, но Петр подробнее не мог рассказать. Его скоро отправили в полк. Впрочем, он утверждал, что Вера спокойна.

С князем, который женихом приезжал очень часто, охотно и подолгу они все о чем-то говорили, гуляя по темным аллеям сада.

В письме Вера прежде всего настойчиво просила меня взять Петра в денщики. Потом она кратко упоминала о том, что вышла за князя Нельского потому, что он оказался ей неоценимым другом. Скоро они действительно едут за границу, через Петербург, где Вера надеется меня видеть. Затем следовали ласковые слова, от которых я давно отвык, с повторением просьбы о Петре. Я обещал ему немедленно начать хлопоты и провел его в библиотеку к Михаилу. Скоро из дверей они вышли оба, причем у Михаила был такой ликующий вид, будто вовсе не князь Нельский, а сам он женился на Вере.

— Прощай, Русанин! — сказал он мне. — Я на попойке не буду, у меня времени в обрез. Сегодня же я должен ехать в Лесное, меня матушка не дождется. А тебе на прощанье два слова...

Он вспыхнул и остро мне глянул в глаза:

— Ты мне солгал, от Веры письмо ко мне было. И далеко не в две строчки. Но хорошо то, что хорошо кончается. А сейчас для нашего общего дела вышло так, как лучше нельзя и придумать.

— Для дела... — начал я и запнулся, не докончив мысли, что сама, значит, Вера ни на что ему не нужна. Впрочем, я был этим счастлив. Этот фанатик, очевидно, любил только мгновением: не сам ли он признавался Вере, что женщине не принадлежит в его жизни решающая роль? Не сам ли он намекал на трагический случай, что любимую чуть не убил, едва она взяла над ним власть?.. Впрочем, может быть, он рисовался и сочинял... Однако я тогда же спохватился, что на лгуна он совсем

не похож, а изумительная соподчиненность наших двух судеб заставила меня своим опытом проверить и это его приключение. Но об этом много позднеи...

Михаил своей легкой стремительной походкой пошел к воротам по длинному плацу, облитому заходящим солнцем, пожаром, зажигавшим все стекла кирпичных строений. Михаил шел в таком пламенном освещении, что дежурный, уже сильно подвыпивший, глянув в окно, крикнул вдруг: «Пожар, братцы!» — на что ему, не оборачиваясь, ответили: «Знай себе заливай глотку!» И хором грянули застольную.

А мне стало вдруг как-то особенно тяжко глядеть вслед высокой фигуре Михаила, сиротливо убегавшей вдаль среди нестерпимо сверкавших окон, в кровавом свете заката, что я, повинуясь вдруг неодолимому желанию остеречь его от чего-то, схватил фуражку и кинулся ему вслед...

Догнав Михаила, я сказал:

— Позволь, я провожу тебя до почтовой кареты, мне приятно пройтись.

— Что же, проводи, — отозвался он дружески.

Мы двигались молча. Так вдруг стало радостно, как было у нас в дни первых встреч и как давно уже не было. Мы дошли до Полицейского моста, где Михаилу надо было что-то купить. В это время поровнялся с нами шедший нам навстречу некто штатский средних лет, в бороде, не слишком хорошо одетый. Он был мне знаком, но сразу я не мог припомнить, где мог его видеть.

Пристально вглядываясь в Михаила, штатский сказал ему:

— Здравствуйте! Что же вы не зашли? А я ждал, что зайдете...

Это был Достоевский.

Меня он было совсем не заметил, но, спохватившись на мой поклон, с преувеличенной любезностью сказал:

— Вы, кажется, тогда вечером были также в салоне графини?

— Графиня Кушина — моя родная тетка, — глупо ответил я, чем-то словно задетый.

Михаил был, видимо, взволнован этой встречей и молчал.

— Господа, — сказал Достоевский, — зайдемте сейчас ко мне, не откладывая в долгий ящик, благо тут — рукой подать.

У Михаила до отхода почтовой кареты в Лесное было еще много времени, а мне предстояла попойка всю ночь, и начать ее часом раньше или позднее было мне безразлично. И мы оба пошли за Достоевским.

Когда мне впоследствии приходилось читать характеристику этого писателя и воспоминания о нем как о человеке, я был поражен той обыкновенностью, той бедностью наблюдения, какой отличаются люди. Они ловятся на маску, которую носит каждый мыслящий человек для удобства общения с себе подобными. Эту маску они принимают за лицо.

Мне пришлось вырасти в кругу, где видимость обманчива исключительно, где грубейшие по характеру люди и совершенные невежды в искусствах и науке обучались вести многочасовую салонную causerie,[1] умело касаясь всего, и заставляли предполагать несказанным еще большее, между тем как сказанное ими было не более как та искусная театральная декорация с далекой перспективой, которая на самом-то деле заключается в небольшом куске картона и хитром расчете.

От этого опыта у меня выработалось совершенное пренебрежение, при серьезной оценке человека, к последней его работе, сделанной напоказ.

Должен сознаться, что из сочинений Достоевского я к тому времени не прочел ничего, и тем свежее и непринудительнее, как сейчас могу понять, было мое о нем впечатление. И всю жизнь мне чрезвычайно смешно, когда какой-нибудь недоношенный неврастеник со слезливыми чувствами воображает себя «под Достоевского».

Совсем обратными свойствами поразил меня этот писатель, когда я внимательно к нему присмотрелся.

У него в высшей степени было то качество, каким обладают очень немногие светские женщины, порой далеко не красавицы, но в них есть нечто большее, чем красота. В них очарование, бесспорно решающее чужую судьбу.

---

[1] Беседу *(франц.)*.

После знакомства с ними все впечатления, получаемые вне их сферы воздействия, бедны и бледны. Их присутствие подымает, множит все силы, как шампанское, бьет в голову, обогащает.

Тайну подобного обаяния ученые люди, вероятно, когда-нибудь вскроют, как присутствие в ином организме усиленных токов жизни.

Воздействие Достоевского от присутствия в нем этого сгущенного эликсира жизни было так стремительно и беззаконно, как свет прожектора, вдруг вспыхнувший и сразу же охвативший своими лучами предмет.

Быть может, люди не художнического склада, а сильные волей и мыслью, нечувствительны к подобным воздействиям; но я шел за Достоевским в величайшем волнении, похожем на ту утрату внешних чувств, которая охватывала меня, к примеру сказать, в императорском Эрмитаже перед иной из любимых картин.

Глянув на Михаила, я заметил, что взволнован и он, но по-иному. Его мужественное лицо как-то сделалось жестче, он весь подобрался, поправил лядунку, передернул плечами, как перед смотром, и стал ступать круче, отчеканивая каждый шаг.

— А ведь вы уже офицеры, — улыбнулся Достоевский, — а тогда были еще юнкера. Полагается вспрыснуть. У меня, кстати, недурное вино. Угощу вас им в замечательной комнате. Я здесь временно у приятеля, который сам за границей, пока в моей квартире ремонт.

Мы поднялись в четвертый этаж. По каким-то темным и мало хорошего обещающим переходам подошли мы к ободранной двери. Достоевский пошел рядом в чулан, за бечевку вытащил, как рыбу, дверную ручку, вставил ее в отверстие двери, поворотил. Мы оказались в темной передней, заваленной подрамками и дровами. При нашем появлении пискнули и прошли в угол две крысы.

Достоевский толкнул дверь, и мы вошли в удивительную комнату. Она была огромная и совершенно круглая. По внешней стороне, дугой огибающей проспект и канал с желто-зеленой водой, шли три большие окна. На одном, широко открытом, весь подоконник был в цветах благоухающего душистого горошка, как сейчас помню, одних лиловатых колеров. Этот первый план прекрасно совпадал с бесконечной перспективой на город. За нежными

лиловыми цветами, как призрачное, возникало одно из чудес Растрелли — красный графский дворец. На фронтоне — две лисицы, взметенные на дыбы. В переменчивой игре заката они казались ожившими. Конечно, я знал и названия пересекающихся улиц и дома, но отсюда, с четвертого этажа, когда все окно охвачено пурпурно-золотым небом заката и все здания зыбки, я в этом городе чую острей гений строителей, и Петербург предстает мне нередко Италией.

Большой чаровник — час заката! Так однажды, в Париже, от Булонского леса я взволновался, как от овражков нашей скромной Смоленской губернии. Быть может, тоска эмигрантов по родине, во множестве там бродивших, мне навеяла это чувство.

Как бы отгадывая мои мысли, Достоевский нам указал на первые огоньки, задрожавшие в темных волнах канала, на длинную лодку под мостом и сказал:

— Ну, чем не Венеция! Впрочем, и действительность мечте не уступит. Лодку эту, полную глиняной самодельной посуды, привели из Череповца гончары. Уже раскупили. А вчера, под нежданно ярким солнцем, и наши горшки заиграли не хуже мозаики св. Марка... Однако присядемте, господа, и вспрыснем ваше новое звание.

Мы отошли от окна и сели на один из длиннейших диванов, которые шли по окружности вдоль стен, совпадая с их выгнутой линией. Диваны перемежались с книжными шкафами. Посреди не было ничего. Матовый паркет, давно не натертый, но чистый, будто для сказочной игры, причудливо разбросал свои прекрасно сбитые ромбы. Под потолком висела люстра, тоже круглая, византийского стиля, с цветными лампадами вместо свечей. Достоевский налил нам в рюмки отменной марсалы.

— Я, знаете, просто по-детски рад, что у меня хоть временно эта фантастическая комната, — начал было он, но Михаил, вдруг особенно волнуясь, его перебил:

— Мне помнится, в первой главе «Униженных и оскорбленных» вы говорите, что хотите себе квартиру особенную, не от жильцов, и хоть одну комнату, но непременно большую... Еще замечаете вы, что в тесной комнате и мыслям тесно, а вы любите, когда обдумываете свои повести, ходить взад и вперед по комнате...

— Откуда вы знаете? Романа еще нет в печати...

— Наш профессор Селин хранил как-то ваши рукописи, я его секретарь, он давал мне прочесть.

— Как же, Селин, свойственник Герцена, очень, очень помню его... Но, однакоже, вы произнесли слово в слово. Неужто так пристально читали меня? — удивился Достоевский.

— Мы, русские, иначе не умеем... все с головой. Я слышал, художник Иванов показался Штраусу сумасшедшим оттого, что его «Жизнь Иисуса» выучил от доски до доски и приставать вздумал к автору с такими вещами, о которых тот уж и думать забыл.

— Последнее вы предполагаете сделать со мной? — улыбнулся Достоевский.

— Вы угадали, — не улыбаясь ответно, сказал Михаил. Он стал очень серьезен. — Да, я именно пристально вас читал. И, мучась некоторыми мыслями относительно вас, я у вас же набрел на разгадку, на некое одно «кстати»...

— Любопытно, очень любопытно...

— Вы говорите, между прочим, следующее: «Кстати, мне всегда приятней было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их». И спрашиваете тут же: отчего это?

— Ну-с, и вы мне хотите сказать, отчего?

— Увольте... Уж это пускай вам говорит ваша совесть...

Я с удивлением взглянул на Михаила. Он сказал фразу почти грубо и совершенно, по-моему, неуместно. Что же в том плохого, если кто мечту предпочитает словесному выражению? На мой взгляд, это даже поэтично, ибо мечта — бескорыстней всего.

Но Достоевский не удивился. Он склонил голову и внимательно, будто собираясь чему-то учиться, как бы с особым уважением слушал Михаила.

Насколько Достоевский поразил меня в салоне тетушки своей угловатостью, настолько сейчас я пленен был его внутренней обаятельной деликатностью, с которой пытался он как бы расправить судорожность волнения Михаила, которое, казалось, он до тонкости понимал.

— Отчего вы ко мне не пришли до сих пор? Ведь это же не случайность? Ведь вы не хотели прийти ко мне?

Достоевский так говорил, будто одну за другой снимал ненужные перегородки и входил в человека так же просто, как входят в сад, отворяя калитку.

— Конечно, вы мне не чужой, — не подымая глаз, сказал Михаил, — но для моего дела... для моего дела... вы самый жестокий, самый вредный человек.

Михаил выговаривал твердо. Он весь насторожился, как некто на бойнице, окруженный врагами, но не готовый к сдаче.

Волнение его, хотя совершенно мне непонятное, как, впрочем, и весь разговор, передалось и мне.

— Так я и думал про вас, — как бы одобрил Достоевский.

— «Записки из мертвого дома» все завершили, они окончательно оттолкнули меня от вас. Конечно, человек себе сам судья, и — как я уже вам сказал — ваша совесть пусть и знает... Но вот аналогия: насколько по собственному вашему признанию вам приятней мечтать, чем писать, иными словами — приятнее оставлять при себе, нежели закреплять для других, другим отдавать свое внутреннее богатство, настолько же... Ну, словом, и с живой жизнью у вас тот же сделан выбор...

И, вдруг вспыхнув, Михаил отрезал с невыразимой горечью:

— Подешевле вы обернулись! И это с тем, что вы знаете, с тем, что вы видели!

Михаил встал и, не в силах говорить, отошел к окну. Я смущенный смотрел на Достоевского. И вот не забыть мне лица его в ту минуту. Сквозь большую, какую-то могучую древнюю скорбь, которая не оставляла лица его и при веселой улыбке, ему свойственной, вдруг проступила такая сияющая, такая любовная радость.

Достоевский подошел к Михаилу, а я остался сидеть на диване, прикованный взорами к их почти силуэтным фигурам на все еще розовом фоне окна.

Михаил был в том своем аффекте, когда, сжигаемый диким огнем, он уже не видел перед собой никого. Как стреле, пущенной из сильного лука, ему уже было только вонзиться, а не свернуть с полета...

— Когда вы выходили из каторжного острога, — уже не сдерживаемый загремел его глухой и глубокий голос, — когда вы прощались с почернелыми бревенчатыми

срубами казарм, где вы с такой мукой отсчитывали по палям забора дни заключения, да неужто только гением вашего художественного дара запомнили вы то, что оставляете там за собой, выходя на свободу? Я наизусть выучил этот кусок, вот он: «Сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уже все сказать: этот народ — необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?» И вы же, вы сами, еще раз с новой строки, для внимания читателя, еще переспрашиваете: «То-то, кто виноват?»

— Что же мне, по-вашему, надо было сделать? — очень тихо и бережно спросил Достоевский.

— Я знаю только, что́ надо делать нам.

— Кому это... нам?

— Нам, молодым! Молодые гибнут, не сходя с того места, где они увидали насилие. Им не передать устно свой опыт, им истратиться. Им лечь костьми! Когда были мученики за Христа, небось во вселенских соборах нужды не было... Против зла и насилия жизни был, есть и будет выбор один — добровольная *смерть* за свободу. Посудите: зачем же было мне к вам приходить? Вы ищете примирения, вы ищете выхода. А нашему делу нужны непреклонность и смерть. Прощайте...

Михаил пошел к двери, Достоевский взял его за руку.

— Постойте, я вам посвечу, в коридоре темно...

С разбитыми чувствами и ничего не понимающий, я безмолвно пошел вслед за Михаилом. Достоевский шел впереди со свечой. Свеча эта бросала дрожащий свет на ближайшие части стен и бессильна была разогнать ночные тени, сгущенные в многочисленных нишах, закоулках и пересечениях главного коридора. И как недавно Петербург из окна странной круглой комнаты мне вдруг почудился Италией, так сейчас эти чуть освещенные лестницы и переходы странного дома возродили во мне память о катакомбах, первых мучениках и гонителях.

Сейчас, когда передо мной лежат все события в их окончательном завершении, вижу ясно, сколь верное показание дали мне в тот вечер мои смущенные чувства.

Поистине, как старший брат, давно принявший свой крест, светил «по пути узкому» Достоевский своему брату младшему — Михаилу.

А та круглая, необыкновенная комната, по справкам, мной о ней наведенным, от приятеля Достоевского очень скоро перешла в руки к некоей мадам Флоранс. Этой даме служила она вплоть до революции общей залой для девиц и гостей ее легкомысленного, но доходного заведения.

Глава VII

ЛИПЫ В ЦВЕТУ

Разумеется, согласно письму Веры, о Петре я стал хлопотать немедленно и успешно. Мне удалось перевести его в нашу часть и взять к себе в денщики. Относительно прочих событий я был в решительном недоумении.

Радость Михаила по поводу брака Веры с князем обличала, что брак этот вышел какой-то ненастоящий. Подчеркивание Веры, что князь оказался неоценимым другом, указывало на какую-то особенность их отношений. Но поездка за границу? О том, что любовь Веры к Михаилу не прошла, я не сомневался нимало; как же с этим вязался ее отъезд? Ведь Михаил не мог ей сопутствовать. Как офицер, он по крайней мере года на три был прикован к месту своей службы.

Скоро все объяснилось. Михаил Бейдеман исчез. Напрасно ждали его в драгунский Орденский полк, к сроку он не явился. Старушка мать его, которую он уверил, что на короткое время едет в Финляндию, не имея о нем никаких известий, обратилась с просьбой о розыске своего сына к главному начальнику военно-учебных заведений, великому князю Михаилу Николаевичу.

Жестокий, как все фанатики, Бейдеман не думал ни о ком из людей, с ним связанных. Он не пожелал войти и в положение своей бедной матушки. Иначе как могло не прийти ему в голову то, что пришло бы всякому на его месте? Ведь детская ложь его при разлуке с ней, как потом оказалось — навеки, должна была обнаружиться уже через несколько дней и повергнуть ее в худшее из беспокойств. В его воле было это лишнее страданье от нее отклонить; его мать была особенная, мужественная жен-

щина. Но он просто о ней не подумал, а сделал так, как ему было в данную минуту удобней.

А к Вере Михаил не поехал, чтобы не навлечь на нее подозрений и не помешать ее свободному выезду за границу, где она должна была съехаться с ним в Италии. О переходе Михаила через границу губернатор города Куопио сделал донесение финляндскому генерал-губернатору, чему имеются документы. Восстановляю события по ним.

Михаил поздно вечером остановился в одной гостинице, где переменился с буфетчиком платьем, дав объяснение, что это нужно ему для того, чтобы наутро пойти на охоту. Но, уйдя утром, Михаил не вернулся совсем в гостиницу, а прошел пешком из Улеаборга в Торнео. Больше властям в то время ничего не было известно.

Я всей душой рвался повидать Веру и собирался просить краткий отпуск по делам своего Угорья, как вдруг от нее самой пришла мне эстафета с мольбой ехать немедленно, по особо важному случаю. Я приказал Петру укладываться. В это время мне доложили, что меня спрашивает пожилая дама. Это была мать Михаила.

Никогда не забуду я этой старушки. Михаил был ее последним, поздним сыном. Несколько с виду чопорная, немецкой складки, она, в черном платье и белоснежных рукавчиках, поражала столь редким в женщинах отсутствием всякой суеты. Казалось, вся жизнь ее протекала в большой внутренней глубине, и наружу вырывались только те немногие слова и движения, которые были необходимы, чтобы общаться с другими. При этом невыразимая доброта сияла в ее прекрасных, еще яркосиних глазах. Это не было то, ни к чему не обязывающее и неверное светское добродушие, — это была доброта настоящая, приходящая делом на помощь. Потому, вероятно, что-то строгое и наблюдающее было в ее манере слушать и смотреть.

Я сразу понял, что такой матери Михаил мог бы довериться. И еще понял я, глядя на нее, как мог у него самого сложиться такой страстный, глубокий характер, устремленный, как стрела, к одной цели.

Мать Бейдемана без всяких подходов и намеков изложила мне цель своего посещения.

— Я пришла просить вас съездить к Вере Эрастовне: предполагаю, что она больше всех знает о моем исчезнувшем сыне.

Я показал ей на мои чемоданы и дал Верину эстафету.

— Не замедлите же ко мне по приезде, я так буду ждать вас!

Я, разумеется, обещал и поцеловал руку ее с истинным чувством сына.

Как волновался я, садясь в высланный мне экипаж, чтобы ехать в усадьбу князя Нельского! Я рад был, что у меня в запасе целых четыре часа времени, чтобы собраться с мыслями. Впрочем, на душе у меня было легко. Я себя уверил, что случай так повернул мои оба поступка, что стали они Вере и Михаилу лишь «счастливым обстоятельством». Из-за переданного мною «Колокола» — столь опасной угрозы в руках отца — Вера пошла на какой-то условный брак с князем, не лишившим, повидимому, ее свободы действий и чувства. А тем, что я утаил ее письмо, я только удержал Михаила от безумства. Сейчас они разлучены, и сама судьба заставит их проверить, точно ли им необходимо соединяться.

Тронутый скорбью прекрасной женщины, матери Бейдемана, и польщенный эстафетой Веры с немедленным вызовом приехать, я настроился на романтическое великодушие. К князю же я не ревновал.

Дорога шла полями вперемежку с березовыми рощами. Среди столетних могучих лип, от которых ветер принес медовое благоухание, вдруг вылепился своей белою колоннадой великолепный дом Лагутина.

Навещать старика у меня не было охоты, и я еще с почтовой станции приказал подвязать колокольчик, дабы унять его непрошенную ябеду и — как следствие — неизбежное дознание Мосеича о том, кто именно проехал, не засвидетельствовав своего почтения Эрасту Петровичу.

В полуверсте от дома я обратил внимание на черные балки и уцелевшие стропила, печальные останки сгоревшего гумна.

— Что это, пожар был? — спросил я ямщика.

— Свои подожгли, — отозвался он, — лагутинские мужики за барскую издевку над бабами.

И по просьбе моей он рассказал следующее:

— Как вводили у нас уставную грамоту, как пошли землемер да мировой посредник кружок обходить, мужики и кричат: «Не принимаем!» В тягле-то было семь-восемь десятин, а надел у нас в Красненском уезде вышел всего десятины в четыре: как не обидно! Недаром княжецкие лагутинских мужиков вышучивали: «Бык у вас и мордой чужое ест и навоз на хозяйское стелет».

Вот начальство пришло, созвали сход и пошли нарезать. Честь-честью промежили, землемер проверил вехи, а как развел астролябию — откуда ни возьмись брюхатая баба: легла на межу брюхом вверх, не дает углы мерить! Истошным воем воет. И горе с этой бабой и смех. Пуще всех лагутинский барин хохочет, карле своему подмигнул, у всех на глазах о чем-то шептались.

Ну, ладно, увели в тот раз бабу, отмерили землю. Указал землемер прочим, когда их черед.

А в следующий раз-то такое дело случилось! Да, не пройдет оно лагутинскому барину, забудет он себе потеху из мужицкого горя строить...

Мужик злобно умолк, но я поднес ему из дорожной бутылочки, и он продолжал:

— Пошел проклятый Мосеич от имени барина будто с добрым советом: пусть, дескать, все тяжелые бабы, сколько их есть, отовсюду сберутся да цепь протянуть не дадут. Брюхом вверх, как та, первая, пущай лягут, да беспременно чтоб голые... у той, вишь, толку не вышло за то, что в одежде, кто же ее щупал? Может, чем и набилась. Ну, а брюхатых закон уважит. Ежели все гуськом лягут, — не пороть же их! Обязательно уважение сделают, и спасут бабы надел. И что скажете? Ведь поверили бабы. Которые мужики поумней, учить стали — так их чуть не в колья деревня. Чем ей темней, тем ей верней.

В назначенный день вышло начальство; глядь — сплошные брюхатые бабы, да — как нарочно — такая их прорва! Хохочет помещик, на гумно их зовет, поит для храбрости водкой.

Как изрядно охмелели, велел, чтоб разделись, да, как мать родила, к землемеру. А тут два человека уж цепь тянут; сами знаете, десять сажен цепь: воруй не воруй мужик колышки, землемер да начальники свое выберут.

Тянут цепь, а брюхатые бабы все, как одна, наземь хлоп — и завыли.

Ну, пороть их не пороли, однако жандармский полковник приказал всех, как были, в холодную. От давки, от драки, от перепуга две по ребеночку сбросили, одна в уме повредилась, а одна себя жизни лишила. Ведь им потом на деревне проходу не стало, засмеяли, что пороты, а эта — крутая, стерпеть не могла...

Ну, сейчас лагутинский барин держись! Мужик этой бабы не кто-либо, а Потап кривой, ему черт не брат, гляди — всех подымет!

— Ну, а княжеские мужики как, довольны?

— Про князя грех сказать, всяк похвалит, а как женился на лагутинской барышне, ровно отец родной стал. Всех своих он на волю отпустил, а кто не хотел от него уходить, тому такой нарез дал — сиди да панствуй.

Мне хотелось подробней узнать про Веру, но показались строения и службы, а за ними предстал и сам длинный княжеский дом. Он не похож был на дворец соседа, так как выстроен был крепостным архитектором для удобной, но непритязательной жизни.

На балконе, увитом жасмином и вьюнками, стояла сама Вера в белом кисейном платье. Мне показалось, будто она стала еще выше и красивей.

— Милый Сержик, я так вам рада! — сказала Вера. — И Глеб Федорович ждал вас. — Она указала на князя.

С князем мы расцеловались. Он, взяв меня под руку, провел в приготовленную мне комнату.

— Совершите ваш туалет, и потом милости просим рядом, в летнюю столовую.

О князе надо сказать особо два слова...

Конечно, вполне основательно утверждение, особенно настойчивое в современном взгляде на вещи, что каждый из нас — продукт той среды и действительной жизни, в которых он рожден и живет. Но позволю себе отметить, что иной человек, даже деятель, может существо свое не выражать вовсе или выразить превратно. Я знавал в юношестве людей, ныне давно отошедших, которые лет на пятьдесят опережали свой век, а посему в свое время годились на исполнение должностей лишь случайных и нимало для них не характерных. Так, собственный мой отец, человек большого философского ума, ненавидевший

войну и весь ему современный государственный строй, всю жизнь принужден был отличаться на посту военного генерала. Также и дядюшка Юрий, страстный археолог, известный в Европе раскопками, занесен в историю завоевателем восточных земель благодаря одному блестящему военному действию, которое совершил он, по собственному признанию, не как военный, а как прирожденный азартнейший шахматист.

Князь Глеб Федорович принадлежал к таким людям. Внутреннее его содержание не соответствовало ни его званию, ни положению в свете. При тончайшей европейской образованности, он был из типа тех русских людей, которым ничего от жизни не надо. Сами же они, принимающие правой рукой подаяние, а левой его отдающие, легко и любовно идут по земле. В простонародье чаще всего такие люди в буквальном смысле странники; не ханжи-дармоеды, а те мудрые простецы, которых подсмотрели писатели наши Толстой и Тургенев.

Князь Глеб Федорович, если бы не тетушки и не бабушки — норовистые старухи, давно бы роздал все имения и с сумой пошел по лесам.

Большой ум, суждения совершенно свободные, без пристрастия, давали беседе его очарование неизъяснимое и убедительность совершенного бескорыстия.

Встретясь с Верой, он сразу угадал ее гордую независимость и, как потом оказалось, уж давно предлагал ей выйти за него замуж для снискания полнейшей свободы действия при значительных средствах.

При воспитанности и брезгливом нежелании «дразнить гусей», князь сумел сохранить всю видимость светского человека, не вызывая в свете ни особой к себе близости, ни раздражения. Но, женившись на Вере и встретив горячую действенную волю проводить сейчас в жизнь свои чувства, он с головой ушел в земельную реформу, чем вызвал ненависть своего тестя Лагутина.

Князь и Вера по своему усмотрению, к благополучию крестьян, в ущерб себе, принялись исправлять «Положение» и с родительской заботой создавали каждому тяглу наилучшие условия. Старик Лагутин перестал вовсе к ним ездить. В этот момент взаимного расхождения и, в частности, по его поводу, я и был ими вызван.

На террасе, обвитой яркоалыми турецкими бобами и вьюнками, кипел сверкающий самовар и дразнила аппетит румяная и сдобная снедь. Вера, отпустив девушек, хозяйничала сама.

Этот утренний свежий час, среди двух лучших в мире людей, из которых она — моя единственная в жизни любовь, запомнился мне совершенной, нездешней красотой.

Пусть читатель простит мне сентименты. Этот час был как яблонный майский цвет, невзначай пропущенный жестокими парками в кровавую ткань наших трех жизней. Без этого часа у меня бы сейчас не было примирения со всем, что, как это видно из дальнейшего, не замедлило разразиться над нами.

Итак, два слова об этом утреннем часе. Почему же он так выделен мною и запомнился как счастливейший? И что вообще каждый из нас перед смертью может вспомнить как счастье? Не правда ли, это будет лишь то состояние, когда хоть на миг, а тебе удалось, разбив оковы собственной маленькой личности, как из душной канавы, вдруг выплыть в большое, под солнцем горячее море...

Бесчисленны в этом море струи. И чем ты мудрей, тем короче и чище твой путь. Однако, не осуждая, поверь, что и грязный подземный сток приводит туда же. Важно одно: хотя однажды, хотя на миг попасть в безбрежное море, над собой увидеть безбрежное небо. И где бы и в чем бы оно ни случилось, нет силы заставить тебя позабыть, чтó ты видел.

Я этот заветный мой час испытал в то утро, за незатейливым деревенским чаем.

Терраса была пронизана солнцем так сильно, что зеленые нежные листья дикого винограда изумрудами прикрывали яркие, будто чистая алая краска, цветы. Жужжали пчелы, неся к себе мед с отяжелевших хмельных старых лип, и текла внизу тихая синяя река.

Князь Глеб Федорович, склонившись ко мне лицом с особливо тонкою белою кожей, придававшей ему вид молодого, так и сиял большими добрыми глазами, объясняя мой вызов в связи с общим делом.

— У нас, видите ли, оказался естественный триумвират, — говорил он, отечески улыбаясь на Веру. —

Я представляю собою казну и жизненный опыт, Михаил — яростную волю, Вера Эрастовна — умное сердце, по прекрасному слову поэта. Эти три фактора неизбежны, чтобы воплотить и провести в действие новые, лучшие формы жизни. Да что говорить по-журнальному: мы хотим попросту создать мужикам, перед которыми грешили столетием, возможность свободной человеческой жизни...

Тут Вера взяла меня за руку и сказала с сестринской лаской:

— А вы, Сержик, избраны нами посредником между старым миром и новым. Для начала поезжайте-ка к батюшке в гости и убедите его отписать хутор и хоть пятьсот десятин Линученку в собственность. Он все еще дарственной не дал, а это крайне важно для нашего дела, чтоб Линученко был хозяином на своей земле, и такой низкий человек, как управляющий Мосеич, не имел бы над ним своей воли.

— Какое же Линученко имеет отношение к вашему делу и в чем самое это дело? — спросил я.

— Я подробно вам рассказать не могу, это могло бы вас только смутить. Но у вас сердце, способное чуять прекрасное, доверьтесь только ему. Мы трое: князь Глеб Федорович, Михаил и я, хотим нашей рабской родине свободы, и за это дело мы готовы на смерть.

Вера встала. Воздушная от своих белых кисейных одежд, она быстрой походкой прошлась раза два по террасе и стала передо мной. Ветерок развевал ее мелкие кудри, выбившиеся из-под ровных светлых кос, положенных, как обычно, вокруг головы.

Глядя такими же сияющими, как у князя, властными серыми глазами мне в самую глубину души, Вера взяла мои обе руки в свои, и, как говорят слова любви, она еще раз сказала:

— Мы готовы на смерть. Но у вас, Серж, своя жизнь, свои цели. От вас мы только просим доверия. Помогите нам выполнить наше дело, ни в какую опасность мы насильно вас не вовлечем...

— Вера, я рад за вас отдать жизнь... — сказал я.

— Но мне от вас нужно больше, чем это, — сказала Вера торжественно и серьезно. Она села со мной рядом, не выпуская моих рук из своих. — Мне надо, чтобы вы,

помимо самого себя, помогли вовсе не мне, а, по доверию ко мне, одному нашему делу.

Я понял ее. Да, она просила большего, чем жизнь. Я должен был, ненавидя их политические идеи, помогать им по чувству к ней, не допускавшему и мысли, что такая, как она, избрать может злое. Читатель, я понял темный текст: «Несть больше любви, аще кто положит душу...» Обычно понимают здесь добровольную смерть за что-либо. Но сказано ясно: не жизнь, а душу.

И сколько коварства в том, что для достижения полной свободы от себя самого является предательство себя же!

Но Вера смотрела в глубину моих мыслей, и побелевшие губы ее еще раз, как вздох любви, прошептали:

— Мы, Серж, обреченные...

Я не выдержал и повлекся за ней, в ее сверкающее море без берегов, с синеющим небом без края. Я сказал:

— Жизнь моя в помощь вам!

Поцеловала меня Вера, поцеловал меня князь Глеб Федорович.

Затем за чашкой душистого чая, обвеянные медовым запахом липы, мы повели деловые разговоры. Михаила здесь не было, после производства этого требовала осторожность. Сейчас, устроившись с крестьянами и добившись укрепления за Линученком хутора, они оба, Вера и князь, едут за границу, где в Италии встретятся с Михаилом. Хутор Линученка будет русским центром кружка. Сюда же приходить будут письма Веры ко мне. Подробности обещали мне рассказать вечером, а сейчас торопили ехать в Лагутино, пока старику не донесли, что я проехал мимо него, и он от этого не пришел в раздражение.

Предстояло мне пробудить в Эрасте Петровиче родственную жалость к Линученку, который привез из Крыма все еще больную жену. Он хотел бы немедленно отвезти ее на хутор, но больше чем когда-либо тяготился зависимым положением и не хотел подчиняться Мосеичу. Настаивать надо было на дарственной.

Ни одной сопротивляющейся мысли уже не было в моей голове. Со всей страстью своих двадцати лет я был охвачен романтическим пылом юного Вертера отдать

рыцарски свою жизнь и в тот миг даже не только за Веру, а за князя и за Михаила и за оскорбленных всего мира...

Но эта идиллия, хотя мне ее и хватило, чтобы помнить всю жизнь, продолжалась не долее часу.

Вдруг к крыльцу подъехал на взмыленной лошади нарочный и, не слезая, крикнул, что взбунтовавшиеся мужики собрались поджечь лагутинский дом.

— Где мой отец? — спросила Вера.

— Барин вырвался и на жеребце ускакал к мельнице. Если там нет засады — уйдет. А Карлу Мосеича со старостой заперли в кладовой, где порох для фейерверков; как подожгут — крышка!

— Седлать вороного! — приказал князь.

Я попросил дать лошадь и мне, а Вера настояла запрячь шарабан, куда она села вместе с Марфой. Мы с князем решили взять разные пути: я на мельницу, он к усадьбе, куда приедет Вера.

О, сколь превратны и непрочны дни нашей жизни! Бывало, в Неаполе, взбираясь верхом на Везувий, как бы усеянный лиловыми осколками разбитых аспидных досок, сколько раз я дивился детской беспечности поселян, чуть не на кратере насадивших свои виноградники. Больших извержений не ждут, а в случае беды надеются, — как надеялись и те, древние, — поспеть убежать.

Но куда убежать человеку, если, как сказано у Будды, ты рвешь цветок, а князь Мара, злой, уже спрятал ядовитую змею под цветком?

Давно ль мы сидели на террасе все трое? И вот уже я на вспененном коне лечу к мельнице, чтобы предупредить преступление. Увы, я опоздал!

Пьяная орава с топорами и с длинными заостренными кольями тесно охраняла двух рыжих парней, чинивших расправу. Парни подымали какую-то громаду без рук и без ног высоко над головами.

Это было перед самой мельницей, пущенной во весь ход. Вода в этом месте отменно глубока, и желтая пена бьет там и крутится, словно кипит. Не успев хорошенько разглядеть, я издали угадал, что громада без рук и без ног — связанный старый Лагутин и что сейчас его бросят под мельницу. Я выстрелил в воздух, желая остановить самосуд, и круче пришпорил коня. Но конь мой внезапно

шарахнулся, захрапев: на дороге лежало мертвое тело. Я вылетел из седла и, ударившись головой, потерял сознание.

Впоследствии я узнал, что труп, испугавший мою лошадь, был лагутинский мужик Потап, застреленный Эрастом Петровичем. Потап вызвал припадок бешенства у старика своей гневной речью в защиту обиженных баб. Когда он грозил отомстить за смерть жены, Лагутин уложил его выстрелом.

Это толкнуло крестьян ко всему происшедшему. Лагутина тут же связали вожжами и, пока я был от падения в беспамятстве, они его бросили под мельницу в реку.

Меня же обезоружили и заперли в амбар. Всю ночь пролежал я там в смертном ужасе за Веру. Экзекуционный отряд казаков, вызванный еще накануне из города покойным Лагутиным, узнавшим от Мосеича, что крестьяне затеяли бунт, освободил меня только утром. От казаков я узнал, что князь Глеб Федорович погиб на пожаре, пытаясь спасти старую няню Архиповну, со страху забившуюся в свою клеть. От Мосеича и старосты, погребенных под обломками крыши, не нашли и костей. Вера, живая и невредимая, укрылась у няниной дочки.

Не в состоянии сознать всего происшедшего, я, однако, понял ясно одно: судьба развязала все узлы в жизни Веры и Михаила, так или иначе завязанные при моем содействии.

В лице старика Лагутина выбыл из строя единственный враг Михаила, облеченный властью, который мог бы ему повредить в случае возвращения из-за границы и соединения его с Верой. Вера, оставшись сиротой, являлась обладательницей громадного состояния, и отныне ничто не стояло препятствием к широкому развитию их общего дела.

Мне же, выбитому ими из прочности моего былого уклада и не приставшему к ихнему, лучше всего было бы сейчас умереть. Насильственная смерть сообщников как бы восстанавливала былую незапятнанность моей совести, и, погружаясь от слабости вновь в глубокий обморок, я почти радостно подумал, что это конец. И было бы много лучше, если бы я не ошибся.

Глава VIII

ИЗ ДРЕВНИХ ФИВ В ЕГИПТЕ...

Когда Вера оправилась, я привез ее вместе с Марфой в столицу прямо к матери Бейдемана, которой обо всем происшедшем я написал. Старушка встретила нас как родных, отвела Вере чистую, как сама, слегка чопорную комнату и обласкала всячески. Тут узнала она про условленную встречу с Михаилом в Италии и все то, о чем в те поры не только писать было нельзя, но и говорить шепотом.

Удивительная была эта старушка: при чрезвычайной любви к сыну, у нее вера к нему и уважение были еще больше любви. В политических делах она разбиралась плохо, воспитана была, как и все женщины дворянско-помещичьей среды, конечно, в понятиях старого монархизма. Но она как-то умудрилась, оставаясь тем, чем была, совершенно не пугаться и не противоречить убеждениям сына.

Впрочем, она почти не задавала вопросов, она только страстно желала вестей, и вести пришли.

Приехал с юга художник Линученко с женою. Он от каких-то таинственных передатчиков привез письмо Михаила. Бейдеман писал восторженно о Гарибальди, о том, как вместе с «тысячью» вступил он в Неаполь. Но прибавлял: Гарибальди находит, что Михаилу необходимо служить родной стране, а не чужой, и торопит его ехать в Лондон к Герцену, куда он и едет.

Вслед за этим получила письмо и Вера все тем же таинственным образом, через передачу Линученко. Михаил писал, что из газет он узнал о несчастье в Лагутине и, не ожидая Веру в Париже, сам приедет в Россию, тем более, что этого требует дело.

В ожидании Михаила Вера прояснилась и стала заметно бодрей.

У нее из квартиры не выходил ненавистный мне Линученко. Он был какой-то весь острый, не сидел на месте, все будто что-то высматривал, сощуря зеленые узкие глазки. Он был широкоплеч и приземист, с черной волосатой головой, большим лбом, калмыцкими глазками и увесистым носом. Впрочем, когда говорил, лицо его было умно и значительно.

В его студии, на Васильевском острове, у меня вышла одна странная встреча с человеком, ставшим мне единственной поддержкой в страшные годы. И — будь жив этот человек — не к священнику, а к нему пошел бы я разрешить мой последний вопрос перед смертью.

Но нет его. Умер Яков Степаныч, великий мудрец. Был он дворцовый лакей, выслуживший себе пенсию, которую всю целиком раздавал приходящей во множестве бедноте. Он слыл прозорливцем и на Васильевском острове, где жил, был очень известен. Обладая особыми связями и влиянием, он был для некоторых планов нужен Линученку.

Старик же до странности любил этого человека и часто к нему заходил. Я как-то пошел провожать Веру на остров; она затащила меня в рисовальную студию, где, по просьбе Линученка, позировал этот вот Яков Степаныч.

Студия — огромная комната, вдоль и поперек перерезанная хитрой системой веревок, как на дешевых квартирах общий чердак. Это все измышления Линученка для лучшего изучения анатомии.

Одни веревки болтались качелями, другие — туго натянуты, тронуть их — загудят. От потолка, привязанный к крюку лампы, спускался вниз толстый канат и, как змея, уползал по полу в не освещенный лампой угол.

— Мне инквизиция вспоминается, — сказал я, смеясь, Линученку.

— Дворники, хотя о таковой и не слыхали, и те пугаются, — отвечал он. — Ничего, живьем выпускаем. На этой дыбе как руки вывернем, — он указал на ламповый крюк, — мускулы все наперечет... Впрочем, Якова Степаныча мы не пытаем, он вольно сидит.

— Сижу да на них гляжу, что так невеселы, — сказал, указывая на меня, Яков Степаныч, небольшой старичок, чистенько одетый, весь пушистый и седенький, в ласковых тонких морщинах. Я удивился, как он мог угадать, что мне плохо; по виду это не могло быть заметно. Я только что весело смеялся, но на душе у меня было томительно и мертво, как перед обмороком или тяжкой болезнью. Пустая вычеркнутая душа, пуды на руках, словно вериги, так и клонило к земле. Вот бы лечь и лежать.

Я запутался. Из-за любви к Вере я вовлекся во враждебные моему чувству знакомства и не мог, как старушка

мать Михаила, соединять безотчетно несоединимое. Со дня на день нервы мои разбивались, я боялся, что, перестав собой владеть, я обнаружу себя перед Верой и мне придется от нее отойти. Но это равно было смерти, и, скрепясь, я носил маску смирного парня.

А старичок Яков Степаныч, улучив минуту, когда Линученко занялся с другим художником разговором, а ему предложил отдохнуть, мелко прошагал ко мне и, щурясь в улыбку, сказал:

— Не тоскуй, надо, выдержи! Перво-наперво без имени рождается человек и не ведает, есть ли у него душа: пробует так и этак ее переступить — ан границы-то и нащупает. А как перетерпит много мигов смерти духовной да выйдет из нее победителем, нарекается именем и приобщается на свой страх к великой работе, к тяготам земным. На огне, чай, кирпич обжигают.

— А в случае, лопнет кирпич на огне? — улыбаясь, спросил я в тон старику.

— А не вынесешь дух тления, отступишься сам от себя: управляй, дескать, мною, кто хочет, только покой дай, — ты свою жизнь, родимый, предашь. Хоть по облику — как все люди, на самом-то деле впустую, негодною шелухою, проболтаешься на земле. Ведь про это сказано: нельзя талант в землю зарыть, — а ты думал?

— Я думаю совсем про другие вещи, — засмеялся я.

— Ну, гордись, пока можешь, гордись, — улыбнулся старик. — А вот адресок ты запомни: Семнадцатая линия, в третьем дворе...

И он дважды повторил номер дома, так настойчиво, что я нехотя запомнил. И когда пробил мой час, по этому номеру я пошел. Но это случилось много-много поздней; сейчас я от старика отмахнулся и стал смотреть на художников.

Их было пять-шесть и две девушки, все ученики Академии, знакомые Линученка.

— Отчего не рисуем? — спросил один длинный.

— Сейчас придут еще трое, — ответил Линученко, — они зашли к профессору холст Джорджоне смотреть.

Рисовать Якова Степаныча в этот день не пришлось. Только уселись, как раздался в дверь стук. Косматый Бикарюк, товарищ Линученка, вошел, как-то ежась

в своем не по росту коротком пальто. За ним Машенька, жена его, и какой-то небольшого роста художник. Глаза Машеньки были заплаканы.

— Аль не солоно хлебавши? — спросил Линученко, — картина оказалась брехня?

— Джорджоне и есть, — отозвался хмурый Бикарюк: — на толкучке профессор нашел. Кому кривая везет, тот и в навозе перлы отроет. Да к черту его... с Кривцовым неладно.

— С Кривцовым? — Линученко побледнел и, шагнув к Якову Степанычу, сказал: — Сегодня рисовать мы не будем.

— Кривцов повесился, — словно пролаял Бикарюк.

Все молчали. Вера смотрела такими глазами, будто кого умоляла сказать, что это неправда. Машенька и другие ученицы заплакали.

— Кривцов из своей деревни письмо получил, что отца его насмерть засекли. Они ведь из Казанской губернии, крепостные; наш два года, как выкуплен. По приговору отцу тысячу всыпали, а сердце слабое, старый и не выдержал. У Кривцова письмо от дьякона в кармане нашли, сегодня только и пришло. Сгоряча это он... А к последней картине он билет привесил: «Проклятие деспоту, проклятие рабской стране!» Вот он, я снял. Увидели бы, сестру арестовали бы. Она еще не знает, мы первые пошли.

Линученко тяжело ходил по комнате. Все сжались и умолкли. Было темно, но забыли о лампе. Большая, странно плоская луна со светлого северного неба спустилась совсем близко за самым окном. На окне косматый, скрюченный Бикарюк, с выдающейся вперед путаной бородой, зачернел космами длинных волос, как какой-то Иуда, на редком переплете ветвей.

Он хрипло от волнения сказал:

— А какую картину Кривцов не окончил? Гопак наш, украинский. Да, у него это тебе не хата с подсолнухом и дурнем вприсядку — вся Украина как есть! Эх, большого художника погубили!

— Мы погубили! Слышите, мы! — сказал, останавливаясь, Линученко. — Пока мы не решимся до капли крови отдать все силы, всю жизнь на борьбу с насилием — мы заодно с ними, с убийцами!

— Что же, нам с кистями и палитрою идти воевать?

— Есть состояние страны, когда ей не надо художников, а нужны одни лишь граждане. А гражданин найдет, чем бороться. Все вы читали «Колокол» от пятнадцатого апреля, и разве не все вы согласны? Народ царем обманут! Крепостное право не отменено. Борьба против бесчестного правительства, кровавыми экзекуциями забивающего справедливые требования несчастных крестьян, обязательна каждому честному человеку. Наш товарищ был гениальный юноша, но он не вынес рабской смерти отца. Он умер, проклиная рабскую страну. Так принимайте проклятья и вы, пока остаетесь рабами. Кто со мной? — закричал Линученко. — Кружок Атаева зовет нас соединиться. Вместе мы вдвое сильнее. Друзья, пусть двинет нас хоть на один шаг вперед безвременная смерть Кривцова!

Бикарюк вскочил и, подойдя к Линученку, шепнул ему что-то на ухо.

— Не боюсь! — отмахнулся Линученко. — Лучше того, я сейчас и тебя самого выдам.

— Господа! — подошел он ко мне, стоявшему рядом с очень побледневшим, но спокойным Яковом Степанычем. — Товарищ мой сказал, что здесь есть чужие. Но вас, Яков Степаныч, я знаю давно и как отца почитаю, — он поклонился старику, — а вы, Сережа, хоть и военный, но Верин друг детства, вы...

— Я ручаюсь за Сережу, как за себя, — сказала, подходя, Вера.

Я был потрясен горестным событием с талантливейшим юношей, которого я знал лично; но отсюда до вовлечения в политический кружок, которому я никак не сочувствовал, было далеко. Я растерялся, не находя сразу мыслей и слов, чтобы сильно и раз навсегда отмежеваться от этих людей. Я уже отошел от Веры на середину комнаты, я хотел говорить, но сильный стук в дверь отвлек всеобщее внимание.

Когда вошедший опустил поднятый воротник штатского пальто и снял фуражку, какую носили мелкие служащие, я обомлел. Предо мною стоял переодетый мой собственный денщик Петр. Удивление мое возросло, когда Петр, в волнении не замечая меня, подошел к Линученке, как равный знакомый. Назвав его по имени и отчеству,

он что-то стал говорить. Но вот он узнал меня, вздрогнул, как по заводу, взял руки по швам:

— Ваше благородие...

Кровь мне бросилась в голову. Мое достоинство офицера одержало верх над всеми чувствами:

— Как ты посмел...

Но Вера схватила меня за обе руки с необыкновенной силой и вне себя закричала:

— Ни слова дальше, или все кончено между нами! Здесь нет ни солдата, ни офицера. Петр — наш верный товарищ, он пострадал от произвола моего отца, и кто не друг Петру — мне враг.

Линученко отвел Веру:

— Успокойся, я все объясню. — Он подошел ко мне. — Петр принадлежит к нашему кружку, в который зовем мы и вас. Ваше дело — войти или нет, но предателем вы, конечно, не будете. Если вашему чувству военного претит это нарушение дисциплины, то у вас есть простой выход: подайте рапорт об отчислении Петра из ваших денщиков, хотя это, конечно, нашему делу и повредит. У Петра есть кум в Третьем отделении, он там служит сторожем и дает через Петра драгоценные показания о политических заключенных, чем помогает нам облегчить их участь. Говорю это вам как человеку, чье благородство проверено и бесспорно. А теперь, Петр, какую же весть ты так поспешно принес?

Я был взбешен: как смел он говорить так назойливо о моем благородстве? Но, не в силах от волнения собрать свои мысли, я решил сегодня же письменно отказаться от всякого участия в делах кружка Линученка. Однако я забыл все на свете, когда Петр начал делать свое сообщение. Петр сказал:

— В пять часов вечера восемнадцатого августа с парохода, пришедшего из Выборга, был принят старшим адъютантом корпуса жандармов, капитаном Зарубиным, и помещен в арестантские номера при Третьем отделении Михаил Степанович Бейдеман!

Вера упала, не вскрикнув. Мы, положив ее на диван, кинулись приводить в чувство. Тем временем Линученко выспрашивал подробности: откуда привезли Бейдемана и что известно об его аресте?

Через кума Петр мог узнать только одно: арестовали Михаила в Финляндии, при переходе на русскую землю. При нем были найдены сущие пустяки: испорченный пистолет, перочинный нож и гребенка в футляре. Из Улеаборга он был доставлен в Выборг, а оттуда морем в Петербург.

По архивным изысканиям, из той книжки, что всюду со мной, я должен прибавить следующую пояснительную выдержку: «18 июля 1861 года, в северном финском приходе Рованиеми, Улеаборгской губернии, на станции Корво коронный ленсман Кокк обратил внимание на неизвестного человека. На вопрос ленсмана, кто он и что делает, он ответил, что он кузнец Степан Горюн из Олонецкой губернии, искал в Финляндии работу, но не нашел и возвращается домой через Архангельскую губернию. Паспорта у Степана Горюна не оказалось; ленсман задержал его и приказал приходскому сторожу доставить задержанного в Улеаборг в распоряжение губернатора. Здесь он был посажен в острог и двадцать шестого июля на допросе подтвердил показание, данное ленсману. Через четыре дня Степан Горюн попросил допроса и заявил, что его показания неверны, что он — поручик Михаил Бейдеман, в июле 1860 года переправился через границу у Торнео в Швецию, откуда в Германию, а теперь возвращается из-за границы!..

Об аресте Бейдемана было донесено великому князю, и он приказал препроводить его немедленно в III отделение».

Веру Линученки оставили у себя. У нее сделался бред, пришлось вызвать доктора. Я стал искать моего денщика Петра, но он исчез бесследно. Вместе с Яковом Степановичем, печальным и безмолвным, я вышел из студии.

Прощаясь, Яков Степаныч сказал мне еще раз:

— Запомните, батюшка, мой адресок. Вы — сирота, а сироте совет нужен!

Он сказал деловито, как дают справку, и, поклонившись, пошел. Глядя ему вслед, я, помню, подивился его не стариковской походке; он ступал легко и точно, не сгибая прямой спины, как будто не было на нем тяжкого груза лет.

Было поздно. Все та же огромная луна висела уже не в темном, а в сумеречном небе, и свод небесный над

далеким Исаакием казался безвоздушным. Сфинксы, как утомленные тигрицы, смотрелись друг в друга, и в бесчисленный раз прочел я под ними: «Сфинкс из древних Фив в Египте перевезен в град святого Петра в 1832 году».

Запомнилась мне эта минута. Перед глазами за гранитом стены, тяжкая, ртутью свинцово катилась Нева. Чернели баржи. На другом берегу, в пустых глазницах бесчисленных окон, кое-где, как уцелевший зрачок, мигал огонь. Сзади огромная Академия художеств без статуи Минервы наверху, которую водрузили много поздней, казалась ближе, чем днем.

Я стоял смущенный, потерявший путеводную нить поведения и жизни. Честь офицера, достоинство дворянина, все привычные убеждения, моральные и государственные, вооружались, как на злейшего врага, на мои привязанности человека — безмерное чувство любви к Вере и верность дружбы к ее друзьям. А Петр? Что предпринять мне с ним? Как встретимся дома? Предерзостный обман его сношений с заговорщиками я всем существом ощущал как достойный одного: расстрела. А что дальше с Михаилом? Нельзя не предвидеть, что не кому иному, как мне, придется взять на себя все хлопоты об его освобождении, прибегнуть к связям тетеньки, молить Шувалова и Долгорукова как родственных и хорошо мне знакомых людей, и о чем же? О даровании свободы непримиримейшему врагу царя! И для чего же? Для лучшего и хитрейшего применения его силы к борьбе разрушительной...

Нет, это было слишком. Сохраняя ко мне хоть каплю уважения, они должны были больше щадить меня и, хотя бы хитростью, столь свойственной их поступкам, оградить меня от муки невыносимых двоящихся чувств.

Но я был для них лишь удобным механизмом. И как в паровую машину для действия паров кидают уголь, так, чтобы меня использовать, как им было надо, они играли на этом пресловутом моем благородстве.

Я сошел по ступенькам вниз. У воды было холодно. Тускло светились тяжкие волны. Я подумал: не лечь ли на них? Пусть понесут под этим серым сводом, пока не устанут, а там погружусь... И не повернут каменных голов, увенчанных тиарами, эти двое, что вывезены из древних Фив.

Но я вспомнил о Вере и, ежась от холода, пошел домой. Я знал, что буду ей нужен всю мою жизнь.

На этом самом месте в восемнадцатом году со мною еще раз случилось то же самое и в такой же час.

Я, одетый в свои лохмотья и уже ставший на линию подаяния, по одной своей старости не возбуждая подозрений, ходил днем и ночью по городу и смотрел...

И вот, в такой точно час, когда такой же тусклый шел свет от большой плоской луны, я видел, как бросился в Неву человек. От правого уха к ноздре у него в сумеречном освещении багровел длинный шрам. Я знал этот шрам... Еще бы мне не знать! Это был тот самый от удара турецкой сабли, когда мы двое в безумном азарте проскочили вперед. Вдруг подоспели наши и взяли в плен авангард турок. За этот шрам капитану Алферову дан был Георгий...

Сейчас старый, негнущийся человек, он опять по-военному просто и смело отставлял себя сам от жизни. Я видел, как он поклонился по-русски на все четыре стороны, как разделся не спеша, как вошел в воду, как, отплыв, погрузился. Я его не окликнул. По-своему он был прав. Я сошел вниз по ступенькам. Свинцовые воды несыто ворчали, ударяясь подо мной о гранит. О, как тянуло меня в эту тяжкую глубину...

Но мысль о Вере остановила меня. Ей, давно уже покойной, я обязан обнародовать правду о многострадании Михаила и уж потом отойти.

Я вышел наверх. Чернела огромная Академия, опять — как в те годы — без возглавляющей статуи Минервы, которая в девяностых годах провалилась, разрушив потолок. Но сфинксы все так же таинственно и лениво смотрели друг на друга, и чернела под ними все та же надпись веков: «Из древних Фив в Египте».

Глава IX

ПОД КОЛПАКОМ

Перед тетушкиным особняком я был внезапно смущен. Вместе со мной подъехала карета, и в великолепных бобрах, легко выпрыгнув, граф Петр Андреевич Шувалов направился к дверям. Я, будто вдруг увлеченный

витриной цветочного магазина, вплотную подался к большому цельному стеклу, которое украшало собою проспект рядом с последней полуколонной тетушкина дома.

Граф своим быстрым всевидящим оком увидал мой маневр и, улыбаясь почему-то с величайшим удовлетворением, подошел ко мне и сказал:

— Войдемте вместе к графине; что даром тревожить старого Калину?

Калина был тетушкин почтенный лакей, никому не уступавший своей привилегии открывания парадных дверей. Нередко жаловали к тетушке «особы», и первое им приветствие казалось Калине делом придворным, как бы по сану церемониймейстера двора.

Все было чрезвычайно естественно в манере графа, он только, казалось, был особенно в духе, и сейчас свойственный глазам его острый приметливый блеск был как бы притушен тонкой обходительностью великолепного красавца, не сознающего своей власти.

Непринужденно болтая, я внутренно трепетал. Меня пронизала внезапная и совершенная уверенность, что сейчас граф пришел к тетушке исключительно ради меня и боялся, что меня тут не будет.

Как человек, опустивший руку за билетиком и взявший шутя первый приз, он, при всей своей выдержке, не мог скрыть наплыв чисто животной доброты, которая бывает всегда при удаче без препятствий. Я раз сам наблюдал, как кошка, с размаху поймав мышь, очень миролюбиво уступила собаке кусок брошенного ей сала. Не зная научно пределов сознания у животных, не могу решить, была ли то простая случайность или указанное мною чувство. Но в том, что поведение графа Петра Андреевича в эту незабвенную ночь было похоже на добродушие тигра, довольного удачной охотой, у меня есть, увы, слишком неопровержимое доказательство.

К сожалению, нас научили слишком доверять только фактам и логике, презирая, как романтическое наследие предков, остерегающие движения чувств. Будь я мудр, я бы послушался своей безотчетной тоски при виде мраморного лица с острым блеском глаз, повернулся и ушел бы домой. Но я не был мудр и пошел вслед за Шуваловым.

В салоне у тетушки было оживленней обычного. Вместо центральной персоны, которую тетушка подавала, как метрдотель отменное блюдо, шумела оживленная молодежь обоего пола. За отсутствием салонного «кита», гости разбились на естественные группы, в которых велись соответствующие их интересам беседы.

Вокруг круглого стола, в мягких креслах царила тетушка, окруженная «своими». Тут были люди чиновные и темы моднейшие: предполагавшееся закрытие воскресных школ, беспорядки в университетах и пресловутый «женский вопрос».

— Я всей душой за графа Строганова, — сказала тетушка, — по мне, он один не врет, говоря, что высшее образование прилично давать лишь имущим дворянам. Какой-нибудь разночинец выскочит грамотней отца, да и пойдет перед ним руки в боки! А другой наберется ума да с голоду вздернется, как давеча в газете писали. Нет уж, кому как от бога положено — пусть так и живет.

— Как вам нравится мнение барона Корфа? — сказал тетушке старичок. — Он предлагает прежде всего университет сделать с отменой учебных классов...

— Вздор! Мы не дозрели, батюшка, до парламентской системы: коли без дубины на водопой пойдем, мы, как скот, покос вытопчем! — оборвала тетушка.

— Любопытна записка Ковалевского... — начал осторожно Шувалов своим обычным вопросительным тоном, ничем не выдавая собственного мнения, а сманивая каждого, как воробья на мякину, высказать свои мысли.

— Фант, фант! — закричали со всех сторон, подвигая Шувалову саксонскую вазу с звенящим серебром.

— За Ковалевского, батюшка, у меня нынче фант платят, — сказала тетушка, — целый час из-за него тут шел бой. Я вижу — дело жаркое, значит для сироток овечку и можно постричь. Плати, батюшка, Петр Андреевич, да больше не поминай: навяз в зубах, как рахат-лукум греческий!

— Есть о чем и говорить, когда с ним решили вчистую? Назначены Строганов, Долгорукий и Панин, — вскипел быстренький старичок и сделал ручкой другому старичку, как бы сбивая головку одуванчика. — Ковалевский... по шапке!

— Плати, плати штраф! — Тетушка передвинула старичку вазу. Все смеялись.

Обыкновенно, по моему художническому расположению ко всякого рода игре, я восхищался, как ловкими конькобежцами, минующими глубокие проруби, этим легким салонным искусством, ничего не задевая глубоко, касаться всего, выводя, как по гладкому льду, сложнейшие словесные хитросплетения.

Но сегодня, оттого ли, что Михаил был заключен в III отделение, в совершенной власти человека, так непринужденно сидевшего против меня, эта светская беспечность была мне отвратительна.

— На Ковалевском заработано изрядно, — сказала тетушка. — Ну-ка, Марья Ивановна, теперь твой черед, садись на своего конька, только смотри, завлечешь разговор до Августина, двойной плати штраф.

У тетушки были старинные немецкие часы с боем и получасовой музыкальной фразой на мотив «Mein lieber Augustin!»

— Я не хочу сесть на конька, — сказала Марья Ивановна, улыбаясь, — я люблю по старинке, на целой тройке со всеми удобствами да полной хозяйкой. И себе я не вижу обиды от моего женского положения: как бабушки были домовитыми матерями, так и мне дай бог век скоротать.

— Да, ты баба толковая, все знаем; вот про дочку расскажи, — велела тетушка, почитая Марью Ивановну по отношению к себе девочкой, хотя той было за сорок.

— Точно что с Любинькой мне горе; представьте — она художница, — Марья Ивановна покраснела, будто произнесла не вполне пристойную вещь. — Ну, порисовала бы часик-другой, а то не угодно ли — целый день! А намедни — в слезы. Учитель безо всякой дурной мысли ей сказал: «Большое у вас дарование, только жаль, что вы не юноша». А она в амбицию: «Вы, кричит, китайскому посланнику небось не сказали бы, что он умный человек, да жаль, что косоглаз, а женщине смеете? Вон из моей комнаты!» А мне говорит: «Я, мама, барышней вовсе себя не чувствую, хочу жить как мужчина».

— Приведи свою Любиньку завтра ко мне, — сказала тетушка, — я про одного женишка ей скажу, замуж-то ей ведь пора.

— Феминистический бунт! — воскликнул европейский старичок. — Если бы женщины были разумнее, они бы не бунтовались. Ведь научно известно, что, в среднем, их мозг на много единиц легче мозга мужского. И разве была из них хоть одна гениальной? Хотя бы в литературе? Больше каши, чем Жорж Занд, не заварят, а и ту Шарль Бодлер звал коровой...

— А Jeanne d'Arc? [1] — сказала, краснея, самая пожилая из незамужних женщин.

— Жанна д'Арк не по времени. И к тому же, сударыня, нам Вольтер ее обезвредил. Подвиг ее и необычайность военного дарования возникли на почве... ну, как бы деликатнее сказать?..

— А ты промолчи... — тетушка погрозила пальчиком своему любимому старичку, великому мастеру на французские скабрезности.

— Словом, Jeanne d'Arc — не в пример женщинам, ибо она вовсе не женщина, — вставил небрежно Шувалов.

На что девица спросила:

— Но разве это возможно?

Все очень смеялись. Тетушка, в отличнейшем расположении духа, кричала:

— Еще штраф Петру Андреичу за то, что ввел красную девицу в краску!

Но скоро беседа стала серьезной. Кто-то привел статью Лескова из «Русской речи», и хотя давно прозвонили часы и дважды сыграла их музыка «Августина», с этой темы гости сойти не могли. Начавшееся женское движение не на шутку взволновало отцов и матерей, а примеры увлеченья новыми идеями не в одной семье создали трагические противоположения.

Я неприметно отошел к окну, желая скрыть свое волнение. Модный женский вопрос ведь и мне был особенно близок. Ведь благодаря ему погибло счастье всей моей жизни, и Вера увлеклась Михаилом...

На мою удачу известный говорун и светский художник вдруг объединил всю гостиную своими ловкими репликами. Он говорил с неприятною кудреватостью, но, как показалось мне, неглупые вещи.

---

[1] Жанна д'Арк *(франц.)*.

Читатель, может быть, поражен, как могу я, вспоминая о такой решающей минуте моей жизни, о чем догадался он по началу этой главы, размениваться на подробнейшие воспоминания пустых разговоров? И является сомнение: точно ли я это все запомнил, или же, замаскировавшись удобным предлогом, обманывая себя самого, удовлетворяю свою слишком поздно пробудившуюся писательскую жилку, компануя какой-то светский журфикс?

Отвечу на вопрос вопросом. Разве не наблюдал читатель, как люди, перенесшие роковую утрату, искалечившую всю их жизнь, повествуя о ней другому, нарочито подолгу задерживаются на мельчайших вещах. Человек должен взывать к защите повседневности, чтобы иметь возможность перенесть то, что выше силы обычного человека.

Что же до памяти, как фотография отпечатавшей все, что свершилось полвека тому назад, то ведь этой памяти стариковской, словно солнышку, уже безразлично, что́ малое, что́ большое. Однако разрешу себе еще немного подробностей, как приметных кусочков, которые врезаются в память человека, ведомого на казнь...

Выше упомянутый светский художник и говорун был в бархатной куртке и жестикулировал.

— Разрешите посвятить вас в тайну искусства, где глубже, чем где-либо, вскрываются тайны мужчины и женщины, — обратился он к тетушке.

— Посвящай, батюшка, — сказала со свойственным ей юмором тетушка, — только помни: и статуе непристойно быть вовсе голой. Впрочем, в местах опасных переходи на французский.

— Надеюсь и по-русски миновать Сциллу с Харибдой. Но к делу; допустим, что я рисую Гермеса... Выслеживая его крепкие, строгие мышцы, у меня чувство, будто я кую драгоценность. Когда проследишь и отметишь верно мускул, почти злое чувство расчета и логики, если смею так выразиться, ведет мой карандаш. Похоже: идешь над пропастью и собранной волей продвигаешь свой шаг.

— Кто это, кто? — зашептали тут и там.

— Талантливый parvenu,[1] пенсионер графини.

---

[1] Выскочка *(франц.)*.

Художник продолжал:

— Словом, mesdames, эти чувства — радость прицела, полет пули в мишень...

— Да ты нам о военной-то стрельбе не читай, — вставила тетушка.

— Терпенье, графиня, сейчас я перейду к Венере... Здесь я чую божественные формы уже не в линии, а в тенях: я вхожу будто по горло в синее теплое море, под чудным синим небом. Мне празднично, я слышу пасхальный перезвон... Mesdames, я купаюсь в Венере!

— Est-ce que c'est convenable? [1] — спросила Марья Ивановна.

Все рассмеялись.

— Плати штраф, — сказала тетушка, — ты зарапортовался.

— Позвольте, графиня, досказать до конца, и, может быть, приговор общественный не будет столь жесток, как ваш.

И художник, как импровизатор, сделав театральный жест, продолжал:

— Если в художественном воспроизведении торсов мужского и женского такая разница в ощущениях, то, значит, тут глубокий закон, и нельзя в жизни путать оба начала или одному сбиваться на другое. Ну да, пусть мне дамы простят. Творчество не ихний, а наш удел. Венеру Милосскую и Медицейскую создал мужчина. Но, конечно, создал не из собственной головы, а любя без памяти какую-нибудь Аглаю или Клео. И вот оно, женское дело: вызывайте в нас любовь. Mesdames! Заставляйте нас творить прекрасные вещи, творить прекрасную жизнь!

Художнику аплодировали и мужчины и женщины, а тетушка сказала ему:

— Молодец, но за купанье в Венере все равно клади штраф.

Мне стало очень тоскливо. Невольно я сравнивал, не к чести светского общества, пустозвонство здешних речей с глубиной, которую почувствовал я в неприятном мне кружке Веры. Но где же теперь мое место? Однако отравленный противоположными влияниями, не осужден ли отныне я вечно стоять на распутье?

---

[1] Разве это прилично? *(франц.)*.

Ко мне подошел Шувалов. Он нет-нет, а поглядывал в мою сторону, словно стерег.

— Вы, как я замечаю, хотите уйти, — сказал он, — у меня те же намерения; исчезнем à l'anglaise,[1] не прощаясь.

Когда мы в передней одевались, у меня промелькнуло в уме: он позовет меня ехать с собой. И действительно, когда подали карету, Петр Андреевич сказал:

— Садитесь, у меня к вам разговор.

Боясь сделать промах, я молчал. Граф посмотрел на меня и сказал участливо:

— Вы совсем больны. Впрочем, немудрено, у вас такое горе... Но я думаю, что могу вам очень помочь, если вы сами того захотите.

Я продолжал глупо молчать и напрягал всю свою энергию, чтобы догадаться, как мне себя с ним держать. На что намекает он, не называя? Неужто хочет, чтобы я невзначай вовлекся в разговор и выдал, что знаю, где Михаил? Но для ловушки это слишком просто и грубо. Мы подъехали к одному из лучших особняков и, минуя парадную лестницу, идущую вверх, прошли через коридор в какую-то дальнюю угловую комнату. В передней граф сказал швейцару, что у него спешное дело и гостям следует говорить, что его нет дома.

Комната, в которую мы вошли, была с очень глубокими небольшими окнами на Неву.

Прямо напротив сверкал длинный шпиц Петропавловской крепости, и вся она, с Трубецким бастионом и мысом треугольного равелина, была передо мной.

Кроме мягкого дивана вдоль стен, крытого каким-то летним, веселеньким ситцем, где чередовались птички и бабочки, не было ничего. На полу стояли ящики с упакованной в сено посудой, а в углу какая-то ломаная мебель. Комната была складочным местом.

— Прошу извинить, здесь весьма неказисто, — сказал граф с удовольствием, как иностранец, преодолевший трудности языка, выговаривая слово «неказисто». — Но зато можно ручаться за нерушимость беседы. А беседа у нас, как вы сами отлично знаете, — первейшей важности.

---

[1] По-английски *(франц.)*.

Чтобы быть естественным, мне давно пора было воскликнуть, что я ровно ничего не понимаю, но горю желанием понять. Но я пропустил к тому все приличные сроки и сейчас, как откровеннейший дурак, стоял у подоконника. Я был в оцепенении, как заяц под взглядом удава.

Пустяк на окне привлек мое внимание: огромный стеклянный колпак, каким накрывается сыр, совсем пустой стоял на светложелтом мраморе подоконника, и в нем, стукаясь то об одну стенку, то о другую, докучно жужжа, из последних сил билась синяя толстая муха.

— Отпустим мушку на волю! — Шувалов приподнял колпак и выхоленным тонким пальцем с длинным ногтем столкнул на пол обалдевшую муху. Потом он чуть улыбнулся и взял меня под руку: — Держу пари, милый поручик, что у вас сейчас промелькнула одна аналогия. Что, попал в цель?

Я вздрогнул и, фальшиво смеясь, подхватил:

— Не скрою, граф, вы действительно отгадали; но будьте великодушны, как с бедной мухой: освободите мой разум от дурацкого колпака. Я теряюсь в догадках, о чем будет наш разговор.

— О Михаиле Бейдемане, — сказал просто Шувалов. — Как вы уже знаете, он сидит у меня в Третьем отделении.

Я приказал себе сделать жест изумления и, как плохой актер, развел слишком широко руками. Шувалов не дал мне сказать, перебив снисходительно:

— Ну, разумеется, вы обязаны выразить изумление. Милый Сережа, бросим программу!

Он взял меня за руку и серьезно и ласково, без всякой игры, посмотрел долгим взглядом. Шуваловы были с нами в свойстве, граф знавал меня с детства, но, занятый делами, редко обращал на меня внимание.

Внезапная родственность обращения, не будучи привычной, разбила последнюю официальность между нами, за которую я хотел укрываться.

— Сядем на диван. Хотите курить?

Граф протянул портсигар. Мы закурили.

«Предательства еще нет», — отмечал я себе. У меня в голове не было мыслей, было одно напряжение всех сил: не предать.

— Михаил Бейдеман пойман на финской границе, когда он, под чужим именем, хотел пробраться в Россию. Государь его делом раздражен необыкновенно, и юноше грозит наихудшая участь, если мне не удастся создать смягчающие обстоятельства.

Граф говорил очень серьезно, просто и только с той мерой чувства, которая была для него здесь уместна. Малейшая фальшь резнула бы мой слух, но, благодаря такту графа, я невольно стал верить обычному, столь естественному в порядочном человеке доброжелательству. К тому же, хоть я и помнил, что граф карьерист, но предположить, что история с Михаилом могла вплести новый лавр в его послужной список, было бы нелепостью. Однако это было именно так; но только сейчас, через пятьдесят с лишним лет, узнал я это доподлинно. Кое-что пережив и имея перед собой историческую перспективу, я только сейчас вижу ясно все дело Михаила в связи с окружающим.

Ведь это были шестидесятые годы, первые годы реформы, которых столь пламенно ожидали и которые столько всех обманули.

Начинались революционные волнения молодежи, университеты всколыхнулись. Появились прокламации. Почти перед злосчастным арестом Михаила шеф жандармов получил по почте листы «Великоросса». А в августе и сентябре уже разошлось по широким кругам знаменитое воззвание «К молодежи».

Конечно, графу Шувалову, молодому генералу, было очень важно проявить свои таланты защитника трона. Для этого нужно было создание крупных врагов. Михаил оказался как нельзя более подходящим материалом.

Граф Шувалов, сделав паузу, многозначительно прибавил еще раз:

— Итак, если мне при вашей помощи не удастся создать смягчающих обстоятельств, наихудшее грозит Бейдеману, да и не ему одному...

Шувалов ожидал моей реплики. Но, стиснув до боли руки, я молчал. Тогда он тем же сердечным и задушевным тоном, как родне и другу, сказал:

— Я принужден арестовать и снять допрос с дочери Лагутина, Веры Эрастовны.

— Нет, этого вы не сделаете... — Я вскочил, я был вне себя. — Вера Эрастовна совершенно ни при чем, ее вовлекли!

— Но вы с нею вместе посещали кружок Бейдемана! — Шувалов не подымал глаз, как бы боясь их остроты, не соответствовавшей мягкости тона.

— Никакого кружка нет, — сказал я твердо, — есть один Михаил Бейдеман, совлеченный в вольнодумство...

— Послушайте еще раз и очень серьезно: вы один можете избавить Веру Эрастовну от неизбежного ареста, если поможете мне пролить свет на один документ.

Шувалов вынул из бумажника исписанный лист бумаги, положил его на стол, прикрыл большой белой, еще белее, чем лицо, мраморной рукой и сказал, впервые глянув мне ярко и твердо в глаза:

— Все, что мы здесь говорим, — абсолютная тайна. При вашей малейшей нескромности и вы и Вера Эрастовна будете посажены в крепость, и еще кое-кто. У меня сведения есть о всех тех, с кем знаком Бейдеман.

— Каких вы хотите от меня объяснений? — сказал я.

— При тщательном обыске Бейдемана, на дне коробки с папиросами мы нашли разорванную в мелкие клочья бумагу. Ее удалось сложить, и, несмотря на пробелы, текст ясен. Вот он.

Шувалов протянул мне копию документа.

«Божьей милостью мы, Константин первый, государь всероссийский», — торжественно начинался подложный манифест от имени измышленного сына Константина Павловича. В манифесте воображаемый претендент заявляет, что престол был похищен у его отца, Константина, братом Николаем I, а сам он с детства заключен в тюрьму. Далее шел призыв к свержению незаконной власти, грабящей народ, и следовали обещания раздачи всей земли, отмены рекрутчины и все прочее, о чем кричали все подметные листки.

Шувалов не спускал с меня глаз, но это было мне уже все равно. Я утратил всякую от него обособленность, я был возмущен грубой ложью документа и дерзким самовластием составителя. Таковы были в ту минуту мои чувства. Они отразились на моем лице.

— Милый Сережа, как я рад, что в вас не ошибся! — Шувалов пожал мою руку и уже без наигранной довер-

чивости, а как союзнику, деловито сказал: — Помогите же мне не впутать в это дело Веру Эрастовну. Расскажите мне сами все, что вы знаете о Бейдемане.

И сейчас, как собственный предсмертный судья, без утайки озираясь на прошлое, я по совести не могу осудить себя, такого, каким я был, за этот разговор с Шуваловым, до двух пунктов ненужного и рокового сообщения.

Желая одного — выгородить Веру из дела, я описал Михаила как упорного обособленного гордеца, желавшего привести в исполнение, ни с кем не соединяясь, а лишь всеми управляя, свои революционные замыслы. Шувалов значительно развязал мне руки своим сообщением о признании Бейдемана в том, что замышлено было им не более и не менее как цареубийство. Этот злодейский акт, по его изъяснению, нетрудно было ему исполнить потому, что как воспитанник военно-учебного заведения он знал прекрасно все обычаи и привычки государя. Шувалов привел подлинные слова Бейдемана, которые к тому же обновляет в моей памяти брошюра архивных изысканий об этом деле. Михаил сказал на допросе после признанья, что ехал в Россию с тем, чтобы совершить покушение на государя.

«Не дорожа своею жизнью, которую я посвятил на это дело, я даже не намерен был по нанесении удара бежать и укрываться от преследования».

Бешенство охватило меня. Как, в своем беспредельном эгоизме бунтующего демона, Михаил смел не дорожить жизнью, предварительно связав свою судьбу с судьбой Веры? Имея хоть каплю рыцарского великодушия, он должен был бежать от ее любви, а не сметать мимоходом ее прекрасную юность, как сметают тяжелой рукой подлетевшую к огню бабочку, навеки губя ее легкие крылья.

Раздраженный этой его фразой, которая могла погубить во цвете лет близкое мне существо, уже не подстрекаемый Шуваловым, я был охвачен одной звериной ненавистью. Я стал толковать вслух, ища злейшего смысла в дьявольском по надменности заявлении Михаила:

— Он хотел поднять страну против дворянства! — вскричал я. — Убийство государя дворянином могло быть понято как месть дворянина за освобождение крестьян...

Бейдеман ненавидел свое сословие, я помню его речи: «вырвать с корнем его, как крапиву»...

— Сережа, дружок, успокойтесь, — отечески обнял меня Шувалов, — быть может, Бейдеман только жалкий безумец?

— Нет, он не безумец, он злой фанатик! И если сейчас из презренья к властям он дает скудные показания, то, поверьте, что только затем, чтобы на суде с яростью предать гласности свои злодейские убеждения, в дикой гордости прослыть в глазах других революционеров мучеником...

Я глянул на Шувалова и осекся. Он сиял от восторга, как получивший нежданно августейшую благодарность. Да, за свою коварную игру опытной кошки с глупой мышью он и получил ее в превосходнейшей степени, перескочив в производстве товарищей. А мне за предательство и глупую злобу он выхлопотал не в очередь орден.

О, мы дешево продали могучий дух и светлый ум Михаила!

Но ведь окончательно я понимаю суть дела только сейчас, на восемьдесят третьем году, погибнув раньше смерти. А тогда?.. Тогда я только бессознательно испугался торжества в выражении графа и вдруг остыл от своего бешенства против недавнего друга и стал думать, не предал ли я его.

Нет, я этого не нашел. И окончательно великодушный, вообразив, что этим могу смягчить положение Михаила, вдруг подхватил мысль графа, что он, может быть, психически ненормальный. Теперь в свою очередь я приводил этому многие доказательства, но граф Шувалов их слушал уже без интереса. Он уже был обычно бесстрастный, отлично собранный механизм, заключенный в красоту мраморных форм. Очевидно, мои первые показания в минуту бешеной вспышки пришлись ему более наруку.

Придворным движением, как бы кончая аудиенцию, он встал и любезно сказал мне:

— Извините, у меня спешные дела. Относительно себя и Веры Эрастовны — будьте спокойны.

— А участь Бейдемана?

— Решится по заслугам.

Последнюю фразу он бросил уже как начальник, самовластно отстраняющий всякое чужое вмешательство.

Граф сам вывел меня в переднюю. Он сказал лакею: «Шинель поручику!» и упругим шагом поднялся вверх.

Выйдя на улицу, я пошел куда глаза глядят — по одному проспекту, по другому. У меня было чувство, что из меня выбрали все, что было мною, и пустую оболочку пустили ходить. Предо мной, как виденье, стоял дьявол Микеланджело и держал перед собою кожу, снятую с грешника. Как одержимый, я шатался по островам, а под утро вдруг очутился опять у подъезда графа. Я хотел было войти, но в окнах было темно. Я вдруг почувствовал себя безмерно несчастным и свалился тут же без чувств.

Конечно, если б я сознал тогда ясно все последствия моего разговора с Шуваловым, я бы не мог жить спокойно остаток своих дней. Но всего лишь смутное ощущение чего-то непоправимого в судьбе Михаила, свершившегося по моей воле, верней — посредством меня, неопределенной тяжестью легло мне на сердце. Вот это чувство, ставшее в дальнейшем невыносимым, двинуло меня на безумную попытку освободить Михаила с риском собственной жизни. После этого обстоятельства все укоры моей совести значительно притупились до нынешних дней.

Но сейчас, изучая нелгущие строки архивного изыскания, как не назвать мне себя главным виновником одиночной двадцатилетней пытки Михаила? Ведь у человека, в чьих руках была его жизнь и судьба, у графа Шувалова, самостоятельным было совершенно иное решение, нежели то, что последовало позднее, после разговора со мной.

Ведь это Шуваловым, как видно из доклада его великому князю Михаилу Николаевичу, было сделано предложение, чтоб передать Бейдемана в военное ведомство и судить его военным судом. Худшее, что могло ждать его, — была смертная казнь. Но не о ней ли, как о милости, будет умолять он в раздирающей сердце записке, которая словно чудом, из загробного мира, в один чудный вечер уютного чаепития появится с неизвестным перед нами... Но об этом поздней.

А теперь: вот итоги моего разговора с Шуваловым. Я подсказал графу новое освещение всего дела, а в связи с ним и роковое решение участи узника. Мое утверждение, что Бейдеман — не безумец, как они было склоня-

лись признать, привело их к убеждению, что того, кто не гнется, всего проще сломать.

Число в число, после нашего разговора, Шувалов доносил царю в Ливадию буквально мои собственные слова. Он говорил, что упорное молчание, которое хранит Бейдеман, не желая давать дальнейших показаний, происходит только оттого, что он собирается во всю силу заговорить «в день суда в единственной надежде предать гласности свои намерения и выставить себя мучеником за политические убеждения».

Для того, чтобы опасному арестанту пресечь все возможности гласности, его без суда и следствия заключили в Алексеевский равелин в камеру № 2.

Глава X

ОДЕТ КАМНЕМ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II

Был чудный июльский день, когда я нашел, наконец, силу пойти в Петропавловскую крепость, чтобы воссоздать в воображении Алексеевский равелин, где сидел Михаил двадцать лет в одиночном заключении.

Сколько раз я переходил Биржевой мост, вдоль тучнеющих огородов, которые разбил крепостной гарнизон рядом с деревянным широким помостом, ведущим во входные ворота! Вместе с экскурсией пытался я пройти внутрь. Но в глазах темнело, ноги подкашивались, и я мог только сесть на большой придорожный камень и долго бессмысленно созерцать громадный революционный плакат, вознесенный над этим первым входом. На небесном фоне изобразил художник слева и справа пушки, с высоким прицелом черного дула; над пушками вверху красная звезда, а в сердце у ней серп и молот. Еще выше труднейшее словосочетание: Штаб Петрогрукрепрайона. Я это слово твердил машинально весь обратный путь до своего чердака, стараясь отвести мысль от своей досадной слабости, которую, знал я, должен во что бы то ни стало преодолеть. Случай неожиданно мне помог.

Через бывшее Марсово поле, где этим летом разбивается отличный цветник, я, приветствуя украшение столицы, прошел было к Цепному мосту, чтобы точно найти дом бывшего III отделения, где спервоначалу сидел

Михаил и где еще с такой несокрушимой силой и гордостью он отвечал на допросах.

Я был одет приличней обыкновенного; для торжественных случаев у меня уцелели весьма старые, но все же темнозеленого гвардейского сукна брюки и сюртук. Я надевал их в последний раз, когда определял девочек в школу.

В этом виде все зовут меня «дедушкой», и мне это очень приятно. Самое главное: на вопросы отвечают как равному, а сегодня мне вот именно важно, чтобы мне ответили на вопрос, где дом бывшего III отделения.

Найти этот дом я так и не успел, потому что как раз тут случилось то происшествие, которое меня придвинуло к цели.

На Фонтанке есть пристань, где отдают по часам лодки. Было пустынно. В конторе белела голова мальчика, дежурившего в этот вечерний час, да курил трубку, свесив босые ноги в воду, содержатель лодок.

Белокурая девушка, веселая, в коротком платье, с толстыми ножками, о чем-то шепталась со своим спутником-красноармейцем. Вдруг она подошла ко мне и сказала:

— Гражданин, не хотите ли с нами проехать на лодке? Наверное, вы умеете править рулем, брат мой будет грести, а я, как буржуйка, посижу сложа руки. Мы объедем крепость и вернемся назад. Времени не более часу.

Я поблагодарил и с биением сердца вступил в лодку. Эта поездка — как нельзя более кстати, если обречен я воскрешать в памяти былое...

Мы проплыли по Фонтанке мимо бывшего училища Правоведения и под тем странным местом, где бывали мы с Верой не раз, когда, как маньяки, одержимые упорной идеей, с утра до вечера искали одного: как ее выполнить?

Это было весной шестьдесят второго года, вскоре после того, как Петр проведал от кума, что Михаил свезен в крепость, но в Трубецком бастионе не числится. Оставалась догадка, что он в Алексеевском равелине.

Вера продала все, что осталось в наследство от отца и мужа, и когда составилась крупная сумма, она, как безумная, стала требовать у нас помощи устроить побег

Михаила. Напрасно твердил ей Линученко о неприступности равелина, обнесенного высокой стеной, об обилии стражей, о неслыханной изоляции узников. Вера слышать ничего не хотела. Она отдавала на это дело все свое состояние и добилась того, что Линученко решил сделать попытку.

Петр должен был через верного своего кума организовать широкий подкуп людей в Трубецком бастионе и в равелине. Целый месяц прошел в тщетной надежде, но если капля со временем долбит камень, то и золото в неограниченном количестве всегда разобьет наемное сопротивление.

И вот Петр объявил, что человек соответственный есть. Это был помощник одного из надзирателей равелина — Тулмасов. На подкуп часовых и прочих охранителей он требовал пятьдесят тысяч рублей.

Линученко объявил, что должен сам видеть этого человека. Свидание состоялось, и Линученко поведал нам план Тулмасова.

Глубокой ночью, когда не будет луны, двое должны будут подплыть в лодке со стороны Биржевого моста к стенке равелина и для сигнала на минуту зажечь огонь.

Кроме двух часовых, никто этого видеть не может. Часовые же, заметив сигнал, со стены бросят веревочную лестницу, по которой подымется Петр с необходимыми инструментами для распилки железной решетки каземата. В случае, если не удастся вывести узника из дверей, оба спустятся обратно по той же лестнице.

Линученко предупреждал, что Тулмасов ему крайне не понравился и что весь его план скорее всего вычитан им из дрянного романа и, кроме риска, не даст ничего. Но Вера, ослепленная страстью, умоляла нас отважиться на попытку. Вызвались я и Петр. Вот причина, почему так знакомы мне вдоль и поперек все протоки и речки, впадающие в Неву. Ведь мы целыми днями плавали с Верой, ища безопасных путей, как подойти к грозной крепости и уплыть обратно, увозя с собой Михаила.

Как Веру тешила эта затея! Но из-за этого с каждым днем все труднее было мне, подобно Линученке, ей объявить, что надежды нет ни малейшей, а риск для жизни велик. При первом подозрении нас с Петром уложат на месте. Но для меня, хотя б и бессмысленный, героический

конец в глазах Веры — был в то же время и единственный желанный выход. Виновником заключения Михаила без суда и без следствия я уже и тогда ощущал где-то втайне себя...

Кроме того, жизнь моя была расколота, и своего в ней места я найти не умел. Сколько я себе ни твердил, что разговор мой с Шуваловым не мог иметь плохого значенья, чувство мое подсказывало мне иное.

Сейчас, когда мы через канавку входили в широкое лоно Невы, воскресает предо мною во всех подробностях незабвенная ночь нашей безумной попытки освобождения Михаила.

Сейчас от закатных лучей, как на густосинем атласе, разлилось жидкое золото на могучих холодных волнах, а тогда...

Тогда целый день шел проливной дождь, к вечеру разыгралась буря, и зловеще ударяла пушка, объявляя об опасности наводнения.

Я перенесся на полвека назад. Да, была черная ночь. На Неве буря. Не часто шли пароходы. Огромным черным телом чернели затонувшие баржи...

— Дедушка, не попадите под катер! Правее! — окликнула белокурая девушка, потому что, весь в прошлом, я позабыл о руле.

Мы подъехали. Петропавловская крепость с шестью бастионами похожа на невиданного паука, выставившего верхние членики лап и спустившего в воду концы. Мне почудилось: лапы его не кончаются там, в воде, а, расчлененные на тысячу нитей, незримой паутиной опутали весь Петербург. Когда в Музее революции я недавно рассматривал сеть царской охранки с разноцветными кружками слежки, у меня воочию связалась эта паутина над городом с таинственной подводной работой чудовищного паука Петропавловской крепости.

— Смотри-ка, эта крепость похожа на паука, — выкрикнула белокурая девушка, а ее военный спутник вымолвил с важностью:

— Потому что здесь пауки царского режима сосали кровь революционного пролетариата.

Паук... какой пророческой меткой была та родинка на правой руке Михаила! Так в феодальные времена люди сюзерена носили на себе его герб.

На замшенных ветхих стенах Трубецкого бастиона крупными буквами выбито: «Одет камнем при Екатерине II».

Одет камнем...

Не один он, этот бастион, — и Михаил, на двадцать лет без выхода в четырех стенах, с окном под тремя решетками, выходившими на другую несокрушимую стену, — и Михаил был одет камнем с 1861 года.

И не один Михаил...

Чуть поднять голову, над бастионом пушки. Вот главная, которая бьет в полдень, минуту в минуту, без перерыва с Петра Великого до последнего из царей, и от его отречения до нынешних дней, шестого года революции. Над пушками вышка, мачта и флаг. Ныне — красный.

Вот здесь, где пышно разрослись деревья, за Трубецким бастионом шла стена и внутри. За ней, отделенный каналом, на острове был Алексеевский равелин, откуда людей не выпускали, а выносили или в могилу под чужой фамилией, или в дом сумасшедших. За равелином — опять стена, за стеною Нева.

На эту последнюю стену, шестьдесят один год тому назад, уговорено у нас было с Тулмасовым, что выйдут подкупленные им часовые с веревочной лестницей. На самом же деле, едва мы подъехали ночью в лодке и сверкнули огнем, из двух противоположных кустов раздались два выстрела. Одна пуля предназначена была для меня, но я как раз откинулся назад, доставая свой револьвер, и обе они угодили Петру в голову. Петр, едва не опрокинув лодку, бесшумно скользнул в воду и скрылся в волнах. Мне оставалось с удвоенной силой грести к берегу, где в кустах, полумертвые от ужаса, меня ждали Вера и несчастная Марфа...

Как безмятежно сейчас в этом месте плещутся волны, вызванные пробежавшим весело пароходом! Какой смех на том самом берегу, где из-за кустов стреляли в нас подкупленные злодеи!

Красноармейцы купали здесь маленького ручного медведя и купались сами. Смешной медвежонок прыгал на солдата и, пока тот плавал, сидел у него на спине, как обмокшая собачонка. Мои спутники очень смеялись и с большой неохотой поплыли обратно.

— Вот роскошная, вот веселая прогулка! — твердила белокурая девушка, а я не удержался, чтобы ей не сказать:

— Однако место, вокруг которого мы только что оплыли, далеко не веселое! Знаете ли, сударыня, там лучшие и умнейшие люди сидели по двадцати лет...

— Гражданин, — сказал хмуро красноармеец, — у вас старозаветная ориентация говорить про единичные случаи, что они лучшие и заслуженные. Оплот и базис революции — вовсе не отдельные единицы, а сознательность коллективов.

Он был очень молод и важен, этот юноша в чистенькой форме, с розовыми петлицами на груди. Я притворился глухим, что-то промычал и умолк.

На берегу мы расстались друзьями; оба пожали мне руку. Потом белокурая девушка купила у торговки булку и два куска постного сахара и подала мне, краснея:

— Мерси вам за руль, гражданин.

Эту ночь я вовсе не спал. Все, шестьдесят лет тому назад погребенное, продолжало воскресать...

Наутро после ужасной гибели Петра я подал начальству рапорт об исчезновении моего денщика. Его всюду искали и, не найдя, решили, что он утонул в пьяном виде. Для правдоподобности я дал показание о его пристрастии к водке. Мы боялись, что нас выдаст Марфа своим безудержным горем. В ее бессвязных речах о неудавшемся побеге было бы много подозрительного для опытных сыщиков. И боясь, чтобы не пошла она к месту гибели своего мужа, мы держали ее взаперти, решив в скором времени увезти временно вон из города.

Вера как бы окаменела; глаза стали огромными и потухли. Пусто смотрела она часто в одну точку, и оживление в ней вспыхнуло вновь, только когда приехала из Бессарабии сестра Бейдемана, Виктория, хлопотать через видных родственников о смягчении участи брата.

На другой день после того, как я побывал в лодке у Петропавловской крепости в компании красноармейца и белокурой девушки, я уже не мог не попасть в нее и путем сухопутным.

Часам к трем я дошел до Троицкой площади, оттуда через мост — к Петропавловским воротам. Там руководитель делал перекличку своей экскурсии.

Это все были юные девушки с какого-то завода. Окончив свой рабочий день, они, не заходя домой отдохнуть, пришли сюда и на собственные сбережения наняли себе вольного инструктора, надеясь, как они выражались, что он и покажет «вольней»; у большинства я заметил ныне модные полосатые шарфы с мягкой кисточкой на концах. Когда их кто-то спросил: «Что это у вас всех одинаковые?» — сказали: «А мы их гуртом купили в Пепе».

— Пепо, как и депо, не склоняется, — поправил руководитель и подвел всех к воротам.

— Обратите свое внимание, товарищи, на возглавляющий барельеф. Тут изображен не столько летящий, сколь неблагопристойно, вниз головою, застрявший в воздухе человек. На него указует сбоку мальчик такой чрезмерно длинной рукой, что если ее опустить, она ему будет до пят. Бывший царь Петр хотел почтить своего ангела, апостола Петра, и приказал выискать какое-нибудь чудо, им содеянное. Чудо выискали в лице неблагопристойно летящего человека, он же — посрамленный апостолом колдун Симон-волхв. Все это не более как преданье и басни в угоду слабоумных и малограмотных.

— Религия — опиум для народа, — сказали две в шарфах.

Руководитель указал дальше на две ниши в воротах.

— В них статуи, языческий бог Марс и супруга его — Венера. — Он прибавил с иронией: — Конечно, Марс тут на месте, по случаю военного учреждения, но Венера — по той причине, что при прежнем буржуазном строе муж, словно каторжный к тачке, был прикован к своей жене, то и в каменном виде поставили ему в нишу Венеру.

— По мифологии муж Венеры — Гефест, а Марс всего-навсего — похититель, — сказал, смеясь, какой-то «вузник», приставший к экскурсии. — Так что выходит: царь Петр поощрял не законную любовь, а именно свободную.

Все засмеялись, а руководитель рассердился.

— Это спорный вопрос, — сказал он с достоинством. Потом вспыхнул: — Которые примазавшись к экскурсии — уходите!

Вузник, посвистывая, отошел, а меня девушки скрыли в рядах, пригрозив, чтоб молчал.

Вошли в собор. Я никогда не любил его нерусскую роскошь. Низкий алтарь в завитках барокко, золотая лестница с нависшей ложей проповедника, царское место под тяжким балдахином, митрополичье — посередине под красным сукном. Колонны до самого верху, как зимними сказочными цветами, усыпаны серебряными венками с похорон царей. Все важные гробницы — серого мрамора, а Александра II символическая — кровавого камня.

В годы самодержавия любили цари в этом соборе проделывать однообразную восточную шутку. Волостных и сельских старшин, приезжавших поздравлять с коронацией, сюда приводили на парадную службу. Вспыхивала огромная хрустальная люстра, ей ответно сверкали серебряные листья несметных венков, брильянты придворных дам и золотая резьба иконостаса. Незримые хоры пели с небес, и, овеянные клубами росного ладана, падали старосты на колени.

Каждый раз царь и царица спрашивали их, как им понравилась служба, и говорили старшины от воцаренья к воцаренью то же самое: «Как в раю побывали, ваше величество!»

Едва ли этот вопрос и ответ не входили и в обязательный коронационный ритуал церемониймейстера двора.

Сейчас собор был не тот. Сняты все венки и свезены в московский музей. Лучшие образа — тоже. Бесприютней могил бедняков на сельском кладбище однообразные мраморные гробницы. Только у императора Павла непонятное стечение народа. Под цветами не видно мрамора, венки из васильков, ноготков и ромашек, неугасимая лампада и паломники — стар и млад. До революции Павел в народе считался святым: одни верили, что помогает он от всякой беды, а другие — что от одной лишь зубной боли.

Я задумался, пока не увидел, что остался один. Экскурсия мигом обежала гробницы. Я заметил, что мужчины, как и раньше, были в церкви без шапок. Но они их сняли еще у ворот, как сейчас догадался, именно для того, чтобы не вышло прежнего оттенка особого уважения к храму. Однако и остаться им в шапках, повидимому, было тоже неприятно.

Я присоединился к экскурсии под громадным деревом. Все сидели на траве, и руководитель говорил, что как раз

здесь было при Петре «плясовое место» — место пыток и наказаний, от которых «плясали». Сажали человека на железного коня с острой спиной, пускали ходить по острым кольям.

Наконец руководитель перешел к тому, ради чего я пришел в это место. Он нас повел тем самым путем, как возили арестованных в черных каретах с зелеными занавесками. В карете сидели с каждым два жандарма и офицер.

Так проезжал тут в 1861 году Михаил Бейдеман — замуровать навеки свою юную жизнь.

Я больше не видел девичьих лиц и слышал руководителя, лишь поскольку мне это было надо, чтобы представить себе, где и как протекали дни заключения Михаила.

Не знаю, как именно везли его: вдоль Екатерининской куртины, как возили позднее Поливанова, или с другой стороны, мимо осевших в землю казарм Анны Иоанновны.

Впрочем, в обоих случаях была процедура одинакова. У низкого дома обер-коменданта карета останавливалась, офицер соскакивал и уходил в подъезд с докладом, а жандармы с арестованным доезжали до серых ворот, где сейчас на их месте — свернувшийся набок фонарь. Но с правой стороны все так же, как и тогда, врастали в небо частые бурые трубы Монетного двора.

Здесь уже угадываются сырые нижние камеры, черный карцер, двойные стены, вся глухая, бесправная гибель. И оттого ли, что так тесно сдвинуты небо и здания, — небо совсем не кажется уходящим вверх безграничным пространством, а низко упавшим, нелегким покровом.

Настоящему руководителю надо бы здесь перебить хохот и шуточки и ожидание легкомысленной молодежи поскорей увидать пошловатые рисуночки каких-то былых охранников, сейчас очень модные в публике...

Я сказал соседкам:

— Вот для того, чтобы вы могли прийти сюда с хохотом после восьмичасового рабочего дня, здесь на всю жизнь замурованы были люди.

Но они, как тщеславные гусята, ничего не поняли и сказали:

— Этого больше не будет, не бойтесь, гражданин, ведь мы опрокинули царский строй!

Я хотел было объяснить руководителю, что, прежде чем показать одиночную камеру, одиночную баню и, как он выражался, «прочее, все одиночное», — надлежит найти слова, какими бы пронять молодежь, слова, какими бы им в глубину сердца ввести само содержание слов: принудительное бессрочное одиночное заключение.

Но я ничего не сказал, я не мог говорить. Я держался за стенку, чтобы не упасть. Волнение подрезало силы, я не мог угнаться за веселой экскурсией.

Посидев с десять минут на подоконнике, я попал в новую компанию. Четыре старые дамы, приехавшие из провинции, наняли себе ветерана-надзирателя, здешнего старожила чуть не со времен Николая I. Я попросил позволения примкнуть, и мы все, соответственно возрасту, побрели черепашьим шагом.

Я был обрадован этой неспешностью, я мог вживаться в протекшую жизнь. Нет, скажу, как в святцах про мучеников, — житие.

Прежде чем впустить сюда, узника долго морили перед последней железной решеткой. Офицер нарочито задерживался у коменданта, чтобы создать арестанту особое нервное состояние. Затем в караульном помещении с него снимали домашнюю одежду и надевали халат.

Старик-надзиратель — богомольного вида с елеем в мелких чертах. У него есть гордость профессионала, когда он говорит:

— Я стерег заключенных при двух Александрах и при Николае последнем, стерег при Керенском... вот посудите размах времени. А почему уцелел в одном месте? Никому зла не делал, закон исполнял. Прикажут: «Гляди в глазок!» — я и гляжу. Арестант рассердится да в уголок, я его не дразню, отойду. А потом снова. А чтоб Фигнер не стучала соседям, мы ее отсадили промеж двух пустых кладовых, — вот, не угодно ли взглянуть? Она ножкой топнет, а внизу, как с боков — никого-с!

Он говорил, как добрый дедушка про шалость внучат. Так в римском форуме с добродушным достоинством говорит опытный гид, гордясь перед иностранцами анекдотами древних времен. И, — как там путешественники, жадные к жестоким волнениям, — не стесняясь меня, ста-

рика, потные от любопытства, приставали к надзирателю и эти женщины:

— А правда, что бывали тут избиения? А чем вы их тут били, куда?

Надзиратель с неудовольствием отрицал избиения; он стремился отвести внимание дам на заботу начальников.

— Вот, изволите видеть, мы сойдем этой лестничкой в сад, обратите, между прочим, внимание: к перилам приделан сплошной высокий забор — как бы вы думали, на какой именно предмет?

И, наслаждаясь недоумением, со своей стариковской улыбкой, он сказал:

— Очень просто, это затем, чтобы политическим убиться не дать. Были случаи, были, — хитрый народ! И кому бы сидеть надо годы, он норовит собственный срок сократить. Очень просто: через лесенку в пролет да на голову.

В крохотном садике одиночная баня и несколько деревьев, дорожки чуть отмечаются — заросли.

— В прежнее время песочком тут было посыпано, — с укоризной к нынешним сказал надзиратель. — Напоследок, в военное времечко, царские генералы у нас тут гуляли. Адмиралы посиживали. Ну, у них уже не камера, а по два покоя, кабинет и спальня, а кушанье — свое, в три блюда. И супруг допускали. А глядите, на стенке Пуришкевича стихи длинно написаны и подпись: «Владимир Митрофанович, несчастный Пуришкевич, краса и гордость контрреволюции».

Я запомнил две последние строчки его стихов «Безумья семена дадут вам рабства всходы...»

Дамы алчно кинулись к стенам модной камеры охранника. Она вся в размашистых рисунках из «Нивы»: девица в джерси у окошка, рот бантиком; огромный, во всю стену, подробный, как план, вид Люцерна, с отмеченными окнами самых дальних домов. Под видом стих:

Ах, если б мы сюда вернулись снова,
Где были мы столь счастливы с тобой...

Как выйти из Трубецкого бастиона, через несколько шагов влево — Васильевские ворота. Через туннель попадаешь в новое место, по уровню много ниже. Здесь через подъемный мост, под которым прорыт был канал, шел треугольником Алексеевский равелин — одноэтажное зда-

ние с четырнадцатью небольшими камерами. Туда заключали особо важных преступников. Заведовал им смотритель, и для внутреннего дозора приставлены были стражи. Ключ от каждого номера был у смотрителя, без которого в камеру никто не входил. Днем и ночью смотрел в глазок — узкую щель в дверях — зоркий глаз дежурного. Из неприступного, несокрушимого равелина никто никогда не убежал.

В Алексеевском равелине было так сыро, что в 1873 году 2 октября двух узников, Михаила и Нечаева, под наблюдением смотрителя Бобкова и караула равелинской команды, из-за угрозы наводнения, каждого порознь перевели в Трубецкой бастион. Там оставались они под наблюдением этих людей до рассвета следующего дня.

Дамы, пошептавшись о чем-то со смотрителем, сунули ему деньги. Сторож молча кивнул головой. Одна дама, обернувшись, сказала мне:

— Дедушка, и вы с нами идите, а то нам, женщинам, одним будет страшно.

Не спрашивая, куда мы пойдем, я молча кивнул головой. Мы спустились обратно в нижний этаж Трубецкого бастиона, вошли в какую-то камеру, и надзиратель захлопнул за нами плотно дверь.

— Посмотрите по часам, чтобы не больше десяти минут, — воскликнула дама.

— Разумеется, — сказала другая, — больше будет, пожалуй, и вредно, а представить себе то, что они испытали, можно и в кратчайший срок.

— Закройте, mesdames, глаза, потом откройте.... ах, как интересно испытать, как испытали они!..

Надзиратель обиделся, как честный профессионал, и сказал болтливым дамам:

— А вы, сударыни, помолчите; здесь ни говорить, ни смеяться, ни-ни!

Я смерил камеру: десять шагов в длину, пять ширины. Грязно-белый потолок, серые стены — вот и все здесь цвета. В окно за тройной железной решеткой — кусок подступившей грязной стены. Привинчена кровать, привинчен стол, и в стеклянной нише привинчена лампа, чтобы узник не задумал сжечь сам себя. Одежда из мешочного полотна, верхний халатишко. Жидкое, не греющее одеяло...

Все то же самое было и у Михаила в его камере № 2 и позднее № 13, только еще много сырее, чем здесь.

Но, по свидетельству там сидевших, звуки у них были слышнее и разнообразнее, нежели тут, отчего мука неволи становится острей: порой доносил ветер музыку Летнего сада.

Что же испытывал Михаил, одетый камнем, когда нараставшие пятилетия вошедшего юношу сделали зрелым и пожилым все в том же заключении; десять аршин длины и пять ширины?

И это — при сознании, что всего лишь за двумя стенами течет прекраснейшая многоводная река, по ней идут пароходы через Балтийское море во все части света, что укрепляется берег строениями, что идет накопление разнообразнейших опытов жизни через войны, просвещение и через простой человеческий быт.

Эту богатую, пеструю жизнь изведал не он, а я, его бывший друг и предатель. Да, предатель — ибо человек есть только то, кем он себя сам ощущает. И да свершится надо мной справедливая Немезида!

Пусть читатель, искушенный в классификации явлений психологических, отнесет, соответственно своим познаниям, куда угодно мои дальнейшие сообщения. Я спорить не стану: нервическая ли это расслабленность старости или особое глубокое потрясение всего жизненного моего аппарата, — я слишком знаю то, что я знаю.

По капризу любопытных я пробыл в камере одиночного заключения всего десять минут. Но мука в ней заключенного, но вековая ползучая сырость насквозь пронизали меня — от волос головы до подошв моих распухших ног. Мука этих стен одела камнем. И вне этих стен мне уже не быть.

И вот знаю, проведу ли я двадцать лет в этом застенке, незримом глазу, или какие-нибудь два-три года, что мне остается дожить, — я приму целиком заключение Михаила, я изживу его смертельные муки, и впишутся мне они, как ему, тем же полным числом, в мою черную книгу судьбы.

Читатель, свершилось надо мной пророчество предсказательницы m-me де Тэб.

Одетый камнем, как был Михаил в 1861 году, я в 1923 — становлюсь на его место.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I
ЧЕРНЫЙ ВРУБЕЛЬ

Сергей Русанин и Михаил Бейдеман — одно. Я узнал о проницаемости тел, об одержимости личностью другого человека не сразу. Это случилось после того, как я стал сыном матери Михаила, мужем его кратковременной жены. А третье... третье не скажу. Словом, мое устремление к его личности и судьбе заставляет меня порой настолько отождествлять себя с ним, что я не могу вспомнить своего имени и называю его имя.

Так, на той неделе, когда я вышел на рынок за пятью фунтами картофеля, я почувствовал головокружение и должен был сесть на паперть той большой церкви, где в семнадцатом году на колокольне обнаружен был пулемет и взамен его водружен красный флаг. Я сам не помнил, но Ивану Потапычу говорили те, кто меня свел в лечебницу душевнобольных, будто я там просидел с мешком недвижимо до вечера, чем и вызвал участие всех торговцев. Русский человек, как известно, настолько же добродушен, насколько жесток. Торговки накормили меня и хотели водворить домой, но я твердо заявил им, что дома никакого не имею, ибо сегодня лишь утром выпущен из Алексеевского равелина Петропавловской крепости. А в равелине я будто сидел со времен царевича Алексея Петровича и неустанно ловил мышей с ножек княжны Таракановой. Она очень долго, несмотря на смертельную опасность, ей угрожавшую, сохраняла свою наивную женственность и не столько пугалась подымав-

шейся в ее камере воды, сколько мышей, в изобилии прыгавших на красный бархат ее бального платья.

О лечебнице душевнобольных я хорошо помню все. На вопрос старшего врача о том, кто я такой, я немедленно вызвал в памяти самый эффектный момент из жизни Михаила и, подняв плечи, легкой походкой прошел в дальний угол, как бы приглашая на контрданс Веру Лагутину. Поклонившись с достоинством, я отрекомендовался из угла:

— Михаил Бейдеман, юнкер третьего корпуса Константиновского училища.

И еще прибавил:

— Vaut mieux tard que jamais! [1]

Последнее изречение должно было означать, что я желаю исправить с самого начала все вины перед другом, начиная с зависти к его прекрасной внешности.

Старший врач и помощники, конечно, полезные граждане, но они — лишь рабочие муравьи и ходят по своей линии. Они зарегистрировали меня сумасшедшим и приказали посадить меня в ванну. Но прочие, так называемые больные, меня отлично поняли и с одобрением мне аплодировали.

А горячо мною любимый художник Врубель, принявший образ какого-то верзилы с черной бородой, подошел ко мне и сказал:

— Из видов окончательного освобождения, о котором я узнал из своей последней работы — портрета Валерия Брюсова, теперь я таков. Но я вижу: меня вы признали, а значит достойны, чтобы я разъяснил вам одну картину. Уединимся вечерком.

Я доволен, что неделю провел с сумасшедшими. И раньше я подозревал, что и здесь, как над каждою вещью в земном обиходе, этикетки все перепутаны, и эти сумасшедшие — самые свободные из людей. Они сбросили маску. Ведь все дело — в преодолении пространства. Люди в масках движутся вперед по прямой, а мы, как крабы... впрочем, этого я не смею открыть, разве что намекнуть.

Проницаемость тел, одержимость другими начинается так: левый локоть под углом в 45°... как кинжал.

[1] Лучше поздно, чем никогда! *(франц.)*.

И пятками сейчас же в его пятки, а теменем в темя. Так у меня всегда с Михаилом, следствие — легкая дурнота.

Оказывается, Врубель с чернобородым верзилой сделал то же. Он рассказал мне это в тот же вечер, вскрывая причину принятия нового образа. Но об этом немного позднеей, сейчас мне надо идти только вперед по прямой линии и, чтобы читателю было понятно, продолжать повесть обыденным способом передачи: предложением главным, от придаточного отделяемым скромною запятой.

Кроме продолжительных бесед с художником о вещах, понятных нам обоим, но вызывавших улыбку у старшего врача, странного в моем поведении ничего не нашли. К тому же на третий день я надел маску и, извиняясь за причиненное мной беспокойство врачебному персоналу, вежливо попросился домой, предполагая у Ивана Потапыча и у славных девочек тревогу по причине моего исчезновения. Я только отвечал на вопросы, дал телефон Ивана Потапыча. Сейчас он сторожем в Центросоюзе и, по ориентации на полнейшее равноправие в наши дни, имеет возможность говорить и слушать по телефону учреждения, как самый его главный товарищ начальник. Иван Потапыч не замедлил явиться. Он обрадовался мне, как родному, и тут же подарил антоновское яблоко, по своей обстоятельности прибавив, что в этом году яблоки дешевле огурцов.

Старший врач отпустил меня с Потапычем, наказав ему не выпускать меня вовсе из дому.

— Кровоизлияние в мозг, — сказал он, — может повториться, и старик, чего доброго, попадет под трамвай.

Я хотел было возразить доктору, что снимать маску я могу по собственной воле и в любой момент, так что этот способ расширения сознания совсем неосновательно называть почему-то кровоизлиянием в мозг... Но я ничего не сказал. Они в своих куцых знаниях упорны и посадили бы меня снова в ванну. Мне же сильно хотелось домой — чайку выпить с яблочком и записать необычайное открытие Врубеля, важное для каждого и для всех.

Однако продолжать будем по порядку, чтобы читателю стало понятно, как человек перестает быть «одетым камнем».

Первое доказательство взаимообщения через мысль, презирающее пространство и время, что в грядущем по-

падает в графу математических исчислений, а по модности обучения сменит ритмику, испытал я, идя навстречу событиям, еще в 1863 году осенью, когда я вез матушку Бейдемана в Крым.

После неудавшейся детской попытки освободить Михаила, жертвою чего погиб Петр, матушка внезапно пала силами, но не духом. Чувствуя, что болезнь ее (острое расстройство сердечной деятельности) значительно ухудшилась, она объявила нам, что должна торопиться прибегнуть к последнему средству: самолично молить государя о помиловании. Чувствуя к этой женщине искреннюю сыновнюю привязанность, я не мог отпустить ее одну и, взяв краткий отпуск, поехал с ней вместе.

Матушка Михаила заболела. Мы должны были остановиться в дрянном городишке, в гостинице.

Здесь и произошло...

Как много можно узнать от человека умирающего, если этому человеку есть что сказать. Ведь все, что равняет нас друг с другом или создает преимущества в смысле образования, savoir vivre[1] и прочих, как сейчас принято говорить, «культурных ценностей», все это отходит перед лицом смерти, как к ней ни отнестись, — величайшей из тайн.

При человеке неотъемлемой до конца остается лишь емкость его собственной души. И вот в душе этой умирающей женщины горел целый мир.

Когда после одного особо острого припадка она поняла, что до Крыма ей не доехать, во всем существе ее изобразилась нечеловеческая мука. Но в одиночестве, собрав силы, она скоро овладела собой. У нее не было обычной женской религиозности, хватающейся за духовника, но доверие к великому разуму и добру, к которым идет мир, несмотря на горести жизни, было так сильно, что давало ей совершенную организованность для себя и любовь материнскую и покрывающую для каждого, кто подходил.

Малоречивая и, как внутренно собранный человек, невольно внимательная к малейшей расшатанности другого, матушка, в светлые промежутки между страданиями, своими простыми вопросами, из которых ни одного не

---

[1] Уменья жить *(франц.)*.

оказалось пустого, как бы принудила меня сделать итоги всему тому, что я продумал и прочувствовал до сих пор. У нее было особое уменье помогать и давать, не навязывая...

В знаменательных разговорах Гретхен и Фауста не те ли качества столь пленительные в существе невинном и мудром открываются много испытавшему скептику?

Сколько бы жены ни обрезали волос, ни дымили папиросами, беря себя руками в бок, и не писали трактатов, хотя бы не хуже мужчины, — только от этого особого их достоинства, от любви материнской и покрывающей, будет жив и прекрасен весь мир. Был и будет!

Эта замученная горем, умирающая старая женщина в то же время была как артист, которого день-деньской заставили таскать тяжелые камни и лишь к вечеру освободили для любимого дела.

Музыкальность и гармония — основы высокой души — сообщили невыразимую нежность ее уходящему внутреннему существу.

— Стеша! — совсем перед кончиной сказала матушка убиравшей девушке, указывая при этом на принесенный ей голубой чайник кипятку. — Стеша, заткни ему носик чистой ваткой. Сережа придет — чай остынет, а я вдруг помру и уже не напомню тебе, чтобы согрела.

Но, к счастью, я поспел во-время...

Какой земной последней радостью озарилось ее уже отрешенное от желаний лицо, когда я вошел! Торопясь, что не успеет, сняла она с шеи ключик и указала мне подать ей ореховую шкатулку. Я открыл; она передала мне твердой бумаги серый конверт с надписью: «Ларисе Полыновой».

— Эта женщина Михаила любила, она сделает то, чего я не смогла... Ее в Ялте знают, она близка ко двору.

После этого матушка закрыла глаза. С каждой минутой дыхание ее становилось порывистей, и сердце трепетало так сильно, что ослепительно белая кофточка вздрагивала. Лежать она не могла. С высоко приподнятой головой раскрыла навстречу широкому окну свои вдруг помолодевшие яркосиние глаза.

Был закат, и пурпуром охвачено небо. На нем большое, тяжелое, как бы дымное солнце. Внезапно до острой боли припомнился мне тот незабвенный закат в день производ-

ства, когда я побежал по двору училища вслед Михаилу. Сходство довершали десятки нестерпимо сверкавших стекол больших домов нашей улицы.

«Что с Михаилом? Чувствует ли он, что его мать умирает?»

В эту минуту матушка еще приподнялась на кровати и, как бы потянувшись вслед заходящему солнцу, сказала мне тихо, но ясно:

— Сережа, пойдем к сыну моему Михаилу!

Она протянула мне обе руки и взяла их крепко в свои.

На другой день я очнулся в постели в своем номере, и доктор, считавший мой пульс, предупредив, чтобы я не вздумал вставать и волноваться, рассказал мне, что вчера после заката, часов около восьми меня нашли без чувств на кресле около старушки Бейдеман. Уже мертвая, она не выпускала моих рук из своих. Меня высвободили с трудом.

Я не расспрашивал о подробностях. Но и про себя я не рассказывал им всей правды. Но сейчас расскажу.

Едва матушка взяла мои руки в свои, солнце внезапно зашло, и наступило странное освещение, как бы без источника света, какое бывает только во сне.

Я увидал себя с нею в лодке и почему-то бешено стал грести. Мы мгновенно перерезали Неву поперек и подошли к Невским воротам Петропавловской крепости. Я было подумал: «Почему мы не входим Петропавловскими воротами, как обычно?» Но матушка махнула в том направлении легкой ручкой, и я увидел толпы людей вдоль валов. Через них нам с суши было бы не пройти. Новгородцы, олонецкие и петербургские крестьяне копошились по пояс в воде. Лишенные необходимейших инструментов и тачек, они рыли землю руками и, вместо мешков, подолами собственных рубах таскали ее на валы. Они были мертвенно бледны, с огромными белыми глазами. Их желтые длинные зубы стучали от холода. Мне стало их страшно жаль, но тут же я понял, что мы с матушкой незримы, хотя сами видим хорошо, иначе как могли бы нас не заметить два парадных кортежа: с левой стороны, в Екатерининской беседке, Екатерина I со штатом своих фрейлин, а с правой — сам великий царь Петр, входящий с приближенными на колокольню послушать игру курантов.

Тому, что я вижу людей, давно уже умерших, я не дивился нимало: ведь они, как и я, были во времени, а время что? Время — фикция.

Царь Петр с придворными сошел вниз и, соединившись на «плясовом месте» с двором Екатерины, шутя с хорошенькой фрейлиной, направил размашистые шаги к домику дедушки русского флота. Когда мы подошли к железной решетке Трубецкого бастиона, вдруг, заломив над бледной головой высоко руки, упала перед матушкой на колени княжна Тараканова. Прекрасная ее нагота была чуть прикрыта драгоценным кружевом и обрывком древнего истлевшего бархата. Матушка положила ей легкую руку на голову, будто игуменья, мимоходом дающая отпуск провинившейся послушнице, и мы прошли далее. Царевич же Алексей, не подходя близко, осторожными шагами крался поодаль. Вобрав в плечи длинную узколобую голову, он недобрыми глазами воззрился нам вслед. Мы шли между Монетным двором и Трубецким бастионом. В глубине дорогу преградили ворота; не знаю как, но мы сквозь них прошли, хотя калитка была заперта. Налево зачернели другие ворота в Алексеевский равелин. Они открылись сами собой, будто чудовищный рот зевнул. Мы вошли под свод крепостной стены, перешли через канал с черной водой. В треугольном одноэтажном здании горел свет.

Перед последней калиткой вдруг выросли две фигуры. Высокий, в пальто военного врача, бормотал гробовым голосом:

— Я старик, и голова у меня поседела на службе, а я не помню, чтобы отсюда куда-нибудь увозили иначе, как на кладбище или в дом сумасшедших! — еще выкрикнул и отвратительно захохотал.

Бедная матушка как бы в отчаянии закрыла руками лицо, но я, обнадеживая ее, сказал:

— Это нас не касается, это слова грубого, не достойного своего человеколюбивого звания врача, некоего Вильмса, тюремного доктора, жестокие слова, брошенные им некогда народовольцам.

Вероятно, как в Дантовых адских кругах, здесь каждый таким, как он есть, застывает в своем преступлении.

— Пришли — так входите! — яростно крикнул нам другой омерзительный призрак и, подняв тяжелую руку,

как будто для удара, вдруг опустив ее, быстро зашевелил короткими, словно обрубленными пальцами. Глаза его, бутылочного тусклого цвета, навыкате, не мигая, смотрели на нас, как глаза гнусного пресмыкающегося Они застыли с выражением тупой и холодной жестокости.

— Соколов, — узнал я тюремщика, — ведите нас к Бейдеману!

— Есть пропуск — пущу, нет — самих посажу, — начал было Соколов, но вдруг снизилась с неба, тяжелого, как литая эмаль, голубая луна.

Луна нас покрыла . . . .

. . . .

Едва ноги мои коснулись пола камеры Михаила, моим первым невольным движением было оглянуться, чтобы понять, как мне выйти обратно. Стекла были матовые, и на них лежали черными полосами тени перекладин решетки. Стены были страшно сырые. Они на аршин от пола, казалось, обтянуты были черным бархатом. Я тронул пальцем и раздавил противную черно-зеленую плесень.

Налево была огромная изразцовая печь с топкой из коридора, у другой стены — старая деревянная кровать. Около нее на полу кто-то лежал без чувств.

«Михаил», — подумал я и хотел к нему кинуться, но матушка вдруг отдернула меня в угол, отдаленнейший от дверей, и во-время. Покрышка над глазком поднялась, и кто-то глянул в него. Громыхнул запор, и в сопровождении Соколова и сторожей вошел доктор. Сторожа подняли того, кто лежал, с полу. Лицо его было сине-багровое, шея туго затянута полотенцем, привязанным к спинке кровати. Доктор стал делать искусственное дыхание, сняв петлю с шеи. Изо рта и носа хлынула кровь. Лицо из багрового стало как мел.

Я узнал Михаила. Он так исхудал, что обозначились скулы, а тонкий нос с горбинкой обтянут был желтой кожей покойника. Глаза, не прежние, сверкавшие гордой силой, а глаза затравленного, угасающего в муке, с робкой надеждой смотрели перед собой.

— Я умер? — спросил он. — Значит, мне удалось?

— Удалось сойти с ума! — ответил грубо доктор. —

Отобрать у него полотенце и простыни, чтобы он снова не вздумал...

Сторожа сдернули простыни, Михаил привстал. Глаза его бешено засверкали; казалось, что сейчас он выкинет чрезвычайное... В этот миг матушка, протянув ему обе руки, двинулась к нему из угла.

— Матушка, наконец-то! — и Михаил, не в силах сдержать радость, несмотря на присутствие сторожа, зарыдал, как дитя.

— И без смирительной рубахи засмирел, ишь, плачет... — сказал сторож.

— Ослабел, ночь обойдется без буйства, — решил врач и вышел, сопровождаемый сторожами, уносившими простыни и полотенце.

Опять загремел запор запираемой двери. Отвратительная светильня, распуская страшный чад, слабо озаряла изможденное, бессильное тело распростертого на грязном соломенном матраце. Горели безумные глаза, слезы текли по бескровным щекам, и слышался лепет частый и однообразный, как маятник:

— Матушка, выведи меня, матушка, я погибаю.

. . . .

— Сергей Петрович, что это ты? Никак сонный пишешь, — потряс меня за плечи Иван Потапыч. — Чайку выпей.

Я очнулся. Тихо у нас. Девочки уже спят. Выпил с Потапычем чаю. Потапыч полез на диван. А я, когда все уснут, стелюсь на полу.

— Электричество не забудь, — говорит мне Потапыч: — оно с улицы видать, неравно донесут управдому-то, нас и выключат.

Задернул окно старым ковром. Перечел я написанное. Спросят: что правда, а что мне привиделось? А пусть раньше определит мне любопытствующий сам: что считать надо правдой? То ли, что случается с человеком, не бороздя ему душу и малейшею бороздою, или то, что он, едва лишь помыслит случившимся, запоминает навеки как самонужнейшую, как светлую правду?

Или правда лишь то, что можно ощупать? Извольте: такою правдою был толстый, серый конверт с письмом матушки Михаила к Ларисе Полыновой, на которую

была надежда, что довершит она дело с просьбой к царю.

А чернобородый верзила, рекомендовавшийся Врубелем, пожалуй, мечтанье. Но, как известно, мечтаньем открыта Америка, да не одна она...

Глава II

КОЗИЙ БОГ

Я давно не писал. Отбывал Михаиловы муки. Был одет камнем, как Трубецкой бастион. Во мне были камеры, и сам я был в камере заключен. А Иван Потапыч денно и нощно кричал:

— Не смей лазать в шкап, отвезу в сумасшедший.

Надоел, как попугай, до того, что сегодня я опять стал во времени, надел маску и взялся за перо. Люди пугаются больше всего, когда отменяется время...

К Ивану Потапычу сегодня пришел доктор, говорил со мной, но я безмолвствовал. Доктор говорил Ивану Потапычу, что сейчас замечается новое помешательство в связи с перестановкой часов. Людям вдруг страшно, будто последнего кита выдернули. Какую-то Агафью Матвеевну свезли на днях в тихое отделение. Есть-пить перестала.

— Почему именно, — говорит, — я знаю, куда пища и питье пойдут дальше! Сейчас ничему нельзя верить — уж ежели и часы фальшивят.

А про себя вот что заметил: когда смешиваются у меня в памяти сроки, когда сквозным ощущаю непроницаемое, то, выйдя из камеры Михаила, ну, хотя бы на прогулку в треугольном садике равелина, я не хожу уже, как все люди, а подлетываю.

С каждым днем все лучше, все выше. Почти как тяжелый мякинный воробей могу вспорхнуть уже на печку.

Вот своего лёта боюсь.

Иван Потапыч сейчас сознательный человек, ни живой, ни мертвой церкви не признает, а неблаголепия не спустит. Вдруг на печке в моем-то возрасте... и вообще, как ему после этого перед знакомыми быть? Но уходить раньше срока мне из дома не хочется: остается опять признать балласт дней и месяцев и осесть в плоскодонное.

Иван Потапыч верно отметил: перо и чернила меня, как няньки, ведут по гладкому... Ну, а уж я поведу свою повесть далее...

Я только ранней весной мог выполнить поручение матушки. Получив опять краткий отпуск, нигде не задерживаясь, я мчался в Ялту на поиски Ларисы Полыновой. Серый толстый конверт был у меня на груди. Я нашел дачу ее без труда. Ларису знал весь город. Почему-то я ожидал нечто вроде идейной девицы, стриженой и для меня не интересной, но оказалось наоборот...

Золотой дождь и густорозовые цветы иудина дерева, как сейчас вижу, покрывали все склоны гор могучим расцветом, так что закаты казались потухшими. Все, что таилось в природе красок, было вызвано к жизни этим буйным цветением земли. Темный, блестящий плющ, как змей, оползал вокруг огромных камней, а гроздья нежных глициний лиловели на его твердых листах. Кругом горели розы, оранжево-розовые, как внутренность больших раковин Средиземного моря, и пурпурные и белые. Розы гордо качались в садах, взбегали на крыши, свисали над открытыми окнами, ткали на белых стенах нежнейших нюансов гобелены.

Весь город был корзиною роз. В общественных парках, по главным аллеям, высоко вознесенные на поперечных шестах, с восходом солнца уже сверкали они брильянтами еще не испарившейся росы и поили воздух запахом свежего чая. Две ночи я не спал, а бродил по горам, как безумец. Наконец мне показалось глупым не понимать того, что со мной случилось, и я понял.

Едва я увидел Ларису, я в нее влюбился. И если у нее был роман с Михаилом, то будет и со мной. Если с Михаилом были одни разговоры и лунная ночь, то же будет и со мной.

Какое взаимоотношение между этими условиями? Спросят — не умею объяснить, но угадано было верно.

Узнать окончательно и самое тайное про человека можно, только сойдясь в той же мере близости, в какой бывал он с одним из выбранных им себе дополнений. Это одинаково по отношению к мужчинам и к женщинам.

Через Ларису мне откроется, почему от личной любви бежал Михаил. На каком горне судьбы ковалась его революционная воля? Ведь из одних глубоко личных при-

чин куются даже достоинства и недостатки, ставшие достоянием человечества...

Но мне было не до философий. В краткосрочный отпуск, с лапидарностью древних времен, надлежало мне: прийти, увидеть, победить.

И хотя Лариса Полынова была молодая вдова с репутацией доступной ялтинской дамы, я был немало смущен и далеко в себе не уверен. За городом, у подножья гор, вблизи старинной крепости генуэзцев, у нее была своя дачка. Лариса была богата и, не считаясь с общественным мнением, жила по тем временам с поражавшей всех независимостью. Спервоначалу я принял ее за прислугу, когда, подъехав верхом к ее даче, указанной мне первым встречным, я спрыгнул с коня и, не зная, где его привязать, обратился с вопросом к девушке, обвязанной по-украински платочком, в вышитой белой рубахе и темной юбке, возившейся с лейкой у гряд:

— Куда, милая, деть мне коня и где ваша барыня, госпожа Полынова?

— Коня привяжите к забору, здесь воров нет, а барыня я точно себе сама и есть.

И она засмеялась, освещая улыбкой лицо, такое необычайное, что я не понял, красиво оно или нет.

— Я — Лариса Полынова, войдите.

Дом был не похож на обычную дачную игрушку; выстроенный из красивого кирпича в стиле английского коттеджа, он был прост и удобен. В библиотечных шкафах много книг.

Горничная, подтянутая на петербургский манер, принесла мне кофе. Хозяйка, ничуть не меняя костюма, только вымыла руки, которые были в земле, вошла вслед за мной и спросила меня с прелестной естественностью:

— Вы ко мне от кого-нибудь с поручением?

— Вы угадали: я привез вам письмо.

Я вдруг почувствовал самолюбивое раздражение, которое испытывает мужчина от совершенной натуральности красивой женщины, которая позволяет себе в его присутствии продолжать свою жизнь, не вводя в нее ни малейшего волнения, которое — бессознательно считает он — должно бы было в ней вызвать его появление... Она же проходит сквозь вас, как сквозь пустое пространство.

Лариса смотрела на меня спокойно своими серыми, по-калмыцки приподнятыми глазами. Черты лица были некрупны, приятны, кожа ослепительно бела, и темнорыжие волосы, с которых снят был платок, словно пронизанные солнцем, задержали в себе его блеск. Они, как у девушки, ниспадали до колен пышно густой косой. Поражала она и фигурой, подобной Тициановой Магдалине, крупной, здоровой, с выражением свободы и покоя в каждом движении.

И вдруг мне стало приятно разбить этот покой, сказав ей прямо в упор, подавая письмо:

— Вот вам от покойной матушки Михаила Бейдемана с мольбой взять на себя хлопотать об ее несчастном сыне. Он четвертый год как томится в каземате.

Лариса не изменилась в лице и продолжала с тем же спокойствием ждать, что я скажу ей еще.

Я подумал, что она не поняла моей речи, и воскликнул:

— Письмо от матери Бейдемана! Вы не можете не помнить ее сына, ведь вы же любили его...

У нее дрогнули брови, медлительно она покраснела, взяла письмо из моих рук, стала прямая и важная, позвонила. Вошла петербургская горничная, приносившая мне кофе, к которому я не поспел и притронуться.

— Маша, вы отвяжете коня от забора и покажете поручику, как короче проехать в город!

И, не дав мне выговорить что-либо, чуть склонив голову, ушла с письмом в свою комнату. Я же глупо пошел вслед за горничной.

Еще вторая глава

Я бродил по горам, не находя себе места. Все мной пережитое: безнадежная любовь к Вере, влечение дружбы и ненависть к Михаилу казались мне занимательной, но уже прочитанной книгой. Впервые сейчас я понял, что молод, что передо мной — вся жизнь неизведанных собственных радостей и своих страданий. Для чего, в самом деле, как отжившему и бесстрастному старику, мне жить не своей, а чужой судьбой?

Мое обещание матери Михаила было исполнено. Я письмо передал. Но женщина, интересная мне доселе лишь как разгадка чуждой мне психологии друга, внезапно стала завлекательной сама по себе. И вот бестактным напоминанием о бывшей любви я сразу испортил отношения с ней и был ею изгнан из дома. Впрочем, не этим ли меня раздражавшим поступком воспламенила она все сложные взрывчатые вещества, из которых образуется страсть?

Все мои прогулки, откуда бы я их ни начал с утра, приводили к вечеру к одному и тому же месту — развалинам Генуэзской крепости. Дня два окна в доме были закрыты, ее не было. Но вот все окна открылись, на рояли играли Шопена. Играли прескверно: с задержкой, с шумливой страстью. Я, помню, обрадовался, подумав: «Если это она, я тотчас ее разлюблю и буду снова свободен». Но играла не она. Ее, как и первый раз, я опять не узнал, хотя, когда она мне сказала смеясь: «Здравствуйте!» — оказалось, что стояла она совсем близко на камнях. На ней были татарские шаровары и куртка, в руке альпийская палка и кожаный саквояж. Она, как будто между нами не вышло ничего неприятного, смотрела приветливо на меня.

— Куда вы идете? — осмелился я.

— Я иду к старому чабану, моему приятелю, несу ему разного зелья. У нас уговор: я хожу к нему каждое лето.

Я не знаю, как мог ей сказать:

— Возьмите меня с собой!

Она чуть подумала, медленно обмерила меня взглядом и сказала:

— Ну, хорошо, с одним условием: вы будете всю дорогу молчать. Я терпеть не могу с болтовней ходить в горы.

— Я стану глухонемым, — обещался я.

— Довольно только немым до козьей сторожки, там вы можете говорить.

Я взял у нее из рук чемоданчик, и мы пошли.

Сначала тропинка была некрутая. Справа синее море, слева цеплялся за ноги кривой кизил, цвели ломонос и шиповник... Серые скалы были навалены друг на друга, будто с силой брошены великанами из-за главного хребта огромной крутой горы, похожей на верблюда,

поджавшего ноги. Растения встречались с душистыми листьями, и серебряной пылью подернуты были цветы из семьи эдельвейсов. Гора, похожая на верблюда, поросла небольшими колченогими соснами.

И сейчас вижу я, как странно они закрутились много раз вокруг своих же стволов, с облупленной вовсе корой, совсем серо-лиловые.

Иные, горбылями изогнув всю середину, будто червь-землемер, вершиной уперлись в камни, разметывая по скалам и шишки и темные ветви. Меня эти перекрученные жилистые сосны наполнили романтической грезой, и, памятуя Дантову песню, которую, по настоянию тетушки, графини Кушиной, я хорошо изучил и очень любил, как дающую воображению пищу, я, забыв обещание немоты, вдруг воскликнул, указывая Ларисе на горбыли сосны:

— Это — непокорные калеки адского круга, это — закрепленные в дереве души самоубийц!

— Ну, вот, начинаете, — с непритворной досадой, как просыпаясь от сладкого сна, сказала Лариса. — Бросьте книжки из головы, да и мысли впридачу. Вы здесь ничего не поймете, если будете думать... Или хоть мне не мешайте.

— Простите, я не буду, — сказал я, — я люблю сам природу...

Я знал, что сказал глупо, но мне было все равно. Я вдруг перестал чувствовать близко Ларису. Пропала острота ее существа. Мне теперь только казалось, что я ее знаю бесконечно давно, что мы родные, что мы возвращаемся вместе, как дети, на родину.

Мы шли без конца. Под самым верхним хребтом го́ры, как за́мки зубцами своих бойниц, вырезывали легкое синее небо. Между бойницами окаменелые залегли навеки какие-то чудные ящеры и драконы. С самого верха скакали вниз по камням, будто мальчишки, разогнавшись в лошадки, веселые буйные ручейки. Было и освежающе и знойно. И чудилось, когда вошли мы в глубокое изумрудно-сумеречное ущелье, что это — вход в жизненную грудь земли. Мы присели на скалу, и, охваченный духовитостью трав, я сказал:

— О, если б обратно в мать-землю, в ее темные недра, и не думать, не знать и не чувствовать...

— Это на вас действует козий бог, — сказала Лариса, — тут все его... Но молчите, молчите.

Лариса сидела тяжелая. Лицо ее со странно застывшей улыбкой было как лица архаических статуй, чьи изображения меня так особенно волновали в музее. Сама богиня земли была предо мной, и от нее шла ко мне сила, текущая, ровная, как полуденный зной.

— Идем выше, — сказала она, встала и опять пошла безмолвно вперед. Я за ней.

Куда мы сейчас забрались, казалось, еще не ступала нога человека. Великолепие цветущей травы, диких ирисов и гвоздики не было примято и дыханием ветерка. Солнце слабело. Все быстрей шел таинственный обмен красок между небом и соснами. Густые сосны жадно вбирали в себя синий покров и одевались им, как венчальной фатой.

— Вот и козья сторожка, — сказала Лариса, — я вам возвращаю дар слова.

Все еще вторая глава

(Заметка о дюжине и об единице)

Только сейчас, через полвека, когда черный Врубель объяснил самое нужное для всех людей, я понял всю бессмыслицу, которая случилась со мной в козьей сторожке. Для всякого — два выхода, только два, все прочее — обстоятельства второстепенные.

Вот слушайте: есть древняя мелкоглавая церковь вблизи сумасшедшего дома, где впервые сидел черный Врубель, объявив за литургией, что в этой церкви хозяин он, ибо сам же ее расписал. Было митрополичье служение, а он, столкнув с амвона владыку, встал на его место сам. Но ведь это чистая правда, что наверху, на коробовом своде хор, есть его картина — откровение всем. Он учил меня, как ее надо смотреть, чтобы вышло...

К заходу солнца по лестничке скоро взбежать, озираясь в пролеты сквозь узкое оконце, чтобы поспеть назад во-время. Вдруг зажмуриться и вдруг глянуть на безбородого молодого пророка, на того, у кого уже глаза демона... Он готов к полету, как тот, кто разбился в падении, развеяв о скалы павлинье перо.

Над пророком двенадцать. Сидят плотно, твердо оперев две босые ноги на квадраты ковра. Сидят на деревянной скамье, огибающей внутренний купол. Кисти рук исполнены дивной жизни: лежат ли на коленях, как у старого справа, прижаты ли к груди или чуть воздеты.

Руки и ноги держат тела. Не будь их яростной силы, тела бесновато закорчились бы на квадратном полу.

Черный Врубель держал предо мною большую фототипию с той картины и раскрывал мне ее тайный смысл под гогот непосвященных. Он делал руками поочередно, как каждый из двенадцати.

— Люди думают, им нет числа. Им число есть. Двенадцать. И все как солдаты по роду оружия по этим вехам: Петровы выхватят меч; Иоанновы, безмолвствуя, знают; от Фомы не устают влагать перст. Все, что рассеяно мелочами во всех, отстоялось в двенадцати. Найди своего, встань, как он. Руки легонько сложи, чтобы их не знать, глаза закрой, и вся сила в точку: стой, солнце!..

Оно ударит последним лучом на картину, нестерпимый свет заструится... двести тысяч свечей. Хе-хе... Электрификация центров. А вы думали? Невинный образ на стене для молящихся? И это кто? Такой-то художник, как Врубель. Чтобы вам всласть плакать и каяться... да черта с два! Завуалировано от дураков. И под покровом Изиды одному показалось ведь пусто...

А в газете читали? Отличнейшая передовица; я выписал слово в слово:

«Мы стоим у порога разрешения задачи передачи на расстояние энергии без проводов».

Так вот-с: некая энергия без проводов может заструиться на каждого, как там на стенке, желтым лучом, с утолщением в виде шелковичного кокона... А наивно обнесенные вокруг голов венчики — фиговый лист. Ибо можно увидеть, можно услышать, можно узнать, чего обычно не знают! Но вывод делает каждый сам: расточить себя, как двенадцать, или собрать себя, как один.

Мы держали в руках фототипию, пока не стало заходить солнце. Пора.

Вдруг, глянув в окно, шепнул черный Врубель:

— Последний луч принять в себя, им, как багром, зацепить солнце, солнцу не дать зайти. Остановим солнце для мировой эле-ктри-фи-ка-ции! Всем, всем, всем!

Художник вскочил на кровать и залаял; я, помнится, ему лаял вслед, считая лай заклинаньем. Но кругом нас завыли. Увы! — опыт был опять преждевременный. Солнце зашло.

— Опыт с солнцем отменяется, — кричал в коридорах художник, когда нас обоих влекли в буйную.

Вот тогда-то, повернувшись ко мне, он и решил:

— Сперва единичный пример, мы призваны оба, оба!

И, подняв два указательных костлявых пальца кверху, он крикнул на весь коридор:

— Две единицы!

А в козьей сторожке, под властью козьего бога, я было сбился в числе. Единица — захотел подешевле прожить, стать из двенадцати, включиться в двенадцать.

Козий бог — страшный путаник.

ЕГО КАПИЩЕ

Мне Лариса сказала:

— Вы любите чувствовать по книжке, как давеча с кручеными стволами; так я же вам покажу...

Она взяла меня за руку и повела к каким-то постройкам циклопов.

Огромные белые камни навалены друг на друга. Каменным поясом-стеной охватили черный утоптанный круг. Посредине три жбана. На жбанах чабаны. Свисают с боков шаровары в густых, словно кожаных сборах. На бронзовых лицах этих людей, все лето живущих в горах, покой окружающей природы. Но вот они запели гортанно, чуть-чуть качаясь. У них была та же улыбка древних бездумных предков, что на лице у Ларисы.

— Песнь козьему богу, — шепнула она. — Они просят обильного удоя.

Перед узенькой дверцей толпились несметные козы, рвались доиться. Девичьи большие глаза полны крупных слез, бородки трясутся от мемеканья, громадное вымя напряглось и торчало. Татарин, низавший на толстую нитку бараньи шкурки для просушки, вдруг гикнул разбойничьим гиком и поднял заслон у ограды. Козы втиснулись, чабаны рванулись со жбанов, схватили коз за хвосты, развели им тонкие розоватые ножки, посадили перед собою. Черными цепкими пальцами дернули за

сосцы, будто пробуя инструмент, и вдруг, стиснув вымя, по горному обычаю, вытиснули из него разом все молоко. Подоенную козу татарин хлопал по пыльному заду, сгонял и сажал пред собой другую. Удой был обильный, все козы здоровы. Чабаны пели хвалебные песни козьему богу.

Козы перекликались человеческими голосами, смотрели девичьим кротким взором, а люди с улыбкой древнего предка, с глазами без мысли, пели песнь козьему богу.

Я припал головою к камню. Он был как колени матери. Надо мною ласковым звездным покровом держалось небо. Кругом горы: каждая в собственной думе, с окаменелыми за́мками, зверями и бойницами стерегла, охраняла пастбища козьего бога и густые отары овец.

Вдруг Лариса взяла меня за руку, провела за камни и, подведя к обрыву, отвесно возникавшему с глубокого дна ущелья, сказала:

— Бросьте вниз камень!

Я бросил. Лишь через долгий миг глухой звук мне отметил падение.

— Вот в этом месте чуть было однажды не совершилось кровавой жертвы козьему богу, — сказала Лариса,— но козий бог крови не любит. Старый чабан-ведун поспел во-время: только он да козы умеют ходить по откосу. На мое счастье, он поспел во-время...

— Почему на ваше? Разве жертвой были вы?

— Да, меня бросил сюда в припадке дьявольской гордости тот, кто меня побоялся любить...

— Михаил Бейдеман! — со злобой окончил я, и вдруг, полный мести к нему за отнятую любовь Веры и сейчас за возникшую тень его между мною и новой любовью, я сказал в бешенстве:

— Так знайте ж, каков он! Он такой же звездной ночью другой женщине, которую любить не боялся, рассказал про этот случай с вами...

Лариса молчала. Стало очень темно. Я не видел ее лица, но я знал ее рядом: тяжелую, плотную, со страшным каменным лицом.

Когда она заговорила, как всегда, ее голос был прост и ровен.

— А как вы-то узнали о том, что ваш друг говорит, оставшись вдвоем? Вы подслушали?

Моего лица не было видно, и я сказал, ей ли, себе ли — не знаю. Я был как пьяный, я сам будто летел по отвесному обрыву на дно глубокого ущелья. И слова мои были как отзвук падения.

— Да, да... Я подслушивал... Я любил безнадежно ту женщину, которая любит его.

— Почему же в прошедшем? И сейчас ее любите?

— Сейчас я люблю только вас, только вас...

— А... — сказала Лариса. — И вы позабудете, что вы его друг? И позабудете, зачем вы меня разыскали?

— Я передал поручение, — сказал я, — и какое мне дело... У меня своя жизнь!

— Здесь козий бог, здесь козья жизнь. — Лариса тихо засмеялась. — Это он, Михаил, так называл нашу любовь: козья. А меня — жрицею козьего бога. Что же: пусть так и будет. Так он про меня рассказал?

— Имени он не называл. Он сказал, что это было в Крыму.

— А если бы она спросила, он бы имя назвал?

— Они соединялись навеки. Он бы имя назвал...

— А... — протянула снова Лариса и безмолвно, взяв меня под руку, повела.

Перед козьей сторожкой, сложенной из камней, с холщовым верхом, стоял необыкновенный старик.

Он был невысок, совсем голый, в ярких лохмотьях вокруг пояса. На длинных седых волосах по самые брови надвинута полосатая шапка. За спиной желтая тыква паломника. Безусый, безбородый, он походил на жреца. Улыбнулся Ларисе; не поздоровались, а хлопнули друг друга по рукам. Лариса передала чемоданчик.

Вдруг подскочил татарчонок, что-то прокричал, и два чабана, доившие коз, положили к ногам старика внезапно заболевшего козла.

Старик тотчас присел на корточки, замурлыкал протяжную песнь и, вынув из-за пазухи кривой нож, подставил его луне. Луна, дымная и неполная, выходила из-за облаков. Как белые бельма, тускнели закатившиеся глаза больного козла. Старик прищурился, скрипнул зубами, полоснул козла около живота. Хлынула черная гадкая кровь. Он прихватил цепкими пальцами, как крюч-

ками, разверстую рану, придержал ее недолго и вдруг, дернув козла за рога, поставил его на ноги. Козел, шатаясь, пошел к стаду. Стадо шарахнулось от него, чего-то испугавшись.

Чабаны, гортанно гикая, стали щелкать бичом.

Старик подошел к нам, остро глянул на меня, тронул черной рукой. Проговорил что-то ласково Ларисе, указав на сторожку.

Лариса, побледневшая под луной, с каким-то новым, помолодевшим лицом сказала мне:

— Дед уводит стадо на ту сторону, а нам дает свою сторожку.

Многоглазый небесный покров, ужас стада, темная власть старика, кругом немая, плодородная земля.

— Идемте же в козью сторожку, к козьему богу!

И я сказал:

— Я пойду куда поведете...

В большой холщовой палатке, обложенной снизу дерном, было душно и совершенно темно. На земле на душистом горном сене разостланы козьи шкуры, они же развешаны были вдоль и поперек. Несло острым потом, козьим молоком, кожей, сыром, прокисшим вином.

Усевшись в шелковистую шерсть, мы словно попали в отару овец.

И мы целовались, не видя друг друга.

Перед рассветом я должно быть заснул. Когда, открывая глаза, я почуял на лице своем солнечный луч, мысли мои прояснились, и я вдруг пришел в ужас, что сейчас увижу Ларису.

Но тут же по ощущению той физической свободы, которой ее присутствие меня всегда лишало, я мгновенно понял, что ее больше нет в палатке.

Эта мысль неожиданно меня наполнила беспокойством. Я вскочил — ее не было. Я выбежал наружу: солнце едва взошло. Горы, как умытые, стояли в нежно-голубых тенях.

Полное безмолвие. Стадо с пастухом ушло до восхода. Я крикнул:

— Лариса!

Откуда-то снизу, быть может из того же ущелья, куда ее столкнул Михаил, мне ответило твердое, неприятное, как попугай, эхо.

Я сел на камень и заплакал. Мне казалось: я себя потерял безвозвратно.

Старый чабан вырос откуда-то из кустов. Он мне знаками объяснил, что Лариса ушла. Своей узловатой палкой он указал мне подробно дорогу.

Я стремительно кинулся по тому же пути, где мы подымались вчера. Я, спотыкаясь, топтал огромные шишки с пахучей прозрачной смолой, и опять мелькали по краю обрыва серебристые сосны с перекрученным голым стволом. Опять в бархатистых складках зеленых долин между гор белели отары овец. Сейчас я не видел красот, мне все было — лишь вехи в пути. Мне надо было только одно: скорей ее видеть, заставить ее отвечать.

За минуту боявшийся ее присутствия, я сейчас был в бешенстве от одной мысли, как смела она убежать. Ее коварство походило на издевательство.

У водопада я услыхал голоса: девица и некто плотного вида, с золотой цепью, похоже — инженер. Он говорил галантно девице, покачивая тросточкой над разбитым в ручейки водопадом:

— Не правда ль, водопад этот — страсть: она свободная мчит, закусив удила, а разбитая исходит потоком слез...

Не задумываясь, не колеблясь, как был, запыленный, в колючках и белом пуху ломоноса, с небритым лицом я вошел в дом к Ларисе.

— Барыня занята, — ответила мне петербургская горничная и, как почудилось, с дерзкой усмешкой.

— Мне должно быть исключение, я вечером еду, и мне нужен ответ в Петербург.

Горничная пожала плечами, но через минуту пришла.

— Посидите в кабинете, пока барыня кончит работу.

Я прошел в кабинет и сел на диван. Из соседней комнаты, должно быть будуара Ларисы, дверь была полурастворена. Слышен был стук молотка, какое-то противное дребезжание.

— Барыня выстукивает себе камин, — пояснила горничная и исчезла.

Я видел с дивана белый утренний пеньюар Ларисы. Лицо было скрыто. Конечно, она знала, что я вошел. Она продолжала свою неприятную работу. Перед ней лежала

полоска железа, и по узору, наставляя разной величины долотца, она сверху ударяла молотком.

Противный, раздражающий звук царапал нервы.

Я не выдержал, шагнул в полуоткрытую дверь и схватил Ларису за руку с молотком:

— Вы можете кончить потом, у меня есть дело...

— Дело? — Она усмехнулась. — Если упреки, то оставьте их при себе.

— Я желаю спросить не о себе.

Я осекся. Мои глаза уперлись в большой портрет на стене. Это была знакомая мне увеличенная карточка Михаила юнкером. Огненные глаза его вопросительным укором глянули на меня.

Я сухо спросил Ларису:

— Какой же ответ мне свезти в Петербург? Когда начнете вы хлопотать?

— Я хлопот никаких не начну.

Лариса теперь не стучала, но делала вид, что выбирает узор из кучи наваленных на столе.

— Вы мне сами сказали, что у Бейдемана осталась невеста. Пусть она и хлопочет.

Презрение меня охватило:

— Низкая женская злоба... Но никто ведь не добьется того, чего добиться можете вы, если верить слухам.

Она подняла глаза:

— Договаривайте здешнюю сплетню, тем более что она — правда.

— Правда, что вы были близки с великим князем?

— В той же мере, как с вами, если вы это называете близостью.

Эта женщина, влекущая к себе безглазой, тяжелой земляной силой, была мне сейчас отвратительна. Я видел перед собой одно лицо друга и — увы! — с поздним жаром стал умолять ее взяться за хлопоты. Не помню, что я говорил, но я нашел краски изобразить его жестокую участь в противоположность ее годам свободы и праздных капризов.

— Только подумайте: он сидит в бес-сроч-ном одиночном заключении!

Ни стыда, ни смущенья не было на лице ее, когда с непонятной мне горечью вдруг она прервала мое жалкое красноречие.

— Кто знает сроки? — сказала она. — Быть может, я завтра умру и больше не буду ничем наслаждаться. Но хлопотать за свободу того, кто был враждебен той земной жизни, которую я люблю, я не стану.

Дрожа от негодования и ненависти, я сказал:

— Не правда ль, предел этой жизни — лишь козья сторожка...

— Где я вам подобных обращаю в козлов? — с невыразимым презрением оборвала Лариса.

Я поклонился и пошел к дверям.

— Подождите! — вскрикнула она и встала во весь рост.

— Запомните на всю жизнь, ведь больше мы не увидимся. Запомните: это вы разбудили во мне обиду и злейшие силы мои. А у меня нет, во имя чего с ними бороться. У козьей жрицы — козий бог. Еще запомните, что в ваших руках было иное: вы могли соединить две наших воли только в заботе о друге. Если б вы были ему верны, и я б оказалась иной. Но вы мне предали Бейдемана. Будьте же вы прокляты, как и я!

Я уехал из Ялты. Последнюю неделю отпуска я пробыл в Севастополе. В ресторане у моря я слышал, как пришедший с пароходом капитан рассказывал о том, что все в Ялте взволнованы происшествием в горах.

— Я держал пари, что эта Лариса Полынова плохо кончит!

— Эксцентричных женщин всегда убивают, если они не догадываются убить себя раньше сами, — сказала ближняя дама.

— Я подозреваю, тут не без романа с татарами, — вставила дальняя.

— Нет, нет! — защищал капитан. — Хотя ее действительно принесли с гор татары, но это простые хорошие люди, всем известные пастухи, из которых главный, старик — приятель Ларисы, рыдал как ребенок. Он рассказал, что она, принеся ему, как всегда, запас нужных лекарств, подарила на память часы. Он показал расписку ее, где написано, что дарит в полной памяти и здравом уме такому-то в знак многолетней дружбы. Умнейшая барыня все обдумала: распоряжение насчет имущества написано отцу Герасиму заказным по почте, просит в смерти своей никого не винить... Татары говорят: она

отбежала на край отвесной скалы и у всех на глазах застрелилась, они же ее вытащили с опасностью для жизни и принесли домой на руках. Хотя эти татары все же арестованы, но по следствию их, разумеется, оправдают.

— Уж какой-нибудь виновник да есть, — сказала ближняя дама и случайно глянула в мою сторону.

«Да, я виновник», — подумал я, но вслух сказал, как обычно, лакею:

— Подайте мне счет!

Я пошел далеко по камням туда, где узкая коса клинком врезалась в море.

Я помню: вырезным и бумажным мне показался огромный диск луны, и отражение ее отвратительно. Все было кругом как захватанный и пошловатенький лунный ландшафт над красным бархатным гарнитуром гостиной в провинции. Большая душевная мука выветривала жизнь и красоту из самой природы. Вдруг я ощутил с новой силой, отделяющей меня от всего живого, свое клеймо древнего Каина — мой новый позор предателя.

Да, никем не изобличаемый, как мерзостный хитрый гад, сокрывший себя между трав уподоблением их окраске, предатель угнездился в бессознательных недрах моего существа.

Ибо я предавал людей, не желая предать.

Глава III
ГЛИНЯНЫЙ ПЕТУШОК

Когда, уезжая в Крым, я сказал Вере о письме матушки к Ларисе Полыновой, Вера, нахмурив брови, ответила:

— Такие женщины самоотверженно не помогают.

Она уже не верила в возможность освобождения Михаила и все силы свои и надежды направила на деятельность революционную. Только от нее в зависимости ставила она разрешение вечных узников от уз.

У Линученки, с которым Вера жила, умерла жена на хуторе, он поехал ее хоронить. Квартира Веры была теперь осаждаема откуда-то набравшейся молодежью. То заседали кружки взаимопомощи по доставлению средств образования, то составлялась библиотека запрещенных

книг, то типографию приносили прятать. От меня она попрежнему ничего не скрывала, и я терзался от мысли, что кто-нибудь донесет, и ее постигнет ужасная участь. Наконец, когда я стал ее умолять быть осторожной, она сказала, глядя пустыми отчаянными глазами (такой точно взор был у Ларисы, когда она меня прокляла):

— Ради чего беречь мне себя? Хоть малую пользу делу, а значит и Михаилу, принести может только моя гибель. Без него я — рядовой боец и погибну в начале или в конце — дело случая. Сейчас для революции одно важно, чтобы правительство знало нашу непримиримость до смерти.

Но я всеми силами стал вливать в Веру надежду на освобождение Михаила через Ларису Полынову, рассказав ей, что, по наведенным справкам, эта женщина действительно близка к одному из великих князей. Я обещал, что найду слова убеждения, способные растопить камень...

Мне удалось повлиять на Веру, и она мне дала обещание, что до моего возвращения не примет участия в рискованном деле. Больше даже: она решила поступить на фельдшерские курсы и отдаться всецело занятиям.

И вот сейчас я ехал из Севастополя в Петербург, как негодяй, которому доверили последнюю ценность, необходимую для жизни, а он расточил ее на свою прихоть.

В Петербурге меня ждало новое испытание.

Как в романах Дюма события нарочно нагромождаются в особенно важных главах, так и в эпилоге моей жизни одно за одним пошли необычайные приключения.

Впрочем, именно такое неправдоподобие обличает порой самую правдоподобную действительность так же реально, как чудища из облаков на невероятно окрашенном фоне, вырывающие у зрителя восклицание: «Если б художник нарисовал, ему бы никто не поверил!»

Едва вошел я прямо с вокзала к Вере, в небольшую ее комнатку на Васильевском острове, как вместе со мной протянул руку к звонку некто высокого роста в башлыке, обмотанном вокруг шеи. Он отдернул руку, уступив мне звонок. В комнате было сизо от дыма, на полу окурки, на диване и сундуке тесно сидели незнакомые люди. Председательствовал Линученко, вернувшийся с хутора. Лица все новые, молодые.

Только одного блондина, угрюмо забившегося в угол, я признал тотчас же. Лицо его было знаменательно, и я, еще в первый раз видя его, очень отметил. Вера почему-то именно его мне упорно не хотела назвать.

Сейчас, едва я вошел в комнату, Вера кинулась ко мне, схватила за руку и шепнула:

— Она согласилась?

Как заводной истукан, я ей ответил:

— Она внезапно скончалась, я в живых ее не застал.

Вера еще смотрела, не понимая смысла моих слов, как вошедший за мной, подойдя к Линученке, протянул ему руку и назвал себя. Тот радостно его обнял и громко объявил:

— Товарищи, поздравьте. Счастливый выходец из казематного ада. Ну, дружище, с какими вестями? Здесь все свои.

— Прежде всего поручение. Один из наших, выйдя из еще худшего места, чем я... из Алексеевского равелина, дал мне для передачи родным и друзьям Бейдемана записку. Он сидел полгода рядом с несчастным. Тот простукал ему и взял клятву о доставке домой. Мне сказали, что здесь...

— Здесь! — воскликнула Вера. Она протянула руку и застыла, как на миг застывает мать, у которой на глазах тонет дитя.

Линученко прочел вслух записку:

«Умоляю, хлопочите об освобождении. Надвигается безумие. Пусть сошлют в солдаты, на каторгу... Пусть казнят... Все, все лучше, чем это».

— При первом приступе безумия он пытался повеситься, но неудачно. У него отобрали полотенце и простыню, — сказал пришедший. — Это было осенью тысяча восемьсот шестьдесят третьего года.

— Да, двенадцатого августа тысяча восемьсот шестьдесят третьего года! — воскликнул я. — Да, это было в день смерти его матери!..

Меня словно вихрем рвануло куда-то, и я без чувств грохнулся на пол. Это понято было всеми только как законная скорбь о друге, но на самом деле это был еще и обратный удар того потрясения, которое испытал я в этот день, уйдя вместе с матушкой в мое первое воздушное путешествие. Ведь я тогда не был еще обучен черным

художником в том, что он зовет «электрификация центра», я еще не мог использовать миг, разрывающий предел и движение по линии, не теряя сознания.

Зато не далее, как сегодня утром, я пустил машину времени ровно на пятьдесят лет назад и, когда девочки и Иван Потапыч ушли в гости, сам вошел в камеру к Михаилу.

Он только что съел свои вечерние ужасные щи, из которых выловил двух тараканов живыми. Он забавлялся тем, что, вылепив из черного хлеба им помещение, искал, куда бы ему их запрятать от зорких глаз ирода Соколова, чтобы сделать потом их ручными. Хотя лицо его было бледно и измождено, как бывает от тяжкой болезни, оно светилось хитрой улыбкой. Увидав меня, он испугался, но, как только узнал, ласково обнял.

Сидя с ним рядом на жестком матраце его нищенского ложа, я рассказал ему не про то, что было в горах, а только про то, что там должно было быть.

Я говорил, что Лариса и Вера подружились, как сестры, оттого, что обе любят его, и о нем завтра же пойдут хлопотать. А сейчас я предложил ему прогуляться в горах.

И высоко подымая ноги, Михаил стал ходить по камере. Как дитя, он гонялся за бабочкой, рвал цветы, любовался направо восходом, налево луной. Времени не было; все, что вступало в мысль, вдруг делалось жизнью. А когда старый пастух напоил его теплым молоком, пришла Лариса и, обняв его, увела в козью сторожку. Я же не ревновал. Я был рад, что несчастный наш друг нашел хоть минуту забвения.

Когда вечером смотритель Соколов вошел со сторожем, Михаил спал с такой блаженной улыбкой, что даже это грубое животное было тронуто и проявило несвойственную ему заботу, конечно — в соответствующем ему выражении:

— Не будите его; натоптался днем, пускай дрыхнет!

. . . .

Иван Потапыч мне сегодня сказал:

— Это очень похвально, что ты перестал прыгать, как воробей, трепыхая локтями. А нынче окончательно возьмись за ум, прекрати бормотание, сделай милость, — девочек пугаешь. На вот, маракуй себе на бумаге: спокойное дело.

И добрый человек подарил мне стопу чистейшей бумаги, присовокупив пояснение:

— Тебя ради облегчил наверху канцелярию; чай, казенная, нет греха.

Сделаю праздник, попишу на белой бумаге и черновик. К тому же, пусть канцелярская эта бумага — хищение Ивана Потапыча, — как действие, лежащее всецело в наших трех измерениях, удержит мою недавно освобожденную мысль в пределах, приемлемых здешними. Ибо про событие исключительной важности мне сейчас надлежит рассказать. Факты этого события общеизвестны, но кое-что из того, что за фактами, может вскрыть только такой, как я, кому время стало — фикция.

Однако сначала два слова о том, что произошло после записки, так чудесно попавшей из Алексеевского равелина к Вере.

Выписанная эстафетой, приехала сестра Михаила — Виктория, женщина высокая, очень лицом на него похожая, безмолвно твердая. От имени ее составили следующий документ, который ныне напечатан целиком в книге о Михаиле:

«Поручик драгунского Военного Ордена полка, Михаил Степанович Бейдеман, три года тому назад без вести пропавший, оказался содержащимся в С.-Петербургской крепости. Мать его в сентябре 1863 года умерла на пути из Бессарабии в Крым для испрошения у государя императора помилования ее сыну. Сестра заключенного в крепости Бейдемана, Виктория, уверенная в благодушии вашего сиятельства, осмеливается испрашивать единственной милости: дозволить навещать Бейдемана в его заточении».

Записка эта через влиятельного родственника с письмом от другого важного генерала к третьему была доложена самому шефу жандармов князю Долгорукову. Князь написал, что резолюция государя на этот раз и на все будущие попытки сношения с узником одна: о Михаиле Бейдемане правительству ничего не известно.

Пока не пропала последняя тень вновь воскресшей надежды, Вера, оставив свои кружки и даже единственное утешение — работу в госпитале, как в дни нашей безумной попытки освободить Михаила, опять, словно маньяк, с горящими глазами, безмолвная, с нечелове-

ским напряжением воли, хлопотала о доставлении записки Виктории куда следовало. После резолюции, положенной свыше, она, как автомат, которого рука заводящего перевела на другую пружину, стала так же безмолвно и без оглядки работать на дело революции: ходила на какие-то тайные сходки, кого-то осведомляла, кого-то прятала. Ни дождь, ни тьма, ни опасность глухой окраины ей не были препятствием. Она не худела, а просто таяла на глазах. Я сказал Линученке:

— Если ее не остановить, к весне у нее будет скоротечная чахотка.

Линученко горько ответил:

— Если можете — остановите.

Полный невыразимой жалости и вспыхнувшей с силой любви, я искал случая застать Веру одну. Однажды я пришел, когда в квартире не было никого; дверь в ее комнату полуотворена. Я увидал ее в кресле в глубокой задумчивости: исхудавшие руки ее были жалостно вытянуты на коленях и крепко по-детски стиснуты пальцы. По тишине, царившей в комнате, как и во всем доме, я решил, что у Веры нет никого, и, войдя быстро, вдруг неожиданно для самого себя стал на колени и, целуя ее милые руки, сказал:

— Вера, очнись! Вера, если тебе не жаль себя, пожалей меня, я гибну... Уедем на Кавказ, попробуем начать новую жизнь. Ты будешь со мною свободна.

Кто-то сзади кашлянул. Я вскочил в ярости. Мы были не одни: здесь сидел этот, уже мною отмеченный, угрюмый молодой блондин. Он подошел ко мне и, глядя сконфуженными, прелестными, полными необычайной доброты голубыми глазами, сказал поспешно:

— Простите, но, право, я не в счет.

И действительно, неловкости от его присутствия я не почувствовал.

Вера встала, взяла этого человека за руку и с видом вдохновения, напомнившим мне лицо ее тогда, на террасе в деревне, когда цвели липы и когда на один миг она, князь Глеб Федорович и я были нечеловечески счастливы, мне сказала:

— Сережа, брат, вот мой новый жених, единственный, чьей невестой я смею быть, не изменяя Михаилу. Но только невестой...

— Итак, поезжай, — повернулась она к нему, — и помни и знай: каждая мысль моя, и дыхание, и сила всей воли — с тобой! И больше нет колебаний. Бесповоротно.

Он повторил приятным и глуховатым, как у больного, голосом: «Бесповоротно».

Вера поцеловала его, он мне поклонился и ушел.

— Кто это? — спросил я.

— Зачем имя... — уклонилась Вера. — Впрочем, это имя скоро узнает вся Россия, и его впишут в историю. Сережа, я принадлежу к революционному обществу, которое зовется «ад» и члены его — «мортусы». Это звучит по-ребячески; но, удастся нам она или нет, мы возобновим попытку декабристов дать родине свободу. Вас привела сейчас судьба в решительную и необычайную минуту, неужели опять понапрасну? Опять чтобы, мучительно раздвоив вашу душу, не выковать решения воли? Сережа, вы своего места в жизни все равно не нашли, пойдите же с нами! Мы знаем, за что и на что мы идем. Сейчас нет свободной жизни, сейчас нельзя жить для себя. Сейчас время гибели за грядущее. Пойдем вместе с нами!

— Смерти я не боюсь, но умереть предпочитаю один, а не за компанию.

Первый раз в жизни я враждебный простился с Верой и уехал в полк. У меня шевельнулось недоверие к ней из-за этого нового «жениха» и мелькнула мысль, что, как свойственно большинству женщин, самое обыкновенное увлечение свое она из самолюбивой гордости облекает в форму таинственную. И первый раз не в ее пользу я сравнил ее с гордой дикостью Ларисы.

Ужасные события не замедлили обнаружить всю плоскость моих суждений. Зиму я провел отвратительно: образ Ларисы, как бы оспаривая в моем сердце привязанность к Вере, возник вдруг с такой томительной силой, что двинул меня на нелепую связь, одну из тех связей, которых каждому надо бояться как огня. Случайное сходство в одном из поворотов головы, напомнившее мне ночь в козьей сторожке, заставило меня очертя голову, не ища подтверждения в уме и характере, бешено влюбиться в одну из полковых дам. Впрочем, я больше всего искал забвения, которого ни вино, ни карты мне не давали.

Полковая дама в маленьком городке, как известно, исчисляет дни своей жизни от романа к роману, и страсть моя не только препятствия не встретила, но очень скоро превратилась в тяжкое обязательство. Дама оказалась неумной, с сильнейшим характером и совершенно мещанским обычаем. Она ревновала, делала сцены и всячески предъявляла «права». Соединение двух без участия чувств и разума, по одной лишь физической склонности, вероятно, безопасно для людей исключительно деловых, с воображением сонным и тупостью восприятий. Но ежели кому не редкость волнение чувств, пробужденных художеством или мыслью, тому будет жестокое наказание уже в том обстоятельстве, что он примет в свой организм, как инородное тело, всю грубейшую часть ему чуждой души. Качества эти ему придется или переработать, или быть ими отравленным.

Сколько я ни защищался от влияния этой женщины, я был ею затянут в болото каких-то отвратительных мелочей, и, не хвати у меня силы воли бежать, я бы погиб в этой тине, как гибнут десятки юнцов. Но я подал прошение об отчислении меня для подготовки в Академию генерального штаба и уехал в Петербург учиться.

Веру нашел я в совершенно мне новом состоянии. Она остриглась, курила прескверные папиросы и манеры свои изменила соответственно типу окружавших ее фельдшериц, акушерок, курсисток. И самое главное: она потеряла неуловимые, ей одной присущие черты. Только и узнал я прежнюю особенную Веру, ту, которую любил, когда на вопрос мой, зачем она себя изуродовала, она серьезно сказала:

— Так легче мне жить. Меня прежней нет вовсе, а есть только винтик сложной машины, которому легче делать работу, когда он смазан тем же маслом, что и соседние с ним винты.

Но, с другой стороны, уже не Линученко, почему-то вдруг страшно замкнувшийся и безмолвный, где-то занятый неизвестным мне делом, а Вера была верховодом и душою кружка. В кружке были опять новые лица. Из отрывков разговоров, которые велись много осмотрительнее и серьезнее, чем в первые годы, я понял, что в Москве у них главный центр, а здесь, у Веры, лишь самое первое звено.

Революционное движение после студенческой истории развивалось с необыкновенной быстротой, а в салонах тетушки графини Кушиной и ей подобных все еще считали, что движения серьезного нет, а есть, как выражалась тетушка, «сплошные амуры безобразнейших синих чулков с бурсаками». Интересовались в свете больше всего внешней политикой. Европейские старички захлебывались от восторга при имени Бисмарка, твердя в сотый раз всем и каждому, что канцлер превратил Staatenbund в Bundesstaat. [1]

А у тетушки на столе в чудной ореховой рамке стоял наш посол барон Брунов, удостоенный этого отличия за находчивую поддержку, как выражалась тетушка, чести родины.

Когда в заседании лондонской конференции прусский уполномоченный возобновил давнее предложение Франции решить вопрос о пограничной черте в Шлезвиге между датчанами и немцами опросом населения, барон Брунов сказал корректно, но твердо:

— Было бы противно началам русской политики, чтобы подданных спрашивали, хотят ли они остаться верными своему государю.

И добавляла иронически тетушка:

— Смешно подчинять приговор правительств Европы мнению шлезвигской черни!

В конце пятой недели поста, через несколько дней после моего приезда в Петербург, я опять встретил у Веры того блондина с необыкновенным лицом.

Какие неопознанные психические силы стоят на страже нашего существа, которые при встрече с иным человеком, как бы угадывая роковое пересечение его судьбы с твоей, наполняют сердце необъяснимым ужасом? Впрочем, после встречи с черным Врубелем и разъяснения его схемы эволюции мира я могу формулировать.

Ужас испытывает каждый, кто связан с судьбой числом двенадцать при встрече с единицей.

Я был одним из многих, а тот человек, с необычайно светящимися лаской глазами, был единицей.

---

[1] Союз государств в союзное государство *(нем.)*.

В эту встречу меня поразил его донельзя измученный вид: впалые щеки, чахоточный румянец, светлые волосы без блеска, мертвыми прядями прижатые к вискам.

— Вы больны? — спросил я его.

— Я только что из больницы, — отозвался он своим ослабевшим глухим голосом, — и на самом деле я плохо оправился.

— Тогда отложить? — зорко глянула Вера, услышав разговор.

— Нет, откладывать дольше нельзя, — сказал он твердо, — моя чахотка не ждет, у меня сил будет все меньше... — Он говорил про себя, как говорит машинист про свою машину.

— Главное ваше дело, Вера Эрастовна, через месяц отпечатать воззвания. Поспеете?

— Отпечатаю и привезу... Но вы обещайте мне, что дождетесь меня и что еще мы увидимся.

Он подумал, глядя в сторону:

— Обещаю. Только для дела лучше, чтобы вы сидели в деревне.

— Но я еще поспею отдать делу остаток всей жизни!.. — Вера сказала это так резко, что я окончательно уверился в мысли, что чувства ее, отданные, как я предполагал, Михаилу навеки, вновь воскресли для этого человека.

Что поделать? Каждый из нас умеет любить всего только лишь для себя и предъявляет за муку лишения свободы требования без границ. За неверность Михаилу я, ревновавший всю жизнь к нему, сейчас презирал Веру за воображаемое новое чувство. Слепец, опутанный тиной провинции, я меньше, чем когда-либо, мог понимать тот особый пламень, которым горели эти чуждые мне по духу люди.

Вера уехала на хутор печатать прокламации. Я уже не боялся, что она будет арестована и сядет в тюрьму.

Вера, Лариса и моя последняя связь в провинции — все оскорбительно объединялось теперь у меня в одну женскую похоть, которая лживо носит то ту, то иную личину...

Я с головой ушел в светскую жизнь, и к апрелю у меня уже было несколько салонов, где наперерыв меня звали на спектакли и вечера. Один из интереснейших предстоял

четвертого апреля в доме европейского старичка, приятеля тетушки.

Я еще накануне занялся своим туалетом. В голове у меня было легко и пусто, как у игрока, проигравшего все ставки и твердо решившего с последним грошом самому выйти в тираж.

Были сумерки. Что-то вроде разбавленного молока было разлито по небу и белесым туманом отодвинуло вдаль привычные глазу здания. Горели две лампы, я стоял перед большим зеркалом и при помощи маленького ручного пытался проверить, безукоризнен ли новый мундир.

Мне доложили, что меня хочет некто видеть.

— Не обзываются кто, должно быть по бедности, проситель... — от себя прибавил денщик.

— Пусть входит, — сказал я рассеянно, занятый швом, который разглядеть мне надо было, свернув в сторону шею. Так, увлеченный своим делом, не поворачивая головы на вошедшего, я увидел его в зеркале.

Краска залила мне щеки; я, сконфузившись, как мальчишка, застигнутый в глупости, спрятал спешно зеркальце и приказал слуге:

— Запри дверь и не пускай больше никого, пока не выйдет мой гость.

Предо мной стоял странный Верин «жених».

— Я к вам пришел, — сказал он, не подавая руки и тоном, каким не начинают, а продолжают давно начатый разговор, — чтобы просить вас передать Вере Эрастовне...

Он покачнулся, я подхватил его и усадил в кресло.

— Вы совершенно больны. Что с вами?

Я подумал, что он сумасшедший. Ярко голубели его удивленные глаза, устремленные прямо на лампу, рот, с детски сложенными, как бы огорченными губами, слабо улыбался. Его сознание отсутствовало.

— Вы больны, больны! — бессмысленно повторял я, не зная, что предпринять. Я налил ему вина, он с видимой радостью выпил и немного оправился.

— Да, я глубоко болен, — сказал он, — но сейчас это кстати. Я вас прошу передать Вере Эрастовне, что больше ждать по причине моей болезни было нельзя. И так лучше для дела и для меня лично, что мы не видались. Еще передайте, что я ее благодарю...

Он встал и пошел к двери.

— Что вы хотите сделать? Вы собой не владеете...

Он вдруг твердо с большой силой посмотрел на меня и сказал:

— Я владею собой совершенно, и это будет мною доказано завтра. Да, в пять часов у Летнего сада. Придите, чтобы ей рассказать. Но прошу: не называйте меня по имени никому после того, что будет завтра.

— Я не знаю, кто вы.

— И нет нужды. Слуга народа — вот мое имя!

— Я знаю, вы не скажете, что будете делать: себя ль убивать или другого, и в конце концов мне это решительно все равно! — закричал я, взбешенный, что судьба опять выбивает меня на чуждую мне колею. — Но вот на одно я прошу вас ответить, на то, что важно для каждого: во имя чего? в чем ваше дело?

— В достижении свободы.

— Слыхал и не верю... Свободы, которой сами-то вы не увидите, потому что лопух из вас вырастет, а в бессмертие души вы не верите. Я вас не про то, что полагается... про личное ваше спрашиваю. Лично для себя, зачем вы-то боретесь за других?

Он ответил то, что я ждал:

— Лично для каждого окончательная свобода — добровольная смерть.

— Но за что? За что?

— За что каждый найдет нужным... Надо найти. Я нашел.

Вдруг он страшно смутился, покраснел, неловко выворачивая худую руку в локте, полез в карман.

— Передайте вот это Вере Эрастовне.

Он вынул глиняного петушка, из тех, что продаются на ярмарке за пятак:

— Это с детства осталось, подарок матушки.

Он повернулся и ушел.

Почему я его не удержал — я не знаю. И зачем эти люди врезались в мою жизнь? Я не звал их. Пусть я совсем заурядный, не умный и не глупый человек, неудавшийся художник и офицер, как все; я, наконец, желаю прожить собственную свою жизнь, а не ихнюю.

Я помню, как в гневе еще и еще бормотал:

— Да, собственную, хотя бы тараканью...

Я напился пьян в одиночку и тут же свалился на диван в новом мундире, зажав в руке глиняного петушка. И в пьяном мозгу мне гвоздило одно: держать его, чтобы не вылетел!

Проснулся наутро я поздно, с отвратительной головой, и хватился сейчас же за часы: опоздал я или нет? Я не помнил куда: то ли на обед к тетушке Кушиной, то ли на five o'clock[1] в два других дома. Я помнил одно: к пяти часам.

Денщик, которому раз навсегда не велено было будить меня, в каком бы виде и где бы я ни заснул, вошел с чаем и, поставив поднос, вдруг нагнулся поднять что-то с полу.

— Никак свистнет, ежели в хвост ей подуть, — сказал он.

— Как смеешь трогать, пошел вон! — закричал я, хватая петушка. Денщик, непривычный у меня к крику, думая, что я все еще пьян, пробормотал:

— Опохмелиться не прикажете ли, ваше благородие?

Я приказал приготовить мне ванну. Вид глиняного петушка напомнил мне все: больше того, я понял весь ужас своего поведения. У меня вчера был больной человек, в припадке на что-то роковое решившийся, и я, сознавая его состояние, не двинул пальцем, чтобы его остеречь.

Уложить его надо в постель и не пускать из дому! В пять часов у Летнего сада он свершит роковое... Ну, и черт с ним, пусть свершает. Что я, нянька им всем? Предназначен спасать их в последний момент? Как хотят, так пускай кончают. Обвинение Ларисы, что я ей принес смерть, ожесточило меня. А теперь этот Верин сумасшедший «жених», с указанием дня и часа! Не пойду!

Я пообедал и отправился играть на бильярде. Мне везло. Я позабыл про часы. Но, очевидно, внутренно это было не так. Часы важно ударили половину.

«Если это лишь половина пятого, я успею», — подумал я и, взглянув на часы, увидел, что точно это было так. Я сказал, что у меня деловое свиданье, и пошел к Летнему саду.

Не могу сегодня дальше писать. Как тогда, все воскресло во мне, и нестерпимая тяжесть на сердце. Будто

---

[1] Пятичасовой чай *(англ.)*.

великан стиснет и отпустит, как кошка мышь. Вот если б перебить это состояние, полетать бы по комнате? Да боюсь Ивана Потапыча, и то уж поваркивал:

— Смотри мне, говорить сам с собой будешь — свезу тебя в сумасшедший!

А мне раньше срока нельзя, дописать надо. Милейший человек Иван Потапыч: с тех пор, как я побывал в сумасшедшем, он считает, что я потерял себя, опозорился, вроде как проворовался, и он говорит мне «ты», ворча как на баловника-мальчишку.

Глава IV

РОВНО В ПЯТЬ

Когда я свернул к Летнему саду, я увидал необычайное зрелище: толпа народа с криками бешенства, с ревом «ура» толпилась у решетки. В коляске сидел государь с племянниками. Кучер не мог тронуть с места от напора людей. В другой коляске был граф Тотлебен с каким-то невзрачного вида малым. Дамы наперерыв сыпали этому человеку деньги, махали платками, купцы лезли в коляску с объятиями. Тут же поодаль была ужасная свалка: полицейские не то колотили кого-то, не то отбивали его от толпы, которая его избивала. Я подозвал извозчика, влез в пустую пролетку, так что, встав, оказался выше всех головой и мог разобрать то, что происходило.

— Вон злодей! В царя стрелял...

Извозчик мне указал на темную фигуру, которой полицейские скручивали назад руки; другие, став цепью, удерживали озверелую толпу, готовую кинуться и растерзать.

Лица схваченного человека не было видно. Шапка сбита в борьбе, и по волосам, светлым, льняного мягкого цвета без блеска, по покатым слабым плечам я узнал его. Вдруг он повернулся в мою сторону и, сияя прелестными серо-голубыми глазами, с невероятным чувством сказал:

— Дураки, дураки, я ведь это для вас!

И сейчас, через миг после покушения, в его лице не было и тени жестокости.

— Цареубийца! Антихрист! Смерть ему!

Полицейские посадили его в пролетку и, хотя связанного и не сопротивляющегося, держали его с двух сторон. В сопровождении конных чинов все двинулись к Цепному мосту.

Я пошел куда глаза глядят. Не помню, где я ходил. Мне казалось, я в необозримом поле, где надо мной только серое небо, под ногами талый почернелый снег...

А может, я ходил по улицам, и, как обычно, по обе стороны шли дома, горели огни, за самоваром пили чай почтенные семьи. Мне было безразлично. Я шел и крепко сжимал в кармане пальто грошового глиняного петушка. Вдруг вспомнил, как сказал давеча мой денщик: ежели подуть его в хвост, чай, свистнет. Я вынул, подул. Петушок не свистнул: вероятно, он засорился. Я сунул его обратно и опять крепко сжал. Я будто держался за него, как за единственный твердый предмет. Все разорвалось в моей голове. Всплывали какие-то рожи, и Петька Карский пел в самое ухо поганую песню:

Капитан, как я рад, что я вас увидел.
Вашей роты подпоручик дочь мою обидел...

Я старался об одном: шагать в такт словам.

Если признать меня умом поврежденным, как в этом заверил Ивана Потапыча старший врач, то повреждение мое началось именно в этот день.

И только внешне, до самого последнего времени, мне удавалось носить непроницаемую для постороннего глаза маску, приличествующую тому обществу, куда я попадал.

Поздним вечером того дня, четвертого апреля, я оказался у тетушки Кушиной. Помню, что глиняного петушка я переложил из кармана пальто в карман брюк и вошел, как обычно.

Народу у тетушки было несметно, и, к счастью, я мог, не участвуя в разговоре, узнать все подробности покушения. В четвертом часу царь выходил после обычной прогулки из Летнего сада в сопровождении племянника и племянницы. Неизвестный выстрелил из пистолета в него. Как говорили, крестьянин Осип Комиссаров ударил убийцу по руке, и пуля пролетела мимо.

В салоне все возмущались. Забыв свой благовоспитанный обычай, мужчины ругали грубейшим манером преступника. Прекрасные дамы одна перед другой изыски-

вали пытки, боясь, что преступник не сознается; предлагали письменно изложить эти пытки шефу жандармов. Всех без исключения раздражало, что пойманный скрыл свое имя и звание, назвавшись крестьянином Петром Алексеевым. И с злорадством добавляли: раз что звание неизвестно, на него наложат оковы.

Во всем винили князя Суворова, генерал-губернатора, за потачку революционерам. Утверждали, что в самый день покушения он получил предостерегающее письмо, но спрятал его под сукно.

— Должны вызвать Муравьева, этот сумеет принять меры...

Я ушел. Напился. Спал мертвецки до позднего часа. Встав, снова пошел по знакомым. Всюду можно было молчать, не возбуждая ничьего удивления. Говоривших было слишком много, и для чего-то мне было нужно каждый день слушать все, что будет сказано об этом человеке, имени которого я так и не знал. Но ни на чем ином, кроме него, я не мог остановить своих мыслей.

Вера не ехала с хутора. В былое время я бы к ней полетел. Сейчас мне было все безразлично, кроме события, участником которого я себя ощущал. Все прочее выпало из меня, как выпадает то, что не вошло в поле зрения. Порой тупо я думал: если б я этого человека с голубыми глазами не выпустил от себя, а уложил бы в постель, происшествия не случилось бы. Но укоров совести я не ощущал.

. . . .

В Белой зале Александр II сказал дворянам:

— Все сословия выразили мне свое сочувствие единодушно; эта преданность поддерживает меня в трудном служении. Надеюсь, что господа дворяне радостно примут в свою среду вчерашнего крестьянина, который спас мне жизнь.

Этого обалдевшего от рукопожатий и объятий нового дворянина, недавнего пропойцу-картузника, я видал сам на обеде у князя Гагарина. С идиотским видом он молча напивался и в ответ на пространные тосты патриотов бормотал лишь свое: «Премного доволен». Супруга его, говорят, величала себя «женой спасителя».

Наперерыв графини, княгини вырывали друг у друга «спасителя», истязая его обедами и раутами, где сидел он

обычно, растопырив все десять перстов на коленях, пока не валился, упившись, под стол.

Какой-то шутник обучил его на вопрос государя, чего ему еще хочется, непременно ответить: камер-юнкера! Смеялись, что первое слово он позабыл и попросил просто юнкера, почему сейчас же был зачислен в Тверское юнкерское училище. Оттуда он в скором времени уволился в отставку корнетом.

В дальнейшем Комиссаров запил горькую и, как ходили слухи, в припадке белой горячки повесился.

Каракозова же повесили.

Черный Врубель, вскрывая свою схему «электрификации центра», объяснил мне, что до исполнения зрелого срока нанесенный удар не нарушит обычных законов физики, угол падения останется равным углу отражения.

Ранний выстрел пролетел мимо, и оба, проявившие активность, разбиты обратной силой. Каракозова повесили. Комиссаров повесился. Но исполнились сроки — и нет царя.

В тот день, когда на неизвестного надели оковы, Александр II принял поздравления сената, явившегося во дворец в полном составе с министром юстиции во главе. На другой день принесли поздравления представители иностранных держав. Митрополит Филарет прислал образ в честь избавления.

Тетушкин сенатор говорил:

— Истинно, государь имел полное основание произнести: «Сочувствие ко мне всех сословий со всех концов обширной империи доставляет мне трогательное доказательство несокрушимой связи между мной и всем преданным мне народом».

Кругом вести так и сыпались:

— Вы слышали, князь Суворов оставил пост генерал-губернатора?

— Должность будет совсем упразднена.

— Заведование столичной полицией будет поручено генералу Трепову.

— Рескрипт председателю Совета министров, князю Гагарину, с предписанием «охраны основ».

— Привлекут, слава богу, одни благонадежные силы!

— Граф Муравьев вызван. Опрокинет Валуева.

— А Суворову, князь-либералу, он припомнит его охотничью остроту.

— Как, вы не слыхали? Как же, государь удачным выстрелом убил медведя, а Суворов и выскочи: недурно бы, дескать, и двуногого Мишку [1] так-то. Царь его резко обрезал...

И еще важным известием для меня было то, что из Прибалтийского края вызывается граф Шувалов, с назначением его шефом жандармов.

О преступнике сообщил по секрету тетушкину старичку князь Долгоруков, что допрашивают его день и ночь, не давая заснуть ни на час, но, хотя он в совершенном изнеможении, а придется его еще «потомить». В городе говорили еще об иных пытках, сопровождающих эту пытку бессонницей. Пока преступник имени своего не открывал. Как известно, его имя — Каракозов — и звание дворянина были открыты случайно, по найденной записке в Знаменской гостинице, где он стоял. Привезенный из Москвы двоюродный брат Каракозова Ишутин подтвердил достоверность догадок. Когда я услышал, что привезен и писатель Худяков, организатор общества «Ад», я со дня на день ожидал услышать имена Веры и Линученка.

Каракозова перевели в Алексеевский равелин. В квартире же коменданта Сорокина стал заседать верховный уголовный суд. Для сильнейшего нравственного воздействия, чтобы вызвать на откровенность и раскаяние, приставили к Каракозову известного протоиерея Палисадова. Замученный непрерывным допросом, узник, придя к себе в камеру, не имел возможности прилечь, а должен был, не прислоняясь к стенке, слушать службу и речи о. Палисадова.

Этого протоиерея я не выносил. Он был модным светским священником и раза два в год служил у тетушки в доме молебны. Палисадов был лектором университета, и вечными про него анекдотами пересыпал игру на бильярде один мне знакомый веселый студент. Он любил изображать протоиерея со всеми его жестами и нижегородско-французским прононсом. В доказательство, что вера без дел мертва есть, он говорил:

---

[1] Имя Муравьева — Михаил.

— Допустим, что у нас есть некий flacon, а в нем две жидкости: желтая и голубая, два невзрачных сами по себе цвета; а попробуйте их взболтать, смешать, и у вас получится прелестный vert de gris. [1]

О благости божьей у о. Палисадова был не менее игривый вывод: он призывал слушателей восхищаться тем, что бог — великий любитель прекрасного, при создании человека преследовал не одну лишь грубую пользу, а и тончайшие наслаждения.

— Ибо что есть органы обоняния и вкуса, как не орудия наслаждения? — восхищенно разводил Палисадов руками. — Ибо для ради поддержки бренного тела достаточно было б иметь в животе прорез, наподобие кармана, куда, как в оный, ссыпали бы просто-напросто пищу с тарелок.

Был Палисадов статного роста, чернокудр с проседью, с манерами не духовными. Любил вспоминать о томике своих проповедей, изданных в Берлине на французском языке.

Он настолько офранцузился в Париже, что, приехав в Россию, подал было прошение митрополиту о том, чтобы ему разрешили носить короткие волосы и штатское платье. За эту просьбу его чуть не упрятали в монастырь.

Какое утешение мог дать этот игривый тщеславный человек Каракозову? Впрочем, как сейчас известно, не утешения ради просился модный пастырь напутствовать смертников, а для карьеры...

. . . .

Сегодня ночью я силой мысленного тока установил себя в том году, месяце и дне, о котором вчера написал. Я очень думал о Михаиле. Что должен был он испытать, когда тут же, недалеко, пытали Каракозова, а потом на рассвете увели на казнь? Конечно, я знал, что их комнаты не могли иметь сообщения. А хотя б и были рядом — о перестукивании не могло быть и речи. Но ведь на гребне великих страданий есть способ узнавать больше обычно доступного.

Итак, сегодня ночью я силой своих устремлений побывал у Михаила и разузнал доподлинно. Продолжаю сегодня уже как очевидец. Нам удалось пройти к Каракозову

---

[1] Серо-зеленый *(франц.)*.

вместе. Уже тогда, силою страданий, Михаил научился тому, что я лишь недавно, в конце моей жизни, узнал от черного Врубеля: проницаемости материи перед напором воли.

Итак, сегодня ночью, а во времени в 1866 году в апреле, мы вошли к Каракозову. Была, вероятно, середина апреля.

Замученный бессонными ночами, бессменными допросами, Каракозов перестал владеть членораздельною речью, и сам Муравьев собирался доложить царю, что, по мнению докторов, надо дать отдых преступнику.

Мы вошли, когда Палисадов едва кончил всенощную в его темной камере и, сняв облачение, аккуратно его складывал обратно в большой принесенный платок на доске, привинченной к стенке, служившей столом. Мы с Михаилом спрятались за печь. Я не узнал Каракозова, видевши его месяц назад. Он был покинут жизнью больше, чем мы.

Если б он умел двигаться в нашем пространстве, то он нашел бы снова себя самого. Но он еще был неразрывен со всей тяжестью скелета, мускулов и крови, и небольшие оставшиеся силы его, до положенного каждому срока, обязаны были охранять его форму. Той же частью своего существа, которая мыслит и чувствует, он был уже вне этой формы и потому лишь с трудом мог отвечать обыкновенной человеческой речью.

Палисадов с недовольным лицом за то, что ему приходилось служить без дьякона и обходиться без помощи дьячка, о чем он впоследствии подавал записку с указанием особой за это мзды, подошел с узелком к Каракозову. Он поднял для благословения руку. Лицо его, выразительное и очень подвижное, изобразило религиозный восторг. Он сказал своим бархатным сладким голосом балованного проповедника:

— Да возбудится в вас живейшая вера в незримого судью вашей жизни, да возведет, да очистит он вашу душу до состояния ангелоподобного!

Он сам приложил к посинелым губам Каракозова свою холеную полную руку, потому что тот стоял, как истукан, мертвенно бледный, с потухшим взором своих прекрасных серо-голубых глаз.

Собственная элоквенция настолько понравилась Палисадову, что у дверей камеры он еще раз сделал ручкою:

— Да, да, состояние ангелоподобное даруй вам бог!

Каракозов почти без чувств повалился на кровать. Мы оба с Михаилом подошли к нему. Михаил сел в ногах, я стал на колени и, целуя его восковую исхудавшую руку, сказал:

— Простите меня, что вас не остановил, когда вы больной были у меня накануне покушения. Ведь в здравом уме вы бы не рискнули на подобное дело.

Каракозова будто подкинуло, он сел. Румянец вспыхнул на ввалившихся щеках. Глаза, невыносимо яркие, пылали. Он своим прежним глуховатым голосом произнес:

— Если бы у меня была не одна, а сто жизней, я все бы их отдал за благо народа!

Эти слова общеизвестны. Каракозов написал их государю. Ими он выразил всю свою внутреннюю сущность.

— О, сколь вы счастливы! — вскричал Михаил. — Ваша смерть родит новых героев. О, почему мой злосчастный жребий не ваш!

Михаил стал неистово вопить, бияcь головою о стену. Вошла стража; на него с побоями надели смирительную рубашку, связав узлом на спине... Я в бешенстве, не помня себя, кинулся с кулаками на стражу... все вмиг исчезло. Я со стоном открыл глаза. Со стаканом воды стоял Иван Потапыч:

— Испей водицы: привиделось что. Да не ори больше, девочек испужаешь.

Я извинился и притворился, что вновь задремал. Я понял, что изменил наставлению черного Врубеля. Овладеть центром животного электричества можно лишь при совершенном бесстрастии. Моя бурная жалость к Михаилу мгновенно, как постороннее тело, выбросила меня из той тончайшей сферы, где хранятся отпечатки событий...

Через некоторое время мне удалось вновь собрать свою разбитую чувством волю и привести себя в состояние хирурга, который, чем закаленней, тем благоприятней для операции устремляет себя к заданной цели.

И вот опять я в уже знакомой мне камере Михаила с черным бархатом плесени внизу стен, с убогим соло-

менным матрацем, с которого сняты простыни, чтобы он снова не вздумал повеситься. Как белая мумия, туго спеленутый вместе с руками, лежал он на спине. Михаил был в глубоком блаженном забытьи. За минуту искаженное безумием и гневом лицо его было покойно, и слабая улыбка была на бледных губах. Он бывал таким в редкие минуты беспечной веселости, когда загибал мне салазки на огромном столе в дортуаре и мы в драке оба с грохотом катились на пол. Боясь потревожить редкий радостный отдых несчастного друга и самому от размягчения чувств утратить снова необходимый над собой контроль, я не стал будить Михаила и проник один к Каракозову. В его камере был смотритель тюрьмы. По его приказу жандармы одевали узника, чтобы вести его на первое заседание верховного уголовного суда на квартиру коменданта.

Я не знаю, как перевели нас из Алексеевского равелина в крепость. Вероятно, это произошло еще прошлой ночью. Днем и вечером из равелина не выходили.

В длинной зале коменданта было заседание верховной уголовной комиссии. Оно было назначено для выдачи главным подсудимым копии с обвинительного акта, с правом вызвать себе защитника.

Я вспомнил, что у тетушки один из сенаторов рассказывал, как перед тем, чтобы впустить Каракозова, у председателя суда князя П. П. Гагарина было некое препирательство с секретарем: князь упирался на том, чтобы говорить Каракозову «ты», ибо с таким «злодеем» зазорно быть на «вы». Наконец секретарь убедил старика, что для судьи выражать таким образом негодование — неприлично. Сейчас, глядя на князя П. П. Гагарина, седоватого человека с большим носом и мохнатою бородою, похожего на доброго волка, я припомнил и резолюцию защищавшей его тетушки Кушиной: ежели злодей дворянин, его надо б и вешать без тыканья!

Первым из подсудимых должны были ввести Каракозова. Я сейчас же стал с ним рядом. Сзади и спереди нас — два солдата с обнаженными тесаками. Каракозов тонкой костлявой рукой пощипывал свои усики. Он был, видимо, смущен, не знал, куда ему идти и где сесть.

— Каракозов, подите сюда! — сказал князь Гагарин дрожащим от волнения голосом: он в сущности был

добрый человек, и объявлять смертную казнь было ему тяжело.

Для отобрания показаний введен был и Осип Комиссаров, предполагаемый спаситель, о котором полгорода говорило, что он выдуман графом Тотлебеном, хронически пьяный картузник, случайно всех ближе стоявший к воротам. Но пьяный картузник был нужен как символ руки народа, как охрана царя. Символ стал идолом. Басне спасения не верил никто, но по отобрании показания председатель суда встал. Встали все члены, и, стоя, князь Гагарин, председатель суда, сказал Комиссарову:

— Вам, Осип Иванович, вся Россия выражает свою благодарность!

Каракозов вздрогнул. На минуту с глубокой скорбью обвел глазами все лица; бледная улыбка чуть прошла по губам, когда он встретился на миг с перепуганными глазами Комиссарова, который, неестественно выпятив грудь и держа руки по швам, как любили стоять перед фотографом денщики, собрав в крупные сборы низкий, тупой лоб, силился понять, почему его снова чествуют.

Я не знаю, видел ли я все это сам, или только слышал рассказы, или только на днях прочел из тех книжек, что принес мне Иван Потапыч...

Путается у меня в голове с непривычки к новому способу думать и чувствовать. Все, что волнует чувство, сейчас для меня одинаково: прочел ли я это, услышал или сам пережил.

На столе вещественных доказательств лежали пистолеты Каракозова, шкатулка и яд, который он себе приготовил, чтобы отравиться немедленно после выстрела, но, придя в оцепенение, не поспел.

Глаза Каракозова приковались к столу. Секунда: схватить яд, проглотить — и нет долгого ужаса смертной казни. Глаза его как-то побелели. В тяжелых взорах была нечеловеческая борьба, потом сила их потухла. Глаза тусклоголубые, безмерно утомленные бессонницей. Часто моргали покрасневшие веки. Каракозов решил себя не убить, а принять казнь.

Через минуту граф Панин, перешепнувшись с соседом, быстро убрал яд и пистолет.

Я не могу больше писать сегодня. Нечеловеческая борьба Каракозова с самим собою разбила меня, как

будто сильнейший ток мне пропустили сквозь сердце. Оно не выдержало, но я остался жить.

Какая сила, какая вера в свое дело были у этого человека, если дважды, имея перед собою неслыханные душевные муки и на месяцы отложенную смертную казнь, он не прибег к самовольному мгновенному концу?

Глава V

БАРАБАНЫ

Я не вставал эти дни совсем с постели; безнаказанно невозможно преодолеть волей пространство. Добрейший Иван Потапыч, давая мне с воркотней лучший в доме кусок, сказал:

— Дело твое старое, знай полеживай, — нам так от тебя безопаснее. А ежели к тому и чулок вязать выучишься — прямой толк. Понять не мудрое дело, когда грамоте знаешь; я ужотко бумагу и спицы тебе принесу, девчонки обучат.

Лежу я. Лежу, отдыхаю. Опять попрежнему, по прямой пошли мысли. И в отличном порядке память. Но нет, сегодня ночью не пойду к Михаилу. Припомню, что видел я в тот страшный день сам, тем способом, как обычно видят люди.

Был конец августа 1866 года. Очень умилялись в салоне у тетушки, что государь дал знать через Шувалова: если казнь Каракозова не будет совершена до 26 августа, до дня коронации, то уж ему не угодно, чтобы она произошла между 26 и 30 августа — тезоименитством царя, памятью князя Александра Невского.

Это распоряжение Александра II, вызванное нежеланием омрачить высокоторжественные дни, доказывало, по мнению всех, необыкновенное сердце императора, которому даже казнь последнего злодея могла быть не безразлична. Помню по этому случаю «мо» графа Панина:

— Я того мнения, что двух казнить было бы лучше, чем одного. А трех лучше, чем двух. Но... faute de mieux, [1] хорошо, что хоть один самый главный висельник будет.

---

[1] За неимением лучшего *(франц.)*.

Но были светские салоны оттенка либерального, где распоряжение государя о дне смертной казни не находили гуманным, а все восторги вызывал П. П. Гагарин, который от слез едва мог дочитать Каракозову резолюцию, осуждающую его. Он прибавил, что осужденный может подать просьбу о помиловании.

Защитник Остряков сам составил краткую и сильную просьбу. Каракозов, в последнее время почти лишившийся сознания действительной жизни, прошение подписал.

Государь в помиловании отказал.

— Но как, как он это сделал? Что за изысканность формы! — восхищались дамы.

А европейский тетушкин старичок, нарушив ради этого свой до минуты размеренный день, как юноша, прибежал к тетушке рано утром, чтобы передать подлинные слова министра юстиции Замятина, который доложил прошение Каракозова царю в вагоне, когда ехал с ним из Петербурга в Царское Село.

— Какое ангельское выражение было на лице у государя, — говорил Дмитрий Николаевич Замятин европейскому старичку, — когда царь сказал: «Я давно простил преступника как христианин, но как государь простить его не считаю вправе».

Добрый старик П. П. Гагарин эту окончательную резолюцию передал Каракозову за несколько дней до казни, чтобы он поспел подумать о своей душе.

Узнав об этом, я взял обратно свое прошение о поступлении в академию и стал хлопотать о зачислении меня в один из действующих отрядов против немирных горцев.

Охотников было немного, и я без труда получил назначение. Я до странности успокоился, словно поместил себя в верное место. В тот же день я прочел в газете, что казнь Каракозова будет произведена публично на Смоленском поле в 7 часов утра.

Это было назавтра.

Второго сентября на всех углах улиц расклеены были объявления о казни Каракозова. Я знал, что я пойду. Не могу не пойти. Но до рассвета я не мог быть один и отправился играть на бильярде. Знакомый студент был

уже там. Говорили все, как и в последние дни, лишь о правильности судебного процесса.

Чиновник юстиции, с губами ниточкою, медлительным голосом, будто в гору вел воз, доказывал, что Худякова как идеолога организации и Ишутина как подстрекателя справедливо было бы присудить к той же каре. Он говорил, что в высших сферах недовольны сентиментальностью первого гласного суда и что государь сказал с раздражением Гагарину:

— Вы ничего не оставили для моего милосердия!

Впрочем, Ишутину он заменил смертную казнь — после прочтения ему приговора у виселицы с наброшенным саваном — пожизненной каторгой.

Пришел и завсегдатай-студент. Он рассказал, что сегодня на лекции богословия о. Палисадов сидел, долго задумавшись, потом тряхнул кудрями и отечески гневно сказал:

— Вот, поучай вас истинам христианским, а потом вози вас, вешай...

Но разговоры о суде были только вечером, когда еще много часов отделяло нас от того, что должно было произойти на рассвете на Смоленском поле. Вечером, при уютном освещении знакомого зала, при веселых возгласах: «дуплет в среднюю...», слово «смертная казнь», хотя говорилось в строчку, как другое всякое слово, но для чувства было оно и чудовищно и посторонне.

Но вот пробило четыре часа, пять часов, и кто-то сказал:

— Господа, надо бы двинуться, занять получше места.

Я вздрогнул и внезапно понял, что двинуться надо нам на Смоленское поле, где произойдет как раз то, что черными буквами на белом квадрате бумаги стояло на всех углах улиц:

«Исполнение приговора верховного уголовного суда о государственном преступнике Димитрии Каракозове последует 3 сентября, в субботу, в С.-Петербурге, на Смоленском поле, в 7 часов утра».

— Они соберутся у министра юстиции, — сказал чиновник с губами ниточкой.

— Кто они? — спросил студент.

— Директора департаментов, генералы, члены обвинительной комиссии, чиновники сената. — И, как бы наслаждаясь лицезрением переименованного блестящего сборища, он прибавил: — И все в золотом шитых мундирах.

Я вышел из бильярдной и пошел один на Смоленское поле.

День еще не начался, а уже дворники мели улицы. И оттого ли, что тротуары не были утоптаны прохожими, оттого ли, что не тарахтели по камням мостовой извозчики, двигаться было легко. Казалось, будто за ночь выпустили из-под голубого небесного купола весь вчерашний воздух и накачали нового. Сдержанное волнение было в осеннем чистом бестуманном небе. Солнце готовилось к выходу.

Я вдруг вспомнил о глиняном петушке. Да, он был здесь, в кармане. Значит, все правда. Помню, что тогда еще я подумал: «Если взойдет солнце без туч и день будет яркий, то все еще может быть хорошо».

Стали появляться в калитках кухарки с корзинами, под большими платками, отчего все они казались толстыми.

Солнце взошло яркое, точное, без малейшего облачка. И я, глядя на такую же яркую, для случая начищенную хлебной гущей медную бляху полицейского, понял вдруг, что ничего не будет хорошо, ничего не поможет: ни то, что метут рано улицы и кухарки с корзинами, ни глиняный петух...

Будет — казнь.

Улицы вдруг наполнились. На Васильевском острове это была уже сплошная масса во всю ширину до домов. Полиции едва удавалось создавать криками посредине проезд. Блестел, как зеркало, черный лак карет. Мимо меня протянулись в николаевках с плюмажами чины военные, штатские. Увидев экипаж, толпа решила, что опоздала, и кинулась бежать. Испуг и алчность исказили лица. Я свернул в сторону, чтобы пробраться одинокими закоулками. Сократив сильно путь, я подошел вместе с экипажами на Смоленское поле. Вдруг, не доезжая, экипажи остановились. Для комиссии по исполнению приговора приготовлен был небольшой домик. Все в него вошли, дожидаясь привоза осужденного. Некото-

рые, выходя из экипажей, разговаривали, но никто не улыбался, и все были бледны. Рядом со мной спешили на казнь гулящие женщины. Они говорили о своих делах. Та, что постарше, корила младшую:

— Гуляла ты с Васькой, гуляла с Сидором. Ну, а чем тебя разодолжил Клим? Уж без него тебе звезды не светят? Что он, что они — один товар.

— А вот и не один, — сказала младшая с мягкими прядями из-под платка и пустыми глазами, так мне вдруг напомнившими глаза Веры в последнее время. — Гуляла я и с тем и с другим, а судьба моя — он, Клим. Ему одному я есть нужная. За него и ответ мне давать.

— За него ответ мне давать, — повторил я и злобно, помню, подумал, как отдавать буду Вере глиняного петушка.

Проехал обер-полицмейстер Трепов. Военные и штатские чины вышли из домика, сели в экипажи и поехали следом.

На поле, там, где было каре из войск, все снова вышли и медленно взошли на деревянную возвышенную площадку, выкрашенную черной краской. Я перевел глаза напротив и увидел то, что я ожидал увидеть, что знал отлично по начертанию, и все-таки не понял, что это то самое, то есть виселица.

Конечно, если б меня спросили, где виселица, я бы показал на эти черные два столба с перекладиной. Но чувством я этого не понял, потому, вероятно, что самый большой ужас я ощутил не от виселицы, как ожидал, а от высокого помоста, свежевыкрашенного, как и все здесь, черною краскою. Этот обширный черный помост, как резервуар с нечеловеческой черной кровью, зловеще отблескивал в ответ только что взошедшему солнцу. И самое ужасное произошло на этом помосте.

— Это зовется эшафот, — сказал гимназист гимназисту, показывая пальцем.

Может быть, позорная колесница подъехала тихо, я не знаю. В моих ушах стоял грохот. Но я думал, что это громыхала она, безобразная колымага, запряженная парой, с высоким сиденьем. На этом сиденье спиной к лошадям прикован был кто-то.

Я не узнал Каракозова. Да это и не был он. Не тот, который гордо кинул царю в предсмертном письме, что

«не одну, а сто жизней отдал бы за благо народа», и не тот, исполненный сердечного обаяния, с прелестными серо-голубыми юношескими глазами, который поручил мне передать свой предсмертный привет, игрушку детства, той, которая была ему, может быть, дорога.

Здесь, на позорной, безобразной колымаге — синее лицо с беловатыми, уже словно незрячими мертвыми глазами.

Глаза эти встретили виселицу, голова отдернулась назад, как в конвульсии.

Потом он окаменел. Как на распятье Рембрандта, на минуту, неживое, осело его тело, когда палачи отковали его от позорной колесницы, взвели по ступенькам на высокий черный эшафот и поставили к позорному столбу в глубине эшафота.

— Так называемый позорный столб, — сказал кто-то в швейцарской пелерине, и ответил ему такой же другой:

— Не позор ли... сколько позора! И казнить-то должны поподлей.

У самого эшафота сидел на лошади один из полицмейстеров; с другой стороны стояли кучкою североамериканцы с той эскадры, что пришла в Кронштадт. Я продвинулся ближе со стороны обер-полицмейстера. Я слышал, как он сказал секретарю суда:

— Необходимо, чтобы вы взошли на эшафот, а то никто не услышит приговора. Надо, чтобы народ понял, что у нас все чинится по закону.

Секретарь взошел по ступенькам, в мундире, генеральская шляпа с плюмажем подмышкой, бумага в руках. Он стоял у самых перил. Бумага дрожала в его руке, он был так же сине-бледен, как осужденный.

«По указу его императорского величества...»

Какой холод от боя барабанов! Меня всего затрясло отвратительной мелкой дрожью, пока войско делало на караул. Все сняли шапки. Барабаны утихли, но я продолжал дрожать и не понял ни слова из того, что прочел секретарь, сошедший обратно на помост, где стояли министры и комиссия.

На эшафоте перед Каракозовым был теперь протоиерей Палисадов. Он в твердо вытянутых руках, как бы защищаясь или нападая, держал сверкающий на солнце золотой крест. Палисадов был в полном облачении.

Что он говорил осужденному, не было слышно. Приложив крест к мертвым губам стоявшего под позорным столбом, Палисадов повернулся и сошел вниз.

Взошли на эшафот палачи. Вдвоем они подняли над замерзшим, посиневшим, мертвым лицом, в котором не оставалось и признака жизни, белый саван. Они его почему-то не умели надеть и прежде всего накинули колпак на голову и лицо.

Для приговоренного в этот миг потухло солнце и, может быть, он уже умер сам.

Я думаю, это самая страшная из всех минут, когда еще живым сознанием переживается смерть.

Но тут произошло нечто, превышающее жестокостью все преступления и все кары. Пережитую сознанием смерть на миг сделали вновь жизнью, чтобы в следующий за этим другой миг дать несчастному новый ужас смерти.

Палачи, ошибочно накинувшие саван, по движению руки полицмейстера сделали то, что делают только при помиловании. Они саван сняли.

На миг лицо его озарило солнце. На миг глаза, вдруг вспыхнувшие жизнью, просияли невыразимо. Дрогнул детски очерченный, вдруг заалевший рот. Кто бы он ни был, ему было всего двадцать четыре года, ему хотелось жить. И в этот миг он поверил, что жить будет.

Но два палача спешно втиснули его руки в длиннейшие, как у маскарадного Пьерро, рукава, завязанные сзади крепчайшим узлом, и вторично накинули саван.

Оба палача взяли крепко под локти эту огромную белоснежную куклу без лица и без рук, свели неспешно по лестничке вниз и влево под виселицу. Здесь оба палача бережно, как драгоценную вазу, поставили снежную куклу на скамью.

Тот, кто только что невыразимо просиял глазами и по-человечески, по-детски дрогнул ртом, как заводной, переступал тупо ногами.

Белоснежной кукле на шею надели веревку, и палачи ногой вышибли из-под ног скамью.

Забили барабаны...

И бьют они, бьют... Иван Потапыч, уймите ба-ра-ба-ны!

Глава VI

СПЛОШЬ БЛИНЫ

Пишу после большого промежутка. Иван Потапыч заставил меня лежать неделю, а вторую — в сидячем положении — вязать чулок. Если я не слушался, он грозил отвезти меня сейчас же в дом сумасшедших. Мне же ранее срока нельзя видеться с черным Врубелем. Но срок есть, и свидание будет...

Я решил не перечитывать написанное, я могу вычеркнуть совсем не то, что надо. Я ведь позабыл, что понятно всем, а что — только мне самому. Пусть вычеркнет для чистового товарищ Петя. Он отличный юноша и земляк, из нашей губернии, приятель Горецкого.

А случилось две недели тому назад вот что: когда писал я прошлый раз, то затрещали барабаны. Мне так невыносима была их гнусная дробь, что я стал кричать, а полицмейстер на коне один из барабанов приказал мне проглотить. Он сделал знак рукой, солдаты взяли на прицел, я испугался и проглотил. Руками защищаться я не мог, длинными белыми рукавами руки у меня завязаны туго сзади. Но проглоченный барабан и внутри меня продолжал выбивать дробь. Заткнув уши ватой из шубы Ивана Потапыча, я подлез под кровать и загородился мешками с мукой. Иван Потапыч таскает, как в восемнадцатом году, на всякий случай запасы. Так заслонившись, я думал, что скроюсь от полицмейстера на коне и он меня перестанет пытать. Я за мешками заснул. Оказывается, Иван Потапыч очень испугался и искал меня до глубокой ночи, предполагая, что я ушел без верхнего, которое он запирает. Когда же девочки, подметая утром, закричали, обнаружив мои ноги, я не пожелал вылезать, по глупости решив, что это снова полицмейстер.

Иван Потапыч привел Горецкого 2-го, и его веселая болтовня перебила мой кошмар, вернула меня к действительной жизни. Я вылез, рассказал про барабан и вежливо извинился. Но Иван Потапыч был неумолим: он хотел немедля водворить меня к черному Врубелю, предположив вдруг смехотворную вещь, что я могу начать кусаться.

Благодаря заступничеству товарища Пети, молодого приятеля Горецкого, Иван Потапыч дал мне последнюю отсрочку. Он согласился продержать меня лишь только до октябрьских торжеств, но не иначе как в постели, отобрав у меня платье и сапоги. Он и не подозревает, что октябрьские торжества он назначил не свободно, а по моему внушению. Этот день — условная встреча и первый наш опыт с черным Врубелем.

ВЕЛИКИЙ ОПЫТ

А Ивану Потапычу удобно сбыть меня с рук: у него и девочек в эти дни суматоха и выступление.

Я покорно лег в постель и отдал запереть в большой сундук мои сапоги. Но бумагу, перо и чернила он мне дал, как всегда, сказав: «Мне всего спокойнее, когда ты пишешь».

Горецкий 2-й сел на сундук. Против света заметно, какой он глубокий старик. Но одет теперь чисто, опять держит грудь колесом и, как при Александре II, пробривает подбородок. Товарища Петю Тулупова я и раньше видел у него: он брал уроки французского и немецкого языка, привязался к старику и звал его дедушкой. А старик прозвал его: «Петя Ростов от коммуны или Петя Тулупов-Ростов». Он был похож на эстандарт-юнкера и отлично ездил верхом. Едва девятнадцати лет стал коммунистом: как чистейший сплав, без брака, без трещинки, отлился в форму. Мне он близок и особенно мил: ведь и мы, по-иному, но были точно такими в своей юности.

Я сказал ему:

— Товарищ Петя, вас именно прошу я через две недели, накануне октябрьских торжеств, прийти сюда. Я передам вам свою рукопись о днях минувших и днях нынешних; прошу вас процензуровать и, что возможно, напечатать.

— Мемуарная литература? — сказал Петя. — Хорошо. Но если ориентация антимарксистская, я, знаете, не стану...

— Ориентация у него безотносительно военная, — вступился Горецкий 2-й. — Он, как и я: приемлет. Коль скоро дисциплина, — значит, дело бамбук. Крепко. Вчера

Петя водил меня в конюшни, ну, братец, — чистота! Фальцфейнова завода полукровки у него в денниках, как в салонах.

Горецкий, как это делал, бывало, при имени модной балерины, причмокнув, поцеловал кончики пальцев.

— В Корсаре здóрово крови, — сказал Петя, — может, он и кровный.

Горецкий в ужасе замахал руками:

— Без аттестата от Фальцфейна не в счет! Будь он Араповского завода — иное дело, но от Фальцфейна одни статьи без аттестата не в счет.

Он стал так кричать, что я закрыл уши, боясь опять услышать барабаны. Однако, обернувшись на меня, он вдруг спохватился и сказал:

— Тебе, дружище, надобен покой. Вставай скорей да к нам на чаек. А я к тебе уж в последний, пухнут ноги, хоронить приходи!

— Протянешь до ста лет, дедушка, — сказал Петя.

— Вообрази, mon cher, Петя огорчается за мое социальное положение, сколько я ему ни твержу: «самодержавен», а канцелярии нет никакой! Но дело в том, что он пописывает. После моей смерти уж наметил препикантнейший некролог. Я, ma foi, жажду теперь одного: на этом месте скончать дни свои и положену быть в гроб. И последняя воля моя... дружище, я апеллирую к тебе!

— Вы бы их не беспокоили, — начал было Иван Потапыч, но, глянув на возбужденного Горецкого, только рукой махнул: — Обои малые дети!

Горецкий сел ко мне на постель и вдруг заплакал:

— Я, mon cher, прошу у Пети уважения, а он не согласен.

— Брось, дедушка, брось, — сказал Петя.

— Mon bon ami, потерпи, я сейчас объясню. Моя последняя воля вот: вместо венчика пусть мне оденут пурпуровый ободок, c'est tout à fait simple à coller,[1] мы детьми клеили. Гуммиарабиком отлично берет. Тем более, что добротность бумаги безразлична, хотя бы папиросная. Главное — цвет: пурпур революции! Но отпевать

---

[1] Это очень просто приклеить *(франц.)*.

должен поп, и не поп-живец, а отец Евгений, почтеннейший старец.

Горецкий вскочил на сундук. Он или бредил, или сошел с ума.

— Mon bon vieux,[1] — сказал Горецкий, — я не уверен, достаточно ли я верил в бога, но вот двунадесятые праздники чтил я истово. Я до спаса, как у нас в доме водилось, яблочка не вкушал. Я на крестопоклонной говел и в рот спиртного ни-ни. Но прежде всего как был, так и есть — я военный. И вот со мною сделали так, что мне в церковь ходить стало так тяжело, как водить дружбу с товарищем, хоть любимым, но битым.

— Но при чем красный венчик? — спросил товарищ Петя.

— При чем?! — зарычал Горецкий. — А при том, что девять лет долбил я или нет катехизис Филарета? Я или не я целых полвека налаживался чувствовать так, как в наше время чувствовать полагалось? Волнение мозгов, быть может, в себе убивал, чтобы каждой кровинкой прирасти мне к походной нашей церковушке. Без водосвятия в атаку никак... Хоть и в пьяном виде, а зря грудь грудью колоть — это, батенька, не фунт изюму! Небось Керенский солдатику-то ответить не сумел: зачем ему идти на смерть, когда от этой «земли и воли» ни черта не увидит?! Только ножками изволил топотать. Да-с, а нам, помимо доблести, «венец» был уготован, и на пролитие крови благословляли нас протоиереи. А про церковь мы знали: «врата адовы не одолеют ю». Ну-с, а теперь куда я пойду? Твердыня взорвана, острижен поп. Все, чему полвека веровал, что любил, — все насмарку! Так пускай в некоем высшем разуме совокупят происшедшее, ибо аз не вместих! Я вон путать стал, кто взял аул Гильхо. Я ли взял или Войноранский? А посему моя воля — на тот свет в пурпуровом венчике... На-кось, выкуси!

Горецкий 2-й, как плохой король Лир, надменно вышел из комнаты.

Вдруг красное лицо его снова появилось в дверях. Он был окончательно вне себя, он крикнул:

---

[1] Мой добрый старик *(франц.)*.

— Полвека ступал правой ногой и вдруг пошел левой. А порох-то вышел. В расход, старичок! Но не смирно в расход, а с подъятою левой!

Горецкий дрыгнул ногой, к радости девочек прокричал петухом и ушел.

— Обожди, дедушка, — крикнул товарищ Петя и, подойдя ко мне, сказал: — А ваше писанье я обязательно заберу, будьте благонадежны...

После истории с проглоченным барабаном у меня к себе мало доверия. Вдруг случится со мной раньше времени то, что у нас с черным Врубелем назначено на октябрьские торжества. Передо мной всего две недели; надлежит мне торопиться занести только самое главное по линии Михаила.

Ну вот: я уже говорил, что в тот день, когда сентябрьское утро вставало такое румяное, а телега в одну лошадь везла черный гроб с телом Каракозова, провисевшим весь день до ночи, у меня впервые возникла в ушах эта мерзкая дробь барабана. Чтоб ее заглушить, я, не зная другого дурмана, пил непробудно неделю. Очнувшись, я, не колеблясь, пошел к одному прекрасному особняку. Я чувствовал в себе несметную силу, не боялся ни смерти, ни жизни и знал, что сейчас моей воле покорится всякий, кого я изберу.

Покорится даже он — шеф жандармов.

Я выбрал его не потому, что сейчас мне близка была участь друга, а потому, что шеф был каменный. Мне же надо было разбить камень. Что касается чувства дружбы и прочего, их я забыл. Я сам каменел.

Только собирался я узнать, когда принимает хозяин, как сам он, граф Шувалов, вышел из подъезда.

«Судьба», — подумал я, и мне это придало решающую дерзость.

— Я должен с вами говорить, граф, секретно, — бросил я ему, как приказ.

Неподвижное лицо графа еще более застыло, и, сделав пригласительный жест к двери, он неспешно сказал:

— Я собирался было по личному делу, но оно подождет. Я к вашим услугам.

Мы вошли в переднюю. И так отвратительно иной раз повторяются вещи: граф повел меня в ту же комнату, где был некогда памятный наш разговор. В этой комнате

было все, как тогда: ящики, запасная посуда и на подоконнике тот же стеклянный колпак. Я подумал невольно, нет ли под ним синей мухи. Мухи не было. Мне пришло в голову, что эта комната устроена тут нарочно. Я глянул на Шувалова и удивился, как за это время он постарел. Это был уже не мраморный красавец, а постаревший каменный истукан. То, что зовем мы душой, та, просвечивающая в чертах, внутренняя жизнь человека, казалось, окончательно от него отлетела. Сейчас это был механизм.

— Что же вы имеете мне сообщить? — спросил граф, стоя сам и предлагая мне сесть.

Но ни его отстраняющий вид, ни холодный прием, наметанный большой властью, — ничто меня сейчас не смущало. У меня возникла в ушах снова мерзкая дробь барабанов, и, заглушая ее, я с бешеной внутренней силой сказал:

— Я прошу вас доставить возможность Михаилу Бейдеману быть лично допрошенным государем.

— Вы нездоровы, — сказал опешивший от дерзкого тона Шувалов. — Раз навсегда по поводу этого узника дана резолюция начальству: о нем ничего не известно.

— Но вам лично, граф, должно быть известно, что этот узник близок к безумию, что сейчас, после судопроизводства и обличения всех причастных к делу покушения, еще очевидней стало, что Бейдеман вовсе не связан ни с какими организациями. Граф, он оговорил себя сам, у вас и раньше мелькала догадка, что он безумец. Прошло шесть долгих лет, неужто нельзя сделать проверку?

По недрогнувшему лицу графа пробежало не чувство, нет, а будто какое-то соображение. Глаза его, точные и острые, какие должны быть у летчика перед сложным маневром, умно глянули на меня, когда он сказал:

— Я сделаю все, что возможно.

Но тут же спохватившись, как примернейший формалист, он добавил:

— Если, разумеется, такой политический узник числится в списках. Будьте через неделю у вашей тетушки, графини Кушиной, и я дам вам ответ.

Я поклонился, мы вышли вместе.

. . . .

Я все еще не мог жить, как раньше, и всю неделю пил. В воскресенье я пошел к тетушке.

Когда я входил в салон, европейский старичок громогласно объявил, что сейчас пожалует граф Шувалов с интереснейшим письмом от священника Палисадова о последних минутах Каракозова.

— Эта конфиденция — чистейший плод недоразумения. Вы слыхали, что произошло на поле казни? — обратился к тетушке сенатор. — Граф спросил Палисадова, чистосердечно ли раскаялся преступник, и тот с необычайным для него достоинством обрезал: «Это секрет духовника!» Но, увы, достоинство модного пастыря не изменило ему лишь до тех пор, пока он не узнал о своей ошибке. Он было принял графа Шувалова за кого-то из обыкновенных смертных, но тотчас испугался и разрешился витиеватым посланием, которое вы будете иметь удовольствие сейчас услыхать.

— Какой ты нынче желчный, — сказала тетушка. — Хотя, положим, Палисадов мне самой не угодил, — русскому попу французить непристойно. Но бог с ним, в проповедях он соловей. Ты лучше объясни, что стало с графом: чисто монумент.

Славянофильский старичок, бывший на ножах с европейским, быстро поспешил сказать:

— Я сделал наблюдение, графиня, что все русские люди, коим идеал — Европа, презирая отечественную безалаберность, впадают в смехотворную крайность, втискивая год, месяц и каждый день до получасового интервала в свою записную книжку. Безалаберность, точно, уходит, но с ней вместе и весь человек.

— Вот и выходит, что прав мой садовник Тишка, — сказала тетушка, — когда говорит: «Не в свой срок поспеет ягода, тотчас и скашлатится».

— Граф Шувалов скашлатился... — смеялись кругом.

Однако насмешка превратилась мигом в любезнейшие улыбки, едва лакей доложил о графе, и тот вошел, как всегда, великолепным и внушительным царедворцем.

Ни в его рукопожатии, ни в скользящем надменно взоре, на миг относившемся и ко мне, я не мог прочесть того, что он мне скажет. Мне даже показалось, по привычному элегантному движению, каким он вынул отереть

усы ослепительный носовой платок, распространяя крепкие, но фешенебельные духи, что он позабыл наш разговор и меня самого не отличает от привычной ему тетушкиной мебели.

По просьбе присутствующих граф стал читать письмо Палисадова.

Письмо было исполнено гнусной пошлости и самого лживого ханжества. Но мужчины и дамы, вытянув шеи, с таким алчным любопытством слушали эти бездушные упражнения в элоквенции о последних минутах замученного человека, что меня вдруг охватило отвращение. Внезапно я перестал видеть лица. Вместо лиц мне почудились сплошь блины. Блин с усами, блин без усов. Ни глаз, ни характеров...

И сейчас едва вспоминаю того, с серо-голубыми глазами, и слышу необычайный голос его там, у Летнего сада:

«Дураки, я ведь для вас»...

И потом жадность уличной черни, бегущей на казнь, и жадность черни светской — услышать пикантное о последних минутах казнимого... Мне стало так страшно, так страшно!

Не могу, нырну под койку...

Полежал часочка два за мешками. Обошлось. Ни девочек, ни Ивана Потапыча еще нет дома. Я до их прихода опять прилично улегся в постель. А за мешками мне в полумраке легко, будто выскакиваю на другую планету. Если б рассказать, что я вижу, закрывши глаза, что я слышу!

Однакоже нет, я не стану рассказывать: получился бы вред государственному ходу машины, ибо всякий гражданин вместо службы и прочих приличных занятий стал бы учиться выпрыгивать вон.

Но тогда, у тетушки, я еще дорожил мнением о себе, и, выпятя грудь и сделав в меру почтительное выражение, я подошел ближе к дверям, чтобы при выходе графа расспросить его про наше дело. Граф должен был в тот же вечер прочесть свое письмо еще в двух домах и очень торопился. Он подходил уже к ручкам дам; мимоходом, не глядя на меня, он мне обронил:

— Просьба не может быть уважена, его в списках нет.

Помню, я молча поглядел на его хищную, грациозно извивающуюся в поклонах спину и подумал: «Шеф жандармов солгал!»

Я ушел от тетушки, ни с кем не прощаясь. Кому мне было жать руку: блинам с усами, блинам с буклями? Я пошел домой, чтобы застрелиться. Мне это было так просто в тот вечер и так неизбежно. Одно меня смущало: кому передать для Веры глиняного петушка? У кого не блин, у кого лицо? Кто человек?

Передо мною возникла вдруг сама Вера, как тогда на крыльце лагутинского дома. Беловатым огнем сверкнули ее светлые глаза, и, опять вспыхнув, сказала отцу:

— Вы этого не сделаете, батюшка!

Лицо было у Михаила и у того... с серо-голубыми глазами. Даже с высоты черного эшафота, у позорного столба, сине-мертвенное — это было лицо.

Еще необыкновенным, единственным я запомнил лицо Достоевского. Если б я знал, где он живет, я бы пошел к нему. Пред тем, как уйти совсем отсюда, я должен взглянуть на лицо человека. У себя дома, в зеркале, ведь я тоже вижу лишь блин. Но я не знал, где жил Достоевский.

Вдруг предо мною непрошенным всплыл некий адрес. Яркий, черным крупным шрифтом, на белом квадрате, как намедни были объявления о казни. «17-я линия, дом...», и голос серебряного румяного молодого старика Якова Степаныча:

— Придет час, по адресочку приди!

И, не рассуждая, я пошел.

Глава VII

ОДИН АДРЕСОК

Да, шеф жандармов солгал...

Но мне с каждым днем все труднее писать. Приближаются октябрьские торжества, и мое тело все легче, все легче. Теперь я уверен, что даже без упражнений, которые запретил мне Иван Потапыч, я полечу, когда черный Врубель даст знак. Да, через две недели мы соединимся для «великого опыта».

Товарищ Петя Ростов-Тулупов приходил еще раз уже без Горецкого за моими записками. Я рассказал ему,

как в чулане достать у нас лестничку и, прислонив ее к железной печке, взять наверху рукопись. Я там спрятал ее от мышей. Я передал Пете все мной написанное, взяв обещание, что он придет через две недели еще, обязательно накануне двадцать пятого. Придет и унесет главу последнюю о последних событиях...

Я больше не могу писать связно, у меня мысли толчками, будто отара овец там в горах: чуть без пастуха — разбегаются. Да, мысли мои — одни, без пастуха, и все лезут в голову сразу. А бумаги-то кот наплакал. Иван Потапыч больше не дарит. После сумасшедшего дома говорит: «Пиши сверху писанного, не все ли тебе равно!» Что же, напишу самое главное про себя и про Михаила.

Шеф жандармов солгал, царь с ним видался.

Как я об этом узнал? Хотя не сказка, но похоже на сказку. Мне все рассказал Яков Степаныч.

. . . .

Он сам отворил мне дверь. Комната была узкая, помню, половик из разноцветных тряпок, какой плетут чухонки зимой. Яков Степаныч меня узнал; не только не удивился, а будто бы ждал:

— Посидите на диванчике, пока я отпущу пришедших; уж извините — приходят.

Он поклонился, пошел в комнату рядом, но дверь не закрыл за собою, и разговор мне был слышен. Мерцала из угла лампада, чернел темный лик. Я почему-то подумал, что Яков Степаныч старообрядец.

— Опять, батюшка, запил, опять, — говорил со слезами старик, вероятно — про сына. — Убить я могу, гажусь я им, опоганел он мне... Легче убить его мне, чем злобой давиться.

— Немедленно передай торговлю старухе, а сам вон из дому, вон! Стань работать, как давеча, год назад. Кули потаскай, гнев разгони: сам родил, сам. А порешишь его — не исправишь. Отопьет сын свое, я его в мыслях держу, отопьет — сам ко мне придет, как тогда, адресок вспомнит. Год целый не пил, а сейчас два не станет. Опять оступится, опять подбодрим. И прутья целым веником никому не сломать, а поодиночке — мигнуть не успеешь.

— Верю, отец, тебе, верю, — сказал восторженно старик и земно поклонился Якову Степанычу. — Пойду отработаю за его душеньку и всю выручку нищей братии...

Старик вышел высокий, в пальто, с седой бородой, похоже — небогатый купец. Мне он поклонился со словами:

— Не печалуйтесь, барин, и вас Яков Степаныч, отец наш, рассудит.

Яков Степаныч сам проводил гостя, запер дверь на засов и, вернувшись, еще раз весело сказал мне:

— Извините-с.

Он принимал теперь старуху.

— Уж плачу, рекой изошла, в ногах у ей вяну... не слушает! — ноет старуха. — Как это села она уже три дня на сундук, ни пищи, ни сна, глаза, что чашки, уставила в угол, молчит. Опять, видно, в петлю затеяла. Кум да кума с ней, а я к тебе: облегчи, отец.

Старуха свалилась на пол. Яков Степаныч строго крикнул, подымая:

— Ленива ты, мать! Себя лишь слезами тешишь, а ей твои слезы — банный пар, в конец запаривают. А ей надо б силы поддать. Силушки жить у иного нехватка, бодрить надобно строгостью, да не с бабьей злостью твоей, а с одним гневом за лик человеческий. Эх, глупа ты, мать, что с тебя взять! Хоть силком, с кумой и кумом, тащи твою дочку ко мне, а не расположится — скажи: сам, старик, к ней зайду.

Яков Степаныч проводил благодарившую старуху, опять запер засов и, как добрый врач, сказал мне:

— Пожалте-с!

А у меня вдруг пропала охота с ним говорить.

«Василеостровский гипнотизер, — подумал я, — он, чай, и меня включил в число своих клиентов. И куда это платить ему: на стол или в руку?»

Комната была очень чистая. Вся беленая, без обоев. Постель, стол, два стула, на которых мы сидели, и все белое, но на больничный номер не похожа. Полка книг над столом. Я с изумлением отметил Ренана «Жизнь Иисуса» по-французски.

Яков Степаныч тотчас это заметил.

— Ренан вас дивит? Это Линученко мне подарил. Всю книгу с начала до конца самолично мне перевел и на

память оставил. Вот завтра на хутор поедете, так особенно поклонитесь ему; твердый он человек.

Старик взял меня за руку и взглянул ясными, на первый взгляд простоватыми глазами.

— Я вовсе на хутор не собираюсь, откуда вы взяли? — сказал я, защищаясь от неприятного мне напора чужой воли.

— Обязательно соберетесь, обязательно... — очень серьезно сказал Яков Степаныч, — сами увидите, что иначе нельзя. Я о вас всю неделю подумывал. Адресочка не знаю, да и сказывали люди о вас, что вы с самого дня казни и дома-то не ночуете.

— Что вы, сыщик, что ли? — вдруг рассердился я.

— В особенном смысле, пожалуй, что и да, — усмехнулся Яков Степаныч, — без сыска и помощи не окажешь. Но перейдем к делу. Дело важное есть. Из-за этого дела я пристально дни и ночи о вас думаю, и вот посчастливилось: ведь всплыл у вас адресок-то, припомнили...

— Колдун вы, что ли? — Я хотел, чтобы меня возмущал шарлатанский прием старика, но внутри я ему почему-то сразу поверил.

— Никакого колдовства на свете и нет, сами вы знаете, и я знаю, — спокойно заговорил Яков Степаныч, — а может быть только большая воля у человека. У одного — к добру, у другого — к злу. В обоих случаях, если при тщательном упражнении пристально думать — достигаются вещи, которым принято изумляться, а они вроде как телеграф. В Индии всякий голый факир, как фокус, делает... и у нас есть мужички. Я дедом обучен. Но не во мне сила. Я вам имею сообщить секретное дело для Линученка. Про такое не написать... Ну, словом: того офицера, заключенного в равелине, о котором денщик ваш Петр тогда при мне говорил, я на днях видел.

Яков Степаныч, лампада и темный лик спаса вдруг подернулись голубой мглой. Мгла поплыла, стало темно.

Измученный безобразным пьянством, бессонными ночами, я не выдержал внезапности сообщения. Очнулся я на белой кровати Якова Степаныча. На голове у меня был компресс. В комнате пахло чебрецом и мятой. Яков Степаныч ласково и по-бабьи, как бабушка, хлопотал вокруг меня, причитая:

— Прости, родной, прости, голубок, огрел я тебя, как медведь пустынника! Просчитался, старый дурак. А уж износил ты себя, износил...

Я совершенно пришел в себя и сел. Яков Степаныч взял меня за обе руки. Уже не защищаясь, я повлекся к нему с детским доверием. Просто узнал: все, что скажет он, чистая правда.

— Оправился? Ну, испей капель и лежи себе ровно, а я расскажу по порядку. Запомнить ты должен слово в слово. Сам поймешь, как услышишь. Этого записать нельзя.

И вот то, что я запомнил.

Граф Шувалов неделю тому назад присылал за Яковом Степанычем, принял его тайно и дал приказ: ночью, около часа, ждать его близ решетки дворца направо к Неве. У Якова Степаныча с Шуваловым дело не первое: он был истопником во дворце по рекомендации кума, тамошнего служащего, и граф его очень отметил: был у него на дому, уверился, что он не болтун, компании не водит, а живет по своей линии. Яков Степаныч через это доверие графа, по словам Линученка, оказывался многим полезен.

Итак, ночью Яков Степаныч был у решетки дворца, далеко до часа. Вдруг видит: карета Шувалова. Кучер его признал и по данному знаку сейчас же взял на козлы. Открылись бесшумно ворота, кучер подъехал к дворцу, ночь черная, зги не видать, на дворе часовые, у кареты два жандарма.

Вышел граф, жандармы вынесли кого-то, за темнотой не разобрать. Рост высокий, на ногах и руках кандалы. Выйдя, он не хотел дальше идти. Жандармы его тотчас под руки, подоспел третий, подхватил ноги. Лязгая цепями, внесли мигом в тамбур, тот, что внизу, в подвальном этаже; Яков Степаныч с графом вошли следом. Захлопнулись обе двери. На ключ их и на засовы. Тогда осветили большим фонарем винтовую лестницу, что ведет в следующий этаж, в особые покои императора Николая. Жандармам с револьверами наготове граф приказал остаться у наружных дверей, как только ввели они через порог этого человека. Дверь за ним запер граф собственноручно. Якову Степанычу приказал стать в первой комнате у бронзового бюста Михаила Павловича и по пер-

вому знаку кинуться на помощь, если приведенный станет бесноваться. Яков Степаныч запомнил, граф так и сказал: «бесноваться». Сам же граф вынул револьвер и, держа его в левой руке, правой открыл следующую дверь в спальню и вполголоса доложил сидящему у окна:

— Мы прибыли, ваше величество!

Граф взял под локоть нежданно послушного узника, с трудом переступавшего по ковру, звеня кандалами, и продвинул его за собой. Горели свечи в бронзовых канделябрах на столе. Царь сидел спиной к окну, к тому, что выходит на Неву и Адмиралтейство. На окнах были тяжелые двойные занавеси. Шувалов поставил узника направо наискось от царя; свет бил ему и царю прямо в лицо.

Хотя царя отделял от него огромный письменный стол и в проходе между стеной и столом стоял граф Шувалов с револьвером наготове, за дверью два вооруженных жандарма и Яков Степаныч с веревкой в руках, врученной ему на тот случай, если узник начнет «бесноваться», Александр II был очень бледен и как будто испуган. Между тем высокий человек, стоявший перед ним, если б и захотел, едва ли имел силу что-нибудь сделать. Он был закован. Его руки висели, как плети. Тонкие длинные пальцы ровно вытянуты и прижаты к солдатской шинели, надетой на него, по случаю поездки, сверх арестантского халата.

Он поражал страшной худобой. Скулы на щеках были обтянуты темножелтою нездоровою кожей, к которой черная, как смоль, борода и усы были словно приклеены. Невыразимое страдание было на лице его. Зрачки глаз, яркие и большие, как бы вопияли к кому-то, моля о сознании. Высокий лоб был мучительно сморщен, длинная шея вытянута, все тело застыло в неслыханном напряжении.

Он хотел и не мог что-то припомнить.

Возможно, что граф не предупредил узника, что везет его во дворец для свидания с императором, или же, предупрежденный, от слишком большого волнения заключенный сейчас был разбит.

— Я думаю, что он не понимает, где находится, — сказал царь Шувалову, — предлагаю вам ему разъяснить.

Шувалов подошел близко к закованному человеку и сказал ему, как говорят глухому или иностранцу, излишне расчленяя слова:

— Государь по своему милосердию оказал вам неслыханную милость, приказав привезти вас из крепости во дворец. Шестилетнее заключение, надо надеяться, привело вас к полному раскаянию в злодейских помыслах вашей юности. Откровенно назвав всех вовлекших вас в пагубное заблуждение, вы тем самым смягчите свою участь. Вы поняли? Пред вами сам государь.

Вдруг узник выпрямился, закинул голову назад, глаза его загорелись дивным огнем...

Помню, тут Яков Степаныч показал мне на проповедующего Иоанна Крестителя на гравюре Иванова, висевшей у него на стене. Михаил, вдохновенный, действительно на него был похож.

Голосом хриплым, лающим, отвыкшим издавать человеческие звуки, узник произнес:

— Самозванец!

И, взмахнув рукою, гремя цепью, крикнул еще громче, сделав шаг к императору:

— Самозванец! Царя давно нет, я его смертью купил благо народа! Я даровал конституцию... Приказываю вернуть Чернышевского! Министрами Огарева и Герцена. Чего стоишь идолом? — кинулся он к Шувалову. — Беги! Выполняй! А этого самозванца... — узник повернулся к побледневшему царю. Вдруг он словно признал его. В бешенстве, потрясшем все его тело, он поднял оба кулака над головою и крикнул:

— Палач! Да здравствует Польша! Да здравствует свободная Россия!

Шувалов стремительно закрыл узнику рот, крикнул Якову Степанычу:

— Держи его за руки!

Яков Степаныч подскочил, но держать ему пришлось падающее без чувств тело узника, силы которого надорвались.

— Ваше величество, — сказал Шувалов, — вы видите, он совершенный безумец. Прикажете, быть может, перевести его в Казань, в дом умалишенных? Это — отдаленное место, где держать его можно в одиночестве.

Царь встал, молча подошел к распростертому на полу бесчувственному страдальцу и долго смотрел на него. Страшно бледное лицо его дрожало от неразрешившегося гнева. Холодно и недовольно глянув на Шувалова, он сказал:

— Пусть узника водворят на прежнее место, — и, помедлив, прибавил: — для примера.

Шувалов впустил жандармов. Все еще бесчувственного человека они подняли и унесли. Яков Степаныч отметил: как у мертвого, в одну сторону свисали его руки, окованные кандалами. Страшно выдавался орлиный, заострившийся нос из-за впавших щек и черной спутанной бороды.

. . . .

Вот что я запомнил на всю жизнь — слово в слово.

Глава VIII

ОПЯТЬ НА РОДИНЕ

«Помимо занятых клеток, в мозгу человека есть еще масса свободных клеток для ощущений и представлений новых, имеющих еще проникнуть в мозг данного индивида, словом — запасной склад клеток, незанятых и свободных, куда можно было сложить будущий материал...

И дальше по Мейнерту: клеток в мозговой корке от 600 до 1200 миллионов, количество же наших представлений несравненно меньше. Кроме того, сила человека тратится в каждодневной жизни на прохождение волевых импульсов по проводниковым путям. Да, на это времени тратится в пять раз больше, чем на образование представлений.

Ну-с, а если волевые импульсы прекратить и всю силу собрать на одно? И кто знает, какие новые представления, а за ними какие новые открытия станут уделом незанятых клеток? Быть может, человек вновь откроет...»

. . . .

Эту выписку нашел я на листке голубой бумаги, написанной тончайшим, но не женским почерком, в старой «Ниве» с картинками, которую дал мне смотреть Иван

Потапыч. «Ниву» же он вчера выменял на махорку еще с пайковых времен.

Я потрясен этой запиской. После слов «вновь откроет» приложен рисунок колеса Фортуны; колесо с двумя крылышками, летучее.

Да ведь это — как раз то, что мы с черным Врубелем знаем. Ко-ле-со!

Все у нас точно условлено, старший врач прозевал. Ему б нас рассадить, а не оставить шептаться. Дошептались, хе-хе...

Попросим у Ивана Потапыча ножницы. Надо вырезать кое-что из газетной бумаги, а ножницы он не дает. Повернулся ко мне от бритья, щека в мыле, скосил глаза под кустистой бровью, и будто не Ивана Потапыча голос, а того... художника черного:

— Проткни горло, проткни!

Ну, конечно. А я-то мучился, я позабыл...

Проглотить колесо надо накануне, чтобы за ночь оно вставилось в кадык, как пропеллер.

А днем, едва толпы народа заполнят проспект и музыка хватит под окнами, надо впустить воздух, чтобы началось вращение колеса. И вот я забыл... что именно для этого нужно сделать?

Утомленный мельканием колеса жизни, я овладел ключами, я прочел книгу, я понял символы. И мне разрешено передать мое знание. Для передачи нужно общепонятное действие.

Посредником между центрами движения и чувствительности служат нервы. Ну, а передачу между глубоко скрытым центром полета и первым удачным взмахом рук-крыльев еще надо создать!

Но мы догадались. Близка наша благая весть и другим.

Теперь ясно: на улицу Иван Потапыч меня не отпустит. Бежать у меня нету силы, ноги колодой. Придется лететь одному. К черному Врубелю я уже послал с этим известием воробья. Открывали форточку, и влетел воробей. Как только я сказал ему адрес, он вылетел, и напрасно Иван Потапыч собрался ловить его длинным сачком: воробей — по-польски ведь Врубель, хе-хе...

Колесо, по моим просьбам и слезам, вырезали девочки. Каждая по колесу. Если одного будет мало, про-

глочу и другое. Но пока Иван Потапыч не сказал: «проткни горло!» — я не знал, как мне принять воздух из сфер. Впрочем, как уже сказано, через Ивана Потапыча шел мне приказ от *иного* учителя.

Теперь только одно: к двадцать пятому октября украсть ножницы!

Я стал очень волноваться. Кричать я боялся, но каждый раз, как Иван Потапыч проходил мимо меня, я вытягивал шею и шипел, как змей. Деликатней и ясней нельзя было объяснить ему, что, задерживая мировое открытие, он уподобляется пресмыкающемуся. Но по невежеству Иван Потапыч не понял ничего, а девочки по невинности очень смеялись.

— Пиши свои сочинения! — крикнул мне Иван Потапыч и, как ему теперь стало обычным, сунул мне в руку перо.

Только взял я перо, как увидел на печке Якова Степаныча. Он сначала был маленький и похож на американского жителя. Ему это было надо, чтобы сползти с печки по бечевке от душника. Когда он подходил ко мне, он был уже обычного своего роста, в люстриновом блестящем пиджачке, серебряный и румяный. Обе руки положил мне на голову.

— Успокойся и людей не пугай! Возьми глиняного петушка и Вере Эрастовне передай все, что видел.

Я взял глиняного петушка, и он перенес меня на хутор Линученки в комнату Веры.

Или нет, нет. Я ехал долго: и по железной дороге и на тройке мимо пожарища былой лагутинской усадьбы... Впрочем, не все ли равно, как я добрался, раз я попал?

В комнате было светло от первого выпавшего снежка, окна только что вставлены, чисто промыты. Сквозь стекла гляделись какие-то кудрявые молодые деревца. Они не хотели сдавать земле свои еще крепкие листья и предерзостно зеленели, продираясь сквозь снежную пелену.

Вера лежала высоко на подушках, покрытая из разноцветных шелков испанским одеялом. Это одеяло я помню с детства. Когда она бывала больна, я сидел около, и мы играли. Гуляли, как по парку, по дну морскому, по лунному кратеру — по тончайшим оттенкам шелковой ткани.

Вера смотрела в окно и не заметила, как я тихо вошел с Линученкой. Я с трудом узнал ее, так она исхудала. Она была прозрачно бледна, косы, без прежнего золотистого блеска, мертво и ровно лежали по плечам.

— Вера! — позвал Линученко. — Сережа приехал!

Она легко повернула голову. Глаза ее — огромные, пустые — в какой-то надежде глянули на меня. Она чуть протянула мне руки. Я стал на колени. Я взял эти бледные, слабые пальцы и приник к ним губами. Как я мог забыть ее? Я любил Веру за то, что не мог разлюбить. Едва видел ее — я любил.

— Он с вами видался? — спросила она, не называя кто.

— Он был накануне и просил меня вам передать, что больше ему ждать нельзя, он чувствовал себя очень больным. Он посылает вам любимое, что осталось от детства.

Я отдал Вере глиняного петушка. Но едва она взяла его и слезы безмолвно полились из глаз, мне стало невыразимо мучительно. Повинуясь сложным и едва ли добрым чувствам, не щадя ее слабости, я сказал:

— А Яков Степаныч видал Михаила. Он был свидетелем его свидания с царем; Михаила в кандалах привезли во дворец.

— Что вы делаете? — вскричал Линученко.

— Говорите, Сережа, я умру, если вы мне не скажете...

Она села. Судорожно сжала петушка, как бы держась за него — совсем как делал это я, когда бродил, как безумный, после покушения в Летнем саду.

Я ей все рассказал. Она слушала, не двигаясь, не дыша, так, что мне вдруг показалось, что она умерла. Я прервал речь и кинулся к ней. Она отвела меня рукою и твердо сказала:

— Я слушаю. Я все понимаю. Не пропускайте ни слова.

Когда я кончил, она повернула голову к Линученке, долго молча смотрела и выговорила с мольбой:

— Друг мой, никого, кроме меня, не посылайте по Волге! Я в Казани останусь. Ведь когда-нибудь его туда привезут.

Вера откинулась на подушки и закрыла глаза. Я вышел вслед за Линученкой.

— Зачем вы ей рассказали? — начал он и перебил себя: — Впрочем, для нее так лучше. Для нее, не для вас.

Он испытующе и жестко мне глянул в лицо.

— Однако я сейчас не могу говорить с вами, придите ко мне поздно вечером. Но придите непременно!

Я пошел бродить по местам, родным с детства, с ними прощаться навеки. Я был уверен, что больше сюда не вернусь. Кончилась эта жизнь...

Ведь каждый живет несколько жизней. Изживает одну, временно пребывает, как труп, нет, как земля, под снежным саваном с мертвой травой и с глубоко дремлющим новым семенем. И, как земля от морозов, от лютейшего горя отходит убитый человек. Опять держится, опять, как и все, заполняет каждый свой день. Только ночи не те. Ночью у того, кто знал смертную муку, сама смерть держит сердце в руках; сама смерть не дает ему сна, не дает отдыха.

Но это ночью.

Наутро я уезжал на Кавказ. Сейчас я пошел по избам прощаться с молочными братьями, с крестниками, с кумовьями. Там мне так усердно наливали настойками «посошок» в дорогу, что перед тем, как идти к Линученке, я прошел к круглому озеру, к «Ведьмину глазу», чтобы отрезвиться.

Вот и большой камень, где семь лет тому назад сидели мы втроем, полные муки и надежд, каждый своих. Сейчас один из нас — безумец, погибший для жизни, а мы с Верой — разбитые люди.

Но озеро все то же: весь день застывшее, словно зеркало, ночью оно дивно менялось. Тысячеглазое небо отражалось в воде, звезды вверху мигали звездам внизу и зарождали в воде совсем необычайную жизнь, которую не видать днем.

Мелкая рябь, как холодок по взволнованной коже, пробежала от одной звезды до другой. Под мелкой рябью чье-то смутное очертание, большое и темное, заколотилось глубоко на дне. Словно хотело оно вырваться, родиться наружу и не умело.

На синее небо вышла луна, белыми лебедями проплыли облака. Луне отдавая почет, отступили вглубь звезды, и, как созревшая равнодушная красота, смахнув

облачных лебедей с чистого неба, в свое чистое зеркало — озеро, на себя одну залюбовалась луна.

Вот на дне закипели ключи: из вязкого ила, из тяжких пут и водорослей в судорогах выбивалось наружу плененное. Выбралось. Ударило в зеркальную гладь и на миг, на один только миг, разбило уверенный точный круг луны в миллионы сверкающих искр. Огнем зажгло озеро. На миг, на один только миг.

Ушла луна, огни умерли. И, торжествуя над усмирившимся бунтом, звезды вверху улыбнулись звездам внизу, как древние авгуры, храня про себя свою тайну.

«Но едва взорвешь все пограничные камни, земля станет легкой, и ты полетишь!» Кто сказал это, кто? Все равно кто. Он сказал, а я сделаю.

Полечу. По-ле-чу. . . . .

. . . .

Прошло полвека после этого разговора, а я до сих пор ненавижу его, Линученку. Этот человек обобрал меня и оставил жить. Есть вещи, которых или нельзя говорить вовсе, или, сказав, надо человека прикончить. Впрочем, мало кто подозревает силу слова, мало кто умеет действовать словом как оружием. Люди ссорятся, любят, изменяют, порой убивают, и все это как-то помимо друг друга. Каждый выставил в жизнь вместо себя заместителя, а сам скрыт.

Линученко добрался до меня самого, до того, кого знал только я. И только сам себе, и то в иную минуту, имел я силу сказать то, что открыл во мне, не повышая голоса, этот приземистый неприятный человек.

— Вы, я слышал, едете на Кавказ? — сказал Линученко, запирая комнату на ключ, чтобы никто не вошел, — и, надеюсь, надолго?

— Еду. Но почему вам приятно «надеяться»?

— Потому что иначе мне пришлось бы вам предложить прекратить с нами общение. Мы переходим на такую деятельность, которая безразличных свидетелей не выносит. Дальше недопустимо быть вам ни с нами и ни против нас. И еще я хотел вам сказать... как видно, вы сами не знаете... мне дает на это право известная привязанность к вам, как к человеку, знакомому с детства.

— А я думал, вы меня презираете, — вырвалось у меня.

— Пока не за что, насколько я знаю, — он сказал без улыбки, что меня очень кольнуло. — Но предупредить вас мне очень хочется. Вы разрешаете?

— Я вас прошу, — сказал я, ненавидя это скуластое твердое лицо.

— Вы уже не юноша, а все еще безответственны. Между тем пора бы знать вам, что мысль, чувство и воля должны быть согласованы. Говоря вашим военным языком, вам пора сделать себе инспекторский смотр, мобилизовать свои силы, наметить себе в жизни ту или иную позицию. Несобранные люди — худшие из предателей.

И сверля меня узкими, зелеными глазами, он бросил:

— Признайтесь, вы пытались изменить участь Михаила? Я уверен, что вы говорили с Шуваловым.

— Разве попытка смягчить участь друга, хотя бы и неудачная, есть предательство?

Мне показалось, что человек этот говорит оскорбительные вещи, но я не чувствовал гнева. Он говорил так бесстрастно, как какой-нибудь старший механик, сосредоточенный на том, чтобы части машины были свинчены скоро и точно.

— Если вы, хлопоча за Бейдемана, допускали по вашему слабоволию, как сейчас вы это сделали в разговоре с Верой, хоть тень чувств иных, разрушающих ваше стремление ему помочь, — вы его так или иначе предали. Разве вам не известно, что капля собачьей крови, привитая кошке, убивает ее? Там, где нет цельности воли, лучше не действовать. В вас этой цельности нет, а вы, как я уверен, действовали. Фактов я у вас не спрашиваю. Формально вы даже можете оказаться правы. Из своей среды вы вышли, но и к нам не пришли. Мы же — сплав одного металла. Прощайте!

Я опять подумал, что, быть может, надо вызвать его на дуэль, но вместо этого я поклонился ему сухо и сказал:

— Прощайте, если это вам угодно. Я еду завтра навсегда. Но я хочу видеть Веру наедине.

— Хорошо, — сказал Линученко, — все равно больше повредить ее здоровью, чем вы это сделали, вы не можете.

— К черту ваше менторство! — закричал я, теряя терпение. — Я к вашим услугам. Можно и без секундантов, на жребий... Американская дуэль.

Он посмотрел на меня отрывисто и прямо, как смотрят, кидая слово «дурак», но слова этого не сказал, пожал плечами, открыл дверь и вышел.

Ночь я не спал, я считал, сколько раз я предал Михаила. Я насчитал четыре. Да, благодаря вмешательству моей воли, судьба этого человека четыре раза была мною повернута. А воля моя была не из чистого, не из цельного сплава. Следовательно...

Первый раз я дал Мосеичу «Колокол», чем помешал соединению Веры и Михаила. Второй — я внушил Шувалову иное освещение всего дела, чему следствие — Алексеевский равелин, а не дом сумасшедших, откуда бы друг мог бежать. Третий раз я, чувственно увлеченный Ларисой, с пробудившейся завистью к безоружному другу, лишил его мощной заступницы. Четвертый и последний раз, вовсе не помышляя об освобождении друга, а лишь желая разрядить свою собственную боль, я подвел его, уже безумного, под вечный гнев Александра II.

Пусть оправдывают меня присяжные судьи. Я в старости знаю лишь то, что я знаю.

Не только твой поступок — твоя злая мысль, твое злое чувство могут быть той решающей тяжестью, которая потянет книзу горькую чашу чужой судьбы.

Глава IX

ПАУК И УДОД

Я слежу за окном. Сегодня чуть было не случилось несчастья. У Ивана Потапыча вышел спор с девочками; он требовал, чтобы окно замазали, девочки стали плакать и божиться, что замажут двадцать шестого. Все к тому, чтобы двадцать пятого был мой последний бой. Осталось несколько дней.

И еще мне сегодня знаменье, что решение взято правильно: за стеклом между рамами незамазанного окна, моего окна, появился...

Появился Паук.

Едва я его приметил, как Иван Потапыч, о ком-то повествуя, выразительно сказал:

— Преданный друг..

Какое слово, какое слово! Ведь не иное, а это — выражение сильного чувства дружбы. Да, да, друг только и дорог, когда он предан.

У меня есть предан-ный друг и:

Паук. . . . .
. . . .

Как странно. Веру не должны были повесить, как того... с серо-голубыми глазами. Отчего же лицо ее было как у него: мертвенно-синее, когда я сказал ей, что уезжаю навсегда.

Мы молчали. Я держал ее за тонкие пальцы, потом, указывая на испанское одеяло, я сказал:

— Вот и опять мы с вами, Вера, как бывало, мальчик и девочка, прошлись по разноцветным шелкам. Не правда ли, пусть кто хочет нанимает квартиру, пусть кто хочет покупает гарнитуры в гостиную и множит детей. Мы начали и мы кончим тут, в разноцветных шелках испанского одеяла. Я не знаю, что это было у вас; у меня, сколько бы женщин я ни знавал, — это была только любовь. Неистребимо единая, как у бедного Вертера. Прощайте ж, моя любовь, навсегда, я еду на Кавказ.

— Навсегда, Сережа?

Она была так поражена словом «навсегда», что внезапно я понял: она привыкла считать меня своей собственностью. Кроме того, с моим отъездом обрывались все связи с ее личным прошлым и оставалось на долю ее одно лишь суровое служение революции под железной рукой Линученка.

И вдруг на миг, на один только миг, мелькнуло в глазах ее не Верино, а простое женское... И я понял: она испугалась.

— Навсегда, — твердо сказал я и, вспыхнув от всплывшей в памяти отповеди Линученки, добавил гневно: — довольно быть мне при вас прикладным.

— Сережа!

Необычайная, впервые ко мне обращенная нежность пришла слишком поздно. Я был измучен, я был разорен. В этом выражении ее глаз, о котором мечтал я тщетно столь долгие годы, в ту минуту я лишь злобно

прочел: она прикидывает, а вдруг можно со мной нанять ей квартиру, купить гарнитур и завести детей. Главное — детей. Ведь женщины в отчаянии, как заяц в кусты, вечно прыгают в этих детей.

— Навсегда, Сережа!

И в этот миг, мной угаданный, вернее по низкой злобе придуманный, случилось последнее ужасное несчастье...

Я выпустил ее руки и встал. Я ее разлюбил.

Неправдоподобно?

Нет, именно так и бывает.

Впрочем, понимаю я это только сейчас, а тогда я не знал, что я разлюбил. Мне только стало вдруг томительно скучно, но и вместе необычайно легко, будто я весь стал пустой. Только бы выйти из комнаты, только б уехать.

И вот уже не я, а она сказала с мольбой:

— Если я вам напишу, что мне необходимо вас видеть, вы приедете, где бы вы ни были? Обещаете? В память прошлого нашего детства, в память юности...

Я молча стоял у окна.

Она, угадав, что со мной произошло, но, как и я, не умея назвать, приподнялась и сказала:

— Ну, в память Михаила?

Она нашла верное слово. Я подошел к ее постели и, протягивая руку, сказал:

— И в память того, другого, кто дал нам глиняного петушка. Клянусь честью офицера, что приеду, где бы я ни был. Знаю, что зря вы меня не позовете.

Мы не поцеловались. Я приложился к ее руке, как к руке покойницы, и вышел.

Помню, я ехал на Кавказ совершенным мерзавцем. По дороге пьянствовал, играл в карты и твердил каждому, что возвышенно любимая женщина потребовала, чтобы я ей купил малиновый гарнитур. А жениться я — черта с два! Мне черный Врубель сказал, что каждый человек должен себя выразить художником. Завершиться и выразить. А в промежутке между человеком и невыраженным художником каждый просто-напросто негодяй.

Я был в промежутке. Как этот паук между окон. Однако скоро он ткет. Трудись, славный ткач! Он на чьей-то руке... чья рука на такой высоте? И засучен по

локоть рукав. А, это тетушка Кушина опять делает Михаилу перевязку. Матушка Михаила, будучи им в тягости, испугалась паука.

Паук отметил жизнь Михаила.

— В трамвае мужчина нонче, как дятел, сидит, — жалуется старушка гостья Ивану Потапычу: — а ты перед ним с корзиной стой. Здоровый мужчина сидит.

Солнце ударило в окно. Паутина — золотая игла. Еще такая на крепости. Там сидит. Двадцать один год здоровый мужчина сидит. На руке у мужчины паук. То Михаил — мой пре-дан-ный друг!

Я нарочно поклялся Вере честью офицера, чтобы отмежеваться от них. И действительно, я офицер. Я кавалер орденов: Георгия, Анны, Владимира, персидского Льва и Солнца и многих иных... послужной список при мне. Перепечатан на теменной кости внутри, чтобы скрыть от правительства, как скрыта фамилия. Там же дела мои против немирных горцев.

Кроме войн, было куначество. И чудесный кунак был рыжий имам даже после того, как оказался преступником. Его судили за то, что на груди у жены разводил он горячие угли, пока не прожег ей сердце. Но ведь жена обобрала его и бежала с другим. Он поймал и пытал.

А меня Вера обобрала безнаказанно: когда поняла, что теряет навеки, она в уме прикинула гарнитур. А я ей в ответ: черта с два!

И все-таки: тот, кто воевал с немирными горцами, дружил с преступными, бывал ранен и награжден, заводил любовь с татарками и офицершами, тот был не я, а черт знает кто.

Я ж был и остался невыраженным художником. И поэтому я копил в памяти все восходы, закаты, запах горного воздуха, блеск кинжалов в попойках с резней и многое, не нужное никому. Я из лиц человеческих скопил три лица: лицо Михаила, лицо того, кто был повешен, и лицо Веры, которая для сердца моего умерла. Остальные мне были — блины. И, сам блин, жил с блинами. И когда ели блины, мы их запивали аи.

Но ордена я любил надевать и за честь офицера держался. И когда пришла эстафета от Веры из Казани с просьбой ехать немедленно и спешно — я выехал.

. . . .

Девочки очень смеются, мешают писать, допишу ночью; уже двадцать третье.

Девочки себе вшивают для сладостей большие карманы, их будут угощать комсомольцы. Пусть тащат — дело детское.

Глава X

МИРГИЛ

Я пишу ночью. Колесо проглотил. Устанавливается в кадыке. Легкая щекотка, но терпимо. Я лишен речи: мычу. Впрочем, речь ни к чему. Но завтра иное действие... убедительнее речи. В мозжечке кружится кое-что, набирает пары. Допишу, брошу перо и до утра продержу затылок ладонями, а локтями: мах, мах!

Этому я научился от Михаила. Я же сказал: Михаил Бейдеман и Сергей Русанин — одно. Понемножку и сделалось: пятками в его пятки, темечком в темя, и вместо имен Михаил и Сергей вышло имя новое: Миргил. Имя художника, который взорвал пограничные камни. Миргил полетит!

Я сказал: так стоял Михаил Бейдеман в одиночке, когда мы с Верой к нему взошли. Да, клянусь, это так было. И не сейчас, после смещения времени, а в самых настоящих человеческих днях с боем часов.

Да, пробило в коридоре дома умалишенных ровно шесть, когда подкупленный фельдшер Горленко провел меня с Верой к безумному таинственному узнику за номером 14, 46, 36, 40, 66, 35 и т. д.

Под этими цифрами, как сейчас стало известно, зашифровано было: Михаил Бейдеман.

Последними, несказанными усилиями мозга, уже перерождающегося в части дивного механизма для полета Миргила, я постараюсь передать то, что было в Казани.

Получив Верину эстафету, я подумал, что она при смерти и хочет со мной проститься. Получая изредка письма от тетушки, я знал, что Вера давно жила в Казани, вместе с бывшей крепостной женщиной Марфой, а Линученко, как я узнал из газет, по участию в первом марте был давно сослан в Сибирь. Вера тоже немало просидела в тюрьме, подведенная плохими знакомствами, как по наивности писала мне тетушка, и, выйдя

из тюрьмы, заболела злой чахоткой. Письмо последнее от тетушки пришло в восемьдесят шестом году. Сейчас, когда я, спешно вызванный, ехал в Казань, был конец ноября 1887 года.

Я не видел Веру двадцать лет. Значит сейчас ей, как и мне, пошел сорок седьмой. Я ехал бестрепетно, холодно любопытствуя о цели моего вызова. Но в Казани, когда на окраине города ямщик еще издали указал мне ее квартиру, я вдруг приказал ему остановиться и пешком прошелся раз, другой в переулке, чтобы унять неожиданную острую боль в сердце. Как ни пытался я объяснить себе, что у меня от долгого пути обыкновенный сердечный припадок, сознание, не обманываясь, знало, что это не сердечный припадок, а сердечное чувство.

— Ей сорок семь, — твердил я: — и давно я ее разлюбил.

Наконец вошел. Открыла она.

Вера не была старухой. Горели щеки ее, как никогда, ярким румянцем. Глаза блестели, седины не было видно из-под белоснежной косынки фельдшерицы. Безмолвно мы обнялись и разрыдались. Ведь, не живя, мы прожили вместе всю жизнь.

— Сережа, вы остались одни из всех, кто знал Михаила. И Марфу весной унес тиф. Я бы не посмела вас звать, если б была хоть она. Но мне нужен свидетель.

Вера страшно закашлялась, у нее сделалось от волнения кровоизлияние. Доктор уложил ее в постель и, когда я назвал себя родственником, сказал мне, что дни ее сочтены.

Вера, горя той нечеловеческой энергией, которая охватывала ее, бывало, в дни надежды помочь Михаилу, уже на другой день овладела собой и могла рассказать мне, в чем дело.

Марфа, служа в доме умалишенных фельдшерицей, дозналась, что с 1 июля 1881 года в особой, ото всех изолированной комнате, содержится таинственный узник, привезенный под конвоем двух жандармов из Петербурга. Из низшего персонала, кроме фельдшера, никто в эту комнату не допускался. Вера немедленно решила, что это Михаил. Фельдшер на подкуп не шел и ни за какие деньги не хотел устроить свидание.

— Мне удалось умолить его сделать одно. — Вдруг Вера побледнела: — Сережа, а что, если вы не помните? Вся моя надежда на вас! У Михаила была родинка у правого локтя...

— По виду сущий паук, — прервал я, успокаивая, и рассказал ей эпизод с обваренной рукой в салоне тетушки Кушиной. Об эпизоде знала она от отца.

— Теперь я спокойно могу умереть, — сказала Вера, — свидетель есть. Сережа, фельдшер сказал, что родинка-паук на руке у безумного больного... Это было как раз пред внезапной болезнью Марфы. Сейчас этого фельдшера переводят в другой город, и за большую сумму он склонен дать мне свидание. Я говорила про вас. Ваше звание и чин на него сильно действуют. Подите к нему завтра же и устройте, чтобы назначен скорей был день и час. Мне осталось недолго.

Все уладилось. Подкупленный фельдшер назначил нам первое декабря в шесть часов вечера. Он сказал, что узник очень слаб, вероятно, протянет недолго.

Первого декабря мы забрались за два часа в жарко истопленную комнату фельдшера, в нижнем этаже здания, вблизи одинокой камеры узника. Нас не должен был видеть никто из персонала больницы. В половине седьмого, когда все мимо нижнего коридора пошли на обед, фельдшер сделал нам знак, взял ключи и повел в одиночную камеру.

— Одну минуту, — сказала Вера, когда он повернул ключ, — одну минуту.

Она не могла дышать. У меня самого подгибались ноги. Нам предстояло увидеть Михаила после двадцатишестилетней разлуки.

— Он седой? — спросил я.

Надо было что-то узнать, как-то приготовиться, как готовятся к зрелищу дорогого покойника...

Фельдшеру вопрос показался пустячным, вместо ответа он пробормотал:

— Не дольше десяти минут по уговору.

Мы вошли.

В большой, давно не беленной комнате, на больничной койке сидело существо. Я не знаю кто... Ни одной черты Михаила. Как лунь белые волосы и борода. Глаза стеклянные, без признака мысли. Когда он увидел, что

мы подходим, лицо его исказилось ужасом, он дернулся в постели, привстал, хотел было юркнуть под койку, но распухшие от колен ноги не пустили, и он, спасаясь от воображаемых мучителей, сделал жалкую попытку улететь.

Вытянувшись во весь свой высокий рост, он заложил руки на затылок, отчего широкие рукава рубахи осели и обнажили иссохшие от худобы заостренные локти. На правом локте чернел явственно паук с тонкими, словно пером прочерченными ножками. Михаил захлопал локтями, как крыльями. Он думал взлететь...

Но он не знал, как знаю я, что нужны ножницы, чтобы через надрез горла впустить себе воздух сфер... Но это будет завтра. Сейчас я должен вспомнить, отчего Михаил стал таким.

Да. Двадцать лет одиночного заключения в равелине. Увезен безумным в казанский сумасшедший дом, где еще шесть лет одиночества. Итого: двадцать шесть лет. Я считал, глядя на этого чужого мне человека, где не было ни одной черты того вдохновенного, прекрасного юноши. Только черный паук на заломленной, как птица трепыхавшей руке: мах... мах...

— Михаил, я — Вера. Я пришла... Вера. Я — Вера!

Она говорила голосом, после которого совершается чудо. Она поникла на колени, обняла его ноги. Она не уставала взывать к его померкшему сознанию, как, должно быть, взывал вне себя тот пророк, извлекая воду из скал.

— Я — Вера!

— Вера...

Он повторил хриплым, отвыкшим от речи, но все же своим голосом, ему одному присущим, глухим, глубоким звуком: — Вера... — И он протянул руки. Вере? Нет, не ей, не той, которая вызвала чудо. Ее образу юности. Он увидал ее в прошлом...

Лицо его осветилось на миг подобием чувства, но тут же вдруг, утомленный, он рухнул на постель.

Она целовала его длинные желтые, как у мертвого, руки. Он смотрел бесконечно утомленными тусклыми глазами без признака мысли.

— Пора уходить, подведете, сударыня! Пора, пора, — торопил Горленко.

Узнав фельдшера, Михаил радостно замычал и, широко открыв беззубый рот, стал громко чавкать.

— Есть просит, — объяснил Горленко.

Мы ушли. Вместе с фельдшером я довез Веру домой. На другой день она лежала на столе, покрытая белым, такая же чужая, как Михаил.

Я не узнал ее, когда, обмыв ее, со словами «готово», какие-то женщины впустили меня в комнату. Помню: на глазах у этой желтой восковой куклы были медные пятаки. И под одним пятаком поблескивал белый-белый белок.

— Не закрылся один глазок, знать высмотреть надо ей своего ворога, — сказала баба.

Этот ворог — я.

Я не исполнил и последней Вериной просьбы. Я не рассказал никому, как замучили Михаила, ни тогда, ни в 1905 году, когда ко всем с просьбой пролить свет на это дело обращался один историк.

В архивах все узнано без меня.

А я, не желая себе неприятностей, жил в своей деревеньке и очень часто бывал пьян. Тогда-то в моей голове завелся Верин удод и стучал день и ночь:

— Худо тут... худо тут.

. . . .

В мозжечке кое-что развивает давление всех атмосфер. Я бросаю перо, держать надо голову, приучать руки к крыльям — мах! мах!

Едва завтра музыка и такие слова: «Это есть наш последний и решительный бой»...

В горло... рраз!

Головой в стекло — два. И к черту паук!

А над городом плавно Миргил.

Художника — лёт.
И нет — лет...

Кавалер орденов: Владимира, Анны, Георгия... пр-равое плечо впе-ред!

1924—1925

СОВРЕМЕННИКИ

Глава I

ФЛАКОН БОРДЖИА

Есть сумерки души во цвете лет.
Лермонтов.

— Он помнит вас, Глеб Иваныч; столь заметлив, да чтоб позабыть.

— Да притворяться-то что за расчет?

— А таракан-с, Глеб Иваныч? Таракан, особливо черный, чуть не по нем, сейчас — хлоп, и в мертвом виде-с! Вот и он с вами: моя, дескать, хата с краю, — украинская наша замашка.

Багрецов в упор глянул на Пашку-химика, встретился, как всегда, не с глазами его, убежавшими куда-то в кусты, а с бровями, черными и вихлявыми, как пиявки, и сказал:

— Ты-то сам с каких пор украинец? Помнится, был поляк, потом чех. Вральман ты, Пашка, неизвестного возникновения и темной профессии.

— Шехеразадой сами прозвали-с, — хихикнул Пашка. — А ведь привилось прозвище, Глеб Иваныч, даже овербековцы с горы, на што постники, и те кличут: Шехеразада! Что же, Глеб Иваныч, выходит — у меня с князем тьмы один формуляр-с: неизвестность возникновения и темнота профессии. Однако сей образ не плохо воспет... сам лорд Байрон или наш Лермонтов, из-за которого, Глеб Иваныч, весь разброд вашей фортуны пошел, вплоть до «флакона Борджиа»...

Багрецов дрогнул, побледнел, на миг замер и так врылся в землю, словно ему следующий шаг был бы в пропасть. Пашка остро сверкнул очень умными глазами, но

тут же потушил блеск и, будто не заметив волнения Багрецова, обыкновеннейшим тоном сказал:

— Сущие пустяки, Глеб Иваныч, сплошной бред в вас влюбленной приезжей барыньки. Старинная вам знакомая живет инкогнито у Карагиных. Я разговорчик слыхал, ведь при мне, что при лошади — не стесняются!

Багрецов оправился, даже улыбнулся, взял Пашку под руку, пошел с ним вглубь широкой аллеи каштанов.

— Расскажи про инкогнито, — уронил он небрежно.

— Ручку освободите, Глеб Иваныч, в ногу с вами нам все равно не попасть, ведь я поменьше калибром-с, хе-хе...

Пашка нагло глянул на спутника. Веки Багрецова были опущены, лицо приняло вид обычного бесстрастия. Он, видимо, сдерживался.

— В декабре, как вы знаете, будет в Рим высочайший приезд. Так вот из свиты его величества заблаговременно уже приехала жена одного адъютанта, вам до брака знакомая-с, фамилии не разобрал, но подруга княжны Карагиной. С ней при мне и совет был по случаю маскарадных костюмов. «Я, говорит, хочу нарядиться флаконом с надписью «флакон Борджиа», и пусть все с Багрецова глаз не спускают. Держу пари — вздрогнет он и побледнеет как смерть. Ну, тогда я кое-что про него расскажу...» Женская глупость, Глеб Иваныч, не иное. Вот я вам рассказал, а вы решительно ничего-с, разве что под ручку взяли, впервые меня удостоили-с за промежуток немалых годков-с, хе-хе...

Багрецов в бешенстве бросился к Пашке, схватил его за плечи, но тут же осекся, выпустил и молча сел на скамью.

— Вы ошиблись, Глеб Иваныч, — сказал без шутовства Пашка, — я вам вовсе не враг.

Однако рядом не сел, а продолжал речь, стоя у дерева:

— И последний разбойник, Глеб Иваныч, имеет свои увлечения. А я умнее вас никого не встречал, уж не отторгайте-с. А беспокойство от женской дури теперь вам какое же? Благодаря мне о главной козни вам все известно, так что в неудобное положение вы не станете. Остается инкогнито разъяснить — это тоже обдумано-с. С той недели княжна Карагина с этой новой своей дру-

гиней в развалине форума рисовать собирается, вы же утречком сходите и накроете. Нет, Глеб Иваныч, я вам друг и союзник всегда-с.

— Довольно об ерунде, — оборвал Багрецов. — Мне до Гоголя дело, Гоголь меня рассердил, а ты с сплетнями... Да что ты стоишь-то, сядь рядом, ведь не убью.

— Помилуйте, Глеб Иваныч, — заегозил Пашка, — я довольно сам понимаю, что несоизмерим интерес ваш к персонажу, так сказать, отечественно-гениальному или к некоей жене адъютанта, хотя бы вам с детства знакомой...

— Мне помнится, — сказал Багрецов, — тогда в именинный обед старика Аксакова в погодинском саду не было?

— Вот память-то! Истинно, не было. Старик заболел флюсом, прислал одного Константина. А ведь правда, Глеб Иваныч, сколько б народу ни нашло, Аксаковы. как шмели между пчел, всех слышней? Не любили вы их!

— Старику я завидовал, — сказал Багрецов, — он был моложе нас, молодых, полон здоровья и особой, коровьей силы, от скотного, что ли, двора? Знай удит свою рыбу и набирается...

— А с Гоголем, Глеб Иваныч, ведь совершенно как в басне «Пустынник и медведь»! Кто голосистей кричал: «У написавшего «Ревизора» нервы нам не чета, его общим судом не судить...» А сам-то дубиною — хвать! Как же-с, я своими глазами видал, как он Гоголя, совершенно больного, убегавшего от рева публики, тащил опять на эстраду, и корил, и пенял — все любя-с. А едва друзья разгласили о некоей его хлестаковщинке с чинопроизводством...

— Ты зарапортовался, — осадил Багрецов.

— И вот нет, Глеб Иваныч, ей-ей, после выпуска «Вечеров», проездом через Москву, Гоголь на заставе прописался не коллежским регистратором, а чином много повыше-с — коллежским асессором! Так и в «Московских ведомостях» я самолично прочел. И отметил-с.

— Да не для себя же, дурак, — для ослов, столь им гениально воссозданных...

— Как знать, Глеб Иваныч. Гений — тот же человек, хоть диапазона-с несоизмеримого. Впрочем, я держусь

мнения: *кто всему знает цену, тот и сам может делать все-с!* А вы как, Глеб Иваныч?

И, не ожидая ответа, Шехеразада встал.

— Мне некогда, Глеб Иваныч, — делишко-с. Разрешите уйти. Ужо после обеда, в остерии Лепре, я весь ваш.

— Иди себе, — махнул рукой Багрецов и, проводив глазами егозливый облик Пашки в нелепом халате отечественного происхождения, глубоко задумавшись, остался сидеть на скамье.

Да, именинный обед в погодинском саду был Багрецову особенно памятен. В тот день игрою судьбы дан был толчок его воле на так называемое *черное дело.*

В тот день много пили, ели, говорили тосты. Гоголь был чопорно натянут, — казалось, он в какой-то собственной пьесе играет «хозяина дома». И нарочно волнуется, все ли в порядке, все ли как «у людей».

После обеда в саду он сам варил жженку, и когда легкое пламя охватило сахар, сказал, объединяя синий тон огня с синевою жандармских мундиров:

— А нуте-ка, принимайте в желудок своего Бенкендорфа!

Гоголь сам подал бокал одному гусарскому офицеру, который, если бы не форма, заметная среди большинства штатских, не показался бы Багрецову ничем замечательным. Он был безмолвен и не искал выделиться. И немало были все удивлены попозднее в саду, под сенью лип, когда большинство гостей разбрелось по аллеям и Гоголь, обратясь к этому бледноватому офицеру, сказал вдруг с необыкновенной лаской:

— А нуте, Михаил Юрьевич, скажите-ка нам из «Мцырей», народу поредело.

Да, офицер этот был Лермонтов. Он тотчас, просто и естественно, не заставляя просить себя, вышел перед всеми и прислонился к стволу дерева. Оглядывая всех и никого не видя вдруг вспыхнувшими огромными глазами, он начал отрывисто и глухо, будто невольную жалобу:

Я мало жил, и жил в плену...

Багрецов вспомнил, как пронзительно и внезапно полюбил его. Вспомнил, как Лермонтов открылся ему в необычайной нежности и простоте, как понял он, что все

грубое и плохое, о чем кругом про него говорили, была лишь защита человека, *иного, чем все, для возможности жить между всеми.*

Проскрипел, как тогда, прямо в ухо, голос Пашки-химика, — он пришел тоже с группой украинцев:

— Этот Лермонт невиннее всех великих людей-с, недаром и демон его, как девушка, верует в бога!

А с другой стороны рядом Гоголь...

Гоголь стоял, руки в карманы, больше сгорбившись, чем обычно, длинные волосы его упали прямою стеною, срезав навкось к подбородку круглое лицо, отчего нос вытянулся еще непомернее и заострился. Он как бы слушал еще некоторое время после того, как Лермонтов кончил, и, не дожидаясь оценки, укрылся вглубь сада.

Волнение Багрецова было чрезмерно. Он получил последний, недостававший его воле толчок. На что именно — он еще не знал. Одно он почувствовал: *совершу!*

Но тут же, испугавшись себя самого, он неудержимо потянулся к Гоголю, как к старшему, к учителю, к отцу... Вдруг поверил: он угадает, придет на помощь. Преодолевая обычную застенчивость, Багрецов тронул Гоголя дрожащими пальцами за руку и сказал:

— Николай Васильевич... эти стихи как порох! Ведь они могут взорвать, как же мне быть?

Он не кончил. Гоголь обернулся весь, кругловатым лицом. Багрецов навеки запомнил лицо. Необыкновенное. В профиль выраженное носом без меры, оно, склонившись в улыбке, с тончайшим лукавством приподнявшей подстриженный ус над полноватой губой, вдруг все засияло в глазах. Небольшие, острые, они прощупали всю подноготную, на миг вобрали в себя и тут же сплюнули, как плюют шелуху подсолнуха.

— А ты себе, хлопче, взорвись! — хватил Гоголь и припечатал по-украински крепчайшей печатью. Кругом так и грохнули смехом.

Багрецов и сейчас, через десять лет, покраснел. Он вспомнил, как вдруг, по-детски, совсем глупо вспыхнув, сказал Гоголю:

— Это грех, это грех...

Чуть не плача, он в тот же миг кинулся прочь из сада к себе на Васильевский. Пашка-химик теперь божится,

будто Гоголь тогда потускнел и раза два с тревогой произнес:

— Ишь какой... недотрога...

После этого Николина дня неделю тому назад встретились здесь, в Риме, в остерии Лепре. Александр Иванов, старый одноклассник, назвал Гоголю Багрецова. Гоголь глянул сонно, пренебрежительно сунул руку, мертвую, без рукопожатия.

Багрецов встал со скамьи. Пока он тут сидел то в отупении всех чувств, то переживая вновь бывшее, быстрые итальянские сумерки сменились ночью. На синее небо томительно вышла луна, застрекотали цикады. Из-за акведука Клавдия мужской голос, аккомпанируя себе на лютне, то выводил арию, то срывался, раздражаясь по-итальянски целым фонтаном отборнейшей ругани.

Багрецов сказал maestro di casa[1] не пускать к нему никого и, пройдя в свою комнату, на ключ запер дверь, спустил на окна зеленые жалюзи. Потом он отпер дорожную шкатулку и отобрал из нее одну из переплетенных тетрадок.

Как просвещенный современник Евгения Онегина и Печорина, Багрецов, подобно «герою нашего времени», для беседы с собою исписывал тонким почерком не одну десть бумаги.

Найдя место, в подробностях воскрешавшее то, что сегодня забыть уже не было силы, он стал читать:

«...Я ехал полями и перелесками нашей губернии, безлюбовно узнавая родные места; я ненавидел свое детство. Чудовищный эгоизм отца пожрал мою юность, разбил нервы, изуродовал навсегда, сделав неспособным к действительной жизни.

Прошло много лет, как я отсюда выехал в Петербургскую Академию, но при виде белого, в колоннах, хотыновского дома встало предо мной все, что было. Бессонные ночи, зеркальный паркет залы с двойным светом, хождение под руку с отцом до восхода. Встали воскрешенные бессонницей, обилием выпитых рюмок призраки войн, походов, путешествий по Европе, лекций по истории, по конским заводам, игре в рулетку — все вперемежку, как придется

---

[1] Хозяин дома (*итал.*).

Эти путешествия безумного старика с подростком продолжались до тех пор, пока легко розовело и расступалось небо, чтобы принять юное солнце, пока не появлялся в строгом фраке, с почтительным зовом, лакей Илья:

— Пожалуйте в ванную, Иван Никитыч!

Отец не сек людей, не продавал в розницу, даже не терпел, чтобы его звали барином, но все это не от гуманности, а лишь от брезгливости умного человека с европейским развитием. По своему непомерно строптивому нраву он себе испортил большую карьеру, заперся в деревне, ушел в книги.

Восхищенный моей быстрой сметкой, он облюбовал меня для ночных разговоров. Сначала мне это было лестно, но вскоре я изнемогал уж под бременем яростных впечатлений и сложнейших взаимоотношений мира. Впрочем, я кончил тем, что втянулся, отравившись безграничностью воображения. Больше того, фантазия, развитая за счет других сил души, навсегда меня сделала чувствительным только к острому и необычному.

Днем, как и отец, я спал до сумерек, потом шли занятия, потом бессонная ночь. Так перевернуто, неслыханно для здорового деревенского быта прошла моя ранняя юность. Вероятно, к годам двадцати я просто спился бы, не вмешайся тут моя тетка, такая же крутая, как батюшка. Тетка, узнав о моих способностях, поместила меня своекоштным в Академию в Петербург. По тогдашнему времени это было просто чудачество: в художники шли кантонисты, мещане, в лучшем случае сыновья живописцев. В нашем классе я был один потомственный дворянин. Отец и тут рад был случаю поступить не как все...»

Багрецов бегло просмотрел унылый ряд лет, где полуневежественные учителя отличались один от другого лишь тем, что у каждого была своя манера драться, где ученики, полуголодные, одичалые, ложились в холодных дортуарах с чадной лампой, чтобы на рассвете, вскочив по звонку, начать новый день, подобный вчерашнему.

«...В эти опасные годы пробуждающегося сознания один замечательный человек, пейзажист Рабус, имел для меня решающее значение. Квартира его представляла из себя целый музей. Он интересовался всеми отраслями

знания: прекрасная библиотека, модели военных кораблей, обсерваторийка, устроенная на крыше собственного дома. И все это кроме живописи, которой он предан был совершенно. Да, Рабус дал мне впервые постичь, насколько наслаждения умственные богаче всех прочих. Впрочем... это познание пошло мне, пожалуй, не к добру.

Рабус необыкновенно пленил меня. В серой академической жизни это был первый человек — не узкий специалист, а широкой европейской хватки. И я поставил себе задачу — стать таким же. Это для начала... дальнейший мой план был иной. Уже давно я не жил только живописью, моя мысль работала. Меня увлекала история иных, свободных народов; мне была невыносима забитость понятий и чувств, в которых нас держали насильственно. Но средств для широкого образования у меня не было. А для того, чтобы получить наивысший здесь жребий — заграничную поездку, — мне надлежало, задушив все прочие мысли, работать на конкурс по двенадцати часов в сутки, подделываясь под вкусы начальствующих.

Необыкновенные обстоятельства пришли на помощь моей жажде широкого знания. В последнем классе я получил от отца эстафету и, теряясь в догадках, поехал после многих лет домой.

Я нашел отца очень постаревшим. Вокруг были незнакомые мне приживальщики из мелкопоместных дворян, экономка из немок. Родных детей никого: почему-то отец вызвал только меня.

Встретил с ласкою необычной, увел к себе в кабинет, весь день все расспрашивал, как бы экзаменовал.

По началу я отвечал нахохлившись, готовый к отпору, но отец проявил столько просвещенного интереса по разным вопросам, что я, вдруг утратив чувство отчуждения, стал сверкать смелыми парадоксами, предвосхищая открытия в науке, создавая новую живописную школу.

Как скоро пришлось мне раскаяться в моей искренности!

Вечером старик призвал меня в свой кабинет, закрыл двери, сказал:

— Экзаменом, который я тебе произвел, я доволен весьма. Вижу, что задуманное мною для твоей дальнейшей судьбы задумано с умом и подлежит выполнению. Слушай: имений своих я, как ты знаешь, не прибавил,

а значительно пропустил. Детей и внуков у меня до полсотни, дураков не обобраться, лишь у тебя и характер и ум. Приятно поражен и расположением твоим к европейскому ходу жизни. А посему вот: наследства я тебя лишаю вовсе, в пользу тех, дураков...

Отец остановился и, любопытствуя, глядел на меня. Я молчал, полагая, что старик заговаривается или ломает каприз.

Он угадал.

— Я в своем уме, и преострейшем, что тебе сейчас докажу.

Он отпер ящик и по толстой слоновой бумаге стал читать длиннейший реестр движимого и недвижимого.

— Ну, это до завтра не кончить! Словом, на твой век довольно. Это не что иное, как приданое твоей будущей жены, княжны Котовой.

Я, впадая в тон затеянной отцом с неизвестной мне целью интриги, сказал небрежно:

— Кто же это без моего ведома меня сосватал?

— Я сам, — сказал отец. — Невесту я примерял как бы для себя, вообразив себя в твоих летах и в твоем положении. Мы ведь необыкновенно с тобой сходствуем. Если не пожелаешь противопоставить ложного самолюбия, не замедлишь во всем согласиться. Вот слушай, держа в руках этот портрет.

Отец передал мне дагерротип, изображавший молодую женщину, худощавую, с чертами резковатыми, с черными глазами, с печатью грусти на всем гибком ее существе.

— Сплошное разбитое сердце, — сказал я. — И это героиня?

— Она грустила после измены недавнего жениха, который предпочел ей еще богатейшую. Но дело было уже год назад, сейчас снова весна. Жизнь вступает в свои права. По гордости княжна любит утверждать, что личное счастье ее кончено, что теперь она выйдет замуж лишь из самоотвержения. Преотличная женская разновидность, и к тому же не болтлива! Сейчас у нее особая склонность к исправлению павших: возится с ворами и пьяницами. Я этот пыл ее верно учел; на приманку клюнет... Она тебя старше годков на пять, что совершенная ерунда. В швейцарских кантонах испокон века каждая

жена старше своего часовых дел мастера, что не мешает Швейцарии славиться отменной семейственностью. Тебе ж такая жена — просто клад для качеств обратных. Ты в меня — посуди, каков будешь семьянин? Полагаю, для тебя уже не секрет, что так называемая любовь не для умных людей. Умному не забыть ни из-за чьих милых глазок: один человек рождается, один помирает! Что же до мгновенных вспышек страстей, воображения, сердечного чувства и просто каприза или похоти, то удобнее всего производить их при постоянной жене такого именно типа, как княжна. Впридачу повторяю: родовита, богата и — важнейшее — малословна.

— Но она чего ради пойдет за меня?

Отец хитро улыбнулся.

— Я изобразил ей тебя совершеннейшим негодяем с проблеском сердечного чувства, которое, будучи отогрето умелой рукой, даст прекраснейший урожай. Натурально, княжна возгорелась спасать. Дагерротип твой я ей показал невзначай. О том, что ты недурен, тебе нечего разъяснять. У княжны оскорбленное самолюбие, здесь глушь.

— Словом, вы затеяли упражнение произвольного спаривания? — сказал я не без яду.

— Если бы к этому способу спаривать юное поколение прибегали с умом их родные, человечество было бы много счастливее. Скрытая жизнь страстей — бездна, кишащая чудищами, из коих каждому легко тебя проглотить. Не удобнее ли проделывать сии эволюции, держась за канат, который в случае чего всегда может вытянуть в безопасность.

Я расхохотался. Мы с отцом обнялись...

Отец сказал:

— Математические принципы и в жизни самые достоверные, на них надлежит строить историю не только отдельного рода, но всего человечества. Если две величины порознь равны третьей...

Каким способом установлена была связь между этой формулой и необходимостью моей женитьбы на Котовой — я уже не слыхал.

Давно соблазненный тончайшей отравой опасных для юности чар развратников XVIII века из подобранной отцом библиотеки, я уже торопился к себе, чтобы обдумать план действий, речи, костюм.

Ведь, кроме занятной игры, предо мной раскрывалась с женитьбой свободная жизнь, поездка в Италию — словом, все то, о чем злобно мечталось, как о недоступном.

Одевшись к лицу, но небрежно, с миной поэтического негодяя, я сошел вниз к обеду, где представлен отцом был княжне, приехавшей вместе с теткой, прескучной старухой. Княжна оглядывала меня горящими от любопытства взорами, наконец первая завела разговор о мастерах старой школы. При отъезде я был приглашен к ней на завтрак в имение.

Начатое по программе сближение пошло вдруг само собою. Я не был влюблен, но Марья Юрьевна ко мне действительно подходила, обладая характером нежным, живущим в собственных мыслях. Очень скоро я мог быть с ней даже вполне откровенен. В расчете избавить себя от грядущих сцен ревности, я готовил ее к своей непригодности для прочной семейственной жизни, на что она очень мило сказала:

— Умные жены ревнуют молча.

Скоро отец справил свадьбу со всею возможною в деревне роскошью. Мы уехали в Петербург.

Академию я бросил. Прекрасно обставив квартиру, пустился жадно расширять свои знания, чем еще больше пленил свою жену, отчаянную домоседку.

Помню, в Академии, когда я сказал Александру Иванову о перемене своего положения, особенно о том, что я женюсь, — он изменился в лице и с испугом спросил:

— А как же с заграничной поездкой? Ведь женитьба тебя по закону лишает...

Я снисходительно улыбнулся и, как разбогатевший лакей, отпустил:

— Я теперь довольно богат, чтобы ехать в Италию на собственный счет!

Иванов побледнел еще больше, так что я подхватил его, боясь, что он упадет. Как ни знал я его подверженным сильному чувству дружбы, подобное волнение приписать лишь одной перемене в моей личной судьбе я не мог.

В одну из суббот у Рабуса я понял все.

Когда вместе с отцом, музыкантом Гюльпеном, вошла его дочь, прелестное легкое существо, Иванов так вспыхнул, что сомнений быть не могло. Он влюблен. Больше

того: я тут же узнал от товарищей, что он хочет на ней жениться, но Академия лишала женатых поездки, и перед ним встал роковой выбор: искусство или личное счастье? Италия, дивные мастера, совершенство в развитии дарования или... Пример был перед глазами: родной отец. Талантливый, нежный, запуганный вечной зависимостью, ради семьи забивающий педагогикой свободное творчество.

Весь этот год Иванов колебался и страдал до нервического расстройства. Однако при твердой поддержке Рабуса он отказался от брака с дочерью Гюльпена и всего себя отдал безвозвратно искусству. В половине июня тридцатого года мы его, наконец, проводили в заграничную поездку.

— До скорой встречи, счастливец, — сказал он мне, намекая на то, что я против него вдвойне взыскан фортуной, и прибавил, поникнув:

— О, горе художнику, рожденному нищим! Нищета нас лишает свободы.

Да, я знал это слишком хорошо, когда шел на сделку, предложенную отцом. И первой наградой этой мною добытой свободы будет поездка в Италию. Мы с женой порешили — через год. Но в жизни не то, что в мечтах.

Через полгода после свадьбы умер внезапно отец. По завещанию оказалось, как он мне и сказал, что я, женившись на богатой, им исключен из числа сонаследников. Отец оставил мне лишь свою библиотеку развратников XVIII века.

В этот день, как выражаются повествователи, появилась первая черная туча, предвозвестница жестокой грозы на моем супружеском горизонте.

Узнав о завещании отца, моя благоразумная жена улыбнулась лукаво и произнесла:

— А ведь при всем уме твой отец и не понял, что я его перехитрила. Сейчас, когда мы так счастливы, я раскрою тебе свою тайну. Я отлично видела, как отец твой готовил меня тебе в жены. Я любовалась его стариковским прехитрым маневром и с охотой пошла ему навстречу, увидав твой портрет. Но, признаться тебе, я тебя не любила. Горько оскорбленная в своем поруганном юном чувстве, я к браку влеклась лишь потребностью материнства. Уверившись в твоих качествах, я остано-

вила на тебе свой выбор; за корысть я тебя не корю. Мы квиты. Мы взаимно, по разным соображениям, но сыграли одну и ту же роль. Тебе выгодной показалась такая жена, как я, ты мне подошел как отец моих грядущих детей. Но теперь, когда первенец наш должен явиться, я тебя люблю, милый друг, от души.

Я сидел за большим рисунком, скрывавшим лицо и помогшим скрыть мое бешенство. Жена, растроганная своей длинной тирадой, оставила работу, поцеловала меня, охватив руками мне голову.

Я остался сидеть как окаменелый. Ничего особенного не было сказано, а предо мною разверзлась бездна, в которую, знал я, неминуемо полечу. Мы с отцом думали, что распоряжаемся наивной женщиной, а она, в свою очередь, распорядилась мною, определив меня себе в производители.

И я вспыхнул внезапной ненавистью к ней и к этому, ни на что не нужному, первенцу. Я был слишком молод, к тому же я предчувствовал и дальнейшее... в чем не замедлил удостовериться на другой же день.

В такой же вечерний час, когда жена в маленьком будуаре шила что-то из детского приданого, я ей сказал:

— А ведь, пожалуй, пора нам подумать о подыскании кормилицы, я надеюсь, появление ребенка не задержит назначенный отъезд наш в Италию?

— Мой милый, — чуть хмурясь, сказала жена, — я посторонней женщине свое сокровище не отдам, поездка же будет зависеть от здоровья ребенка. — И, пытаясь смягчить слова улыбкой, с отвратительным мне доктринерством промолвила: — Привыкай к мысли, что детям в нашей семье принадлежать будет первое место!

Она говорила как человек, имеющий в своих руках всю власть, говорит другому, зависящему от него всецело.

— Я не люблю отступать от задуманного, — возразил я с твердостью. — Надо привести в ясность урожай с твоей Пустоши и, если окажется недохват, поторопиться с продажей, чтобы нам хватило жить на два дома.

Жена встала. Со свойственным ей тактом, уже не подходя ко мне, а направляя шаг к двери, остановилась.

— Милый мой, раз навсегда... я не желаю что-либо продавать, считая своим долгом передать в наш род все угодья в том виде, как их получила сама.

Она очень естественно вышла. Мое бешенство не имело границ. Лишенный своей части в наследстве отца, я был теперь нищим. Между тем, в расчете на средства я порвал с Академией и уже избаловался роскошью. Но что же мне предстояло теперь? Смотреть из рук женщины в награду за то, что я, как в экономиях жеребцы, выбран ею на завод? Ее упоминанием о детях уже во множественном числе гнусно подчеркивалась эта моя роль специального производителя.

Характер у Марьи Юрьевны оказался твердый, с дьявольской выдержкой. Все женственно-милое, что раньше она выдвигала приманкой, с беременностью отошло.

Теперь предо мною стоял равносильный боец, с тем преимуществом, что он был вооружен, а я нет. Мне оставалось превзойти ее хитростью, на что я и пошел. Еще сам хорошенько не зная конечной своей цели, усилием воли скрывая злобу, я необыкновенным вниманием к ее положению восстановил поколебленное было доверие.

Но вот жена моя заболела, домашний врач настоял на осмотре ее знаменитостью. Тот объявил, что роды жене моей будут смертельны вследствие каких-то больших уклонений, и предложил произвести их искусственно и преждевременно. Жена, охваченная психозом материнства, не хотела и слышать об операции, где наверное спасалась только она, тем более что другая знаменитость города, враждебная первой, сумела убедить ее в благоприятном исходе, с сохранением жизни доношенному ребенку.

Почти без усилий мне удалось расположить жену к себе в такой мере, что она написала духовное завещание, где все имущество оставляла ребенку, делая меня его пожизненным опекуном. Через несколько дней, в минуту особенно горьких предчувствий, она прибавила и роковую последнюю строчку: «В случае смерти ребенка наследником всего движимого и недвижимого является мой муж...»

Как это ни удивительно, мысль добыть яд зародилась у меня впервые тогда, в Николин день, на именинах у Гоголя.

Тот заряд энергии, тот зов к свободе, который большой поэт заключил в алмазный стих «Мцыри», коснувшись меня, сосуда грубейшего, лишенного музыкального строя души, явился толчком лишь на то, чтобы разрядиться в преступлении.

Я мало жил, и жил в плену...

До боли острая, стрелой пронзающая жажда свободы, до потемнения в глазах и мозгу... О, почему Гоголь не понял меня!

Но он не понял. И вот одно имя, как вспыхнувшие тогда в темноте именинные шкалики, одно имя огнем в черном мраке души:

Амичис ди Гамма!

Я боролся два дня, на третий пошел. Амичис был просто Андрей Иванович Гамов, брат одного нашего ученика, влюбленный в эпоху Возрождения. Он был фармацевт, занимался химией и алхимией, имел слабость к сбиранию ядов. Я заставил его показать себе коллекцию им добытых. Наметив подходящий, я решил принести схожий по виду и цвету флакон — подменить.

Для поддержания в себе того разрывающего душу чувства свободы, без которого, раз вкусив его, я не хотел больше жить, — мне стал нужен яд. Пока без определенной цели, на всякий случай. Конечно, виной тому были книги... Да, книги были моя жизнь и погибель. Роман Шодерло де Лакло «Les liaisons dangereuses»,[1] дьявольски подсунутый мне отцом, в его увлечении психологическим экспериментом, оказался для меня роковым развратителем. Ведь первая ударившая по сердцу книга — что первая любовь. Это призма, через которую впоследствии преломится бессознательно все мироощущение человека. В этом романе предвосхищены и «Евгений Онегин» и «Герой нашего времени». Де Вальмон взят автором заостреннее и с тем окончательным цинизмом, который про себя держит каждый свободный ум, не знающий иных авторитетов, кроме собственной воли...

---

[1] Опасные связи *(франц.)*.

Однако я обладал немалой силой внушения: Амичис, подстрекаемый моими хвалами, показал мне заветнейшие коллекции, особливо гордясь некиим флаконом... «флаконом Борджиа», без следа и без боли усыпляющим навсегда.

Мне блестяще удалось подменить эту унику. Я был как хороший актер в ответственной роли, и все же достаточно трезв, чтобы отмечать свои настроения. Меня, помню, очень тогда поразило, что чрезмерное напряжение, чем бы ни было оно вызвано, дает одинаковое сознание мощи и радости. Тогда же я сделал, быть может, опрометчивый вывод о прирожденной аморальности человека.

У Лермонтова, Пушкина, Шодерло де Лакло герой богат, образован и убивает других: пулей, игрой, насмешливым словом, так себе — с жиру. И все же читатель подобным героем любуется. Почему же, думалось мне, почему, усвоив себе всю психологию этого образа, не убить мне из жажды свободы и просвещения? Я нашел, что моя цель благороднее. К тому же, при моем напряженном вкусе к благам интеллектуальным, все, что носит печать только жизни инстинктов и рода, у меня, как у брамина вид парии, вызывает одну лишь брезгливую отчужденность.

Моя жена донашивала последний месяц. С лица ее не сходило выражение самодовольства. Она была окончательно уверена в благополучном конце. Приданое шилось двумя партиями: на случай рождения девочки — с розовым бантом, и мальчика — с голубым.

Поглощенная своим материнством, жена как человека перестала окончательно меня замечать. Она требовала только восторгов при виде пеленок, свивальников и каких-то гнусных подгузников.

Что касается похищенного мною «флакона Борджиа», я, признаться, не слишком-то доверял, что он усыпит навсегда и без муки, так что, когда я его всыпал жене, мое воображение не было поражено неизбежностью смерти и «макбетовский трепет» мне не пришлось испытать. Я почти мальчишески играл в «чет и нечет». Впрочем, как холодный и умный герой, я на всякий случай наметил себе в бессознательные союзники доктора Радина, очень слабого, неуверенного в себе человека,

в определении болезни поддававшегося диагнозу о себе самого больного и близких ему.

Неделю тому назад, когда у меня уже был в кармане яд Амичиса, я зазвал к себе доктора Радина и долго наставлял его относительно слабого сердца моей жены, ссылался на определение знаменитостей, приводил и свои опасения, основанные на внезапной гибели от разрыва сердца ее сестры.

Радин удостоверил при некоторых знакомых все, чего мне хотелось. Прописал порошки и обещал заходить ежедневно. Давая порошки доктора Радина, я к ним прибавил и свой.

Наутро жена моя была мертва.

Радин, видя мое сильное расстройство, растерянно, как виновный, меня успокаивал. Родня жены была далеко. Подозрений я не возбудил. Жену похоронили. Впрочем, нет, подозрения были у одного существа. У ребенка двенадцати лет. Это была сестра моей жены, которая жила по сиротству вместе с нами.

Галина, или, как уменьшительно ее звали, Гуль, была неприятная девочка. Смуглая, с румянцем, вдруг загоравшимся, обличавшим потаенную страстность, Гуль каким-то угрюмым, безмолвным добавлением входила в нашу жизнь. Порой мне казалось, что она очень несчастна. Но я был слишком занят собой и не мог войти в жизнь существа, которое меня к себе ничем не влекло. Совсем напротив: меня крайне раздражали ее недетские, следившие за мною взоры. Нередко я перехватывал ее, выбегавшую из моей комнаты.

В тот день, как я всыпал жене содержимое «флакона Борджиа», я, вернувшись тотчас к себе, стал искать пустой пузырек, только что бывший в моих руках. Пузырька не оказалось.

Вне себя от ужаса, я кинулся с допросами к Гуль. Добиться признания ни страхом, ни лаской мне не удалось. Дня через два, потрясенная смертью сестры и жестокостью моих тайных допросов, она заболела нервной болезнью. По выздоровлении я заметил, что несчастная девочка безумно в меня влюблена, и успокоился на естественном предположении, что пустой «флакон Борджиа» был взят ею на память и давно, быть может, затерян. Во

всяком случае опасностью разоблачения эта выходка мне не грозила.

Прошло полгода. Мое положение огорченного, от всех удалившегося мужа было упрочено. Скоро я сам отвез Гуль в пансион, пересмотрев на всякий случай очень тщательно все ее вещи. Среди них флакона не было...»

Багрецов закрыл тетрадь, спрятал ее в двойное дно шкатулки. Шкатулку запер дважды ключом и снес в шкаф.

Конечно, Багрецов угадал, едва Пашка-химик доплел свою сплетню, что женщина, замышлявшая маскарадный костюм — «флакон Борджиа», была Гуль.

Глава II

ОСТЕРИЯ ЛЕПРЕ

Если вы любите искусство,
то хоть пешком, но будьте в Риме.

С. Гольдберг.

На длинных скамьях в остерии Лепре было набито немало народу. Русские pittori,[1] длинноволосые, с бородкой, в черных плащах, подбитых алым, скульпторы и даже овербековцы в своих чопорных черных сюртуках. Они с любимым учителем, «папашей Овербеком», жили для настроения в католическом монастыре и в пирушках не участвовали. Были здесь разного чина и звания иностранцы, жадные до разнообразия итальянской кухни и римских сплетен.

За суматохой гости и не замечали, что кушанья те же самые, а меняются лишь приправы; что престарелая курица, сдобренная специей и начинками до неузнаваемости, идет за птицу высшего ранга, в чем не уставал, впрочем, заверять servittore,[2] ловко скидывая по две нагретых тарелки с каждой руки и поспевая принять в настороженные уши десять разных заказов risotto,[3] узнать

---

[1] Живописцы *(итал.)*.
[2] Слуга *(итал.)*.
[3] Кушанье из риса *(итал.)*.

альковную тайну знатной римлянки, перехватить последние слухи о планах «Юной Италии».

Голоса прерывали друг друга, ножи стучали, споры велись через головы, с разных концов стола, без возможности спорящим в страшной давке сесть ближе.

Своим нескрываемым восхищением выдавались лица молодых, только что приехавших из Петербурга пенсионеров. Забитые академической дрессировкой, они уже заметно ожили, как недоморенные цветы, обласканные жарким солнцем. Вместе с серебряным воздухом Италии их пьянила дивная красота акведуков, портиков, базилик — словом, все, что давно знали они по сухой выучке, и потрясены были, увидав здесь во всей волшебной действительности. Они были как восторженный юноша, очарованный заочно красавицей, внезапно узнающий ее живую.

Старшие товарищи взапуски посвящали молодых в подноготную заметных римлян и героев дня. Поминали и прошлое. Не переставал волновать всех «великий Карл», с его никем еще не покрытым успехом «Последнего дня Помпеи».

Не без зависти всю удачу замысла приписывали влиянию некоей девицы Дюмулен, причем влиянию, выраженному в форме необычайной. Новоприбывшему всю историю начинали ab ovo,[1] с самого Сильвестра Щедрина.

Этим славным пейзажистом русские художники гордились особенно, а красотой выдвигали его первым против красавца римского исторического живописца Каммучини. Уезжая в Сорренто, Щедрин передал (таковы были нравы) свою временную подругу пресловутому Карлу Брюллову, прожигавшему свой гений в разнообразнейших похождениях и хотя блестящей, но разбросанной живописи.

Как водится, девица Дюмулен весьма скоро опротивела Карлу ревностью, и он стал от нее отдаляться; но в то же время, со свойственным ему озорством, не удержался, чтоб не подразнить ее. Живя напротив, окно в окно, он устраивал нежнейшие амурные сцены с манекеном, бесподобно загримированным женщиной. Девица

---

[1] С начала (*лат.*).

Дюмулен посылала отчаянные письма, которые Брюллов позабывал прочесть, и, наконец, отчаявшись в просимом свидании, бросилась в воду с ponte Molle. Ее спасли. Брюллов пуще затосковал от внутренней пустоты, завертелся в попойках. Графиня Самойлова, ценя его живопись и желая его образумить, увезла с собой в Неаполь. Угрызаемый раскаянием за беспутную трату сил, в расположении к сюжету грусти, Брюллов полюбил Помпею и, бродя по мертвому городу, вдохновился его «последним днем».

Из этого мораль, учили бывалые молодых: обзаводись скорей девицей да топи ее в Тибре, авось выудишь себе пышный сюжет.

— Dio vuol carnavale, e non vuol cardinale![1] — вдруг крикнули в углу. — В праздник кардиналов хлестало как из ведра, а в карнавал всегда чудесная погода!

— Ставлю две фульты, — кто со мной? «Русалка» Моллера как раз будет в меру картины Лапченко.

— А ну пройдем к обеим, померяем...

— Да что далеко ходить, вон синьор Александро со своим ментором. Он наизусть знает.

Спорившие, брыкая товарищей, выбрались из-за скамьи и подбежали к входившему мелкими шажками невысокому плотному человеку в синих очках. Занятый разговором со своим спутником, забиравшим место у раскрытого окошка, он не сразу понял вопрос, с которым на него наскочили молодцы.

Лицо его, славянского облика, несколько иконного письма, изобразило внезапное беспокойство. Но тут же, разобрав причину напора юношей, он вдруг засмеялся, детски приоткрывая приятный рот, обрамленный окладистой русой бородкой, и сказал, слегка пришепетывая и торопясь:

— Ну, конечно, «Русалка» Моллера аккурат в меру «Сусанны» Лапченко и, как и она, вся нагая-с. Но полезно нам узнать, интересуясь Моллером, и всю силу его трудолюбия, — ведь им уже отосланы в Петербург «Пастушка», «Поцелуй» и «Профиль»...

— Собственноручной возлюбленной, знаем!

---

[1] Бог хочет карнавала и не хочет кардинала *(итал.)*.

Повесы захохотали и, оборвав на полуслове, так же дико, как появились, убежали на свои места.

— Ей-богу, наплюйте на них, да садитесь, все простынет... — сказал спутник Иванову, так низко склонившись над своей тарелкой, что темнорусые волосы, очень длинные, упали у него на кушанье.

— Совершенно оголтелый народ-с эти молодые пенсионеры, — сказал Иванов, — мало кто работает, а в Академию отписываться умеют похитрей нас, стариков. Один лодырь вчера мне показывал, сплошное вранье-с, а к начальству с этакой патокой... Оно и то сказать, преподлая нас сопровождает инструкция, на лицемерство сама наталкивает. Вот если любопытствуете, Николай Васильич, для картины нравов, я вам ее наизусть...

Спутник с длинными русыми волосами, усердно подбиравший с тарелки risotto, поднял острые глаза и, не слушая, сказал:

— А знаете ли, у Фальконе, что у Пантеона, жареный баран поспорит с кавказским, телятина много жирней, и такая, черт ее дери, crustata из вишен, что производит слюнотечение на три дня. У Фальконе, что у Пантеона, бес ему в рифму... Едали?

— Гоголь в духе, будет представление, — зашептали кругом. Иные бросили свои места и подсели ближе к окну. К столу подошел человек, невысокий, с большим лбом. Лицо твердое, честного немецкого колониста, сразу обличало нерусское его происхождение. Верхняя губа была длинновата, отчего выражение лица, когда он молчал, было неумно. Он одернул бархатный жилет с искрой и сказал медлительно:

— Что за диво Фальконе? Вот я намедни так в дрянном трактирчике был свидетелем жанра, достойного вас, Николай Васильевич, бытописателя нашего именитого.

— А нуте, Федор Антоныч, нуте...

Гоголь оживился, заулыбался, помолодел лицом.

— Вчера засиделся я в театре, вышел последним, ищу, где бы закусить. В нашем трактирчике свет. Вхожу. Только у русского стола лампа. За столом Рязанов с батареей полуфульт. В руке стаканчик красного. Любуется им на свет... Этакая поза! А пьян вдребезги. «Ортодокс, — кричит мне как резаный, — посмей сказать, что есть чудеснее ко́лер!»

Иванов залился хохотом, так, что прыгали щеки, колыхалось брюшко, а пальцы, пухлые и короткие, теребили в восторге салфетку. Гоголь молча вынул салфетку у него из рук и отложил в сторону. Иванов этого не заметил и, продолжая перебирать пальцами в воздухе, все еще прерываясь хохотом, сказал:

— А ведь это Иордан не врет! Рязанов точь-в-точь. Шутка ли — батарея полуфульт. А если, боже упаси, ему сервитторе надумает поднести сразу хоть одну целую, — какова обида! «Я, крикнет, тебе не пьяница, чтобы дуть по целой фульте». Помнишь, Федор Антоныч, мы с тобой слыхали? Еще он по-свойски тебя обложил, когда ты рассмеялся.

— Это было... сейчас я скажу когда. — Обстоятельный Иордан, припоминая, водил по-заячьи длинной губой. — Есть! В тот самый день, когда в кафе «Del buon Gusto» ты, наконец, мне объявил, что порешил написать свою картину больше размером, нежели «Медный змий» Бруни, а я тебе сказал — *большая* картина будет занимать *много* места!

Иордан самодовольно расхохотался. Гоголь бочком глянул на него. Лицо его сморщилось, стало важным и умильным.

— Совершенно справедливо, необыкновенно справедливо, в высшей мере справедливо, маленькая вещь занимает небольшое место, а большая вещь место занимает больше.

Все вмиг узнали, кого Гоголь изобразил; грянули аплодисменты.

— Попугай святой коллегии, il pappagallo del santo collegio.

Это был живой кардинал Маццофанти, всем известный старичок-полиглот, любивший щеголять своим знанием русского языка вплоть до стихотворения, начинавшегося так:

Люблю российских муз,
Я голос их внимаю.
И некие слова их
Часто повторяю....

Гоголь мастерски обличал секрет плавной русской речи маленького кардинала. Видно было, как он, твердо заучив немногие фразы, поворачивал одно и то же, слегка

переставляя слова. Впечатление при итальянской, стучащей, быстрой манере говорить получалось как от беглого и богатого разговора.

Между тем Иванов прервал смех и стал грустен. Он сказал Иордану:

— Ну что с тебя взять, Федор Антоныч! Ведь вот и Жуковский не стыдясь говорит про картину. Мне Чижов передал. Порицает размер: кому, говорит, продать да куда повесить? Будто и сам я не знаю, что для коммерции много выгодней писать вещицы да картинки жанра. Но не все же коммерция!

Высокий человек, до того безмолвно сидевший напротив, прервал речь Иванова:

— А ты, Александр Андреевич, так и не сказал текста инструкции пенсионерам, который было припомнил. Мне б особливо интересно его услыхать, — ведь я здесь не от Академии, а, как ты знаешь, на собственный счет. Любопытствую, чего я столь счастливо избежал?

Гоголь быстро и недовольно окинул говорившего. Это был человек с очень бледным лицом, богато и скромно одетый. Лицо его почти могло быть красивым, но все же не было. И каждого тянуло выяснить тому причину. Приятны были волосы того тусклого тона, который зовется пепельным, прекрасен лоб. Но глаза, спокойно и умно глядевшие, были странно мертвы. Ничто не заставляло их вспыхивать и меняться. Тонкий рот, бледные губы и эти глаза носили печать какого-то остановившегося существования, оторванного от общей жизни.

Багрецов знал, что люди при постоянном с ним общении, несмотря на его вежливость и приятную с ними манеру, чем-то в нем оскорблялись и скоро отходили навсегда. Впрочем, в редких случаях, когда ему надо было их удержать, он пускал в ход разнообразное очарование своего граненного скептицизмом ума.

Но Александру Иванову Багрецов, старый приятель по Академии, сумел стать исключительно нужным человеком благодаря знанию языков. Он усердно переводил ему все труды по искусству и философии. Сейчас Багрецов затеял разговор в надежде втянуть в него Гоголя или по крайней мере обратить на себя его внимание.

— Итак, если тебя не затрудняет, скажи, Александр Андреич, пресловутую инструкцию.

— Она преподлая-с, и, признаться, я ее желал бы забыть... Но изволь, изволь!

«Не скрывайте ваших чувствований и мнений ни о чем. В начальстве вы имеете людей, имеющих способ быть вашими *благодетелями.* Надобно это чувствовать, быть *признательну,* а потому *откровенну».*

— По началу, признаюсь, бывало невыносимо. Я забываюсь в созерцании красот искусства, но внезапно вспоминаю, что приказано о сем восхищении оповещать в известные сроки с непременною благодарностью — и все благородное во мне замирает. Ох, тяжко быть нищим художником, Николай Васильич!

Гоголь не желал замечать Багрецова, ни отвечать на взволнованный тон Иванова. У него будто было собственное внутреннее раздражение, которое то замирало, то возрастало.

— Servittore! — перехватил он острым глазом человека, который извивался, как угорь, чтобы одновременно дать два разных обеда в противоположные углы.

— Subito, signor Niccolo? [1]

— Что это у вас пошли за беспорядки: макароны сырые, рис переварен?

И, ворча, продолжал по-русски, подмигивая на хозяйку, синьору Пепиту:

— Ишь ее, расселась, как индюшка, на толстой своей бригадирше!

Гоголь надул щеки, подморгнул и стал вдруг хозяйкой остерии. Сервитторе прыснули и разбежались с тарелками.

— Что это вы с ними вяжетесь, Николай Васильич,— прошептал опасливо Иванов, — предрянной народец, захотят — изведут... Я никому здесь не верю.

Вдруг вся остерия поднялась, забубнила, как рой:

— Шехеразада! Ура!.. Что на хвосте принесла, каковы новости?

Пашка-химик, он же Шехеразада, был неизъяснимого пола. Лицо под сорок, налито желтым жиром; по расплывшимся, сразу будто добрым чертам оно подходило бы к иной хозяйке-матушке, осевшей плотно в деревне, но брови, две яркочерных пиявки, гнули сходство на ки-

---

[1] Сейчас, синьор Никколо? *(итал.).*

тайского мандарина. А шустрые, как мыши, острые карие глаза обличали просто-напросто беса. И костюм был необычен: большая, когда-то драгоценная кашемировая шаль драпировалась на холщовом халате. Халат этот в деревне известен под именем «пыльника», и набрасывают его при поездке в летний день, когда в бездождье пыль стоит паром в дорогах.

Пашка-химик, человек почти научных занятий или художник из неудачных, — кто его разберет! Врал он много и разное, не затрудняясь. Когда и как он возник в колонии русских — никто не запомнит. Его приняли, он стал необходим. Промышлял он чем попало: от позирования натурщиком до подделки древностей, будто изысканных в Колизее. К обеденному часу у Лепре у него всегда была свежая сплетня или измышлены два-три сюжета.

Последнее качество ценилось особенно кучкой тупоумных уличных pittori, стряпавших картинки на вкусы разнообразнейших форестьеров. Сюжеты обеспечивали Шехеразаде блюдо макарон или ризотто.

Сегодня он принес не сплетню, а потрясающую новость о художнике Коневском, написавшем папский портрет.

— Синьоры, — пропищал Пашка голосом бабьим, подходящим к его виду евнуха, — отныне среди русских питторов есть «кавалер золотой шпоры»! Как же, из рук его святейшества самого папы принят орден!

— Неужто Коневский? Пролез-таки!

И сразу, со всех углов:

— Пусть ставит выпивку!

— Сами себе и ставьте, — Коневский, братики, фью... Шехеразада вставил пальцы в рот и свистнул, как свистят лаццарони. Синьора Пепита шагнула было грозно к нему, но по пути только гневно сплюнула и, как монумент, утвердилась снова за стойкой.

— Ну и к черту его! Сыпь свой сюжет, Шехеразада! Англичан вчера понаехало, сваляй такое, чтобы лестно было ихнему гонору. Здоровей наврешь — сытей будешь!

Шехеразаду усадили в средину стола. Он прехитрым взором обвел собрание, с особой лаской задержался на вновь прибывших из Академии пенсионерах. Их лица

сияли. Здесь все так выходило из петербургской забитости, что непритязательная вольность остерии им ударила в голову, как вино.

— Пашка, ассигнации глазом не выберешь, к делу, подавай свой сюжет!

— Синьоры, сюжет отменно хлебный для форестьеров-инглезе: *«Коронация королевы Виктории».* Роскошь и великолепие, церемониал древнейших времен. Куды ни плюнь — Вестминстерское аббатство. Судьи в громаднейших париках, герольды в негнущихся парчовых рубашках. Коннетабли, епископы сплошь кен-тер-бе-рий-скиеї Королеве вручают меч, казначей бросает в публику доллары — *момент!*

Для справок: одежда королевы — два миллиона франков; бедным роздано сто тысяч — приблизительно конец шлейфа Виктории.

Сюжет хлебный, сюжет-кормилец для подковки островных дураков! А второй... Да вот Бенедетту просите, — указал Пашка на входящую красавицу.

— Бенедетта... — и десяток молодых кинулся к входившей прекрасной итальянке. Она была в национальном костюме, как позировала одному из пенсионеров. Ее сопровождал итальянец, по виду и манере не римлянин, а приезжий из южного города. Бенедетта улыбалась знакомым.

— Бенедетта, дай сюжет, достойный картины, кроме тебя самой.

Бенедетта о чем-то горячо говорила со своим спутником. Она повернулась к художникам и сказала:

— Какой же сюжет может предложить итальянка, кроме самой Италии? Италия, а вокруг герои... каждый город может назвать героев, павших за отечество.

— Ну, для подобных героев у твоих властей недурно отточен топор...

— «Юная Италия» отточит кинжал поострей!..

— Бенедетта, — дернул ее за рукав сервитторе, — здесь только остерия, а не карбонарский ваш клуб, и тайные агенты наравне со всеми за столом жрут ризотто.

— Тем лучше, — сказала Бенедетта, — сейчас мы решили, что для дела нужны аресты.

Бенедетта прошла к столику, где сидел Иванов.

— Бенедетта, приди завтра позировать! — раздавалось со всех сторон. — Ко мне, нет, раньше к нам в студию!

— Синьоры, я уезжаю, берите Джулию...

Джулия и Бенедетта были сестры-близнецы, такого необычайного внешнего сходства, что могли заменять одна другую.

— Синьор Алессандро, — сказала Иванову Бенедетта, — завтра будете рисовать? У меня для вас одного отложено все утро...

— Ты видишь, опять я в синих очках — разболелись глаза. Перенеси мое утро на ту неделю.

— Придется кончать вам по Джулии, я на месяц уеду из Рима, что она, что я — то же самое, я ей скажу...

— То же, да не то, — засмеялся Иордан, — как бурное море и одна рыба из этого моря...

— Федор Антоныч метил складно, а вышло что-то неладно. А кто твой кавальере, Бенедетта? — спросил Иванов. — Уж не он ли тебя похищает?

— Кавальере? Да это же брат мой... Доменико! — крикнула она своему спутнику. — Иди знакомься с синьором Алессандро.

К столу подошел человек с нежданными у итальянца мягкими чертами лица и особенной привлекательностью в улыбке.

— Как он чем-то вызывает облик Вьельгорского, — прошептал Гоголь Иванову и вдруг насупился, умолк, ушел весь в свой галстук.

Необыкновенный нос его, не смягчаемый улыбкой и общей жизнью лица, выдвинулся, поражая своей длиной.

— Скажите, сегодня не отменено «благословение полей» папою, — он, слышно, болен? — спросил Иордан итальянца.

Доменико, усевшись на краю стола, блеснул зубами и весело сказал:

— Что вы, разве отложат... да кардиналы для этого дела совлекут папу и со смертного одра, папская власть только помпой и держится! Без помпы она — пустое место.

— Но общеизвестно, что итальянцы благочестивы, — как из книжки сказал Иордан.

— Совсем недавно, в холерный год, мы видели, что стоит их благочестие! Разве не та же чернь, что шла босая, нанося себе в грудь удары, к церкви Maria Maggiore, не та ли самая, отчаявшись в чуде, надругалась над свежими трупами сестер святого Сердца Иисуса?

— Но ведь это вне себя, в исступленье безумства...

— А в трезвом виде скоро будет и почище... — Доменико понизил голос так, что его слышали только те, к кому велась его речь. — Поверьте, стоит лишь итальянцам понять, что Италия — добыча каждого, кто ее хочет взять, и это благодаря папам, — они и этих пап пошлют к черту! Идеал единого римского союза заложен в крови римлян.

— Значит, еще раз прав Макиавелли в своих «Discorsi», [1] — сказал Багрецов, — итальянцы обязаны церкви и духовенству тем, что у них нету веры.

— Однако все лучшие произведения искусства имеют своей базой веру, — вступил робко и смущаясь Александр Иванов.

Доменико подхватил:

— Брать красоту оболочки еще не значит брать сущность, к тому же наше искусство воскресло только в язычестве возрождения. О, Италия — страна крайностей, она легко переходит от грез Савонаролы, зовущего страшный суд, к грезам Кампанеллы, к мечте о рае здесь, на милой земле... Поверьте, фанатическое суеверие — лицевая сторона неверия, аскетизм и разгульные новеллы Касти — все одно! Но оттого, что так сейчас есть, не значит, что так и будет!

— Можно надеяться, что кровавые перемены произойдут не при нас? — спросил опасливо Иордан. — Ведь мне сдается, Григорий — предобродушный папа?

— Как сытый тигр, прикрывающий когти, — вспыхнул Доменико, — нынешний папа — злобный иезуит, с особой склонностью давит мысль и науку. Разве вы не слыхали, что он запретил ученым Папской области участвовать в конгрессе естествоиспытателей в Лукке? Прямое следствие его брефа...

---

[1] «Речи» *(итал.)*.

— Если не ошибаюсь, вы говорите о брефе тридцать второго года, — спросил Багрецов, — где объявлено, что свобода совести — «сумасшедшая ложь», свобода мнений и слова — «чума»?

Доменико утвердительно кивнул. Гоголь и Иванов молчали.

— Если это не секрет, — сказал, еще понижая голос, Багрецов, — расскажите, что сейчас за волненья в Болонье?

— Волненья вызваны невероятным самовластьем таможенных чиновников. Народу ничего другого не оставалось, как, соединившись с вооруженными контрабандистами, на *самовластье* отвечать *самоуправством,* а уж Риму почудилась демагогия... В Болонью послана чрезвычайная военно-судная комиссия, тюрьмы переполнены, и если демагогов еще не было, — конечно, они народились.

— А как к волнению относится «Юная Италия»?

Опять подошедшая Бенедетта, вдруг вспыхнув, ответила за брата:

— Если guerra di banda [1] — путь, которым начнется освобождение народа, то соединение не только с бандитами, а с самим чертом нам благословенно! Однако, Доменико, нам пора идти, прощайте, синьоры!

— Ну, этим не сносить головы, — сказал неодобрительно Иордан, когда брат и сестра вышли.

— Типун тебе на язык, — махнул Иванов, — это семейство отменных людей, до собственной гибели преданных родине. Имя отца их с почетом произносит весь Рим, — он при предыдущем папе погиб в изгнании; Джулия и Бенедетта — девицы особенной складки, скромнейшие... Бенедетта к тому же образованна и открылась мне, что единственно ради удобства вести дела «Юной Италии» она укрывается под маской натурщицы, не вызывающей подозрений у папских шпионов.

Но сейчас у них, видимо, решено лезть на рожон... Приезд этого Доменико... Он, представь, удивительных дарований, сподвижник Мицкевича...

---

[1] Партизанская война *(итал.).*

— Александр Андреич, довольно тебе зря выбалтывать, пойдем, — оборвал Гоголь, встал и, не глядя, следует ли за ним спутник, направился к выходу.

— А ты, без сомнения, скоро зайдешь? Премного тебе обязан... — Иванов крепко жал руку Багрецову. — Без тебя я теперь точно без глаз! Почитаем, поспорим, твои толкования...

Но тут, спохватившись, что Гоголь уж вышел, он вдруг бросил Багрецова и, торопясь, вперевалку засеменил к двери.

У дверей Гоголя неожиданно задержал Шехеразада:

— У меня анекдотец вам, Николай Васильич, специальный, на вашу тему-с. Охота бы рассказать. Когда прикажете? Может, нынче после лицезрения его святейшества? Очень повеселит вас. Не выбалтываю, вам одним берегу-с. Так сегодня?

Гоголь, нахмурясь, слушал Шехеразаду. И, нимало не улыбаясь, хотя тот был презабавен, по-бабьи одергивая шаль и топочась в своем пыльнике, мрачно сказал:

— Ну, приди поздно вечером!

Гоголь и Иванов ушли. Багрецов позвал:

— Павел Иваныч! Ше-хе-ра-за-да!

Он сидел поодаль один, пред ним стояло вино. Молча налил два стакана, молча дал.

— Люблю Глеб Иваныча за серьезность, — похвалил Пашка и, опрокинув вино, вздернул черные брови. Стал ждать, ничуть не балаганя, глядя с умом. — Что прикажете-с?

— Я слыхал, ты сегодня вечером напросился к Гоголю, ну так вот: деликатным манером узнай, точно ли он не помнит меня, или делает вид?

— Насчет того случая вспоминаете, в день именин? Что говорить, обремизил он вас, Глеб Иваныч... а фамилийку-то записал. От меня узнавал, от меня...

— Не егози, — оборвал Багрецов. — Вот теперь разузнай, помнит он, что я *есть, дескать, тот самый...*

— Вызнаю, Глеб Иваныч. Прибегу-с, доложу-с.

Глава III

«ФЛОРА» ТЕНЕРАНИ

> Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила в мире, а была бы создание вдохновенного художника!
>
> Боже, что за жизнь наша! — вечный раздор мечты с существенностью!
>
> *Гоголь.*

Этот день всегда был Гоголю труден: годовщина смерти Вьельгорского, безвременно погибшего друга. Итальянец Доменико его к тому же чем-то напомнил. Впрочем, какие напоминания были нужны тому, у кого вовсе не было прошлого, у кого ничто из пережитого не съедалось временем, ничто не тускнело, а все тут: стоит, мучает.

И вот сегодня с утра этот час, роковой не для одного покойного. С утра пред глазами, высоко в белых подушках, желтое, восковое лицо, с трепетными ноздрями, жадно ловящими воздух. Рядом в черной сутане аббат Жерве и она, стареющая, с остатками большой красоты, все еще великолепная княгиня Зенеида Волконская.

Простая, добрая Черткова то выступит, то ее нет; но эти трое неотступны. Они в остерии Лепре, они вот здесь, в базилике св. Каликста.

Иосиф Вьельгорский слабеющей рукой снимает с пальца перстень, чтобы отдать его милой Чертковой, одними глазами благодаря ее за долгие терпеливые ночи без сна, и вдруг, как хлыстом, этот шепот княгини:

— Mais c'est immoral! [1]

И, повернувшись к аббату Жерве:

— Не правда ли, последние минуты не должны быть о земном?

И мягкий, извиняющий глаз аббата, которым он как бы покрывает неумную черствость княгини.

Напрасно, напрасно... Тончайшие нити очарования и надежд, которыми они так настойчиво сумели вот-вот оплести, уж рвались...

---

[1] Но это безнравственно! *(франц.)*.

В последнюю минуту этот аббат, много проще и глупее княгини, оказался все-таки человечней.

— Необходимо, чтобы он умер католиком, обращайте его, обращайте, — суетилась она, желая завоевать изможденное тело друга хоть перед тяжким концом, на что аббат с укоризной сказал:

— В комнате умирающего должен быть полный покой!

Тогда она сама, шурша шелками, склоняется над Иосифом, напряженно что-то шепчет, пока тот в последний раз не глотнул жадно воздух и, дрогнув всем телом, не умер.

Чуть всплеснув маленькими белыми руками, она воскликнула радостно:

— Я видела, душа его вылетела католичкой.

И помыслить хоть миг, что эти люди облегчат в неслыханной муке, что их «единая кафолическая» даст ту опору творить, как давал Пушкин?! Вместо него, ушедшего *освободителя,* чье разрешающее слово снимало все путы, искать заместителей в этаких...

Гоголь в полутемном храме в глубокой задумчивости стоял под огромной мозаичной пасхальной свечой, а Иванов восхищенно оглядывал древние трибуны и разбирал устройство амвона в стиле ранней архитектуры. Он подбежал к Гоголю с записной книжкой и, не обращая внимания на его оцепенелое состояние, увлеченный одним своим делом, сказал:

— А ведь базилика Каликста в своих трех ярусах запечатлевает три разных периода из жизни Рима. Ярусом ниже девятый век-с, там, где мощи святого Климента, принесенные Кириллом и Мефодием с востока. А еще пониже знаете что?

И вдруг шепотом, хотя кроме безучастного сторожа в базилике не было никого:

— Еще пониже ярусом — храм языческого божества Митры! Каков диапазон-с? В Риме каждый камень дышит историей, каждая пядь земли напоена кровью народов: язычников, римлян, варваров... Под землей, в катакомбах, несчетны мученики христианства. И художник все это богатство чует каждым нервом своим... Где же художнику жить кроме Рима?! Николай Васильич, вы только прикиньте в уме: храм Митры и церковь! Несо-

вместимое благороднейше совместилось и сколь радует глаз!..

Гоголь, наконец, понял восхищенье Иванова, тускло глянул на него и сказал, кривя усмешкою рот:

— В искусстве несовместимое радует, ну а в человеке? Спасибо, если можно пропеть ему: «в огороде бузина, а в Киеве дядько»... то еще добрая скотинка, хотя чаще просто дурень. А если забрать по линии подобной разнопесицы поглубже да поумней — так от вони придется нос зажимать да швиденько втикать! Однако и тут не какое-нибудь важное амбре от пыли веков, ходимте на воздух.

По длинной и широкой аллее, которая лежала вдоль цветистых зеленых лужаек от Капитолия к Колизею, шли они тихо и молча.

По лугу паслись коровы из соседних домов.

Стояли телеги с бочонками вина и выпряженными лошадьми. На обломках античной колонны сидели погонщики, ели сыр, запивая вином. Ослы их, развьюченные и ленивые, катались по земле, выбрыкивая ногами.

— Присядем и мы, — сказал Гоголь, — до папской церемонии добрых два часа.

Гоголь сел на один из обломков, а Иванов продолжал вслух свои мысли, пробужденные базиликой св. Каликста, семеня мелко вокруг, сопровождая свою речь неразмашистыми движениями рук.

— Простой народ зовет римский форум campo vaccino — коровье поле, а священный Капитолий, где венчали героев, — campo d'olio, масляное поле — вот и все-с. Буден день знай себе копошится на поверхности, и невдомек ему, что он унаваживает свои огороды историческим прахом веков...

Вдруг опять, как тогда у Лепре, Гоголь прервал его, не в силах сливаться с собеседником, под налетом собственных тяжких дум. Так в иной гущине леса, где крикнешь, по привычке ожидая в ответ эхо, вдруг чаща задушит тебя, выслав хлопанье крыл, чей-то посвист и гогот.

— Все эти дни... — начал Гоголь и костлявой рукой одернул за плащ Иванова. — Да не крутитесь же, как бес пред заутреней. Сидайте...

Иванов тотчас послушно сел.

— Все эти дни у меня, как болезнь, потребность забежать к Тенерани... он кончает свою «Флору». О, что за линии представляет она, особенно сзади. Красота линии потеряна у женщин везде, кроме Италии. Если взглянуть тут на иную в одном только одеянии целомудрия, так воскликнешь невольно: она с неба сошла! А возьмешь поучения Исаака Сирианина...

— Я слушаю, Николай Васильич...

Иванов, сидя несколько ниже, глянул сквозь синие очки настороженными глазами на друга, нахохленного и так странно носатого при огневистом закате.

— Исаак Сирианин о женщине в слове девятом говорит так: «Лучше тебе принять смертоносный яд, нежели есть вместе с женщиной, хоть будь это мать твоя и сестра».

Вот и примечайте: базилика, соединенная с храмом Митры, гармонии не нарушила, а человеку-христианину язычество в себе надлежит вырвать. Вырвать, хотя бы с самим сердцем.

— Да чего же вы так смотрите да молчите, — вспылил Гоголь, — прежде вы бывали тех же мыслей, хоть и прегрешали по слабости с Аннунциатами...

Иванов покраснел и страшно смутился, как смущаются одни лишь маленькие дети, пойманные у буфета с краденым пирожком.

— Мне о таких вещах сейчас не хотелось бы говорить, я еще не додумал свои новые мысли. Ведь я, Николай Васильич, теперь не тех мыслей... я не полагаю, что язычество надлежит зачеркнуть... там есть свой гений. Язычество надо в искусство включить, для полноты истории человека... а впрочем, это все мне новое-с.

— С которых пор? — спросил грубо Гоголь.

— Как сказать? Отчетливой мыслью встало впервые на выставке Овербека. Подумать только, четырнадцатилетний труд его, писанный с молитвою и постом, выражает один скудный бесчувственный аллегоризм... а живописи нет никакой-с. Пред вами не скрою. И между прочим Перуджин — слыхали по биографии? — утратил веру, поддался легкомысленной жизни и дал незабвеннейшие по чувству вещи...

— Что вы хотите этим сказать? Да вы что... отвечаете за такие слова?

— Отвечаю-с, — сказал твердо Иванов, — хотя не вполне умею сказать. И говорю это, — обратите внимание, Николай Васильич, — говорю вам одному. Важнейшему для меня соотечественнику. Ни батюшке моему, сколь с ним ни близок, никому, кроме вас, не мог бы сказать... Николай Васильич, я ныне твердо узнал: *трагедия художника в покорстве своему гению, куда б он его ни завел!*

Гоголь еще сгорбился, весь как-то сжался и повторил как бы для себя:

— *Покорство своему гению, куда б он ни завел? А если на гибель?*

Иванов вскочил, поправил нервно очки, заходил взад и вперед своим дробным шагом.

Они давно так не говорили. Каждый отошел в свою сторону. Оба, загнанные внутрь, нося для людей обманные личины, привычной скрытностью слившиеся в воображении всех с их личностью, на короткий миг дружеской встречи сбрасывали их, как ненужный хлам.

Гоголь, оставив свой вечный дозор за собой и другими, как раненный насмерть орел, долетевший до родного гнезда, уже не хорохорясь из последних сил, не стесняясь, страдал просто и больно. Он верил Иванову совершенно. А тот забыл слово-ерик, подхохатыванье, юродство, весь нелепый облик, защищавший нежнейшую в мире душу.

Он сказал:

— Если б знали, Николай Васильич, какие муки терплю! Что болезнь глаз? Я ей рад. Она — отсрочка такому решению, такому...

Слушайте, я разорван, как жалкий червь. И присужден сам взирать, как бьется в предсмертных муках отмирающая моя половина...

О боже! сказать себе: работа всей твоей жизни, съевшая молодость, личное счастье, твой гений... эта работа остаться может примером лишь того, как не надо, слышите? как *не надо* работать.

Но нет! Пусть лучше не выдержит мой тленный состав, нежели я предам искусство! Я не поступлюсь мне данным прозрением, я раскрою все, что увидел, я докажу миру, что́ может художник русский! Недаром *самоотвержение вполне* — наш исконный удел.

Николай Васильич, вы мне важнейший из всех людей, слушайте: мой старый храм разрушился, и мне его не удержать. Но я воздвигну новый, и уже для всего человечества, я прослежу и выведу путь к свободе духа от самого зарожденья культуры, от плена...

Афродитой, выходящей из пены морской, Гераклом в колыбели, удушающим змия, я бескощунственно окружу ясли младенца Христа, я объединю уже не нацию, а все человечество...

— Замолчите! — вскричал Гоголь. — Это не ваши речи, вас опутал бес... бес гордости. В ущерб спасению души нельзя служить искусству. Еще повторяю: язычество надлежит вырвать, хотя бы вместе с сердцем! Да, вырвать и растоптать.

И, не замечая несоответствия в дальнейшей своей речи, продолжал уже совсем вне себя:

— Что мне до того, что Галаган меня славит новым Гомером! Речь женщины, умудренной религией, мне зазвучала глубже... а она что мне сказала? «Ваше фантастическое и смешное еще не есть высокое... Христос никогда не смеялся». Этакая мысль! Да, ее сплеча не срубить одним махом...

Гоголь обеими руками уперся в колени, уронил на ладонь голову и еще прошептал:

— Христос не смеялся.

Долго молчали.

Иванов сел рядом на камень.

— Николай Васильич, и мне ведь близко подобное жестокое двоение, — сказал он тихо и робко. — Но ведь эти вопросы вовсе не умом решаются. Не смею, конечно, учить вас, но скажу про себя, Николай Васильич, дражайший, я держусь любовью за каждую травку, за малый камешек в Субиако, где я в работе забываю себя...

— Совершенствуясь в искусстве, много ль двинулись как человек? — Голос Гоголя был строго брезглив. — Картины не вечны. Сколь ни гениален да Винчи, от «Тайной вечери» — одни пятна сырости на стене... Впрочем, все, все, чем внутренне строится человек, вы узнаете скоро из моей новой книги.

Глаза Гоголя заблистали, румянец выступил на широких скулах.

— *Этой книге настало время явиться в свет,* — сказал он торжественно. — Одна высокая душа мне недавно сказала: «Вас осязательно посещает благодать: прежде одна ирония прорывалась из вас, вы будто кололи всех своим носом, палили глазами, а ныне сколь вы добры, сколь дышите христианством!»

Отныне мой компас в трудном деле писателя — не отзывы литераторов, а мнение высоко настроенных душ. И скоро я смогу успокоить их, укорявших меня, что чтение «Мертвых душ» — сплошное утопанье в грязи. Грязным двором, ведущим к изящному строению, останется точно лишь первый том... *Том же второй...*

— Это страшно, что вы говорите, — воскликнул Иванов, — как вам отказаться от первого тома, гордости всех русских! Николай Васильич, не верьте оценке светских ваших дам, — им неведомо, им не свято само слово русское. Улещивая вас как человека, они разве ценят художника? Их проклятый круг сгубил нам Пушкина, сгубит и вас... Вспомните хотя бы чтение «Ревизора» на вилле Волконской.

Гоголь, как от боли, дернулся, хотел что-то сказать, Иванов не дал.

— Простите, я только наедине с вами, и то впервые, решаюсь сказать искренне, раз вышел такой разговор... даже батюшке в Петербург, клянусь вам, я написал, что все вышло превосходно, но вам скажу: превосходного было одно лишь намерение ваше, вопреки нездоровью, великодушно помочь несчастному художнику...

— Да ведь Шаповалову нехудо и собрали, по скуди шел билет. Для этого случая и зал был освещен превосходно, и чай с лакеями, и мороженое, все, кроме самомалейшего аплодисмента!

Гоголь усмехнулся. Улыбка медленно проползла от изогнутых полноватых губ к прищуренным острым глазам, ядовитой волной вывела только что бывшее на этом лице изображение смиренника.

— Эти чопорные безмозглые люди разве сумели вас понять? Вас, отечественного, лучшего писателя нашего! Сочли они за счастье вас слушать? Вся эта светская конюшня, не удостоив вас и единого хлопка, после первого же акта вытопала вон из залы... и к концу обступили

с восторгом и благодарностью вас мы, одни горемычные русские питторы...

Николай Васильич, бесценный, важнейший из людей... — Голос Иванова пресекся от волнения. Он схватил худую руку Гоголя своими теплыми толстоватыми пальцами. — Не верьте вашим святым женщинам, ни всему аристократству, которое вы хотите считать своим. Поймите ж, им не ценно слово русское. Не стану вам повторять: они не сберегут в вас художника, как светские сестры их не сберегли Пушкина...

Наконец, при вторичном упоминании Пушкина, Гоголь как бы дрогнул и пришел в себя. Он, видимо, чем-то так был расстроен сегодня, что малейшее прикосновение к чувствительному месту души вызывало в нем боль нестерпимую. Глаза его блеснули острей, болезненный румянец разошелся по всей щеке. К тому же, что бы ни говорил его язык, когда вставал перед ним тот вечер на вилле Волконской, его охватывала свойственная ему тяжкая злоба, не находящая обыкновенного человеческого выражения. Она разрешалась только наедине, одному ему ведомыми припадками...

Страшным усилием воли он отмел подступившее чувство и обрушился вдруг на Иванова совсем в неожиданной для того форме:

— Да что вам дался «Ревизор»? Плевать я на него хочу! Стыдно вам и предполагать во мне столько мелкой, честолюбивой дряни. Да если б появилась такая моль, которая съела бы экземпляры «Ревизора», я бы благодарил судьбу. Идемте, не то опоздаем к церемонии.

Иванов, привыкший к мудреному характеру друга, притаился и умолк, чтобы больше его не рассердить. Впрочем, Гоголь уже принял обычный свой сдержанно-замкнутый вид, только глаза его чудно блестели, и румянец не сходил со щек.

Увидев на площади Иоанна Латеранского огромную нарядную толпу, Гоголь повеселел. Небо было такой прозрачной голубизны, что далекое Альбано приблизилось. Горы невыразимой нежностью очертаний ласкали глаз, выглядывая то из-за огненной мантии кардинала, то из-за белых платков, особенным манером прилаженных на прическах красавиц, болтающих с мужчинами в широкопо-

лых соломенных шляпах. Разноцветные перья военных трепетали то тут, то там, как крылья редкостных птиц.

— А гляньте-ка, монахи да аббаты как маком посыпали площадь, — сказал Гоголь, — доминиканцы ни дать ни взять — наши богаделки в кофейных платьях. А этих вот в треуголках и черных натянутых чулочках я особенно люблю после одного случая... Как увижу, развеселюсь.

— Какого же случая? — Иванов был рад, что Гоголь разошелся.

— А знаете, я своей любовью к Италии так умею другого взвинтить, особенно, когда я вдали от нее. Просто потребность какая-то расписать и серебряный воздух, и голубые, как матовая бирюза, вот эти Альбанские горы, и Фраскати, и Тиволи... Вы представляете: у женщин глаза уж горят, а сердце слыхать, как бьется. А тут-то и поддать пару: а ночи-то, скажу, звезды блещут сильней, чем у нас, по виду больше. О, когда все вам изменит, идите к ней, к Италии!

И так я одну раззадорил, что и сам как кур влопался. Представьте, взяла с меня слово, что если я первый попаду в Рим, то от нее поцелую колонну да поклонюсь непременно первому встречному аббату в туго натянутых чулочках. И до того я как-то расшалился, что проделал и то и другое, только колонна в ответ поцелую не дрогнула, а аббат говорит: «Извините, синьор, не могу вспомнить, где виделись».

— Он превежлив, аббат-то, — заливался Иванов.

— Я взял да ему и рассказал про данное поручение, он улыбнулся и премило сказал: «Знакомство, начатое так необычно, надлежит непременно нам продолжать». Вообразите, оказался недурным поэтом. А у нас, пожалуй, за невинную шалость дали бы в морду...

Вдруг говор смолк, площадь опустилась на колени. На балконе Иоанна Латеранского появился папа с двумя зажженными свечами в руках, окруженный кардиналами. Папа благословлял поля Рима.

Заходящее солнце нестерпимо усилило пурпур мантий кардиналов, блеск золоченых крестов, фонарей, белизну трепетных, как чайки, уборов кармелиток. Тяжелая красота римских женщин, загорелые лица мужчин,

полные силы и страсти, невольно заставили художника прошептать:

— Что за чудный народ!

И над этим морем неистовых красок, яростной силы жизни, в таком же пурпуре последних лучей, вознесенный над всеми, грузный и вялый старик, венчанный тиарой.

Папа невнимательно и бесстрастно, как старая стряпуха исполняет надоевшую, хотя ставшую второй натурой привычную работу в кухне, подымал и опускал руки. Лицо его не выражало ровно ничего. Мертвыми глазами обводил он площадь и, совершив свою повинность, ушел с балкона.

— Александр Андреич! — окликнул Иванова протиснувшийся Багрецов. Он легко вскарабкался на каменную площадку строящегося дома, где стояли Гоголь и Иванов.

— Чудеснейший отсюда вид — не правда ли? — сказал Иванов, без нужды протягивая обе руки для опоры.

Багрецов был, видимо, озабочен.

— В толпе очень волнуются, — сказал он. — Болонские дела, о которых в остерии говорил нам Доменико, у всех на языке. У многих родственники в тюрьмах, надеялись сегодня на прекращение дела, на амнистию... но папа, напротив того, высказался за строжайшие новые аресты. Этот старик — мастер бесстрастно и бездушно засаживать в тюрьмы. Он передал все дело своей тайной полиции. А эти — уж раздуют...

Багрецов не кончил: из-за левого крыла базилики с победными криками: «viva la guerra di banda!» вынеслись какие-то люди, потрясая кинжалами, за ними вслед толпа, вооруженная палками, разъяренные сбиры. Грянули выстрелы. Мгновенно откуда-то выросли папские швейцарцы с сверкающими алебардами, прилетела кавалерия. Когда толпа рассеялась, на площади остались раненые и арестованные, которых полиция грубо втискивала в кареты, и витурино, бешено стегая лошадей, уносил их куда-то вскачь. Вдруг молодая девушка в ярко-красной юбке и бархатном корсаже, подхваченная двумя полицейскими, подняла голову и крикнула еще и еще, с необыкновенным упорством: «Viva, viva la guerra di banda!»

— Бенедетта! — воскликнул Иванов. — Она это, спасите ее, — молил он Багрецова, — бежимте вместе, заступимся...

— Полно дурака-то валять, — одернул его Гоголь за плащ, — кто вы для полиции, чтобы ей вас послушать? Здесь нужны хитрость и подкуп.

— Останьтесь, Александр Андреич, я разузнаю...

Багрецов спрыгнул вниз и почти бегом направился к карете, увозившей Бенедетту. Но она уже скрылась на повороте, и он попал только в взметенную на площади пыль, золотым столбом заигравшую в последнем луче.

Багрецов, поговорив с одним из полицейских, пошел куда-то с ним вместе.

— Бенедетта — чудеснейшая девушка, — чуть не плача, твердил Иванов.

— Да в голове-то, видать, толку не много, — рассердился Гоголь. — Если охота бунтовать, пошла бы в путный заговор, а не то зря, на площади. Ну, подержат да выпустят, успокойтесь, придет к вам позировать. Однако пойдемте, сейчас сумерки; на моей strada Felice[1] прекрасно: ни козлов, ни иностранцев.

Комната Гоголя была в два окна с решетчатыми ставнями изнутри. Рядом с дверью кровать, а посреди круглый стол, тот самый, за которым он ежедневно диктовал Анненкову «Мертвые души». Против другой стены — высокая конторка. Гоголь любил писать стоя, по временам отхлебывая из стакана ледяную воду, которую почитал для себя лекарственной. На мозаичном полу, звонко отдававшем каждый шаг, книги, платье, белье в беспорядке...

Единственной драгоценностью, любимой Гоголем, была в этой комнате лампа проконсула, на высоком подставе с красивой светильней для масла.

Гоголь поправил фитилек и зажег. Болезненно и неприятно сочетались на миг, пока он закрывал решетчатые ставни, два света: ранний лунный, осеребривший дома и сады и даже непроницаемую плотность литого черного кипариса, легчайшей дымкой разлился было по комнате, заголубел по деревянному полу, скользнул по книгам, овеял лицо — остроносое, как маска, с надетым

---

[1] Счастливая улица *(итал.)*.

будто бы париком прямых русых волос. Но желтое пламя древней римской лампы без игры, ровным одноцветным покровом легло сбоку.

Разбитое двойным освещением лицо друга вдруг Иванову почудилось неживым. Но закрылись ставни, и Гоголь, подмигивая и лукавясь, сказал:

— Вы что? на боковую, чтобы с рассветом в Субиако, или дернем в бостончик?

— Я лягу, — сказал Иванов, — завтра точно с восходом в путь, да и вам то же советую предпринять, коль не раздумали, со мной вместе. А в бостон я вам нонче навру, — Бенедетта не идет из ума.

— Подержат да выпустят! Повторяю: придет к вам же на пытку. А я б предпочел в тюрьму сесть, чем вашей братье позировать. Вот Моллер, хоть скоро работает, замучил меня на портрете...

Иванов простился, ушел в соседнюю комнатушку и весьма скоро захрапел. Гоголь сел в кресло, упер локти в колени, положил голову на руки, как часами мог сидеть в одиночестве, и задумался.

Он уже знал: сна не будет.

Лампа проконсула стала коптить. Гоголь встал, поправил фитиль. Глаза его скользнули на библию, ярче всего освещенную. Он откинул кожаный переплет и в бесконечный раз увидал дрожащей рукой надписанное:

«Дорогому другу — Николаю».

Это был подарок Вьельгорского.

Гоголь поднял крышку конторки, вынул мелко исписанную тетрадь. Перелистал ее, прочел:

«Ночь первая. Они были сладки и томительны — эти бессонные ночи. Он сидел больной в креслах. Я при нем. Сон не смел касаться очей моих. Он безмолвно и невольно, казалось, уважал святыню ночного бдения. Мне было так сладко сидеть возле него, глядеть на него. Уже две ночи, как мы говорили друг другу ты. Как ближе после этого он стал ко мне! Он сидел все тот же кроткий, тихий, покорный. Боже, с какой радостью, с каким весельем я принял бы на себя его болезнь! И если б моя смерть могла возвратить его к здоровью, с какой радостью, с какой готовностью я бы кинулся тогда к ней!

Ночь восьмая. Он не любил и не ложился почти вовсе в постель. Он предпочитал свои кресла и тоже свое сидячее положение. В ту ночь ему доктор велел отдохнуть. Он приподнялся неохотно и, опираясь на мое плечо, шел к своей постели. Душенька мой! Его уставший взгляд, его теплый пестрый сюртук, медленные движенья шагов его — все это я вижу, все это передо мною...»

Гоголь дальше не мог читать, закрыл тетрадь, положил ее в ящик.

Стоял перед глазами заостривший профиль друга, в тщетной жажде не задохнуться запрокинутый на высоко взбитых подушках.

И вдруг... что ж это? «Матушка, — прошептал, бледнея, Гоголь, — матушка, заступись...» Не дав принять последнего вздоха Иосифа, совсем рядом, заслоняя высокую желтизну его тела, возникла своей слепящей белизной мраморная «Флора» Тенерани. При мигающем пламени лампы мрамор был как розовое трепетавшее тело.

«Начинается...» — прошептал Гоголь и, склонясь, как подстреленный, уйдя головой в плечи, вдруг рухнул на кресло.

Жестокий круг принудительных галлюцинаций сомкнулся над ним. Конечно, он знал, что его болезнь имеет свою регистрацию и свой латинский термин в отделах бессчетных страданий человечества, — что пользы! Средств от сверхчеловеческой муки, его посещавшей, там не было.

В дверь постучали. Сначала тихо, потом настойчиво.

— Кто там? — очнулся Гоголь и, радуясь, что сейчас войдет хоть кто-нибудь живой, поспешил открыть дверь.

Гостем оказался Пашка-химик, Шехеразада. На нем был надет не обычный смехотворный халат с кашемировой шалью, а черный сюртук. Он был чисто выбрит, слепило белье белизной. В манерах сдержанно строг, похож на иностранного консула, знакомого Гоголю. И, приняв Пашку за этого консула, с недоумением Гоголь привстал.

— Не извольте беспокоиться, Николай Васильич, это точно я-с, Шехеразада, или Пашка-химик. Присядемте!

Пашка себя вел с достоинством и, как хозяин, пригласил рукой Гоголя сесть.

— Ну и шут ты гороховый, братец! — повеселел Гоголь, — а ведь я думал, право, что это консула черт принес!

— Точно, консула-с, или по-французски — conseiller, советника-с. С советом я к вам, Николай Васильич!

— Нуте, выпьем-ка нашей украинской запеканочки, земляки ведь с тобой...

Гоголь испытывал то, что испытывает человек, когда, разбуженный грубой вседневностью, вдруг постигает, что смертный ужас был испытан лишь во сне.

Приход Пашки отсрочил час. Гоголь был готов шалить, как в лицее.

Но Шехеразада впал в мрачность и будто обиделся:

— При свете дня, Николай Васильич, я мог быть, точно, и шутом. Но ночь, прошу вас отметить, ночь — время иное. Я, быть может, ночью пишу мемуары-с. Ночное время мне дорого, и я буду краток.

— Запеканку-то облюбуй...

Шехеразада выпил, вытер уста белым новым платком и сказал:

— Я пришел, Николай Васильич, не по своему, а по чужому делу-с. Обед именинный на Девичьем поле не вспомните ль? И между всем прочим стихи-с: «Я мало жил, и жил в плену...», и волнение юного Багрецова, и вашу отменно крутую печать-с? Припомнили? Хе-хе-хе, — меленько и дробно, как-то внутрь себя, без движения губ прохихикал Шехеразада. — Багрецов от вас в слезах и отчаянии убежал, а вы у меня про фамилию спросили. Я тогда был в украинцах и с вами рядом стоял. Как же, в книжку вписали-с, видал сам, как вывели: Баг-ре-цов.

— Ну, и дальше? — Гоголь насупился.

— Ах, событие не сразу чревато последствием... верней: очевидность чреватости не сразу ясна-с.

— Ты, брат, того, — сказал Гоголь, — зарапортовался. О чем анекдот твой?

— О философе Канте, Иммануиле Канте, хе-хе... том, что в Кенигсберге всю жизнь прокорпел. Книгу *вечную* написал-с. По Кенигсаллее час в час ежедневно прогуливал и на зицштуле платном час в час порционно просиживал-с, под дубками. К механизму совершеннейшему себя приводил-с: для ради окончательной политуры прак-

тиковал еженедельно два раза — освобождение от страстей, по некоему библейскому образцу, так сказать! В записной книжечке помечал. Как же, дознано, дознано... почитатели-с, что поделаешь! В примечанье под звездочкой взяли да вынесли. Не скрою, сам не читал, кто видал — тот сказал. А я вам-с...

— Грязный ты, Пашка, субъект, — поморщился Гоголь, — этакой дрязг про великого человека выудил...

— Какой дрязг, помилуйте? И грязи нет никакой. Ухо ваше вас обмануло, ибо *не та* совершенно тональность! Да это впору одним педагогам не отличить сего дерзания от деяния, гимназисту обычного и законно наказуемого! *Но мыслителю тождество фактов, можно сказать, еще не весь факт!* А в данном мною примере оный факт есть следствие весьма пышного мироощущения с проекцией на свободу от грубой персти, умнейшего человека-с...

Да ведь это, Николай Васильич, в некотором роде «восхищения во вселенную» с утратой тленного естества. Это родственно браку с природой — «Великой Женщиной», как звал ее Гете-с! Это то состояние освобождения от уз, которое Рейсбруг Восхитительный воспевал: «Восторг несказанный! Все, что объемлет око, входит в тебя. Горы, леса, и ручьи, и лужайки, и вся земля, зараз мать и жена — *отдается тебе одному...»*

— Ты передернул «Одеяние духовного брака», передернул!.. — болезненно крикнул Гоголь.

— Единственно для уяснения темы-с, — подскочил близко Пашка и вдруг с вкрадчивой ласкою зашептал: — Оставим опыты иностранцев. *У вас,* Николай Васильич, *у вас самих* первоклассное есть письмо насчет брака с Природою.

Не вы ли доселе о том не знающих научили, как узнать *«бесовски сладкое чувство и какое-то пронзающее томительно страшное наслаждение, когда кажется, что и сердца вовсе нет, а только слышишь, как звенят голубые колокольчики, склоняя свои головки»*. Напечатано и подписано-с: *Н. Гоголь.* Но как не подумали, дражайший вы мой...

Пашка все ближе, наглее, — а Гоголь как в тяжком сне: ни крикнуть, ни рукой.

— Как это вы не подумали, беря на себя, что после познания толиких необычайностей одним лишь дурням будет охотка входить в обычную цепь, когда кровь в голову и все равно кто... как в стаде бугаю, Оксана ли, Гапка ли.

Да ведь после подобных состояний от брака с Природой или хотя бы с Италией, которая, по вашему неоднократному при мне признанию, представляется вам черноокой женщиной в пурпурном плаще, — какое убожество чувству может дать любая женская персональность, будь она хоть столь дарами осыпана, как, к примеру, Смирнова-Россет, смуглая ласточка, воспетая самим Пушкиным... Дражайший мой, — Пашка гнусил уже в самое ухо, — при Александре Иванове, помните, вы помянули (мое присутствие вам было не в счет), что эта Смирнова как-то сказала вам: «Уж не влюблены ли вы в меня?» А вы за одну эту мысль столь великое возмущенье учуяли и как бы лишенье свободы, что прекратили ее дом лицезрением на долгий срок времени? И, как признавались, приравняли ее в воображении к штаб-офицерше, которая подпоручику своему сказать может: «милашка!» Конечно, Смирнова, чарующая и отменно умная женщина, так вам не сказала. Это злобно сказали вы себе сами.

Но уже за одно то, что могли так сказать, ненавидели ее долго и при встрече с ней мыслили в злобе: милашка...

— Лгун, пасквилянт... — задыхался Гоголь и, собрав силы, оттолкнул к дверям Пашку.

— Помилуйте-с, Николай Васильич, ни капли не лгун, а всего-навсего ваша памятная книжка-с! Еще в «первый петербургский период», как про вас пишут теперь в биографиях, на вашей квартирке вас дозирал-с! Еще там, на Морской улице, отмечал я, какой вы любитель в других править низшей стихией, чтобы самому быть с волшебною силой Цирцеи и тихесенько хохотать, как они себе, землячки, доведенные вашим хохлацким перцем да салом до последнего взвода, хрюкают пятаками.

— Вон отсюда, вон!

Гоголь вскрикнул, привстал и вдруг осел, смертельно бледный, без чувств.

Шехеразада вмиг налил воды из графина, прыснул в лицо.

— Может, вам раздеться помочь, свести в постель?

Он говорил без фиглярства, и лицо его так изменилось, что, придя в себя, Гоголь принял его за врача и охотно из рук его выпил воду. Потом откинулся на спинку кресла и долго не мигая смотрел в одну точку.

Шехеразада раскланялся церемонно и сказал:

— Спокойнейшей ночи, Николай Васильич!

Однако, подойдя уж к дверям, опять не стерпел.

— Не беспокойтесь, дражайший мой, — с отвратительной фамильярностью сказал он, — я вошел так, что меня никто не видал-с, и наш разговорчик в учебную хрестоматию не включат.

А в заключенье от консула — conseiller — вам совет: если вы над смертными хотя в единой точке уже вознеслись и не вкушаете от корыта-с, то надлежит вам, для оправдания себя, вознестись и прочим всем над низкой перстью... да, да. Рейсбруг Восхитительный жил в лесочке, отшельником, Симеон-столпник на столпе стоял-с. И заметьте себе, на одной лишь на правой ножке, левую, ту, что от лукавого, он поджимал-с, и в вёдро и в дождь поджимал. Вот и вам, первейший наш сочинитель, не до содомского, а до святого конца надо бы! А исходная точка одна-с, хе-хе, одна... адью вам!

Шехеразада толкнул дверь и исчез.

Гоголь долго сидел неподвижно. Потом встал, пошатываясь прошел к двери, накинул железный болт. Сейчас он уже боялся, чтобы кто не вошел. Вдруг он выпрямился, глаза его чудно сверкнули. Иным, легким и твердым шагом прошел он к своей конторке, обмакнул перо и, как всегда стоя, начал писать:

«О сердце мое... сердце, исполненное нежности и пламени небывалых...»

Раздался тихий и сладостный смех... в его комнате стояла Италия. Да, он знал ее, эту сверкающую черноглазую красоту в пурпурном плаще!

Схватившись дрожащей рукой за ящик старинной шифоньерки, он невзначай его дернул. Выпало в беспорядке белье, расшитые шелком подтяжки, носовые платки и фуляры той нежнейшей желторозовой розы, какими окрашены с внутренней стороны огромные раковины-красавицы Средиземного моря...

«Матушка... заступись!»

И, бесшумно рыдая, он упал на пол.

С восходом солнца желтый и постаревший Гоголь будил Александра Иванова для поездки в Субиако, предварительно приведя в нарочитый беспорядок свое несмятое ложе, чтобы хозяйке были невдомек его бессонные ночи.

Глава IV

«ВЗАИМНЫЙ ЭКИЛИБР»

> — Кто бы мог подумать, чтобы моя картина «Иисус с Магдалиной» производила такой гром? Сколько я ее знаю, она есть начаток понятия о чем-то порядочном.
>
> *А. Иванов.*

Для поверхностного взгляда Джулия и Бенедетта были действительно одно лицо. Все художники, начав писать Бенедетту, сейчас кончали по Джулии. И Багрецову пришла мысль...

— Джулия, — сказал он, — что бы вам обменяться с сестрой? То одна, то другая была бы на воле. Да и тюремщиков превесело одурить. Поучитесь у Казановы, Бенвенуто Челлини.

Джулия молча уставила волоокие итальянские глаза. Она бесила Багрецова безмолвием. При неразличимом почти сходстве с сестрой она в той же мере была тупа, как та блистала жизнью и умом.

Багрецов составил хитрый план для освобождения Бенедетты. Действовать он решил через виллу Волконской. Княгиня Зенеида была в тесном общении с иезуитами, в чьих руках при папе Григории находились дела политических. Надо было влиять на Иванова и на Гоголя. Разговор с Гоголем не выходил. Он вдруг страшно уединился перед скорым отъездом в Неаполь, хотел что-то закончить...

При встрече с Багрецовым Гоголь вспыхивал, несколько пугаясь.

— Должно быть, Шехеразада перехватил в разговоре, — догадался Багрецов.

Но Пашка-химик как провалился; говорили — уехал с кем-то на юг. С Ивановым у Багрецова была большая напряженность, хотя они будто дружили и вместе читали Штрауса. Но Багрецов знал: не сегодня-завтра его неукротимой волей исследователя произведена будет на другом та жестокая проба, которой опытный ювелир подвергает ценные камни, капая на них разъедающей жидкостью. Фальшивый разлетается — неподдельные остаются.

Багрецов знал Иванова с юных лет, с Академии, где они были одноклассники. Когда Александра Иванова привели учиться, ему было лет двенадцать. Он отличался от заброшенных полууличных юнцов как маменькин сынок, нисходящий до игры с дворовыми. Его невзлюбили за чистый вид и белые воротнички. Разница в положении была велика: в то время как одичалые академисты свободное время глушили в разгуле и водке, Иванов, балованный сын почитаемого профессора, видал дома всех выдающихся живописцев, слыхал просвещенные мнения об искусстве. Немудрено, что впоследствии, в старших классах, многие встретили с злорадством несправедливый поклеп профессора Егорова о том, что Иванов выполняет свои программы не сам, а при помощи отца. Эта ранняя обида легла в основу того душевного расстройства, которое позднее стало болезнью.

Душевная гармония была нужна Иванову, как воздух для дыхания. Для этого как нельзя более кстати им был взят от отца, из рук в руки, какой-то готовый порядок, упоение красотой православия. Там, где ученики Академии, стиснув кулаки от бешенства на «утеснительство высших мира сего», с глубоким сочувствием твердили запретные изречения, — Александр умело развертывал безмятежную схему, которую впитал с детских лет: «иерархия земная — несовершенное отражение иерархии небесной».

Багрецов молчал до времени, пока Иванов был сильнейший. Он уже знал идеи, которые надо было ему противоположить, но пока был слабо вооружен и не умел их защищать.

Однако, по страстной злопамятности своего ума и унаследованного от отца желания власти, он знал, что наступит тот час, когда он взорвет огражденное здание

Александра и неотразимой логикой, во имя культуры и вечно поступательного бега истории, убьет его голубиную веру. Однако не она ли, эта вера, давала такие восторги и упор вдохновению друга, что уже юношей, когда так мучительно говорят страсти земные, он весь был охвачен одним лишь огнем героическим?

. . . .

Багрецов стал особым предметом забот Иванова, склонного к дружбе. Со слезами он выговаривал ему сухость сердца, ядовитое и жестокое направление воли, убеждал, что живопись его от этих качеств останется вялой и «от проходящего века». Иванов вовлек Багрецова в изобретенный им *«союз взаимного духовного экилибра»,* где каждый должен был служить другому примером, взаимно исправляя свои недостатки.

Увы, союз распался, едва возникнув. Кроме Иванова, все были слишком грубы, забиты холодом жизни и слишком знали, что борьба — закон каждого дня. Багрецов стал Иванова чуждаться, скоро они встречались только раз в неделю по субботам у общего знакомого, пейзажиста Рабуса...

. . . .

После похорон жены Багрецову Александр Иванов вспоминался единственным человеком, которого он мог бы видеть без тяжкого принуждения. Но Иванов давно был уже в Риме.

После ввода во владение Багрецов стал богатым человеком, но странно, ни в Италию, никуда он ехать теперь не хотел.

Первое время он весь ушел в наблюдение за собою. Он раздвоился: сам себе стал дозорным. Просыпался рано от здорового сна, и вот уже становился у своего изголовья, как бы жадно вглядываясь в свое млеющее смуглым румянцем лицо, слушая сердце. Бьется ль сердце? Вот заноет... и начнется.

Ничего не начиналось — из того, чему принято быть в делах убийства во всех обнародованных доселе случаях: рассказов, уголовщины. Ни призрака жены, ни грызущей жалости — ничего.

Багрецов даже начал думать, не был ли он игралищем случая и смерть жены не произошла ли сама собою, от ее плохих органических свойств, а вовсе не от диле-

тантского, проблематического порошка Амичиса. Он напряженно ждал, что Амичис спохватится в пропаже, испуганный прибежит, решив, что он над ним подшутил. Он так и решил обставить дело.

Но Амичис куда-то уехал, получив новое место.

Мысль удостовериться, был ли ядом его порошок, чуть не стала Багрецову ловушкой. Ему вдруг назойливо захотелось жену выкопать, вскрыть, посмотреть. Еле убедил он себя, что такой прием самообличения взят им от криминальных авторов, и силой воли отклонил свои мысли от этого дела.

Впрочем, он был слишком здоров, чтобы любить щекотку самоистязания, тем более — понимая опасность ее в своем положении. По природе страстный исследователь, Багрецов, отметив пагубу мысли, мог уже к ней не возвращаться. Но отметить, в себе ли, вокруг ли себя, он должен был решительно все.

Шли дни. И внезапно он понял: да, он не тот. Порошок Амичиса отравил, кроме жертвы, и ее палача. Сколько б ни повторял Багрецов, кривя рот с сардонической усмешкой: да здравствует общее место — народная мудрость веков — «Преступление влечет к наказанию», — наказание было налицо.

Непосредственность, необходимейший спутник всякого творчества, была в нем с корнем разрушена. Это почувствовал он при первых усилиях композиции, которая прежде ему так давалась.

«Я совершил преступление, и мой талант погиб — какая пошлость! И глупее всего, что эту мысль о непременном воздействии я внушил себе сам».

Багрецов был в бешенстве. Наконец он решился: пошел к одному модному магнетизеру-месмеристу, прося его сделать внушение в том, что он обладает в полной мере своим дарованием, особенно блестящим по композиции, объяснив, что сейчас, из-за нервного страдания, уверенность в этом им вовсе утрачена.

Модный болван, скрестив руки и пронзая его глазами, властно потребовал кучу денег и признанья, с каких лет он предается онанизму.

Багрецов послал его к черту и решил предоставить свое состояние всеисцеляющему времени. Но поездку в Италию отложил. Увидать великих творцов, без

надежды попасть в их семью, хотя бы и младшим членом, было ему невыносимо... Он забросил живопись.

Один знакомый заинтересовал его было кружком недавних студентов его факультета — Огаревым и Герценом.

Насколько Багрецов понял из восторженных речей этого зеленого юнца, подбор молодых людей был объединен наивнейшей верой, что им предназначено обновить и спасти мир посредством собственных прекрасных качеств души. Багрецову чужды были люди с гуманными побуждениями, не умевшие возвыситься или до спокойного созерцания идей, или до решительных действий. Но сейчас, после смерти жены, в нем пробудилась своеобразная тяга именно к обладателям веры и истины субъективной. Едва он перестал быть творцом, неудержимо захотелось ему стать разрушителем. Утверждение чьей-либо веры или убеждения уже волновало его сладкой властью эту крепость разбить. Особенно потянул его Герцен. Но, как нарочно, его тогда в Петербурге не оказалось, он, скомпрометированный нелепой студенческой историей, был сослан в Пермь.

Из всех прежних знакомых только с одним человеком у Багрецова сохранились отношения. Больше того: из ученически-почтительных они превратились в привязанность. Выходило, будто сама судьба опять связала его косвенно с другом, который еще в годы учения столь великодушно искал с ним союза «взаимного экилибра». Через старика Иванова Багрецов стал узнавать все тайны вдохновения его сына.

Простодушный старый ребенок! Он бы самого дьявола мог натравить на своего сына, не понимая, что делает. Отношения старика Иванова к Багрецову начались с случайной встречи на улице. После того как Багрецов разбогател и завел свой особняк, бывшие товарищи при встрече кланялись с ним неохотно, подчеркнуто звали по имени-отчеству, тем выражая безмолвное ему осуждение. Как-то утром, после ночи, проведенной в загородном кабаке, — таков стал у Багрецова обычай, — он, чтобы освежиться, с островов пешком шел домой. У самой Академии его окликнул Андрей Иванович, шедший на лекцию. То, что старик попрежнему

назвал его «Глебушка», нежданно тронуло его, как ребенка.

— Что ж не зайдешь? Тебя сынок мой особо любил, да и мне охота тебе похвастать его итальянским успехом. Да вот, не откладывай, приди нонче обедать.

Отвыкший от бескорыстного человеческого привета, Багрецов с удовольствием пошел к шести часам, через знакомые академические коридоры, отдавая поклоны постаревшим сторожам и натурщикам, в квартиру Иванова, так памятную с детства. Едва он перешагнул порог этих необыкновенно опрятных комнат, увидал моложавую мать Александра за пяльцами, неоконченную акварель сестры, лампады перед образами, как уже весь был окутан атмосферой особой, тепличной нежности. Не она ли являлась главным источником повышенной чувствительности Александра? Семья Ивановых была не только сплочена, как редкие русские семьи, она была ярким выражением своего времени, и при всей привлекательности сердечной там царил дух трудно выносимой приниженной покорности. В своей крепкой обрядовой вере отец смиренно принимал все виды произвола, от царского самодурства до самоуправства чиновников, как установленные волей божией. Это был талант запуганный, обезличенный требованиями Академии насаждать искусство «строгое, безвредное и высокоумное», с предписанием: Микеланджело именовать «дерзким», Рафаэля «добронравным». Но все же это был талант.

Мать, рожденная Демерт, происходила из артистической семьи, была очень красива, с чертами правильными, типа Тициановых женщин. Особенного влияния на сына она не имела. Отец был единственной поглощающей привязанностью Александра Иванова, как человек и художник-учитель. Это чувство у него обострилось сейчас на чужбине, особенно после отказа от радостей первой любви.

Старик Иванов, запуганный интригами товарищей, бесцеремонностью сановного академического начальства, наряду с нескрываемым восторгом к успехам сына, чуть-чуть, как и он, пришепетывая, то и дело вставлял:

— Пишу Александру, ох, бойся высокоумия, беседуй с священниками, избегай разговоров, внушающих надменность! Впрочем, сын мой далек от гордыни. Вот

гляньте, он пишет, что счастлив одобрением именитого Каммучини. Под его влиянием отменный эскиз свой «Сусанна и старцы» положил переделать...

Старик вынул из старинной шкатулки черного дерева, полной римских писем сына, листок и прочел:

«Каммучини сказал: бегущие старцы ни в коем случае не допустимы. Я их выбросил...»

Багрецов особенно помнил эти нехитрые слова старика, они были ему живым документом силы его теперешнего влияния на его сына. Не на днях ли Александр Иванов про этого же римского премьера сказал Багрецову его же словами: это мастер надутый!

Подрыв влияния Каммучини, чья слава не стоила и мазка гениальной кисти Иванова, был началом иных предполагаемых воздействий Багрецова, решающих...

Не зная, для каких соблазнов, в своей старческой болтливости отец Иванова предавал Багрецову тайные мысли, и характер, и все интимное содержание творчества сына. То он подробно расчленял композиции присланных из Рима копий с «Братьев Иосифа», с «Самсона и Далилы», то, перебивая себя сам, восклицал:

— При такой мощи рисунка, думаешь, Глебушка, он зазнался? Нимало. Он все тот же, скромнейший. Да вот выслушай, что говорит...

Старик надевал на свой крепкий коротенький нос очки и читал из письма сына:

«...Я работаю, чтобы удовлетворить *вечно недовольный глаз мой,* а не для снискания чего-либо».

— Глебушка, — воскликнул добрейший профессор, — ты молод и невинен, отдайся, как Александр, всецело искусству! Поверь, нет счастья большего на земле, как, имея *вечно недовольный глаз,* продвигаться все дале, в область радостей бескорыстнейших. Отдайся живописи!

Но Багрецову было трудно работать. Он еще долго, бесплодно и грязно болтался в России. И странно, на отъезд в Рим толкнул его снова он, отец Александра Иванова. Это было осенью, на выставке прекрасной картины его сына «Христос в вертограде»...

Невольно залюбовавшись Магдалиной, ее улыбкой сквозь слезы, Багрецов не заметил, как старик Иванов оказался с ним рядом. Он был в вицмундире из уважения

к итальянским успехам сына. Эта встреча была для Багрецова окончательной, и он помнил ее до пустячных подробностей.

— Какова сила письма, — шепетнул старик, не здороваясь, а беря под руку и как бы продолжая давно затеянный разговор. — Ну, разве не живая жена-мироносица? После бесконечно пролитых слез, «утру глубоку», как поется в пасхальной песне, она лицезрит учителя живого! О, сколько натурально разведены в удивлении руки, а тело? оно восхищенно склонилося долу, а полные слез глаза уже сияют неудержимой нечеловеческой радостью. Представь себе, Александр заставлял натурщицу для натуральности резать крупную луковицу, что вызывало в ее глазах слезы, а он ее при этом изрядно смешил... Я боюсь, не плохой ли он уже христианин? Вот ведь и у Христа торс Аполлона, и нет обычных к этому евангельскому тексту атрибутов садовника. Мы с ним письменно пререкались...

И вдруг испугавшись, не предал ли сына, старик с новым жаром подхватил:

— Вся Академия в восхищении от свободы драпировок, от глубины картинной плоскости! Президент Оленин удостоил меня, как отца, поздравлений, сам император соизволил высказать похвалу...

Похвале императора, которой старик хвастал, Багрецов уже знал цену от академистов. При всей своей забитости они осмелили оценку царя назвать *жеребцовой.*

И по справедливости. Едва завидев картину, неспособный оценить ее достоинства живописного, Николай выпалил про Магдалину: «Могла бы быть попригожее!»

Старик опять затащил Багрецова к себе, и он должен был слушать о том, что говорит о картине критика «Северной пчелы», о мнении Кукольника, находившего, что признание картины копией с древних мастеров, как это произошло с кем-то на выставке, есть уже для нее наивысшая похвала.

— Ему дали *академика,* — сказал старик со слезами на глазах, — но самое неизъяснимое и прекрасное — это все же собственная душа его. Пойдем ко мне в кабинет!

Андрей Иванович провел Багрецова к себе, запер двери, посмотрел, нет ли кого чужого в коридоре, и дро-

жащими от волнения руками, держа последнее письмо сына, прочел:

«Как жаль, что меня сделали академиком! Мое желание было никогда не иметь никакого чина...»

— И, представь, еще юношей он, бывало, говаривал, и с каким азартом: *«Художник должен быть свободен совершенно, никогда ничему не подчиняться!»* Но, Глебушка, узнай и главнейшее, — случай: моего сына с детских лет окружала восторженная вера всей нашей семьи. И вот я опасаюсь, не гордость ли это? Сюжет так необычаен по внутреннему расположению. О, что он замыслил! Вообрази: он решил всех *обратить ко Христу.* Да, да, ни более ни менее. Такого написать Христа, такое дать несказанно благодатное его появление, с такой силой перелить свою веру, заразить ею, передать из рук в руки неверующему, чтобы, едва подойдя к картине, он бы в сердце своем пал на колени, тут же, не отходя, смыл в духовной Иордани все преступления, все грехи и, восстав в чистых ризах, с Иоанном воскликнул бы:

— Се агнец вземляй грехи мира!

. . . .

Растративши безумно юность, опустошенный и разоренный, Багрецов стал вдруг неотступно мечтать о встрече с Александром Ивановым. Сперва без ясно очерченной цели, с одним острым волнением охотника, которому вдруг указали давно желанную дичь. Но с каждым новым посещением старика Иванова, с каждым свежим письмом из Рима — мысль его наливалась жестокостью. Сам бесплодный, он присутствовал при развитии громадного замысла, который художник почитал уже событием мировым.

Да, мысль Багрецова наливалась жестокостью, и напряженная злая воля знала: или картина Иванова, которой отдал он целую жизнь, будет им брошена неоконченной, или я вместе с ним еду в Иерусалим, куда он так долго и горько просится у бездушных властей, я на его дело отдам состояние, стану слугой и хранителем его дарования.

И вместе с тем в тайнике сердца, про который человек сам себе уж и не хочет сказать, Багрецов, разбитый собственной пустотой, нет-нет, а мечтал о некоем «чуде»: заткнув уши, зажмурив глаза, неровен час, самому выклик-

нуть вслед за Ивановым, как кликуша: «Credo, credo, quia absurdum!»[1]

Прежде чем уйти к черту, попробовать надо б и это. И Багрецов уехал в Италию.

Глава V
СЕВЕРНАЯ КОРИННА

Перо терзает иногда сильней,
Чем пытка! Чтобы уничтожить царство,
Движения пера довольно; даже рай
Дает перо отца святого папы.
Ты веришь в эту власть?

Лермонтов.

«...Царица муз и красоты, рукою нежной держишь ты волшебный скипетр вдохновений», — так писал ей Пушкин, посылая «Цыган». Стихами менее прекрасными, но не менее лестными восхвалили ее Баратынский, Иван Киреевский, Козлов и безнадежно влюбленный юноша Веневитинов. Адам Мицкевич был с ней связан восторженной дружбой, или, как это лучше звучит: amitié amoureuse.[2] Император Александр посылал ей письма с особым курьером. А Глеб Иванович Багрецов замыслил против нее предерзостный и хитрый план.

— Ты уверен, Гоголя ничем не заставить пустить в ход свои связи с княгиней, чтобы освободить Бенедетту? — спросил он как-то Иванова.

— Пропащее дело. Гоголь говорит, что княгиня не станет просить за пошедшую против ватиканского управления. Она всецело под руководством умелых патеров, которые гонят ее золото в свой карман, а силы души только в небо, где — уверили ее — знают лучше, кому что давать. Не так давно близкого ей юношу, некоего сироту Владимира, первоначально взятого на воспитание как сына, она, не поставив на ноги, выбросила просто писцом к банкиру Валентини: признаюся, я немало был изумлен...

---

[1] Верую, верую, потому что бессмысленно *(лат.)*.
[2] Любовная дружба *(франц.)*.

— Ужели тебе не прискорбно видеть, — сказал Багрецов, намеренно задевая слабую струну в чувствах приятеля, — как дорожит Гоголь ее обществом? Не сам ли ты намедни мне говорил, что даже его матушка мучится, как бы патеры не свернули его в католичество? Сердце матери чутко: и не оглянемся, как Рим прибавит к именам аристократов имя славнейшего писателя русского. Ты полагаешь, что это возможно?

Иванов приподнял синие очки и для верности глянул в зрачки Багрецова внимательными, необыкновенно умными глазами.

— Это возможно, — сказал он с печалью, — Николай Васильич сейчас в таком разоренье. Намедни сказал мне: *«Забвенья, глубокого забвенья жаждет душа моя!»* Потом глаза его зажглись и пророчески, как ихний ксендз с кафедры, он вдруг возгласил: «Все и вся должны исчезнуть, не только литература русская. В нетленном мире тленное не будет иметь места!» О, сколь хитры ковы иезуитов.

— Вот видишь, — подхватил Багрецов, — и я боюсь за Гоголя. Вовлекут в сети твоего «важнейшего» так, что потом и не вызволить... и потому вот предложение: входи со мной в заговор против святых отцов на пользу Бенедетты. Строчи немедля Гоголю, чтобы он выпросил у княгини позволения привести к ней, ну, отгадай, кого? Конечно, Доменико. Он в ярости не похуже патеров сумеет погнуть на свою линию, а до новых впечатлений княгиня, побожусь, что падка и сейчас.

— Что ты, что ты, большие могут выйти неприятности, — отмахнулся Иванов, но, подумав, прибавил: — Однако посоветуюсь с самим Николаем Васильичем.

Через несколько дней все по обыкновению встретились под вечер в кафе Греко. Вдруг Гоголь в отличнейшем расположении духа сам сказал Багрецову:

— Передать вашу просьбу княгине и подготовить ее к революционным речам Доменико я не берусь, но подобное свидание считаю сам не без пользы ввиду Бенедетты, из-за которой работа Иванова стоит. И знаете что?

Он прелукаво ухмыльнулся и шепнул:

— Повалимте-ка этим же вечером в виллу гуртом, без никакого зова, как истые северные медведи? А нуте, обработайте для этого дела того голосистого...

И вдруг, пристально вглядываясь в Багрецова, будто впервые его увидал, Гоголь сказал:

— А ведь вы были *тогда на Николин день у меня?* Еще в погодинском саду Лермонтов нам читал, аль запамятовали?

— Вы отлично знаете, что я *этот вечер* забыть не могу, и сами меня сразу узнали, но по капризу признать не хотели.

— Ишь вы какой, — ухмыльнулся Гоголь, — заметливый! Ну, зайдите, тогда и побалакаем, а сейчас того... брата Гракхова раздобудьте, да швиденько, пока на виллу черных сутан не набралось. Я свободный от них час знаю...

Багрецов, не торгуясь с возницей, понесся из одного конца города в другой захватить Доменико на одной из известных ему квартир. Доменико видался с ним в последнее время ежедневно и, польщенный его непритворным интересом к планам «Юной Италии», был с ним доверчив. Он оказался в крохотной комнатке за кухней в остерии Лепре, которую толстая синьора Пепита, к изумлению Багрецова сочувствовавшая революционерам, давала ему безвозмездно.

— Синьор Доменико, — вскричал Багрецов, — если вы хотите увидеть на свободе вашу сестру, чудесно пополнить тощую кассу «Юной Италии» и впридачу натянуть длинный нос отцам иезуитам, идемте со мной нынче вечером к древним Клавдиевым акведукам!

— Вы раскопали клад? — спросил Доменико, не отрываясь от работы.

— Да, и как всякую неподдельную ценность, его блюдут драконы. На этот раз не огнедышащие, а медоточивые, в черных сутанах.

— В таком случае, и не будучи архистратигом, я сразиться готов! Но в чем дело?

— Мы сегодня идем с вами на виллу Волконской, где Гоголь вас представит княгине, а вы, как маэстро в бенефис, превзойдите себя самого: чаруйте ее какими знаете чарами, но вовлеките в круг своих интересов.

— Но княгине я покажусь самим дьяволом, через два слова она мне велит замолчать.

— Ваше дело направить верно подкоп, и Троя взята была не оружием, а лишь деревянным конем. Княгиня

чувствительна и полна благородных стремлений. Троньте ее страданьем несчастной страны и, когда «пламя голубое» ее воспетых поэтом, когда-то прекраснейших в мире глаз затуманится слезою сочувствия, идите смело в атаку!

— Однако у вас выработан целый комплот, — улыбнулся Доменико. — Есть сообщники?

— Иванов и Гоголь. У последнего внезапный каприз нам помочь. Надо спешить, пока он не остыл. Гоголь проведет всех в час, когда нет никого. Он же изобрел этот истинно варварский способ ввалиться «без никакого зова», как он выразился, одной сплошной гурьбой. Княгиня — артистка с головы до ног. И, сколько ни забивают ее ловкачи-патеры страхом ада, прежде всего неравнодушна ко всему яркому и даровитому. Вдохновитесь же, милый Доменико, в ваших руках свобода Бенедетты!

Смуглое лицо Доменико не вспыхнуло, а покраснело медленно и тяжело. Он был взволнован.

— Если дело серьезно, — сказал он, — то расскажите мне все, что знаете про княгиню. Признаюсь, то, что я знаю про нее сам, меня немало смущает: то она ставила оперы, то выступала на конгрессах певицею и поэтом, то писала научный трактат, то отдалась благотворительности. Но есть ли этот всеобъемлющий дилетантизм прирожденное легкомыслие? Но то, что восхищает в гостиной, всего меньше бывает способно к серьезному бескорыстному одушевлению. Однако расскажите мне про нее на совесть, без излишнего красноречия, попротокольнее, вроде как пишут «жизнеописание».

— Извольте: княгиня родилась в Дрездене, где отец ее был посланником. Детские годы ее прошли в Турине. Мать ее умерла рано, ее заместила мачеха, отчего у девочки возник восторженный мечтательный культ покойной матери. Как видите, сразу: ни крепкой нормальной семьи, ни родины, ни своего языка. Отцу ее — князю Белосельскому-Белозерскому, блестящему стилисту и только из-за дипломатической карьеры не литератору, Вольтер писал: «Вы владеете нашим языком лучше, нежели все молодые придворные французы». Естественно, что и дочери французский заменил русский.

Отец был помешан на искусстве, его салон являлся сборным пунктом всех знаменитых артистов и писателей. Стихийная любовь к искусству и религиозность в наслед-

ство от бабки Татищевой — вот две линии, по которым пошло развитие княжны Зенеиды.

Очень рано она выходит замуж за брата декабриста Волконского, и начинается для нее ряд непрерывных блистательных успехов. На Венском конгрессе она набирает группу из поклонников Россини, ставит его оперу на частном театре, вызывая бурные восторги. В Вене выступает певицей, с таким успехом, что знаменитая Марс говорила: «Жаль, что такое дарование у дамы большого света, ей не дадут сделаться артисткой». И, конечно, ей не дали. Император Александр, говорят, не однажды пенял ей за страсть к публичным выступлениям, а за ним великосветские осы жалили как могли. Я много подробностей из жизни княгини слыхал от моего отца, приятеля старого Белозерского. В двадцатых годах княгиня в Риме. Теперь она — композитор. Написала оперу, в которой, как здесь многие еще помнят, сама исполняла главную роль. Бруни и Брюллов писали ее портрет...

На Веронском конгрессе новые выступления, новые лавры. Затем в Петербурге княгиня углубляется в археологию и историю. Задумывает повесть о первобытных славянах, не без некоей мистической подкладки, пишет поэму об Ольге, великолепной язычнице и проблематической христианке, которую родословная князей Белосельских считает в своем родстве. Работа ее оказалась настолько интересна, что ученое общество российских древностей избирает ее своим почетным членом. В двадцать шестом году салон ее особенно блистал: в нем появились Пушкин и Адам Мицкевич... В позднейшее время княгиня занялась проектом эстетического музея при Московском университете, готова была жертвовать свои средства на закупку мраморов, на заказы копий с классиков, но прекрасный и нужный проект отклонили. Этот отказ порвал последнюю надежду, которой она пыталась связать себя с жизнью родины. Да, наша грубая и жесткая родина оказалась тоже мачехой по отношению к этой необычайной по дарам и энергии женщине. Русский быт парализовал возможность таланту ее завершиться во что-нибудь окончательное. Княгиня расточила себя по мелочам, нигде не выразившись в совершенстве. Но зато она сумела объединить вокруг себя художественную жизнь России.

Ее имя навсегда связано с именем Пушкина, с блистательным мигом истории нашей культуры.

Как видите, вы неправы, — закончил Багрецов, — обвиняя княгиню в легкомыслии и дилетантизме. Всему виной ее биография. Повторяю, Зенеида Волконская характера благородного, способная увлекаться до самозабвения, но жизнь с рождения бросила ее в мир фантазий. Сама она не умеет спуститься на землю, но благородная, твердо устремленная воля может направить ее на какой угодно подвиг. Словом, мой друг Доменико, отбейте эту прекрасную душу у святых отцов!

— Во имя сатаны, патрона всех отважных, я ее отобью! Но куда же идти? и когда?

— Сию минуту, сборный пункт у Гоголя, оттуда на виллу.

. . . .

Вилла княгини стояла на холме. Если взглянуть на нее снизу, — необъятная корзина цветов. От подножья до верху стены заткал темный плющ. А по нему пышно разбросались розы, чайные и розовые, и мелкие сорта банкций. Благоухание гелиотропа, лакфиолей, глициний и горький дух повилики дурманили голову. Гордый акант, увековеченный греками в роскоши коринфской капители, как изваянный из темного камня, вырезывался на легком зеленоватом небе. Княгиня приютила свой казино под сенью колоссальных арок древнеримского акведука. Вот здесь любил в одиночестве лежать Гоголь, теряясь взорами в пустынях Кампаньи.

Пониже тянулись густые аллеи, где между листвой кипарисов, платанов, маслин сверкали обломки пьедесталов, колонн архитравов, которые помнили времена Цезаря и времена еще более ранние. На монументах золотились надписи о незабвенных людях: иных великих по человечеству, других просто близких сердцу.

Они четверо шли по громадному винограднику, разделенному полуарками Клавдиева водопровода. В этих арках, как в рамах, открывался то древний собор, то голубые Альбанские горы. Внизу змеилась дорога, обсаженная орехами и платанами. Вокруг четырехугольного дворика, как солдаты на смотру, выстроился лоза к лозе кудрявый, усатый, пышно разросшийся виноград.

— А гляньте-ка, вон и княгиня, — сказал Гоголь, —

она в «аллее друзей», в самом конце, у колонны Байрона. — И, понижая голос, продекламировал: «Звездой полуденной и знойной, слетевшей с Тассовых небес, даны ей звуки песен стройных и гармонических чудес...» — А ведь это ей было писано в юности и не от кого-либо — от крупнейшего из людей.

Все свернули на «аллею друзей». Здесь уже в известном порядке, чередуясь с кипарисом, мимозой и лавром, возвышались обломки древностей с надписями.

— Никак это Campo Santo [1] княгини? — спросил быстрый Доменико.

Глаз схватывал то тут, то там посвящения. Пред одним камнем Гоголь всех задержал движением руки.

— Александр Пушкин, Евгений Баратынский, Жуковский.

Сняли шапки, молча стояли. Потом блеснули буквы:

A Goethe. Il fut l'oreole de sa patrie. [2]

— А вот и Веневитинов, прекраснейший юноша, полный души и таланта, беззаветно отдал свою лиру и сердце этой женщине... — начал с нескрываемой досадой Иванов.

Но Гоголь, строго взглянув на него, кончил сам:

— Дмитрию Веневитинову посвящена прекрасная строчка из его собственного стихотворения: «Как знал он жизнь, как мало жил!»

На колонне Байрона, около которой стояла княгиня, ярко светилось: «Implora pace!» [3]

— Вот я привел вам, княгиня, — сказал без всякого предисловия Гоголь, — своего приятеля, пламенного патриота среди итальянцев, синьора Доменико.

Княгиня с естественностью очаровательной сказала:

— И отлично сделали, что привели.

— «Implora pace», — прочел вслух Доменико, — но разве покоя хотел этот неукротимый? Его ль он искал, когда бежал из отечества, живя у нас близ Равенны, принимал участие в заговоре карбонаров, хранил их оружие в своем замке? И в бою за чужую свободу нашел себе смерть в Миссолунге? Зачем же молить о том, чего человек *себе сам не хотел?*

---

[1] Кладбище, украшенное памятниками *(итал.)*.

[2] Гете. Он был славой своей родины *(франц.)*.

[3] Молю мира *(итал.)*.

Княгиня с милостивым снисхождением, как на интересного ребенка, смотрела на Доменико. Гоголь поспешил сказать:

— «Implora pace» адресовано совсем не к земному поприщу поэта. Однако именно здесь, в Италии, приятно было бы каждому прочесть благодарность от страны, столь им дивно воспетой. Вот и просим мы вас, княгиня, сказать нам хотя бы собственное ваше стихотворение в прозе по этому поводу.

— И очень просим, — поклонился Иванов.

Тотчас княгиня со всей естественностью, ее отличавшей, сказала прекрасным грудным голосом:

— Венеция! волны морские могут залить тебя, твои дворцы и храмы, смыть радужные краски Тициана, но имя твое, Венеция, звучит навеки на золотой лире Байрона. Стихи великого поэта — неразрушимый Пантеон.

— Теперь вы довольны? — обратилась она к Доменико.

Княгиня, все еще прекрасная в своем увядании, была охвачена поэтическим чувством. Ее большие голубые глаза, столько воспетые, лучисто засияли.

— Прикажете быть искренним, княгиня?

У Доменико, при виде этого изменчивого, живого лица, явилась надежда на успех своей проповеди.

— Если для этого нужно мое приказание, я приказываю, — улыбнулась она.

— Ну вот: для меня никакие стихи Байрона не могут сравниться с его прекрасной готовностью бросить жизнь *за свободу* чужого народа; будь это лишь вспышка благородного сердца, одна она достойна бессмертия. О, если бы вы знали, княгиня, что значит отдать свою жизнь народу, жить не одной, жить тысячью жизней, горем и радостью всех!

— Но я очень понимаю вашу страстную любовь к такой чудной родине, — прервала княгиня чрезвычайно любезно, но вдруг с той же светской сдержанностью, которая неуловимым холодком предупреждает неприятную чужую экспансивность. И, желая свернуть разговор в знакомое русло искусств и науки, она обратилась к Гоголю и Иванову, жестом приглашая их в свой союз.

— Не правда ли, все страны — должницы Италии? Она положила начало европейской науке, создала миро-

вое искусство и мировую литературу. Ведь Данте только по языку принадлежит вам... — И она очаровательно улыбнулась Доменико, как человек, осыпающий нежданными милостями.

Голова Доменико, кудрявая, чистого римского типа, была так хороша среди древних руин, что Иванов, не сводя глаз, едва ли слыхал разговор. Зато Гоголь, сидя по обычаю своему нахохлившись и уйдя в воротник, весь насторожился и зорко глядел то на княгиню, то на Доменико.

— Что, не довольно вам торжества? — сказал он ему. — Слышали: все страны вам должники? По искусству вы — первейшая страна...

— К сожалению, это первенство в искусстве мы купили ценой своего политического существования, — отрезал Доменико так желчно, что княгиня с испугом оглянулась кругом.

Иванов, как бы спрятавшись за синие стекла своих очков, упорно молчал. С лица Гоголя не сходило лукавство. Багрецов, как всегда не в интимном кружке, умел настолько стушеваться, что никому не приходило и в голову его замечать. Но внутренне он был в сильном волнении от того, чем разрешится визит Доменико. Его революционным речам здесь до грубости неуместно было звучать. Вдруг Гоголь придумал ловкий маневр.

— Княгиня, — сказал он, — к вам не долее как через час придет ваш аббат, и вы будете под надежной защитой. Выслушайте же пока, не оскорбляясь их смыслом, речи Доменико. Тем более, если молодой друг наш заблуждается и пришел к вам с полным доверием, вы должны его выслушать, хотя б для того, чтобы узнать, от чего именно его вам придется спасать! Доменико — такое же дитя народа, как и те, что зовут вас «beata» и к кому вы столь бесконечно добры.

— Только разрешите держать мне свою речь в более уединенном месте, — попросил итальянец.

— На моем акведуке, — подсказал Гоголь.

Княгиня ласково улыбнулась. Артистка проснулась в ней. Горячее лицо Доменико, необычайный в ее доме тон — все ее заинтересовало. Она сказала:

— Разумеется, на акведуке всего безопаснее. К тому же, кроме Николая Васильича, туда любят лазить только

коты. Еще несомненное преимущество: там сухо, и даже этот малярийный час не опасен.

По каменной лестнице они вошли на просторную террасу, вознесенную высоко над городом. Солнце село, и набежавшие сумерки уже поспели заполнить весь город лиловою мглою и отнять у зданий их дневную отчетливость. Пустыня Кампаньи отодвинулась дальше и казалась затихнувшим в безмерности океаном.

— Я люблю этот тихий час, — сказала княгиня, — когда Рим замирает пред тем, как ему вспыхнуть огнями. Даже пения не слышно. Я вас слушаю, — повернулась она к Доменико.

— Княгиня, — начал он в заметном волненье, — я буду говорить вам о том, что поглотило все мои мысли и чувства, всю кровь до последней капли. Я буду вам говорить о судьбах Италии. Простите, если это выйдет немного похоже на лекцию, но ведь в истории без беглого обзора прошлого нельзя понять, чего мы жаждем в настоящем.

— Охотно вас слушаю, — сказала княгиня, — хотя, признаться, если это политика — я всех менее могу вам помочь...

— Вы наблюдали, княгиня, в силу вашего положения всегда только внешний ход событий, не зная их корня. Вы имели влияние в высших сферах, но были устранены от самого *процесса жизни*. Но ведь только участие в этом процессе и дает человеку сознание своей неразрывной связи с целым. Княгиня, припомните, как прекрасно вы понимали страдания патриота Адама Мицкевича, как глубоко хотели их облегчить. Так вот: эти страдания сейчас — удел *целого народа*, которым вы окружены, который, как сказал сейчас Гоголь, зовет вас «блаженной». Узнайте же эти страдания!

— Говорите, — сказала княгиня.

— Еще среди хаоса средних веков мечтой о едином итальянском союзе были живы мы — итальянцы. Мы помнили, что мы римляне. И, как мощный разорванный организм, мы знали боль свою и жаждали воссоединения. Мы рано поняли: на стороне какого бы из владык, папы или императора, ни оказалась победа — *жизнь нации связана только со смертью обоих*. Уже Ломбардский союз — разительный пример обаяния идеи свободы и еди-

нения городов. Благодаря папам и королям, бессильная составить единое тело, нация стремилась к единству, хотя бы отвлеченному. Вы только подумайте: как сейчас, и тогда каждый жил своим маленьким виноградником, своими мелкими распрями... Но едва иноземец Барбаросса посягает на права городов, разорванные клочья встают мощным Ломбардским союзом! О, не будь предательства папы, мы тогда уже свергли бы чуждое иго! Не раз, не раз хоронили папы зарождавшуюся свободу Италии.

— Простите меня, — прервала княгиня, — однако недавний опыт Бонапарта, наводнивший вашу страну республиками, нашел тоже немало хулителей. Какая же свобода еще вам нужна?

В ее голосе слышалось раздражение, и руки, легко лежащие на коленях, дрогнули.

— Княгиня, ваша речь — вода на мою мельницу. Ваш пример был у меня на устах. Но совсем с иным выводом. Тот, чье убеждение было: tout *par* le peuple, rien *pour* le peuple,[1] — разве мог дать народу свободу? Да он искромсал несчастную страну ножом по живому телу. Он раздавал, как вотчины, своей родне наши древние республики, он приносил народ в жертву чуждым ему замыслам. Нет, напрасно бонапартисты клянутся, что замысел Наполеона был — единство Италии. Но за урок мы ему благодарны: французское владычество и преобразования закрепили в нас сознание бесповоротное, что народ освобождается только *собственной силой.*

Дальнейший опыт — Венский конгресс. Он превзошел и Наполеона. В самом деле, что дали Италии все эти герцоги и короли, водворенные на старые места? Трудно поверить, но уже это — история.

Ботанический сад в Турине разрушен, как произведение французского вольнодумства. По той же остроумной причине отменена прививка оспы и освещение города фонарями. Больше того, король Фердинанд отказался ездить по главной улице, проведенной французами, и велел прекратить раскопки Помпеи. Восстановлена инквизиция, папская булла прокляла книгопечатание. О, Макиавелли еще раз прав. Никакие неистовства Борджий не могли быть так гибельны для Италии, как тот путь,

---

[1] Все руками народа, ничего для народа *(франц.)*.

на который толкнула ее сейчас власть духовная. И что за дикость — *над нами монах государем!* Объявляет себя главой христианского мира, из которого три четверти не признают его вовсе, а половина второй четверти терпит его из нужды...

— Нет, таких речей я слушать не желаю!

Княгиня встала.

— Простите его, княгиня, — заторопился Иванов. — Про папу это зря он болтнул. У него настоящее дело есть к вам, кровное, уж дайте ему досказать.

Но Доменико летел, как в бою. Забыл этикет, наступал на княгиню, кричал:

— Благодаря стольким испытаниям люди нашего поколения пробудились к страданию! А страдание научает мыслить.

Княгиня подняла руку, Доменико и тут не дал ей сказать:

— Простите мою резкость, но я говорю о том, что для меня дороже жизни! Своим положением в свете вы были отрезаны от действительности, я вырос в нужде, я знаю ее слишком хорошо. Все страны мира — должницы Италии, — это ваши слова. Так заплатите же ей хоть за вашу страну. Помогите вы, восхищающаяся ее Рафаэлем, ее Микеланджело, помогите завоевать ей то, что есть у каждого поденщика, — родину!

И прежде всего, княгиня, помогите освободить бойцов, восставших за достоинство народа, о котором намедни один из королей себе позволил сказать: «Мои провинции должны забыть, что они итальянцы. Они должны быть соединены только общими узами — повиновением моему дому».

Княгиня, всем известно, что вы благородны и чувствительны, повторяю: недаром народ наш прозвал вас «beata», но вы в заблуждении, вы не знаете правды, вопиющей человеческой правды ни о чем!

На Веронском конгрессе, когда вы пожинали восторги и лавры, выступая публично, вам не приходило в голову, что̀ делали с нашим народом эти герцоги, дипломаты и короли, целуя ваши руки и выражая изысканно свой восторг! Знали ли вы, что на этом самом восхищавшем утонченное чувство конгрессе было решено, что австрий-

ский корпус в двадцать пять тысяч человек займет Неаполитанское королевство и весь наш Пьемонт?

И сейчас, княгиня, у вас дурные советники. Их черные сутаны закрыли вам свет солнечный...

— Только не сбейте одного из них с ног, — шепнул Багрецов, одергивая за руку Доменико, который, в пылу речи отступая назад, чуть не столкнул с ног аббата, подымавшегося на террасу.

Доменико отскочил, как ужаленный, но аббата уж не было. Увидав, что княгиня здесь не одна, он скользнул в боковую нишу.

Княгиня сделала несколько шагов к Доменико и сказала с мягкостью, но очень решительно:

— Между нами пропасть, и говорим мы с вами на разных языках. Поясню примером: когда император Николай спросил митрополита Филарета, освобождать ли ему крестьян, тот ответил, что для церкви ему не важно, *свободны они или рабы:* для церкви важно, чтобы они были *православными.* Так для меня сейчас, когда я узнала истину о вечности, мне тоже кажется достойным заботы только одно: чтобы все люди стали *католиками.* Все же прочее, вплоть до исторических судеб народа, — суета сует.

Бешенство, как огонь, пробежало по лицу Доменико. Гоголь схватил его за руку, а Иванов выбежал вперед и, растопырив ладони и нелепо трепыхая своим черным плащом, заговорил, пришепетывая, торопясь спасти положение:

— Но есть, княгиня, поприще, где люди даже противоположных убеждений могут не быть враждебными, это — *сострадание,* простое человеческое сострадание! Сестра Доменико, прекрасная Бенедетта, почти ребенок, томится в тюрьме. Похлопочите об ее освобождении!

— Я не делаю ни единого шага, не посоветовавшись со своим духовником, — сказала, заметно побледнев, княгиня.

— Тогда во имя чести забудьте весь наш разговор! — крикнул Доменико. — В Италии каждый служитель алтаря — предатель народного дела.

И, не оборачиваясь на спутников, Доменико стремглав кинулся вниз по лестнице.

Глава VI
ВЫСОЧАЙШИЙ ПРИЕЗД

> Вдруг двери студии распахнулись, и вбежавший стремглав Александр Андреевич Иванов в вечном плаще с красным подбоем от поспешности чуть не растянулся на пороге. — Государь здесь близко, в базилике Maria Maggiore, и сейчас будет к вам! — вскрикнул он.
>
> *Ставассер.*

Александр Иванов жил на горе. Пройдя с улицы Сикста через чудесный сад, затканный гроздьями винограда и цветущими розами, Багрецов прошел к нему в мастерскую. На огромном окне стояла ширма в полтора стекла, чтобы убить яркую зелень рефлексов от деревьев: миндаля, фиг, орехов, древней змиевидной лозы.

Гигантская картина «Явление Мессии» была задернута драпировкой. Внезапно отдернув ее, художник, словно посторонний, мог глубже отмечать недочеты. Больше двухсот этюдов природы и фигур было развешано по стенам.

— Александр Андреич, — сказал Багрецов, — ты еще долго намерен, как муравей, из римских камней здесь лепить Палестину? Сколько раз предлагал я тебе: дай свезу на свой счет. Перестань чудачить. Общество Поощрения тебе денег на поездку не даст. Я доподлинно знаю, что в Петербурге по этому вопросу говорят: Рафаэль писал первоклассные вещи, не выезжая из Италии, подобное может и Иванов.

— Нет, уж я дождусь, чтоб художника русского для славы родины послала б, как мать, она сама, родина... А пока что из окрестностей Рима как-никак я создаю иорданский ландшафт. Вообрази: наиболее подошел Субиако, в горах сабинских. Скалы голы и дики, река чудесной быстротекущей воды. Обидно одно: приходится втягиваться в развлечения, до которых я не большой-то охотник. Но, не вызывая злобы у братий «питторов», нельзя отказать с ними поужинать и прочее... даже ломать комедию под гром барабана. Эх, если бабка не

наворожила, как тебе, — трудна дорога художнику русскому!

Мало того, что картине жертвуешь жизнью и удобствами, — как удары плетьми — этот обрыв беспрестанный в работе: то болезнь глаз, то натурщик неплочен, то голых людей искать надо — близок свет — в Перуджии! Ведь эти аспиды, содержатели римских купален, ни самомалейшей щелки для глаз наблюдателя не оставляют.

Однако хоть и питаюсь я одной чечевицей, но на предложения Общества Поощрения я, братец мой, не пойду.

— А что пишет оно тебе неприятного?

— Предлагают любовь мою разорвать другою, и это убийство зовут «легким занятием кисти». Говорят, что, изготовляя картины жанра для лотерей, я смогу найти себе и дальнейшие средства к жизни. Варвары люди!

И вдруг вспомнив о чем-то совсем недавнем, еще и еще с гневом воскликнул:

— Варвары, варвары... о, что они сделали с Бенедеттой! Да я ведь было бежать к тебе хотел, если б ты сам не пришел...

Багрецов вспыхнул. Вдруг при имени Бенедетты забилось сердце, и тут же мелькнуло в уме: как, неужто влюблен? Он даже не сразу понял, что толковал ему Иванов, торопясь, перебиваясь и дополняя речь руками.

— Прибегал на заре Доменико, ее брат, переодетый, с привязной бородой. Его ищет полиция... наспех сообщил: слуга, который склонялся за подкуп выпустить Бенедетту, на другой день после нашего посещения виллы Волконской отказался наотрез. Хуже того: Бенедетту перевели в сырую камеру, запретили свидания. В этом деле видны руки монахов. Я побежал к Гоголю, просил, молил идти немедля к княгине. Гоголь был недвижен, сам чем-то крайне удручен. Представь, он сказал: «Хлопотать не стану. Как попало, зря, в этакую кашу нечего и мешаться. Довольно того, что раз уж напутали, приведя на виллу заговорщика».

Он мрачный такой, Гоголь. «Вопрос по существу решать надо, говорит, кого именно вы считаете на земле хозяином? Ежели себя, то и суйтесь в дрязг политики! Я же признаю над собой хозяина, важнейшего себя. И этот хозяин повелевает мне одно: заниматься грехами

собственной моей души, мирным устроением общества, а не какими-нибудь заговорами и подкопами под властей... Поверьте: вы своей картиной, а я книгою сделаем сильнейшую революцию в мире, нежели глупым вмешательством в дела итальянской полиции».

— И ты в душе с ним согласился? — с гневом вскричал Багрецов. — Когда же ты выйдешь из порабощения Гоголю? Да ты слеп, что ли? Не видишь, что все биготство его, весь тон проповедника — от дьявольского самолюбия? Да он ведь ни с кем из людей не вяжет себя чувством, а каждый ему лишь средство или предмет наблюдения. Ну, вот, предлагаю тебе: проделай с ним опыт. Жизнь всего лучше докажет мою правоту. Помнишь, ты мне говорил о своем проекте новой инспекции над художниками, где бы взамен чиновника стоял человек к художникам близкий? Чего ближе поэта? Вот и твоему Гоголю предложи для мирного исправления общества писать о всех вас отчеты своим гениальным пером. Пусть научит власть имущих и все варварское общество наше вернейшей оценке произведений искусства! Это ль не достойное служение отечеству? Вот предложи-ка ему разработать хорошенько проект.

— Изумительный совет, необыкновенное измышление, — сказал Иванов, обнимая Багрецова. — Не сомневаюсь, что порадую этим проектом Николая Васильича в его жажде служить отечеству. А в секретари я приглашу профессора Чижова. Но как жаль, что Гоголь на днях едет в Неаполь! В один миг проект не испечь, а я такой копотун...

— Ну и копайся, над тобой не горит, — сказал Багрецов, в досаде, что этот «блаженный», влюбленный в одну лишь свою картину, как глупая рыба, идет на каждый крючок. Гоголь, которым он так дорожит, при бешеном своем самолюбии, конечно, с ним насмерть поссорится за подобное предложение...

— Ну и черт с ними!

Багрецов был особенно зол: не переставая наблюдать за собой, он немало был поражен сердечным волнением — чувством, давно необычным, которое не оставляло его при мысли о Бенедетте.

«Недостает, чтобы я в это дело ввязался!» — подумал с досадою Багрецов и тут же невольно сказал Иванову:

— Я попытаюсь добиться помощи у Волконской, но без свидетелей...

Иванов пустился обнимать его и благодарить, будто он делал ему личное большое одолжение. И, конечно, так было: Багрецов снимал с нежной совести этого чувствительного человека то, что в нем порождало непосильное чувство ответственности.

Отец Багрецова, живя в Италии, близко сошелся с отцом княгини Волконской. Будучи на много его моложе, он испытывал род юношеского ему поклонения, восхищаясь необычайной просвещенностью, изяществом, грансеньерством князя. Тем более, что по сухости своей природы он подобных размягчающих чувств не любил испытывать по адресу пола слабейшего, боясь утратить свободу.

Княгиня Зенеида была тогда уж подростком и отлично запомнила красивого юношу. Как-то она даже намекнула Багрецову, что отец его был ее первой и, вероятно, единственной, *несчастной* любовью.

Багрецов помнил с детства рассказы об уме и пышности старого князя и почему-то очень раздражительные отзывы теток о молодой княжне Зенеиде. Одна особенно едко приводила слова фрейлины Волковой другой светской даме, Ланской, по поводу поведения княжны на Воробьевых горах при закладке храма Спасителя: «Уж так-то компрометировать себя, как она с синьором Барберини! Ведь уехала с ним в Одессу. Ей мало и горя, что сам государь недоволен».

Багрецов шагал к вилле Волконской и думал о том, какое бы это было счастье, если б он действительно мог любить Бенедетту. Но нет... Он знал слишком трезво, что̀ за чувство им движет... Все та же капризная жажда власти, что гнала деда с полком неприступные брать высоты, гнала отца в увлечении модным научным вопросом — за шальные деньги выписывать негров, венчать их силком в церкви с девками, за каждого ребенка шоколадного цвета выдавать премию...

Честолюбие военное и штатское было чуждо Глебу Ивановичу, но в жизни себя ощущал он хозяином. Да, так было с юности...

Багрецов вдруг, как вчерашний, припомнил один случай с отцом. Старик в тех же целях естествоиспытателя

принудил обвенчаться свою побочную дочь Анну, существо недалекое и забитое, с псаломщиком сельской церкви, жадно ожидая, как живописно сам говорил, чем отрыгнется военное семя предков в кутейных кровях псаломщика. Потомства не последовало. Но на зло чванным теткам старик ежедневно приказывал лакею звать «зятя» на бостон. Изрядно подпоив дьячка, старик говорил: «А ну, дьяче, дерни-ка мне Иону во чреве китове, али Троицу фигурально».

Закрывал дьяк руками лицо: «Вот он един-с».

И, вдруг развернув на обе щеки ладони, сияя покрасневшим от жертвы Бахусу носом: «А вот он, между протчим, и троичен в естестве-с».

Как-то, идя за книжкой в библиотеку, Глеб Иванович наткнулся на эти увеселения, пришел в мгновенную ярость, схватил, что мелькнулось в глаза, — большой хлебный нож и кинулся на отца.

Все помертвели. Старик во-время отскочил. Очень бледный, сказал: «Уважаю вас, Глеб Иванович, и при вас скоморошить не стану».

Слово сдержал, но до последнего приезда из Академии сына звал его на «вы» и по имени-отчеству, как бы тем закрепляя свое от него отчуждение.

Багрецов так погрузился в прошлое, что очнулся, лишь споткнувшись об обломок капители, нежданно забелевший в изумрудной зелени. Он уже давно был в парке княгини и беззаконно топтал ее чудесные травы, сбившись с тропы. Багрецов решил войти в виллу без доклада, почему-то уверенный, что встретит княгиню в парке. И правда: белое платье уже мелькнуло ему в четырехугольном дворике, обсаженном густо лозами.

Княгиня была одна на скамейке. В руках она держала кожаную золотообрезную книгу. «Фома Кемпийский», — угадал Багрецов. Глаза ее смотрели вдаль, в голубое Альбано, и полны были грусти невыразимой.

Уважая ее печаль, Багрецов в нерешимости остановился. Княгиня сама его увидала. Обыкновенно столь сдержанная, ушедшая в свою особую жизнь, она вдруг в детской доверчивости, как бы не в силах удержать радость, пошла к нему навстречу, протянув обе руки.

Багрецов смутился, что княгиня по близорукости его спутала с кем-либо иным и сейчас он попадет в гнуснейшее положение, определяемое французами непереводимым словом — ridicule.

Изумление его возросло, когда княгиня заговорила:

— О, как хорошо, что это именно вы, вы — русский, и через Татищевых будто бы даже родной. Не правда ли? К тому же образ вашего батюшки со мной навсегда...

Она улыбнулась тою улыбкой, которая, должно быть, некогда кружила головы поэтам, и проговорила с нежною грустью:

— Есть минуты, когда сердце так слабо, что хочет только родного по языку, родного по крови, по родине.

Багрецов вмиг представил себе лицо ее молодым, как он видел его на картине Брюллова: огромные, голубые как небо глаза, сияющие, ликующие вдохновением, золотистые, отлетевшие под зефиром кудри, благородство и нежность сверкающего умом белоснежного лба и эта несравненная легкость, как бы крылатость и сейчас тонкого, стройного стана.

— Предо мной воскресло мое прошлое с такой силой, какой я в нем и предположить не могла. И знаете что? Москва, и два вечера у нас, на Тверской... Но присядем здесь.

Она опустилась на скамью в густой беседке вьющихся роз.

— Пушкина, едва привезенного фельдъегерем из двухлетней ссылки в Михайловском, привел ко мне вдруг Соболевский. Я пела ему. О, как он слушал... Румянец то вспыхивал, то угасал на его необыкновенном лице. Так выражалось у него всякое сильное волнение. И поверьте: я пела ему лучше, нежели четырем императорам на Венском конгрессе со всею их свитою. Это была его элегия, положенная на музыку композитором Геништою: «Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман...»

А торжество мое, когда я получила поэму «Цыганы» с большим листом почтовой бумаги, где его крупным, размашистым почерком написаны были единственные по гармонии стихи...

— Я их помню, — сказал Багрецов и, заражаясь ее волнением, понизив голос, сказал:

Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы,
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновенья...

Он прочел до конца чудесное посвящение. Слезы брызнули из прекрасных глаз «северной Коринны».

— А второй незабвенный вечер, — сказала она, — это когда Мари Волконская приезжала проститься. Она ехала к мужу, в снежную могилу Сибири, где погребены были декабристы. Избранной музыкой хотели мы ей, музыкантше, усладить горечь разлуки с сыном, благословить ее на долгие годы страданий.

Как сейчас слышу: я пою отрывок из Agnès, вот я его оборвала в том месте, где несчастная дочь просит отца простить ее. Внезапно я сделала сближение горя Алисы с горем Мари, которая ехала к мужу против воли отца, и рыдания сжали мне горло. Я кинулась на шею несчастной Мари, и, заливаясь слезами, мы обнялись.

Горькие и светлые, о, незабвенные дни на родине, в этом белоколонном доме на Тверской...

Княгиня закрыла глаза белым платком. Багрецов вдруг догадался, что с ней приключилось что-то необычное: быть может, ей нужна помощь. Багрецов, растроганный, с глубоким сочувствием сказал:

— Княгиня, как соотечественнику, как сыну друга вашего дома и, если разрешаете, — родне, доверьтесь мне, скажите, что с вами случилось?

Есть простые, задушевные звуки, пред которыми самые скрытные, окруженные загородками люди выходят из своего уединения. Княгиня, по природе полная доверия и прелестной доброжелательности к людям, вдруг сбросила запуганность последних лет, забыла горечь опыта, клевету близких, угрозы муками ада, гибелью души, всю тяжкую эгиду черных сутан и, кладя руку на руку Багрецова, с забытым доверием сказала:

— Мой духовник передал мне вчера постановление святой коллегии в ответ на мою просьбу похоронить меня

в церкви святого Анастасия, где хранятся сердца пап со времени Сикста. Но под каким условием они согласны на это! О, как мне оно тяжко! Вообразите, под тем условием, если я собственноручно подпишу вот под этим документом свое имя.

Княгиня вынула из книги лист крепкой белой бумаги и, не в силах прочесть вслух, только сказала:

— Вот...

Багрецов прочел:

«Склеп для праха католиков из русских княжеских родов Белосельских-Белозерских и Волконских, которые желают, чтобы тела их лежали у подножия, где погребены сердца римских пап, дабы протестовать и загладить от имени всей России ее величайший грех, что она не признает римского папу как единого главу всей церкви и наместника бога на земле».

Багрецов был смущен. Он не мог понять муки княгини. Ему самому было так безразлично, где и *как* зароют его прах, а папы, бывшие и грядущие, казались одной бутафорией. Он молчал, понурив голову.

А княгиня сквозь слезы продолжала таким голосом, каким говорит человек о самом заветном, за что ему умереть:

— О, как мне тяжело принять этот приказ. Мне так... будто, подписав его, я предам свою родину. Может, это только соблазн, минута слабости, и, не появись вы сейчас, я бы справилась с собой.

Багрецову стало томительно душно, его вдруг потянуло с такой неудержимой силой к яркой, к солнечной Бенедетте, что, со всем почтением целуя руку Волконской, он горячо сказал:

— Княгиня, сама судьба, а по-вашему сам бог привел меня к вам в ту минуту, когда вы доступны, как все смертные, слабости, колебаниям и боли. Я неверующий и, простите меня, ничем не могу помочь в вашем деле. Наблюдал же я в своей жизни одно: если один человек действительно приходит на помощь другому — он тем самым множит и свою внутреннюю силу. Княгиня, будьте великодушны! Вы страдаете сами, облегчите ж страданье другого... упросите отпустить из тюрьмы Бенедетту, молодую итальянку, сестру того Доменико, который здесь недавно у вас так нашумел...

Кроме того, снимите горькое подозрение со своего дома. Ведь наутро, после речей Доменико у вас, был приказ о строжайшем заключении его сестры с лишением ее свиданий. Все это относят на счет вашего духовника, княгиня, с которым столкнулся Доменико, произнося на акведуке свои пламенные речи о свободе Италии.

Княгиня, если у вас, душой и телом предавшейся католицизму, все еще не угасла любовь к России... во имя сегодняшней вашей муки, поймите же, посочувствуйте пламенной страсти итальянца к его действительно истерзанной родине!

Во время речи Багрецова княгиня заметно бледнела, голова ее гордо откинулась назад, брезгливость и гнев сверкнули в потемневших глазах:

— Вы мне даете слово, что не введены в обман? — воскликнула она. — Вы можете заверить честью, что этой девушке свиданья запрещены? И это после... после посещения моей виллы?

— Клянусь в том, княгиня! Но вы легко можете это проверить, послав доверенное вам лицо с запиской и передачей чего-либо для девушки.

— Это ужасно, — прошептала княгиня, — мне обещано было как раз обратное. Но прощайте, мой друг... Мне сейчас надо остаться одной. Обещаю вам твердо: эта девушка в скором времени будет на свободе! А вас, в свою очередь, прошу забыть мой откровенный с вами разговор...

Багрецов еще склонился над рукой княгини и ушел с виллы Волконской как юноша, полный забытых надежд.

Однако прошло несколько недель, а все оставалось попрежнему: Бенедетта сидела в тюрьме, и свидания с ней были запрещены. Багрецов сунулся было на виллу: один раз ему сказали, что княгини нет дома, другой — что не велела никого принимать. Багрецов хотел послать Гоголя или Иванова, но первый внезапно уехал, а второй, пользуясь счастливым промежутком здоровья, затворился в своей мастерской. Багрецов знал, что если сейчас добраться к Иванову через все запоры — все равно он не поймет ни слова о чем-либо постороннем своей работе. Стипендия его иссякла, и он должен был день и ночь двигать картину, чтобы можно было просить

о новом продлении пенсии у государя. Николай I собирался приехать в Рим.

Как-то под вечер Багрецов встретил княгиню Волконскую на Пинчио. Она была в коляске с своим духовником. На его поклон она не ответила. Не заметила вовсе или было ей так внушено иезуитами, обступившими ее тесней прежнего?

Багрецов вспомнил ее слезы и колебания и злобно сказал: «Ну, дело в шляпе, княгиня погребена будет в церкви святого Анастасия!»

От препятствий чувство к Бенедетте, пусть воображаемое, становилось мучением. Он кинулся к синьоре Пепите, узнать хоть про Джулию, — оказалось, что и той нету в Риме, — уехала временно к брату в Реджио.

Наконец, ночью 13 декабря приехал в Рим император Николай из Чивита-Веккиа через станцию Поло.

Какая буря была в эту ночь! Ветром сломало немало чудесных старых маслин. Кипарисы стояли растрепанные; нарушив свою конусообразно-строгую форму, они походили на гигантские веники. Государь в карете посланника на превосходных серых лошадях проехал днем в Ватикан к папе.

Багрецов бродил по площади св. Петра и мельком видел его. Он был в конногвардейском мундире, молодцеватый, громадный, с волнующим и повелительным взором. Римляне пришли в восторг от его роста и выправки.

Колоннада Бернини набилась зеваками. Широкие ступени лестницы расцветились нарядными офицерами в затянутых до удушья мундирах. Как попугаи, пестрые швейцарцы папской гвардии, сверкая серебром алебард, пугали ими напиравший народ для очищения свободного схода царю.

Николай показался на лестнице. Его, видимо, тешил эффект появления в вечном городе. А римляне, как их древние предки, всегда жадные до зрелищ, всегда пьяные солнцем и душистым кианти, что было духа кричали: «Evviva!»

Какой-то транстеверинец, такой же большой, как и царь, с седыми кудрями, в белоснежной рубахе, с перекинутой через плечо синей бархатной курткой, всплеснув руками, воскликнул:

— О, если б ты был нашим государем!

Тут нарядные дамы, и русские и итальянские, потеряли всякое самообладание и принялись бросать пред лошадьми севшего в карету царя — одна пред другою: розы, шитые шелком платки, разноцветные шарфы... Казалось, они готовы были сами кинуться под серых коней, как кидаются исступленные Индии под колесницу Джаггернаута.

Глядя на эти восторги толпы, Багрецов в сотый раз задавал себе вопрос: какие качества толкают людей на подобное поклонение? И что за дикая потребность выражать его ничем не заслужившему, совершенно постороннему человеку? Ужели только за высокий его рост и за сан монарха?

Всем художникам, русским пенсионерам Академии, равно как и проживающим здесь на собственный счет, было необходимо представиться государю немедленно в соборе св. Петра. Веселой гурьбой поспешили туда.

Государь явился уже в штатском: он был в коричневом сюртуке, застегнутом на все пуговицы, в черном галстуке, без воротничков. Его сопровождал по храму граф Федор Толстой.

Представившихся было человек около двадцати: медленно и чинно, как всем по инструкции рекомендовалось, они подошли.

Государь окинул пенсионеров быстрым сверкающим взглядом и вдруг недовольно рванул:

— Слыхать, шибко гуляете?

— Но в такой же мере и работают, — вступил немедленно добродушный Толстой.

Государь круто повернулся и быстро, по-военному, словно делал смотр, стал переходить от одного произведения к другому, нигде не задерживаясь. От времени до времени он бросал Толстому в короткой повелительной форме приказы, слегка указуя рукой на предмет:

— Поручить сделать копию!

В коричневом суконном сюртуке большая фигура царя казалась чугунной. Он был как бы собственный памятник, сошедший с пьедестала.

Багрецова поразило обиженное и вместе надменное выражение лица его, когда он сказал, подняв голову на купол Петра:

— И у нас бы такой храм построить! Желательно, чтоб при мне...

— Ваше величество, но это чудо строилось веками и сейчас не закончено, — деликатно начал Толстой.

— Полно вам, — оборвал государь, — вы всегда говорите одно и то же!

И уже с полным неудовольствием, войдя внутрь и воззрясь в пол, воскликнул:

— Так это-то мой Исаакий? Неужто так мал?

Самолюбие царя было задето сравнительной линией соборов, вычерченной на полу, где размеры Исаакия пред собором Петра были просто мизерны.

— Быть не может... — еще раз повторил царь и вскоре пошел к выходу.

Все приделы храма и ниши заполнены были монсиньорами и аббатами.

Царь вышел из собора и уехал. Художники повалили в остерию Лепре обменяться впечатлениями и узнать, кто получит какой заказ.

Багрецов сам больше не видел государя, но получил живейшее представление о дальнейшем его пребывании в Риме в остерии Лепре, куда через несколько дней попал в урочное время.

Художники прежде всего ругательски ругали Киля, своего заведующего. Это был упрямый немец, дилетант в живописи, приставленный, как унтер, к пенсионерам с инструкцией свыше «подгонять» их в работе.

— Проклятый немец, — кричал Рамазанов, — затеял нашу выставку, слыхал ты — где? — кинулся он к Багрецову, еще хмельной со вчерашней попойки. — В палаццо Фарнезино, где фрески Рафаэля! Да чья живопись выстоит против них?

— А ведь предлагали ему устроить выставку в мастерской Иванова, тем более, что его громаду с места не сдвинешь... а исторических живописцев у нас всего — он да Воробьев, да и тот в Палермо.

— Тем больше вам сраму, что подчинились зловредному Килю, — кричал Рамазанов, — состряпали по его немецкому рецепту этакое рагу «aus nichts» [1], выставку из ничего...

---

[1] Из ничего (*нем.*).

— Скульпторов небось не переломал: не понесли работы из глины! Все как один отрезали: сквасится по дороге глина, а грязищи царь довольно помесит на римских улицах.

— Что за цель была у директора, что за цель? — подозрительно повторял измученный, побледневший Иванов, кутаясь в свой вечный плащ на красной подбивке. — Одурить пред царем художников русских! Хорошо хотя, что Михайлов впросак не попал, — не избыть бы беды.

— А что же Михайлов?

— Да вот он и сам, пусть расскажет.

В остерию вбежал Михайлов, беспечнейший из художников, знаменитый тем, что терял целые папки драгоценных рисунков. Все закричали ему:

— Ladro, ladro... [1]

Он хохотал, крича всех громче:

— Ладра — ладрой, а зато взыскан царским заказом!

Михайлова обступили, требовали подробностей про анекдот, с ним приключившийся.

— Я, как, братцы, знаете, копировал в монастыре святого Мартина с Рибейры и хотя знал, что царь ко мне будет, пошел, как обычно, пешком, думая поспеть вовремя. Вдруг жарит коляска, а в ней неаполитанский король да с нашим. Пропала головушка! Без крыльев не долетишь. Гляжу, на привязи чей-то осел. Я вмиг на него, и хлыстом... Тут хозяин осла выбежал, орут итальянские бабы не хуже нашинских, мальчишки с свистками, витурины с бичами... Вор, дескать, ladro... За одну минуточку пред монархом приехал, влез на леса. Тут царь входит, спрашивает: «Для кого делаешь копию?» А я от бега дышу, как мех. Царь принял за волнение. Он это любит. «Не робей, говорит, Академии другую сделаешь, эту — мне».

— А сознайся, что хозяин осла тебе здорово всыпал?

— Не поспел... откупился я немалым количеством скуди. Вот у Ставассера похуже дела, — слыхать, карабинеров звал. Расскажи-ка, Ставассер!

— Зачем звал карабинеров? Кто ж твои статуи грабил?

[1] Вор, вор (*итал.*).

— Самого чуть не разбили... Сижу в студии над своей нимфой, вдруг вбегают, кричат: «К вам император!» Ну, вошел со свитой, весьма похвалил и велел выполнить в мраморе. Тут душа ушла у меня было в пятки, да спасибо графу Орлову — спас. Царь говорит: «Делай для меня побольше размерами!» — «Воля вашего величества, бормочу, но я держал величину в натуру, и сюжет этот большего размера не терпит...»

Тут граф Орлов немедля взял мою сторону, и царь, как кость, милостиво бросил: «Делай как знаешь, главное, поскорей! И готовься: желаю тебя видеть в работе в присутствии твоей прекрасной натурщицы».

При этом адъютант, сопровождавший царя, так погано влип глазами в статую, что царь ему сказал: «А тебя не возьму, скажу все твоей жене, смотри — приревнует».

А когда царь уехал, вся улица ринулась на мою мастерскую требовать «скуди», которые царь будто бы мне оставил для раздачи народу. Уж не знаю, кто пустил этот слух. Грозились всё изломать. Карабинеры чуть отстояли. Что касается Джулии...

— Дальнейшее мы знаем сами, — вмешался Шехеразада, — фортуна улыбнулась Джулии... Оный адъютант свел с ней знакомство и уже раскошелился поднести ей сияющий рубинами браслет и ангажемент в Россию... А там, гляди, взберется повыше. Адъютант лишь первая ступень.

— Нет, нет, римлянка не то, что парижанка, — вступился Рамазанов. — Джулия, узнав, что царь ее желает видеть в райском виде, сказалась больною. Я уверен, что покуда царь будет здесь, она позировать мне не станет.

— Однакож у тебя на дому бриллианты приняла! Как же, хвастала тетушка!.. — прогнусил вдруг Пашка-химик.

Багрецова взволновал разговор.

— Но ведь Джулии здесь не было? — вмешался он. — Она уехала к брату...

— Уже с неделю как она на Реджио, — подскочил Пашка-химик, — и, сохраняя невинность, получает рубины...

Пашка продолжал какую-то гнусность. Багрецов уже не слушал. Он вышел из остерии и закоулками прошел

к квартире, где, узнал он, жил прежде Доменико с двумя сестрами.

В пролете ворот, темном от обилия цветущих гроздей глициний и плюща, заткавшего всю стену, Багрецов столкнулся носом к носу с длинноногим и несомненно военным человеком. У прирожденных штатских не бывает в сюртуке грудь колесом и так не подрагивают на ходу плечи, привыкшие к кудрявым эполетам.

Багрецов догадался, что это и был адъютант, подаривший браслет Джулии. Непонятное чувство ужалило Багрецова. Он с изумлением подумал: «Ужели ревность?» И странней еще: он вовсе не думал о Джулии. Он бесился из-за чести дома... из-за того, что сестра Джулии не кто-нибудь, а она — Бенедетта.

Тетка, ведьмистая и страшная, как все старухи-итальянки, не хотела впускать Багрецова.

— Джулия в жестокой малярии... ой, ой, какой жестокой!

Он дал старухе золотой, и, погано шамкая ему в ухо, она зашептала:

— Джулия на работе в студии, сейчас туда направился высокородный русский принчипе...

— Ну, хоть он и долговяз, а я попаду раньше его, — сказал Багрецов.

И, чуть не давя полуголых чернокудрых ребятишек, он напрямик побежал в мастерскую Рамазанова.

Но художник заперся. Тщетны были стуки. Он так увлекся работой, что не слыхал ничего. Вскоре подошел и адъютант. Багрецов, спрятавшись в кустах, имел удовольствие видеть, как, наконец, вышедший на стук из кухни мальчишка-итальянец — слуга Рамазанова — сказал адъютанту, что маэстро уехал на несколько дней в Альбано. Тот в досаде пощипал усы и повернулся вспять. Багрецов, сам не зная для чего, продолжал пребывать в своей засаде.

Смеркалось. Уже заморенные зноем итальянцы заваливались спать, чтобы, пропустив час, когда минует опасность злой понтинской малярии, в ночной прохладе, забрав гитару или мандолину, бродить с возлюбленной до света. Багрецов без конца сидел на горке, в запущенном винограднике. Он решил во что бы то ни стало выследить Джулию. Он был уверен, что Рамазанов ее укры-

вает. Джулию он хотел расспросить о сестре. Решительно Бенедетта не была ему безразлична, особенно с тех пор, как он, приведя Доменико на виллу Волконской, тем самым невольно ухудшил ее положение в тюрьме.

Наконец, совсем поздно, действительно Джулия вышла с черного хода. Сам Рамазанов открыл ей дверь в запачканном глиной фартуке. Сперва он один выскочил на улицу, для чего-то оглядевшись во все стороны, потом выпустил ее. Джулия была в большом черном платке, зашитом шелковой гладью, какой носят вечерами на Пьяцце венецианки. Лицо ее было скрыто. Чуть сверкнул в сторону Багрецова пламенный черный глаз, и голос, полный и звонкий, который Багрецов запомнил единственным, который ни с чьим другим спутать не мог, этот голос сказал Рамазанову:

— Addio! Значит, завтра опять в этот час?

— Да, да, и опять в строгой тайне, будь покойна, — сказал Рамазанов, запирая дверь.

Багрецов в мгновенье спрыгнул с виноградника и, перерезав девушке в узкой уличке путь, схватил ее за руки и шепнул в самое ухо:

— Ты не Джулия, ты Бенедетта!

Девушка дрогнула. В нерешимости на минуту закрылась платком поплотнее, но вдруг откинула его совсем с головы на спину и, беря Багрецова под руку, сверкая зубами и глазами и всей ослепительной красотой своего лица, она бросила:

— Синьор, я Джулия, Джулия... сестра-близнец Бенедетты!

Багрецов сжал ее ручку, похолодевшую от волнения, и сказал:

— Ложь! Не поможет, я тебя узнал, ты — Бенедетта. Больше того: я тебе раскрою, каким образом ты на свободе. Это следствие моего же измышления. Не кто иной, как я, дал твоей статуеобразной сестре совет смениться с тобою платьем на свиданье, что, конечно, она и сделала.

— Остроумный совет еще не доказательство... — улыбнулась девушка; она окончательно овладела собой. — Да и где у вас доказательство, что я не я, а моя

сестра? Ваша любезная характеристика? Но, быть может, я статуя только по отношению к вам!

Багрецов опешил. В самом деле: где же доказательства? Уж не то ли, что его сердце билось с давно забытой силой, что безошибочно знало оно: эта девушка — Бенедетта! Не вступая в пререкания, он стал ей рассказывать про тот вечер, когда он привел на виллу Волконской Доменико, про неловкую попытку Иванова замолвить за нее пред княгиней, про общий ужас, когда наутро оказалось, что попытка спасти только ухудшила положение. Багрецов рассказал ей про вести, которые принес в остерию Шехеразада, про предложение адъютанта и его сияющий рубинами браслет...

Не будучи ни сват, ни брат, Багрецов почему-то ощутил необыкновенный прилив красноречия и яростно изобразил весь стыд такого падения для политической героини.

— Даже во имя дела? — спросила девушка, густо вспыхнув, и приостановила шаги.

Они проходили по совершенному пустырю, где уже солнце выжгло зелень, кустарники были обглоданы козами, и только камни с древними надписями стояли то тут, то там со времени императоров. Ничто не напоминало о современности. Какие-то волнующие, неуловимые сознанием грезы охватили Багрецова. Сумерки превращались в ночь так быстро, как в грозу голубизна неба сменяется лиловыми тучами. Багрецову уже неясны были ресницы на опущенных и, как он угадывал, гневных глазах его спутницы. Пытаясь разбить свою зачарованность Бенедеттой, из самолюбия не желая терять давно, впрочем, опостылевшую ему свободу, он продолжал со страстью заправского моралиста:

— Есть дела, которые пачкают, — опять Багрецов внезапно развил мысль с такой беспощадностью, что маленькая ручка, зажатая в его руке, вдруг задрожала и выскользнула.

— Если вы посмели так со мной говорить, то вы теперь должны мне и помочь избежать позора... Иначе вы — презренный болтун!

Девушка была бледна от гнева. Ее лицо, обрамленное черным шелком платка, было как у «Юдифи» Аллори с головой Олоферна.

Окончательно утвержденный в своей догадке, опять сжимая ей до боли руки, Багрецов ответил:

— Клянусь честью, я дам тебе сколько надо для выкупа твоей сестры, для дел «Юной Италии», но пошли к черту долговязого адъютанта и признайся мне, что ты Бенедетта!

— Да, я — Бенедетта, — сказала она и, опускаясь на камень в этой пустынной местности, залилась вдруг слезами. — Я так измучилась...

Багрецов обнял Бенедетту. Он так был благодарен, что полюбил ее, не зная даже, что любит.

— Я ненавижу этого адъютанта, — прошептала Бенедетта, — я бы хотела вернуть ему тот браслет... но Барбара уже его продала. Ведь она мне вовсе не тетка, а совсем чужая. У меня не было чем ей заплатить, а брат мой Доменико тоже в тюрьме, в Реджио.

— Не беспокойся ни о чем, дорогая, — сказал ей Багрецов, — браслет, разумеется, куплен на Корсо, где их делают дюжинами, мы вместе поищем, и я его обратно отошлю адъютанту. Но надо, чтобы ты от Барбары немедленно переехала ко мне. Ты не беспокойся, — поспешил он ответить на опасливый пытающий взор, — у тебя будет полная свобода и отдельный выход. Мы можем даже не видаться совсем. Ведь я прочных романов заводить не охотник, а на легкий ты сама не пойдешь. Пусть лучше нас свяжет интерес к «Юной Италии».

— О, как вы благородны! — прошептала она. — Да, конечно, я сейчас водворюсь у вас. Я боюсь, что синьора Барбара подкуплена тем офицером.

Багрецов привел к себе в дом Бенедетту, которую представил своему maestro di casa как Джулию, нанятую им портниху для шитья белья.

Maestro di casa, чудесный старик, пробормотал:

— Знаем мы этих портних. Девушку-сироту обидеть нетрудно.

Отличное начало: старик, у которого внучку загубили солдаты швейцарской гвардии, будет особенно досматривать за Бенедеттой, обрадовался Багрецов, ведь только это и было нужно. А сама Бенедетта была совсем покорена его благородством.

Багрецов счел полезным для дела рассказать старику про происки адъютанта, чтобы на случай, если бы он явился, тот не допустил его до гостьи.

— Да я его, eccelenza,[1] будьте покойны, спущу с лестницы, — погладил он нежно по голове Бенедетту, вспомнив собственную обиженную внучку.

Глава VII

ХУДОЖНИК ЗЛАТОГО ВЕКА

...С изумлением прочел ваше письмо, недоумевая, ко мне ли оно писано?

Мне поставляется в закон писать пять отчетов в год... и какие странные выражения: писать я их должен гениальным пером. Стоят отчеты ни о чем — гениального пера? Какое странное ребячество в мыслях и какое неразумие, даже в словах, в выражениях...

Гоголь.

Багрецов запутался и как бы потерял сам себя. Он ехал в Рим, как инфернальный романтик из какого-нибудь «Эликсира сатаны», для того чтобы, стукнувшись о твердыню духа Александра Иванова, — или взорвать ее, или взорваться самому.

А на деле вышло, что занялся он спасением прекрасной сподвижницы il risorgimento, «возрождения Италии». Что же до Александра Иванова, то тут он просто встретил не то, чего ждал. Это не был так раздражающий издалека монолитный человек, застывший в своей идее, — это был целый мир, сложный, трепетно-живой, противоречивый, с обаянием мудрости древних народов, с сердцем ребенка.

И вот Багрецов, собравшийся было совершить преступление, подобно средневековым злодеям, покупавшим для своего обновления здоровую юную кровь, — коварным духовным воровством так или иначе поживиться от

---

[1] Ваше сиятельство *(итал.)*.

внутренней мощи былого друга, едва увидел его, вдруг понял всю безвкусную пошлость подобной затеи. Это было, как если б он задумал тешиться картонной декорацией леса, попав в подлинный дремучий благоухающий лес.

Багрецов полюбил Иванова и занялся его судьбой.

Прежде всего он предложил ему денег, но тот, хотя сильно нуждался, — не взял. И тут, как во всем, он был своеобычен. Брал легко от сильных мира, от казенных учреждений, там даже требовал, унижался, считая своим долгом во имя своей работы хватать чуть ли не за шиворот всех, у кого был громкий титул, чем Гоголь строжайше, но тщетно его попрекал.

Но у Багрецова, добровольно хотевшего ему дать, Иванов не взял, говоря:

— Ты человек ленивый и скучающий; растрясешь деньги, — даже жениться не сможешь. У ленивого брать грешно, он себя сам обобрал.

Последние дни Иванов был в чрезвычайном волнении: генерал-майора Киля, курляндца, дилетанта в акварели, назначили на место покойного Кривцова надсмотрщиком за русскими художниками в Риме.

Когда Багрецов вошел в мастерскую Иванова, тот бегал взад и вперед, заложив за спину короткие руки, бросал отрывисто:

— Я его образ суждения знаю, я с ним уже имел ссору лет десять назад, он не преминет вспомнить...

— Не наделай, Александр Андреич, вздору... — предупредил, здороваясь, Багрецов.

— Поздно-с. Наделал-с...

Иванов остановился и развел руками:

— Я секретарю Зубкову уже написал, что, работая безусыпно над картиною, в виду взятой с меня подписки о скорейшем ее окончании, не могу уделить ни вот эстолько-с времени для приема посетителей, хотя бы и генерал-майоров. Задвижкой задвинусь, задвижкой, от курляндского дядьки над вдохновением художника русского!

— Чудак, — сказал Багрецов, — плевать ему на все твои задвижки, он и не глядя на картину пошлет донос...

— И поспел уже, вообрази. Из Петербурга пишет мне батюшка: «О тебе слышно в Обществе Поощрения, что

ты ленив и нарочно тянешь работу, растекаясь во множестве подготовок». Варвары люди!

Однако слушай: я составил целый проект преобразования инспекции над художниками русскими в Риме. По этому проекту Гоголь должен вступить на службу секретарем при князе Волконском...

Иванов побежал к столу, отпер ящик, вынул бумагу и торжественно прочитал:

«Исторический живописец Иванов, избранный специально, к тому ведомый прямым божеским промыслом, откровением и вещими снами...»

— Удивляются удальству мужика, выходящего сам-на-сам на медведя, дивились Яну Усмовичу, удивятся и мне, когда я в разъяренный час государя войду как художник русский и своею картиною успокою его...

— Александр Андреич, тебе надо лечиться! — воскликнул испуганный Багрецов.

— Пустое, — отмахнулся рукою Иванов, — дай досказать. О, насколько такого рода живописец превышает предшественников! Новый исторический живописец произведет преобразование всей земной жизни, возведя низкое и недостойное к силе и гармонии. Все нации притекут к нам за советом...

И следствие, дражайший мой, о, какое отсюда личное следствие для одной партикулярной судьбы! Дражайший, я тебе доверяю. Ты знаешь меня сызмальства... Академия... субботы у Рабуса... Ты видел ее, ту воздушную невесту, ты знал мои муки. Преодоленную ради искусства любовь... И вот вторично: на сей раз высокородная дева, увы, имеющая мать, коей именитый род препятствует войти в равенство со мной, бедным художником. Однако молчание, молчание...

Скажу только одно: когда исторический живописец, в чаемом мной «златом веке» преобразования нашей жизни через искусство, поставлен будет на должную высоту, то все вельможи за счастье... слышишь меня? за счастье почтут выдавать своих дочерей за светильников человечества!

Глеб Иваныч, — сказал Иванов жалобно и доверчиво, — не правда ли, женщина создана быть помощником человеку? И не правда ли, я смею сейчас снова об

этом думать, когда в мозгу моем зародились начинания беспримерные? Одинокому их не выполнить...

— Но тебе надлежит прежде всего окончить картину...

— Что картина? я пережил ее. Новое стучится, неизмеримейшее по заданию. *Откровение всему человечеству!* Но без поддержки сердечной изнемогаю...

Послушай, Глеб, ведь это ты причина моего счастья, ведь это ты ввел меня в их дом. О, что за чудо: молодая дева, знатного происхождения, по внешности полна прелести рисунков Леонардо, полюбила меня горячо. Верь, Глеб, отвечу ей святостью жизни и откровением в поприще живописном...

Багрецов остолбенел. Не было сомнения в том, что Иванов верует непреложно, будто Полина Карагина его любит и хочет с ним соединиться. Между тем вчера еще она в разговоре сказала:

— Ну и пусть он гениален, но в такой же мере он просто тюфяк.

Нечто вроде угрызения проползло в сознании Багрецова. Да, это он ввел Иванова в аристократическую семью и себе для забавы раздувал его влюбленность. Передавал поклоны, подчеркивал улыбки и разные светские пустяки. Но сейчас что было делать? Всей правды сказать невозможно. Багрецов попытался сделать слабую попытку:

— Ты забыл о матери, Александр Андреич, поверь, какое бы ты ни занял высокое положение, эта надменная женщина останется тем, чем была. Она на брак с тобой дочери не согласится, ибо она...

Он не кончил. Иванов вдруг побледнел и, как бы отталкивая от себя короткими пальцами некое ужасное виденье, зашептал:

— Знаю, что хочешь сказать. Почти ценою жизни знаю. Намедни, после кофе, в трактире Ельветико я почувствовал боль в животе... Это она подкупила гарсона, я знаю, это ее отрава! Только доза была незначительна...

Иванов метался по мастерской, топоча крепкими ногами:

— Глеб, да объясни же этой женщине всю высоту, все значение художника! Докажи ей, найди слова, ты ведь можешь. Не то что я... Сижу в гостиной как пень. Ты скажи, Глеб, одно: высокое происхождение не помеха

войти в равенство со мною. О, как пойдет моя работа, как вырастут крылья. Иди, Глеб, иди!

Багрецов вышел из мастерской вне себя. Как? Неужто он приложил руку к гибели художника, чья гениальность была для него несомненна? Но как мог он забыть своеобразие этого человека с волей необычайной. Ради картины он годами мог вести жизнь аскета, а в делах каждого дня так бессилен был защищать все богатство своего большого ума и, невыносимо страдая, подчинялся нередко чужой, настойчивой системе. Это была трагедия жизни Иванова. И подчинявшие, много бездарнее его, как пресловутый Овербек или собственный отец, почтенный профессор, по старинке почитавший Рафаэля «благонравным», а Микеланджело «дерзким», безбожно сушили его смелое вдохновение.

И какая насмешка судьбы. В ту минуту, как привязанность и уважение к Иванову все сильнее наполняли Багрецова желанием служить ему, — он сам являлся виновником нового большого страдания, которое, конечно, надолго отсрочит окончание картины.

И вдруг, как вдохновение, Багрецову пришла в голову мысль не разбивать безумной мечты друга, — напротив того, сделать все, чтобы соединить его браком с княжной. С каждым шагом выдвигались все новые доводы в пользу этой затеи. И когда Багрецов подходил к дому Карагиных, он весь уже полон был бешеной энергии, готовый принести Иванову в жертву всех, лишь бы создать ему условия для успешной работы.

Багрецов знал Полину с детства и сам не раз любовался лицом ее, по определению Иванова полным бесколерной флорентийской нежности, с затаенной улыбкой да Винчи.

Полина была хорошо образованна, с тонким вкусом. Но с внешностью несколько надземной прекрасно соединяла и раннее честолюбие и прерасчетливый холодок.

Великодушный мечтатель Иванов, не привыкший к женскому обществу, видавший или однообразно доступных за лиры натурщиц, или запомнивший чопорность моды петербургских девиц, строгую скромность дочки Гюльпе, — обычную светскость княжны и интересы к искусству отнес к своей собственной личности.

Багрецов решил с умной Полиной говорить прямо. Своим твердым и быстрым шагом он дошел до ворот Константина и еще издали увидел Полину под огромным зонтом пред мольбертом. Бегло, по привычке все отмечать, он отметил ее белый, еще не виденный им костюм, перевел глаза на ее спутницу и вдруг должен был остановиться, сесть на камни, почувствовав острое сердцебиение.

Как он мог забыть, да еще выполняя программу Пашки-химика, утром шествуя на форум, кого он там встретит? Беспокойство об Александре Иванове затуманило все его личные обстоятельства.

Ну, конечно, эта небольшая женщина рядом с Полиной — она, замышлявшая обличительный костюм «флакон Борджиа», маленькая Гуль, сестра его покойной жены.

Опустив голову с черными волнистыми волосами, она читала, шляпу положив на колени. Ничто не мешало Багрецову изучать этот странный египетский профиль со знакомыми темными веками, так похожий на профиль жены. Обе женщины его не видели.

Гуль — жена адъютанта, который приехал с высочайшим посещением... И вдруг он понял, что этот адъютант не кто иной, как тот долговязый поклонник Бенедетты, с которым он столкнулся у ворот ее дома. С тревогой у Багрецова мелькнуло: «Почему Гуль не дала мне знать, что приехала?»

Быстро решив, что тактичнее всего не показывать ни недовольства, ни удивления, Багрецов с своей обычной насмешливо-галантной манерой направился к камням. Гуль подняла голову и узнала его. Испуг, страстное волнение, гнев — все отразило лицо ее, смуглое, с удлиненным овалом. Минуту она не владела собой: схватила шляпу, опять положила, встала, как бы желая укрыться. Но привычная дрессировка взяла верх над ураганом взметенных чувств, и когда Багрецов был рядом и прикладывался к руке Полины, Гуль уже приготовила улыбку и столь обычное:

— Ах, это вы, вот неожиданность!

— Для меня еще более, чем для вас, и, вероятно, приятнейшая, — сказал Багрецов, — потому что, будь я

на вашем месте, я бы, приехав в Рим, пожелал бы немедля вас видеть...

— Гуль, приехав, заболела, да и вы, кажется, были в отъезде...

Полина покраснела. Она лгала, и Багрецов это знал. Он злобно решил наедине от нее выпытать все.

— Я к вам по спешному и серьезному делу, — сказал Багрецов. — Назначьте, где и когда мне вас можно сегодня увидеть?

— Но говорите с Полиной сейчас, — вставая, сказала Гуль. — Мне необходимо пойти по делам. Вам часа не будет довольно?

Она старалась себе придать лукавое выражение, но лицо ее было строго, и почти сросшиеся черные брови неприятно напомнили Багрецову мертвое лицо покойной жены.

— Ты смотри, через час возвращайся, — сказала Полина.

— Нет, уж лучше я прямо домой, я забыла, — есть нужный визит.

— Но когда в таком случае я буду иметь честь с вами встретиться? — Багрецов задержал на миг в руке худую руку Гуль.

— На маскараде у Карагиных, — улыбнулась она многозначительно, глядя на Полину.

— Почему же на маскараде? Или я должен буду отгадать вас под маской, чтобы быть достойным свидания, не так ли?

— Вы догадливы, как всегда, — засмеялась Полина. — На этот раз только наоборот: вы будете достойны его, если не угадаете Гуль.

Гуль, не улыбаясь, слишком серьезно сказала:

— О да, я бы так хотела не быть вами угаданной!

— Во всяком случае не-раз-га-дан-ной вы мне были и такою, видно, останетесь, — поклонился Багрецов, думая с раздражением: «У этих женщин против меня целый заговор!»

Когда Гуль ушла, он сказал Полине небрежно:

— Что это у вас с ней за тайны?

— Я корыстна, — улыбнулась своей флорентийской улыбкой Полина, — и мне сперва надо узнать, что я сама могу получить.

— Дешевый дар — маскарадный секрет, — поддразнил Багрецов.

— Не шутите маскарадом, особенно в Италии, где при помощи маски издавна совершаются преступления... или узнаются уже совершенные.

Полина пытливо глянула Багрецову в глаза, но он сказал холодно и серьезно:

— Это все пустяки, времени мало, займемся вами. Я знаю, Полина, как вы умны, и потому не прибегну с вами в том деле, ради которого пришел, ни к одному из обычных приемов хитрого увещания. Я начну прямо с цели. Я явился к вам сватом...

Полина рассмеялась.

— Для пущей оригинальности, — сказала она сквозь смех, — я предполагаю вас даже не уполномоченным на это сватовство самим женихом?

Полина была невысока и тонка. Багрецов должен был наклониться к ней близко, чтобы говорить. Он сел рядом на камень. Издали могло показаться — влюбленные.

— По вашей реплике, — улыбнулся Багрецов, — я вижу, жених вам известен.

— Еще бы! Синьор Алессандро.

— Так слушайте ж меня хорошо: это художник гениальный. Первый из художников русских, не подчинившийся влиянию ни Рафаэля, ни Тициана, ни дель Сарто в изображении близкого им сюжета. Если вы не видите на его полотне щегольского мазка и фейерверка Брюллова, то это лишь залог того, что вещи им писаны для веков, а не для злобы дня. Его работа — целая академия. Благородство стиля, сила композиции...

— Что это, вы затеяли целый трактат, — сказала лукаво Полина, — и не боитесь наскучить?

— Сейчас дело коснется вас лично, и тут, я знаю, у вас терпения хватит на век!

— В таком случае слушаю. Но напрасно вы полагаете, что я не знаю цены Александру Иванову. Вчера Каммучини не мог им у нас нахвалиться. Он ставил его выше Брюллова. Но что мне от этого?

— Полина, дослушайте до конца. От вас одной зависит, чтобы всеобщие надежды на его гений были оправданы, чтобы имя его уже сейчас, при жизни, прогремело в Европе. Припомните триумф его «Магдалины» здесь,

в Капитолии. Если «Явление Мессии» будет окончено так, как начато, — оно вызовет бурю.

Полина, возьмите фортуну этого ребенка-мечтателя в ваши умные, деловые руки. Покажите, что вы не обыкновенная женщина. Действуйте не по сентиментальности обманчивых чувств, а по логике и уму, которые знают, откуда идут и к чему приводят.

Заставьте Иванова скорее окончить картину. Если, не размениваясь по сторонам, он все силы отдаст на нее, он скоро ее завершит. Вы настойте на том, что тщетно и давно ему предлагают, — везти свою вещь по главным городам Европы. Подобная выставка ему даст огромные деньги и всемирную славу.

О том, что̀ выигрываете лично вы, Полина, излишне мне говорить. Свободу действий при муже-ребенке, независимость и славное в Европе и России положение. Если ж в вас есть хоть капля любви к искусству, то и гордую честь — спасти России ее гения.

Без вас он погибнет. Он тяжко и глубоко в вас влюблен. Он надломлен мелочью жизни, бездарностью власть имущих, он уже на пути к мистическим бредням Гоголя...

Но выведенный вашею рукой из одиночества, он оправдает надежды России. Вы спасете гения, Полина. Это ль не доблесть?

Решайте: брак, полный почета, свободы, земных благ и благодарности русской истории, или тусклая, как у каждой, пустейшая светская партия, которая убьет вашу оригинальность и прибавит к дюжинам светских журфиксов еще один, никому не нужный.

Решайте, Полина. И в ближайший вечер, когда ваших не будет дома, уйдите от вашей англичанки сюда. Я сам отведу вас в студию на улицу Сикста. Вы должны говорить с Александром. Вдвоем все решить. А матери сообщить о решенном. О ее согласии, конечно, нельзя и мечтать, но фактам в любовных делах все родители покоряются.

Полина долго сидела безмолвно. Потом она подняла голову, ясно глянула на Багрецова своими голубыми, тона северного неба, глазами и сказала деловым, трезвым голосом:

— Ваше предложение принимаю. Оно как раз кстати. Ко мне вчера сватался граф К.: богат, стар, глуп и рев-

нив, как паша. Если я могу иметь те же средства при лучших условиях, хотя бы с потерей титула, но с приобретением всемирно славного имени, — я согласна. В том, что у Иванова оно будет, мне порукой слова Каммучини и Торвальдсена. Они даже уверили мою мать. Я же хочу одного — свободы!

И чтобы не откладывать в долгий ящик, свидание — сегодня же вечером. Идите, предупредите Александра Иванова, чтобы он не упал в обморок, увидев меня в мастерской.

Глава VIII

ДВА БРАТА

> Художник должен быть совершенно свободен, никогда ничему не подчинен, независимость его должна быть беспредельна. Вечно в наблюдениях натуры, вечно в недрах тихой умственной жизни, он должен набирать и извлекать новое из всего собранного, из всего виденного.
>
> *А. Иванов*

На красноватых камнях Колизея, укрывшись от заходящего, но все еще жаркого римского солнца, в тени куста отцветающей желтой розы сидел молодой сухощавый человек. Судя по чемоданчику, стоявшему рядом, по измятой дорожной куртке, это был приезжий.

Он читал письмо, вероятно с указанием необходимого адреса, потому что то и дело, отрываясь глазами от строчек, вскидывал кудреватые волосы, оглядывал узкие улицы Рима, словно прикидывал, по каким из них ему пуститься на поиски.

В бесчисленные ниши Колизея глядело пурпурное небо. Вечерний, уже освежающий ветерок шелохнул кусты и сорвал пышный опадающий цвет. Он, как золотом, осыпал желтыми лепестками сидевшего.

— Эй ты, избранник розы, идем в кафе Греко, все наши там... — И, спрыгнув с камней вниз, молодой художник крикнул: — Очнись, куме Марченко, ходим до Бахуса!

Вдруг он смутился: приезжий был ему незнаком, но, улыбаясь, протянул ему руку и сказал:

— Очень рад неожиданному привету. Вы, как видно, художник и можете мне помочь. Я пустился на поиски брата по его же письму, да, вероятно, запутался. Александр Иванов — мой брат.

При этом имени остальные художники прыгнули на камни и окружили приезжего. Шумно перебивая друг друга, они засыпали его вопросами по-русски и по-итальянски. Приезжему себя называть не пришлось.

Все русские художники встречались в кафе Греко, где знали доподлинно друг про друга мельчайшие подробности. В кафе Греко замышлялись картины, велись бурные споры об искусстве, налаживались заказы и со всех концов города неслись и множились вести. Всем было известно, что Александр Иванов ждет к себе брата Сергея — архитектора.

— Айда, ребята, за архитектором всей гурьбой, быть может, синьор Алессандро на радостях пустит и нас в свою мастерскую.

Александр Иванов, проживший уже семнадцать лет в Риме, прославленный выставленной в Капитолии картиной, поглощенный новой громадной работой, давно удалился от шумных товарищей. Но тем сильнее возрастал их интерес к его заповедному холсту, который он все еще ревниво держал на запоре.

— Вот бы взглянуть, — закричали кругом. — Подмалевок, слыхать, закончен, — шутка ли, тридцать пять фигур во весь рост!

— Подготовительных этюдов штук двести.

— Из-за каждого камня и дерева исколесил все окрестности... Ночевал чуть не в понтийских болотах, чтобы верно дать пустыню, сам схватил лихорадку. Питается чечевицей да водой из фонтана, свою пенсию всю извел на натурщиков...

— Простите, — прервал архитектор, — я боюсь, что мечты ваши напрасны. Брат еще не хочет показывать своей картины. Он недавно писал батюшке, что, рискуя навлечь гнев начальства, отказался пустить в мастерскую ревизующего генерала.

— Да его к черту было мало спровадить, этого Киля! — крикнул верзила в бархатной куртке. — Генерал от пушки, да к Аполлону!

— А что, в Академии все по-старому? Всё чины да поклоны? И усы брить приказано, и жениться нельзя?

— Кто добрался до Италии, мигом ожениим, хоть на срок, хоть навеки!

И юркий маленький художник, под руку с черным, как жук, итальянцем, стал по очереди представлять всех Сергею Иванову:

— Вот сухопарые овербековцы-назарейцы, божественное измышляют, свой жар теряют. Потолще — немцы пивные, они жанр пишут: свиньями промышляют, знай гроши собирают.

— Ха-ха-ха, овербековцы их презирают? Они на горе, как монахи...

— Монастырек-то ихний на горе, а гора в винограднике. А на горе Арарат, как известно, Варвара рвала виноград.

— Не греши, их папаша Овербек всех в псаломщики повернул!

— Вы — назареец? — повернулся с интересом Сергей Иванов к худому, очень серьезному человеку. — Мне хочется поближе узнать вашу новую школу. Брат писал несколько лет тому назад об ней с большим увлечением.

— Сказано: сухари постные — вот и вся школа, — ввернул маленький. — Синьор Алессандро, бывало, не брезговал пить с нами, пел под барабан, плясал под бубен, а назарейцы его задурманили: не отдадим Овербеку хоть брата. Айда в кафе Греко, спрыснем архитектора, посвятим его в рыцари нашего ордена имени Вакха.

— Я не дальше, как завтра, приду к вам, — отбивался Сергей Иванов, — сейчас мне надо к брату, в улицу Сикста...

Багрецова, проходившего мимо с поручением Полины, привлекло сборище знакомых художников. Поняв из разговора, что приезжий — Сергей Иванов, архитектор, тот самый любимый брат, которого давно жаждет видеть Александр Андреевич, Багрецов выступил из толпы и сказал:

— Я спешу с одним экстренным поручением к вашему брату, так что нам с вами по пути. Я часто бывал

в вашем доме, может быть, вы фамилию запомнили — Багрецов.

— Глеб Иванович, как я вам рад! Отец часто вас поминал, — оживился Сергей, и они, распрощавшись с шумной ватагой, отправились вместе. А художники, о чем-то поспорив еще, всей кучей сверглись по лестничкам опять в Колизей и, выстроившись в две шеренги, как задорные петухи, стали наскакивать друг на друга.

— Пустые ребята, — сказал Багрецов. — Посудите сами, что общего может быть у вашего брата, увлеченного громадной идеей, и этими шалопаями, хотя они и не без таланта?

— Мне писали, что брат изменился за последнее время, — сказал робко Сергей. — Он стал окончательно нелюдим, запирается... порвал со своим лучшим другом Гоголем...

— В вашем брате давно происходит мучительная творческая работа, неизменная спутница того нового, что большие таланты дают человечеству.

Багрецов волновался за встречу братьев. Александр Иванов мог в припадке недоверия не пустить к себе сразу Сергея.

— Вот мы подходим, — сказал он. — Мастерская вашего брата в глубине этой аллеи роз, прямо в двери, второй этаж.

Сергей Иванов сам был полон тайной тоской, боясь поверить дошедшим слухам об Александре как о человеке одичавшем, чуть не больном манией преследования. А он помнил брата двадцатилетним юношей, открытым, полным надежд.

— Вы сейчас постучите в эту дверь три раза и, помедля, еще два — таков наш условный стук с Александром, когда я прихожу ему читать. Чтобы не помешать вашему свиданию, я пойду в сад. Вы позовите меня, когда найдете удобным. У меня очень важное поручение к Александру, которое немало его может обрадовать.

Багрецов немного отошел, а Сергей, собравшись с духом, постучался в дверь. Она приоткрылась. Как аист, осторожно высматривая, выдвинулась голова с длинными непричесанными волосами и всем спокойным обликом Александра Иванова, так напоминавшим хозяина-мужика средней полосы России. Только глаза его, большие и тем-

ные, беспокойно-подозрительно глянули по сторонам. Он сделал щиток над глазами, защищаясь от последних лучей заходящего солнца, падавших ему прямо в лицо через узкое оконце коридора, и мягким голосом, слегка пришепетывая, спросил:

— Ваше имя-с?

— Это я... я приехал, — сказал Сергей и запнулся. Он тоже вдруг не поверил, что это его брат.

— Александр Андреевич! — крикнул Багрецов снизу. — Да ведь это брат твой, архитектор. Я привел его сюда.

Стоявший в дверях еще минуту вглядывался, вдруг лицо его дрогнуло, он протянул обе руки и ввел Сергея Иванова в мастерскую. Сейчас же за ним старательно запер дверь.

Потом еще молча, жадно глядел в молодое взволнованное лицо, как бы ища в нем былые черты детства:

— Да, точно, Сереженька, брат мой, — наконец сказал он и, обняв брата, заплакал.

Солнце зашло, но луны еще не было. Над Римом встала темносиняя душистая ночь. Трещали цикады, пела мандолина. Песней и смехом полны были лодки, скользившие вдоль Тибра.

Через открытое окно Александр Иванов окликнул Багрецова, тот вошел. Все трое уселись на низком диване, единственной мебели в мастерской. Братьям надо было столько друг другу сказать, что они больше молчали, чем говорили, и присутствие постороннего им было приятно. Ведь Сергей приехал на долгие годы.

Односложно спрашивал старший про уже покойную мать, про отца и сестер, с которыми расстался почти двадцать лет тому назад. Долго, пристально смотрел на брата и думал, вероятно, о том, как же сам он постарел, если брат стал совсем новым, незнакомым ему человеком.

— Увижу ли когда своего старика? — сказал Александр с грустью и перевел глаза на чудовищный, всю стену занявший холст, закрытый драпировкой.

— Вот где моя юность и сила, радости и здоровье, — сказал он брату, подходя к холсту. Он протянул руку, чтобы отдернуть драпировку, но остановился в волнении. — Нет, не сегодня... сегодня слишком счастливый

день, а холст этот — как неизлечимая болезнь, которую лучше забыть.

Сергей был изумлен:

— Что ты говоришь? Неужели заветное дело твое, твоя необычайная картина тебе уже не дорога? Как? Столько жертв даром!

Лицо старшего брата вспыхнуло, потом он побледнел, повторил:

— Да, сколько жертв даром... Жестоко сказано... Но самое жестокое в том, что сказано верно.

— Прости, брат... — смутился Сергей, поняв, что здесь та тайная большая боль, перед которой и нищета и обиды чиновников и все прочее — булавочные уколы.

— Батюшка и родные очень польщены твоим званием академика, — думая сказать приятное брату, вспомнил Сергей.

— Вот как, — горько усмехнулся Александр, — они все еще полагают, что жалование в шесть — восемь тысяч и удобная квартира в Академии есть предел блаженства художнику. А я думаю, что это его совершенная гибель.

Александр Иванов в волнении небольшими шажками пробежал по мастерской, взял Сергея за плечи и жарко сказал:

— Брат мой, звание академика, казенная квартира — *по-ги-бель!* Ты молод, ты начинаешь, запомни: *совершенно свободен должен быть художник. Никогда ничему не подчиняться!*

Добрые утомленные глаза Александра Иванова горели. От мешковатой добродушной фигуры веяло долго сдерживаемой силой. Он говорил как власть имущий.

— Я дорого заплатил за познание, что есть свобода... Ценою вот этого чудища, этой неудачной картины, а значит, и всей своей незадачной жизни...

Багрецов прервал Иванова, подавая ему конвертик Полины:

— Александр Андреич, вот тебе просили передать.

Иванов прочел несколько раз строчку Полины и, кинувшись к брату, пришепетывая и захлебываясь от восторга, сказал:

— Сережа, сегодня необычайный, счастливейший день моей жизни... Я не привык к откровенности, но мне хо-

чется, Глебушка, — он как бы извиняясь обратился к Багрецову, — мне хочется сказать сейчас брату, почему я так счастлив. Но выйдем на воздух, мне легче говорить всюду, нежели в этой мастерской, где я столько лет привык к скрытности и безмолвию. И ты, Глеб, иди с нами.

Багрецов отметил, как болезненно поразило Сергея то, что, несмотря на чрезмерное оживление, брат его, прежде чем щелкнуть ключом, еще раза два входил в мастерскую, подозрительно оглядывая все углы, и только тогда, запирая дверь, вымолвил:

— Много, ох, много у меня врагов!

Они все трое спустились в сад. Лицо Александра Иванова, озаренное луною, было так задушевно и трогательно, что Багрецов невольно на него загляделся.

Да, этот белый широкий лоб, усталые добрые глаза, нежные, как у ребенка, щеки трогательно вызывали нежнейшие чувства дружбы... «Но, может быть, — подумал Багрецов, — для любви надо что-то совершенно иное, иначе не вырывалось бы у Полины так пренебрежительно часто «тюфяк».

— Друзья мои, мне хочется вам сказать, как безмерно я счастлив... — начал Александр Иванов.

— Подождите, — остановил Багрецов, глядя на часы. — Мне время идти за ней.

— Повремени, Глеб, минуточку, — удержал Иванов как бы в внезапном страхе за руку Багрецова и сам в страшном волнении повернулся к брату:

— Слушай, Сережа, после многих лет монашеской, отреченной жизни судьба посылает мне радость. Я люблю и любим. Сейчас она придет мне сказать решающее слово. Какое доверие! Ведь это — девица высшего круга, ее из дома одну никуда не пускают. Верно, родители дали согласие. Прекраснейшие люди, но чудаки, они до сих пор считают, что художник унизителен ихнему роду. Иди, Глеб, приведи ее!

— Но, Александр, не делай себе детских иллюзий, — с беспокойством воскликнул Багрецов. — Повторяю тебе: ее мать продолжает быть и навсегда останется того же мнения. Приход Полины — ее собственная затея при моей поддержке, и еще неизвестно, что этот приход тебе принесет.

— Русская дева, о, что может быть самоотверженнее! Беги, Глебушка, не опоздай!

— Я уйду, чтобы тебе не мешать, — сказал поспешно Сергей.

— Милый брат, ты не гневайся... такое совпадение! Твой приезд и эта записка... Ведь первый раз в жизни, ты знаешь меня. Конечно, она пробудет недолго, в доме такая строгость... Впрочем, мать предостойная женщина и, между нами сказать, если она и покусилась на мою жизнь, то я извиняю ее от души.

— Брат, ты бредишь, — испугался Сергей, — какое покушение?

— Думаешь, мнительность? Возможно, возможно...

И, понизив голос, Александр Иванов горько сказал:

— Будь ко мне добр, Сережа, ведь моя странная судьба только и делает, что питает подобную мнительность. Хоть вспомни недавнее: заказ Тона для храма Христа. Я всю душу положил, без конца сделал эскизов, и вдруг... перемена — Воскресение пишет Брюллов. А бесконечные издевательства глупых начальников, и разочарования, и утраты. Мне сдается порою: мои нервы болезненно, непоправимо потрясены.

Но сейчас долой все подозрения! Сережа, при твоей помощи и ее, этой ласточки, моего флорентийского божества, я окончу свою картину! Я займу первейшее место между живописцами, между художниками современности. Долой одиночество, долой черствая старость неудачника! Иду на первое свидание, иду!

Он поцеловал брата и побежал какой-то презабавной дробной рысцой к своей мастерской.

Сергей с глубокой грустью глядел ему вслед.

Глава IX
В МАСТЕРСКОЙ

...Я опять испугался людей.

А. Иванов.

Когда Багрецов с Полиной вошли к Иванову в мастерскую, он забавно стоял посреди с охапкою роз, недоумевая, куда бы их поставить. Увидя Полину, он кинул

цветы на диван и, безмолвный от охватившего волнения, протянул обе руки вошедшей.

— Ну, вот я и пришла, — сказала Полина и кокетливо махнула шарфом на Багрецова. — Глеб Иваныч, скройтесь, нам с Александром Андреичем надо поговорить.

— Глебушка, пройди в спальню... тут у меня за стеной, — заторопился Иванов, — займись эстампами. Есть преинтересные, новые...

— Обо мне, друг, не беспокойся, — и Багрецов поспешил скрыться в соседнюю комнату, испугавшись, что Иванов от конфуза пустится читать трактат об искусстве.

В комнатушке Багрецов немедля устроился так, чтобы все видеть и слышать, по праву режиссера, которому принадлежит честь постановки.

Это было нетрудно: римские мастерские все на живую нитку, и тонкая перегородка была с большой, заклеенной обоями щелью. Багрецов без зазрения сделал брешь и, не сходя с жесткого ложа отшельника, мог наблюдать за свиданием. Иванов продолжал упорно молчать, перебирая по привычке пухлыми пальцами. Он даже не предлагал Полине сесть. Она, сморщив носик, села сама на тахту.

— Садитесь же, — не без досады сделала она ручкой Иванову.

Он неуклюже опустился как можно подалее от нее.

— Глупейшее начало, — злобно проворчал Багрецов.

— Каммучини уверяет, — сказала жестковато Полина, — что картина ваша далеко превосходит брюлловский «Последний день». А как велик был его триумф, когда весь Рим кинулся на выставку! Брюллова равняли со старыми мастерами. Подумайте, что же ждет вас, если вы перестанете упрямиться и последуете мудрым советам!

Она тронула рукав Иванова тонкой в кольцах рукой и, блестя загоревшимися умными глазами, сказала нежно, как слова любви:

— Знаете, что меня побудило сделать этот решительный шаг и прийти к вам? Вчера в салоне у нас говорили, что вы составите себе европейское имя, если повезете свою картину по всем главным городам Европы. «Он про-

славит не только себя, но прославит и всю Россию», — сказал дипломат З. А знаете, что сказала моя мать, когда мы с нею остались одни? Мы сидели в маленькой гостиной...

— Где я впервые слыхал ваше чудное пение?

— И где от вас только зависит слыхать его сколько угодно, — и Полина потупила глазки, как полагается в таких случаях.

«Не слишком ли круто она пустилась в атаку», — опасливо подумал Багрецов.

По лицу Иванова пробежала мучительная тень. Он потупился, как-то втянул голову в плечи, словно ожидая, что на него сейчас свалится огромная тяжесть.

Полина, все не подымая глаз, продолжала:

— Ну вот, мама выразилась так: «Когда он и вправду прославит Россию, то имя его если не сравнится с родовитыми именами, то по крайней мере *станет прилично для всякой,* которая захочет разделить его странную жизнь...»

— Странную жизнь? — неожиданно вспыхнул Иванов в ту минуту, когда Багрецов опасался, что он разомлеет от восторга. — И вас не покоробило ни определение, ни убогий, в нем скрытый мещанский взгляд на художника как на забаву и развлечение хотя бы разъевропейских бездельников?

Полина сделала жест негодования. Багрецов еще не мог понять, что могло так разобидеть Иванова, а тот уже продолжал, забыв всю недавнюю робость:

— Вы только поймите, что так называемые ваши «приличные» люди не пишут картин, не сочиняют музыки, не двигают вперед ни мысль, ни чувство — они пьют, едят, множатся. Они просто-напросто навозят собой землю, не оставляя для *человечества* никакого следа. Если ж кому даны особые дары и он ими служит миру, быть может он имеет право и на *особую жизнь, не схожую с обычной...*

— Ну, я пришла к вам не для назидательных бесед... — прервала высокомерно Полина.

— О, какой я болван! Простите. Дикость, одиночество... — Иванов схватил Полину за обе руки. — Простите, но как стало мне больно от ваших слов! Я стал слишком чувствителен: про меня и то пустили слух, что

разговор мой всегда в тоне грусти, а такого рода люди неспособны будто бы к высокому в искусстве. Варвары люди!

Но вы, ангел мой, не правда ли, вы пришли мне на великую радость, сказать, что отреченность моя от мира, что жестокое одиночество мое кончено? Вы пришли мне дать новые силы для нового, громадного дела?

Иванов вскочил и стал, как обычно, очень скоро ходить по своей мастерской.

— Пусть этот холст-чудовище, — он показал на завешенную картину, — пусть он учит, как не надо писать! Опираясь на вашу нежную руку, освещенный вашей красотой, я создам неслыханное! Я соберу миру в смелой, исполненной жизни живописи творческий дух всего человечества. Я дам новый храм. Войдя в этот храм и выйдя из него, каждый без слов, без сухого назидания, одним лишь созерцанием моих картин станет выше, умнее, сильнее. Станет сам воплощением божественного человека. Высоким искусством спасется и подымется даже обыкновенный, пошлый лентяй. Это ли не достойная задача? И не соблазнительно ль прекраснейшей из дев быть на подобном поприще вдохновительницей?

Полина подошла к Иванову, вскинула обе руки ему на плечи и с чарующей лаской сказала:

— Наша судьба в ваших руках. Везите картину в Париж, Лондон — и у вас деньги, у вас всемирная слава... и я.

Иванов вздрогнул, снял ее руки со своих плеч и отошел к окну.

Молчали. За окном в саду выводил кто-то под мандолину старинную песнь о любви.

Багрецов уже готов был ринуться из своей засады, чтобы скрепить новый союз, соединив руки жениха и невесты.

Вдруг Иванов быстрым шагом подошел к Полине, сидевшей на низкой тахте, остановился, не доходя, и голосом глубоким, прерывавшимся от внутренней муки, заговорил:

— Выслушайте меня: в судьбе моей нерасторжимо сплетены — жизнь личная, искание религиозное и живописное. И все они три — равно опустошительные траге-

дии. Сил человеческих не хватает, поймите! Ужели и дальше так?

В юности однажды я отказался от любви. Брак лишал меня заграничной поездки, а я сознавал, что я призван вывести звание художника русского в круг имен европейских. Я не смел лишать себя необходимого развития в искусстве, я не смел думать о себе лично.

Жизнь моя здесь, мои великие труды, нужда, унижения, бескорыстные искания — все перед вами.

Я встретил вас. Вы тронули и взволновали меня нежным вниманием, проникнув в мои замыслы, в мою душу. Отрекшись от радостей личных, я стал надеяться на чудо, но поймите ж меня: художник от человека во мне неотделим. Картина моя — моя душа. Могу ли свою душу развозить по городам и торговать ею? Когда отдам ее в Петербург, пусть делают что хотят, но сам, сам... Картина моя — моя душа.

— Но кончить-то ее вы по крайней мере не отказываетесь? — сказала резко Полина и встала. Лицо ее покраснело, слова были отчетливы, жестки, как приказ. — Сведущие люди говорят, что вам только осталось привести пестроту отдельных групп к общему тону. Связать все части воедино. Почему до бесконечности делать этюды? Петербург больше не хочет продлить вашу пенсию! — почти крикнула она. — К вам приставляют невежд и бурбонов. Живете вы нищенски, вы басня города. Между тем стоит вам две-три вещицы послать на лотерею, и средств у вас сколько угодно! Воля ваша, понять это никто из здравомыслящих не в состоянии. И знаете, что я вам скажу: когда мать моя возмущается вами, мне ей возразить нечего, нечего... Я только плачу, как сейчас.

Полина села и закрыла лицо белым платком.

Иванов опустился перед нею на колени, лицо его пылало, в глазах блеснули слезы. Он молча целовал ей руки. Внезапно он встал, как бы опомнившись, отскочил к окну. Все необычайно мягкие, растрепанные, славянские черты его лица стали твердыми. Ярко кидался в глаза умный побледневший лоб, оттененный волнистыми волосами. Он поднял голову, скрестил по привычке на груди руки и с большой силой сказал как бы себе одному:

— Безгранично свободен должен быть художник, безгранично. В великой свободе — великое творчество. А вы какое ярмо предлагаете мне?

При первом звуке этого голоса Полина выпрямилась и окаменела. Иванов продолжал:

— Вы, заодно с чиновниками петербургскими, этими «мертвыми душами», предлагаете мне рисовать для лотереи картинки, писать вещицы, когда громадные идеи околдовали меня? Не то ли сделать, что сделал художник в бессмертном «Портрете» Гоголя? Продать душу за деньги ради подделки под пошлый вкус публики?

О, у меня мелькает в ответ написать вам распятого Христа, которому на вопль его «жажду» — подали желчь, а не воду. Нет, искусство предателей не прощает! Искусство требует себе всего человека.

Он подошел, протягивая обе руки, с улыбкой необычайной. И в глубоком, прекрасном чувстве сказал:

— Общее служение великой идее пусть создаст наш прекрасный союз.

Полина попятилась от него, спрятала руки за спину.

— Женщина, как и искусство, требует себе тоже *всего человека,* — сказала она холодно и, подойдя к дверям, сделала знак их открыть.

— Я провожу вас, — сказал он робко.

— Не беспокойтесь, в саду ждет меня горничная.

Полина вышла. Иванов остался стоять среди мастерской.

Багрецов не мог больше выдержать, кинулся к нему из своей комнаты, молча положил на плечо руку.

— Глеб Иваныч, — сказал Иванов, не двигаясь, не переводя глаз из точки, куда они случайно попали, — все кончено, она больше сюда не придет. Что же, видно, ничто личное — не моя судьба.

Вдруг Иванов подошел к своей громадной картине и с силой отдернул драпировку. Багрецов, давно ее не видавший, невольно отступил, пораженный.

В картине уничтожены все женские фигуры, отчего группы стали суше и расположены как бы для скульптурного барельефа. Складки на апостолах искусственны, в духе мертвого академизма, вода первого плана похожа на пестрый узор. Лицо раба, столь потрясающее в этюде, теперь было лицом позеленевшего трупа.

— Александр Андреич, — сказал растерянно Багрецов, — что ты сделал с Крестителем? С одними вдохновенно поднятыми руками, без мантии и креста в руке, он был много прекраснее...

— Крест присоветовал мне Торвальдсен, — сказал тускло Иванов, — а надеть мантию — Овербек. Женщин же я удалил по настоянию батюшки. В одинокой жестокой жизни у художника часто нет сил доверять лишь себе одному.

Багрецов был потрясен болью невыразимой: на его глазах зарождалось, возникало произведение гениальное, обещавшее чудо, а для него самого — тайное разрешение его личной судьбы. Он ждал окончания «Мессии» как приговора или надежды на воскресение. И вот взамен чуда — работа холодного мастерства, от которого почти отлетел дух живой.

«Гобеленов ковер, — впервые подумал он то самое, что впоследствии говорили между собой все художники. — Где же былой огонь? Где широта кисти, столь поражавшая в подмалевке?»

Багрецов вспомнил о старом отце Иванова, восторженный шепот его, и гордость, и страх перед дерзкой гениальностью сына, задумавшего чудо обращения всех ко Христу «Появлением Мессии».

Долго стояли оба с тяжкими думами, как вдруг послышались сзади шаги, и в дверь, которую впервые после ухода Полины позабыл накрепко запереть Александр Иванов, вошел его брат Сергей.

Александр быстро обернулся, вздрогнул, пришел в себя. Лицо его вспыхнуло, потом побледнело, и в сильнейшем волнении, нелепо пытаясь заслонить собою картину, он заторопился оправдать себя брату:

— Против прежнего тут изменение... Вместо городских стен теперь у меня дальние горы близятся равнинами, а во втором плане кроются обильными оливами; все это должно быть подернуто утренним испарением земли. Кроме того, картина должна получить сильную глубину в перспективе.

— Брат мой! — воскликнул Сергей. — Но это превзойдет все доселе бывшее, когда будет окончено...

— Картина окончена не будет, — прервал Александр Иванов. — Не будет! — крикнул он вне себя. — Капля

точит и камень, а художник беззащитнее ребенка. И русскому таланту, чтобы совершить задуманное, надлежит прожить не одну, а две жизни. В первой жизни его лишь измучают до смерти...

— Помилосердствуй, Александр Андреич, — вступил Багрецов, — ведь тебе тут работы не много!

— Ах, пожалуйста, не надо... — Иванов в испуге, как бы защищаясь от удара, слегка поднял руки, — не надо-с. Конца не будет.

— Брат мой, — Сергей чуть не плакал, — как не довершить начатое гениально? Какое глубокое всенародное постижение Христа! Это не царь царей мастеров Возрождения — это иной, всем близкий, простой. А ожидание толпы, а этот затравленный раб? Старик, молодые, эта внезапность надежды в чудесно тобой возрожденном типе древнего палестинца? О, какое разрешение! Эта непостижимо легкая поступь. Эта спокойная сила Иисуса. Невольно вступили мне в память стихи Федора Ивановича Тютчева. Они ходят у нас по рукам, еще рукописные...

— Скажи их, Сереженька. Вот он каков... Юный, еще не общелканный жизнью. Ведь и я был такой же. Ну, Сережа, скажи.

Сергей, восторженно глядя на картину, продекламировал в той напыщенной, несколько приподнятой манере, которая в Академии установлена была для публичного слова:

Над этой нищею толпой
Порабощенного народа
Взойдешь ли ты когда, свобода?
Блеснет ли луч твой золотой?
Блеснет твой луч, и оживит,
И сон разгонит и туманы;
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,
Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет...
Кто их излечит, кто прикроет?
Ты, риза чистая Христа...

— Именно так, именно, — сказал Александр Иванов. — Да, так я веровал. А когда больше веровать так я не могу — тогда пришло время кончать. И вот: конца картине не будет.

Молчали.

Иванов тихо поднял руку, как подымают над дорогой могилой, чтобы бросить прощальную горсть земли:

— Глеб Иваныч, задерни полотно!

Багрецов был бледен, руки его дрожали, когда он задергивал серым покровом трепетное тело юноши, выходящего из воды, орлиное лицо Иоанна и спешащего к людям Христа.

Наутро Багрецов нашел снова Полину на Форуме. Она была одна и тотчас сказала, натянуто улыбаясь:

— Ну, вот и развязка вашего незадачливого сватовства! Во всяком случае я на вас, Глеб Иваныч, не в претензии. Тем более, что вчерашняя ликвидация наших умных планов сердечных моих чувств нимало не затронула.

— Что с вас взять, — пожал плечами Багрецов. — Упрекать вас за то, что вы есть, бесполезно и глупо.

— Ваше высокомерие нимало меня не трогает, — прервала Полина. — Сколько б вы ни корили женщин за то, что они не жертвуют собою гениям, они не исправятся. Для них последний обыкновеннейший мужчина может оказаться более достойным любви, между тем как Сократ будет вечно достоин одной лишь Ксантиппы! И знаете почему?

— Это любопытно. Просветите меня!

— Потому что женщина ценит только того, кому она хоть когда-нибудь может быть *цель,* а не *средство.* А потому грубейшая страсть ей предпочтительней любви — лекции по искусству. Однако я прошлым жить не люблю. Давайте заключим и на будущее союз дружбы. Ведь ваши услуги могут быть и удачней!

Багрецову Полина сделалась отвратительна, но мысль о «флаконе Борджиа» заставила его улыбнуться и сказать со всеми чарами героя романа:

— Услуга за услугу! Вы должны вскрыть мне тайну маленькой Гуль. Откуда эти очи, полные гнева, и таинственность и нежелание со мной говорить? Ужели она так стала важна от брака со своим адъютантом? А кстати, он интересен по внешности?

— Успокойтесь: долговяз, красконос от жертв Бахусу...

Багрецов прервал с улыбкой:

— И потерпел здесь аварию, пытаясь приносить жертву Амуру... Передайте жене его, что он притча во языцех у художников. Скульптор Рамазанов не пускает его в мастерскую по просьбе натурщицы, в которую он соблаговолил влюбиться.

— Ах, это маленькой Гуль очень на руку, — оживилась Полина, — муж этот ей до смерти надоел. Ведь Гуль... Да неужто не догадались? Она с пелен любит вас!

Багрецов притворился изумленным, что польстило Полине.

— Вы меня поражаете, — воскликнула она. — Но знайте, Гуль настолько же вас любит, как и ненавидит. Но не правда ли, наш союз à discretion, клятвенный и нерушимый?

— Разумеется, что так, — удостоверил Багрецов.

Они сели под серебристой оливой на камне, и Полина с наслаждением бессмертной Евы, нарушающей клятву, хотя место было пустынно, стала шепотом предавать подругу.

— Вы всегда щадите мое самолюбие и даете доказательство вашего уважения. И сейчас, хотя дело не вышло, я ценю, что вы мне хотели добра. Ну вот, я отплачу вам тем же, не желая, чтобы вы стали посмешищем. У нас на маскараде против вас целый заговор. Гуль заинтриговала всех родных и знакомых. Кто б мог подумать о коварстве в таком хилом существе! Когда она выйдет в своем костюме, все должны изучать ваше лицо.

— Для какой же цели?

— Гуль уверяет, что вы побледнеете, как преступник. Что это будет вашей уликой, и тогда она раскроет одну вашу старую тайну. Будет мстителем за совершенное будто бы преступление или за намерение его свершить — уж не помню. Ни дать ни взять опера! Вообразить вас преступником в наши дни? Флакон яда? Да чем же это не Ренессанс?

Скрывая волнение, Багрецов сказал:

— Да, презабавная история! А каков будет костюм вашей Гуль?

— Флакон с надписью: «Яд Борджиа». Недурен романтизм?

Багрецов засмеялся, и уж это вышло напрасно. Смех его вышел не легкий, а злой, так что Полина, помолчав, заметливо сказала:

— Однако вас в этой истории что-то все-таки зацепило.

— И даже очень зацепило, — поспешил он, — как всякая подчеркнутая человечья гнусность. Ведь я знал эту Гуль девочкой, она росла у меня на глазах; как умел, я о ней позаботился. И вдруг эта чисто женская, кошачья месть, только за то, что я не оценил ее прелестей?

Багрецов, уже вполне овладев собою, найдя все необходимые интонации, рассказал Полине о том, что этот странной формы флакон жена его хранила при себе на тот случай, если ребенок родится мертвым.

— Подозревая, что это мог быть яд, я, похитив его у сонной, тихонько унес из-под подушки, положил к себе и, не поспев хорошенько спрятать, поспешил на зов проснувшейся жены. Вернувшись, я нашел, что флакон исчез. Сейчас мне все понятно: Гуль, с своим замкнутым характером, разрываемая детской страстью и фантазией, вообразила целую мелодраму. И все это было бы даже мило, если бы не ее теперешний маскарадный замысел с такой гласностью и предательством. Впрочем, и это извинительно, — сказал он, смеясь. — Ведь я разбил ее семейное счастье, добродетельно помешав соблазнить натурщицу Рамазанова долговязому адъютанту Гуль.

— О, какой вы широкий и великодушный человек! — воскликнула Полина. — Сколько снисхождения к нашему женскому коварству.

«Бесподобно разыграно», — похвалил сам себя Багрецов и, придумав какой-то предлог, распростился с Полиной и, взяв веттурино, уехал на целый день в Субиако.

Багрецов шел к себе домой в отвратительном настроении. Он был противен себе сам, как эта Гуль, с непрошенной любовью и ненавистью вставшая у него на пути.

Всплыло прошедшее. То дурманное состояние, близкое к бреду, которое охватило его после именин на Девичьем поле. Снова возникла не оставлявшая в те дни ни ми-

нуты, разрывающая все существо его, зовущая в бой музыка строк:

Я мало жил, и жил в плену,
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог...

Сейчас, в эту темную, безлунную благоуханную ночь, заглушая плеск тихих весел на Тибре, звуки журчащих о любви мандолин, охватывая взором ожерелье огней на башнях святого Ангела, где сидели, бывало, в заточении благороднейшие, откуда на разрезанной простыне бежал Бенвенуто Челлини, — эти строки звучали ему вновь и вновь с прежнею силой:

Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог...

В комнате Бенедетты горел огонь. Багрецов стукнул в стекло, размахнувшись бутоном розы, продрался сквозь заросли и шипы подсмотреть в окно; удивленное прекрасное лицо глянуло в темный сад и, никого не видя, отодвинулось.

Бенедетта была в костюме транстеверинских женщин. Бархатный корсаж ловко обхватывал белоснежную рубашку. Шея и руки, от локтя голые, были тверды, налиты здоровьем. Лицо знойное, прекрасное в своей простоте, как лицо молодой богини.

Багрецова, после всей путаницы, боли и мелочи последних дней, это лицо потянуло, как тянет теплая большая река разбитого в пути странника. Минута отдыха и забвения... Он опять постучал и вплотную, как мальчик-шалун, приложился к стеклу, состроив из лица расплющенную маску. «Если узнает, — успел подумать он, — значит, полюбила...»

Она узнала его. Радостно вспыхнув, она открыла окно.

— Бенедетта, можно к тебе? — прошептал Багрецов. — Я по делу.

Бенедетта кивнула, указав на двери, и, спустив от лишних взоров зеленое жалюзи, пошла вглубь комнаты отворять.

— Как вы узнали, что я еду? — удивилась Бенедетта.

— Куда едешь? Нет, я не знаю ничего, — сказал Багрецов. — Я соскучился по тебе, я пришел навестить.

— Как же, поверю, вас сколько дней не было дома? — сказала она с сознанием, что вот не смеет делать упреков, и все-таки упрекает.

Багрецов обнял Бенедетту и, целуя, сказал:

— Вот и прекрасно, я поеду вместе с тобой.

Бенедетта высвободилась, отступила. Лицо ее вдруг все засветилось прекрасной глубиной чувства, гордый рот, способный на резкое, жестокое слово, детски доверчиво приоткрылся:

— Надолго?

Это была такая полная, настоящая, большая любовь, что у Багрецова голова пошла кругом. Он забыл и кто он и на что способен, он смог в ответ сказать ей только одно, тысячу раз им осмеянное:

— Навсегда!

Они не спали всю ночь. Он ей все рассказал про себя, как матери, другу, жене.

Молча гладя его волосы, она все поняла, не удивляясь. Наконец она просто сказала:

— Мы теперь будем вместе работать для свободы. Ведь ты любишь Италию, раз ты любишь меня?

Он отвечал:

— Борьба за свободу Италии — начало борьбы за свободу людей. Мне терять нечего, мне жалеть нечего. Все мое только с тобой. Едем же, едем скорей!

И он бы в те дни с ней уехал. И кто знает, быть может нашел бы себе если не покой, то хоть доблестную смерть, как любимый им Байрон, сражаясь в чуждых рядах, за чуждую отчизну.

Но он не поехал. Он остался. Это она, Бенедетта, и в любви не забывающая дела, в интересах своего «тайного общества» решила, что безопаснее для дела ей ехать одной. А ей предстояло немало нужных бумаг перевезти контрабандой к Доменико. Порешили на том, что она уедет одна и вызовет Багрецова при первой возможности. Когда утром он усадил Бенедетту в высокую тележку знакомого веттурино, она, целуя его в последний раз, так грустно сказала: «Теперь мне без тебя даже неделя большой срок», — что Багрецов прыгнул к ней в экипаж

и, презирая всякую осторожность, еще и еще убеждал ее взять его себе в спутники. Но прекрасная Бенедетта была тверда. Она сделала знак виттурино, тот ударил по лошадям, и она уехала, не оборачиваясь. Она не обернулась, хотя любовь к Багрецову в ней была так же сильна, как любовь к Италии, но жила в Бенедетте, как и в брате ее, Доменико, та пламенная верность делу, что принудила знаменитого узника венецианской тюрьмы, их отца, покончить с собой голодовкой, чтобы не предать тайного плана восстания.

Багрецов, безумный, влюбленный, каким не был и в дни своей мрачной юности, то таскался по узким уличкам Рима, то с головою зарывался в прошлое Италии. Он вдруг сумел убедить себя, что ему безразлично, какой страны быть гражданином, и если судьба представляет ему Италию поприщем деятельности, то он готов помереть за Италию, как Байрон за Грецию. Он зараз брал уроки истории, итальянского языка, изучал фехтование и военное дело. Он стал юношей, — он любил.

Среди своих личных дел он даже не отозвался на внезапное появление Пашки-химика, который приходил за ним, чтобы идти вместе к Гоголю. Но вся острота этой долгожданной встречи для него теперь пропала. О чем говорить, хотя бы и с Гоголем, будущему члену «Юной Италии», мужу Бенедетты? Для своего нового итальянского будущего Багрецову хотелось, как уходящему в монашеский орден, одного: поставить крест над всем своим прошлым.

И не мудрено: служа делу возрождения Италии, ведь он ухватился за чудо *собственного своего возрождения.*

Пашка-химик корчил бесовские рожи, хихикал, но, даже не рассердив Багрецова, разобиженный, отошел. Так с Гоголем Багрецову в Риме и не привелось говорить. Гоголь уехал в Неаполь, откуда собирался двинуться через Чивита-Веккию в Палестину.

— «Чиновник восьмого класса, Николай Гоголь,— так аттестован наш «важнейший» в официальной бумаге, находящейся в Неаполе, — отправляется в путь по святым местам, сроком на полтора года»... Сие отмечено печатями, что значит — документ, — сказал в последнее посещение Пашка Багрецову и еще раз настойчиво убеждал: — Съездите, Глеб Иваныч, съездите к Гоголю хоть

в Неаполь, ведь единственного в своем роде великого человека проморгаете. Что ж до девицы... Да ведь у нее, что у нашей калуцкой, что у древней, гречески-римской, один коленкор-с!

Багрецов Пашку гневно прогнал.

Как-то вечером, молодой и веселый, все еще не доверяя своему внезапному, своему второму рождению, Багрецов захотел сентиментально пережить недавнее прошлое с начала, с той самой минуты, как он постучался в окно, продираясь сквозь крепкие душистые ветви вьющихся роз. А в окне, освещенная сверху, сверкая белизной шемизетки и смуглой своей красотой, предстала ему Бенедетта.

Он входил к себе в сад от синьора Стацци, старого знатока истории тайных обществ, которую сам он теперь выучил назубок. Он подошел к окну, по-мальчишески прыгнул в газон, как тогда, приложил было лицо вплотную к стеклу, как вдруг его сзади кто-то робко позвал:

— Глеб Иваныч!

Багрецов обернулся. Недалеко на садовой скамье сидела Гуль.

Он не удивился. Сейчас в его жизни все было неизъяснимо и чудесно. Ведь он стал не он. В нем какое-то новорожденное, доверчиво-светлое существо заменило привычную злую насмешку добротою ребенка.

— Милая Гуль, как хорошо, что вы пришли, — сказал он с непринужденною лаской, но в ответ на эти слова худенькое тело сидевшей вдруг все содрогнулось и, странно свернувшись на скамейке, забилось в рыданиях.

— Гуль, маленькая Гуль.. — И, не желая чьих-либо нескромных взоров, Багрецов почти внес ее в свою комнату.

Но он не успел подать ей воды, как Гуль, соскользнув на пол и схватив его руку, стала целовать, говоря:

— Простите меня, о, простите!

Багрецов вмиг припомнил все, что вылетело у него было из памяти, и то, как должен себя он держать, чтобы не выдавать своей тайны. Но после *той ночи*, когда Бенедетта смогла все понять, играть роль было тяжело. Однако природная осторожность проснулась, и сдержанно он спросил:

— За что же прощать мне вас, милая Гуль?

— Вовсе я вам не мила. Вы не любите меня. А с тех пор, как поговорили с Полиной, вы должны меня презирать.

Гуль впервые подняла на Багрецова огромные, обведенные черными кругами бессонницы глаза.

— Полина передала мне весь разговор. Она не хотела, чтобы и я оказалась в глупом положении. Дайте воды... Я должна вам все рассказать.

Багрецов подал стакан, потом сел напротив на низкий табурет, у ног Гуль и, опустив голову на руку, не глядя на нее, приготовился слушать.

— Когда я попала к вам в дом двенадцатилетней девочкой, я вздохнула впервые. — Она говорила прерывисто, как после быстрого бега. — Быть может, вы не знаете: сестра не любила, стыдилась меня, тетя тоже. Наша мать, которая умерла за границей, бросив своего мужа, не была верной женой. Тетя имела жестокость не однажды при мне говорить, что я не имею права носить графский титул и фамилию Котовых...

Сестра терпела меня как обузу, она была суха и расчетлива. Вы первый приласкали меня. Я полюбила вас страстно. Вы не знаете, может быть, что такое любовь в юные годы, когда еще нет разнообразия впечатлений, когда не накоплено опыта, не развиты способности ума и воли. О, это всепожирающее пламя! Да, как пишут в старинных романах.

После смерти сестры вы меня отдали в пансион. Я бы умерла, если бы вы не стали меня хоть изредка посещать. Я жила от встречи до встречи.

Да, я знала все, что свершалось между вами и сестрой. Я отлично понимала, что не по любви вы женились, поняла и то, что сестру вы скоро возненавидели. Я стала за вами следить: ваш растущий гнев, ее бестактное утверждение в своем богатстве, наконец ваше отвращение, когда она к вам приставала с приданым малютки... — Гуль остановилась. — Вы меня слышите? — сказала она.

— Я отвечу, когда вы кончите, говорите все.

Голос Багрецова был все так же ласков, но лица он не подымал.

— Это было за день до конца, вы только что вышли из комнаты, дверь не была прикрыта, я проходила мимо и по обычаю скользнула к вам. Я так делала часто. Мне

как ласка было побыть в вашей комнате, потрогать ваши вещи, некоторые пустяки я воровала.

Я носила на шее рядом с крестиком вашу запонку, я таскала ваши носовые платки. В тот день я на столе увидела флакон необыкновенной формы. Но только я взяла его в руки, как за дверью раздались шаги. Убежать было некуда. Не выпуская флакона, я укрылась за шкаф. Я думала — я умру. У вас было отчаянное лицо, досиня бледное. Вы вошли и упали в кресло, охватив руками голову. Потом вы стали метаться, что-то искать, вероятно флакон.

Ваше лицо изобразило такой ужас, не видя его, что я, не в силах выдержать, хотела уж кинуться к вам и отдать. Вдруг сестра стала звонить, зовя вас. Вы бросились вон из комнаты. Я, по непонятной мне причине прижимая к себе флакон, убежала в свою светелку наверх.

Зачем вечером вы так испугали меня! Вы льстили, подкупали, приказывали отдать... вам так нужна была пропавшая вещь, что я видела, если бы безопасно для этого было меня запытать, вы бы, не дрогнув, меня запытали. О, как ранили вы меня вашей жестокостью...

Но, чересчур испугавшись, вы выдали свой страх. Оскорбленная в своем детском чувстве, заброшенная и злая, я решила держать вашу тайну в своих руках. У меня явилось чувство власти над вами.

Наутро сестра умерла.

Я подумала: если и сегодня он будет мне говорить про флакон, значит он ее отравил. Я флакон не отдам, но когда вырасту большая, узнаю у врача про его содержимое. На дне оставалось немного приставшего к стеклу порошка. Я залила пробку сургучом и закопала флакон в саду, отметив место камнями.

Вы в тот же вечер опять начали ваши допросы. Вы помните, как я рыдала, потом заболела. Я была в таком ужасе, что вы — убийца. Больше меня вы не допрашивали.

— Этот пузырек я взял из-под подушки моей жены во время ее сна. Она добыла себе яд, чтобы самой умереть, если ребенок родится мертвым.

Багрецов сказал это с твердостью и спокойно: того человека, который отравил его жену, он в самом деле

чувствовал теперь себе совершенно чужим. Сейчас он острее, чем все дни, знал одно: спасенье его — брак с Бенедеттой, новая родина, новая жизнь.

От простых слов Багрецова Гуль вдруг сделалась очень бледна и с непонятным ужасом прошептала:

— Как, и сестра моя вам лгала? Вас пугала отравой Борджиа? — Она почти лишилась чувств и долго сидела молча, закрыв глаза темными, будто выкрашенными веками.

Багрецов был поражен. Он стал догадываться, что Гуль или знает что-то ему неизвестное, или сходит с ума.

— Видно, ложь в нашей семье. Сестра с вами играла, она не могла... О, простите меня! — Гуль чуть всплеснула своими тонкими ручками. — Но помогите мне сами сказать все до конца. Нищему душой так трудно дается великодушие. Если б я имела хоть одну жалкую радость узнать... ну, вот, скажите мне правду, как перед смертью: если вы не любите меня, то ведь, не правда ли, вы не любите и никакой другой женщины? Увлечение, страсти — не в счет. Я говорю про любовь, про любовь... от которой сердце как солнце!

— Как вы прекрасно сказали — сердце как солнце. Да, Гуль, с недавних пор такое чувство мне стало понятно.

— Благодаря натурщице Рамазанова! — вскрикнула Гуль. — Из-за нее я поссорилась с мужем, из-за нее снова теряю я вас. Будь она проклята, итальянская девка!

— Вы не смеете... Это — моя жена.

Багрецов, бледный, схватил Гуль за плечи, но в ту же минуту встретился с глазами ее. В них было столько муки, что он отступил и невольно сказал:

— Простите, простите меня.

Гуль, шатаясь, пошла к двери. Лицо ее, с опущенными веками, на миг выразило жестокую борьбу: вот рот уже дрогнул пронзительной нежностью, и казалось, она готова, ценою собственной жизни, произнести какое-то разрешающее слово. Но когда она подняла глаза, тусклые, темные, пятна без жизни, голос ее был только злобно отчетлив:

— Желаю вам счастья с новой женой, и пусть не повторятся у вас, как с первой, припадки ненависти, которым вы столь подвержены. Улик против вас нет, и, конечно, давность прошла, но я все-таки знаю: *убийца сестры моей — вы!*

Глава X
ПЮРГАТИВ

Один — раб человека, другой — раб судьбы.

Лермонтов.

Сегодня откроется конклав, да, да, конец десятидневных поминок по усопшем папе Григории.

И стучат деревянные каблучки, и спешат римляне и форестьеры на ближайшую площадь за свежими слухами. Народ на улице. Волнение в Риме: не хотим черного папу!

— Беппо, кто сядет на папский престол: Ламбрускини или Ферретти?

Беппо все знает. Он говорит, пыхтя трубкой:

— Сядет папой Микера, гнусный шакал. Когда его спросили, кого бы он сам хотел видеть в папской тиаре, не постыдясь, он ответил: «Для спасения души годен кроткий Мастаи, но для спасения финансов, что гораздо важней, ибо в ваших карманах скоро будет, синьоры, столь же пусто, как в банках, — для спасения финансов лучше меня не найти!»

Багрецов, заодно с итальянцами, сейчас жил на площади и в таком же волнении, как его старый maestro di casa, бежал на закате к Ватикану смотреть, как на розовом небе черной лентой извивается дымок fumat'ы.

Уже не раз вылетал этот дымок из трубы над Сикстинской капеллой, где заседали шестьдесят кардиналов над избранием нового папы. Кардиналы не могли сговориться, твердого имени их записки не давали и по традиции предавались огню. Дым из трубы, по-местному — fumata, был горестный знак населению, что продолжается его сиротство и что римляне — все еще бедные овцы без единого пастыря.

Наконец в один из чудесных июньских вечеров фуматы не было, и стало известно, что папой избран Мастаи Ферретти.

Ему же выпал черед разворачивать билетики закрытой баллотировки, и передавали знакомым своим кардиналы, что скромный Мастаи, по мере того как повторялось его имя, все сильнее бледнел и наконец, поняв, что именно он избран в папы, воскликнул:

— О, что вы наделали! — и лишился чувств.

Однако от власти отказаться не так-то легко. Когда Мастаи очнулся, то на вопрос: принимает ли он папский сан, он скромно ответил:

— Я подчиняю свою волю избирателям и провидению.

Немедленно стала известна Риму вся подноготная нового папы. И несчастная любовь юности и отличие в науках в знаменитом Тосканском университете. Последнее возбуждало большие надежды, так как означало, что губительное влияние семинарии его не коснулось. Чуждый честолюбивого лицемерия и нетерпимости, новый папа хорошо знал обыкновенную человеческую жизнь. Он заведовал сиротским домом с такою любовью, что дети прозвали его «тата Джиованни». А на последнем своем месте, епископом в Имоле, он снискал всеобщее уважение покровительством просвещению, в духе модных писателей Джиоберти и д'Азелио. Багрецову шепотом сообщали, что новый папа принимал даже участие в действиях «Юной Италии».

Когда Пий IX ехал из Квиринала в Ватикан принимать поздравления от кардиналов, римляне приветствовали его восторгом чрезмерным...

Багрецов, полный своей любовью, ожидая письма от Бенедетты с вызовом в Неаполь, переживал нечто близкое перевоплощению. Любовь Бенедетты, — как волшебный чан, куда прыгает Иванушка дураком, а выходит умником, — переродила его из отжившего, охлажденного человека в юношу. Заодно со всем Римом он был охвачен восторгом в дни амнистии политических, заодно со всеми яростно требовал отставки черного кабинета Савелли.

Пий IX, сколь ни запугивали его кардиналы, приступил сразу к реформам, чем вызвал бурное обожание римлян.

Три дня непрерывно шел праздник: процессии, факелы, карнавал. У многих ссыльных не было средств вернуться на родину — возник комитет помощи, посыпались добровольные жертвы. Багрецов давал деньги, собирал, агитировал. И заодно с итальянцами обожал вождя Рима, Анджело Брунетти Чичероваккио.

Это был неподдельный народный герой, ломовой извозчик, достойный представитель транстеверинцев, лучшей части простонародья, великодушный, гибкий и пламенный.

Имя Брунетти у всех на устах. Народ ему верит, и он не обманет народ. Этот человек с черной бородкой, с тонкими быстрыми руками, которыми обычно дополнял свою яркую речь, был больше чем вождь, он был сердце и воля народа.

Чичероваккио прекрасно умел на банкетах сидеть рядом с древнейшими князьями Рима, и, не давая им себя убаюкать лестью, как сторожевой орел, зорко следил, до каких пор интересам народа не вредит быть заодно с Ватиканом.

И хотя мелкие реформы папы сыпались как из рога изобилия, хотя вместо старого губернатора Савелли назначили известного либеральностью Грасселини, Чичероваккио все острей понимал, что от одной перемены людей пользы мало, если учреждения останутся те же. И после дней особых римских торжеств говорил с горечью среди близких своих транстеверинцев:

— Чихнет папа — факелы, проедет по Корсо — ракеты, — ох, боюсь, как бы нам все дело Италии не пропраздновать в карнавалах! Национального ж войска как не было, так и нет, а шпионы и сбиры кишат попрежнему, словно клопы.

Нижние полицейские чины набирались в Тоскане, как и всюду в Италии, из самых подонков города, а пользовались властью громадной. Они действовали заодно с ворами, чтобы брать свою долю за открытие краж. Они доносили, шпионили, они гнусной коростой прослаивали под разнообразной личиной тайные кружки «возрождения Италии».

Наконец флорентинцы, придя в ярость, разрушили здание полиции и на огромном костре сожгли все дела. За ними восстали и прочие города Тосканы, пока не

добились декрета, навсегда упразднявшего полицейские низшие должности.

На время народ успокоился. Он был горд своим первым, доселе неведомым опытом: его воля — высший закон.

Хуже всего дела были в Неаполе. Даже незначительные реформы Пия выводили из себя Фердинанда, а отмена сбиров его окончательно утвердила в трусливом самовластии. Но едва он усилил полицию, как возник тайный заговор. Заговор перешел в восстание в Мессине и Реджио, как только генерал Стателла был послан с незначительным войском, чтобы усмирить в Калабрии неаполитанских беглецов, занимавшихся разбоями. Среди заговорщиков главным был брат Бенедетты — Доменико.

Он в предместье Мессины, где ненависть к Неаполю была сильней, чем где-либо, задумал за большим обедом захватить генерал-губернатора Ланди со всеми офицерами и затем овладеть крепкой цитаделью.

Но план Доменико был выдан предателем, и губернаторский обед отменен. На улице завязалась борьба. Революционеры, бессильные перед войсками, должны были бежать в соседние горы...

Вот эти последние события в тайном письме к Багрецову излагала Бенедетта, прося его ехать к ней немедля в Неаполь.

Багрецов, счастливый, стал собираться. Он поручил своему maestro di casa заказать лошадей, а сам пошел в банк за деньгами. И все время, что бы ни делал, Багрецов не уставал отмечать в самом себе с радостным изумлением присутствие все еще ему необычайного влюбленного юноши...

На Корсо он встретил Александра Иванова. Тот только что вернулся из Ливорно. Увидав Багрецова, замахал в оживлении руками, зашептал, щекоча его бородой в самое ухо:

— О, я застал там важнейшие происшествия... — И с презабавным, конспиративным видом потащил Багрецова к себе в студию.

По дороге на все вопросы Иванов отвечал многозначащим безмолвием, прикладывая к губам один из своих толстых пальцев.

Наконец, у себя в мастерской, после обычной церемонии накрепко задвинутой двери и осмотра всех углов, Иванов ликующим голосом сказал:

— Я застал, мой друг, *исторический момент в Ливорно* — предъявление требований правительству национальной гвардии.

Или чивика, или революция! Вообрази, это смело кричали в самом городе. Мне советовали убираться; все форестьеры, как крысы, сбежались на пароходы. Но я остался. Конечно, главным образом оттого, что нашел великолепные древнепалестинские лица, но и из интереса к событиям также.

Наутро, представь только, — да ведь это, братец, *история!* — сам грандука объявил афишами, что просьбу народную он отдал на рассмотрение в государственный совет. Толпа становилась все больше, двинулась маршем на площадь, каждый с трехцветной кокардой. Какие знамена взвились! А бюст папы, как лебедь, поплыл впереди. Вообрази, губернатор со страху иллюминовал свой собственный дом. Каково, Глеб Иваныч? Сво-бо-да!

Да, я видел впервые *волю народа,* и, представь себе, я понял, как вдруг может меняться весь пункт зрения. Истинно, художник постигает историю не по книгам, а едва лишь увидит ее своими глазами. Только от глаз возникают в нем выводы.

Иванов был необыкновенно возбужден, он помолодел, он опять стал раскрыт и доверчив, как, бывало, в дни юности и «взаимного экилибра». Впервые Багрецов видел его так захваченным живой жизнью, что временно даже живописная работа его остановилась.

— Глеб Иваныч, я совсем не работаю, а без конца думаю, думаю. О, что пережито мной в Генуе! Прибыл я туда больным, замученным бессонницей, но, увидав генуэзцев, воспрял. Да, Генуя великолепна. Независимость их сделала вдруг героями. И ходят сейчас по-иному... Повсеместная честность, порядок, жизнь, бодрость.

И меня вдруг как обухом хватило — хоть и сказано «повинуйтесь властям предержащим», но отнюдь не безразлично, дражайший, *каким именно?* Да-с, Глеб Иваныч, вот мысли — для русского новые!

— Свободная чивика или наемники деспотизма, еще бы не разница, — рассмеялся Багрецов. — Только это ведь азбука! Александр Андреич! Эк, Америку, подумаешь, открыл!

Иванов подкатился к Багрецову совсем близко, и, всем взволнованным существом своим обнаруживая, как важны были ему эти для русского «новые мысли», понижая голос, сказал:

— Неужели от состояния политического и впрямь зависит душевное?! Судя по лицам, это — очевидность для художника. О, я давно не дышал столь облегченно. Но, друг, на границе все кончилось, едва шпионский, желтый цвет будок с черными полосами сменил нам свободу Сардинии на рабский, удушливый воздух Ломбардии...

В дверь мастерской кто-то яростно застучал. Сначала одним кулаком, потом ногами. Иванов побледнел, схватил за руку Багрецова, шепнул ему:

— Австрийские шпионы! Некий следил за мной от самой границы...

— Глеб Иваныч, вы здесь? — донесся в щель голос Шехеразады. — Откройте, я один. К вам дело...

— Пашка-химик, — узнал его Иванов, но все же опасливо переспросил: — Да есть ли кто с тобой?

— Един, как хрен, — завизжал Пашка.

Иванов открыл, попенял:

— Испугал, братец, стуком. Вперед стучи троекратно и дробно.

— Я к Глебу Иванычу двойным гонцом бога Амура, — застрекотал Шехеразада, подбегая к Багрецову.

Он на обычный свой балахон нацепил трехцветную кокарду, а в руках у него был герб Ломбардии.

— Ты что это, на пути в волонтеры? — спросил Багрецов.

— Как же-с, Глеб Иваныч, хочу и я записаться. На поле битвы еще паду или нет, а уж вторую-то молодость приобрету себе без просчету-с. Каждому лестно от фортуны сорвать двойной урожай-с!

Багрецов понял намек, раздражился, как всегда оборвал:

— А сюда что тебя принесло?

— Единственно увлечение вашей судьбой, Глеб Иваныч. Ну как же-с, по поводу вас в один час две встречи, и обе важнейшие. Maestro di casa, почтеннейший старец, вас ищет в целях задатка вознице на свадебный ваш кортеж. А вторичное вам извещение — ваша знакомая просит свидания на холме Пинчио. Да разве не акт дружбы, Глеб Иваныч, заставил меня пугать вас здесь стуком? Согласитесь, что именно акт...

— Глеб Иваныч, да как же ты мог утаить? — подскочил с изумлением Иванов. — Неужто и вправду женишься? А может, ты, Пашка, сбрехал?

Багрецов покраснел, отмолчался. Ему не хотелось раньше времени говорить про Бенедетту. И он поспешил спросить Пашку:

— А второе поручение от кого?

— От жены долговязого адъютанта, от Галины Юрьевны.

— Да разве она не уехала с мужем?

— Никак нет-с. Осталась одинешенька. Адъютанта отпустила совсем одного. Я видел своими глазами, как он, словно аист, этак голенасто вышагивал из отеля вслед за лакеями, вносившими в экипаж его вещи. А Галина Юрьевна просит вас для важного дела быть на Пинчио ровно в пять.

Часы ударили половину.

— «Глагол времен — металла звон», — вскричал Пашка. — Выйдемте вместе, Глеб Иваныч, мне в ту же сторону. У дамы-то вашей лицо было бледное, и глаза... Она бросится в Тибр, если вы не придете. Ей-богу, бросится.

Иванов ужасно взволновался. Припомнил, как певица Дюмулен из-за того, что Брюллов не отвечал ей на письма, бросилась с ponte Molle. Он заторопил Багрецова:

— Иди, Глеб Иваныч, неровен час... ужо на досуге придешь, побеседуем о мыслях, для русского новых...

Багрецов шел на свидание с Гуль, а думал об Александре Иванове. Ему был и пленителен и одновременно досаден этот большой ребенок, мироощущения которого менялись по особым законам не мысли, а живописного впечатления. Между тем он был остроумен. Но как совместимо с большим умом, что такие простые вещи: сво-

бодная национальная гвардия или наемники деспотизма есть разница — могли быть им поняты только сейчас воочию, при переезде с свободной земли в подневольную?

Еще он думал о том, как хорошо стало жить, как радостно ходить юношей вслед Чичероваккио и сливаться с транстеверинцами! Быть может, удастся навсегда ему вжиться в эту жизнь и страну и зачеркнуть в себе того прежнего, бесплодного и тоскливого человека.

Пускай позади, в прошлом, было преступление, были долгие годы чайльдгарольдовщины и тоски — всему есть конец. Любовь обновила. Можно начать жизнь с начала. Больше того, любовь стала возможной только благодаря пережитому. Иначе разве отметил бы он Бенедетту?

Лишь пройдя через сложности и, быть может, через преступление, сознание научается ценить простоту и невинность. Он вспомнил гетевскую мудрость, для всех рассказанную в «Фаусте»: разве не после погубленной им Маргариты сумел Фауст постичь возрождение через «вечную» женственность? Так было для каждого из тех, кто познал тяжесть свободы и мысли. Так будет...

Багрецов думал обо всем, кроме той, которую сейчас он был должен увидать — сестру жены, несчастную Гуль.

На одном повороте они встретились. Гуль первая окликнула Багрецова и, подавая руку, сказала:

— Так вы пришли? Ну, хорошо...

Она была как после сильной болезни. Лицо истончилось, просветлело, отчего черные брови на нем стали еще тверже и, казалось, своей тяжестью клонили книзу всю голову. В синем дорожном костюме, подобранная, как англичанка, Гуль была сдержанна, незнакома. Но Багрецов, по трепету горячей маленькой ручки, которую дружески задержал обеими руками, почувствовал ее особую взволнованность и с лаской сказал:

— Я слыхал, вы в Риме надолго?

Они сели на отдаленную от гулянья скамью, где уже мимо никто не ходил, где свидетелями любовных и прочих свиданий был только ряд ваз с большими агавами.

— Я не уеду отсюда совсем, потому что не хочу жить с мужем. Мы совсем с ним чужие. Брак наш был, как у всех, самый светский. Ведь и я, как сестра, хотела только семьи.

Гуль горько улыбнулась.

— И как у нее — не вышло. Впрочем, я вам благодарна, что вы мне на мужа раскрыли глаза, хотя бы мимоходом, по пути собственной жизни. Ведь Полина мне все рассказала...

Гуль жарко вспыхнула и глянула на Багрецова большими измученными глазами:

— Не бойтесь, никаких претензий я к вам не имею, кроме пожелания вам счастья. Простите тогдашнюю глупость, я столько перемучилась с того дня у вас, в саду... ведь я шла к вам сделать признанье, но от гнева, от ревности не смогла. Сейчас скажу до конца. Но сперва прочтите письмо доктора Радина... он писал вам пред смертью, передал мне...

— Но Радин умер пять лет назад? — удивился Багрецов.

Гуль, едва сдерживая рыдания, сказала:

— Вот пять лет я и утаивала. Письмо связано с тем, что я могу вам открыть только сейчас, — вот оно!

Багрецов распечатал плотный конверт, быстро пробежал глазами немногие строки, написанные слабой рукой.

— Вот чудак! — усмехнулся он. — Страдал редчайшею болезнью — честностью, ради нее готов наклепать на себя!

В письме стояло:

«Чувствуя близкий конец, спешу покаяться в том, чего не имел силы сделать много лет назад.

В смерти жены вашей Елены Юрьевны виню одну свою слабость характера, столь пагубную для врача. Уступая ее уговорам, от страданий бессонницы я ей выдал специальное для этого лекарство.

Больная в забывчивости приняла двойную дозу, что при слабости сердца оказалось для нее катастрофично...»

Дальше шли просьбы о прощении.

Гуль молчала, уставясь глазами в огромную, почти черную на огненном закате агаву.

Еще Багрецов сказал:

— Ну не добряк ли этот Радин? Немудрено, что век ему был недолог, если так он себя грыз из-за каждого пациента.

— Доктор Радин написал правду, — беззвучно, с усилием перед каждым словом сказала Гуль, — только по-

рошки в двойной дозе сестрой приняты были не добровольно...

Гуль помолчала. Потом, все так же не сводя глаз с агавы, словно держась за нее глазами, без всякого выражения сказала:

— Доктор Радин при мне убеждал сестру быть осторожней... Это не она сама... ей лишнее подсыпала я. А в вашем флаконе Борджиа...

— В флаконе Борджиа... — как эхо, повторил Багрецов, вдруг такой же бледный, как она. Оба смотрели друг другу в глаза, как смотреть могут только враги, встретясь на узкой тропе над смертельной бездной.

— Любя вас, я поняла, что вы хотите смерти моей сестры. — Гуль шевелила губами почти беззвучно, но Багрецов ее понял. — Я это сделала, не отдавая себе отчета, смутно желая соединиться с вами хоть в преступлении. Ведь я была уверена, что только закончу дело, начатое вами. А раз вы так сделали — значит так можно...

Через много лет я узнала, что и тут ошибалась. Ничего вы не сделали — убийца я одна. В вашем флаконе Борджиа был не яд.

Багрецов привстал. Опять сел. Взял Гуль за обе руки и выговорил тем легким, нежным, окончательным словом, каким говорит человек, обрекая на гибель другого или идя на нее сам:

— Вы мне можете доказать?

— Уже взрослая я была у врача, он и сейчас жив, в Москве, можете проверить, и флакон взят им в коллекцию, на память. Я ему все как на духу. Этот врач — Оттон Иванович Рузберг. Я у него упала в обморок, потом сильно плакала. Он старый и добрый. Я ему, как отцу, про любовь свою, про подозрение вас в убийстве... Флакон отдала на анализ...

Рузберг очень смеялся и, помню, сказал: «Хорошо, если бы все убийцы столь весело убивали. О, я фарс люблю больше трагедии, это, говорит, полезнее пищеварению...»

— Что дал анализ? — оборвал Багрецов.

— Анализ? Я хотела мстить вам, и я берегла это мое последнее оружие. Но больше я не могу... Вы невинны! В флаконе Борджиа был не яд, а сложное старинное слабительное...

Гуль осеклась и в испуге кинулась к Багрецову. Багрецов на короткий миг остолбенел, потом, откинув голову, стал хохотать. Неслышно, как в припадке, трясся всем телом. Превозмог себя, выговорил:

— Так вместо яду нечто послабляющее, этакий старинный compositum, ха-ха-ха!

Проходившим мальчишкам понравился этот смех, и они тотчас в тон подхватили «ха-ха!» и, пока бежали вниз по дорожке, усилили звук до рева. Гуль стояла над Багрецовым, не смея коснуться его, чутьем любви ужасаясь, что случилось непоправимое, и сказанное ею для Багрецова — смертельный удар.

Багрецов совладал с собой, перестал смеяться и, не глядя на Гуль, брезгливо сказал:

— Если вы знали, что преступника нет, то для какой цели затеян был ваш маскарад с «флаконом»?

— Были минуты, я верила: злой замысел у вас был... тайна флакона мне неизвестна... вы могли быть обмануты сами и, всыпая порошок, думать, что это яд, значит, не убили только случайно. Как ни владеете вы собой, внезапное напоминание могло обличить. Я так хотела власти над вами. Простите, простите меня, я больше не хочу, не могу считать вас преступным, я одна... Не убийца вы!

— Па-корнейше благодарю!

Приподняв шляпу, Багрецов церемонно поклонился и, словно выжидая похоронную процессию, задержал над головой шляпу.

— Вы меня презираете? — с отчаянием прошептала Гуль.

Багрецов на нее и не глянул. Сидел на скамье, прямой, даже не перевел тяжелого взора с листьев все той же пышной агавы, куда случайно попали его глаза.

Гуль встала, задержалась на миг в какой-то надежде, потом медленно пошла вниз по желтой песочной дорожке.

Багрецов долго еще сидел на скамье, потом встал, пошел за город, по старой Аппиевой дороге.

Уже далеко за его спиной круглел мавзолей Цецилии Метеллы, и на золотистом трепетном небе, как парящие гигантские птицы, чернели зонтики пиний. Кругом безлюдье, изредка торопился запоздавший из окрестности римлянин с женой или погонщик с ослами.

Наконец Багрецов остановился. Обвел глазами без границ уходящую в небо Кампанью, глубоко вдохнул воздух ее, пьянящий и малярийный, и опять расхохотался, как давеча:

— Шут гороховый — отравитель!

Он был безумен от бешенства. Выходило, что жизнь его вся зачеркивалась. История с женой, преступление и следствие его, — не похожая на других «стальная жизнь», презиравшая жалкие будни, — все маскарад. А тот гранитный упор, который дал возможность выпрыгнуть из жизни каждого дня, пресловутый «флакон Борджиа», — не что иное, как старинный пюргатив.

Багрецов прислонился к большому кипарису, чтобы не упасть. Вдруг поздняя, острая ненависть к отцу налила его, как отрава. Да, конечно, чудовищный эгоизм старика сожрал его... Эти ночи с хождением до восхода по зеркальному паркету, эти призраки прошлого, бессонница, и вино, и чудовищная отрава безграничностью воображаемой жизни... Фантазия заслонила действительность до того, что в жизни он в ней оказался глупее всех глупых. Не убийца, а гороховый шут! Старинный compositum! Ха-ха!

— А у кого не так? — прервал сам себя Багрецов с яростью хищного зверя, затравленного сотнею мосек. — Моя биография смехотворна? А у кого доблестна? Что у важнейших? что у отмеченных?

Гоголь обстоятельство личное, невозможность влюбиться в женщину, как это может всякий болван, облек в состояние сознания, подобное столпникам. Отсюда заключил о себе как о «сосуде избранном» и, чтобы не угодить в Содом, метит в святцы.

Умный Паскаль знал, что сказал: «Будь у египетской Клеопатры кончик носа чуть-чуть длинней — картина мировой истории была б вся иная».

Моя биография смехотворна? А синьор Алессандро хорош? Вместо «чуда» — чудовище-холст! Под славянофильской лампадой тихо сходит с ума, бормоча: «Самоотвержение вполне дано только русским». Да-с. Жизнь каждого дня от умников защищается. Изловчится камешком и отметит умника в дураки. Всем, всем флакон Борджиа — пюргатив.

От яркой злости боль отпустила, и холодно, как на счетах приходо-расход, Багрецов досмотрел свой бюджет.

Любовь к Бенедетте? Зависть была — не любовь. Зависть и алчность мертвого поглотить живое, чтобы жить. Никакой любви не было. До итальянских делишек — как до прошлогоднего снега. Почему не турецкие, где еще глупей жизнь, наконец не свои русские, уж чего, кажется, ближе?!

...Я мало жил, и жил в плену.

Багрецов плюнул на изумрудную пробегавшую ящерицу и попал. Ящерица присела на миг всеми четырьмя лапками к желтому песку и вдруг, как стрела, прозмеила под камень.

Придя домой, Багрецов позвал старика maestro di casa и спросил его, нет ли верной оказии в Неаполь.

— Если синьор желает передать синьоре Бенедетте что-либо, то есть как раз парень из ихних «Giovine Italia». Он едет в полдень.

— Вы угадали, maestro, придите через час за посылкой.

Багрецов написал Бенедетте, что она его может считать негодяем, но ее он никогда не любил, потому что, вообще говоря, любить не может. Гореть отраженным патриотизмом для него à la longue[1] слишком глупо, но на дело Италии он искренне посылает деньги и не менее искренне желает Бенедетте успеха и счастья, которых она несомненно достойна.

Когда письмо было запечатано, пред Багрецовым на миг ярко встало слепительное прекрасное лицо... лицо богини. И хотя, как в ту ночь, он знал и сейчас, после ядовитой проверки: нет, не подделка — глубина этого не заслуженного им чувства, вошедшему старику-итальянцу Багрецов все-таки дал свое письмо к Бенедетте.

— А вот и деньги: я уверен, что ваш выбор себя оправдает!

Maestro di casa поклонился.

— Еще бы, ведь это деньги на дело Италии!

Но дойдя до дверей, он по-старчески подозрительно глянул, насупя мохнатые брови, и сказал:

---

[1] Длительно *(франц.)*.

— А в письме вашем не будет ли синьоре Бенедетте огорчения? Синьор, быть может, не знает, как подобную девушку обидеть легко?

Багрецов упрямо молчал, пока старик не убрался. Была минута вернуть, взять письмо... и кто знает, не проворчи итальянец своего назидания, быть может он бы и вернул.

— Если все случай, то пусть же и тут, — злобно шептал Багрецов. — Но вдруг Бенедетта не вынесет? Пусто... Женщину, ушедшую в политику, стрелы Амура не ранят смертельно. А если иначе? Ну что же, с фортуны взят будет ловко реванш... за «флакон Борджиа» — пюргатив!

Глава XI

КРАТЕР СОЛЬФАТАРО

Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?

Гоголь.

После бессонной ночи Багрецов целый день прошатался по Риму без цели и впечатлений, как автомат, заведенный кем-то на бессмысленный бег. Добравшись в сумерки до терм Каракаллы, он свалился на камни и заснул как убитый. Когда он очнулся, была уже ночь. Древние своды казались еще громаднее. Где-то в глубине кричали совы. Старая,— верно, высланная на разведки,— деловито и тяжко пронеслась над его головой. Багрецов шевельнулся, чтобы встать, но, услышав в камнях разговор, притаился: голос ему был знаком. Багрецов плотнее закутался в плащ и стал ждать, когда месяц выглянет из-за тучи и осветит говоривших. В ясной зеленой луне он узнал одного, только не смог припомнить, где видал это лицо молодого римлянина с твердым подбородком и орлиным носом. Быть может, просто на музейных бюстах, и доселе хранящих всё те же черты.

Другого разговаривавшего не было видно, но его манера говорить показалась так необычна Багрецову, что он тут же решил: это человек необыкновенный, притом русский и, наверно, приезжий. Все здешние русские давно примелькались.

— Признаюсь, не понимаю вашего восхищения перед «мощью» римлян, — с иронией подчеркнул итальянец, — уже одна мысль, что без рабов им бы ни за что не построить подобных дворцов...

Русский не дал окончить:

— Рабы были и не у одних только римлян. Как это ни кошмарно, рабы и сейчас есть у нас, в девятнадцатом столетии, но что-то о великолепии построек не слышно. Но здесь, в Риме, каждая арка, каждая колонна говорят о шири, о силе, о стремительном беге...

— Да что за польза во всей этой красоте? — вступил итальянец.

— Вам ли, итальянцу, такое говорить? — И, захлебываясь от обилия мыслей, русский забросал его жаркой речью: — Вся поэзия жизни состоит из ненужностей! Рафаэль рисовал ненужные картины, Микельанджело делал каменные куклы, Данте писал вирши вместо того, чтобы делать дело, однако выбросить их из истории человечества — это отнять у неба глубину, у цветов аромат, это выхолостить, оскопить жизнь, это...

Теперь прервал итальянец, и по горячему звуку его голоса было заметно, как он вспылил:

— Мы — нео-либералы, как вам угодно было нас окрестить, жестокие утилитаристы, и если, как в сказке, мне бы одним росчерком пера предложено было снести все галереи и дворцы к черту, а взамен их дать Италии отличное войско, неужто, вы думаете, я бы дрогнул?

Багрецову понравился разговор, и он двинулся с камней, чтобы подсесть ближе.

— Кто там? — крикнул юноша.

— Извините, за темнотою не могу как следует отрекомендоваться, — сказал Багрецов, — но я человек мирный и преданный искусствам. Разрешите вставить слово в ваш разговор, меня заинтересовавший. Вы только что защищали право на существование искусства; не ответите ли мне на один вопрос? Предполагаю в вас русского, — сказал Багрецов, посылая слова вверх, под своды развалин.

— За границей русских угадывают главным образом по обжорству, — и слыхать было по голосу, что говоривший усмехнулся, — и мне лестно попасть в исключение; я вас слушаю.

— Я бы хотел знать ваше мнение о том, почему искусство не нуждалось в защите только во времена языческие? От христиан, равно как и от революционеров, его, сколь ни защищай, ничем не оправдаешь. И не только перед профанами, а перед своими ж художниками. Мне их здешний быт очень знаком. Вы не поверите, какой мартиролог жизнь тех, что предались искусству до самозабвения. Да вот недалеко ходить — Иванов...

— Иванов Александр Андреич? Как, вы его знаете? Сама судьба привела вас в ночное время сюда. Простите меня, на заданный вами вопрос об искусстве я готов отвечать курсом лекций, но сейчас мне важно другое. Я должен торопиться, меня давно дома ждут, — и незнакомец, под стремительным шагом обрушивая мелкие камни, стал спускаться к Багрецову, продолжая говорить на ходу: — Иванова я просто жажду увидеть, но, признаюсь, оттягиваю со дня на день, удрученный слухами о его ненормальности в связи с неудачей картины. Говорят — влияние худосочной школы назарейцев с Овербеком во главе да впридачу биготство Гоголя совсем его свели с ума.

— Слухи преувеличены, и сплетни злы, как все, что говорят про жизнь великого человека, — с раздражением ответил Багрецов. — Определение же картины неудачной раньше, чем она закончена и выставлена, — просто недопустимо...

Волнуясь, Багрецов встал и пытался разглядеть говорившего. Русский оказался невысокого роста, плотный. Походка была у него быстрая, как и речь, так что, когда все трое пошли по залитым луной узким улицам, спутники от него слегка отставали, и, говоря, ему приходилось поворачивать назад голову. Освещенная огнем папиросы, ярко выступала его крутая бровь и прекрасный, как у больших музыкантов, выпуклый вдохновенный лоб.

И Багрецову стало неприятно, когда этот пленительный незнакомец грубовато сказал:

— Согласитесь, это все же известная бедность и пассивность творчества — писать тридцать лет одно и то же. И где, где? Среди Рафаэлей, Тинторетто и Тицианов, давших сотни вещей, из которых каждая — первоклассная...

— С картиной у Иванова связалось собственное душевное дело художника... Кроме того, нельзя судить его работу по одной вещи, надо видеть все, что вокруг нее наросло, — весь самобытный новый мир. Несчетные этюды и композиции. Все вместе — это явление, это будущность целой школы. Впрочем, защищать голословно считаю бессмысленным, а к себе в мастерскую Иванов сейчас никого не пускает; так что до поры вы должны остаться с непроверенным слухом.

— А самого его можно видеть?

— Да хоть завтра у Фальконе; я его к вам подведу, если сам вас узнаю. При сегодняшнем освещении ведь я видал вас лишь по частям, под огнем папиросы.

Засмеялись. Русский назвал себя: Герцен.

— Ну, конечно! — вскричал Багрецов. — И как мог я вас тотчас не признать!

О втором спутнике, молодом римлянине, Багрецов совершенно забыл, но когда назвал себя в ответ Герцену, римлянин дотронулся до него и странно дрогнувшим голосом спросил:

— Так вы тот русский... знакомый синьоры Бенедетты?

— Да, я ее знаю, — ответил холодно Багрецов и почему-то, лишь крепко пожимая руку одному Герцену, вымолвил: — Итак, до завтра у Фальконе.

Вопрос итальянца о Бенедетте неприятно взволновал Багрецова. Он вдруг вспомнил, что видел его не однажды в обществе Доменико, и всегда пристальный взгляд его испытующих глаз был ему необычайно тяжел.

«Он не верит вам, иностранцам, этот Беппо Марио, — объяснила как-то Бенедетта, — он говорит, что даже для Байрона было дорого не освобождение Греции, а лишь щекотание собственных нервов. И все же сердиться на него не следует! Беппо — узкий человек, но героизму его нет предела, он пойдет в огонь первым...»

Страшная тоска вдруг охватила Багрецова. Впервые он понял, что̀ совершил, разорвав так жестоко свой союз с Бенедеттой. До сих пор у него было чувство, что он своим письмом убил только свою же мечту, обобрал только себя. Вдруг сейчас, едва этот итальянец помянул Бенедетту, Багрецов понял, что удар был нанесен и дру-

гому человеку, не выдуманному, такой живой и близкой, ей — Бенедетте.

Боясь своих терзаний, новой бессонной ночи, только на рассвете Багрецов подходил к своему дому. Maestro di casa стоял у ворот, как бы его поджидая. Он так осунулся, так взъерошены были его седые усы, что невольно Багрецов спросил:

— Что случилось?

— Синьора Бенедетта с корабля бросилась в море и утонула, — отрезал было маэстро жестоко, как заготовленный в гневе удар, но тут же все лицо его перекосилось, дрогнуло, слезы хлынули из глаз на страшные седые усы. Он махнул рукой и пошел к себе.

— Вы должны, я умоляю... скажите все, что вы знаете... — Помертвелый Багрецов кинулся ему вслед. Он дрожащими руками хватался за старика.

— Я знаю то, что синьор немедленно должен уехать из Рима, к себе на родину, — ответил тот. — Люди из «Giovine Italia» поклялись убить вас. Они будут тянуть жребий, кому...

— За что?

— Как за что? — повторил старик и вдруг побагровел, налился гневом и, сверкнув, как старый боец, своими недавно плакавшими глазами, вскричал: — Да за то же, за что я готов задушить, как собак, всех до последнего папских приспешников. За погубленную юную жизнь.

— Маэстро, вы говорите о том, что вы не знаете. Я Бенедетту ни в чем не обманывал. Я хотел ей только счастья, которого со мною, немолодым и больным, она получить не могла.

— А если все-таки она его хотела только с вами одним! Простите, синьор, я вас знаю давно за порядочного человека, — смягчился старик. — Но видите ли, письмо ваше, где вы пишите, что не любите Бенедетту (и как это можно было не любить такую красоту!), совпало с известием, что поймали в Калабрийских горах ее брата Доменико и губернатор Ланди его расстрелял...

И, конечно, приди ваше письмо в другое время, у такой твердой девушки, как Бенедетта, оно, самое большее, могло б вызвать две-три бессонные ночи и никем не подсмотренные слезы. Но ваше письмо — будь оно проклято! — совпало с известием о гибели ее брата. Когда

судьба хочет, злые вести, как вороны, летят тучей; кроме всего, в эти зловещие дни бедняжку сразило нечто ужаснейшее, чем измена в любви, — измена товарищей! Предатель, раскрывший заговор против Ланди, был не один. Проклятие малодушию, которое бьет верность насмерть! Ваша жестокая рука нанесла лишь последний удар. Но это был, синьор, добивающий удар Брута.

Как истый римлянин, на всякий случай жизни вызывая в крови историю вечного города, maestro di casa, несмотря на свое несомненное глубокое горе, развел руки, как если бы на нем была древняя тора, и, страшно хмуря мохнатые брови, бросил Багрецову:

— Et tu Brute! Et tu Brute!

Но тут же, скользнув заметливым глазом по отчаянному лицу его, maestro смягчился и, уже дружески соболезнуя, сказал:

— Бедняжка была уже на пароходе «Il giglio delle onde», да, да, «Лилия волн», когда пришли все эти дурные вести. На воде борцы «Юной Италии» развязали свои языки... о том не подумали, что вода под самым бортом; одна проклятая минута — и человек в воде! Так наша бедняжка и сделала. Тело вытащили. Записка ваша была при ней. Эти молодые из «Юной Италии» все были страстно в нее влюблены, особенно Беппо Марио. Говорят, он еще не знает, что вы здесь замешаны, а когда узнает, то вас убьет безо всякого жребия сам.

— Беппо Марио — так вот кто он! — И пред Багрецовым встал римский профиль недавнего ночного знакомца. — Отчего же он не убил в ту ночь? Так было удобно. Или еще не знал? — И Багрецов едва слушал, что говорил ему в возбуждении старик.

— Хотя вы не итальянский дворянин, которых революционеры ненавидят, вы, синьор, все же богатый русский форестьере, подданный страны, которая поддерживает Австрию против Италии; значит, всячески вы попадаете под приговор «молодых». Синьор, я от вас зла не видел и охотно допускаю, что гибель бедной девушки просто несчастье, но и помимо этого за смерть брата и сестры — красы тайного общества — нужна кровавая месть. Бегите, синьор, бегите.

Багрецов холодно поблагодарил maestro di casa, сказав, что смерти он не боится, и заперся на ключ в своей

комнате. Однако Иордану он не забыл послать записку, прося его устроить на завтра свидание Герцена с Ивановым, чего он сам по болезни сделать не в состоянии.

Через несколько дней Багрецов все же поехал в Неаполь. Он бежал от самого себя, бежал от безумия.

Ведь Неаполь был последний город, где жила Бенедетта, а он в нее сейчас был влюблен, как никогда. Да, едва узнав о ее смерти, он стал испытывать, нежданно для себя, все муки смертельно раненного любовью. Больше того: он понял вдруг то, чего глупей для него до сих пор не было, — возможность самоубийства от любви. И в то же время он ярко знал, что эти чувства — мираж, что будь Бенедетта жива, и десятой доли их бы в нем не было.

В Неаполе он долго не мог ничего узнать. Корабль с раздражавшей его сентиментальной кличкой — «Лилия волн» — «Il giglio delle onde» снялся с якоря и ушел неизвестно куда. Багрецов спрашивал у матросов, у полиции и просто у встречных, что знают они о причинах самоубийства девушки с этого корабля. Все пожимали плечами, косились недоверчиво, отвечали вопросами:

— А кто же их знает, отчего девушки кидаются в воду?

Багрецов ходил по берегу залива и молил, сам не зная кого, чтобы известие о смерти Бенедетты оказалось ложью. Он впал в отчаяние, он рыдал, как ребенок. О, если бы Бенедетта была жива, он не колеблясь уехал бы с ней на край света или отдал бы все состояние, всю жизнь за свободу Италии. Он бы даже стал жить на этом дурацком корабле «Лилия волн».

Багрецов ходил вдоль залива, вперял глаза то в неподвижный «Castelovo», то в раздраженный, дышащий огненной лавой и черным дымом Везувий. Он хотел чуда.

А вокруг жизнь шла день за днем, как и раньше. У зеленого моря стояли лари — вроде как на родине, на южных базарах, только вместо сала старый pescatore[1] отхватывал покупателю кусок розового, ноздреватого

[1] Рыбак *(итал.)*.

спрута или вертел перед носом огромной камбалой с прищуренными в улыбке глазами.

Торговки зеленью, цветами и кораллами стучали голосами, как вороны клювами. На балконах предместья сохли яркие тряпки. То тут, то там из-под древних арок сверкал мрамор площади, на белоснежных плитах, залитых солнцем, как красные угли, брызгали во все стороны помидоры из опрокинутых в драке корзин. Багрецов пошел дальше за город, за горбатый мост, где далеко, заступая дорогу, выползали древние дома. Окна, натыканные как попало в стенах, разноцветные, в узорах, в подтеках, — ни дать ни взять одеяла из кусочков, какие, бывало, мастерила старая няня.

За гротом, где так особенно звонки все звуки, мимо могилы Вергилия, Багрецов прошел по узкой дорожке в густую рощу каштанов и дикой орешины. В изумрудных травах торчмя стояли розоватые и мясистые колокольчики.

Багрецов сорвал один и, понюхав, бросил с отвращением. От цветка несло тяжким запахом тлена.

Долго шел Багрецов, оглянулся — кругом ни души. Тогда он лег на прогретую солнцем землю, раскинул руки и стал смотреть в синее без облачка небо, в дрожащую серебристую дымку, стоявшую над травой, стараясь всем своим телом чувствовать одну только землю. Без мысли, без воли...

В его мрачной юности это бывал его лучший отдых. Он сливался сознанием с жизнью земли, он знал, лежа так на траве, о том, как живет все кругом, с каким трудом пробиваются из земли разные злаки, как идет бархатный крот по своим коридорам, как тяжко держать тонкому стеблю свою грузную чашу большого цветка...

Солнце вдруг село, и сразу стало смеркаться. Багрецов встал и пошел по тропинке. Нежданно она оборвалась, и вместо сочной зелени засветил вдруг совсем лысый огромнейший круг желтобурого цвета. Он изборожден был глубокими морщинами. Это был потухший кратер вулкана Сольфатаро.

Обнаженный кусок был живой. Под ним рокотало, вздувало то тут, то там почву. Земля трескалась, и из трещин кто-то тяжко и часто вздыхал серным дымом.

Forum romanum древних, вспомнил Багрецов, — ныне вульгарнейшее место добычи серы. Он остановился и стал смотреть, как дым, выталкиваемый из трещин, серо-желтыми клубами свивался в лиловатом воздухе, и над потухшим кратером стоял невыразимой нежности живой трепет.

На минуту Багрецов забылся. Ему показалось: он подсмотрел тайную жизнь земли до зарождения на ней формы и образа. Освещения не было никакого, границы терялись, и время выпало из сознания. Где он? Когда вышел и зачем? Он не ел с утра; от голода и слегка удушливых серных паров закружилась голова, назойливо встал тяжкий запах цветка орхидеи, и хотелось опять лечь на землю — не быть.

Вдруг на той же тропинке, которая привела к кратеру Багрецова, появился некто, сутулый, приземистый, руки в карманы. Камнем продвинулся он, будто проплыл, до половины одетый густыми парами, к тому краю, где был Багрецов. Человек поклонился, снял шляпу. Врезался в лиловый сумрак остро вытянутый профиль, стеной свисли ото лба к подбородку длинные волосы...

— Гоголь, — себе не веря, прошептал Багрецов. Но тотчас крепкая память ему вызвала желтую маску — лицо Пашки-химика там, в мастерской у Иванова, и скрипучий голос его:

«Дано разрешение чиновнику восьмого класса Н. Гоголю на путешествие к святым местам из Неаполя...»

Чуда не было никакого, все естественно до тошноты.

Подойдя, Гоголь сказал Багрецову:

— Я давненько выискиваю, как с вами бы мне побеседовать, едва мне донес Пашка-химик, что вы здесь, — он как всегда ведь все знает... И вот сегодня издали по спине вас узнал. Как ни торопился, никак не догнать, шибко бежали. Однако судьба все же свела. Вздумалось прокатиться в Сольфатаро, вот только что из виттурина вылез, прошелся сюда — гляжу, вы. Вдруг и решил: хоть прогоните, а уж я попытаюсь... Должок у меня перед вами, с тех пор... *С тех именин самых на Девичьем поле...*

— Хотите покрыть, отправляясь в святые места, — усмехнулся Багрецов, — чтобы ангелы вам в приход записали? Что же до меня — то с вашей мне помощью вы опоздали. Тогда, *тогда* надо было.

— Поговорим, брат мой, как пред смертью, без малодушных упреков... — Гоголь вздохнул. — Разве знаем мы, где и что мы найдем?

— Коль хотите, можно и поговорить, — сказал Багрецов, — только выйдем из этого смрада на свежий воздух.

Молча оба прошли по тропинке. Гоголь — руки в карманы, сутулясь и тяжко напирая на шаг, Багрецов высокий, все еще не начавший полнеть, гибкий, как юноша. В каштановом лесе сдвинулись рядом.

— Раз вы меня вызвали на разговор, уж не пеняйте за грубость, правда всегда груба, — Багрецов пустыми, тяжелыми глазами обмерил Гоголя, — к тому же все сроки прошли, когда я *с трепетом хотел видеть вас*. Сейчас мне все равно — одно любопытство ума.

— Со смирением принимаю, — склонился Гоголь.

Багрецов прищурил глаз, как на мушку для выстрела.

— Сперва послушайте, может, и принять не под силу. Да поднимите глаза, — почти крикнул он, — с безглазым я и говорить не хочу!

И вдруг Гоголь устремил на Багрецова взор, такой, какого тот никогда у него не видал. Не сверло прозорливца, не мощь гения — глаза женщины — матери, без конца доброй и бережной.

«Так, верно, смотрел он на Иосифа Вьельгорского, так смотрит на свою духовную дочь, молодую Балабину, — подумал Багрецов, — тоже практика...», — и грубее, чем желал, он промолвил:

— Не верю я в ваше смирение, ни в то, что вы верите в бога. И на кой черт и кому это надо? Смех Вольтера взорвал больше, нежели слезы Руссо, слышите? Что вы дадите лучшее, чем дали уже? И какая гордость и пошлость «пророка» заставила вас мудрить над своим гением? Почему не продолжаете вы, как начали? Мало вам оплеухи Белинского за «Переписку»? Мало вам глумления и гнева всех тех, кто вас так почитал?

Багрецов в ярости глянул на Гоголя и осекся. Облитый зеленоватым светом луны, как камень стоял он. Глаза были прикрыты веками, руки втиснуты крепко одна в другую и прижаты к сердцу.

Мука долгая, терпеливая мука, уже изъевшая всю душу, на миг не сдерживаемая упорной волей, просту-

пила на его лице. Надбровные дуги дрогнули. Казалось, слезы хлынут из глаз.

Гоголь тихо сказал:

— Ну что вам толку, если б величайший в музыке Бетховен попытался бы вам объяснить постигшую его глухоту? Как расскажу, почему слово, недавно зацветавшее под пером, стало вдруг как... колода? А между тем чувство силы в себе необъятное! Но умер Пушкин, мой разрешитель, *один он* сумел бы разогнать их... несказанные муки мои...

Гоголь оборвал и умолк. Внезапно стряхнулся, пришел в себя — устремил на Багрецова опять те глаза, которых тот никогда у него не видал. Глаза без конца доброй и бережной матери.

— Поговоримте лучше о вас, поквитаемся. Ведь даже лошади, стоя рядом в деннике, сочувствуют друг дружке, трутся мордами. А если человек, как вы, да еще не верит ни во что, кто же поможет ему, как не любовное сердце другого? О, если б люди больше аукались душа с душою — безумий и самоубийств многих бы не случилось.

Багрецов молчал. Молча сел с Гоголем в экипаж. Доехали до предместья; здесь вышли. Тихо пошли по берегу близко к морю.

Гоголь заговорил первый:

— Вот я сказал вам про себя наитруднейшее. Выставил себя как бы осмеянным *самою судьбою,* грешно вам ответно гордиться. Ведь кроме звезд этих, побольше величиною, чем у нас, могучих и близких, никто не разделит со мною святую тайну слов ваших. Ну что же, мой ближайший, что постигло вас?

Была уже синяя, благоуханная южная ночь. Они вышли из грота и медленно огибали заигравшийся рябью залив. Нежными очертаниями, как в старинной гравюре, вознесся над городом сонный, утихший Везувий.

— Без утайки, как на духу, брат мой, переложите на меня вашу тяжесть... — сказал Гоголь. — Ах, испробуйте! Кроме звезд, никого, а я уж не в счет...

И просто рассказал все Багрецов:

— Тогда, в Николин день, на Девичьем поле, я хотел уцепиться за вас, чтобы не убить. Я думал — вы всё чудом узнаете и как-то мне поможете. Впрочем, не так это в сущности было просто... Думал, поможете, чтобы силы,

меня разрывавшие, не пошли к черту так, зря. Ну, все равно... Одни факты. Потому — «...душу можно ль рассказать?» Это он, тот чародей, толкнул меня. Сам с демоном спознался, а уж других просто к мелким чертям вверх тормашками... Запретить бы стихи! Впрочем, опять-таки все равно, я так устал от себя самого. Ну вот — чуда с вами не было. Жену я отравил, всыпал ей яду, сам стал богат. Что, небось покаяния ждете? — огрызнулся он вдруг на Гоголя.

Тот молчал, руки крепко одна в другую, шагал спокойно, тяжело наступая на землю.

Багрецов помолчал, потом продолжал, как рассказ не про себя, а про другого:

— Ни угрызений, ни мук, отличное пищеварение и сон. Собака зарыта совсем не в этом обычном всем месте.

Вот где собака... впрочем, оскорбление игрока за битую большую игру в христианский ваш диапазон, пожалуй, никак не включить? — Он пробовал засмеяться, вышло нехорошо.

Гоголь все молчал.

— Николай Васильич, — сказал очень серьезно Багрецов, сам недоумевая на вылетавшую из уст его ровную речь, — я одурачен жестоко! Пятнадцать лет жизни своей я построил на ерунде, на том, что дал яд, а он оказался... не ядом. И я — не убийцей, а дурацким колпаком.

Поймите, вникните: во всех случаях своей жизни я отталкивался от своего якобы преступления, я отныне хотел только того, что отбирал себе сам. Со мной ничего не «случалось». Я убил в себе несправедливость, убив свою жену. Однако у меня хватило сил и на выбранный мною линии разрушителя создать себе свой особенный мир.

И вдруг по анализу специалиста, — не стану рассказывать обстоятельств, но мне пришлось узнать это только на днях, — по анализу этот яд — старинный пюргатив, а прожитая мною жизнь — мыльный пузырь...

— Я слушаю вас, — сказал взволнованно Гоголь, — уж доскажите все, если начали. Но как бы тяжко вам ни было, ведь тягчайшее, самое главное с вас уже снято: вами не убит человек!

— Это-то меня и прихлопнуло, — ядовито сказал Багрецов, — *если убить я хотел*. Впрочем, и здесь вы ошиблись: человек мною убит.

От бешенства за свое осмеянное положение и боясь от судьбы новой ловушки, я написал ей, Бенедетте, девушке, которую люблю сейчас, как и не знал, что умею любить... я написал ей такое письмо, что она бросилась в воду.

О, если б она была жива! Впрочем, — прибавил он мрачно, — если б она была вправду жива, я не поручусь, что любил бы ее, как сейчас... Как видите, Николай Васильич, случай мой безнадежен, — уже обычным, равнодушным тоном кончил Багрецов. — Говорю вам о нем единственно потому, что не отмахиваюсь ни от каких встреч, поставленных мне судьбой, и люблю все досмотреть до конца. И еще говорю вам от злости, чтобы для святых мест положить вам булыжник за пазуху... Ведь если б тогда, в Николин день, на Девичьем поле, вы бы обо мне забеспокоились так, как сейчас, — кто ж его знает, что было бы и чего не было?

Гоголь взял Багрецова под руку, но долго слов не говорил. Наконец, почти шепотом, как бы себе одному:

— Знаю, знаю, тягчайший из всех крестов — это подвиг воли человека, который остается жить на земле, вынося собственный холод души и черствость, никаким светом уже не согретые. Этой муки имени нет...

И все-таки и такому человеку есть путь. Полюбить *дело свое,* все равно какое, но с доведением этого дела *до мастерства, до пределов.* Тем свалит с себя он ответ. Дело рук его поведет его. Все равно на каком поприще: управитель, ученый, художник. Всю жизнь сам ищу... и знаю уже твердо: нет ненужного звена в мире. Да неужто у вас даже к этому нету веры? Ну если не дожить, — *досмотреть надо жизнь свою,* досмотреть...

— Даже в случае: не погребен, но уж мертв и смердит? — пропищал гнусоватый знакомый фальцет.

Багрецов и Гоголь невольно шарахнулись к морю. Из-за больших камней, лежащих на берегу, где они проходили, выскочил Пашка-химик и закричал:

— Это только я-с, не какой злой дух, наше вам с кисточкой! После жары — изумительная ночка-с. И я тут в своей засаде перенаблюдал все виды людских комбинаций: куплю-продажу, амурное, политику и как у вас — нечто философическое. А из лодок от рыбарей, вообразите, все та же самая песня.

И Пашка запел:

O dolce Napoli, o sol beato...[1]

— Уши дерешь, замолчи! — прикрикнул Гоголь.

Пашка скорчился, завизжал:

— Ай, ай, со всеми благ, со мной наг! А я ведь, именитейший, рядом с вами стою, за Киайей, в отельчике крайнем.

— Обрадовал... — процедил сквозь зубы Гоголь.

— Глеб Иваныч, дражайший, — заегозил Пашка, перебежав к Багрецову, — поучитесь у важнейшего писателя русского, ибо рапорт за номером таким-то готов. А в рапорте значится: «Чиновник восьмого класса Н. В. Гоголь отправляется ко святейшим местам». Сам вернется святейшим! Да воскреснет бог и расточатся врази его... Мы тогда с вами как бес от него, шариком, шариком...

Пашка прыснул и стрельнул куда-то в сторону, к проходящим рыбакам.

— Видать, пьян, — сказал Гоголь, — препустейший субъект!

Глава XII
КОЛИЗЕЙ

На груди моей возле распятия трехцветная кокарда свободы.

Pater Gavazzi.

Братья Ивановы поселились в комнатах рядом, но виделись только вечером, когда вошло у них в обыкновение гулять далеко за чертой города по древней Аппиевой дороге. Распорядок дня был у них разный. Старший в пять часов, когда младший еще спал, стоял уже за мольбертом и с небольшим перерывом, чаще всего выходя из мастерской лишь для того, чтобы пообедать в ресторане, работал то карандашом, то кистью до сумерек.

После крушения последней надежды на личное счастье Александр Иванов стал окончательно необщите-

---

[1] О, милый Неаполь,
О, благословенное солнце (*итал.*).

лен; никого, кроме брата Сергея, видеть не хотел. Мастерскую закрыл не только для любопытных, но и для близких делу художников, которые жадно следили за его работой.

Вот эти долгие годы отъединенности от людей, замкнутости в своем замысле и наложили на Иванова ту особую печать, которая так поражала современников. Уже с первого взгляда казался он страдающим ярко выраженной манией преследования. В манерах была то подозрительность, то испуганная, заискивающая робость; при появлении нового лица он вздрагивал. Рассеянный, сжигаемый своей внутренней работой, на смех болтунам, он в ресторанах усердно раскланивался с лакеями, принимая их за всем известных знаменитых людей.

Но писатель, которому повезло встретиться с Ивановым в одну из его счастливых минут и съездить с ним в чудесный осенний день в окрестности Рима, досмотрел в нем иное: «Едва Иванов привыкал к человеку и начинал ему доверять, как его детская, сохранившая свою гениальную свежесть душа так и раскрывалась. Пропадал подозревающий взор, он чудесно хохотал от самой пустой остроты, удивлялся до смущения самым общепринятым положениям, пугался каждого немного резкого слова. Как-то даже подпрыгнул в воздух, услыхав, что такая-то известная русская писательница просто глупа, — и вдруг произносил слова, исполненные правды и зрелости, свидетельствовавшие об упорной работе ума замечательного».

Иванов переживал глубочайшее раздвоение. Его душе, любвеобильной, необычайно мягкой, сраставшейся кровно, каждым нервом, с своими привязанностями, с традицией, с авторитетами, в которых вырос, воспитался и созрел, которые долго по-своему вдохновляли и давали цельность всему внутреннему строю его, — надлежало все кровное вырвать с болью из сердца. Больше того, стать лютым врагом всему кровному.

Революция в Италии, которой он являлся свидетелем, потрясла его. События шли в лихорадочной смене, каждое без отдыха наводило на пересмотр не только личного своего уклада и религиозности, но и основных задач человечества. В этих вопросах единственный, с кем «душа не уставала», «ближайший» Гоголь, отодвигался все дальше, все враждебнее. Багрецов в свое время наусь-

кивал без просчета. В ответ на измышленный Ивановым пренаивный «проект» с предложением Гоголю «гениальным пером» обслуживать нужды русских художников, Гоголь, как безошибочно рассчитал Багрецов, прислал такую грубейшую отповедь, что Иванов долгое время был нервно разбит.

Однако размолвка по внешности кончилась миром. После нашумевшей статьи Гоголя «Исторический живописец Иванов» Александр Андреевич написал ему: «Как ни закаивался я не писать писем, но ваша статья обо мне насильно водит перо и руку. Целую и обнимаю вас в знак совершенного с вами примирения и возвращаюсь опять в то положение, когда, смотря на вас с глубочайшим уважением, верил и покорствовал вам во всем».

Но в сущности уже прежней любви между ними быть не могло.

Гоголь чем дальше, тем менее мог не только ценить, но и понимать муки, разрывавшие сознание и чувство Иванова. Сам же он от поставленных жизнью, съедавших Иванова вопросов поспешно уехал прочь, молиться ко гробу господню.

Александр Иванов читал жадно все, что печаталось в Риме и во французских газетах тех дней.

Да, здесь, в этой католической Папской области, где жестокая реакция проводилась соединенными руками Австрии и Григория XVI, подточились былые устои веры Иванова. Он был свидетелем чудовищных по внутреннему кощунству и внешнему великолепию церемоний в Нерви, народного невежества и ханжества духовенства, когда для предотвращения холеры запрещено было принимать какие-либо меры, кроме служения молебнов. Он возмущался чудом «разжижения крови» св. Дженнаро, которое ежегодно с большой себе прибылью проделывали монахи; он видел в Терни такие процессии в страстную пятницу, где чувственная театральность, казалось, высмеивала чистоту и веру. Его благообразное византийское чувство оскорбил блеск папской службы, когда папу носили по церкви на драгоценном троне под опахалами и перьями, словно идола, а шеренги солдат лязгали под команду ружьями и под команду же падали на колени.

Последнее время приехавший из Парижа Герцен, которого свел с Ивановым по записке Багрецова Иордан, доканчивал это разрушение всего былого уклада. Иванов глубоко принимал каждую мысль Герцена, хотя не показывал тому вида, и даже, оскорбленный напором чуждого ему ума, только жаловался на расстройство всех своих чувств и заверял Гоголя: «Я к Герцену не иду!» Но он к Герцену все-таки шел и мучительно слушал, как тот, сверкающий и неотразимый, ставил последние точки и неумолимо гнал к выводам.

— Если вам в здешних церквах оскорбительны ружья, штыки и толпы откормленных тунеядцев-монахов, — то во имя истины вы обязаны сделать полный пересмотр. А сделав, поймете, что у нас хоть и благолепней, но такое же язычество. Политика и язычество давно заслонили учение Христа. Неужто вам не ясно, что время всех ритуалов прошло, или, лучше сказать, переходя на привычные вам образы: настало время «поклоняться не в храме и не на горе Гаризим, а в духе и истине». Дух же веет, где хочет.

— Дух веет, где хочет... — шептал полный волнения Иванов, — так вы уверены, что время всех ритуалов прошло?

— К счастью, это не только моя личная уверенность — это истина. Взгляните: на наших глазах перерождается Пьемонт. Лицо городов меняется, не узнать их, не те люди... всюду новая, удвоенная жизнь, открытый вид, деятельность, и все только оттого, что свергнуто недавнее иезуитское и инквизиторское управление, без всякой гласности, с тайной полицией, с духовной цензурой, убивающей всякую умственную деятельность...

— Но все же православие — не католицизм, — пытался защищаться Иванов, но Герцен не сдавал.

— О, я знаю ваши славянофильские чаяния. Но задумайтесь над византизмом хотя на минуту как художник. Не замечательно ли вам, что византийская архитектура, иконопись, церковная музыка и ваяние не имеют в смысле художественном высшего развития?

С одной стороны, это, конечно, подтверждает мысль славянофилов, что восточная церковь чище и вернее христианству, но, с другой, о чем же свидетельствует? Да вот о чем: о несовместимости христианского культа со

всякой живой, изменяющейся жизнью. И в известном смысле прав ваш Гоголь, что доходит до конца, считая свободу своего художественного дара греховной и стремясь подчинить дар этот религии.

До глубины потрясенный, Иванов убегал от Герцена, запирался в своей мастерской. Часы ходил взад и вперед дробными шажками и, уже не защищаясь, не боясь страдания, додумывал до конца все те мысли, одно зарождение которых так когда-то гневило Гоголя.

«Да, конечно: церковь и искусство должна считать себе чуждым и наукой пренебрегать. Гоголь прав: незатемняемая религия отрицает мир, она ждет лишь конца его, ждет новой земли и нового неба. Незатемняемой религии — искусства не надо...»

А Герцен, словно угадывая тайные мысли Иванова, с каждой встречей давал ответы, неотразимый в логике, заставляя его самому себе ставить все новые и новые вопросы.

— Задумайтесь, почему социальная сторона жизни, практическое разрешение человеческой тяготы так мало занимает церковь? А между тем евангелие должно войти в жизнь, в быт, оно там может помочь создать личность, готовую к братству. Да неужто Христос хотел этих церквей с окаменелыми институтами, целиком взятыми у левитов? Вдумайтесь и решите для своего искусства так же окончательно, как решил Гоголь. Незатемняемая религия отрицает мир, она ждет лишь конца его, ждет новой земли и нового неба, а мы и вы с нами, мой друг, мы хотим устроить и украсить лишь нашу старую, милую землю, потому что высшее благо — само существование, какая бы внешняя обстановка ни была. И что же может быть глупей — пренебрегать настоящей, живой жизнью в пользу призрачной? Нет, нам должно ловить каждую минуту, душа беспрерывно должна быть раскрыта навстречу Великой Природе, великому всему. Она должна наполняться миром и развивать в мир себя — вот жизнь!

Дух, выработавшийся до человечности, звучит так, как цветок благоухает. Делить же людей на агнцев и козлов — дело не хитрое и не новое. Ставить в одну категорию всех людей религиозных и преимущественно православных, как это делаете вы...

— Не делаю, а делал... — поправил Иванов.

— Душевно рад, значит влиянию Гоголя и Овербека вечная память. Весь мир теперь ваш.

Велики были муки художника, который истины всеобщие, азбуку истории мог и умел понимать только, когда их увидел своими глазами. Когда подсмотрел по выражению лиц, по походке, по звуку речи и одежде и другим мелочам, что свободное устранение народов не только лучше, но и религиозней, чем та, свыше освященная схема, которой полвека он поклонялся и которой был вдохновлен.

Сейчас вся Италия подымалась на его глазах, и не мог он не видеть, что совсем не клерикалы жертвовали собой для свободы забитого бесправием народа.

Иванов туго сдавал, он защищался, пока мог. Однако наступил его час, и тот мост, та перемычка его с действительной жизнью, через которую лилось его вдохновение в продолжение тридцати лет, выразившись гигантской композицией, была до основания разрушена. Он отвернул чудовище-холст к стене. Он надел синие очки, хотя глаза его не болели. Но чиновникам, но Петербургу нужно было дать какое-нибудь объяснение в медлительности, в поглощенной годами пенсии. Он махнул на все рукой. Смерть отца дала ему неожиданно несколько тысяч. Он бросил навеки неоконченную картину и устремил все силы к своему новому «Храму».

Да, перед ним возник грандиозный храм всего человечества. Его расписанные стены и своды должны были вещать миру, внятно для каждого, как внятен вечный язык любви, согласованные между собою символы, общие всем расам и культурам, символы, которыми бессознательно выпаян, вылеплен человек наших дней.

Храм Всечеловечества.

Человек, погруженный в темное лоно страстей, еще не имеющий своего лица, и человек, вырастающий в свободе познания над своей низшей природой, — Гермес, удушающий змия, Венера, рожденная пеной волны, — все, все вокруг Вифлеемской пещеры...

Сверхчеловек Дионис-Аполлон, полнота и завершение земной красоты, и рядом — разрешенный и разрешающий от всех вожделений — силой собственной полноты — Иисус. Сотни композиций рождал гений Иванова для строго расчерченных, глубоко продуманных стен завет-

ного храма. Тут были сверкающие и крылатые ассирийские ангелы, охваченные вихрем гнева и скорби пророки, и Зевес-Иегова, великолепно и необъяснимо живописный и волнующий, как ни одно из лиц той огромной картины, горько задернутой слепой драпировкой. В этой буре веющих крыл, неуклонных левитов, народа, первосвященников, храмов и простого восточного быта Александр Иванов, наконец, нашел сам себя.

Уж он не спрашивал: смеет ли? И кого спрашивать? Отец умер, Овербек стал чужд, Гоголь враждебен, все прочие далеки. Лучшие из художников ушли в сейчас модный жанр, в повесть о быте каждой отдельной минуты, и кому же было дело до воскрешения в реальнейших формах тысячелетней древности?

Но он воскрешал. Он хотел закрепить не минуту, а *вечность — для вечности*. И все больше путаясь в хитрых и мелких людских отношениях, отучась как люди говорить, одеваться и лгать, здесь, пред лицом всемирной истории всего человечества, он — знал, смел, мог.

Сейчас, когда все правительства Италии волей-неволей принуждены были приступить к реформам, для жаждущих «il risorgimento» уже этого было мало.

— Одними чиновками да железной дорогой теперь не отделаться!

— Это только клешни, которыми омар хватает добычу. А сама-то добыча? Где свобода? Где независимость национальная?

— Но это незаконно пред лицом трактатов, — кричали законники, — несвоевременно по политическим обстоятельствам, наконец безрассудно по недостатку сил...

Но пред каждой истинной страстью смолкает рассудок. И горел клич от Ломбардии до Неаполя: «Долой варваров! Долой угнетателей!» Меттерних верил только в штык и полицию, а Италии было давно этих блюд по горло. Занятие австрийцами Феррары оживило все былые обиды. Для народов есть возраст, когда они легко сливаются друг с другом, но тут этого уже быть не могло. За Италией стояли *века* огромной *своей* культуры, и она могла только извергнуть вон из себя Австрию, как инородное тело.

Русским художникам в Риме, полюбившим Италию, как вторую родину, было мучительно знать, что Россия

поддерживала Австрию в осуществлении Венского конгресса. Стыдно было быть заодно с Англией, коварно дурачить Италию двойною игрой.

— Viva la independenza italiana![1] — отвечал лорд Минто приветствию толпы, а лорд Пальмерстон в то же время посылал Австрии ноту сочувствия, и торийские журналы трунили взапуски над скороспелым реформатором Пием IX.

Но если дело свободы Италии встретило мало поддержки за границею, тем единодушней росло и крепло внутри единство самих итальянцев. Уже не было речи о дроблении: Рим, Тоскана, Неаполь... Уже дышала жизнью одна *нераздельная Италия*. Партии, сословия забыли свои интересы, все воли слились в одну, забились вместе все сердца. И, как всплеск океанской волны, как голос этого моря, в самом центре Италии, в вечном городе, вознесен был все тот же народный герой — извозчик из Трастевере Анджело Брунетти. Восторг пред Чичероваккио был единственным, что Багрецова могло сблизить с Герценом.

Багрецовым все еще владело холодное отвращение к себе самому и разъедало сознание бездарности и ненужности своего существования, но о самоубийстве он больше не думал. Встреча с Гоголем тогда, на Сольфатаро, переломила волю его, удержала от смерти, и теперь уж он знал, — как бы там ни было, он «досмотрит» свою жизнь.

Мысль о Гоголе раздражала больше обычного: то, что он вошел пустым эпизодом в жизнь великого человека, а сам из-за него дважды перевернул свою судьбу, лежало в его памяти странной обидой и злобно вызывало желание поквитаться.

Может быть, этот внутренний опыт был отчасти причиной особенно настороженного отношения к Герцену. Багрецов воздавал должное его уму, талантам, видел огромную роль его в общественной жизни России, но к Герцену-человеку оставался холоден.

Как у всякого, кто только что был близок к смерти, глаз Багрецова стал до жестокости обострен. Дар слова Герцена, столь поражавший сразу, в обыкновенном, вседневном общении, становился утомителен, немузыкален

---

[1] Да здравствует независимость Италии! *(итал.)*.

и как-то в сущности несерьезен. Вдруг делалось тяжело слышать по поводу каждого пустяка — сверкающие сопоставления, афоризмы, едкую сатиру. Все, что Герцен ни говорил, было из ряду вон, и поэтому именно все теряло какую-то тончайшую подлинность, обращалось в цветок без запаха.

Багрецову казалось: этот блистательный человек выговорен весь, и за ним уж не слышно той глубины, тех корней, укрытых от взоров, где у каждого, обыкновеннейшего, бьется источник жизни, не исчерпываемый сознанием до дна.

В злые минуты Багрецову рядом с Герценом вызывался образ тех культурных деревьев, которые опытный садовод распластывает вдоль стенки, заставляя каждую веточку нести образцовый, совершеннейший плод. Постоишь в изумлении, но вдруг скучно станет и захочется неудачи, корявости, ерунды...

Раз как-то Багрецов сказал Герцену:

— Мне думается, общественный деятель не может не чувствовать зависти к Чичероваккио.

— Почему зависти? и к чему именно? — спросил Герцен, внезапно и особенно оживляясь.

— Да хотя бы вот к чему: каждый, по своей воле избравший поприще общественного деятеля-руководителя, тем самым возносит себя как некий произвольный маяк среди моря; хорошо, кому случится он по пути, а ведь весьма многим и нет. И тогда сей произвольный маяк уподобиться может по роскошной расцветке всего-навсего мыльному пузырю. Как выдули его, так и лопнул. Произвольный маяк как бы не остался один среди волн, а корабли, гляди, по своим путям побегут, огибая его. Но общественный деятель, как Чичероваккио, это — гребень волны, взметаемый в бурю самим морем. С морем вздымается, с морем падает. Он пульс народа. Его дыхание — тысяча воль, его вдохновение — жаркое биение миллионов сердец...

— Вы правы, — сказал, потускнев, Герцен, — доля Анджело Брунетти — завидная доля! Все, что вы сказали, я прочувствовал сам под Новый год на улицах Рима, когда был свидетелем, как народ ходил на площадь святому отцу заявить, что ожидает исполнения его обещаний, все еще не удовлетворенных консультой.

Народ звал папу на балкон, он не вышел. Хуже того, была угроза разогнать всех солдатами. За минуту восторженный, народ пришел в ярость. Вот тут во всем блеске я увидал власть Чичероваккио. Он отвел самыми простыми словами гнев народа, обещая, что завтра недоразумение разъяснится и святой отец, обманутый министрами, сам придет к римлянам.

И народный мудрец был прав. Наутро папа каялся и плакал, что злые советники оклеветали пред ним римский народ, и поехал по улицам с повинной. Я видел, как Чичероваккио влез на карету, которая следовала за папской, и сел на ее крышу с своим знаменем, нимало не смущаясь тем, что из-под его грязных сапог брезгливо выглядывал его эминенция кардинал!

— А в результате что? — прервал с гневом Багрецов. — Даже губернатор Савелли не уволен! Чичероваккио истощил все возможности этого, очевидно, невозможного союза с трусливым папой. Недовольство им растет с каждым днем. Что-то будет?

Устрашенный народным настроением, Пий IX решился, наконец, издать худосочную конституцию, где неприкосновенной оставалась инквизиция и доминиканьные суды.

Герцен острил, что единственно хорошим в этой конституции было то, что она доказала возможность существования *конституционного папы,* причем прибавлял:

— И тут опоздали. Мир уже догадался, что *никакого* папы не надо вовсе!

Новости из Ломбардии стали грозными. Австрия, видя, что восстание Милана неминуемо, — душила его. Вся Италия напряженно хотела идти на помощь Милану. Когда на римских торжествах являлось знамя Ломбардии, покрытое черным крепом, ему выпадали безумные овации. Все требовали защиты Ломбардии. Папа молчал.

Багрецов, сначала чтобы заглушить внутреннюю пустоту, но скоро искренно захваченный, опять вовлекся в итальянские дела. Все чаще были минуты, когда ему удавалось снова забыть себя, раствориться с толпой и сбросить всю свою биографию, как прочитанную и ненужную книгу.

Даже образ Бенедетты, все еще его заполнявший, не причинял страдания, рождая одну могучую жажду дей-

ствия, слитую с волей народа. Он был римлянин, его сознание было подчинено воле il popolano Чичероваккио. На площади, рядом с сапожниками из Трастевере, с которыми теперь вместе пил и играл в «минто», он сегодня напился пьян от восторга, когда пришла весть о восстании в Милане и о венской революции. Было ли это чувством самосохранения, бегством от внутренней пустоты или иным чем, но, вовлекшись в экстаз римских патриотов, Багрецов уже не хотел опомниться. Ему радостно было требовать вместе с толпой, чтобы крепость святого Ангела палила из пушек, чтобы ударяли в колокол по случаю падения правительства в Австрии и волнений в Ломбардии. Он был пред палаццо «Venezia», когда с него снимали австрийский герб и возносили ломбардское знамя. Двуглавого, ненавистного орла привязали к хвосту осла, закидали грязью, сожгли на костре на piazza del Popolo. На все это папа затаился, будто его и не было. Народ требовал выдачи оружия из арсенала, папа медлил, за что был, наконец, обвинен в соучастии с Австрией.

Возле обелиска у фонтана министр Галетти и здоровенный красивый патер Гавацци, ненавидимый кардиналами, но любимый народом революционер, стали призывать всех в Колизей. Гавацци произнес потрясающую речь: «Римляне! вас ждут ломбардцы! Уже раскрыта книга, куда может вписаться всякий, желающий идти на войну. Времени терять нечего. — В Колизей!»

Народ кинулся за Гавацци. Багрецову мелькнуло в толпе красивое взволнованное лицо Герцена, но едва хотел он пробраться к нему, как старик, maestro di casa, одернул его за плащ и сказал шепотом:

— Синьору надо спасаться! Убийца его высмотрел и только ищет случая... синьору готова лошадь, идемте со мной, ехать из Рима надо ночью.

— Ни за что не уеду, ни за что, — сказал Багрецов, в ужасе от возвращения своей прежней постылой судьбы, — я римлянин, я в память Бенедетты иду волонтером в Ломбардию!

— Безумие, синьор, никто вашей искренности не поверит, бежать много вернее!

Старик понял гражданские чувства Багрецова лишь как хитрую уловку и, щуря глаз, прошептал:

— Это вам не поможет...

Багрецов рассмеялся, дал старику на память часы и сказал:

— Верьте, не верьте, но сегодня последний раз, что я ночую в Риме. Я завтра с отрядом иду в Ломбардию.

Едва Багрецов решил идти в поход, как почувствовал за собою никогда у него не бывшую крылатую молодость. Бегом догнал он тех, что ушли вслед за Гавацци — неутомимым миссионером итальянской свободы, отлученным папой от церкви, ненавидимым иезуитами и, наравне с Чичероваккио, обожаемым народом. Речи Гавацци были пламенны, всегда внезапны, всегда только о том, что всех кровно касалось.

Большой плотный человек, в полумонашеском, полувоенном одеянии, он говорил во всяком месте, во всякое время о том, что надо свергнуть Бурбонов, а папу лишить светской власти, о единении всех, о реформах.

Его клич был: «Дело народа и есть дело божие!»

Подбирая рясу, он взбирался на крышу, на обломок колонны, на дерево. Он отовсюду кричал богатырским своим голосом:

— Друзья мои! Только революция может создать Италию! Пусть какой угодно шпион доносит мои слова его эминенции кардиналу — народ хочет свободы и религии без поповских обманов...

— Безбожник, женатый монах! — кричали ханжи из толпы.

Гавацци весело отругивался:

— В счастливом браке нет никакого греха — одна сладость. И, конечно, я был бы женат, не посмотрел бы на запрет, если б того захотел... но вся моя любовь у ног одной прекрасной дамы — Италии!

В Колизее Багрецов опьянел от восторга. Был закат, небо пурпуром врывалось во все арки, делая людей черными силуэтами. Как в древности, когда праздник сулил Риму неслыханно острое наслаждение — борьбой, ловкостью, кровью, — все выступы, арки, все стены были унизаны римлянами сверху донизу. Из одной выдававшейся ложи патер Гавацци гремел:

— Юноши Рима! первые идите в ряды! Я вместе с вами. Кто идет?

Колизей заревел: «Все идем!»

Кровь бросилась в голову Багрецову. Он кинулся вслед за первыми туда, к столу, под древнюю арку, где под вспыхнувшими факелами велась за столом запись добровольцев на защиту Ломбардии.

Опять на мгновение встало пред ним лицо Герцена, у него в глазах были слезы. Но лишь только Багрецов к нему кинулся, как снова потерял его в толпе. Багрецов стал в очередь для записи. Он чувствовал, будто Бенедетта с ним рядом, прощает его и, как и он, знает, что теперешнее их соединение во имя Италии прекрасней бывшей, едва ли долговечной любви.

— За свободу Ломбардии! — произнес высокий прекрасный юноша, первый подписавший свое имя в книге волонтеров, подняв высоко руку с трехцветным значком, им только что полученным.

Багрецов узнал юношу. Это был тот, кто ходил с Бенедеттой, кого он встретил в термах Каракаллы, тот, который любил ее и за нее клялся отомстить, — это был Беппо Марио.

Внезапно Колизей загудел от рукоплесканий. Посреди, на арене, стоял Чичероваккио с своим подростком-сыном. Сняв шляпу, он низко кланялся на все стороны и говорил:

— Римляне, если я точно нужнее вам здесь, чем в Ломбардии, то взамен себя отдаю вам кровь мою — сына моего, в ряды первых бойцов!

— Evviva Чичероваккио! — ревел Колизей.

Багрецов подписал свою фамилию, выложил все деньги, какие были, на стол пожертвований на поход и приколол себе трехцветную кокарду.

С зажженными факелами пошли ополченцы за отцом Гавацци. Наутро им надо было выступать в поход. Багрецов, все в том же окрыляющем восторге легчайшей юности, подходил к своему дому. Вдруг кто-то, пробежав было мимо, внезапно обернулся, занес руку с сверкнувшим тускло кинжалом и с возгласом: «За Бенедетту!» — ударил его в грудь.

Несмотря на слабый свет от проносимых мимо факелов, Багрецов, падая, успел узнать своего врага — это был он, высокий, с вдохновенным лицом Антиноя, записавшийся первым в ломбардский поход, — Беппо Марио.

Уже на другой день после несчастья с Багрецовым у постели его неотлучно сидела Гуль. Полина Карагина узнала обо всем от maestro di casa, нередко приносившего ей записки от Багрецова; она привела врачей. Положение было признано тяжелым, но не без надежды. А едва Багрецов встал на ноги благодаря неусыпному уходу Гуль, врачи настояли, чтобы он уехал из Рима.

Воля Багрецова сломалась. Итальянские дела его уж не занимали. Юношеский восторг и недавний подъем не возвращались. Больше того, они сейчас казались ему, при воскресшем во всю силу привычной скепсисе, — добровольно на себя принятой и по прихоти разыгранной ролью.

Багрецов принимал как привычные и уже необходимые для каждого дня — любовь и заботы Гуль. Объяснений не было, но они уже знали, что больше не расстанутся. Только однажды Багрецов с слабой улыбкой ей сказал:

— Помните — вы всегда и совершенно свободны уйти, если встретите что-либо лучшее.

Новое и особенно тяжкое для Гуль было то, что Багрецов выпивал. Никогда не пил допьяна, но всегда был нетрезв и угрюм. Одна надежда была, что возврат в Россию его изменит. Охватят на родине интересы, жажда дела...

Молчали оба много. Об итальянских делах Багрецов не спрашивал. Перечтя старые газеты и расспросив, что произошло за время его болезни, он понял, что освобождение Италии надолго потеряно.

Наконец он решил ехать в Россию вместе с знакомыми художниками, которые выезжали по требованию правительства или вследствие прекращения им казенной пенсии. Только Александр Иванов с братом оставались в Риме. Недавно умер их отец и оставил обоим небольшое состояние. Хотя Александр Андреевич свою большую картину навсегда бросил неоконченной, уединенная жизнь в любимом Риме была необходима ему для новой заветной работы, для *«Храма человечества»*. С Багрецовым он простился душевно, до новой встречи в Петербурге, куда в конце концов должен был привезти свое «Явление Мессии».

Глава XIII

УБИЙСТВО «МЕРТВЫХ ДУШ»

> Дня за два, за три до сожжения рукописи Гоголь поехал на извозчике в Преображенскую больницу к одному юродивому, подъехал к воротам, подошел к ним, воротился, долго ходил взад и вперед, долго оставался в поле на ветру, в снегу...
>
> *Записки д-ра Тарасникова.*

Багрецов два года прожил в деревне, в Хотынове, у той сестры Анны, дьяконицы, вступаясь за мужа которой, он когда-то кинулся с ножом на отца. Анна была уже во втором браке и многодетна. Глеб Иванович выкупил у нее хотыновских мужиков, помог им наладить хозяйство и, разругавшись с сестрой за вновь накупленных ею людей, уехал с Гуль навсегда в Москву.

Стоял 1852 год, когда Глеб Иванович вселился в свой особняк на окраине города против больницы умалишенных.

Та жизнь вдвоем с Багрецовым, о которой Гуль когда-то мечтала, была ужасна. Она с каждым днем понимала все больше, что есть такая степень омертвелости, которую уже никакая любовь растопить не в силах.

И странно: не испытывая угрызений за свершенное преступление, Гуль свое страданье приняла безропотно, как справедливую кару за гибель сестры.

Что же до Багрецова, то его еще могла бы пробудить к жизни какая-нибудь крупная деятельность государственная, с сознанием большой власти и ответственности, но он все поприща прогулял за границей и сейчас был разбит, без желанья борьбы.

Ему предстояло то же, что отцу его: коротать жизнь среди обширной библиотеки, имея себя одного собеседником, да вот ее, Гуль, не подругу жизни — няньку. Как быть тут без коньяка?

Винить Багрецова Гуль ни в чем не могла. Сам он не раз говорил ей об ужасе, который ждет ее, но она не поверила.

Гуль чисто по-женски надломленность Багрецова всецело объясняла трагедией с Бенедеттой. Правда, роились смутные подозрения, что как-то ранила и глупая та история с «флаконом Борджиа» — тем именно, что в нем яду не оказалось. Но об этом Багрецов замолчал навсегда, а ей самой было не под силу разобраться. Она сделала одну попытку понять, но запуталась еще хуже. Не переставая считать оскорбительным свое былое подозрение Багрецова в убийстве, Гуль разыскала в Москве того доктора, который определил ей содержимое флакона. Да, доктор, ныне старик, был еще жив. Как же, он ее очень запомнил. Ведь она после его анализа, что яд — только слабительное, упала в обморок. Тогда же, не называя имени, она рассказала ему всю историю. Сейчас она была женой этого псевдоубийцы. Доктор опять так хорошо засмеялся, так рад был, что трагедия окончилась свадьбой, что просил непременно к нему приехать вдвоем.

Когда Гуль это предложение передала Багрецову, он непонятно оживился и, такой нелюдимый, сам стал настаивать на скорейшем визите.

При встрече сентиментальный доктор от чувств прослезился.

— По воле фортуны я был ваш первый сват! — сказал он Багрецову и налил всем в зеленые рюмки дорогого немецкого мозельвейна. Вдруг, приложив палец ко лбу, доктор слегка подпрыгнул: — О, в центре события должен стоять сам виновник.

Подойдя к стеклянному шкафу, осторожно открыл его ключиком, вытащил из гущи пузырьков странный, пузатый флакончик с надписью: «Флакон Борджиа» и поставил его с торжеством среди рюмок.

— Вы тогда у меня его бросили, — сказал он Гуль, — а я включил его в число моих реликвий, иначе говоря — «вещественных доказательств», спасенных моею рукой, — самоотравившихся. Ведь я, старый холостой врач, могу иметь свои сувениры.

Багрецов взял пузырек, пристально вперился в него.

— Да, тот самый, — сказал он. — И в нем, вы утверждаете, точно не было яду?

— О, только послабляющее, правда старинное, но легчайшее, безобиднейшее, — хохотал доктор.

Гуль помнила, как мрачен вдруг стал Багрецов, как, выйдя от доктора, не проронив ни слова, заперся у себя.

Вечером вышел. С непонятной ей грустью поглядев на нее, вымолвил:

— Есть еще время — уйди от меня! Тебя ждет жестокая жизнь.

И, заметив испуг в глазах Гуль, криво дернул ртом, улыбнулся.

— Не бойся, истязать и бить не буду. И сцен никаких. Но я погибший, я конченный человек, и вся любовь твоя как в пропасть. Пока ты сама не начнешь мерзнуть, я знаю, ты меня не поймешь. Но верь мне на слово: есть нечто неизмеримо худшее сцен, измен, побоев, ревности и всех атрибутов обыкновенного несчастного брака. Там все-таки жизнь — здесь безнадежное окоченение... Уйди от меня, Гуль!

Но она не ушла.

С Гоголем Багрецова все хотел опять свести Пашка-химик, но Багрецову охоты видеть Гоголя сейчас не было. Доходили вести, что воспрянул Гоголь духом, что вторая часть «Мертвых душ», наконец, приводится им к концу, остается переписать ее набело и сделать последние исправления, что одновременно работал он и над подготовкой к печати нового издания своих сочинений.

Багрецов холодно решил, что Гоголь укрепился от своей поездки к святым местам. Ну и на здоровье! Теперь речи его должны быть окончательно учительские. Багрецов где-то в глубине бережно хранил последнюю встречу на потухшем кратере Сольфатаро. Гоголь разбитый, и глаза его, бережные как у матери, и горькое признание его в том, что недавно зацветавшее слово сейчас ему «как колода», и вызванный образ глухого Бетховена — все это странно дало Багрецову силу пережить, не убить себя. Так ставит на ноги изнемогшего от горя благородный вид горя чужого, безмернейшего...

Но к Гоголю, благополучному, снова нашедшему «драгоценное слово» и вкус к работе, Багрецов был холодно доброжелателен, но чужд и для себя лично ничем не заинтересован.

Но все же, когда он увидал его на Никитском бульваре, узнал издали на скамье, то так сильно взволновался, что хотел было повернуться и убежать. Однако остался стоять, долго с биением сердца смотрел на него, им не замечаемый.

Был вечерний, тот ненарядный час, когда фонари еще не зажгли и на бульваре гуляющих мало. Шел до того обильный мелкий снег, так кружился он в легком ветре, что Багрецову показался снег оперным, вроде как тот, что в «Жизни за царя», пущенный с потолка, покрывает вмиг и Сусанина и поляков.

Темным монументом сидел на скамье Гоголь. Складки длинной шинели лубом спадали на землю, скрывая ноги. Из поднятого воротника далеко вперед выклюнуло носатое лицо. Глаза как уперлись, не двигались. И будто он весь не дышал.

Ударили ко всенощной. Гоголь не сразу услышал, а услыхав, без раскачки встал вдруг, как поднятый пружиной, и тяжко пошел. Смотрел прямо вперед. Поровнявшись с Багрецовым, его б не заметил, если б тот не ступил поперек:

— Николай Васильич... Я — Багрецов, видались последний раз в Сольфатаро...

— Как же, помню, — сказал Гоголь и, поеживаясь и знобясь, высунул правую руку из широкого рукава. — Помню. Пройдемте, мне нельзя опоздать...

— Как съездили? — спросил Багрецов, он не назвал — куда. Но хотя после Ерусалима Гоголь был и в Одессе, и в Калуге у Смирновой, и недавно в Оптиной пустыни, но ответил сразу на то именно, о чем спрашивал, даже не называя словами, Багрецов.

Есть отношения каждого дня и есть отношения внезапные, без наличности пресловутого «пуда соли» и долгого времени познать друг друга, но глубочайшие. Бывает: на полустанке войдет человек в вагон, где другой уже обселся, и обывательским враждебным оком встретит соседа. Но проговорят ночь, а примут друг друга уже навсегда, через годы, службу, семью. И даже в тот смертный час, когда производит каждый в своей жизни отбор, гляди, полновесным зерном лежит в сердце та встреча. В таких встречах люди не прячутся и не лгут.

Гоголь сказал:

— Я удостоился провесть у гроба господня целую ночь, но познал лишь одно — как окончательно велика черствость моего сердца. Удостоился приобщиться святых тайн, стоявших на гробе вместо алтаря, — но.земное во мне не сгорело, а небесное в меня не вступило. Сонно и смутно было в душе. Где-то в Самарии сорвал цветок, в Галилее другой, в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России на станции... Так-то. Да и блохи покусывали, прегустая там, знаете, кавалерия...

— А Оптина пустынь? — и опять Багрецов не объяснил, что это через него, через Гоголя самая последняя и ему надежда — Оптина.

Гоголь остановился, подозрительно впервые во все глаза глянул на Багрецова, и тот увидел, что не те у него глаза. Не как в погодинском саду, острые, вбиравшие подноготную, чтобы тут же сплюнуть, как шелуху; не играющие хмелем и жизнью, как тогда в Риме, когда подбивал нагрянуть на виллу Волконской «гуртом без никакого зова»... не те, незабвенные, в Сольфатаро, — глаза матери нежной и бережной. Сейчас глаза смотрели и, конечно, всё видели, но сами для зрителя были так: зрачок черный, больше обычного в сумерках, голубоватая радужная оболочка и белок. Глаз из любой анатомической книжки, не глаз Гоголя, просто «глаз человека».

И слова были раздельно, наизусть:

— А в Оптиной пустыни я вот что узнал: «демоны не суть видимые тела. Мы бываем для них телами, когда души наши принимают от них помышления темные. Ибо, приняв сии помышления, мы принимаем самих демонов и явными их делаем в теле».

Но, сказав это и, как посторонний, выслушав собственный голос и лишь в следующее мгновение поняв сказанное, вдруг, весь дрогнув, Гоголь взял под руку Багрецова, пригнулся к уху его, зашептал:

— За монастырской оградой, там, где бегут уж поля, шел по канавке монах. Слепец с посохом, изможденный бдением... поровнявшись со мною и не зная, кто я, прозорливец сказал свои потрясающие, знаменательные слова. И пока я, сраженный, молчал, присовокупил и по-

следнее: «О взыщи, сын мой, *огненного* духа! Будь в этом теле как те, кои уже без тела... взыщи!»

И, еще надвинувшись, почти коля Багрецова своим острым носом, чуть слышно Гоголь прошептал:

— Взыскал и сам взыскан, сам! *По молитве моей* вчера болеющей Екатерине Михайловне Хомяковой наступило чудесное улучшение. Да, по молитве моей. Я взыскал и сам взыскан!

Багрецов не помнил, как они простились и что еще было Гоголем сказано. В памяти осталось одно: раскрытая дверь храма, охваченная пламенем несметных свечей, кровавыми пятнами лампад, и — Гоголь, в темной шинели, отлитый из чугуна, с головой непокрытой, далеко выклюнув из воротника длинным носом.

Прошел месяц после этой встречи. Багрецов из дому никуда не ходил. Нравилось ему здесь за городом: безлюдье, безумие, в поле волчий вой.

В окна приземистого многоглазого дома неслись снеговые поля. За окнами крутила метель.

Багрецов давно молчал. Сидя в глубоком кресле, сперва курил длинную трубку, потом пил коньяк. Пред ним Пашка-химик — по римской кличке Шехеразада — докладывал.

Кроме них обоих, в доме не было никого. Жена уехала в Москву на блины, прислуга была отпущена на балаганы. Стоял последний день масленой недели.

— Говоришь, оживился, узнав, что живу против лечебницы? И сказал, что зайдет, — Гоголь, Николай Васильич? Да не врешь ли?..

— Помилуйте-с, Глеб Иваныч, да какой еще разговор допустил. Плохо вы окружены, Николай Васильич, говорю, Аксаковы вас обнимают, Погодины обсчитывают, прочие сахарят да вареники ваши любимые лепят. Съездили б в зеркальце глянуть, к Глеб Иванычу, тряхнули бы римской стариной. Бывало, мы с вами на Via Felice часами-с... А живем мы в чистом поле, глаз стал острей да зорчей, обдуло, обветрило, просторы кругом да дом людей, сшедших с ума. И фрака, говорю, к нам не требуется. Засмеялся, представьте, сказал: «Доложи ему, я приду; когда дома?» Натурально, говорю, дома-то

всегда-с. Ведь умный человек, говорю, превращает себя к концу дней в собственного собеседника, и тогда ему некуда уходить. Цель достигнута-с. Finis. А Гоголь, Глеб Иваныч, столь гневно: «Ты, несчастный, уверен, что иного финиса на земном поприще нет, как от себя и к себе же?»

Глеб Иванович, руки в карманах, грузно ходил от стены к стене. Остановился, налил коньяку себе, Шехеразаде. Пожевал тонкими, как у Вольтера, губами, сказал:

— Ну, а ты что? Да не слишком-то ври...

— Ничего я не вру, Глеб Иваныч, а извините, ответил Гоголю пренебрежливо. Но посудите сами, после римской свободы это житье монастырем, в руках четки, запостившийся вид... да мне как ладан на беса... а ему вынь да положь: от себя и к себе, так иного финиса умному нет. Есть и иной, говорю, есть, — к чертовой матери под соусом пикан-с.

— А он?

— А он, Глеб Иваныч, ка-ак качнется, словно проклюнуть безмерным своим клювом и этаким шипом: «Не свои, не свои слова говоришь. У беса моего с-схимистил соус пикан. Что под сим мнишь?» А я, Глеб Иваныч, для легкости, с этакой хлестаковщинкой: мною под соус пикан, говорю, протчее тому подобное, никому не ведомое до конца-с: науку, добродетель, ре-ли-гию-с.

— Не тяни, — оборвал Багрецов.

— Вот тут, Глеб Иваныч, и случилось. Гоголь прикрыл глаза веками, побелел-с и этак ровно стрелой в меня: «Сгинь!» И поверите ли, пока не придвинулся я к дверям, все крестил: себя большим крестом, а меня как блошку, чрезвычайно мелко-с. Я полагаю, Глеб Иваныч, дабы выразить этим относительным масштабом свое презрение к бесам низшего калибра. Подумать только, Глеб Иваныч, и здесь табель о рангах. А в Риме-то и после виллы Волконской разговором со мною не брезговал... Еще в спину заклял-с: «Не смей приходить».

— Сам он сюда придет, не вытерпит, — сказал Багрецов.

— Едва ли, Глеб Иваныч, уж очень запуган-с. Когда отца Матфея нет, он за юбку старушки Шереметьевой держится. От Симеона столпника бежит к Савве освященному, всю обедню, пав ниц, горько плачет. Едва ли, Глеб Иваныч, он к вам, к этакому римскому другу... Од-

нако в случае прибытия уж разрешите и мне присутствовать, почитатель ведь я.

— Что слыхал о нем в городе? От Семена? — прервал, не слушая, Багрецов.

— Чрезвычайно-с друзья озабочены. Представьте, и сейчас уж, на масленой, говеть вздумал. Как строжайший монах встречает преддверие поста. При всей известной его склонности к чревоугодию стал в пище урезан: сухую просфору вменил себе в объедение. А припомнить: остерию Лепре и Фальконэ.

— Да, — усмехнулся Багрецов, — бывало, загоняет сервиторов капризами.

— А Семен, Глеб Иваныч, как верный раб тоскует: «Еще, говорит, недельки две тому назад, если утренний кофий недостаточной крепости — беда: этакого выдаст словесного векселя. Ныне же за обедом едва примет несколько ложек овса на воде. Отговаривается, что от обильной пищи в нем кишки перекрутятся».

Глеб Иваныч ходил, не останавливался. Из двух зеркал на поворотах на один миг бросался в него высокий человек в сюртуке, но без галстука. Над сюртуком было бритое, одутлое, бледное лицо. Глеб Иваныч любил тщательно бриться.

Под Глебом Ивановичем поскрипывали половицы. Стены длинной комнаты, многоглазой от окон, всё светлели. Громадные хлопья взмывались вьюгой с сугробов снега, поднявшихся выше рам.

— Смерть Хомяковой, говорят, расстроила его больше, чем мужа и братьев. Читал по ней псалтырь в своей комнате. Не знаешь: был на выносе?

— Не был, Глеб Иваныч, у Аксаковых я узнал. Старик-то как есть пустынник и медведь, все с ним не в точку. При мне полез с расспросами: почему да отчего? А Гоголь с строгостью: «Екатерину Михайловну я и один так сумел помянуть, что такова ее благодарность... она всех близких привела пред меня». И вдруг сник, зашептал: «О, сколь страшна минута смерти». Семен поведал: с похорон Хомяковой решил Гоголь помереть-с. Одно твердит: когда-нибудь надо же. Так лучше сам приготовлюсь и помру. Еще Семен полагает, главное все расстройство от отца Матфея, что не так давно был из Ржева. Пугал Гоголя страшным судом, что-то требовал...

Семену в щелку не слыхать было, что именно, только крик этот «страшно мне, страшно!»

— Больше нет ничего? — спросил Багрецов.

— Еще последнее, Глеб Иваныч, вчера утром. Сам я ведь крепко больной, сунулся было лекарства просить. У них там наши хохлацкие травы да мази. Семен вышел, не до меня ему. На самом лица нет. «Ночью барину голоса были: уверился он вконец в свой близкий час. Разбудил, погнал за священником — пособоровать. Однако, когда я привез, поспокойнее вышел, прощения просил. Отложили».

— А ведь ты, братец, и сам вправду болен, — рассмотрел вдруг Глеб Иванович гостя. — Никак, твоя желчь разлилась? Лицо будто желтая репа. Доктора надо бы... Ну, выпьем.

Бах... бахнуло в стены.

Хлопьями мокрого снега лепить стало окна. Будто великаны, промахнувшись в снежки, хватили с силою в стекло.

— Ишь, вьюга-то, Глеб Иваныч, смерчем по полю... А вот, бывало, Гоголь вьюгу умел заклинать-с. Наберется нас, украинцев, к нему в петербургской квартирке. Дрянь, мзга сыплется с неба, а он, чародей... ведь глаза отведет: «У нас-то на родине, скажет, скоро тополи ушпигуют весь Киев, на базарах вывалят бабы рядна абрикосов да вишенья. Ученый дрязг — и тот заснует по улицам. И всем в очи Днепр... Днепр — темный, синий...»

В дверь на парадном постучали, сначала робко, потом погромче.

— Что за черт стучит, — проворчал Багрецов, — звонок есть. Когда болен, ложись в диванную, Пашка, — крикнул он и, чего-то волнуясь, пошел к дверям.

Тотчас из зеркала метнулся навстречу ему высокий в сюртуке, но без галстука и проблеснул нетрезвыми глазами на бледном, иссиня-бритом лице.

В большой многоглазой комнате стояла голубоватая мгла, и нельзя было понять, откуда подобное, ни дневное, ни лунное освещение.

В холодную дверь по медной пластинке дробно и сухо лязгали, будто по одному ударяли связкой железных ключей.

Шехеразада, как неживой, замер на белом окне. Лысый череп на тонкой жилистой шее. Желтое, слоновой

кости лицо. На нем высоко вздернутые навеки всосались две черные пиявки бровей.

Стук за дверью вдруг рраз... всеми ключами.

— Кто там? — громче, чем хотел, спросил Багрецов. Слабый голос сказал:

— Впустите... Я, Гоголь.

Багрецов поспешил открыть. Ветер хлынул из двери и ледяным поземком понесся по комнатам.

— Где ваша лошадь, Николай Васильич?

Багрецов протянул руки, чтобы снять с гостя шинель.

— Я так посижу, — сказал Гоголь, — я недолго.

— Да что вы? В карете? На вас снегу нет. А кучер?

— Там... — махнул Гоголь рукой. — Согревается...

— Пройдемте ж отсюда в диванную.

Гоголь снял только теплую шапку с наушниками и перчатки. Густые русые волосы, давно не стриженные, упали до плеч. Пробелел пробор. От пробора, как обычно, шел гладкий зачес на правое ухо. Шерстяной шарф, скрывая шею, охватил и подбородок. Нос, иссохший, еще подлинневший, будто из прозрачного алебастра, свисал над чуть видными усами.

Несмотря на мороз и вьюгу, одни скулы едва розовели, отчего казались накрашенными на неестественной для живого белизне лба и лица. Руки, тесно вдвинутые одна в другую в широких рукавах шинели, делали фигуру узкоплечей и необычной. И так же необычно, как изваяние слоновой кости, смотрелась в гостя желтая маска — лицо Шехеразады.

Встретясь с ним глазами, Гоголь дрогнул и надменно сказал Багрецову:

— Ну, зачем *это* здесь? Ну, зачем?

— Это — Пашка, Николай Васильич, вам знакомый Шехеразада из Рима. У него желчь проступила. Не беспокойтесь. Иди, ляг!

— Нет, уж по уговору, Глеб Иваныч, давеча вы разрешили присутствовать.

— Как? — вскрикнул Гоголь. — У вас с этаким был обо мне у-го-вор?

Он выпростал из рукава правую руку и крепким, как у скелета, пальцем перевел с Багрецова на Шехеразаду.

У Багрецова мелькнуло, что вот этими костяшками

желтой руки он и стучал так снаружи в медную ручку дверей.

— Сядьте, Николай Васильич, вы чуть держитесь, да вот коньячку бы — согреться.

Багрецов подкатил Гоголю просторное кресло. Гоголь сел и слабо отмахнул рукой поднесенную рюмку, забиваясь вглубь кресла:

— С этаким уговор... обо мне!

Багрецов опрокидывал рюмку за рюмкой, стоя так, чтобы не видеть зеркала. Язык его чуть заплетался:

— Все окончательно просто, Николай Васильич, просто и понятно. Оный Шехеразада сказывал, что вы собираетесь в наши места, и, почитая вас безмерно, просил в этом случае быть. Вот и весь уговор.

— А что я желтолик, — вскричал Пашка, — так это от вашей обиды... Как же-с, Николай Васильич. Я заболел разлитием желчи, едва вы меня закрестили, как блошку-с, излишне мелким крестом-с.

Гоголь тесней жался к креслу, защищаясь как бы от нападения исхудалыми кистями рук.

— Издеваются. Над кем? Над писателем русским. — И, воззрившись испытующе в Багрецова, с трудом, но внятно сказал: — В «Брани невидимой» повествуется, что к неким, пронзенным гордыней, во услужение идут бесы, приняв образ раба эфиопа или иной необычайный для страны лик.

— Полноте, Николай Васильич, если я чем пронзаюсь, так одним коньячком, а Пашка тем менее бес... он просто некий... Пашка, ты некий, не оправдавший своих и общих надежд!

— Как многие, как оч-чень многие... — подскочил к Гоголю Пашка.

Словно тополь, прохваченный ветром, весь дрогнул Гоголь. На миг выбрался из шерстяных складок шарфа, обнаруживая обтянутую одной кожей предсмертную худобу лица. И вдруг... ударила тяжесть, сник вглубь до самого носа.

Багрецов еще выпил. Глянул в окно. Сейчас вьюга мелко кружила снежинки. Они в глазах прыгали искрами.

Багрецов перестал чувствовать стены. Но от коньяку ему было не холодно, и он не мог понять, наружи ли он или в доме.

— Как это вы выбрались в вьюгу? — сказал он Гоголю.

— Это они к Корейше юродивому ездили, — хихикнул Пашка.

— Иван Яковлевич меня принять не изволил, — сказал с грустью Гоголь.

— Да не у Корейши ответ вам искать! — закричал Багрецов. — Он зря пряник даст, зря к черту пошлет, не он вам ответит...

— Тогда вы? — медленно, внятно, как часовой бой, сказал Гоголь. — Ах, ответьте! Ведь больше в поле нет никого. А голос был мне: в поле ответ. Отец Матвей приказал мне совсем не писать. Я противился. И вот... Дальше противиться нет сил: перо как колода. Мысли все вихрем. О, как же мне быть?

Багрецов покачался на ногах. Сказал:

— Если напишете вторую часть лучше первой... — я про «Мертвые души», — плюйте всем в бороду и печатайте. Но хуже, Николай Васильич, хуже — вам писать уж нельзя. Про второй том друзья растрезвонили. Второй том Россия вся ждет...

И как эхо — желтая маска:

— Ждет-подождет, ждет-подождет.

— Пошел под стол! — заревел Багрецов.

Шехеразада стал на четвереньки и, метя шелковым персидским халатом ковер, пополз в дальний угол. Гоголь сжался в комок.

Багрецову на миг показалось, что Гоголя будто в креслах уже нет, а сгустилась в кучу одна лишь пустая шинель. Но, пригнувшись, он рассмотрел безмерный алебастровый нос и с удовольствием, что ясная, твердая мысль не уходит от него, продолжал:

— Хуже писать вам нельзя, чем писали, сами знаете... За обновлением сил не зря в Ерусалим съездили. Однако весьма могло выйти, что зря... Никак сами заверили, что желудок ваш встал кверх ногами, перо колодой, мысли вихрем. Ведь заверяли?

Гоголь приподнялся. То возникая, то опадая в шинели, он безмолвно стискивал руки.

— Мне жаль вас, — сказал Багрецов, — и вот слушайте: я предлагаю...

— Гау-гау...

Это в углу Шехеразада собачкой, халатом укутав голову.

Багрецов опять:

— Николай Васильич, я вам предлагаю все ваши писания сжечь.

— Мне, сжечь? — Гоголь вцепился в шинель, где под ней билось сердце.

— Все сжечь, — пролаяло из угла.

— Натурально, — качнулся Багрецов, — жечь, так уж все. Да ведь лучшее вами читано: Шевыреву, Смирновой. И одобрено. И известно... хе-хе.

— Кхе, — чихнули в углу.

— Это прямой вам расчет, Николай Васильич, чисто все сжечь. Задним числом, что не читано, пуще расхвалят. А учителей-то словесности, пачкунов, изыскателей — вот обложете! Века спорить будут. Века... ах-ха...

— ...ха...

В углу трепыхался персидский халат без конца и начала.

— Ах-ха-ха...

Забился в хохоте Гоголь, клюя носом над чуть видными в шарфе усами.

Метель рвала, ухала. Метель хотела скрутить в смерч этот дом.

Хлопал слетевший ставень, и по крыше топали то босые, то медные ноги. Завыл пес.

Гоголь вырос и, пятясь к дверям, как посыпают из щепотки табак, закрестил вокруг мелким крестом:

— Сгиньте...

У входа он высунул из шинели сухую, голую до локтя руку.

— Открой! — приказал Багрецову так властно, что тот, хотя пьяный, не посмел ослушаться, снял крюк, щелкнул ключ.

Гоголь исчез.

— Да как же я выпустил? Да он без лошади...

Багрецов схватился за голову и осел прямо на пол рядом с персидским халатом.

— Вставай, беги за ним. Пашка, беги, — теребил он химика, уснувшего камнем, — беги, вороти!

— Да кого, Глеб Иваныч? Никого тут и не было. Вы да я. Выпивали да спали.

— Гоголь был, — прошептал Багрецов, — Гоголь... — и, падая навзничь, Багрецов стукнул затылком об пол.

В тот же миг внизу стенного зеркала нацелились в комнату две огромных, новой кожей подбитых подошвы.

Приехавшую из города в сумерках Гуль с испугом встретили в передней Дуняша, кухарка и Петр, старый лакей Багрецова. Они, вернувшись с балаганов, вошли через черный ход, от которого был у них ключ. Шехеразаду, Пашку-химика, нашли в диванной в жесточайшем бреду, а Глеба Ивановича на полу распростертым во всю длину. В правой руке его был крепко зажат ключ от парадного.

— Похоже, что Глеб Иваныч только что заперли двери, выпуская кого-то, — пояснил Петр, — в случае, если б вздумали прогуляться, — были б одевши. Мы их перенесли в спальню, раздели.

Гуль прошла к Багрецову. Он был очень бледен и спал тяжким сном нетрезвого человека. Она прошла по комнатам, на окне увидала бутылку коньяку. Гуль села в то самое глубокое кресло, которое Багрецов подвигал своему недавнему гостю, и заплакала.

Пашку-химика пришлось отправить в больницу, где, не приходя в себя, он вскоре умер. А в тот же самый день, когда вышел номер «Сына отечества» с объявлением о смерти Гоголя, у Багрецова оказался легкий удар. Ему строго запретили пить.

Была ранняя весна. Пасха только что отошла. Багрецов, досиня выбритый, но не в сюртуке, а в халате, ходил туда и назад по анфиладе комнат. Зеркала почему-то стали ему неприятны; но так как были слишком велики, чтобы их спрятать в сарай, он приказал их закрыть простынями. Стало похоже, что в большой глазастой зале — покойник.

Без Шехеразады Глеб Иванович заметно скучал; раз даже ошибся, приказав Петру его вызвать из города.

Наконец, с заметным трудом он спросил о Гоголе. Гуль подала ему молча отложенные в порядке февральские газеты.

Глеб Иванович заперся у себя. Выйдя вечером, долго безмолвно сидел у окна. Подозвал Гуль. Взял «Сына оте-

чества» и, водя пальцем по строкам, прочел вслух: «С понедельника на вторник ночью он велел своему мальчику раскрыть печную трубу, вынул большую кипу писаных тетрадок, положил в печь и сжег все».

— Он сжег все. — И Глеб Иванович так усмехнулся, что Гуль заплакала и сказала вне себя:

— Глеб Иваныч, да вернись ты из могилы, стань человеком... сил нету!

Глеб Иванович глянул удивленно и печально, будто только что узнал ее. Потом опять стал ходить.

Наконец как-то утром он сказал:

— Собирайся, поедем к Гоголю в Данилов монастырь.

И в ответ на безмолвную ее тревогу только махнул рукой:

— Небось хуже не будет.

Далеко за городом предместье у заставы. Домишки о трех окнах, улицы поросли травою, ходят свиньи и куры, или, громыхая, протрясется рысцой дилижанс. Старинные казармы. Дальше белая стена, еще более древняя, чудесной кладки с наплывом верхнего ряда зубцов, вознесенная при царе Алексее Михайловиче вокруг монастыря. Врата въездные веселые, пестрые. Голубые пузатые столбики с прохваткой желтым, красным, зеленым. Все в чешуйках да в шашечках.

Во дворе над колодцем шатер с угодником. Далее церкви московские златоглавые да шатровые — и Растреллиева стиля и своих стилей, русских. Золотеют, голубеют сквозь пушистую, еще прозрачную зелень.

— Хомяковы... Языкова... вот здесь, должно быть, и он, — сказал Багрецов.

У забора, на могильных деревьях, протянута тонкая бечева. Какая-то баба, озираясь по сторонам, очевидно делая запрещенное, но ей необходимое дело, пользуясь ярким весенним солнцем, развешивала детское белье.

— Толстая подоткнутая баба, квохтанье кур... что-то знакомое, — сказал Багрецов. — Да, словно им описанный двор Ивана Никифоровича.

Гуль нашла временный желтый крест, еще свежую насыпь. Сели оба на скамью.

— Молитвы он просил, — сказал Багрецов, — на всю Россию кричал, чтобы молились. Благообразия хотел...

а в последние минуты, говорят, врачи его истязали, обкладывали горячим хлебом, к носу две черных пиявки. Так и вижу его с ними. И в могиле не укрылся. И сюда жизнь наперла. Сейчас, полагать надо, ему все равно; однако мне — глядеть тошно. Эй, баба, — крикнул Багрецов, — чего тут развесилась? Не чердак, чай.

Баба обернулась, круглая, добрая, и, сверкая зубами, просительно сказала:

— Да я на часок, пока солнышко. Ведь не на памятник, чай, и повешено.

Багрецов махнул на нее рукой и задумался, упершись в могилу. Страннее всего был этот небольшой размер для такого человека. Как и для всякого — три аршина. Рядом немцы какие-то, наискосок Екатерина Хомякова, по которой он читал ночами псалтырь... вот и все.

— Вот и все, — сказал Багрецов, вставая.

— Я слыхала, — робко проговорила Гуль, — собираются камень ему положить, черного мрамора, и на нем из пророка Иеремии вырезать стих:

Горьким словом моим посмеюся.

Глава XIV

ГОБЕЛЕНОВ КОВЕР

> Грустил и пугался я Петербурга постоянно.
>
> ...Я думаю, что никогда таким плохим французским языком не говорили у двора русского, каким я теперь начинаю там говорить. Это тоже причислено может быть к моим бедствиям.
>
> *А. Иванов*

Еще прошли годы. Багрецов попрежнему жил на окраине против сумасшедшего дома.

Гуль удалось кое-как наладить жизнь. Нашлись люди одних умственных интересов, Глеба Ивановича втянули в журнальную работу, он даже подумывал об одном капитальном труде. Вся его энергия перешла в инте-

ресы каждого отдельного дня, и сегодня катилось как вчера.

Гуль больше ничего не ждала для себя. Ни чудес от своей любви — для него.

Благодаря большому такту она сумела сделаться для Багрецова необходимой, и, насколько мог, он теперь был к ней привязан.

Был июнь, стояла жара. В городе начинался панический страх холеры. Багрецов с утра был чем-то так разволнован, что не мог заниматься, а все ходил взад и вперед вдоль глазастых окон.

Из зеркал, как много лет тому назад, на тех же поворотах, ему бросался навстречу высокий, иссиня-выбритый человек. Только прежняя грузность пропала. Глеб Иванович бросил пить, иссох, а со спины стал, как в юности, сухопарый с сутулинкой.

Гуль, приученная жить без расспросов, перебирала в уме, что бы могло его сейчас так взволновать, как Багрецов, остановясь на ходу, ей сказал:

— Приготовь все к отъезду, завтра я еду в Петербург на выставку Иванова.

И, захватив со стола только что читанного «Сына отечества», он, пройдя в свою комнату, заперся.

Гуль заметила, что с тех пор, как пришло известие о приезде Иванова с его картиной, Багрецов расстроился. Раза два выпивал. Конечно, с этим приездом воскресло в нем прошлое: Италия, Бенедетта, — и Гуль глухо ревновала, рада была хоть тому, что Багрецов не стремится к быстрейшей встрече с другом, а, списавшись с ним, спокойно ждет его приезда в Москву.

И вдруг перемена... Уж нет ли чего в газете?

Гуль не ошиблась: в газете точно была непристойная статья о картине Иванова.

Глеб Иванович, сидя в своем кресле, еще и еще ее перечитывал, не доверяя глазам. По некоторым весьма специальным суждениям и художественной оценке, обличавшей представителя известной школы, а также по дошедшей молве, он явно видел, что под темным именем неизвестного литератора Толбина, подписавшегося под статьей, скрывались иные вдохновители: художники-враги со своим главой — Бруни.

Огромный труд Иванова, раздерганный по мелочам, сводился ими к нулю. Не без яду воздавалось должное лишь его трудолюбию. Местами тон критики унижался до грубой пошлости и издевательства. Так, про великолепную фигуру юноши, выходящего слева из воды, автор заверял, что она исполнена avec un peu trop de licence[1] и напоминает собой довольно вольные типы фигур Джулио Романо, за которые удалил его от своего двора папа Климент VII. К этому добавлено было: «Принимая в соображение религиозный, чисто нравственный сюжет композиции, следовало бы, кажется, вспомнить художнику, что всегда приступали к воспроизведению божественного сюжета с постом и молитвою и всякую лишнюю наготу тела считали недостойной художника-христианина. И что же сделал г. Иванов?.. Он даже не позаботился сообразиться с античными типами... А воспроизвел что-то, напоминающее вакханалии в празднествах Венеры».

И дальше длиннейший столбец в том же роде.

Багрецов не спал всю ночь. Засунув руки в карманы, скрипя половицами, он ходил до утра. То и дело останавливался у окна. Как бывало, наливал в рюмку коньяк, опрокидывал.

Думал об Александре Иванове, а непрошенный, возникал рядом Гоголь, длинноносый, как тогда, в свой последний приход. Гоголь шептал в самое ухо, щекоча шею свисшими набок длинными волосами:

— Вот я и в Назарет съездил... Мало поучительного, признаюсь, — дождичек шел, как у нас, и блохи преотчаянные, этакая легкая кавалерия, как на отечественных постоялых дворах...

А Пашка-химик из всех углов ерзал бровями-пиявками на желтом, как репа, лице, травил Гоголя, улюлюкал: люлю...

Или, может, то дождь шел, и в трубах бурлило.

— Александр Андреевич Иванов, ваш «ближайший», в Риме полвека гостил, а вернулся домой... и к развратной Венере, к «им-пу-дике» угодил. Хоть кого обремизят в нашей столице-то!

А филин в окошко: хо-хо...

---

[1] Несколько вольно *(франц.)*.

— Поэт... живи один, ты сам свой высший суд, — выкрикнул для защиты себя Багрецов.

Но тотчас все Пашки из всех углов:

— Один сказал-с, один оправдал-с! Александр Сергеевич Пушкин, щедрейший. А прочим уединившимся, прочим...

— Ну, прочим-то? Ну? — И Багрецов, став посреди, размахнулся бутылкой в углы.

И квакнули желтые морды:

— Грроб...

Да, не во-время приехал Иванов в Петербург с делом всей своей жизни. Три события волновали столицу: открытие Исаакия, приезд Александра Дюма и приезд Юма, потешавшего знать чародействами. Александром Дюма был очарован не только бомонд, но и весь литературный мир. Он будто напустил всем в мозги французской своей легкости. Какая-то хлестаковщина общелкивала общественное мнение, всем хотелось нарядного, забавного, несерьезного. Наперерыв цитировались изречения французского гостя, и нельзя было понять, он ли дурачил всех, сам ли был одурачен, когда изобрел пресловутое племя les «clopchik», имеющих одну ногу и ни малейшего признака рук, или величественное дерево «la клюквà», и прочий вздор в том же роде.

Несомненно было одно: легкий французский пляс Дюма-пера обтанцевал суровый подвиг, глубину, строгое целомудрие родного гения.

— Что за краски, что за гобеленов ковер! — из салона в салон твердил про картину Иванова один известный всякому щелкопер и болтун, и с ним все соглашались. Все смеялись, что не стоило, дескать, «Илье Муромцу» корпеть тридцать лет...

Когда Иванову передали, что чтимый им поэт Тютчев не устает повторять свою же остроту: «Этот чудовищный холст полон не апостолов, а одной сплошной семьей Ротшильдов», — он глубоко огорчился.

— Как, неужто может он так говорить? Столь прекрасный поэт? — воскликнул Иванов и, усмехнувшись, добавил: — Ну, это все Дюма-пер-с, значит и Тютчев «одюмачен»...

Иванов помнил, как его брату Сергею при взгляде на картину пришли на память не чьи-либо иные, а как раз его, Тютчева, стихи:

Над этой нищею толпой
Порабощенного народа
Взойдешь ли ты когда, свобода?
Блеснет ли луч твой золотой?..

Иванов после этого не обращал ни на что уж внимания. Он тихо и скромно прохаживался на своей выставке среди этюдов. Его почти никто не знал из публики. Портрета его издано еще не было. Он был серьезен и молчалив, когда его хвалили, когда бранили — оживлялся, вытягивал голову, жадно ловил, есть ли тут путное, чему бы поучиться. Больше всего ждал, чтобы заговорили не о нем, а о том, что ему было дороже себя, — об искусстве в таком смысле, как думал о нем сам.

Как-то Иванов пришел очень рано. Народу еще было мало. Едва завидев его, от окна отделился некто высокий в сюртуке и подошел к нему, протягивая обе руки:

— Александр Андреевич!

Иванов узнал не вдруг Багрецова. Но узнав, сильно обрадовался: обнялись, не виделись десять лет. Багрецов уже не был одет так, как в Риме, отменно и с заботой. Сильно исхудавший, он как-то путался в подержанном своем сюртуке, его галстук был завязан небрежно, только выбрит он был, как обычно, с особым пристрастием. Лицо его, во всех чертах заострившееся, было угрюмо и тяжко. Глаза так окончательно покинуты жизнью, что невольно Иванов воскликнул:

— Ну, чем это извел ты себя, Глеб Иваныч?

— Знаешь ли что, тряхнем стариной, пойдем на скамейку в любимый наш палисадник, — предложил Багрецов, — день ведь чудесный!

— Пойдем, мой дражайший, — заторопился Иванов, — столько есть рассказать...

Он взял Багрецова под руку и хотел уже было двинуться, как вдруг внимание его привлекла группа учеников Академии. У одного в руках был «Сын отечества». Они подошли с хохотом сравнивать статью Толбина с картиной.

Багрецов вмиг понял, в чем дело; он видел, что ученики Иванова не узнали, и сейчас он мог услыхать пош-

лые суждения статьи с прибавкой их собственных и с досадой сказал:

— Александр Андреич, плюнь на них, отойди, раз они принесли «Сына отечества» для сличения, путного ждать от таких нечего. Все понимающие дело твердят, что именем Толбина прикрылась враждебная тебе партия, интриганы...

— Нет, почему ж, я послушаю, молодые хоть жестоки, да в точку... — Иванов, добродушно улыбаясь, придвинулся ближе к говорившим.

— Вот она, махина — не картина! Одна таинственность, которой окружал ее автор, довела всех до истомы, — сказал высокий, в воротничках à la Брюллов.

— Велика Федора, да дура, — подхватил другой, — поистине нечего было огород городить, тридцать лет высиживать.

— Пойдем, Александр Андреич, — тащил Багрецов,— срам слушать этих ослов.

— Во всех фигурах северное белое тело... и это Палестина? Под зонтиком, что ль, они шлялись? Прав Толбин, прав...

— Братцы, раб-то! Как у трупа, зеленая морда.

— А посадка вся сперта. Да это точильщик из второй античной галереи!

— Фигура старца точно замучена, а юноша-то! Верно Толбин привел: юноша из вакханалий «Венеры импудики», ха-ха...

— А что значит вся правая группа из двадцати семи фигур? Уж точно — семейная баня Ротшильдов. Какие тут к черту апостолы?

— Да уж пред «Последним днем Помпеи» столько не спросишь, там каждый штрих за себя говорит. И у Бруни и даже у Моллера...

И резолюцию поставил высокий:

— Это, братцы, не картина, а просто маринад из римских жидов!

— А вы просто ослиные головы, а не художники! — сильно окая, вдруг крикнул доселе безмолвный ученик.

Иванов давно приметил лицо его: прекрасный лоб Тициана и глубоко сидящие, очень яркие глаза. Весь зардевшись, в гневе он продолжал:

— Вам мозги засластил Бруни картинками, Брюллов

задурил вас бенгальской шумихой, — то-то большого да скромного мастерства вы не чуете?!

— Скажи, как задается?! — наступали кругом, — уж этот известно... откроет Америку.

— Сапожники, говорю, не художники, а не то б поняли: от Александра Иванова не только приказ: стань мастером! *А наука-то вся дана — как им стать.* Да это понимать надо.

Александр Иванов кинулся к юноше, обеими руками схватил руку его. Грустное лицо его просияло.

— О, благодарю вас, — пришепетывал он в волнении, — благодарю, — значит, и для молодых труд мой не даром!

У юноши слезы стояли в глазах.

— Простите, — смутился он, — вас я не узнал, при вас я бы так не посмел. В защите-то вы не нуждаетесь.

Ватага академистов с высоким во главе в смущении отхлынула. Иванов вынул часы, посмотрел:

— У меня сейчас свободное времечко, не хотите ль пройтись со мной и другом моим Багрецовым сперва в кондитерскую, а потом в скверик поговорить? Кстати, кофейная все так же стоит на углу?

— Все так же, — подтвердил Багрецов, — и попрежнему ученики Академии не могут посещать ее из-за карманной чахотки, — ухмыльнулся он, видя смущение юноши.

— Позвольте, мой юный защитник, старому художнику угостить вас, — сказал, с лаской беря юношу под руку, Иванов.

Когда они шли по темным коридорам Академии, из квартиры какого-то профессора вышел важный генерал. На повороте он сверкнул золотом своих эполет и звякнул шпорами. Иванов вдруг дрогнул и, побледнев, вытянулся, руки по швам. Он так застыл, пока генерал не прошел.

— Ты его знаешь, Александр Андреич? — спросил удивленный Багрецов.

— Зачем же знать? Довольно того, что это генерал-с; если не вытянуться, как бы не вышло чего. Ведь у нас в России и самый мундир тугим шитьем ворота так приспособлен, чтобы в нем стоять не иначе, как вытянувшись.

Багрецов боком глянул на Иванова и при ярком луче поразился тому разрушению, которое наложили на лицо его годы нищенской жизни, нечеловеческого труда, отчужденности...

Юноша тоже был грустно смущен: он не мог разобраться в поступке Иванова с генералом. Ирония это или та болезненная мания, которую молва давно связывала с его именем?

В кофейне спутников Иванова ждало новое огорчение: он наотрез отказался брать закуску и кофе из рук молодых слуг, всем на смех требуя, чтобы ему привели кого-либо из самых древних.

— Нет-с, увольте, из рук этих молодцов я ничего пить не стану-с и вам не советую, — твердил он со страхом и только тогда успокоился, когда ему указали, что жив помнящий его юношей Ермаков. Иванов сам подбежал к старику с седыми баками, облобызался, принял из рук его кучу пирожных и, веселый, притащил их своим гостям и сам с жадностью в них погрузился.

Багрецов молча пил кофе. Лицо его было внимательно и неподвижно, как при непоправимой утрате, когда каменеют в человеке все чувства. Он вспомнил, глядя на Иванова, переданные ему на днях слова Тургенева: «Бедный отшельник, глубокое одиночество не прошло ему даром».

Иванов, прикончив пирожные, с отеческой лаской глядя на ученика Академии, спросил:

— Вы не Тверской ли губернии? Сильно окаете — видать, что Тверской.

— Я-то? А ведь угадали, — улыбнулся молодой так ясно, во все лицо, что улыбкой этой еще больше понравился Иванову. — Да, я из Красного Холма, двенадцати лет вывезен в Академию. Сейчас она мне вместо родины.

— А чтобы художником стать, Академию забыть вам придется... да вот пройдемте в сквер, и точно, погожий денек, — глянул Иванов в окно, — а говорить здесь нельзя, всюду уши...

Вошли в сквер, где в это время, как и всегда, было пустынно. Высокая, все та же, колонна на гранитных ступенях, кругом утоптан песок. Под большими деревьями скамья. Сели.

— Да, да, Академию забыть надо, — продолжал,

свободно вздохнув, Иванов, опять на безлюдье вдруг радостный и доверчивый. — Разучитесь взгляду на натуру через образцы, хотя бы и бессмертные. Художнику самому надлежит все увидать и, как древнему Адаму, всему дать имя. *Впервые данное имя — и есть картина.* Это запомните!

— Я сам так чувствую,— сказал, краснея, молодой,— я только словами не умею...

— Но, чтоб дать всему имена, самому надо все раньше отдать... Глеб Иваныч знает,— обернулся к другу Иванов и взял его за руку своей, с детства знакомой, теплой рукой с короткими пальцами. — Он знает... Я отдал все: любовь, утрату всех близких, больше того: веру души моей...

— Ты в этом не прав, Александр Андреич, — прервал Багрецов, — зачем обстоятельства личные делаешь законом общим? Не всякому надо терять и близких и веру.

— Книгу Иова читали? А вот поняли ли? Там это самое написано. На все времена и для всех людей написано. *Отдать надо все, чтобы создать хотя нечто.*

— Помнится мне, Ренан книгу Иова хвалит за кучу навороченных противоречий.

— Что — Ренан, книжный остроумец... — прервал Иванов, — ксендзов французских дразнил? Кровью сердца узнают иную правду. А символически для детей эта история звучит так: бог хвалится Иовом сатане. Тот в ответ: спору нет, праведник. Но почему? Да потому, что тобою спеленут, без своей воли живет, знай из рук твоих смотрит. Отыми руку твою, развяжи повод его — и увидишь! Когда человек вступил в жизнь на готовое, без пересмотра и выбора взял историю и веру отцов — его самого как бы еще вовсе нет. Каждый рождается как *художник*-творец, лишь когда в свои руки возьмет жизнь свою!

Иванов взволновался и по привычке своей стал ходить взад и вперед, иногда останавливаясь перед скамьей. Вокруг попрежнему не было никого. Старый служитель дремал у ворот. По реке лениво шли баржи, и черными тенями на синеве воды мелькали прохожие за оградой.

— Я видел революцию сорок восьмого года, я понял то, чего вы, молодой человек, живя здесь, понять не могли, — бросал Иванов на ходу. — Не знаю я, кто про-

клял нашу землю, но без крови люди долго еще на ней не устроятся. И художнику вот задача: среди войн, грязи и мрака — сохранить и провести во всей силе образ и лицо человека. Одному художнику ответить на каждое время, на каждый период истории — новым высочайшим выражением духа своего времени! В идеальнейшем виде его. На высоте уровня своего века должен стоять художник, и способ выражения его — *мастерство*. Бесконечность совершенства стояла пред очами Рафаэля, на бесконечное засматривался да Винчи... И художнику на меньшее нельзя переводить взора, иначе и сапога-то ему путного не слепить.

— Я вас понимаю, — прервал, сильно волнуясь и окая, тверской, — одни, скажем, свиньи хрюкают, не отрывая вверх морду.

— Ха-ха,— залился Иванов, подмахивая растопыренными руками, — понял, истинно понял... Имечко ваше как? Имечко?

— Павел Чистяков.

Они встретились глазами в глаза.

Есть минуты, когда человек бывает способен понять другого без доказательств, даже без слов. Вдруг разбивается средостение между людьми, падает преграда, и глаз, как в минуту возносящей любви, минуя наносное, вздорное, не существенное человека, проникает в его тайное и прекрасное, быть может еще неведомое самому человеку.

В такую минуту мудрый опытом, предчувствуя свой уход, как сеятель, встретивший для посева раскрытую, вспаханную целину, умеет кинуть посев в нее полной горстью.

Александр Иванов, глядя неотрывным мудрым взором в глубокие глаза молодого ученика, сказал:

— Подвиг художника в том, чтобы стать мастером. Мастер — оправдание человеку. Мастер — это...

Иванов, не найдя слов, покрутил пухлыми пальцами и, волнуясь, снова забегал.

Багрецов поднял свои мертвые умные глаза и с необычною для себя нежностью сказал:

— Александр Андреич, покажи мне твои композиции, обидно ведь — город о них говорит, а я и не знаю...

Тотчас Иванов на ходу как-то весь осел. Лицо из вдохновенного стало испуганным, он с болью выкрикнул:

— Ящик-то, ящик с композициями взломан! Подвергли осмотру всю тайную работу души. Мысль моя еще не приведена для показа, а уже грубо расхватана. Со всех сторон слышу: Иванов затеял цикл иллюстраций. Варвары люди! *Храм человечества — всему человечеству,* — вот что я затеял.

Он выпрямился, вспыхнул. На миг глянул очень умными яркими глазами, подойдя, потряс крепко руки Багрецову и молодому ученику и сказал:

— Раз у нас вышел такой прекраснейший разговор, уж надо его до конца... Я извещу вас обоих, когда можно смотреть композиции. Одним вам их покажу...

Иванов вынул часы и опять, внезапно утомленный, вспомнив, что опутан заботами, затормошился с своей записной книжкой, ища в ней расписания дня. И, смущенный, что, увлекшись дружеской встречей, перепутал все планы, Иванов сказал резко, усиленно пришепетывая:

— Повсюду опоздал. Ну-с, мне сейчас в Эрмитаж и в Публичную, и обязательно-с одному, обязательно...

— Да никто к тебе и не вяжется, — усмехнулся впервые добро и весело Багрецов. — Иди себе, Александр Андреич, иди...

— Ах, какой ты! Или это я виноват, я обмолвился? Ну, простите, друзья. — И, в бессилье объяснить себя, он слабо махнул рукой и убежал.

Запомнился молодому художнику необыкновенный этот человек, семенящий небольшими шажками по набережной, среди вихрей взметаемой пыли, то держа шляпу, отлетавшую с каждым его шагом, то нелепо одергивая фалды своего вздымаемого ветром мундирного фрака.

Иванов шел по Дворцовой площади своей тяжкой походкой вразвалку, и лицо его все больше расстраивалось. Горькие мысли о взломе ящика с заветной работой пробудили пред ним те римские годы, когда он проводил над композициями для «Храма» пламенные ночи: вызывал древнеассирийских ангелов, Соломонов храм, патриархов, самого бога пред лицом Авраама. Он себя, художника

русского, отдавал всем векам, расам, народам. Испепелял в себе все: личные вкусы, традиции, гнал себя вон из векового пристанища. Был без ограды, без повода, быть может погибший, как кричал ему как-то Гоголь, быть может охваченный самим Денницей. Да, так и чувствовал он порой, преступая заветы отца, Академии, былого уклада и веры. Он был как огромная чаша, куда капля по капле стекались лучшие чаяния всех времен, всех народов.

Изучив Штрауса, сам утратив детскую веру, он смотрел вперед, он знал: Герцен прав. Скоро опрокинуты будут все культы, человек станет как Иов на гноище. О, как охолодает в пустыне. Куда будет пойти ему в слабости, горе, экстазе? В кабак? И еще — в кабак. Нет, художник русский даст человеку Новый Храм, где встретит его все человечество.

Но тело не выдерживало, тело пугалось дерзости духа. Разорваны были в нем человек и творец все больнее, все глубже. Столь мощный наедине в своих композициях, на людях был беспомощно-боязлив. Чем удачнее шла работа наедине, тем ярче бил в ухо голос, едва выходил он в люди: здесь такого не надо... здесь такому — отрава. От-ра-ва...

И вот, как-то, в ответ на приглашение Тургенева отобедать за общим столом в одном отеле, голос яростно крикнул: «Отравят! Отравят!»

Из последних сил, чтоб не выдать себя, Иванов стал безжалостно стискивать руки, но все же под пристальным умным взором Тургенева — не выдержал:

— Нет-с, уж я не пойду. Там меня отравят... яду дадут.

Вспомнил, как Тургенев и Боткин отшатнулись в ужасе, как через миг взгляд их выразил обидную жалость. На днях дошло до него, что они его невыразимую муку определили, как и все, — *мания.*

Ах, это началось так давно... еще тогда, в юности. Одна мысль, что его, ху-дож-ни-ка, подозревают в подделке, потрясла душу его, глубокую и совершенно простую. Дальше — обманы, коварство, интриги, ссора с ближними и дальними из-за неумения жить, как все... книга Штрауса — потеря веры, потеря мечты личного счастья. Наконец революция...

От прежнего в душе не осталось камня на камне, когда с последней жаждой общения писал в Лондон Герцену: «Я утратил ту религиозную веру, которая облегчала мне работу, жизнь... Мир души расстроился, сыщите мне выход, укажите идеалы! События, которыми мы были окружены, навели меня на ряд мыслей, от которых я не мог больше отделаться, годы целые они занимали меня, и когда они начали становиться ясней, я увидел, что в душе нет больше веры. И вот... я мучусь тем, что не могу формулировать искусством, не могу *воплотить* мое новое воззрение».

Но он сумел! Годы под синими очками искусственно изображая уже прошедшую болезнь глаз, чтобы оставили все в покое, а на самом-то деле, обобранный и бесплодный «труп в пустыне», он вынашивал в себе *Новый Храм Человечества.* С ним восстал из мертвых. Но какою ценой? Какою ценой? Гоголь в себе предал художника, а он? А он...

Глава XV

> Мы живем в эпоху приготовления для человечества лучшей жизни. Следовательно, все мерзости от прошлых времен мы должны взять на себя, и в исправности представить обществу — каждый свое поприще, и за прошедшие наши пакости не сметь и ждать, под конец жизни нашей, отрадных результатов: они будут гораздо впереди, со следующими поколениями, и тогда разве вспомнят и об нас.
>
> *А. Иванов*

Мучительно Багрецову не удавалось эти все дни встречаться с Ивановым. Два раза Иванов присылал ему записку с назначением дня и часа, когда тот должен был прийти к нему с «молодым, тверским», писал он про ученика, которого сердечно запомнил, — но всякий раз прибегал мальчишка от Боткина с «отгласительной» запис-

кой. Иванова экстренно куда-то вызывали. Оценка картины и покупка ее затянулись до тошноты долго. Кроме неблагоприятного и компрометирующего в глазах властей отзыва Толбина — серьезной критики не было никакой. Толки кругом шли презлые. Мир хищный, завистливый, дорожащий своим покоем, как пчельник, взбудораженный залетевшей вольной бабочкой, наготовил художнику свое жало. Наконец Иванова вызвали в Петергоф, где за дело всей его жизни предложили вчетверо меньше, чем строителю Монферрану, — десять тысяч рублей. Поверивший в полную неудачу, задерганный — он согласился.

И вдруг Строганов от имени президента Академии объявляет, что и это жалкое присуждение — еще не наверное. Еще надо мыкаться, на днях идти на прием к министру двора. Иванов решил, что это просто отказ.

Когда он сел на пароход, чтобы из Петергофа ехать в Петербург, — он почувствовал, что силы защищать себя, бороться с незримым врагом иссякли. Он больше не мог...

Был легкий ветер. На палубе свежо. Вид перламутром играющего моря успокоил Иванова. Широкоплечий, приземистый, стоял он у борта и не отрываясь смотрел на нежнейшую акварель северных волн. Но зашло солнце, и вода и небо стали однообразны.

Тогда своей развалистой походкой Иванов пошел топотать взад и вперед вдоль палубы. Из-под широкополой шляпы замелькал чистый лоб, выставилась благообразная окладистость бороды, широкоплечесть, приземистость, все такое родное, общерусское, крепко сбитое, как у хозяина-мужика. Стоять ему век — не погнуться. Но глаза, вглубь ушедшие, обличали иное. Глаза были как у загнанной лошади, когда, упав под превысившей силы тяжестью, она уже знает — не встать ей.

Петербург Иванова доконал. Ужасное предчувствие сбылось. Недаром столько лет упирался не ехать. Да и что могло быть здесь мило после тридцати лет отсутствия? Не дождались родители, умерли. На Смоленском и могил не нашел. Модная живопись, модные нравы, лепешки барокко у Исаакия — все оскорбляло в нем чувство и вкус. Ради выставки и продажи картины без конца надо было просить, благодарить, кланяться. Время разметывалось зря, то и дело трепался в придворных

экипажах по загородным дворцам князей и княгинь. Кучера с высоты козел его обливали презрением как лицо нечиновное, без орденов, в бороде. А титулованные господа, похуже своих кучеров понимающие искусство, отмечали одну лишь нелепость манер и плохой французский язык новоявленного итальянского чудака.

Сейчас нестерпимо болела голова, и отвратительный нервный озноб пробегал по спине. Чтобы заглушить смутные опасения надвигающейся какой-то болезни, Иванов, заломив короткопалые руки за спину, ускорил свой бег по палубе. Мысли прыгали. На миг бросалось в память то одно, то другое из недавнего прошлого.

Вот прекрасного тона «vieux rose» шелковая обивка кресла. На кресле сидит президент Академии, сестра государя. Отвернувшись своим профилем камеи, она с высокомерной брезгливостью говорит:

— На открытии вашей выставки быть не могу, разве на той неделе. Мне в Академию надо на осмотр фотографий с образов князя Гагарина — так вот после осмотра...

Это она дает урок хорошего тона в ответ на только что сказанную им «грубость». Забыл, с кем говорит, вспыхнул, как художник, и прервал ее на похвалах этому князю как «первому представителю иконной живописи»:

— Аматёр он в живописи, простой аматёр-с!

Потом узнал: Гагарина прочили в вице-президенты Академии.

Все больней ударяло в виски... Неужто повторение недавней болезни? Намедни едва отходили от холеры. Ах, если б не крутили заботы, если б замкнуться сейчас в своей мастерской, отстала б болезнь! В Петербурге, как пленному зверю, и в нору не укрыться. И безденежье и тоска.

Бруни дал скверный зал, где рефлексы убивают картину; придворный и неискренний человек, он не устает ткать интригу...

— Русский, какого бы ни был чину, не смеет быть в бороде, когда сам государь бреется! Я вас не допущу в бороде на открытие Исаакия... Ах, это граф Гурьев. Да неужто это он не шутя?

— А у меня и чина к тому ж нет никакого!

Иванов на миг улыбнулся по-детски во весь рот. На минуту стало забавно, что одурачили-таки графа Гурьева. Без него пробрался на открытие, а бороды и не сбрил.

Вдруг, заслоняя собой мачту, скамью и немногих сидящих на палубе, встала пред глазами дородная фрейлина, та, что на интимном открытии картины в присутствии государя глядела на нее и в лорнет и в кулак, вопрошая: «А каковы были украшения у женщин древних евреев?» Перед этим новый царь, совсем как и прежний, отец его, принимая картину за рапорт, приказал:

— Ну, разъясняй, какова тут позиция раба!

Иванов остановился. Как ему было привычно при душевных волнениях, крепко, до хруста, стиснул руки и, глядя в уже почерневшую воду, ежась от вечерней сырости, вдруг, как юноша, с безумной страстью захотел сейчас только одного: сию же минуту перенестись в дорогой сердцу Рим. Только в Риме мог жить, выйдя из собственной биографии, в одном своем мастерстве, не Иванов — signor Alessandro, ото всех погребенный в студии. О, как счастлив был там в самозабвении рабочего дня, бок о бок с единственно любимым братом! Какое чудо были те вечера на «Via Appia» и дружное возвращение домой вдоль золотом напоенной Кампаньи! Погрузиться б на миг в полноту творческих сил, в собранность воли... Пусть там нищета, питье — вода из фонтана, на обед чечевица, одна жизнь — *мастерство,* одна родина — *Рим!*

Истинно прав бывал Гоголь там, на акведуке Клавдия... И только подумал о друге, как тотчас увидел необычайный носатый профиль его, пронзающий синее итальянское небо, услышал невыразимой страстности шепот: «Италия, страна души моей, к черту Петербург, театры, департаменты, подлецы...» Да, здесь это все охватило... И вот уж душит кольцом, особенно подлецы. И дивно: собираются будто порядочные люди, передовые, но едва наберется их два-три — возникает впридачу какой-то четвертый, подлец. Обговоренные дела тормозят, слова и мнения передергиваются, кто-то завидует, кто-то клевещет! Ничего, ничего не понять.

Иванов сел на скамью и невольно схватился рукой за сердце. От всего того, что сейчас вызвалось непрошенной памятью, ему стало физически больно.

Ящик с альбомами весь доставлен разбитым. Все композиции перерыты, в город пущен слух о новой большой работе, которая досужими названа ил-лю-стра-ции...

Едва вступил в дом Боткина, помнит, были ему голоса: ограбят, заветное пустят по дешевке. Варвары люди! Не иллюстрации — Храм Человечества.

Закрыв глаза, он схватился за канаты и страшно побледнел.

— Дурно вам, господин? Пожалуйте-с в каюту, — и лакей, поддерживая, свел его вниз.

По дороге рвануло с Иванова шляпу, мальчик поднял, принес; глянув в лицо его, испуганно отбежал.

С ветром поднялись голоса:

— Травить его, за-тра-вить!

Иванов едва спустился в каюту, упал на койку.

— Первый сраженный, — засмеялись в углу, — здоровая качка!

Он испугался, стал мелко дрожать, зашептал забытое: «и расточатся врази его...»

...Голос под подушкой тонко, но ясно сказал: «Ящики с композициями разломаны, кто-то всё переснял, альбомы у Боткина. Хе-хе... Что ты сам думал про Боткина?»

И, как выполняя приказания, Иванов прошептал себе свою мысль, не оставлявшую его, пока он жил в Петербурге: «Ой, обшарит меня этот юноша, обшарит насквозь! И композиции, за которые плочено жизнью, пойдут шататься по ветру».

Голос строго сказал: «Довольно! Конец. Ну, и съешь, что обобран. А за работу всей твоей жизни не куплен, а только продан. Тридцать лет — тридцать сребреников, как тот, на картине... Ты его, а уж за это тебя».

Иванов выскочил из койки и, шатаясь, опять вышел на палубу. Ветер надул его плащ так смешно, что дети вслед ему хохотали:

— Ай-ай, пузырь, улетит!

Иванов вспомнил, как в Париже, в зоологическом саду, сторож не позволил ему рисовать верблюда, не поверив, что он художник: «Должно быть, тоже увидал во мне что-нибудь смешное, не как у всех...» Он улыбнулся детям своей усталой, доброй улыбкой, засеменил было по палубе мелкими шажками, но закачался и сел. Опять ветер донес голоса:

— Травить, за-тра-вить!

Тогда он понял — спасения нет: сам ветер отравлен. Яд просочится сквозь поры кожи, концы волос, сквозь уши, глаза. Яд проникнет внутрь костей. Да вот уж струится он вместе с кровью.

Иванов в городе еле выбрался с парохода, еле дотрясся домой на извозчике.

Яд к вечеру ужалил в сердце. Стало смертельно холодно. Иванов упал. Ему казалось, что до последних сил нельзя уступать, и, защищая от похищения свой «Храм», укрывшийся в обледенелом уж сердце, пока он был в силах, он отталкивался от врагов руками и ногами.

В некрологе наутро было написано, что вечером Иванов забился в ужасных судорогах и призванные на помощь доктора к полуночи объявили его положение безнадежным.

На два дня отлучившийся за город Багрецов, подъезжая на извозчике к Академии, где предполагал на выставке встретиться с Александром Ивановым, прочел в газете, что, проболев холерой три дня, он скончался вчера, 3 июля.

Отпевали Иванова в церкви Академии художеств. Багрецов видел, как профессора, ему враждебные, те, что подуськивали Толбина написать его жалкую статью, хотели с соболезнующими лицами подхватить гроб, — молодые им не дали, донесли Александра Андреевича сами на руках до могилы на Новодевичьем кладбище.

После смерти пришла от двора резолюция: пятнадцать тысяч за картину, две тысячи пенсии — *пожизненно!*

После смерти прислал царь и орден св. Владимира. Наперебой заработали в газетах художники, критики, друзья и поэты. Сам Стасов уже готовил бойким пером диплом «гения» человеку, столь скромно приходившему учиться в Публичную библиотеку.

На могиле прочтено было предлинное посвящение Вяземского:

В искусстве строго одиноком
Ты прожил долгие года

И то прозрел, что никогда
Не увидать телесным оком.
. . . .
В картине, полной откровенья,
Все это передал ты нам...

Все было поздно, все было ненужно. При жизни — ветер родины общелкал его с одним посвистом: за-травить!

Домой, в Москву, Багрецов ехать не мог. Каждый день ходил он в Эрмитаж, к картине Рембрандта «Блудный сын» и часами смотрел. Без мысли, без чувств, не как художник. Если б спросили, не сумел бы сказать, зачем ходит. Нет-нет мелькало: так вот и Гоголь перед концом: от Симеона столпника к Савве освященному, к Корейше юродивому...

Минутами по привычке холодно дивился, как мог умудриться гений Рембрандта из друзей своих, обыкновенных евреев Амстердама, сделать чудо для всех людей и на все времена?

Впрочем, мысли он гнал. Смотрел просто, как тот мужик в лаптях, что вдруг засопел с ним рядом:

— Ишь, по кабакам нашлялся, а к батьке прибёг...

Да, старик и блудный — из притчи. От сына — видна одна спина в лохмотьях. Вот свернутся прахом и обнажат грешное грубое тело, порочный череп дегенерата. На первом плане огромные мозолистые пятки.

Вот на эти пятки Багрецов и смотрел. Долго, не мигая. Быть может, он сходил с ума... неразрешимая, такая последняя скорбь держала его здесь. И не за себя... за всех: тех, что были, есть, будут. Всем бывает свой час: добегаются, и бежать больше некуда.

— Ишь, по кабакам нашлялся, а к батьке прибёг... — уже без укора, соболезнующе говорит мужик. И еще про сына: — Небось в отца мордой уткнулся, ровно пес недотравленный, из последнего, видать... А отец, даром не смотрит — видит, брат... без никаких разговоров. Руки развел, что уж тут, заждался. Прибёг к батьке, прибёг... — окончательным одобрением разрешился мужик и побрел дальше.

У Багрецова не было «батьки», и «блудным сыном» ни перед кем себя он не чувствовал, но прежде чем решиться на свое, на последнее, он испытывал странно отрадное чувство смотреть, как кто-то иной, чем он, мог, обобрав себя, найти себя снова.

Однако довольно... Насиделся перед пятками.

Глеб Иванович встал... И уже как ценитель и приличный, образованный человек отозвался о картине подошедшим академистам так:

— Если истина требует точности, то истинная страсть — крайней простоты. И у Рембрандта достигнуто...

Багрецов написал Гуль письмо. Он благодарил ее за долгие годы терпения и любви, обещал ей часть своего состояния, прощался как отъезжающий навсегда, не указывая, куда именно он уедет. Потом, довольно дорого заплатив, Глеб Иванович достал один несомненно действующий порошок у аптекаря, причем задел его пренеприятно, спросив дважды: «Вы со слабительным, часом, не спутали?»

Аптекарь в гоноре хотел тут же «минимальнейшей» дозой травить забежавшую кошку. Глеб Иванович не позволил... Доверился порошку. Завернул аккуратнейше, еще надписал, уложил на дно чемодана.

Багрецов уехал в Хотыново, то имение, где прошло его детство, где он женился, где теперь жила сестра его Анна, вдова дьякона, вторым браком народившая большую семью.

ИЗ ДНЕВНИКА ПЛЕМЯННИКА БАГРЕЦОВА

...Как сейчас помню дядин последний приезд. Еще б мне не помнить! Но расскажу по порядку: мне тогда было восемь лет, но я все же заметил, что нежданное появление нас забывшего дяди Глеба очень всех угнетало. Он был вежлив, но холоден, говорил, что явился ликвидировать все имущество, чтобы уехать навсегда в Новый Свет.

Раздав при соответствующих грамотах свои земли, он с иронической улыбкой отклонил благодарность. Нако-

нец однажды вечером, простившись со всеми, дядя ушел на свою половину с камердинером, чтобы, отобрав нужные вещи, наутро уехать. Лошади были заказаны.

Непохожесть дяди на всех людей, которых я доселе видал, потянула меня взглянуть, что он делает на прощание один в своей комнате. Сердце мое замирало, но любопытство было сильнее страха. Я дошел до кабинета и остановился. Как я ни боялся двигаться и даже дышать, дядя, у которого был особенно острый слух, крикнул:

— Кто там? Войди.

Я окаменел и ни взад, ни вперед... Дядя вышел, сам увидал меня и нежданно с радостью воскликнул:

— Как хорошо, что это, братец, ты! Ребенок чист, его рукой правит сама судьба. Даже в лотереях, на величайший куш, берут тянуть жребий — детей.

В комнате он меня посадил себе на колени, чего прежде не делал никогда. Молча гладил по голове. Потом встал. Взял серебряный подносик с ночного стола, поставил два бокала. Позвонил. Лакей, обученный всем привычкам барина, налил нам шампанского и ушел. Дядя, пристально на меня глядя, спросил:

— Знаешь ли какой-нибудь стишок?

— Я учиться не люблю, — сказал я, — я люблю играть в городки.

— Отличная игра, — одобрил дядя, — ну вот: и мы с тобой поиграем. — Он открыл тайный ящик ключом на шейной цепочке, достал порошок, всыпал в бокал.

— Вот тебе и игра, — сказал дядя, — загадка с отгадкой. Слушай внимательно: я отойду в угол, не буду смотреть, а ты переставь бокалы под команду: раз, два, три. Если я выпью тот, что с порошком, я тотчас упаду на диван и крепко усну. Ты, ко мне не подходя, скушай вот это яблоко. — Дядя протянул мне огромный белый налив. — Только ешь не торопясь: с чувством, с толком, с расстановкой... Когда съешь — позвони, и начнется пред-став-ле-ние...

Помню, с каким невыразимым ехидством он выговорил это слово. Я испугался и стал просить:

— Ах, не пейте гадкий бокал! — Я даже обнял его и почему-то заплакал.

Неподвижное, как у мертвого, лицо дяди стало вдруг такое доброе, он погладил меня по голове и сказал:

— Но я могу выпить бокал и без гадкого порошка. Тогда ты поедешь со мной завтра в Италию. Там превесело, там апельсины, как яблоки, на деревьях. Я подыму тебя, и ты будешь их рвать сколько хочешь.

— Так выпейте сразу бокал хороший, я хочу ехать с вами в Италию.

— Представь, — сказал очень серьезно дядя, — и мне вдруг захотелось, чтобы вышло так, как хочешь ты, но такова игра; перерешать уж ничего невозможно. Если вся жизнь только случай, пусть будет так и со смертью. Ну, похозяйствуем хоть разочек сами!

Дядя хорошо размешал ложечкой бокал с порошком. Он не помутнел и был одного с другим цвета. Отойдя в угол, дядя выкрикнул:

— Раз, два, три, — и закрыл лицо руками.

Помня обещание дяди об Италии и все чего-то смутно боясь, я схитрил: полагая, что он, как и я, отлично помнит, где порошок, и кроме того, конечно, подсматривает сквозь пальцы, как это мы всегда в игре делали, вместо того чтобы бокалы менять, я каждый приподнял и поставил на то же место.

— Готово? — спросил дядя.

— Готово.

Своей быстрой, легкой походкой дядя Глеб подошел к бокалам, не глядя взял тот, с порошком. Усмехнулся и, словно что-то припомнив, сказал непонятные мне слова:

— Ну, finis — от себя и к себе же! — Он одним махом выпил его и тут же свалился на диван.

Веря дяде, как богу, я, как он приказал, стал есть яблоко, не разбирая его вкуса, горя одним нетерпением — увидеть скорее обещанное представление.

Наконец я позвонил. Прибежал лакей, кинулся к дяде, закричал не своим голосом. Комната переполнилась; призвали врача. Дядя был мертв. Сколько меня ни выспрашивали, больше того, что я знал, я им не мог рассказать.

1926

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. ПИСТОН

Эти дни после коронации и кровавой Ходынки Кузьме Лукьянову — что солдату боевое крещение. Как ни подзыкивали на рабочих мастера — во всех отделах работали много ниже нормы. Чуть без дозорного, стекались в кучки, и всё о ней, о Ходынке.

— Мертвые, стиснутые живыми, заодно перли в рядах... Две тысячи в яму стоптали, женщин, детей... Что слёз, что сирот!..

— А в газете всё дело смазали, и праздника царь не отменил, заместо панафиды кадрель...

— Нельзя было, вишь, пред Европами. Церемониал за печатями, от царя к царю. А люди им что... Тыщи нет — тыща родится.

— Добро бы за дело живот положить! А то из-за кружки с царским портретом. Из-за узелка с дерьмом на полтинник.

— Бараны были, бараны и есть.

— Тише вы, стены ушасты...

Кузьма был подростком и крутился в сварочной возле отца весь этот день. Отец Кузьмы уже много лет работал в этой мастерской, не объявленной вредной для здоровья, хотя на первом же году в ней слабело зрение и появлялся неуемный кашель. Звали рабочие отца «мироточивая глава» — за то, что чуть выпьет — слезой изойдет. А он, если не работал, — выпивал: «без водки не продохнуть мне, лёхко газом затиснуто».

И правда, Лукьянов тверезый до того клокотал и хрипел в кашле, что сама мать, не выдержав, кричала: «Налижись, дай покой!» Пьянел отец от рюмки и тихо спал.

В эти дни глухой боли, ропота, первой обиды на нового царя за небрежение, за неотмену празднеств, когда даже в «Московских ведомостях» было прописано, что на Ходынке погибло две тысячи человек, — и самые богомольные, отмеченные мастером в благонравии, были выбиты из привычного, из обсиженного. Даже им из-за твердых заводских правил, получек, штрафов, киота с лампадой, бабьей скрепы, домашнего быта — впервые встало свое, кровное, от чего уж не отмахнуться, что — надсадиться, а донести.

И разжигали друг друга рабочие. Старики, и те вслух называли такое, о чем недавно и подумать-то им — не посметь: «Когда царский поезд в Борках с рельсы сошел, одних шишек на задницы насадил, — небось чудом приказано почитать. И на молебны гоньба, и в церквах звон-поклон, а тут — замято, замолчано, метлой позаметено, кадрелью заплясано, по свежей по крови...»

— Неважная кровь — пониже классом, подешевле кваса... — выскочил Сашка Ткач, не за тканье, за сплетни ткачом прозванный, и чего-то невзначай пистончиков из кармана на рельсы просыпал да молоточком — хлоп-хлоп.

Трахнуло-пыхнуло. Засмеялись.

Обнадежил всех Ткач на предбудущие времена! Дай-кось молоточком сыграть, отвести душеньку.

Словно ребята, которым и не помыслить против самого обидчика на̀большего гнев сорвать, а в пору лупить кулаком по печи, — так большие бородачи в этой сварочной мастерской, в сизой мгле не расходящихся злых паров серной кислоты, как гномы, высекающие какой-то волшебный огонь, один за другим брали молот и хлопали по пистону. Треск, вспышка, дым, запах пороха отвечали какому-то настроению выведенных из равновесия людей.

И вдруг Василь Нефедыч, отец, такой всегда мрачный, неулыбчивый, ка-ак выхватит молот, как визгнет Сашке Ткачу:

— Сыпь их, разэтаких, кучей!

Ссыпнул Сашка коробку, а отец хлоп — тра-та-тах... Зазвездило искрами. А дыму! Паровоз трубой ахнул.

И выругались облегченно рабочие.

Рассеялся дым, а отец-то? На полу сидит, за глаз двумя руками — воет.

— Бе-еда! — вскрикнул Сашка Ткач. — Пистон Нефедычу в глаз угодил.

Тут не сразу понял Кузьма, что случилось. Сгрудились вокруг отца рабочие, тихонько вызвали всеми любимого мастера Гудакова. Пришел мастер, глянул отцу в глаз, сказал вполголоса:

— Перестань, Нефедыч, гласить, сейчас сведут тебя в амбулаторию, там упрись ты, показывай: на работе мне в глаз осколок попал. Уж мы, брат, не выдадим. То-то же: *на работе*.

И, повысив голос, окидывая желтыми, как у сокола, смелыми глазами рабочих, несколько торжественно Гудаков оповестил:

— Иван Нефедыч Лукьянов в сварочной мастерской утратил зрение правого глаза на работе, в чем свидетели все здесь присутствующие и я, мастер Гудаков, случайно в минуту катастрофы проходивший.

— Все свидетели, — сказали рабочие, — все!

Кузьма хотел было спросить, почему нельзя было сказать, что отцу попал в глаз пистон, хотя все это знают, но как-то раздумал спросить и побежал домой.

Наутро, когда мать пришла от отца из больницы, Кузьма понял, чего для отца хотел мастер, из-за чего на неправду пошли рабочие.

Мать, запухшая от слез, красная, словно пьяная, как вошла, укутанная в серый платок, так и осталась колодой на лавке.

— Обошлось дело-то? — подскочила юркая тетка Натаха.

Мать пошевелила губами и, как галушка у нее в горле застряла, сказала тупо, полусонная:

— Не обошлось. Двое их было: наш молчал, а старшой, как вылущил, крикнул: пистон! Пистоном и прописали. Ко мне вышел старшой, в фартуке, рукава закачены, чисто мясник; попенял: «Твой муж с пьяных-то глаз доигрался. Глаз вынем, а в пенсионе откажут. Завод озорству не оплатчик. Вот кабы на работе...»

— Живодеры, — сказала кума, — сй, живодеры. А что, Митревна, в случае рабочие покажут, что Нефедычу от рельс это вперло, уж ты четверти им не жалей.

— И без четверти сами вызвались, не товарищи разве. Да и показать им не грех. Муж пятнадцать годков оттрубил. Мастер Гудаков свидетелем было, а начальники на него: «За облыжное тебя, знаешь, куда? Не рельсу, пистон вынули...»

Дрогнул Кузьма, понял все. Просидел, значит, зря отец в сварочной, за пятнадцать-то лет без пенсии его, вчистую.

Впивался глазами Кузьма в мать, оглядывал. Навсегда вобрал в память свою лицо ее иконного письма, когда-то красивое, прежде срока в работе одряхшее. И сутулину, и руки рабочие, и глаза, больше чем у людей, а все будто незрячие, без вопроса-ответа, выпитые вовсе глаза.

Вышел Кузьма из дома, и прямо к доктору, на крыльце его встретил, торопился куда-то. Этот доктор, любимый рабочими, в золотых очках, большого роста — Кузьма перед ним что воробыш, в мамкиной кофте. Ежится, рукава болтаются до земли. Подхватил их гармонией, собрал на локте, высунул руку, тонкокостную, слабенькую, да как рванет с себя шапку на землю, да как крикнет доктору слова мамкины, что всколыхнули в нем душу, как руда темная в мартеновой печи пламя колышет:

— Оступился раз тятька, так вы его затоптать? Затоптать тятьку?!

Тоненько выкрикнул и осек. Хоть убей его доктор, горит глазами.

Только доктор... нет... доктор внимательно пригнулся и на Кузьму чрез очки. Глаза у него в стеклах голубые, как река, а голос ласковый, словно бы мамкин в добрый час.

— Лукьянова сын? Знаю тебя. Вот что, малец, приходи ко мне вечером, в эту же дверь позвони. Как горю помочь, побеседуем. До звонка достанешь ли?

— Не достану — кулаком постучу. Приду.

Вечером сидел Кузьма против доктора в кабинете, где из угла без глаз, одними пустыми глазницами пялился скелет, а из-за шкапных стекол щипцы, ножи, пильники

хотели ноги отрезать. Стараясь не разбегаться глазами на эти интересные и страшные вещи, Кузьма слушал пристально доктора.

— Изменить показание я не могу, — не я, старший врач отцу из глаза пистон вынул и к делу его приобщил.

Долго, с терпеливою лаской объяснял доктор Кузьме жестокие условности жизни, рассказал и про себя, как на медные деньги учился, как голодал, а вот достиг же, наконец, своего и сам помочь людям в силах.

Узнал Кузьма, что доктор из своих, рабочих, самостоятельно до верхушки дошел, стал его слушать с доверием. Чай вместе попили, и за чаем сказал доктор:

— Еще скажу тебе вот что: так неудачно отец окривел, что, гляди, на здоровый глаз боль перейдет, и здоровым ему не смотреть. Вот и предлагаю: переходи, Кузьма, жить ко мне. Образование тебе дам, мать поддержать сможешь. Ну, по рукам, что ли?

Пожал доктор худущие, словно плети, руки Кузьмы.

— Жду тебя!

Не спеша, без улыбки, как хозяин-мужик, ответил Кузьма:

— Это дело я, доктор, обмозгую.

— Мозгуй, — сказал доктор, — да не очень-то, поступать в школу пора.

Прав был доктор: от больного глаза разболелся отец, старые недуги всплыли. И ослепнуть совсем не успел — умер. В скором времени и мать за ним. Перешел Кузьма жить к доктору, и так тот его полюбил, что, помещая в гимназию, свою фамилию за ним закрепил — Вереда.

— Пусть наше имя в твоем корню не глохнет! Единственный брат у меня в Киеве, да и тот холостяк, тоже приемыша взял себе — девочку Пашеньку. Выйдет судьба, так поженитесь.

Скоро вырос Кузьма, поширел в плечах. «И не узнать прежнего хлюпика!» — кинет при встрече дядя Потап, последний родной по крови, собутыльник и брат покойного отца.

Часто брал доктор Кузьму в операционную, санитарам на помощь. В белом фартуке, начисто вымытый, будто клещами затискивал Кузьма иному буйному под наркозом голову в своих сильных руках. И много чего передумывал тут, наблюдая, как вносили неизбежно

обреченных на смерть, а выносили оживших, поправленных доктором.

Велика власть человека над телом другого — и от мук освободит, и жизни прибавит, и главное: дело это уже несомненное, нужное без просчета. А чистой наукой заняться, где каждым открытием спасаются миллионы? Это ль не цель? И без насилий, без крови...

А тут еще доктор: не молодой, давно потерявший надежду в «варварской сатрапии» что-либо изменить, торопился прикрепить Кузьму к своему любимому делу, из рук в руки передать ему и огромный свой опыт и гордость тайной мечты о всех одаряющем знании.

Но только помыслит Кузьма себя открывающим очередную какую-нибудь бациллу — благодеяние всему человечеству, как нарочно подвернется в переулочке пьяный дядя Потап и, сорвав в грязь картуз, заорет: «Наше вам с кисточкой, бывший племяш Лукьянов-Вереда! Вам, значит, овес, а нам, значит, высевки?»

Как клин молодую березку, расщепили мысли всю душу Кузьме. Бывало, в гимназию идти ему из поселка две версты по веселой дороге, все под гору, по берегу синей реки. Как в сказке про царя Салтана, издалека древние колокольни что кедровые шишки торчат, под ними — летом в изумрудной зелени, зимой в сверкании снежном — домишки с дворами, чистые, с благообразием разводных дедовских ставней. Змеятся улички круто к реке, к лугам заливным, а по реке плавной утицей туда-оттуда, где белеет на холмах монастырь, проползает паром.

Но Кузьме, хоть еще отроку, нет ни радости, ни покоя: да, как клин молодую березку, разбили мысли. Не с влечением ума, не с тягой к науке шла его совесть, и болезненно было двоение.

Кричала совесть про мать, про отца, про заводскую голую жизнь и хлестала волю беспокойством особым, не медлящим с помощью этим обобранным, этим распьяным. Раньше, чем углубиться в науку, надо б другим хотя грамоту. Иль не зря кричит родной по крови дядя Потап: «Тебе, значит, овес, а нам, значит, высевки?» И вот высшая гордость у гимназиста Кузьмы: не себе взять, а отдать. Как высокий Будда, не захотеть полной мудрости для себя, прежде чем свою неполную отдашь людям.

С головой ушел Кузьма в изучение систем, как верней перекроить условия подлой жизни. Нелегальных в городе водилось довольно, и у доктора были с ними старые связи.

Вот один из сгинувших вскоре в Сибири навсегда потряс Кузьму своей судьбой, еще углубив, как незаживающую рану, его природное расщепление. Восторгался и смущен был Кузьма этим деятелем, подмечая, как горько тяготило его, пламенного поэта, хотя бы и добровольное ограничение чувства и умственной жизни. Пристально следил, как человек ради своего дела общественного служения все суровей приносил себя в жертву, и, наконец, надев шоры, притупив цветистость глаза, сурово отмел всю многообразную сложность жизни и создал себе и другим, во имя высшей справедливости, уклад нового, мрачного аскетизма.

А дома сам доктор разбивал способность к простому и цельному восприятию. Порой в час досуга, когда амбулаторный прием был поменьше, подсаживался к названому сыну на диван и говорил тихим голосом, помаргивая веками за стеклами очков, как за крепостью:

— Э-эх, дружище, не смогут люди устроиться. Всегда будут глупые, всегда умные, и злые, и добрые — ну, пропорция-то одна. Да и черт знает людей, что им надо? Мой родной отец из крепостных, а всю жизнь до смерти клял тех, что ему же волю дали. На что телка дура, а и та сама к водопою бежит. Людей же два поколения изнасиловать мало, чтобы граждан создать. Да и граждан ли?

И еще говорил доктор, уже не слушая все слабевших возражений Кузьмы, что единица силы у каждого непременно *своя* и, как овощ, дать может плод лишь на строго соответственном грунте. Все добро, все на потребу миру, но сапожник знай свои колодки, художник — кисти, деятель — дело.

Словом, доктор Вереда говорил вещи обычные, ума провинциального, немудрящего, но так как он Кузьму полюбил крепко, как сына, то вкладывал в эти слова много той угадки и чувства, которые волнуют неотвратимо и гонят мысль на нелживое познание себя.

Затравленный самим собой, как в запой пьяница, заскакивал Кузьма в книги на долгие дни. И смел ли признаться? Были книги ему — живей жизни.

Но вот опять либо дядя Потап, пьяненький в луже, либо кто из своих «сварочных» попадался в амбулатории с заведомо растравленным безымянным перстом, чтобы день-два «законно» вздохнуть от работы — нужду справить дома али так, протрезветь... и огромной тоской хватало сердце Кузьмы. С покаянной нежностью шел он к своим рабочим принять их бессменную тяготу. Теперь запускал книги, бросал гимназию. Как на милую родину, со всеми вместе ходил лишь на завод.

И вдруг радостно: здесь, как в детстве, все то же. Войдешь во двор, и сдается, будто заброшенное это место, или идет подготовка к огромной постройке. Горы железа, чугунного хлама, грохот, пыль от размолотой глины, и огромный, как слон, железнодорожный кран на рельсах. Пять тонн туда-сюда ворочает хобот, вытягивает тяжести.

Но внутренне завод уж не тот: русско-японская война вспахала целину. То и дело через станцию рядом шли эшелоны с увечными, от них узнавалась вся истина: о грабежах интендантов, о бездарности начальников, о предательстве сверху. Рабочие бросали работу, свои дела, водку, чтоб послушать «студента», разъяснявшего корень зла. Всю зиму теснились в каморках, убегали летом в леса, у солдат обучались строевым занятиям. И пока царь формировал против японцев вторую армию, третью армию — армия тайная возникала против царя.

Партийных было мало, но вся молодежь выполняла поручения: закупали оружие, разбрасывали прокламации, добывали средства в стачечный фонд. Налаживалась связь по линии через машинистов, кондукторов, телеграф. И все, как сеятель в пахоту, разбрасывали воззвания по пути, а наезжавшие молодые агитаторы восторженно заключали призыв к смелому бою. Победить — счастье, но и погибнуть в борьбе за победу своего идеала — тоже великое счастье!

Каким-то символом, тайной схемой организованной борьбы — предстояла сейчас Кузьме электрическая станция. Отпрепарированный чудовищный организм, где денно и нощно бьется сердце завода — большая турбина,

где свое кровообращение — распределение пара в системе причудливо изогнутых труб. Электрическая энергия вся целится в вознесенный вверху во всю ширину здания мраморный щит, и бессчетны за этим щитом дрожат пучки проволок — нервы. Здесь, в электрической, рабочий всегда трезв и поджар, свинчен сам как машина. У него глаз остер и зорок, движение в ритме. Здесь человек не унижен, здесь человек победил. Совсем иное в сварочной...

Через электрическую станцию идет Кузьма, как паломник к святому месту, где им на всю жизнь дан тайный зарок, — в ту жестокую «сварочную», что съела отца.

В сварочной рабочий день-деньской сидит на земле, варит негодные части, ведет машинам ремонт. Мастер в темных очках: через зеленые и красные стекла он только и выдержит тот ослепительный свет, что плавит металл. Но странно: войдешь сюда, и сразу на миг чувство, что ты на высокой горе, — так необычен воздух, пьянящий озон. Но это только сначала. Через минуту по затрудненности дыхания знаешь: нет, не озон здешний воздух, он на легкие падает и глазам ядовит. Как ни защищай их стеклом — пропадают глаза. А сварочная мастерская еще не считается вредной. Вредная рядом — дверь в дверь. Здесь огромные аккумуляторы-аквариумы с купоросной, голубого небесного цвета водой. Раздражена вода, пузырит и фыркает, как верблюд, и рождает премерзостный газ.

— Вредный цех, смертный цех, и быка здесь ухлопает, — говорит дядя Потап. — То-то: кому овес, кому высевки!

Вот этот дядя Потап, пьянчужка беспросветный, ошметок — не человек, злосчастным концом своим дал решающий толчок Кузьме Лукьянову в выборе его мудреной и трудной судьбы. Перед входом в контору деревянные воротца, какие бывают на околице. На воротах щит белой жести и большие красные буквы: «Бе-ре-гись».

Как постоишь в этом месте, увидишь: разинут ворота вдруг рот, и, оголтело пыхтя, побежит паровоз, тут и подумаешь: не убережет здесь и надпись! Здесь самой судьбой паровозу — давить. По-домашнему, играючи, входит он сразу в частную жизнь. Никакого ему профессионального здесь окружения, ни гудков, ни свистков. Направо

зеленая горка, летом в цветущих кустах, зимою в снегу, с другой — аллея, заборы и тумбы. У каждой тумбы торговки подсолнухом и стручками. Снуют люди, как черные раки. Мальчишка огородным чучелом, распяляя руки, балансирует на сверкающем рельсе, пока не смахнет его в распоследнюю секунду горячим дыханием паровоз.

В день окончания гимназии и решения — что же дальше? — с похвальным листом в раззолоченном орнаменте шел Кузьма в обеденный час к дяде. Для этой награды он, дядя Потап, давно и багет приготовил. Хотел под стеклом, в обрамлении, как образ, похвальный гимназический лист на стену повесить. И подпись заказана писарю:

«Кузьма Вереда, он же Лукьянов — разрешитель сварочных уз».

И правда, до Кузьмы, по мужской линии, все Лукьяновы спивались в сварочниках, а грамоте знали: имя-фамилию вывести. И вдруг, неровен час, — Кузьма в доктора вылезет!

Подходит Кузьма к переходу — там толпа, крики, плач. Увидали его, попритихли... и дорогу ему. На две стороны разошлись, сняли шапки и обнаружили на полотне только что задавленное тело.

— Дядя Потап! — И стал на колени Кузьма послушать, забьется ли сердце.

— Ошметки как есть, ни головушки, ни лица, — всхлипнула ближняя баба.

Кузьма встал, повернулся, пошел домой. А назавтра своему доктору:

— Я в университет не иду.

Нищенский этот ошметок, дядя Потап, а за ним мать, отец, весь рабочий поселок, весь бессрочный завод навсегда взгромоздились на путь жизни его и пресекли. Что же он их... как паровоз, по живому?

«Отныне ихнее дело — мое дело», — твердит Кузьма, а ему многоопытный доктор: «Кто успел мысль полюбить, а за ней не идет, разобьет мысль тому волю».

Об университете упросил доктор одно: окончательно решить после поездки. С спешным поручением посылал

он приемного сына на хутор под Киевом, к родне своему Фоме Петровичу Вереде.

Спешные поручения были «сплошной фикцией», так признавался доктор в предваряющем гостя письме к Вереде. Главная цель поездки — отвлечение от опасного умонастроения, которое, по мнению доктора, было не чем иным, как «самогипнозом на почве гипертрофированного социального чувства».

Смерть дяди Потапа была домашним, внутренним обстоятельством, толкнувшим кровно Кузьму на его решение не идти в науку, но были обстоятельства и внешние. Центральное бюро союза железнодорожных служащих распространяло воззвания, что «пора перейти к действию...», а только что бывший съезд постановил немедленной задачей союза — *подготовку* к всеобщей забастовке. Заводский поселок, где жил Кузьма, прослоился нелегальными кружками, Кузьма в них вовлекся и уже решил в работу уйти с головой, как доктор стал умолять его съездить в Киев. Кроме доктора, на этой немедленной поездке настаивал и товарищ Шумко, вольноопределяющийся Ростовского полка. Он дал Кузьме важное письмо о настроении в Спасских казармах. Письмо надо было срочно передать саперному офицеру Дмитрию Десницкому. Еще дал Шумко письмо к Абраму Руту, тоже вольноопределяющемуся и подручному Десницкого, где аттестовал Кузьму как лицо, достойное всякого доверия.

Когда подъезжал Кузьма к Киеву, то в газете еще печатались объявления о вещевых и продовольственных пунктах временного комитета по оказанию первой помощи пострадавшим от погрома. Шел перечень дел об утайке награбленного. В театре же шли «Дети солнца», и в четвертом акте публика истерически требовала занавеса, не вынося сцены избиения ученого, напоминавшей недавние события на улицах. И с подъемом писал провинциальный рецензент: «Герои пьесы избиты за то, что они, как и мы, — мандарины духа».

Няня Китовна, темная, векового загара старуха, первая встретила Кузьму на хуторе Фомы Вереды, брата доктора, и спросила:

— А есть ли на тебе, батюшка, крест? Коли нет, изобьют тебя в нашем городе, голубчик.

II. САПЕРЫ

Чтобы попасть в саперные лагери, путь держать надо к бойне, за город. Едва перейдешь холмы, весь город с подворьями, лаврами и звонницами ухнет вдруг в пропасть — и нет тебе города и нет пути. Холмы да овраги.

— Человеку приезжему или штатскому в наших местах — хоть иди, хоть сиди, одна примусия, — говорит дядько́ Вереда, и правду говорит.

А вот темная фигура в солдатской шинели найдет и не глядя: все лето саперы тут лагерем; не похуже Британовых псов знают каждую кочку.

От «Фонарика» дядько́ Вереды по краю большого оврага как сфинксы в пустыне те псы; большие и малые, подвернув передние лапы, лежат, не моргнут. И черные, чисто черти, на только что выпавшем снегу и желто-мохнатые львы, ублюдки сенбернаров.

Здесь их Запорожье, собачья Сечь. И порядки сходствуют: заправляет всем сонмом помесь дога с дворнягой, огромный зверище — Британ. Он водит свору на бойню к отбросам, правит лаем и воем и — досмотрели солдаты — не дает на холмах водить «свадьбы». На собачьи дни распускает он свору в предместья, а сам, муругий, в белом жилете, сечет хвостом по ветру прямехонько к Вереде. Женой у него Клюква, пятнистая, очень умная «вередовая сука».

Сидит Клюква на цепи за воротами хутора так себе, для фасона. Ошейник давно разносился, и когда захочет, придержав его обеими лапами, она преотменно вынет вон голову и, лишь наигравшись с Британом, идет обратно в теплую будку. Оттуда высунет блудливую морду, сконфуженно сморщит нос и ждет, когда сам дядько́ Вереда, пожурив ее за гульбу, вновь насунет на шею ошейник.

Британовы псы тем известны, что дерут за штаны одних «вольных», а к солдатам принюхались, им солдаты свои.

Вот и сейчас, хоть темно, псы провожают без лая, шинель за шинелью, внимательно и умно, дивясь одному: почему солдаты идут не в свой лагерь, а на «Саперные дачи»?

Вблизи лагеря с давних пор командиры себе накупили нарезов, понастроили дач. Одноэтажных глазастых

гробов с резьбой и балконами. Это для семейств. На зиму при дачах оставались одни сторожа из своих же окончивших службу солдат.

На даче капитана Рубанова, куда направлялись фигуры в шинелях, сторожем был известный кашевар Прыткин, женившийся летом на Гапке-коровнице. Оба жили в Рубановой кухне.

Совершенно стемнело. Однако, боясь «глаза», солдаты вошли к Прыткину не скопом, а врассыпную. Кто в калитку, кто через забор, кто с необгороженной стороны, как лешак, возник из оврага. Хоть едва ли кто их здесь мог уследить. Дачи отделены одна от другой густым вишняком, высоким плетнем... да и в такой поздний час из-за военных псов не очень-то погуляешь.

В чистой избе Прыткина топилась печь. Перед спасом, из-за фольговых цветов, пестрелись монастырской работы бисерные пасхальные яйца. В зеленой лампаде мигал изумруд. Цвели на подоконниках бальзамины. По широким чистым лавкам, застланным плахтами, пробегал сытый кот. Над портретом царя каждый час, глуповато выдалбливая из гнезда в циферблате деревянной головой, куковала кукушка. И было все ладно, было добротно, все было на тысячу лет...

От кухни, где жили Прыткины, через сенцы вел черный ход во двор. Другой ход из кухни был через закрытую ковром дверь в анфиладу пустых промороженных комнат летней капитановой «дачи».

По украинской справе, окна забиты ставнями с железным просовом сквозь стену, так что открыть их можно лишь изнутри. Парадные же двери забиты крест-накрест досками. Зимой броненосцем без подступа стоит дача Рубанова, и в ней один есть единственный ход через самое пекло, то-бишь через Гапкину кухню. А если Гапка не чистая ведьма, то уж такая вредная баба, что забьет всякую ведьму.

И вот чтобы у Гапки на кухне да была конспирация?!

— Ей-богу, у начальства с переляку от тому подобных событий совершенная в головном чердаке катавасия, — ворчал урядник Коцюра, получив «секретное». — Вместо бани и чайного расположения переть в темноту, в пустыри... Еще б им облаву затеять на мерзлую дачу, псов насмешить!

И Коцюра для первого раза решил по кумовству, по-соседски, зайти просто в Гапкину кухню выпить чайку. А уж в баню, чтобы не продуло, что поделаешь, не идти.

А в Гапкиной кухне, теснясь на скамейках, сидели солдаты и с ними вольноопределяющийся Рут. Сидели подтянуто, чинно, как пред именинным пирогом.

Солдаты были от разных батальонов. Гуцалый, ширококостный, татарского корня, с большим мохнатым пятном на щеке, «меченый мышиною меткой», — от телеграфной роты, рядовой малорослый Стенго — от понтонеров. Были еще два унтера и рядовой Порося. Он заливался под белой кожей заревом, робел, стоя рядом с приведенным двоюродным братом, заросшим, черным, нимало на него не похожим, беглым матросом Черноморского флота, связанным с командой «Потемкина». Матрос этот — Полищук — укрывался здесь в городе с паспортом какого-то сухопутного гражданина, волосы отрастил, и в нем обличала профессию одна лишь манера широко и устойчиво ставить ноги, как бы противоборствуя ветру.

— Они пока доклад сделать хотят, братцы, — наконец вымолвил белоголовый солдат, указывая на матроса.

Полищук не сел со всеми за стол, а остался стоять среди комнаты, чуть покачиваясь на широкостопных ногах.

— Мы рады выслушать вас, товарищи, но у нас мало времени, — сказал вольноопределяющийся Абрам Рут, к которому вопросительно обратились солдаты.

— Я с одними прямыми словами, товарищи... я примерно как прокламацию.

И, раскачнувшись с пяток на носки, матрос сказал:

— Пока не известна судьба вождя масс и дорогого нам товарища Матюшенки, не знаем, что дальнейшее предпринять, как именно исполнять его товарищеский завет. Вот благодаря небрежению сухопутных частей все восстание на броненосце «Потемкин-Таврический» провалилось, а я, сильно контуженный неприятельской пулею, ни к чему временно не годен, как именно, переходя от одной части к другой, воспламенять товарищей на вооруженное восстание, чтобы они об этом предмете медната-зировали...

Полищук споткнулся на слове, преодолел и, как бы извиняясь, добавил:

— Таково выражение товарища нашего Матюшенки.

— Расскажите им, братец, — сказал двоюродный брат, приведший Полищука, — расскажите по порядку все, что знаете, как не попавшее в газеты, и что видали именно своими глазами.

— Сам я видел, во-первых, вполне бездыханный труп матроса Григория Вакулинчука под почетной охраной экипажа, и слезы над ним всего трудящегося класса, и вопли из сотни грудей. Что же до старшего минно-машинного квартирмейстера первой статьи броненосца «Князь Потемкин-Таврический» — Матюшенки, то, во-первых, вот его фотографическая карточка. Посмотрите, товарищи, на героя!

Солдаты сгрудились над фотографией, а Гапка, оставив печь, протиснулась ближе всех и тотчас горько всплакнула, едва глянула в это лицо, молодое, с коротким носом, с глазами, дерзко распахнутыми. И трогали всех бескозырка с ленточкой и круглые щеки, придававшие облику детскость.

Полищук, распропагандированный самим Матюшенкой, был, как щепка бурным течением, целиком втянут не только в его дело — в его личную биографию. Напряженно и долго он ждал возвращения из Румынии броненосца, уверенный, что едва тот появится на внешнем рейде, сейчас встанет эскадра, встанут войска.

И вдруг как обухом известие: «Потемкин» сдан Румынии, а экипаж распылился. Полищук, по мнению близких, «сказився». Охваченный назойливой идеей, что если в гибели «Потемкина» виной сухопутные войска, то он должен эти войска поднять на революцию, он захотел двинуться как был, чуть ли не меняя одежды. Друзья ему справили паспорт, ловко вывезли и поселили здесь в городе с земляками, под надзором брата и партии, у которой связь с войсками давно была налажена. Уже летом собирались солдаты вокруг агитаторов и в Голосеевском лесу и в оврагах.

Полищук взволновался, заметно побледнел, взметнул раза два веки и, блестя глазами, упорными, немигающими, сказал:

— Сетовал на сухопутные части наш товарищ Матюшенко и приказал всем передать, в случае не удержит экипаж броненосца...

— Черта с два, удержали. Сорвалось дело... — проговорил мрачно Гуцалый, — капут броненосцу.

— А кого винить? — вспыхнул Полищук и, засунув руки в карманы, расставя ноги, яростно, будто вот кинется, перебирал по очереди горячечными, немигающими глазами сидящих за столом.

В ответ Полищуку горели черные глаза Рута. Эти глаза, на худом, очень бледном лице, били по нервам, как внезапный крик, так что говорил Руту обиженный ротный: «Прошу опустить эти ваши глаза».

Сейчас Рут был в восторге: он уговорился с Десницким собрать солдат пораньше, чтобы до прихода его «создать атмосферу» рассказами о «Потемкине», а раздражение солдат своими домашними делами попытаться ввести в общее русло большого гнева «политических требований». И вдруг — убедительней всякой агитации этот неожиданный, живой Полищук.

От лампы, стоявшей на столе, на побеленных стенах тени сидящих легко набегали одна на другую, и, прядая в потолок головой, перегибался над всеми, как сломанный столб, огромный силуэт Полищука. Он говорил, от волнения придыхая не там, где по смыслу была остановка.

— Вот именно слова дорогого товарища и вождя... масс Матюшенки: «Винить в этом нас, скажи всем, Полищук, винить именно нас — окончательно несправедливо. А не то и мы сможем сами обратиться к тебе, каждому другу народа и борцу за свободу, с прегорьким товарищеским упреком. И скажем мы именно: а почему ты, товарищ, сладко спал, когда мы день и ночь бороздили волны бурного Черного моря? Было разве не известно тебе, что соленой воды именно пить нельзя, а равно превращать оную в недостающий броненосцу уголь? А если известно, то отчего вы, товарищи, сухопутное войско, не доставили броненосцу всего именно этого?»

Из тени Полищука то и дело выбрасывалась черная рука и с укоризной потрясала над всеми сейчас недвиж-

ными тенями. А вторя ей, то взлетывал, то придыхал голос:

— И еще восклицал нам вполне ответственный товарищ Матюшенко, когда в последний раз видались мы с ним у трупа Григория Вакулинчука: «Как, ужели в Черном море придется похоронить нам наш и всего русского народа боевой красный флаг?»

Полищук вдруг побледнел и, сильно качнувшись, застыл на носках, будто ему надо было стать выше ростом, чтобы выговорить то, что следовало:

— Это черное дело, дорогие товарищи, совершилось. И почему именно? Благодаря невмешательству и совершенной беспомочи со стороны сухопутного войска. Спешите ж, спешите восстать против вампиров правительства и братски поддержать отчаянного на чужой стороне, старшего минно-машинного квартирмейстера Матюшенку и с ним всех верных делу свободы!

Полищук осел, закрыл глаза своими тяжелыми припухшими веками и умолк.

— Они пока кончили, — сказал двоюродный брат его Порося и почтительно добавил: — им сразу нельзя много говорить, бо зайдуться и глаза заведуть... нехай себе отсидятся, тогда еще трохи можно их допросить.

Гуцалый ловко, как кавалер даму, подхватил Полищука под руки и отвел на скамью.

Другой рядовой, Собченко, за которым стояла целая рота, глядя на вольноопределяющегося еще с тем ожиданием приказа, с каким он в строю «ел» начальство глазами, сказал:

— Ну как же, товарищ Абрам Рут, теперь будем? Ребята решать просят, каждая жилка у их напружена, нипочем ждать нельзя.

— Без Дмитрия Федорыча митинг бы зря начинать... — оборвал Гуцалый, — для чего ж он созывал?

— Да они, может, не будут? — спросил глазастый рядовой, которого привели в первый раз.

— Кто не будет? Это Дми-трий-то Федорович?

И в том, как вымолвил имя фельдфебель, как гневно вскинулись все на спросившего, вольноопределяющийся Рут привычно-книжно отметил про себя ту самую «беззаветно-солдатскую веру», что за Наполеоном бросала войска из Сахары в Москву.

В дверь послышался условный тройной стук с задержками, и Прыткин впустил подпоручика Дмитрия Десницкого.

Солдаты не вытянули руки по швам при виде погон, а поздоровались как с вольным, оглядели любовно вошедшего и вперебивку спросили:

— Ну как, Дмитрий Федорович, ужель без хвоста?

— Без хвоста сейчас одни зайцы ходят, — пробурчал Гуцалый. — Видимо, закружили вы его, Дмитрий Федорович?

— Закружил. И сейчас у чужих ворот мерзнет.

Десницкий улыбнулся, и от улыбки румяное лицо его охватилось той девичьей юностью, какая бывает у очень чистых людей.

— Ваше благородие, Дмитрий Федорович, — сказал Прыткин, — слухи дошли, что мы в подозрении. Дозвольте, я меру приму?

— Гапка, — подозвал он жену, — я пойду дозорным, а ты, чуть в дверь долбану, выпускай его благородие со всей митингой. Фонарь запали. С фонарем вали в дверь, да покруче зайдись!

— Эге-ж, — ухмыльнулась Гапка, — як жинки в базар.

— Вы, ваше благородие, со всей с митингой сигайте чуть что в овраги, сведем вас на жуликов. А парадная дверь, как была, и сейчас без последствий.

«Без последствий» означало у Прыткина, что доски на парадной хоть и здоровые, хоть и крест-накрест, а набиты лишь на самую дверь. Щелкнуть изнутри задвижку, толкнуть дверь, а с ней вместе без всякого шума отъедут и доски.

Прыткин отдернул ковер, прикрывавший ход из кухни в нежилые комнаты, и повернул ключ в замке.

— Отступление открыто! — и разъехался, засветил зубами, щекастый, курносый, одноглазый, похожий на добрый широкомордый молочник.

Душой и телом сейчас предался Прыткин «освободительному движению», как еще недавно был предан царю. Прыткин потерял глаз в самом начале японской войны и, вернувшись инвалидом, как сам выражался, «хоть и окривел, да прочумел». Он один из первых солдат заговорил о поддержке «потемкинцев». А у жены его Гапки

любимый брат потонул на «Петропавловске», и она готова была всем кацапским властям за него «перервать глотку».

Рядовой Собченко, нервно подергивая щекой, сказал Десницкому то, что пред его приходом говорил Руту:

— Как быть сейчас, Дмитрий Федорыч? Солдатики решать просят, нипочем дольше ждать нам нельзя.

И подхватили:

— Чего ждать? Кирпичики повынуты, а стена, знай, держись?

— «Щенки, — говорят вчерась в телеграфной, — щенки слепые мы были, Порт-Артур нам глаза продрал, уж теперь шалишь, не защуримся»...

— Прикажите, Дмитрий Федорыч, выступать завтра же? — мохнатый бровями и усами, наступал Гуцалый. — Запал зажжен, фугасу обязательно взорваться. Сил никаких нет. Из-за выеденного яйца солдат сейчас пропасть может. Вчера, к примеру, я одной своей силой Гукина удержал. Капитан Таганов из собранья, конечно, пьяные и через слово Гукина матюгают, а тот, конечно, затрясся, и — гляжу — в голенище полез за ножом. Я его за руку — тем и спас, да что в казармах темно, а капитан Таганов, как на взводе, конечно, хоть глядят, а не видят... Ушли они, я и говорю Гукину: «Что это ты, сукин сын, как самостоятельно себя ведешь? Довольно, говорю, нам одного Иосифа Мочидлоберова, как доблестную, но несчастную жертву. Нам, говорю, не виселицы размножать, а побеждать сейчас полное время».

И еще раз сказал Гуцалый понравившееся слово:

— Верное дело — фитиль зажгли, фугас взорвется.

Солдаты заговорили вперебивку, уже не соблюдая и последней дисциплины, и все об одном — выступать. Черные тени на белой стене взметывались вместе с говорившим, если он вставал во весь рост, или трепетали, не выделяясь из общей массы, выкидывая на стену то сжатую в кулак руку, то указующий для пояснения перст.

Дмитрий Десницкий слушал всех молча. Но глаза его, ясные и пустые, обличали огромное внутреннее напряжение. Глаза вбирали в себя каждого, кто говорил, и отлагали слова его в какую-то глубину. Глаза переводили внимание на другого, на третьего, не возражая, не выдвигая решения.

Так подъемные краны терпеливо и твердо принимают свой груз пред отправкой в далекие страны и спускают его в темный люк.

Последним из солдат говорил доселе безмолвный унтер-офицер. У него было важное сообщение. Несколько раз он приподымался начать, но перебивали в горячке другие. Он опять молча садился, их слушал и ждал с значительным видом, словно первый стрелок, который может и помедлить со своей, решающей дело, пулей. Сейчас он встал окончательно, вытянулся и торжественно, как на инспекторском смотру, отрапортовал:

— Ваше благородие, весь наш батальон примыкает!

Сообщение было действительно важное. Этот батальон, авторитетный для солдат, был до сих пор враждебен делу восстания. Десницкий побледнел, глаза его ярко блеснули, он тоже встал.

— Прошу слова! — выпадая вперед, вне себя вскричал вольноопределяющийся Рут, не спускавший все время глаз с офицера. Он видел, как вдруг изменился Десницкий, он испугался его решающего мнения и считал своим долгом его во-время перерезать. Рут заговорил страстно, умело, отрубая по столу правой рукой совсем не в такт своей речи, так что, смотря на руку, трудно было понимать слова.

— Товарищи, от имени партии объявляю: восстание сейчас нежелательно. Оно нецелесообразно и будет так же несчастно, как свеаборгское и севастопольское. Мы должны действовать по плану. Объединить к выступлению заводы и войска. Вы слышали горькие упреки товарища Матюшенки? Ошибки должны служить примером, а не повторением. Город должен встать *весь*, иначе одна часть войск будет расстреливать другую, иначе...

— Тебе хорошо говорить, товарищ Рут, — прервал Гуцалый, — ты в книжку зароешься — отведешь душу. А солдат, что мужик, на одних с ним китах сидел; сейчас выдернуты киты — на чем ему? Голой задницей в воздухе, извините пожалуйста, долго не провисишь. Душа у вас, товарищ Рут, и тому подобных горит за потемкинцев, а вы, между прочим, молчок, а солдатику до нутра как дошло, так и гаркнул: «Потемкинцам ура!» Один такой чудом вчера уцелел...

— Но у партии предначертан план...

— А видал, как леса горят? Понесет ветром огонь — и озером не зальешь. Было́ б вам, партии, раньше срока людей не трогать. А теперь раззадорили, да опять на постные щи? Да я хоть и телеграфной роты и понимать все могу, а коль скоро Таганов меня сейчас матюгнет, я ему в морду, хотя б под расстрел!

— Товарищи, — сказал Дмитрий Десницкий и поднял руку. И все затихли, так что слыхать стало, как булькает в чайнике кипяток, как Гапка, приткнувшись к печке, тяжко дышит, карими очами воззрясь в говорящих.

— Товарищи...

Рраз, два, раз... и еще и еще забил в двери Прыткин тревогу.

— О щоб тоби к бису! — заорала Гапка и, уже не передыхая, громыхая посудою, просыпала отборную базарную брань. Одновременно она отдернула с дверей ковер, бесшумно открыла дверь в пустые комнаты и впустила туда всю компанию. Вмиг исчезли за дверью. Гапка повернула ключ, утопила его в своем широченном кармане, опять спустила над дверью узорный ковер. Еще припустила руготни, запалила фонарь и, полусонная, дурковатая, пошла в сени отворять дверь.

Ввалился урядник с моржовыми в снегу усами, за ним Прыткин.

— Канпанию выпускала? Окурки в печи жгла? — крикнул урядник, щуря неглупые лениво-заплывшие глаза от внезапного света. Окинул опытным глазом комнату, пошарил на полу.

— Тебе очи продрать, так другому жениться! — кинулся на Гапку Прыткин. — Его благородие заморозила.

— Як почула, так и встала, — и Гапка глупейше осклабилась, засияла зубами. — Выбачайте, ваше благородие, к корове сбегаю да варенец вам внесу. Добрый варенец.

— Ладно, не заговаривай зубы, — смягчился урядник, не найдя следов «злого сообщества», и тяжко осел на скамью. — Чертова служба. Вот лови их, коли нет.

— Да кого ж тут ловить, ваше благородие? — изумился щекастый, под стать жене вдруг глуповатый Прыт-

кин. — Летом воры пошаливали, точно, да и то сознались, что воры свои. Посторонних каких псы не пропустят, ваше благородие; ихний нюх лишь своими не гребает. Летом, точно, летом у его благородия из окна китель слямзили, а подпоручику Камкову, как они были из собрания нагрузившись, сухой горчицей очи заплющили: осердились на них воры, ваше благородие, что иного продукту не нашли. Вот было смеху!

— Ну, ты, Прыткин, зубы не заговаривай, — лениво оборвал урядник, — доведено до сведения: «злое сообщество».

— А вы, ваше благородие, цему доводчику в пику наплюйте! Нехай поганая смерть ему приключится, собаке! — Вошедшая с морозу Гапка поставила варенец и зашлась с новыми силами, как заходится самовар, когда ему поддали жару. — Врет тот доноситель, собака... собраться могут люди, где добрая хата, а не щель, як у нас, было б им где табаком насмердить! А я, ваше благородие, да чтоб табашников приняла? Да я и замуж-то шла оттого, что мой человек некурящий, а то, скажите, ваше благородие, на что бы он мне сдался?!

— Уж это ты, Гапка, безо всякой пропорции сыпешь, — задетый за свою мужскую честь, огрызнулся Прыткин.

— Хо-хо... — и заколыхалось опоясанное шашкою брюхо. Урядник откинул круглую голову и долго громыхал, охорашивая моржовые усы.

— Других статей, окромя некурения, у Прыткина пасс? Ну и Гапка, ну и обремизила мужа!

Умная Гапка уже наставила полный стол жирной снеди, а полынную принес из темненькой сам Прыткин и, дрыгая щеками, сказал:

— Уж не побрезгайте, ваше благородие, раздавите букашку!

— Так-таки раздавить? — полуспросил Коцюра, опрокидывая рюмочку. Снял оружие, распушил усы, и повторную... — Так-таки раздавить?

Уходя далеко за полночь, Коцюра, во исполнение инструкций, опять многократно водил носом и, решительно удостоверив неприкосновенность Гапкиной кухни к «сообществу», сказал:

— Никотинчиком здесь нет, точно, не баловались.

Тем временем, благополучно перемахнув через забор, солдаты, отбежав так далеко, что не видно было и трубы Рубановой дачи, спустились в овраг.

Была темносиняя первая зимняя ночь. Мороз еще не щипал, но уже замохнатились звезды, и ветер колко вздымал и вихрил в глаза снег. В глубочайшем овраге солдаты в черных тонкоствольных кустах сбились кучею, как бараны, и долго молчали, насторожась.

— Какая тут погоня? — сказал Гуцалый. — Один боров Коцюра только и был, уж я доглядел... Переждем тут, пока он у Гапки чай отопьет.

— Как живем чудно! — сказал один из рядовых. — То по Крестовому календарю разверстаны были дни до самой твоей смерти, до скончания века, а то ná-поди, утро вечера своего уж не знает. Вот по оврагам, как разбойники...

— А ну, Полищук, докладайте нам про «Потемкина». Он, ребята, Матюшенки словами так и чешет.

— Расскажи, докончи, матрос! Угрелись как в люльке, псы не найдут. Что видал, как слыхал?

— Все вижу я, как оно было с самого начала, и ничем, товарищи дорогие, мне этих видений в себе не заглушить...

Обтоптав снег, присели в кружок солдаты, и начал речь издали Полищук:

— Вот стоит, например, около червивого мяса дневальный, карандаш в закорузлых руках, бумага. Приказал ему капитан всех записывать, кто подойдет смотреть и хаять мясо.

А в мясе именно черви.

И говорят матросики: «В Японии пленных лучше нас кормят!»

А кондуктора: «Под Порт-Артуром команда ела собак, а вам подобная говядина худо?»

Ну, сготовили именно борщ. Свистит дудка обедать. Понес кок пробу. «Борщ чудесный», — похваляют господа офицеры. А матросики набрали в кружки одной пресной воды — хлеб мочить. А баки с борщом не берут. Все по обеим сторонам камбуза.

И говорит старший офицер коку: «Почему именно команде обед не даешь?» А кок ему: «Команда не хотят

кушать борщу». — «Почему именно?» А команда в голос: «Кушай сам!»

Капитан сбор приказал. Команда, как один человек, на ют. Стали во фронт. Вышел старший: «Смир-рно!» Командир, конечно, с буксирного кнехта к команде с речью.

«За такие беспорядки вашего брата вешают!»

«Самого б и повесили...» — не выдержал кто-то.

«Дай срок. Хоть и не повесим, так за борт его, дай срок!..»

И в подробном, мелко заметливом рассказе шаг за шагом, минута за минутой разворачиваются события. От обычного хозяйственного злоупотребления возрастают они до красного Черноморского флота, до победы над эскадрой, над городом...

Солдаты не торопят рассказчика. Они переживают каждый момент вдвойне: и за матросов и, в каком-то переносе на ближайшее будущее, сами за себя.

— В казарму пора бы.... — робко шепчет двоюродный Полищука, рядовой Порося, — хватятся.

И накинулись:

— Сами их раньше прохватим! Слыхал, как на броненосце?

И снова не дышат — слушают. И оттого, что во мраке лица едва различимы, каждый ощущает другого по-новому остро. И оттого, что кругом снег и кусты, что в глубину оврага необъятно высоко смотрит из облаков луна, — пропало время, казармы, пропало все, кроме способности ответить всем чувством, всей волей на слова простые и роковые. Слова, которые солдатам по-настоящему услыхать — перевернуть жизнь вверх дном.

— И явился караул на зов капитана, а команда вся к башне. Оцепили тех, что борщу кушать не хотели, и в ужасающей, дорогие товарищи, прямо в зловещей тишине как крикнул старший офицер: «Боцман, подай брезент!»

— Ой, братцы, расстреливать будут, — прервал дрожащий голос, и хотя сказавший это, как и прочие, отлично знал, что события повернулись иначе, слышно было, как он всхлипнул.

— Товарищи дорогие, подумайте, до чего захватило в тоске и обиде дух у команды, когда она должна была

быть свидетелем злой судьбы человек двадцати вполне безоружных товарищей? Вот их сейчас покроют брезентом, как саваном, и дадут по ним жестокие залпы, и убьют, словно мышат в мешке. Ах, эта жалость, этот ужас и гнев, дорогие товарищи...

Полищук задыхался от волнения; тяжко вздыхали солдаты.

— Вот уж именно решающая вполне минута: или они, или мы! Тут, конечно, первый борец за свободу, матрос Вакулинчук, не выдерживает и, зарядив ружье, стреляет в офицера и сам в тот же миг падает именно первой жертвой. Вся команда в батарейную палубу за винтовки, и пошло!.. Конечно, залп, и — за борт! И что за жалость, товарищи, судьба человека? Командир, за минуту самый грозный начальник, сейчас именно в одних нижних подштанниках, как в сумасшедшем доме, самый жалкий чудак! Это он разделся, думая морем спастись. Не тут-то было! И вот он перед той же командой, уже не грозясь ее перевешать на мачте, а в униженном виде, с бормотанием испуга...

И дальше Полищук, все подробнее, без отбора важного от неважного. О том, как броненосец для встречи с эскадрой заряжал все семьдесят шесть орудий, как переоделись все в чистое и, готовясь к смертному часу, друг другу дали поцелуй. И вот она, встреча с эскадрой.

Пальцем чертит Полищук по снегу, хоть не видит ни сам он и никто этого чертежа, но так ему легче выдержать невероятное напряжение мысли.

— Вот головным идет броненосец «Ростислав», рядом «Три святителя», вот «Синоп».

И, как эхо, солдаты:

— «Синоп».

— И вот, дорогие товарищи, ждет броненосец «Потемкин-Таврический» именно выстрела от эскадры. А «Георгий-Победоносец»...

— Хай трохи передохнут, — оберегает матроса взволнованный Порося. — Братец, передохните, бо сами знаете, що зайдетесь и очи заведете.

Передыхает Полищук и, глотнув воздуха, как артист, предвкушающий предстоящий эффект, тихим раздельным голосом говорит:

— А «Георгий-Победоносец», поровнявшись с «Потемкиным», вместо залпа, товарищи, крикнул «ура».

— Ура! — подхватили солдаты.

— Очумели вы, цыть! — одернул Гуцалый и, придерживая шашку, немедленно провел всех по колено в снегу вдоль по днищу оврага в такую глушь, что и псам не найти. — Вот, — сказал он Полищуку, — здесь довершай!

Здесь, в безопасности, прошел последний досказ, здесь Полищук, в окончательном вдохновении зажмурив глаза, в самую душу бросил солдатам те неотразимые слова, которые решили завтрашний день.

— А дальше, дорогие товарищи? Дальше — одиннадцать дней носился героический броненосец «Потемкин-Таврический» в волнах бурного Черного моря. И вот вообразите: шестнадцать котлов топят без перерыва, машина вполне растрепана, команда выбившись из сил от бессонницы, в самой адской жаре надорваны люди работой. Что делать? Однако лишь окончательно без угля и воды решили сдаться в Румынию... И вот наступает, дорогие товарищи, самый горький, самый ужасный час, по письму одного матросика, недавно дошедшему из Румынии.

Что испытали эти герои свободы, вообразите, когда они затопили в волнах Черного бурного моря, с горючими слезами, свой именно первый красный флаг свободы?

Солдаты были взволнованы. Заговорили вперебивку.

— Чего ждать еще? Кому нам поверить больше своего брата флотского?

— Агитатор, известно, за свою партию.

— Между собой не столковавшись, и нас раздирают. А между прочим, начальство всех на убой...

— А мы партиям в роте сказали: бросьте сами собачиться, дойдите до одного конца, а пока спорите, ну всех вас к черту!

— Свое кровное сами рассудим...

— Она, партия, по книжкам сроки ведет, а у нас мочи нет, жилы гудут...

— Кушать я совершенно не могу, — жалобился ефрейтор, — курю как окаянный, душу себе прокурил.

— Окажите же сочувствие броненосцу, окажите, товарищи!

Полищук встал, встали солдаты. Полищук взял ближайших двух за руки и, потрясая их с силой, из себя переливая всю страсть, заклиная, сказал:

— Жизнь непросветная ваша, товарищи. Все одно погибать. Встаньте ж раньше, чем в тюрьмах сгноят. Встаньте.

— На пороховом погребе моя рота, спичку сунь и — взлетит!

— Пусть партия как хочет, не затушим пожар...

— По рукам, што ль, товарищи?

Скрепил солдатам руки матрос Полищук и тихим голосом, почти шепотом, хотя даже собаки, ожерельем уснувшие по краю оврага, здесь не могли его услыхать, сказал им свои последние слова. Сказал Полищук шепотом не от страха быть услышанным, а от упоения необычайностью этих слов:

— Товарищи, вознесем снова этот потопленный красный флаг. Да здравствует свобода!

III. СЕЛЕЗЕНЬ

— Не люби, как хочется, ты люби, как бог велит! — И жиг-жиг селезня нянька крапивой по выщипанной по гузке.

Яшка-селезень гагает, розга жигает, а Пашенька ха-ха... Дрожат заалевшие щеки, и кудри недавно остриженных, еще не покоренных волос бьют по плечам.

Из-за погребка, квохча, бежит курица Рябка, за ней, тяжело дыша, то припадая к земле, то делая тщетную попытку взлететь, — Яшка-селезень. За селезнем с гибким хлыстом вербы няня Китовна.

— Няня, ну как же не стыдно, брось Яшку, брось!

Няня Китовна, темная, векового загара старуха, степенна, подхватиста — рраз напоследки!

Селезень, с ошарпанным хвостом, потускнел зелеными щеками, поглупел, сконфузился, квакнул вдруг по-лягушечьи и распустил оба переливчатых крыла, отчего стал похож на базарную масленку. Думая, что прекрасно летит, селезень побежал вперевалку, вздымая в нос няньке первый легкий снежок.

— Ну, Китовна, восстановила закон, и довольно, — и дядько́ Вереда, обхватив няню за плечи, отнял прут. Его любимый селезень Яшка, нарушая вековую повадку своей породы — избирать подругой жизни утку, в эту глубокую осень влюбился в курицу Рябку и проделывал вокруг нее пресмешные аллюры, выдававшие с несомненностью его амурные вожделения. Няня Китовна, считая беззаконие селезня «от антихриста», вступившего в мир и урвавшего себе всякой твари по паре, не унялась, закричала:

— Свяченой вербочкой тебя вправлю, не люби, как хочется, люби, как бог велит!

— Хо-хо... — раскатился дядько́ Вереда, проковылял к Пашеньке, взял ее под руку и сказал: — Пойдем, Пашенька, за ворота.

Пашенька — ранняя сирота. С детства у старого Вереды живет с няней Титовной, или, как, с детства путая, звала ее, — Китовной.

Хуторок Вереды на отлете, вблизи саперного лагеря, так что в гимназию Пашенька с дядько́м ездила в шарабане, на старой кобыле Фанфаре. Земли у дядька́ десятин пять, хата, птичник да вот Фанфара.

Дядько́ Вереда об одной ноге — другая деревянная. В турецкую кампанию отрезали, когда дядько́ пренесчастливо бился против турок. После войны нашатался он по земле, да и осел на свой хутор. И пора была оседать: во всех возможных губерниях подросли дядькины незаконные дети, и в каждое место службы от их матерей шли к прямому начальству дядька́ пренеприятные цидульки «с просьбой удержки из жалованья».

Этот же хутор, хоть и под большим городом, но, спасибо ему, такой весь в холмах да оврагах затерянный, с землей плодородной, что зараз и укрыл он дядька́ и прокармливал. В первый же месяц водворения Вереды на «Фонарике» подкинули ему в розовом одеяльце шестинедельную девочку, и Пашенька во всем удачу с собой принесла.

«Фонариком» звали хутор за то, что, из окружавших оврагов, со всей горы всюду видный, он, как в море маяк, подмигивал огоньком. А девочку крестил Вереда Параскевой, ибо, будучи по природе философом, порешил, не гордясь, что женского пола находка в день Параскевы-

пятенки должна в честь ее зваться Пашенькой. И колебаний брать девочку не было: человеку хоть одно дитя вырастить надо, не все же одуванчиком сеяться. А свое ли, чужое ли — одна примусия, дитя...

К Пашеньке взял Вереда в няни Китовну, а на десятинах оранжереи развел, парники. Продавал в большой городской магазин «примёры», и в такой мере отменные, что в лучшей гостинице, когда лакей предлагал гостю суп «потафью», то для весу добавлял: «Из парников самой Вереды-с».

И образовалась на «Фонарике» жизнь по огородному календарю, с благодатным процветанием овощей. Дышали отличным все воздухом, свободные, не городские, не деревенские. Для ноги у дядько́ хранился в шкапу первосортный английский протез. Он протеза того не любил, но по твердому настоянию Китовны все же надевал в двунадесятые праздники, чем сначала пугал, а потом радовал Пашеньку. В дни табельные дядько́ Вереда носил самодельную колотушку, любимую им за легкость. При ходьбе колотушка стучала: тук-тук, за что Пашенька звала ее «дятел».

Сейчас в присыпанной снегом, еще мягкой от опавшего листа тропинке, по которой шли под руку дядько́ и Пашенька, привычного дятла колотушка не выбивала, и ничто не отвлекало внимания от той речи, которую ей надумал держать Вереда, да все не умел приступить. Наудачу пошел случай с селезнем.

— Вот именно редкостный факт с простою домашнею птицею, факт, наводящий на размышление, — наконец вымолвил, скрывая волнение, Вереда. — Представь, милый друг, я читал у некоего ученого, что подобные случаи несчастной любви в царстве животных случаются и являют собою начало индивидуализма. Каково? И подумать: из-за чего именно человек над зверями кичится? Однако, друг мой Пашенька, чувства сии в жизни юной, выходящей, так сказать, на арену...

— Зарапортовались, дядько́. Никак конкуренция с Китовной? — засмеялась Пашенька. — Она селезня учит, как надо любить, а вы уж меня.

Дядько́ Вереда врылся в песок деревянной ногой, поднял к небу костыль, как жезл патриарший, и торжественно провещал:

— Параскева, названая дочь. Я тебе одновременно и мать и отец, а посему предупреждаю: от обстоятельства любви в твои годы произойти могут прегорькие сердечные аварии. То, что зовется «любовью», настигает каждого в дни его юности. Закон природы как всякий иной. Случай же с Яшкой, узаконив в некотором роде беззаконие, одновременно разъясняет, сколь много по этому поводу нагорожено зря и стихами и прозою. Ибо при здравом рассуждении выходит: что Яшка-селезень, что бедный Вертер — одна примусия.

— Ой, дядько... — смеялась Пашенька, и метались черные кудерьки, — дядько, куды ж це вы гнете?

— Серденько мое, — сказал, бросив всякую дипломатию, Вереда, — брось ты возню со скаженным Дмитрием Десницким и выходи замуж за простого, хорошего парня, уж он месяц у нас, и я его всячески досмотрел — ей-богу, ладный. А Дмитрий доведет тебя до каторжных работ, чует сердце мое. Дай мне, старому псу, покойный конец; благо парень добрый нам встретился, по судьбе не чужой, и брат-доктор стоит за него...

— Неужто за Кузьму? — И лицо Пашеньки изобразило такое выражение, как примерно у охотника, когда дичь попала в его хитрый капкан.

Но дядько не видал лица Пашеньки, ему от чувств в глаза вступили слезы, и, прижимая к устам ее маленькую ручку, сказал:

— За Кузьму, серденько, за Кузьму... Ты сирота — он сирота. Вас сам бог повенчал. А что Китовна в церквах за это дело свечей понаставила!

Пашенька моргнула ресницами, как углем обводившими серые глаза ее, и нараспев, будто в украинской труппе играла «панночку», сказала:

— Ну и дядько, по сжатому жнец... Да мы с Кузьмой это дело намедни сами решили, так что недели через две думаем в Москву.

— В Ма-аскву? — Дядько отшатнулся и всей тяжестью на костыль. Пашенька ж сдвинула брови, махнула ручкой — дескать, уж все заодно, одним махом:

— Дядько, послушайте. Сейчас мы жениться не станем, сперва проживем зиму в Москве, я у подруги, Кузьма у своих, оба будем учиться, присмотримся. Не вся ж наука ваш Яшка-селезень? Понравиться мало — надо

узнать. А мы всего месяц как вместе. Дядько́, отпустите меня с Кузьмой, весной вернемся, ожените сами.

— Дай, Пашенька, срок. Це треба обмозговаты.

Дядько́, стараясь покрыть волнение, поцеловав Пашеньку, проковылял на свой хутор, а Пашенька пошла далеко, вдоль по снежной дорожке.

Сейчас за воротами хутора безмерный шел кругозор. Далеко направо золотел главами монастырь Ионы, куда, рассердясь на прозорливого старца, не водила Китовна Пашеньку. Старец, вишь, сказал, обходя богомольцев, Китовне: «Фельдфебель ты, мать, а не баба». Все засмеялись, а старуха в обиду, хоть и знала сама, что военная.

Вспомнила Пашенька, улыбнулась монастырю, ведь в последний раз смотрела, прощаясь с местами, где выросла.

По другую сторону бегут холмы и овраги. По краям овражьим лежат в несметном количестве псы, они питаются отбросами с бойни. Кличка им: убойные или саперные псы.

Своевольная выросла Пашенька в этих безбрежных просторах, в этих зимой снежных, летом песочных холмах с яркозелеными оазисами глубочайших оврагов. А когда снег выпадал, холмы были ослепительно белы, как расколотая гора сахара рафинада.

Белое, голубое, золотое. В этой смене милых цветов проходили мечты, проходили годы. И не оглянулась Пашенька — гимназия окончена. А что дальше? Да разве это для Пашеньки обыкновенный, крепким бытом намеченный девичий путь? Проморгал за своими примерами дядько́ Вереда, промолила за долгими службами няня Китовна спокойную долю своего «серденька». Еще подростком, с огражденной протоженной колеи, как степной жеребенок, ушла Пашенька в вольную степь...

И на их южный торговый город Кровавое воскресенье накинуло свою красную тень. Сейчас же после событий на «Потемкине» в городе даже лохматые ученики рисовальной школы с ушедшими в пространство взорами, даже нотариус с весом и белым жилетом — все были настроены революционно. Ученики, кроме этюдов, проносили прокламации. Нотариус, из протеста против русификации края, стал выступать публично с одними украин-

скими думками. У всех читающих дам города на столиках, в красном переплете, возник томик революционных стихов, а безусые литераторы наперерыв приносили в редакцию прескверные переводы с французского.

Агашин, приехавший из Петербурга чиновник, с масонским кольцом на указательном пальце, обежал все салоны и божился, что недавняя «Прекрасная Дама», воспетая знаменитым поэтом и только что вошедшая в моду, уже воспевается как дама легкого поведения, потому что близится конец мира, потому что всеми по-новому прочтен «Невский проспект» Гоголя, потому что мистический цветок «магов», гелиотроп, перешел в твердо коричневый цвет строительства. Иначе говоря, журналу «Новый путь» пришли на смену «Вопросы жизни».

Сиреневая обложка журнала «Новый путь» символизировала настроение туманных бездн и формулу «tabula smaragdina»: «небо вверху — небо внизу». Коричневые же книжки «Вопросов жизни» были кирпичами строителей, наметивших «ренессанс культуры».

Провинция, провинция...

Шла война, гибли броненосцы, бастовали рабочие, а в только что нарождавшемся кружке «Восточного посвящения» велись дебаты о том, как надо жить: «на зеленой звезде над землей», или принять формулу — создание здешней земной культуры на почве обыкновенного религиозного сознания. Еще говорили в кружках о том, что необходимо, дабы не тормозить эволюцию мира, а в частности России, всю жестокость, все ошибки века ушедшего, как Атлант земной шар, взять на собственные плечи и переживать их будто следствие биографии личной. У англичанки мисс Кэт на ноге открылась рана, и она, принимая ее как кару за притеснение индусов и войну русских с Японией, совершенно не лечила, чем вызывала благоговение «членов». Наконец, на одном из заседаний вместе с заграничным проповедником, находящимся под особым покровительством «учителей», все явственно услышали звуки «сфер», подобные грохоту неописуемой высоты водопада. И хотя умы, низко настроенные, сказали, что то, вероятно, рухнула балка под крышей, умы, настроенные пифагорейски, объявили, что, сколько бы балок ни рухнуло, их падение — чистейший символизм и лишь отражает на нашем плане крушение

старого века. И, став на средину, все взялись за руки и сказали «Correspondances» Бодлера.

Пашенька бывала на этих собраниях у матери одной гимназической подруги, и, совсем будто не к месту, вот именно благодаря этим посещениям, возникло ее знакомство с тем Дмитрием Десницким, которого так боялся дядько́ Вереда.

На вышеописанном вечере, после того как с особой значительностью были сказаны «Correspondances», проводить стал учитель словесности параллели о том, как и кто из писателей отразил в «проявленном мир непроявленный». Вставали и цитировали в виде иллюстраций кто Брюсова, кто Бальмонта, кто, тяжко вздохнув, вдруг выбрасывал: «Ах, мы живем в эпоху, подобную первым векам!»

И спорили в углу: не нашему поколению принять Завет Третий, наше приуготовительное, наше — Предтеча.

— Ах, что вы, Анна Леонтьевна, мы приуготовлены, мы и примем.

И новые споры: наш Рожковский или не наш?

И резолюция: наш, но вне круга, он экзотерик, он пророк бессознательный.

И как показательно, что он любит рисовую кашу...

И председательша: «Все наши, кто под сенью белого братства! Но приготовьтесь: карма страны ляжет только на нас, только на зрячих. Мы переживем события в духе, они как меч пронзят наше сердце много раньше, нежели история их отметит. Надвигаются сроки».

И все:

— Сроки на-дви-ну-лись.

— А знаете вы...

Но резко прорезал экстазные речи чей-то голос, молодой и до визга взволнованный:

— Довольно разговоров! Подавайте дела!

Секретарь не смутился, и когда говоривший, юноша еще безусый, в черной сатиновой рубашке, от волнения запнулся и умолк, он любезно ему поклонился поклоном сообщника и сказал:

— Ну да, разговаривать больше не о чем. Надо выходить и бороться кто чем, выбор громаден — от драгоценных камней, которые носить с тайным знанием — значит чистить атмосферу, до убийственных браунингов.

Юноша в черной рубашке, ломая пальцы, от смущения встал и сказал резко, как будто толкался в толпе, спеша к выходу:

— Вам покажется грубостью, ну, пускай, мне вы тоже кажетесь грубейшими в свете людьми, несмотря на все ваши тонкости. Коротко говоря — вот вы здесь в белых платьях, в драгоценных камнях, и все о спасении человечества и черт знает о чем... словом, если себя уважаете, жертвуйте ваши камни на забастовщиков. Переполнены тюрьмы. Да, жертвуйте или молчите.

Дама-председательница, высокая, с седыми кудрями, с глазами огромно-сияющими, порывисто сказала, чуть га́кая, потому что была из Полтавщины:

— Голубонько, спасибочки, то-то гляжу — ваша гаура така блакитна.

— Голубая аура, которую у вас увидала ясновидящая, — признак чистоты вашего духа, — в почтительной радости возвестил секретарь.

Председательница развела белые руки с нежным укором:

— Не браните драгоценные камни, серденько: изумруд, сапфир, алмаз — да они же чистят атмо́сферу! Их световые флюиды помогают эволюции нашей земли.

— Пусть лучше помогут они нам купить браунинги, — пробурчал юноша и, красный до слез, вышел вон.

Пашенька не первый раз была здесь, стояла у стены, беднея и молча. Она знала, что не так все это, ах, не так и не то. А что то? И где оно? Куда же снести и отдать свою силу? Только жить больше нельзя было и ждать...

Пашенька догнала нашумевшего юношу на улице и спросила:

— Куда надо принести вам деньги и вещи? И как ваше имя?

Он посмотрел на нее, минуту подумал и сказал:

— Имя мое Абрам Рут, — и дал адрес.

Назавтра Пашенька была в указанном месте в указанный час. И немало она изумилась, когда расписку в получении на «Красный Крест» выдал ей Дмитрий Десницкий.

Ну разве мыслимо, скажем, — до японской войны, чтобы в саперных войсках были такие поручики, как Дмитрий Десницкий?

Хотя по виду саперная жизнь шла все так же: караулы, занятия, обеды ротные и полковые, но вот после обеда было иначе. Бывало, поручика Шипкина бросали на край длинных, покоем составленных столов, и поручик, как балерина, плясал на белой скатерти, не задевая бутылок.

После же 9-го января в конце первого батальонного праздника капитан Мокиенко, не мальчишка какой, командир роты, и вовсе не пьяный, поднял бокал: *за окончание позорной войны!* И тут же бац — застрелился. Повернули, конечно, будто он с пьяных глаз, однако все-таки, все-таки...

И еще были случаи. Входили болезненно новые идеи, и столь же болезненно уходили старые кровные о «чести офицера». В офицерском собрании другой, тоже капитан, упившись, скомандовал шашкой оркестру, и покажись ему, что капельмейстер нарочно затягивал темп. Подбежал, шашкой рраз — полголовы. Дело замяли. Просидел что-то с месяц на гауптвахте. Но, судимый судом товарищей, уже не был оправдан. И принужден был уйти из батальона.

В офицерском же собрании танцевали по-старому, играли в карты; в далекой гостиной висел голубой фонарь. Фонарь создавал лунный свет, почему здесь преимущественно назначали свидания дородные краснощекие помещицы из-под Конотопа.

Впрочем, здесь же, в собрании, договаривались окончательно и Пашенька с Дмитрием Десницким, саперным подпоручиком. Со стороны на них смотреть: шепчутся, как и все, о взаимной любви, конечно. И вот нет же, о любви не было ни слова, хотя сама любовь, может, чуть-чуть и была.

Чем дался Пашеньке Десницкий? Высокий, очень молоденький, — ничего особого. Но при внимании кое-чем поражал. Да хоть бы уж тем, что ни одного ненужного слова не слетало с уст его, еще пушистых, не обцелованных, не прокуренных, с той линией четко-извилистой, которой вычерчен в альбомах бабушек неизбежный лук Амура.

Дмитрий Десницкий не танцевал, не играл в карты, но и не готовился в академию, что одно могло бы товарищей примирить с его скромностью. Дмитрию Десниц-

кому было не до академии. Он вместе с немногими товарищами подготовлял восстание в инженерных войсках.

А вчера, вот в этом глубоком овраге, поросшем колючей ожиной, где стоит сейчас Пашенька, они с Дмитрием порешили: ей ехать в Москву, будто на курсы, а между тем готовить место, куда бы после «дела» укрыться участникам. Ломали голову, как сказать о Москве, не возбудив подозрений дядька́ Вереды, как вдруг сам он подсказал умненько все дело своим сватовством.

— Пашенька, здравствуй. — Кузьма неслышно, по мягкому подошел из-за оврага и стегнул легонько ее по плечу большеголовым, уцелевшим с осени будяком.

— Кузьма!

Был он в рыжей свитке, подхваченной красным поясом, в смазных сапогах, в высокой запорожской шапке.

— Что вырядился? С гончарами приехал чи с салом из Нежина? — ухмыльнулась Пашенька, поднимая глаза на высокого, широкого в плечах человека.

— Примеряюсь, как будет лучше; а если с гримом, так и вовсе не узнать.

— Ай да Кузьма. А дядька́ нашего как задурил?..

— Дядько́ Вереда думает, что я благопристойнейший парень и унаследую хирургический кабинет и всю практику доктора, не так ли? Ну и ветрище! Неужто ты, Пашенька, не зазябла?

И, взяв Пашенькины ручки в свои, Кузьма стал отогревать их дыханием. Отогревая, целовал.

Пашенька, вспомнив, о чем надо говорить ей с Кузьмой, вдруг смешалась, выдернула руки и, не подымая глаз, сказала:

— Пойдем к хутору, дядько́ ждет. Вообрази, он сегодня тебя сватать мне вздумал, а я и скажи, что мы уже сами до того домекнулись, только свадьбы сейчас не хотим, отложим до осени. А сейчас мне с тобой надо ехать в Москву, там будем учиться, друг к дружке присматриваться. Дядько́ поверил, да не дюже. Надо тебе самому подтвердить и вообще тон держать в соответствии, как жених.

— Пашенька, да мне и невесты б другой не искать. Пусть будет как в книжке. Как по-писаному хоть бы раз в жизни, в угоду обоим Вередам, — улыбался Кузьма.

— Молчи, молчи, — крикнула Пашенька, — я тебе невестой могу быть для дядька́, для няни, сам знаешь... — а что — и не кончила.

— Ну, и знаю...

Молчали. За воротами взялись под руку и пришли к самому дому, где на крыльце облобызали их троекратно с сердечными поздравлениями и дядько́ Вереда и няня Китовна.

— Чур, наше дело в секрете держать, дядько́, не расхвастайте до срока! — крикнула строго Пашенька и ушла к себе в комнату.

А к Вереде приехал на полковых дрожках приятель его, моложавый и дурашливый капитан Грузовой, одного полка, имевшего на фуражке не иной какой, а черный околыш. С этим капитаном дядько́, по секрету признавшись, что в доме помолвка, выпил в столовой две бутылки отличного каберне, и капитан перешел на свою любимую тему — похвалу столпу государства Сергею Юльевичу. Говоря о нем, капитан смаковал слова, как вино, и сюсюкал:

— Акт портсмутского договора сдан на хранение в государственный архив. Вообразите, папка темной кожи с небольшим золотым тиснением, и в ней два текста: французский и аглицкий. Тетради сшиты, как у барышень, голубой ленточкой. На растянутых ее концах печати и подписи: барон Комура — Витте.

— Скоро граф будет, чего доброго!

— Граф Витте-с! Каково?

Капитан с черным околышем, почитая Витте превеликим жуликом, залился восторженным смехом. В дверь глянула Пашенька и кинула с гневом:

— Чем хохотать, лучше б прикинули, во что обошлась ваша мирная папка с золотым тиснением? Содержание армии, погибшие суда — *миллиард двести миллионов!* А убитых, увечных?

И, не кончив, она хлопнула дверью и ушла.

— Какова? Точнейшими цифрами кроет, — восхищенно шепнул Вереде капитан.

— Все это его наука, — сказал мрачно Вереда и с ненавистью выдавил: — Будет знать меня Дмитрий Десницкий.

IV. КАЗАРМА

При въезде в древнюю часть города, с лаврой, с угодниками, с широким Днепром, где кричали когда-то славяне навеки нырнувшему идолу: «Выдыбай!» — полукруглая крепость-казарма.

Не часты окна, узки как бойницы, прорезаны в толстой стене. В стекла настойчиво и раздельно дробит первая снежная крупа.

Волнение в казарме. На койке рядового Ткаченки, на скамьях, вокруг на столах всё свои, да и чужих рот солдаты. Читает Ткаченко газету не громко, с опаской, все еще не веря глазам, что такое вот напечатано. И, затаив дыхание, приставив ладони к ушам, ловят каждое слово солдаты. Еще бы не ловить? О своем ведь, о кровном...

В газете приведена целиком претензия одной крепостной артиллерии, предъявленная ей по начальству. Уж не впервой перечисляет сегодня Ткачёнко все пункты претензии, а солдаты, выучив их наизусть, всё так же вот слушают, пока не прорвет их ревом «ура!»

Как заблудшие ночью в лесу вдруг увидят с рассветом, что чащи нет никакой, что до дома рукой им подать, — и обрадованы и смущены слушатели, когда Ткаченко, гордясь, будто все выдумал сам, бросает, как команду, пункт за пунктом претензии: «о вежливом обращении, о лучшей пище»...

В самом деле: в обыкновенной газете, купленной за пятак, вдруг увидел солдат напечатанным все то, что каждый давно и мучительно знал про себя, что шептал в пересудах с ближайшими. И рождалась в сознании, еще не выговариваясь до конца, новая мысль: значит, дозволено...

В этой роте, стоявшей в старой крепости, кроме обычной казарменной, была особая, своя тягота. Постороннему глазу почти вздорная, но в каждом дне жизни унизительная. Из-за нее, с этой именно роты все и началось.

Своей кухни в крепости не было, приходилось ходить в чужие казармы, где часто ужина на всех не хватало. И смеялись над голодными — «бестрапезники». Было так и сейчас: солдаты вернулись с пустыми манерками, без каши и щей, злые от голода и обиды. Когда отругались вовсю, сказал фельдфебель Гуцалый:

— Скот хороший, и тот лучше вас берегут!

А из-за газеты Ткаченко:

— Як на убой скотыну ведуть, то не дюже и с ею милуются, а солдат что баран — дай срок, пустят всех в перегной.

И заорал с гармошкой Стегно:

С Порт-Артуром попрощался,
Получив большущий нос...

Ткаченко выхватил из-за сапога прокламацию, прыгнул на скамью говорить. Зацыкали на гармонию. Подступили к столу ближние, а дальние, склонив голову набок, как аист в гнезде, заложили за ухо ладонь — не до́хну́т. Одна крупа в стекло, как дробинки.

— Товарищи, — возгласил Ткаченко, держа в руках прокламацию, — вот дошли ж, наконец, и до нас вполне соответствующие солдатскому положению речи. Не проповедь, конечно, попа или слова, какие начальству нужны, а именно речи, примерно как шомпол старинное ружье, прочищающие мозги.

И Ткаченко стал читать прокламацию «к запасным»:

«Солдаты! Самовластное правительство опирается на войско, которое покрывает все его злодеяния и преступления. Не будь войско на стороне правительства, давно бы была у нас свобода...»

Иной солдат слушал, сразу волнуясь от каждого слова, другой — крепкий хозяин, с недоверием к «агитации» — ворчал:

— Зря наворочено, зря — всякому государству войско есть нужное. Не тут проруха, не тут...

Но когда Ткаченко стал читать о «бессмысленной войне», в которую из своих расчетов «кучка негодяев втянула Россию», сгубила флот, губит войска, — ропот гулом ударил в темные своды и тяжкой волной покатил в коридор. Тогда Ткаченко, с трудом покрывая всех голосом, огласил самую зажигательную весть о последних событиях в Москве:

«Недавно запасные с вокзала отправились в лавки на покупку продуктов; полиция их не пускала. Завязалась драка, вызвали солдат и приказали стрелять им в мирную толпу запасных. И солдаты убивали запасных, потому что так приказало начальство».

Оборвали. От обиды не могли больше слушать, закричали:

— По своим не станем стрелять! Чего ждать нам еще! Сами начнем! Да хоть вот сейчас...

— Аника-воин с тупым штыком...

— И топорами возьмем!

— Облютели.

— Тише вы, — заорал Ткаченко, — чай, не кабак! Когда облютели, так договоримся уж до чего надо, а то наораться, што ль, на голодное брюхо да крепостную претензию одним храпом своим поддержать?

Вмиг замолкли. Без уговора, само собой, вдруг наибольшим стал Ткаченко. Все на него — ждут.

— Как у вас с нелегашкой? водится? — спросил хитрый Ткаченко солдат, подошедших из чужих рот.

— Водится нелегашка, — любовно осклабились солдаты, как охотники, набившие до отказа тетеревей, — как не водиться ей, водится.

— В последний промежуток времени особливо успевают два ее вида, — сказал первый солдат, — вот это ваше, именно: «Запасным», и еще другая — «Мочидлоберова Иосифа письмо». Последнее с собой прихватил — может, у вас кто и не знает?

— Хоть и знают, освежить память не вредно, — сказал Ткаченко, — «солдатскую памятку» небось годами долбят.

— Мочидлоберова Иосифа наизусть знаем, — вздохнул Стегно, — преплачевная история, бабы и те письмом его ужахаются и белугою ревут.

— На погромы сейчас ни одну часть не сдвинуть, — сказал Гуцалый. — Против еврея строчат, а вот, между прочим, он за русских жизнь поскончал.

— Товарищи! — Ткаченко воздел над головою руку с листком. — Товарищи, мы сами вот-вот очутимся в плачевном и вполне непоправимом положении Иосифа Мочидлоберова, не вредно посему, как напутствие духу твердости, вспомянуть это дело; вот прослушайте!

Ткаченко развернул листовку, выпущенную на днях Комитетом, и прочел:

«Солдат Иосиф Мочидлобер не мог помешать делу расстрела матросов «Потемкина» солдатами феодосийского гарнизона, совершенному по приказу командира.

Предательски был отдан этот приказ, когда не подозревавшие злого умысла матросы подъезжали к берегу за обещанною провизией. Один солдат не мог пережить спокойно совершенного преступления. Бессильный помешать ему, он решился протестовать, отдав свою жизнь палачу. Он покушался перед фронтом убить командира полка. Мочидлобер судился военным судом, он присужден к смерти».

Ткаченко опустил листовку и торжественно возвестил:

— Над героем за свободу, Иосифом Мочидлоберовым, приговор приведен в исполнение; почтим героя!

Кто сидел — встали. Голос сказал:

— Ткаченко, прочтите из письма его от слов: «не поддамся на удочку кровожадных тиранов».

И тотчас Ткаченко продолжал наизусть:

«...и останусь верным своим братьям и сестрам до тех пор, пока канат не стянет мою шею. Я не допущу, чтобы плевали в наш идеал. Пускай они видят, как он силен. Они нас не загоняют своими шашками и ружьями, они нас не испугают своими тираническими измышлениями. Я пойду с пением к смерти. Я теперь только понял, в каком подлом мире мы живем! Благодарю природу, что мне было суждено защищать своих братьев и сестер. Прощайте, прощайте».

— Вот именно в подлом мире мы живем, — сказал Гуцалый. — Вчера фельдфебель Лавриков молодых обучал, ну, обычное — кто враг твой внешний, кто унутренний. — Да брось, говорю, брось: такого-то «унутреннего» намедни за тебя повесили. Сам я видел, как ты об нем в нелегашке читал. «Ну что же, что читал, говорит, а потом меня думка взяла: может, как он жид, так ему было выгодно, чтобы его повесили?»

— Образ казненного Мочидлобера вызвал с собой бунт потемкинцев.

Порося сказал:

— А вот, братцы, намедни матросик один нам довел, как именно товарищ Матюшенко, из самой Румынии, сухопутным войскам говорит: «И где были вы все, товарищи, когда мы и день и ночь бороздили воды Черного бурного моря?»

— Дорогие товарищи, — тотчас с ударением и словами незабываемого им Полищука возгласил Гуцалый,—

по причине неподачи своевременной помощи со стороны наших сухопутных войск привелось потемкинцам в самом Черном море потопить всего русского народа именно первый красный флаг! Наша очередь, сухопутные войска, например мы, саперы, дело броненосца продолжить и вознести из глубины моря превыше ихних всех мачт утопленный ими именно красный свободный флаг!

— Уррр...а! — долго гудела казарма, то затихая, то снова взрываясь, еще не умея по-иному, не этим привычным криком разрешать новое, разрывавшее сознание чувство.

Слова, обычно произносимые чужими, штатскими, агитаторами, сказал сейчас свой, уважаемый фельдфебель. Тем самым, через Гуцалого, слова и дела потемкинцев становились делом их, сапер. И когда Ткаченко, крепкий как репа, круглый быстроглазый человек, учтя момент, деловито и невинно сказал:

— А что, братцы, не заявимся ль и мы, как тот крепостной, со своею претензией?

Все как один ответили:

— Заявляем претензию! Круче их тесто замесим! Валяй, Ткаченко: *долой позорную войну!*

Обычная, выработанная «вольными» формулировка политических требований, которые лишь по настоянию ораторов солдаты нехотя присоединяли к своим ближайшим жизненным требованиям, выступая на тайных митингах, сейчас в их сознании стала вдруг рядом с их кровными, и наперерыв закричали Ткаченке:

— Требуем всенародного управления!

— Жирным ставь, требуем!

— Довольно битым мясом в Маньчжурии протухать. Ей, Стегно!

И Стегно без гармошки, одной могучей басистой мощью, а за ним следом кто чем — вся казарма общей глоткой грянула:

Братья, поверьте, победа за нами,
Правда, как солнце, сильна...

Всколыхнулась казарма. Под большой висячей лампой, перед Гуцалым, явился белый лист, и, водя пером, проставлял он лихим писарским почерком претензию за претензией: § 1, § 2, § 3.

И кричали из ближних, из дальних рядов, из-под темных сводчатых коридоров, вперебивку с требованием учредительного собрания: об одеже, о пустых щах, о судках для развозки пищи в караул, о том, чтобы караульным не пропускать банные дни.

Мелочь, подробности, пустяки?

Нет, обида большая и древняя, как древне насилие человека над человеком. Под косноязычным бормотанием о мешке, о бадье — было восстание личности, были первые проблески достоинства гражданина.

И вот уже между претензией кухонной и мелко-насущной вклиняется грозное: «А командира роты желаем сменить!»

Написал Гуцалый и повторил членораздельно и торжественно как возвещение первого боя: «А командира роты сменить!»

Сорвался с вершины, растет и катится снежный ком, не удержать его. И вдруг один голос, потом много, потом все:

— Командира сюда-а!

В казармах не было командира. Пришел бледный как мел дежурный офицер-поручик. Он был толстовец, не ругался, не прижимал, против него ничего не имели, только дали ему кличку «Сопля». Он убеждал с командиром подождать до утра, а ему в ответ:

— Высморкай нос! Командира сюда-а!

Пробила полночь. Рота все еще не спала. Тщетно увещевали разумные сверхсрочные, помня слова агитаторов, что отложить надо бунт, пока не сорганизуются все войска:

— Одним не победить!

Кричали:

— Одни и не будем!

— За военно-телеграфной встанет артиллерия!

— За артиллерией — вся пехота!

В казарму влетел вольноопределяющийся Рут, глаза как угли на снежно-белом лице. Он вспрыгнул на стол, будто литаврами забил двумя печными вьюшками друг о друга и, пользуясь мгновенным затишьем, охрипшим от митингов голосом закричал:

— Партия не одобряет!.. Партия хочет совместного выступления войск с пролетариатом... От имени партии требую ли-кви-да-ции авантюры!

— Поздно, товарищ Рут, — спокойно сказал Ткаченко. — Поздно требуешь. Мы вытребовали к себе командира.

Рут пытался еще говорить — его не слыхали.

Ни одно слово уже не доходило до сознания солдат. Они были пьяны собою, пьяны тем, что — посмели.

Перепуганный дежурный офицер разыскал командира на другом конце города, на именинах. Командир играл в винт, ему шла карта, и он долго ворчал, не желая ехать в казарму, отечески бранил поручика-толстовца за то, что тот раздул муху в слона.

Но поручик напомнил о том, что уже было с командирами в Севастополе и Свеаборге, и побледневшие хозяева сами послали скорей за извозчиком.

На свежем воздухе хмель выскочил из головы командира, и чем ближе к казармам, тем настойчивее он твердил:

— Нет, уж я в роту, слуга покорный, ни за что не войду. Вы мне пришлите от них депутатов в дежурную комнату.

Командир, приземистый, не злой и не добрый, был из той военной семьи, где не могло быть влияний иных, кроме военных. В лучшем своем выражении предки были «отцами-командирами», а правнуки измельчали, разоренные, жили «двадцатым» числом и, трепеща инспекторских смотров, стали холодными формалистами. У Копылова к тому же нрав был угрюмый, без привета и веселой шутки. Грубо он не ругал, но за каждый пустяк гнал «под ружье» и в дневальство. Солдаты его ненавидели. У солдат, как у всех взрослых, оторванных от семьи в насильственное объединение людей, чувствительность обострялась до нежности. Солдат в роте ребенок: так, даже в эти дни последнего напряжения пред грозой, среди тайных митингов, добычи оружия, прокламаций — солдаты этой роты выбрали время разбежаться по городу в поисках за пропавшим ротным любимцем — козлом Капитонычем. Обрели его на окраине и в торжественной встрече нагрузили допьяна водкой.

Так что то обстоятельство, что командир, входя поутрам, не здоровался, занесено было Гуцалым, по требованию всей роты, в особый параграф обвинения.

Приехав в казармы, Копылов немедленно заперся в дежурной комнате, послав офицера звать к себе депутатов.

Напряжение солдат было так велико, дело их так рискованно, что, войди к ним командир хоть бы с бешеной матерщиной, — он мог бы еще победить. Но появление сконфуженного «Сопли» с отменно вежливой просьбой прислать депутатов в дежурную вызвало смех и крики по адресу командира:

— Струсил, бурдюк!

— Дери, ребята, нос выше!

И, не стесняясь нимало дежурного поручика, кричала рота в напутствие своим депутатам:

— А прихватили б, братцы, капелек командиру от живота!

Гуцалый прервал смех. Он торжественно поднял руки, как бы благословляя роту иконой, и во всю грудь возгласил:

— Товарищи, зачинается! Из вод Черного моря возносим именно мы, N-я рота, наш русский красный флаг!

Рррр-а... ворвалось к командиру вслед за депутатами, переступившими порог дежурной комнаты.

Командир стоял к дверям спиной и, вглядываясь из окна в огоньки, мерцавшие кое-где в тополях, машинально определял, на каких они могут быть улицах. Он уже оценил всю серьезность своего положения и, перебрав в уме устрашающие события недавних месяцев, решил, что невозмутимость будет лучше всего. Он готовился выслушать солдат без гнева и обещать им все устроить. Главным же образом, всю «историю» сразу замять и отнюдь не выводить ее из стен казармы.

Но едва командир обернулся и увидал двух «депутатов», стоявших «вольно», без тени смущения, он пришел сразу в бешенство, закричал:

— Изложить дело!

Один из депутатов прочел по бумажке, ссылаясь на напечатанное в газете заявление крепостной артиллерии, только что написанные Гуцалым требования. Окончив, не повышая голоса, в унисон заявили солдаты:

— Так что рота вас, ваше благородие, желают сместить!

— На колени! — заревел без всякого смысла, теряя самообладание, командир. Он схватил за шиворот ближайшего солдата и вне себя выхватил револьвер. Дежурный офицер едва успел, подскочив, оттянуть его за руку.

Командир опомнился. Еще багровый от гнева, крикнул:

— Под арест!

Депутаты не двигались. «Дозорные» отбежали от дверей в казармы с докладом. И тотчас в казарме поднялся ад: громыхали лавками о столы, били вьюшкой о вьюшку, люлюкали, выли; вставив два пальца в рот, глушили разбойным свистом.

Древняя крепость с столетними стенами, видавшая и татар и поляков, в этот поздний час непривычно сверкая огнями своих редких глазниц, была как наваждение в тумане, наползавшем из глубоких яров.

— Они бунтуют, бунтуют... — шептал командир, из багрового делаясь белым. Он схватился за больное сердце и стал думать только о том, чтобы сейчас ему не умереть. Офицер прошептал ему что-то. Он не понял. Тогда офицер вышел и крикнул самовольно в коридоры:

— Командир на первый раз всех прощает, претензии будут приняты к сведению и доложены. Расходитесь все спать!

Командир, наконец, пришел в себя, все понял и, пытаясь спасти положение, сказал депутатам:

— Ну, чего вы стоите? Слыхали — я прощаю. Марш спать!

Солдаты расхохотались ему в лицо и ушли.

Командир уехал домой. Офицер, уже не убеждая ложиться спать, сам свалился в бессилии на диван. А солдатам какой сон? Солдаты малевали огромный «фирман». Сверху вывели: от такой-то роты командиру такому-то, снизу подписали подслушанный дозорными яростный возглас: «На колени!»

Посреди намалеваны маляром были двое малых с здоровенными кулаками. Держа их за шиворот, от натуги, как петух, взлетел в небо очень похожий на себя командир, развеяв фалды мундира.

Кто-то вспомнил о пьяном козле Капитоныче. Притащили его из конюшни, маляр промазал ему рога лаком

марданом и оставшимся от ротного праздника сусальным золотом на совесть вызолотил их.

— Кумпол у Капитоныча самостоятельный; заместо попа впереди роты пойдет! В бой поведет. Урр-а, Капитоныч!

И, взяв за передние лапы еще нетрезвого, мутноглазого козла, солдаты кружили его перед фирманом.

Смех, гармоника, чехарда, песни, пляс...

Поработал на солдата интендантский без греха,
Хороши наши ребята, только славушка плоха — э-ух!

Под этот гром Дмитрий Десницкий быстрым шагом вошел в казармы. Дойдя до гармониста, он остановился, но не сказал ничего, лишь окинул всех необычно блеснувшими яркими глазами. Все стихли. Сконфуженно брызнули в задние ряды плясуны, бросив козла. Капитоныч, разбрыкавшись, один продолжал прыгать, бодая стену золотыми крутыми рогами.

— Мы это для роздыху, Дмитрий Федорыч, — сконфуженно доложил Гуцалый, — не беспокойтесь, дурь с делом в одно не собьем! Вот извольте проверить претензию. — И он подал Десницкому вчетверо сложенный лист.

Было безмолвно. За минуту ребячьи лица солдат, сейчас без улыбки, были бледны и испуганы. Едва вошел Десницкий, твердый, подтянутый, в парадной форме, как на инспекторский смотр, все поняли, что свершено непоправимое, что безумная эта ночь — *ночь восстания.*

Еще поняли: Десницкий, с ним бледный юноша, вольноопределяющийся Рут, и еще два-три молодых офицера — пока *весь их оплот,* все их руководство против многих тысяч не нарушивших *присяги* солдат.

Прочно обученные в любой миг вызывать в памяти цифры «Памятки», солдаты невольно прикидывали сейчас в этих цифрах: какая они ничтожная горсть и как несметны враждебные силы... Многие побледнели до зелени, все тесно сплотились вокруг Десницкого.

Помертвев от отчаяния, вымолвил Рут:

— Предупреждал я: войска с заводами не сорганизованы.

Его прервал Десницкий, уже спокойный, как обычно:

— Дело сделав, назад не глядят. Товарищи, не

робейте! Кто свой, тот примкнет и сейчас. Одно помнить вам: назад нет пути!

В подкрепление Десницкому — ликующий голос из коридора возвестил:

— Ваше благородие, из третьей роты и из четвертой пришли. Желательно с нами...

— Уррр-а!..

Обнимались с выборными; показалось мало, — стали их качать. Уже светало, когда вольноопределяющийся Рут, вскочив на стол, долго и тщетно упрашивал дать ему слово.

— Опять за партию томить станешь?

— Не дождались, вишь, от твоей партии «посошка» в путь-дорожку!

Но Рут уже не думал удерживать. Он объявил, где именно и когда будет совещание всех восставших частей. И еще сделал предложение Рут: совсем не ходить на обед, чтобы начальство не вздумало отобрать у солдат оружие.

V. НА «ФОНАРИКЕ»

Поздно вечером, после конференции, где решили не только выступать, но выработан был весь маршрут — от казарм к арсеналам, Дмитрий Десницкий, сделав большой обход, направился к «Фонарику» — хутору Вереды.

Он вышел сразу, тем глубоким оврагом, где намедни солдаты заслушались Полищука. Собаки уже наелись на бойне и лежали на обычных местах. Они было подняли лай, но Британ — атаман — вынюхал, что путник знаком, и тявкнул на всех, чтоб молчали. Сам же, отделившись от своры, махая хвостом, пошел вслед за Десницким. Он угадал, что путь офицера лежит на любезный ему хутор, где у пестрой Клюквы зарыты для него отличные кости.

Десницкий потрепал пса по лохматой спине и пропустил вперед на тропинку. Ветер взвихривал снег, мел следы; пес повел его нюхом. У Десницкого все стояло в глазах белое лицо Рута, за последние сутки опавшее до худобы от бессонницы, от последних усилий остановить выступление. Рут горько укорил Десницкого за невмешательство, и сейчас ему надо было беспристрастно решить: прав ли он был?

Живя с солдатами одной жизнью, Десницкий научился, как мать за детей, не мыслью — всем существом ощущать все за них, с ними. И сейчас он знал наверное — для них слов больше нет, есть действие. Все равно какое, хотя бы безумное. Вот почему ему самому, как и солдатам, стало легче, когда решено было, больше не откладывая, не размышляя, завтра же идти против всех.

Но Десницкий знал еще и то, чего солдаты знать не хотели: он знал, что восстание будет неудачно, что иным сейчас оно быть и не может. И все-таки даже здесь, не на людях, сам с собой, легким свистом призывая Британа, чтобы не отбегал далеко, Десницкий был покоен.

Приход Десницкого в революцию не был результатом исканий истины, ни работой воли — это было как тот внезапный и коренной переворот, который в истории религий зовется «обращением».

Из-под Мукдена вернулся старший брат с ампутацией обеих ног. Лежал в лазарете, подробно рассказывал про войну, день за днем, не ужасаясь, не делая выводов. Когда зажили ноги, попробовал ползать на культяпках. Как-то, глянув потухшими глазами на брата, сказал: «Мать человека в муках рожает, сам в муках растет — и вдруг сокращение: не человек — полчеловека!» Улучил минуту, дополз до ящика, взял револьвер и застрелился. А младший Дмитрий Десницкий, выйдя из оцепенелого безмолвия, куда повергла его эта смерть, почувствовал вдруг, что линия жизни его перевернута, что отныне, если остается военным, то лишь для того, чтобы превратить и солдата — безвольное пушечное мясо — в хозяина жизни.

Дмитрий, потомок рода военных, не мудрящих, с крепкой, нерасколотой волей людей, не мыслью, бурным чувством пережил ужасное горе, крушение старого. Но, пережив, как паровоз, переведенный стрелочником, и на новых рельсах за собой мчит вагоны, так и он, с тем же сознанием своей силы и права, как был военным, став революционером, за собой повел солдат.

И солдатам Десницкий был близок. Через его простоту и крепость им стало понятней все новое, что агитаторы приносили в казармы. Солдаты, как дети, уставали от напряжения мысли, они хотели примера. Почти каж-

дый «вольный» оратор говорил им о задачах своей партии, о политике, и лишь в связи с общим упоминал о преимуществах от «переворота» и в их жизни. Вчерашние мужики, себе на уме хозяева, солдаты нередко притворялись дураками, чтобы не попасть впросак. Но то, что Дмитрий Федорович разделяет «программу», было решающим; не мог он такой, каким они его знали, их подвести. Знали, что он с ними вместе умрет, и шли за ним на тайные собрания, из его рук брали прокламации, по ним вели дальнейшую пропаганду.

Быть может, Десницкий был вовсе не умный человек, и это помогло ему быть человеком цельным, но зато он был из тех редких удачников, чья голова удерживает лишь то, что вместить может чувство и, не задумавшись, свершит воля. Вот только Пашенька...

В последнее время ему, как путешественнику, узнавшему, что призвание его идти на открытие неведомых стран, встречи с Пашенькой были ужасны. Она молчала, а он знал, что погубил ее, допустив полюбить себя, когда линия жизни его повернулась, когда от всего личного нужен отказ. Вот почему сейчас, подойдя к хутору Вереды и стуча условными стуками в дверь коморы, где жил Кузьма, он хотел одного: пусть откроет не Китовна, а сам Кузьма, чтобы не дошло до Пашеньки...

Все так и вышло: не дожидаясь повторного стука, Кузьма, который был уже настороже, открыл немедленно дверь и впустил Десницкого. Пятнистая, клокатая Клюква принимала в своей будке Британа и не побеспокоилась лаять на гостя.

В коморе, где у Вереды поселился Кузьма, было натоплено и светло. Посреди, от пола до потолка, стоял для подпоры огромный кирпичный столб, отчего комната сделалась похожей на сцену. Довершал сходство свет, падавший из-за столба на одну лишь постель. Это Кузьма приспособил, чтобы лежа читать. Еще стоял угловой диван, огромный как квартира. На него сел Десницкий, снял шапку и расстегнул сюртук.

— Можно у тебя до рассвета? — спросил он. — У меня утром здесь дело, а от себя идти — след заметать.

Кузьма спускал на последнее незакрытое окно зеленую штору и, прижавшись к стеклу, считал густой бой с колокольни Ионова монастыря.

— Ровно двенадцать, — сказал он, подавая Десницкому одеяло, — стелись да высыпайся, до рассвета успеешь. А у меня бессонница, пойду бродить под луной, как проклятый.

Однако Кузьма не ушел, а сел рядом с Десницким:

— Ну что у вас?

Не спеша сказал Десницкий:

— Удержать нельзя, поднялись не спросясь, послезавтра выступаем. Вот принес спрятать...

Он вынул из-за рубашки плотный пакет, дал Кузьме:

— Есть сохранное место дня на три? Нам каждому грозит обыск. Тут, между прочим, последние протоколы и маршрут.

— Полагать надо, это уже «история», — улыбнулся Кузьма. — Как бы ни было, вас «проходить» будут внуки.

— Рут за этим зайдет, запри понадежнее.

— Ничего у меня не запирается, кроме двери, — сказал Кузьма и вдруг, оглядев комнату, догадался — в старую печь.

Он открыл заслонку в печном столбе, подпиравшем потолок.

— Сюда до весны не заглянут, топится новая печь, да и ту топлю сам, уже всех к тому приучил.

Кузьма заложил пакет кирпичами и так крепко захлопнул дверцу, что на железном листе загрохотала отскочившая глина. Потом легко вскочил и стал ходить в задумчивости вдоль окна.

Высокий, плечистый, с русой курчавой головой, в этом армяке, схваченном красным кушаком, похожий на разбойника-ямщика, Кузьма стал перед Десницким и с видимым усилием спросил:

— Хочешь видеть Пашеньку? Проберусь и вызову — никто не услышит.

Десницкий поднял к Кузьме лицо. Сейчас оно не поражало юностью, было устало и бледно. Как давно обдуманную вещь, он тотчас сказал:

— Нет, не зови. И больше того: прошу скрыть от нее, что я был.

— Да ведь, если выступление... — Кузьма запнулся, но, взглянув на невозмутимое лицо Десницкого, вспыхнул

и жестко сказал: — ведь тебя убьют или сошлют — конченный будешь человек?

Десницкий слабо покраснел.

— Я и сейчас конченный. А ей жить... Память о последнем прощании — трудная память, она может помешать ей устроить свою жизнь.

Десницкий разделся, обстоятельно расправил на спинке стула сюртук, аккуратно, один к одному, примкнул сапоги и чуть улыбнулся в ответ на перехваченный изумленный взгляд Кузьмы.

— Это по опыту — когда все очень аккуратно, легче вставать. А я уже ночи три почти вовсе не сплю. — Десницкий закрыл глаза.

В белой комнате, с головой на белой подушке, Десницкий показался Кузьме каким-то «мертвым именинником».

— Не живой ты, — тяжко сказал он и стал шагать вдоль по коморе.

Злоба его разрывала: и рад он был, что Пашенька не увидит Десницкого в этом спокойствии накануне смертельной опасности, которое она, конечно, навеки запомнит как героизм, когда, быть может, это всего-навсего — ограниченность «поручика». Но тут же рядом у самого были и невольное восхищение и зависть к этому «поручику».

Молчали. От бойни шел лай. Сперва сердитый, потом затяжной, с жалобой. Свора звала для чего-то своего атамана. Десницкий, повидимому, спал.

«Вот так просто он и умрет», — с досадой думал Кузьма и, не выдержав, окрикнул:

— Дмитрий!

Засыпавший Десницкий привстал, открыл глаза, чуть кивнул, утверждая вперед, что ему все понятно.

— Ну, о чем хочешь спросить? Спрашивай.

Перед доброй готовностью этого человека, смертельно усталого, которому вот-вот вести в бой людей, Кузьме стало стыдно разводить «психологию», и он спросил только о деле:

— Почему ты не поддержал Рута против солдат, а идешь сам с ними в ногу на верную гибель? Что могут два-три батальона? Зря пропасть.

— Зря гибели не бывает. Наш пример повлечет за собой других, и чья-нибудь будет победа. Слыхал: «и погибнуть в борьбе за победу своего идеала — великое счастье»?

Кузьма поморщился. Ему было оскорбительно, что Десницкий, все-таки необыкновенный человек, которому он в чем-то завидует, которого любит Пашенька, — говорит такие готовые, известные фразы.

Конечно, это очень почтенное чувство, но есть и проблемы мысли...

Десницкий поднялся, протянул Кузьме руку, которую тот слабо пожал, но почему-то не выпустил. Десницкий сказал:

— Я понимаю, чего ты не договариваешь в своем вопросе. Да, для меня проблем мысли нет, потому что самого меня нет. От последнего я отказался, не желая видеть ее... и вот из личной жизни я вынут, я только часть целого. Пойми меня: я больше не я, я — они. Точка расширена в круг. Прости, больше мне нечего сказать.

Десницкий откинулся и выпустил руку Кузьмы. Кузьма надел кожух, потушил лампу и с арапником в руке тихо вышел в сени. Ему почудилось, когда он щелкал в дверях ключом, что кто-то шарахнулся от коморы, что, убегая, прошлепали туфли. Но, открыв входную дверь, он при свете луны уже не увидал никого. Сквозь ставни из окна няни и Пашеньки свет не мерцал. Спали все. Луна, застывшая в радужных кругах, стояла высоко над хутором. На будке пятнистая Клюква, задрав морду, выла в ответ несмолкающей стае. Британа в гостях у нее уже не было.

Опасно человеку, еще не набитому, как портфель бумагами, прочным, внутренним жильцом: убеждением, верой или иной определяющей схемой, смотреть на луну.

Под луной светит снег собственным светом, и бескрайный земной пейзаж, то холмистый, то овражистый, походит на тот, который предстоит глазу при взгляде в телескоп на луну. Когда отвеяны и воздух и краски, проступает скелет планеты, ее четкая графика.

Если долго глядеть на луну — из быстротекущих мигов, смены впечатлений и чувств проступает неизбежно один лишь железный каркас — *моя мысль.*

У Ионы ударили к ранней. Битым стеклом жидкий дзинькнул звук на покрепчавшем морозе, не поплыл над землей, а разбился коротко и увял. И другой звук и третий — без жизни.

И подумал Кузьма: «Подымаются монахи к ранней, а им хочется спать. И, быть может, одному, самому молодому или самому старому, приходит на ум, что он губит зря или уже погубил свою силу и жизнь. Единственную, неповторимую, свою». И тут же мелькнуло: «Десницкий так и умрет, не пожалеет, хоть и не верит ни в какую иную жизнь, кроме той, которую и не прожил».

Что же, когда со всех углов охватит пожар, какому ветру ни дуть — не задуть. Чувство — огонь, толкающий волю на героизм. Мысль — вихрь взметающий. *Мысль разбивает волю.*

Но жить жизнью чувства — или вечное детство, или редкий талант. Нет, Кузьме свое чувство пронизать надо мыслью и такой скрепить системой, которая, выдержав все возражения, не погнувшись, отстояла бы себя...

И Кузьма устремился к тому, что случилось на днях, важность чего еще во всей мере он не мог осознать. Как факт, казалось бы, пустяк: одна разрешенная лекция малоизвестного ему доселе философа. Однако для мысли его эта лекция была то, что смерть дяди Потапа для решения совести.

Кузьма как-то вечером проходил мимо клуба автомобилистов, куда толпами входили, как ему показалось по лицам, манере, ярким галстукам и булавкам, всё сплошь приказчики галантерейных магазинов с супругами. А на дверях клуба была афиша, ничем решительно не связанная с автомобильным делом. На афише значилось что-то о «Спинозе, свободе и догмате». Из расспросов публика оказалась действительно «галантереей», пришедшей на лекцию «сына нашего хозяина».

Некоторые, пожимая плечами, прибавляли:

— И вовсе он еще не профессор!

— Я бы не умер, если бы не пошел, не будь он сын своего отца!

— Идем на пару часов скуки, — улыбались дамы. — Ну, знаете, ради старого Вюсте-отца, нашего русского «законодателя мод».

— Сын таки неудачный, не к этому перейдет дело!

Кузьма понял, что читать будет молодой Вюсте, о котором он слыхал, еще живя у доктора. О нем читал раздраженные фразы профессоров из толстых журналов, что, взрывая все синтезы, Вюсте проповедует «голое Ничто».

Кузьма вошел с приказчиками галантерейных магазинов. Веселенький зал с фотографиями автомобилей и их хозяев, взявших там-то и там-то призы, мало располагал к философии. Публика, очевидно, пришла из почтения к огромному магазину «Вюсте и сыновья», в совершенной невинности по отношению к Спинозе. Охотно сплетничали, что лектор «новый блудный сын и вроде как сумасшедший». Отовсюду слышалось с пожиманием плеч: «И вовсе он даже не профессор!»

Впрочем, были здесь и знавшие, зачем пришли: студенты духовной академии, профессора, интеллигентные батюшки. Они держались кучками и, касаясь друг друга носами, глубоко уйдя в споры, взрывались цитатами; бросались латынью, церковнославянским и греческим.

В стороне один у стены выделялся бледностью и глазами Абрам Рут. Кузьма взволновался, увидев его.

То, что он знал из биографии Рута, наполняло его уважением, но относило Рута к тому порядку людей, как и Десницкий,— людей, на категорическом чувстве строивших действие. Только Десницкий всего себя отдал делу солдат, Рут — делу партии. Личной жизни и «проблем» у обоих уж не было.

Вышел Вюсте. Приказчики, подталкивая друг друга, немедленно стали аплодировать. Вюсте побледнел, нахмурился, что-то шепнул распорядителю; распорядитель попросил: «аплодисментами не нарушать»...

— И рады, что не нарушать, в чем дело? — смеялись кругом.

Вюсте, очень высокий и худой, сразу похож был на задумчивого еврея-фурманщика, который в Западном крае возит седока на высокой «беде», помахивая кнутом выше головы лошадей. Но едва он стал говорить, забылся

фурманщик, а вспомнился и сам Микеланджело и его тяжкий пророк Иеремия. Голос был глухой, с совершенно особой, волнующей интонацией, которая сразу поразила Кузьму. Вюсте намеренной простотой, какой-то вседневностью звука произносимых слов, казалось, хотел обезвредить, сделать менее жестоким значение того, что говорил. Выходило: будто очень доброму человеку, под давлением неумолимой, роковой силы, надлежит жечь, убивать, отнимать...

И все-таки, вспыхивая и бледнея, то мрачно, то измученно глядя из-под мохнатых бровей, казнясь сам, Вюсте казнил. Своим музыкальным глухим, разбитым голосом он отнимал все у того, кто мог понять его слова, и главное — то, что было между строк. Отнимал веру, надежды, гнал в холод с насиженных даровых мест, заражал своей болью, своей глубиной, своим отвращением к дешевой «осанне». И все это будто о Спинозе, о свободе и догмате; но кто понял — узнал, что все это только о нем самом.

И выходило: «у человека нет ничего; все должен создать себе сам. Но в этом создавании лучше погибнуть, чем взять камень вместо хлеба; категорический императив вместо бога живого, жалкую преходящую «любовь» человека вместо «неба в алмазах», прогресс и курицу в супе правнуков взамен собственного, личного «воскресенья»...

Вюсте, бледный, держась длинными пальцами за черную тесьму, вместо цепочки проползавшую у него по жилету, был как яд, обличающий самозванство брильянтов поддельных, и, не вынеся его правды, ему крикнули уязвленно: «Агностицизм!»

Да, в противоположность Десницкому и Руту: «ничего своего, не я, *а они»* — здесь было все только *«свое».*

Кузьма невольно оглянулся на Рута, ожидая увидеть на его лице высокомерное презрение. На лице Рута, не следившего за собой среди этих приказчиков с женами, скучавших из профессиональной любезности, была большая мука. А когда опущенные глаза метнулись на говорившего, в них вспыхнул настоящий гнев. Кузьма подумал, что и у Рута сумел что-то отнять этот «энциклопедист» космической революции, как брезгливо назвал Вюсте один доцент.

Сейчас, начав вспоминать, он уже видел в подробности, как, желая после лекции нагнать Рута, попал в гущу студентов духовной академии. Один взволнованно повторял: «Спиноза-то ему фиговый лист», а курсистка, не давая окончить, кричала: «В Спинозе он дилетант! Где его диссертация? Ну, где его диссертация?»

Печально следя за услужливой памятью, Кузьма сбивал арапником уцелевшие с осени будяки, легкие и колючие. Они, как мячи, упруго прыгали по заиндевевшим кочкам, он их подгонял. Со стороны глянуть — сумасшедший кружится под луной.

Вольноопределяющийся Рут так было и подумал, подымаясь из-за холма хутора, но через минуту узнал и окрикнул Кузьму.

Кузьма изумился и с волнением сказал:

— Абрам Рут, вы сейчас мне самый необходимый человек — и если возникли, как черный пудель перед Фаустом, едва я подумал о вас, то должны меня выслушать и мне ответить.

Рут, не улыбаясь, прервал:

— Но прежде я спрошу вас о деле: где Десницкий?

— Спит, как косец, откосивший свою десятину. Дайте ж ему выспаться — и машинам дают отдых.

Рут посмотрел на часы, сказал:

— Это можно. Однако пойдемте хоть медленно к дому.

Светила луна на неровности снега, пустыня была вверху, и пустыня была внизу, — неправдоподобным казался пейзаж, и, продолжая свои мысли вслух от необычайности встречи, не стесняясь Рутом, Кузьма возбужденно продолжал:

— Рут, я вас видал на лекции Вюсте о свободе и догмате.

— Вюсте? — переспросил, как бы припоминая, Рут и небрежно уронил: — Мрачный еврей, который волнует одних профессоров догматического богословия...

— Ну, положим, что взволновал он и вас, — отрезал Кузьма. — Какая ненависть была в ваших глазах! Не оттого ли, что Вюсте и из ваших рук вырвал «осанну», из вашей крепости выбил кирпичи и вам было нечем ее отстоять? Я вас уважаю, Рут, я чувствую, что вы, как и Десницкий, не дрогнете ни в тюрьме, ни перед смертью.

Но какая между вами и мною лежит пропасть? Вы себя зачеркнули, вам не надо себя перед собой оправдать, вы себя поместили. Я не могу. Как Архимеду, мне для себя хотя бы одну невзрываемую точку. Но ее получить не отметанием — принятием всего в себя: науки, искусства и мысли. Рут, я вашу борьбу понимаю вот как: на каждую мину аршином глубже подвести контрмину. Но в какой глубине! А на плоскости бой — да это рукопашная, это старинные простодушные шпаги — обольщенье юнцов, расчет режиссеров.

Они шли по холмам. Рут, короткий, несмотря на военную шинель, совсем не военный, одним ухом слушая приподнятую речь Кузьмы, думал о полученном им известии о брожении в Спасских казармах и придумывал, кого бы послать туда спешно для связи.

Кузьма спросил:

— Товарищ Рут, можно задать вам один вопрос?

Рут повернул бледное лицо и, не говоря, мигнул ресницами, что слушает.

— Товарищ Рут, неужто вас удовлетворяет до конца положение, что нелепо и ставить вопрос: справедлив ли социальный процесс? Важно, дескать, лишь то, что он необходим. Но если иной убедительности, кроме «он необходим», нет, то разве и мне, участнику в этом процессе, человеку, живущему свой единственный, неповторимый миг, так же не важно и не необходимо все, что вошло в создание человека? Искусство, философия, культуры погибшие и культуры нашего века? Социальный процесс — человеку количественному, богатство культур — качественному. Я — пересечение. Но приносить свою, неповторимую, личность во благо чьей-то грядущей, безглазой... Отмена жертв во имя жертв новых! Нет, довольно: или, не начав думать, поместить себя щенком в тот или иной кузов, или свершить полный круг и уже излиться от полноты, от чрезмерности, оттого, что все во мне хочет так, мыслит так, и только так. Но для этого, Рут, надлежит совершить полный круг, надлежит отлиться в систему, как в формулу. И пока сам себе я не алгебра — как мне ни хочется, мне в партию поступить невозможно.

— Но это ваше личное дело, — холодно сказал Рут. — Мы почти у ворот.

И, впервые вглядываясь пристально в Кузьму, Рут спросил:

— Вы из дворян? Двоедумец?

— Рабочий! — крикнул Кузьма. — Сын и внук рабочего!

— Тише, — одернул за руку Рут, — вызовите Десницкого так, чтобы никого не разбудить.

Кузьма крадучись вошел в комору, осветил карманным фонарем Десницкого. Тот вскочил немедленно, как солдат, приученный спать в промежутках боя, и через минуту был готов. Тихо вышли из коморы за ворота, и все трое пошли по направлению к монастырю Ионы, где не могло быть за ними никаких дозорных. В трапезной же с раннего утра можно было выпить чаю с постными пирогами.

Тем временем няня Китовна со свечой подошла к коморе. Теперь уже не от кого было, шлепая туфлями, убегать ей, как вору. Подсматривая, подслушивая по соседству всю ночь, видела она, как Кузьма с Десницким ушли за ворота. Все-таки, оглянувшись, не видит ли кто, хотя к Пашеньке дверь была плотно закрыта, а через стену доходил один мощный храп Вереды, Китовна бережно вынула из кармана второй запасной ключ от коморы. Он хранился у нее с тех пор, как после спившегося здесь мирового, освятив пристройку, туда вдвинули шкапы с соленьями и вареньями. Поражая своим прозорливым контролем посылаемых в комору девочек, Китовна достигла славы «ведьмачки» и всякого отучила от соблазна легкой наживы. За Кузьмой же после сватовства его к Пашеньке надзор Китовны перешел в один политический сыск, особенно после того, как капитан Грузовой уверил Вереду, что в виду «событий» таких людей, как Десницкий, попавших в крупное замечание, нельзя и пускать на порог. Китовна же досмотрела — Десницкий бывает секретно.

— И что за ночной гость? Как татарин, вошел невесть когда, выпущен на рассвете, без чаю? Такое-то сейчас время, как раз подведет...

Китовна боялась за своего старого барина, а больше всего, что Пашеньке вскружат голову и «вовлекут». Все

Пашенька молчала, все носом в книжку. Хороших женихов отгоняла. Вот только этот Кузьма, названый братец, ныне суженый. Только нет, не он, Десницкий ей по сердцу: приметил зоркий старческий глаз Китовны — как увидит его, вспыхнет Пашенька. И не чисто дело с этим сватовством Кузьмы: кабы взаправду любил, уж соперника чуял бы, а то знай с ним шушукаться по ночам! Дело нечистое.

Няня Китовна вошла в комору. Хотя здесь давно не стояли шкапы ее ведомства, что таили соблазны девчонкам, — все тут до подробности известно старухе. Поставив свечу на стол, она на диване перетряхнула подушки, глянула под наволочку, ища записку или какого украденного у Пашеньки сувенира. Воспитана Китовна была среди помещичьих барышень и знала всю тонкую хитрость влюбленных.

Но сувениров не оказалось. Как вчера, так и сейчас рассыпан был у Кузьмы по столу один лишь табак, и пусты выдвижные ящики. Вместо комода хранил там приезжий белье.

«Ах, не хорошо так, — подумала Китовна, — дому срам; уж коли остался жить да женихом сделался, воля ихняя, надо поставить ему и комод!»

Уже успокоенная, не обнаружив вредных последствий ночевки Десницкого, Китовна вздумала уходить, как ее хозяйский глаз привлечен был некоторым непорядком. Под заслонкой столбовой печи на порыжевшем железном листе лежали комки глины, что всегда происходит при сильном хлопанье дверцы.

— Зачем в печь-то лазали? Хоть и знают, что не топится. Не иначе, что прятали...

И, не докончив мысли, уверенно шаря рукой, с ожиданием ощупать обличающие бутылки, Китовна, к удивлению, стукнулась о плотно наложенные кирпичи. Она присела, как баба-яга, перед печкой, кирпичи вынула и обнаружила под ними плотно набитый конверт.

«Эге ж, — подумала она, — ну и вредные хлопцы: чего дозволенного кирпичом не завалишь».

Вынув бумагу из конверта и положив его пустой назад в то же место, Китовна заложила все кирпичами, закрыла печку и, не тронув глины, чтобы не вышло улик,

как ни хотелось ей навести чистоту, — прошла к дядько́ Вереде.

— Что приключилось? — испуганно вскинулся Вереда, продирая глаза на пламя свечи.

— А то вышло, — сказала мрачная Китовна, — что достукались вы с этим Кузьмой! Ночью был у него Десницкий. Часа два шептались, ушли на заре, без чаю-кофею, а в печке-то вот. Кабы не самая бомба! Разверните с опаской, — говорил один человек: стрельнуть может бомба из спичечной коробки. Обучились, такие-то...

Вереда развернул бумагу, прочел, побагровел, крикнул:

— Немедленно запрячь Фанфару. Бумага государственной важности. Я сам с нею еду к капитану Грузовому.

Уже был совершенный рассвет, когда Кузьма выводил тропинкой, спускавшейся на базар предместья, своих спутников, чтобы, незаметно смешавшись с толпой, они в ней показались естественными в столь ранний час. Прощаясь, Рут сказал Десницкому, указывая на Кузьму, сказал не то шутя, не то серьезно:

— А что же нам рекомендовали его как сочувствующего? У него самая вредная подоплека, даже странно при его происхождении.

Десницкий улыбнулся:

— Ты, конечно, донимал Рута «вопросами»? Все еще не веришь, что поплыть — надо броситься в воду, а сколь ни будешь узнавать от пловцов, ничего не узнаешь? Жизнь не головой, самой жизнью решается. Вот, вместо того чтобы раздумывать, помог бы ты нам: съезди в Москву! Человека лишнего нет. Все мы тут наперечет в деле. В университете ж тебе все равно не учиться, такое ли время? Право, съезди, Кузьма, в Москву!

— А ведь в точку, — сказал Рут. — Сделайте-ка нам это дело. Да и не нам — всей России!

— Обдумай до вечера, и если решишь, приходи ко мне на квартиру, — сказал Десницкий.

— Подумаю...

Они спустились на базар, а Кузьма пошел бродить по холмам — предложение его взволновало. Он сам себе уже много раз говорил, что надо уехать: как ни наивна была ловушка доктора, пославшего его на «Фонарик», —

он попался: Пашенька с каждым днем ему нравилась все сильней. Сколько ни твердил он себе, что она самая заурядная девица, только свежее и попроще обычных, потому что выросла на воле, но уж в спутницы жизни ему, который и сам-то не знает, куда его занесет, разумеется, не годится. И она на своих ногах не стоит: останься Десницкий обыкновенным саперным офицером, будто не вышла бы за него? Революционные идеи — для нее его личная обстановка, не более. Еще унижала ревность к Десницкому, который в то же время и сам был ему привлекателен.

Кузьма заметался в холмах, здесь все было так однообразно: холмы и овраги, ни куста приметного, ни тропинки. Колокольня Ионы скрылась куда-то, и, потеряв ее, он потерял последний признак направления к хутору. Вдруг он увидел на снегу кем-то убитого Британа и вспомнил ночной поминальный вой собак. Крови не было видно, пес лежал как мохнатый мешок, с оскалом яркобелых зубов, похожим на улыбку. Огибая его, из-за яра подвигались собаки. Британу уже все изменили. Длинной вереницей, желтые, пестрые, вслед за каким-то новым вожатым тянулись они к бойне встречать первый убой скота. Поняв, где бойня, Кузьма смело свернул к хутору. Когда он подходил к воротам, розоватый туман уже окреп над холмами. По самой середине наметилось солнце, и вдруг, раскутав свои пелены, как на дежурство зажженный фонарь, оно терпеливо и обычно осветило окрестность.

Перед хутором Кузьма столкнулся с няней Китовной. Повязанная черным платком, с узелком «поминаньица» шла она к ранней, минуя Иону, в другой монастырь.

— Что это вы, батюшка, какая нашему дому от вас неприятность? — сказала она, намеренно не здороваясь. — Гостя-то и кофеем не попотчевала! Чай, моя клеть не на бойне, мог бы сказать. До тебя ни один гость не поевши от нас не ушел.

— Какой гость? про кого вы? — притворился Кузьма.

Старуха безмолвно махнула рукой, уплыла.

Собаки лаяли... Совсем рассвело.

На пороге в шубке и шапочке стояла Пашенька и гневно спросила:

— У тебя вчера был Дмитрий? Отчего ты меня не позвал? — и, сдвинув брови: — Признайся, ты это сделал нарочно?

— Дмитрий запретил мне говорить тебе. Это было первое, что я собрался сделать при виде его, — вспыхнул Кузьма.

— Прости меня, — взяла его за руку Пашенька, — я чувствую, дни сочтены. Я должна еще увидеть его. Может, успею. Будь братом, помоги! Расскажи моим старикам что хочешь. Я скоро вернусь.

— Пашенька, — Кузьма сжал ее крепко за руку, — сейчас ты его не найдешь. Позднее я сам тебя отведу. Завтра я еду в Москву...

Он сказал про Москву от волнения, что любовь его к Пашеньке безнадежна, но едва сказал, уже знал наверное, что уедет.

Уходя с Пашенькой, под вечер, Кузьма открыл заслонку старой печи, глянул на белевший сквозь кирпичи пакет. Спокойный, что бумаги целы, он запер комору и положил ключ в карман.

VI. ЧЕРНЫЙ ОКОЛЫШ

Последнее военное совещание состоялось в квартире сапожника на окраине города. Уже ни один голос не поднялся за ликвидацию восстания. Все, как Десницкий, вдруг поняли, что если солдат выскочил из привычного хомута, он, как поезд, летящий быстрее положенной скорости, или должен сорваться с рельсов, или быть управляемым особенно твердой рукой. И вот Рут, Десницкий и еще несколько человек, заранее горько уверенных в поражении, приняли на себя руководство движением. Приняли и ту программу действий и тот маршрут, который выработан был еще за несколько дней и вместе с прочими важными бумагами и черновиками передан на хранение Кузьме.

В казарме остались недовольны последним пунктом постановления комиссии о том, чтобы завтра, после общего митинга, разослать депутатов по войскам и фабрикам с предложением присоединиться.

— Сами выступим, сами сымем, кто упрется!

— Сымать не придется, только б выступить.

— И конно-горная батарея согласна, и от Курского приходили!

— Еще есть *один* полк, — сказал, подчеркивая, ефрейтор, — «черный околыш». Кабы чего черного он не принес?

— Ты это что, хиба часом сказився?

И рядовой Шпоня, чей брат был в этом полку, рассердился:

— Может, где точно есть сучьи дети, так не они ж? Миргородцы с нами с самого лета! Вместе в лесах, вместе в оврагах. Что у нас, то у них. Да чтобы у меня в глазах потемнело за черный околыш!

— Посмотрим, увидим.

— Коли сахаром их не сманили, так ладно! Только с осени, братцы, идет им усиленный порцион довольства, а ведь и кабанам кормы сыплют не зря!

— Чего раскаркались до срока? Из-за пустого места собачитесь? Вот подымемся, все как один примкнут.

— Уж если казаки прислали гонцов, что не будут стрелять...

— Тоже ведь люди казаки-то!..

— Да немало и побили своих...

— А все же, ребята, Дмитрий Федорыч прав: выступай с боевыми патронами!

Дмитрий Десницкий поздно пришел на квартиру. Денщику сказал будить себя как обычно, думая, что до завтра заводы не столкуются и депутаты от солдат не будут на месте. О том же, что солдаты еще перерешат, после общей резолюции, и вдруг пойдут «снимать» сами, ему не приходило в голову. Несколько часов он проспал как убитый. Вдруг дробный стук в окно разбудил его. Привыкший за последнее время к внезапностям военного времени, Десницкий вмиг сообразил, что желающий его видеть не хочет быть замеченным, открыл форточку и, не спрашивая, глянул на улицу. Пред ним стоял Кузьма в своей коричневой свитке и рядом с ним... да неужто же Пашенька?

— Войдите, — сказал Десницкий, — у меня нет никого. — Его руки дрожали, и он никак не мог открыть сразу дверь.

Пашенька едва вошла, не сбрасывая шубки, белой от снега, вскинула ему обе руки на шею.

— Как я боялась, что не увижу! — и она заплакала.

— Ты пришла? Сама пришла? Ну, теперь уже все...

Десницкий не договорил, потому что словами сказать было надо: «Теперь уже все, о чем я даже втайне мечтал, сбылось, и для себя ничего мне не надо». И еще бы сказал: «Теперь умереть легко».

Кузьма остался ждать у дверей. На мгновение он увидел лицо Десницкого за стеклом, и по тому выражению восторга и облегченности, которыми засветилось оно, понял его чувства. Кузьма охвачен был к нему той жалостной нежностью, которую ощущают к человеку противоположному или чуждому по природе, но несомненному по высоте внутренних качеств. Сейчас он не ревновал, не завидовал Десницкому. После той ночи на холмах все, что входило в его личную судьбу, тоже куда-то отодвинулось и перестало быть важным. Он остался стоять в палисаднике и смотрел на круглую вишню, пышно усыпанную снегом, как белым цветом. Тянулись мимо возы с прессованным сеном, шли рядом с лошадью, с румяными щеками и побеленными снегом кудрями, два хлопца, и подумалось: «Хорошо, что восстание начнется в базарный день: разнесут по деревне».

Кузьму окрикнул подбежавший к крыльцу Рут: «Десницкий дома?» и, не дожидаясь ответа, стал стучать в дверь. Отворил Десницкий. Рут и Кузьма вошли.

— Дмитрий, восстание началось! Они опять не послушали, не подождали заводов. Первой вышла третья рота... И военно-телеграфная... Строятся под командой фельдфебелей. Спешим!

Из-за перегородки вышла Пашенька, такая бледная, что Рут ее не узнал. Десницкий быстро подошел к Пашеньке, взял ее за руку, другой взял Кузьму, глянул на каждого широко расставленными заяснevшими глазами, сказал:

— Ну, если что со мной... вы продолжайте! А ты, Кузьма, что бы ни было, сейчас же езжай в Москву, передашь спешно.

Он написал несколько строк, запечатал и подал.

— Вот тебе рекомендация.

— Что делать с пакетом? — спросил Кузьма. — Ключ у Пашеньки, я ей передал.

— И отлично; пакет примет от нее на днях Рут. — Но, подумав, что и Рут может быть убит, Десницкий прибавил: — Если не Руту, пакет надо будет отдать тому, кто придет от нашего имени. О пакете все знают.

Еще раз широко глянул Десницкий на Кузьму, чуть дольше задержал глаза на Пашеньке, и конец. Отошел, как отрезал. Спешно надевал шапку, шинель, бросал Руту кратко:

— Какие части? Где?

И вдруг Рут стал ему отвечать подтянуто, как подчиненный.

— Мне можно за вами? — спросила Пашенька.

— Сейчас нельзя. Завтра утром на ипподроме... Будем там рано.

Все вышли. Пашенька пошла было за Десницким, остановилась. Сжала крепко руки, глядела ему вслед. Как глядела, Кузьма видел, и молнией пронеслось: «Если он умрет, меня она все равно не полюбит».

Вдруг Десницкий обернулся, рукой остановил на минуту Рута, кинулся к Пашеньке, обнял ее и, уже не оборачиваясь больше, скрылся за углом.

— Ну вот, — сказала Пашенька с тем же восторженным облегчением, как недавно сказал Десницкий, когда увидел ее за окном. — Ну вот... — И, как он, она не докончила — о том, как важно ей, что Десницкий вернулся и поцеловал ее. Не друга, не товарища по делу, а просто Пашеньку, единственную для него женщину.

На другой день, около семи часов утра, стали выходить из своих казарм взбунтовавшиеся роты. Некоторые со своими офицерами. Выйдя, они двинулись в строгом строю. У каждого выступающего было такое чувство, что уж если он решил идти против начальства, то может ли быть иначе с остальными?

Солдаты были уверены, что едва их роты двинутся, то не примкнуть к ним встречным, состоящим из таких же, как они, солдат, живущим в тех же условиях, переживающим совсем то же самое, — ну просто же нелепица.

Кроме того, воспринятые новые идеи, агитаторы, штатские образованные люди — все убеждало их в собственной правоте и успехе. В газетах, что ни день, сооб-

щалось то о событиях в Кронштадте, то о событиях в Севастополе. То рота строевых матросов на команду «пли», вместо того чтобы стрелять по безоружной толпе, собравшейся на митинг, оборачивается и бьет по тем, кто командует. Убиты контр-адмирал, офицеры...

И требования, подобные их претензии, предъявляют то тут, то там, от медвежьих углов до самого Петербурга, где отказываются электротехники от занятий до исполнения поданной ими претензии. Не перестреляют же всех! Помнили, как всю Россию охватила почтово-телеграфная забастовка, как заступились за своих арестованных на московском съезде, значит, и за них, первых выступивших сапер, — заступятся.

И все-таки, повинуясь какой-то глубокой, кровной памяти, связи с бабкой, матерью и женой, каждый солдат на всякий случай, как для смертного часа, обрядился в чистое белье и выбрился. И, глядя на выступавшие стройные шеренги подтянутых сапер, торговки на базарах, дивясь, говорили:

— И чего ж це воны в таку рань идут до собору?

— Сдаеться, и свята нема ниякого!

— Мабуть, присяга?

И решали, что, конечно, присяга, для того чтобы укрепить пуще войска против «жидів та демократів».

— У нас, в Нежине, студентов на колени в грязь вперли перед царским портретом да всей громадой кричали: «Хай присягають!»

— А мы требовали, чтоб не един, два раза присягнули. Як молитву: утром да ще вечером!

— Да ведь он уже присягнул, скажут нам стары люди. А мы им: а нам яке діло, хай ще присягает! Разов до полсотни.

— А мы так самих гимназистов гоняли...

— Ну, а военные известно. Они, военные, сами идуть.

В этой древней части города с монастырем, лаврой, скаковым полем все давно отлилось и застыло: монахи в монастыре, военные в казармах. Сюда ездили в парных колясках дамы высшего местного круга любоваться на закат. Сюда же въезжал парой белый катафалк, и лошади со страусовыми перьями ныряли по выбоинам каменной мостовой, с важным покойником. На плацу, кроме скачек, еще бывали смотры. Проезжий немецкий принц

надменно обходил окаменелые роты, или эмир бухарский, будто спрыгнувший с обложки всем известного душистого мыла, с многочисленной свитой в разноцветных шелковых халатах, раздавал офицерам, ему на потеху взрывавшим фугасы, свои туземные, котильонные ордена.

Словом, жители предместья, равно как и жители города, до одури твердо знали решительно все, что могло быть на этом военном плацу.

И когда торговки и их завсегдатаи в столь ранний час увидали в образцовом порядке идущие роты, кому же могло прийти в голову, что идут они с неслыханной целью: «снимать» не восставшие части, не забастовавших рабочих и подать командующему военным округом прокламацию, где в окончательном виде стояли претензии?

Претензии о человеческом обращении, об уничтожении военных судов, об улучшении постных щей, выдаче постельного белья, еженедельной бане, бесплатной пересылке писем и в заключение: «Требуем немедленного созыва учредительного собрания, которое одно может помочь народному горю, улучшить положение крестьян и рабочих, создать новые свободные законы, заменить настоящую армию народной милицией... Да здравствует учредительное собрание!»

И музыкальные команды ввели обывателей в заблуждение. Примкнув к шествию, они для начала проиграли все свои невинные марши, и лишь после этого, перед самым огромным военным собором, грянули дружно «тот гимн».

Впрочем, что же такого особенного? Этот гимн русские слышали в дни чествования французов, по странной насмешке истории вступивших с нами в некий «альянц» при монархичнейшем из монархов. Гимн этот звался — «Марсельеза».

— Какой маршрут? — спросила бледная Пашенька ближайшего фельдфебеля.

— Саперный лагерь, инструментальный склад.

Пашенька, боясь отстать, следила глазами за серым пальто Десницкого. Он твердо шел впереди своих. Поровнялся с ней около башни, где расположена была важнейшая для дела рота — военно-телеграфная. Вместо мягкого человека, говорившего только по необходимости,

это был сейчас командир, как всадник с конем слившийся со своей ротой.

И начальствующие лица, подъезжавшие верхом, говорили с ним как с начальником восстания.

В ответ на сказанное вполголоса полковником, должно быть, увещевание отступать, Десницкий, оглядывая свою роту, намеренно громко сказал:

— Поздно, господин полковник, мы умрем, но уже не сдадимся!

— Ур-ра...а! — подхватила рота, и все солдаты, приведенные полковником, вдруг примкнули к саперам.

У гимназистов, толпой сопровождавших солдат, было восторженное отношение к Десницкому. Они уже узнали его фамилию и всю недолгую биографию, и один, страшно кудластый, вскричал:

— Десницкий, вы герой!

Другие заспорили:

— Это вы по Михайловскому... а мы против героев. И мы все против, но здесь исключительно...

Присоединялись рота за ротой, толпа росла, как снежный ком на пути от вершины к подножью горы. Солдаты братались, смеялись и плакали, были как пьяные. Их ряды стали расстраиваться. Десницкий остановил всех шашкой, взошел на лестницу какого-то дома и крикнул:

— Если вышли, идти надо с честью! Смиррр-на!

— Рады стараться!

И слышала Пашенька, одобряли ряды:

— Этого себе выберем начальником бригады.

Войска шли по широкой дороге за городом; Пашенька едва поспевала с толпой по холмам. Звуки Марсельезы долетели до «военных» собак. Сбитые с толку, они обнюхали воздух и, узнав, что идут солдаты, удивились, почему в лагери в этом году выступают, когда снег еще лежит по оврагам.

Собаки были сыты, и любопытство молодых победило страх перед необычностью. Собаки поднялись: из оврагов, из ложбин вышли желтые, черные, гладкие и кудлатые. Пышной свитой они двигались за солдатами. С вершины холмов на дороге хорошо были видны события: вот казачья сотня подскакала к саперам, отделился офицер, подлетел к Десницкому, саперы стали. Стало тихо и напряженно до муки. Казачий офицер говорил,

слов не было слышно: их отнес ветер, и высоки были холмы. Десницкий что-то ответил, поднял руку и широко обвел тысячи примкнувших к его роте людей.

Казачий офицер нагнул голову и, гибко перегнувшись к своим, отдал какой-то приказ.

— Устрелют! — крикнули бабы в толпе. Но этот крик вдруг просекло бурное, безмерно торжествующее «ур-ра».

Казачьи лошади расступились, и как сквозь шеренги почетной стражи прошли саперные войска, пропущенные без единого выстрела посланными на их усмирение казаками.

Пашенька сбежала с холмов, но пристать к роте Дмитрия ей удалось лишь у казарм артиллерийской бригады. Десницкий сейчас был так окружен, что за солдатами, превышавшими его ростом, на ровном месте он не был виден. Место же, где он стоял, неизменно определялось тем, что туда не переставали подъезжать для переговоров о сдаче полковники или, как в эту минуту, сам генерал-лейтенант.

Вот внезапно он стал на миг хорошо виден: часть сапер, его окружавших, кинулась в казарму убеждать артиллеристов. В просвете вырезался Десницкий весь: юный, простой, готовый на все, только не отступать. Для Пашеньки он уже был не «он», а как кто-то «на картине».

Даже и слова генерала не имели успеха. Восставшие двинулись дальше. Артиллеристы присоединились, замкнув Десницкого в своем кругу.

Не задержанные казаками, усиленные артиллеристами, саперы дошли до большого базара. Пашенька уже видела, что восстание нескольких рот превращается в триумфальное шествие, уже не беспокоилась об участи Десницкого. Опять оттертая от него шеренгами солдат, она даже не пыталась протиснуться в гущу, а взбежала на боковую лестницу какого-то трехэтажного дома наблюдать с верхних ступенек, как восставшие батальоны пересекут базар, как соединятся здесь с последним пехотным полком.

На базаре, как всегда, шла торговля. Гомонили вокруг своих ларей торговки, зазывали в боковые лавчонки с лентами, ситцами, с ворохом ослепительно красных подушек.

В несметном количестве юлили мальчишки вокруг огромных возов с соломой и с сеном, чтобы выдрать соломинки для мыльных пузырей. Замаскированная ларями, стояла учебная рота Миргородского полка.

Видимо возбужденные, продрогшие солдаты, по чьему-то приказу здесь стоявшие с раннего утра, перетаптывались с ноги на ногу, отчего сверху Пашеньке показалось, что они приплясывают.

— А уж эти и вовсе веселые, — сказали про них в толпе.

— Это миргородцы, — узнавали их по черному околышу. — Никак сами вышли, раньше азовцев. Молодцы! С ними вмиг всех поснимут.

Музыканты, подходя к базару, ударили Марсельезу. Флаги рабочих развернули свои чудовищно красные маки над головами изумленных жителей.

Вдруг, все и всех обгоняя, пьяный от музыки и тщеславия, не слушая окликов своей роты, далеко вперед на базар выскочил ротный козел Капитоныч с золотыми рогами.

Тонким воем залилась на него любопытная собачонка, а за нею вся свора. Нотариус в белом жилете под распахнутой медвежьей шубой, под руку с французом, учителем гимназии, пел вместе с ним по-французски:

Allons, enfants de la patrie,
Le jour de gloire est ar-ri-vé!..[1]

— Ур-ра!.. — первая крикнула толпа на базаре.

— Ур-ра!.. — крикнули шедшие с красными знаменами.

Крикнули на холмах. Кричали в оврагах.

— Что они, что делают!? — И побледневшая Пашенька успела только в ужасе ухватиться за нотариуса, указывая на учебную команду, которая за толпой, по неслышному приказу, внезапно сверкнула вознесенными к щеке дулами. Как один, все затаились на миг. И вдруг на прицел. Тра-та-тах... грянул залп. И еще и еще.

Огромная толпа шарахнулась. Ринулась кучами на восставших, смяла шеренги. Войска дрогнули, сбили

---

[1] Вперед, сыны родины,
День славы настал!..
(Первые строки Марсельезы.)

строй. Они были как человек, который уверен, что и следующий шаг его — твердая почва: вдруг сорвавшись в замаскированную пропасть, в первый миг даже не ищет ухватиться за сучья.

Войска обезумели. Строй был безнадежно разбит. Когда спохватились отдельные люди и стали отстреливаться, все дело уже было потеряно. Паника охватила солдат, они бежали. Обезумевший обыватель повалил им в тыл.

После отступления казаков, присоединения артиллеристов не могли же саперы опасаться серьезно полка, где столько было у всех кумовьев, где читались те же листовки и «нелегашки» и такой же был бунт против тяжких условий и японской войны?

Миргородцы стреляли всем вдогонку вдоль тротуаров. Люди, как зайцы, неслись зигзагами и ломали ворота, чтобы спастись. Пули рикошетом несло в сторону, и это множило панику. Пули попали в не успевших укрыться собак. Раненые собаки пронзительным визгом покрыли все крики.

— Это провокация, вперед! — кричал вольноопределяющийся Рут, вскочив на ларек и безумно махая шашкой, которая казалась бутафорской, а сам он позирующим на сюжет «в атаку».

— Товарищи, не поддавайтесь, это подстроено...

— Вперед! — командовал и Десницкий, повернувшись к сбитым рядам. На минуту он стал Пашеньке опять виден весь. Фуражку Десницкий потерял, лицо пылало одной неукротимой волей, и если бы солдаты могли его увидеть, они за ним бы пошли. Но солдаты не видели ничего. Им чудились за учебной командой легионы враждебных полков.

— Вперед! — еще раз крикнул, окруженный кучкой опомнившихся, Дмитрий Десницкий и, шашку наголо, один побежал в атаку. За ним тотчас фельдфебель Гуцалый, Стегнó, белорозовый Порося... Не успев пробежать ста шагов, Десницкий взмахнул руками и упал навзничь среди опрокинутых ларей. Пашенька видела, — она кинулась к месту.

Площадь вся опустела. Посреди, плавая в яркой, алой крови, лежал белоснежным пушистым комком ротный козел Капитоныч, сверкая на солнце своими, все еще золо-

тыми, рогами. Немного подальше, на боку, слабо пытаясь привстать, умирал Дмитрий Десницкий. Он упал в неутоптанный пушистый снег, медленно и неохотно менявший свою белизну на красный цвет только что бившихся над ларями знамен. Не видя много крови, Пашенька на миг подумала, что, быть может, рана пустячная. «Носилки», — шептала она, думая, что кричит. Два солдата, кинувшихся на помощь Десницкому, подложили ему под голову шинель, вытянулись, сняли шапки и пропустили Пашеньку ближе.

Став на колени, она приподняла Десницкому голову. Глаза его вдруг прояснели, быть может он ее узнал. Хотел что-то сказать, но уже не смог. Не мигая, разом, как у восковых кукол, тяжелые веки покрыли его глаза.

Гуцалый снял шапку и, широко кладя крест, сказал: «Кончились».

Только через несколько дней Пашенька из оцепенелого бесчувствия пришла, не на радость себе, к действительной жизни. Вереда уехал по делам в Нежин, одна няня Китовна стерегла неотступно.

Как-то поздно вечером Пашенька услышала в передней голос, который настойчиво требовал ее видеть, на что няня Китовна, как дятел, долбила свое:

— Не велено.

Пашенька накинула халатик и кинулась к дверям, потому что, хотя узнать было нельзя в бородатом, хорошо одетом господине в очках Абрама Рута, она все же его угадала и крикнула:

— Пусти, няня, я его знаю, — это доктор.

— Ну, коли доктор — иной разговор. Да куда же вы в комору, там и не топлено.

Пашенька знала, зачем пришел Рут. Рядом с ним тотчас встало лицо Десницкого, не мертвое, с закрытыми веками, а то, в час последнего свидания, когда, уходя с Рутом в казармы, он еще раз к ней вернулся.

В глубоком волнении, не объясняя, приказала Пашенька няне:

— Дай ключ!

И подтвердил значительно доктор, что ему в коморе почему-то удобнее.

Открыла Китовна комору и пошла по хозяйству. Рут подошел к печке, сел на корточки и, придерживая одной рукой бороду, другой стал выбирать в глубине кирпичи. Забелел пакет. Он его вынул и побелел сам: конверт был совершенно пуст.

— Может быть, бумаги выпали? — еще белее Рута, сказала и Пашенька.

Рут долго шарил в трубе. Черным гнездом слетела сажа. Еще подождав чего-то, Рут сказал тихо, не глядя на Пашеньку:

— Маршрут восставших оказался точно известен властям — отсюда неожиданный успех учебной команды и паника солдат. Сейчас ясно — почему.

Пашенька прервала в ужасе:

— Но ведь Кузьма тут ни при чем, как вы можете...

— Время выяснит невиновность Кузьмы, — как молотком отстучал Рут, — но сейчас я обязан дать немедленно знать в Москву, что бумаг, ему доверенных на хранение, не нашлось. Пускай комитет сам...

Пашенька дальше не слышала. Вошедшая на зов «доктора» Китовна при его помощи перенесла ее в спальню на кровать, не стесняясь ворчать:

— Ну и лекаря, им что́ заморозить ребенка? Говорила я, что не топлено.

Рут набормотал что-то медицинское и ушел.

. . . .

Пашенька пришла в себя ночью. Ей стало сразу как в детстве, когда становилось вдруг страшно, а няня брала к себе на постель. Сейчас, как тогда, она утопала в пышной перине, от которой шел слабый дух задержавшегося с лета гвоздичного масла, отвратителя комаров. Пахло мятой, липовым цветом и просто «дикохтом», от всех болезней насушенным няней и подвешенным в мешочках под потолок.

Перед троеручицей горела лампада, и навсегда знакомым острым клином от нее пала тень на белый потолок.

К постели придвинут был столик, на нем, прислоненная к толстой библии, радугой отливала «неопалимая купина», и стояла бутылка со святой водой.

— Няня, верно, опрыскала всю, а я и не слыхала, — подумала Пашенька, — и «неопалимую» подняла...

Образ «неопалимой купины», полученный няней от некоего старца, ею хранился в общем киоте за стеклом, и она «подымала» его, как «иверскую», только на случай болезни или большого несчастия. Последний раз, помнит Пашенька, «неопалимая» гостила в изголовье дядькó Вереды, когда он, поскользнувшись у ледника, расшиб больную ногу и доктора хотели ему от нее еще отрезать кусок.

— Владычица уж знает, оттянет от ноги.

Китовна сидела сейчас у окна на стуле в белой кофточке, в белом платке. И тоже, как всегда бывало в детстве, во время кори, когда Пашенька очнется — где няня? — а няня, намолившись, легко дремлет на стуле. Крепка вера у Китовны, как огненный столб, и на все у нее свой есть ответ. Лицо, темное, твердое, во сне еще строже. Нет к няне подходу, одно знает, свое.

Чует Пашенька — нашарила няня в печке пакет. И вот узнать теперь: что с ним? Ужель и дядькó приложил тут свою руку?

Хоть минуту еще не знать. Все назвать — разбить эту жизнь.

И Пашенька, холодея в пышной перине, боится шевельнуться, боится вздохнуть, разбудить няню раньше срока... какого срока? А такого, когда прильет сила к онемевшим рукам поднять молот, и хвать им — все вдребезги.

Вдребезги разлетится вся жизнь на «Фонарике», когда навеки уйдет от своих Пашенька. А она уйдет.

— Няня!

— Серденько! — И, как по воздуху, в мягких туфлях няня неслышно к постели, и руки целует, и слезы текут. — Ожил, голубок!

Поклоны, поклоны «неопалимой», и шепотом, как, бывало, казалось, волшебница в сказке:

— Чего ж тебе, серденько? Вареньица, сливочек?

И глаза, тысячелетние, светлые, на резном твердом лице. Одна любовь в глазах, — что им сказать?

— Потом, няня...

И опять ждет Пашенька новой силы нанести свой удар и разбить этот мир удушающей любви. Как на ладони перед нею дядькó Вереда со своими «примёрами», Китовна с образами — оба с одною любовью к «сердень-

ку» — и нет гнева. Надо их одним умом, одною холодною волей...

— Няня, куда же ты дела бумаги, которые вынула из печи? — говорит наконец, как диктует, Пашенька, и ловится старая Китовна, словно слепец берет топор из рук Пашеньки, подсекает сук, на котором сидит.

— Вредная то была бумага, серденько, хорошую б хлопцы не спрятали.

— Дяде отдала?

— А как же ее не отдать? А дядько́ сдали в полк. Не у себя ж, прости господи, держать такую бумагу! Могла бы, кажуть, и полиция к нам прийти. Только все то миновалось, не бойся, серденько, никто на нас худо не мыслит, хоть и подвел тот скаженный...

— Молчи! — крикнула Пашенька. Отвернулась.

— И то я молчу. Спи, голубь, сном твое лихо пройдет.

Кончено с няней. Уйдет Пашенька молча, от обедни вернется няня — и нет ее. Навсегда нет. Пусть решит, что «испортили». Не объяснить ей словами.

Вереда вошел чуть свет к Пашеньке с каким-то доктором. Пашенька не захотела лежать, встала, отвечала доктору, чтобы отвязаться. Когда же доктор, объяснив, что у нее «нервы и рост», уехал с кучером на Фанфаре, Пашенька сама позвала в кабинет дядька́, заперла дверь на ключ и сказала, как и няне, без всякого гнева:

— Вы дали бумаги Десницкого капитану Грузовому?

Вереда встал, качнулся вперед, словно бежать, но, опираясь крепко на костыль, сохранил равновесие, и вдруг, совсем не любящий дядько́, а насквозь штабс-капитан, награжденный Георгием и пенсией, выпятив грудь, сказал:

— Да, сударыня, врагам моего государя и родины я не покрытчик! И не сделай засаду славные миргородцы, что бы народу погибло...

Дядько́ не кончил, Пашенька сникла на стуле, и странно, как привязная, болтнулась рука.

— Ой, и дурень же я. Китовна!

И дядько́, не штабс-капитан, а тот, что, помогая курице, бывало, отколупывал нежно цыплят от яиц, заквохтал над Пашенькой:

— Прости грубого дурня, прости...

Властно отстранив Вереду, Китовна сказала:

— Як били из пушки по турку, так ладите и с дитиною!

Опять Пашенька у няни в перине, опять «неопалимая», и лампада, и липовый дух, и веселая домовитая трескотня сухих березовых дров в слепительно кафельной печке. А Пашеньке холодно, горячи руки и голова, сердце ничем не согреть. Опять ясны мысли, одно жестокое сознание: опустить надо молот и разбить, как тот хрупкий серебряный шар, что стоит в городском саду и переливает в себе деревья и облака. Да, хрупок и призрачен тесный мир детства и юности. Разбить его — вон из скорлупы.

Ах, когда б так! Когда б скорлупа — эти два старых лица. Твердой деревянной резьбы лицо Китовны и дядько с сивыми баками, с ясными глазами испуганного Пана. От одного пахнет чебрецом, мятой, ладаном, от другого — крепким нежинским тютюном.

Въедливы запахи: память забьешь, а запаху не закажешь. Когда захочет — запахнет. И навеет запахом прошлое, и не изболеть его боли.

Пашенька ушла из дому, когда никто этого не ждал, без объяснений. Оставила короткую записку: «Уехала навсегда. Не ищите».

Руту рассказала все дело, просила оправдательного письма для Кузьмы и указаний, как ей в Москве войти в работу. Рут дал все, и вдруг коротко предложил работать вместе, никуда не уезжая отсюда.

— Да ведь у меня тут старики...

— Ах, простите, — спохватился Рут.

И впервые видела Пашенька, как он смешался и покраснел от своей невнимательности. Пашеньку Рут выделил и принял как отдельного человека. И вот, скажите ж, посчитался с ней Рут, хотя никаких революционных заслуг за ней не было.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. «ПРОБА»

— Да-с, как и все годы, тысяча девятьсот пятый начался первым январем, отмеченным обычной правительственной идиллией: великому князю дан рескрипт для ношения на груди на андреевской ленте портрета, а горожанам оповещение, что новый московский градоначальник изменил традиционный обычай ездить на паре с отлетом и лицезреть его можно будет отныне лишь на паре «в дышле».

Модест Иванович тронул спутника рукой за колено и, пригибая к нему свое отставное бюрократическое лицо в такт колесам вагона, потрясая отличнейшей бородой, раздельно сказал:

— Де-мо-кра-ти-зация парадного аллюра не помогла-с. История продвинулась, идиллия, дорогой мой, сменилась — бомбой. Традиция, быт, вековое, пустяковое — ну, я вас спрошу, что нынче не взорвано? Покушения в сорока пяти городах, волнения в крупнейших, до основания разрушен Баку, татарами объявлен газават. То-то же...

Модест Иванович с таким удовлетворением отвалился на спинку сидения, что со стороны можно было подумать: он и есть главный двигатель происшедшего, хотя на самом деле он служил не малым чиновником в министерстве и был просто усердным читателем либеральных газет.

Он и его собеседник, два пассажира второго класса, занимали в вагоне супротивные одиночные места под окном, и, как в игрушках «мужик и медведь», вступая

в разговор и кончая его, один и другой то поклевывал вперед носом, то откидывался на спинку сиденья.

Впрочем, человеку, сидевшему против Модеста Ивановича, не подходило понятие клюва: нос у него был что зовется картофелем, глаза велики, чуть лупоглазы и очень приятны по выражению, умному и детски-смешливому. Он сказал:

— Почтовые чиновники перестали верить в бога, убивают своих невест и самих себя и записочки оставляют: «похоронить, дескать, вместе». Знаменательно, Модест Иванович, и ведь это те самые, недавние, чеховские. А подпоручики и поручики делают то же самое, и без всякого дебоша, отметьте себе, в отдельных номерах первоклассных гостиниц. Да ведь это символ времени, это, Модест Иванович, не иначе, как поиски Прекрасной Дамы, своеобразно преломленной?

— Эк, батенька, отмочил! Прекрасная Дама была и есть дело приватное. Суть в иной разновидности, ядовитее. Вот не угодно ли: «проклятые» все вопросы, над которыми человечество болело века, взять да ахнуть сплеча? А нашлись такие, что ахнули. Это намедни про них писал с завистью старый циник: русские девицы и юноши веруют, что едва будет всеобщее, прямое, равное, тайное — как вишня начнет цвести дважды в год.

— Ах, преотлично сказано, — обрадовался Ерголышко, — вишня, вишня зацветет дважды в год — и всего от четыреххвостки? Преотлично, ибо как раз с этими вот юношами мы и договоримся!

— И пикнуть вам не дадут эти юноши. Да на якого биса вы им сдались, как по-вашему говорится. Культура, батенька, руки вяжет, а им надо, чтобы были развязаны. Вот в газетах — приметили? — среди сообщений характера придворного, ну там разводы графинь Монтиньозо с принцем Кобургским или поднесение «цветником» дам гарнизона цветов государыне, — все крепче вклиняется некий твердый столбец: разгром крестьянами экономий, — и ка-кой, батенька, разгром! с отрезанием у коровы сосцов, с идиотским переводом племенного скота. Да-с, их дело взрывать, а не сеять. И вы, оранжерейнейший садовод, сюда и не суйтесь с альянцом!

По коленке похлопав Ерголышку, Модест Иванович опять отвалился на спинку скамьи. Вынул гребешок, рас-

чесал бороду, передохнул и уже эпически, как некий Пимен, умывая руки над злом и добром, сконстатировал:

— В общем же — неразбериха. Московские присяжные поверенные привлекаются к суду за участие в союзе адвокатов в те самые дни, когда союз левых извозчиков подает министру внутренних дел коллективную просьбу о том, чтобы он приказал седокам говорить им «вы» вместо «ты». А правые извозчики представлялись государю в Царскосельском дворце, и он им сказал: «Объединяйтесь, извозчики, я рассчитываю на вас». Тэк-с. И потеха, союз пчеловодов туда же... Союз пчеловодов нашел, что пчеловодам нельзя заниматься пчеловодством без свободы слова, печати, союзов и совести...

Ерголышко подскочил от восторга, как заяц, забарабанил по коленкам.

— Каковы пчеловоды-то! — обращался он, сияя крупным большеглазым лицом, к соседям справа и слева. — Каковы?

Но Модест Иванович, любя один держать речь, отвел вмешательство Ерголышки барским жестом и снял бобровую шапку. Затем, переходя гребешком с распушенной бороды на волоса, сводку событий повел к заключению.

— Весь этот год, Ерголышко, одни обвиняли, другие ждали амнистии, и все вместе до одури выкликали Думу. Ну и выкликнули... себе на голову.

— Дума, смею сказать, Модест Иванович, Дума, когда дело перешло от символа к выполнению, оказалась совсем не прекрасной, а всего-навсего лишь «булыгинской».

— Хе-хе, — заколыхал свое большое тело Модест Иванович и стал вкусно загибать один белый палец, другой, третий, приговаривая: — волнение в Польше, в Финляндии, на Кавказе.

Перебрав все, что знал из газет и по слухам, Модест Иванович вдруг ослабел, но, повинуясь внутренней необходимости осознать положение страны, закончил досмотр необыкновенного истекающего года уже через силу, короткими предложениями.

— Итак, военное восстание стало уже делом обычным. И достукались, Ерголышко, достукались: погасло в домах электричество. Стали конки. Газеты не вышли. Онемел телефон. У ворот возникли дворники в шубах. За-

пылали на перекрестках костры, у костров грелись пикеты. Грянула всеобщая железнодорожная забастовка, и вышел на белом листке одинокий столбец — ма-ни-фест.

Кто-то с верхней полки Модесту Ивановичу в октаву угрюмо рявкнул: «А за манифестом по-громы».

Но Модест Иванович, как председатель, уже закрывший заседание, дотянув события до вчерашнего дня, отбыл службу, поставил точку и, перестав держать в руках судьбу страны, захотел, как самый обыкновенный старик, пить чай с лимоном.

Напившись, он пошел раскладываться на ночь, для чего приказал Ерголышке взметнуть над ним верхнюю полку. Посердился, что тот чай пить не хочет, обозвал его франкмасоном и, когда Ерголышко пошел на площадку дышать воздухом, сказал ворчливо, ни к кому не обращаясь: «По его науке, перед сном обновлять надо какую-то там животную ауру», — и, повернувшись к стене, захрапел.

Кузьме досталась наискосок верхняя скамья. Не желая ни с кем знакомиться, он лежал на спине, глядел в свежепокрашенный потолок и, нащупывая на груди твердый конверт с письмом Десницкого, сперва думал о том, что его ждут в Москве, потом слушал болтовню Модеста Ивановича. Его заинтересовал этот забавный человек с детскими глазами, которого барственный бородач звал Ерголышкой. Когда он вышел, Кузьма, легко спрыгнув сверху, пошел вслед за ним на площадку курить.

Ерголышко стоял у окна, засунув руки в карманы, и, покачиваясь с носков на пятки, провожал улыбкой бег пушистых от снега берез. Кузьме показалось, что покачивание это неспроста, — либо из упражнений по Мюллеру, либо какого-то иного ритуального смысла. Он подался было назад, чтобы не мешать, но Ерголышко перевел с пушистых березок свои круглые, очень светлые глаза на него с той особенной лаской, какая бывает у иных, слегка тронутых или чуть пьяных людей, и сказал:

— Вы это что, никак тоже в Москву?

«От глупости это он или от мудрости?» — подумал Кузьма, глядя на лупоглазого Ерголышку, но почему-то доверие почувствовал полное и ответил просто:

— В Москву ненадолго, и даже крова там не имею.

— У меня, у меня есть кров, — поспешил Ерголышко, — не скрою — мансарда, подчердачник, однако одинокому, холостому — сущий рай. И денег не возьму, живите за топку. Холодноват домок!

— Да как это? Вы ведь меня не знаете! — удивился Кузьма.

— Э, батенька, чего знать-то? Посмотрел в лицо, на походочку, услыхал голос... Да, так именно в пифагорейских школах на конкурсный прием экзаменовали. Вами выдержан.

Засмеялись. Кузьма сказал:

— Я слушал, как вы итоги пятому году со своим спутником подводили...

— Нет итогов, не кончен год, — прервал Ерголышко. — И еще живы ли будем к шестому-то? Может, всех и всё он к черту взорвет.

— Почему же всё? — удивился Кузьма. — Довольно, чтобы хоть тех, кого стоит.

— Да я ведь не про бомбу, — усмехнулся Ерголышко, — я про окончательный, про космический взрыв.

Кузьма вдруг вспомнил, что видал этого самого Ерголышку на улице в Киеве, тогда же заметил его, а Пашенька сказала: «Вот и этот из апашинского кружка, только московский».

— Вы из кружка Апашина? — спросил Кузьма.

— Ну, не-ет, — протянул обиженно Ерголышко, — слуга покорный. Ведь у них там одна абстракция, а мы — «пахари жизни» — новые земледельцы. Нет, я сам по себе. Сейчас такое время: кто видит и слышит, тот и кружок. Но те — кабинетчики-теоретики, мы — практики. Мы — лаборатория новых сил. Как же мне быть их кружка?

— Извините, — улыбнулся Кузьма, — я никаких знакомств в этой области не имею. Вот только символистов читал...

— Все одно-с, — прервал Ерголышко. — Отделы того же хозяйства, что ни разновидность! А главное вот: новое семечко. Один век кончился, вступает другой. Если вместе с упомянутыми символистами, хотя бы их только читая, вы волновались предрассветьем, туманами, всходящими зорями... вернее, если и вам всходили какие б то ни было «зори», — вы наш, вы соратник.

— Повторяю, я только читал...

Но Ерголышко понесся:

— Одновременно с революцией снизу идет революция сверху. И чей удел пламенеть...

Он вдруг присел и выпрямился с полу, как грибоискатель, найдя редкий гриб, засветился радостью и, ухватя Кузьму под руку, зашептал:

— Преображение сей юдоли в чудеснейший вертоград — вот лозунг, ибо вся тварь совокупно стенает. И представьте, того, кто за чаяния пролетария, за рабочий восьмичасовой, — мы приветствуем! Мы — «новые пахари». Эх, наше дело не словесное. Трудненько словами...

И Ерголышко закачался с носков на пятки, словно это движение могло докончить его мысль. Кузьма с любопытством спросил:

— А что значит, по-вашему, быть новым пахарем?

— Ну, это особь статья, а вообще я вам отвечу, так сказать, не своими речами, а французскими. Ибо своей историей мы лишь дублируем эту чудесную страну, и сейчас, в виду назревших событий, полезно просмотреть поражения чужие, дабы не повторить. Мы ведь в первый раз, мы только сегодня égalité, fraternité, [1] а там — уж и плоды посбирали: терпковаты. Вот рассмотрим из отдаления, в чем вышла проруха... Как известно, перевороты рассчитаны на экономическое благополучие, причем человек внутренний со всем скарбом чаяний, вкусов, мечты — выметается, извините, батенька, на поля орошения. Короче сказать: одновременно человека одевают и обнажают. Ну-с, переворот благополучно свершен. Гражданин меняет лохмотья на пиджачную пару и в упоении смакует пресловутую курицу, ту самую, что вожделел за него Генрих Четвертый.

— Однако позвольте... — пытался тщетно Кузьма.

Но Ерголышко, напирая руками, глазами, всем взлохмаченным существом, забил как фонтан:

— Мы присутствуем при образовании нового духа, при рождении нового глаза на мир, при новой логической совокупности идей и чувств. Последнее наиважнейшее, ибо человек жил и живет чувством, сколь ни запугивай его гильотинами. Чтобы стало ясно, куда я именно гну,

---

[1] Равенство, братство (*франц.*).

пересмотрим с вами кого попонятней, ну хоть ярого позитивиста, этакого крепыша, как Золя. Автор искреннейший и честнейший. Кто круче него, в противоположность «гнилой романтике», повернул к разуму и науке? Однако, разоблачив психологию по всем линиям, что он нам вскрыл? А то: человек просто гад. Оговорю, батенька, оговорю... истинно гад, но только доколе не преобразится особой внутренней самочисткой — в нового человека. Ибо, как океанский прибой колченогого, захлестнули каждого из нас среда, наследственность и прочие силы рока. Круг замкнут, человек в мышеловке. Так? Однако, черта с два, — не хотим-с!

Ерголышко опять вдруг присел, подпрыгнул и, тряся за обе руки Кузьму, возгласил:

— Есть лазейка, дражайший: дракону противопоставлена Дева! Надежда новых пахарей — просветление быта, через чистейшее, через женское... Производительная Диада — откровение нашего века.

— Все поэты про это долбят, — успел вставить Кузьма, досадуя, что Ерголышко, такой особенный и занятный, сбивается на готовое.

Но Ерголышко воскликнул:

— Поэты безответственны, поэты пропоют и в кабак пойдут. Есть люди: живут, как веруют, круглые сутки, и это дает им права... Дражайший, субъективный мир человека обязан идти об руку с его социальным освобождением. А если этого не случится, если вы, как пыль из матраца, из граждан вытряхнув старое, не дадите новому быть — то для такого-то... для холощеного сукина сына стоит ли, черт возьми, кровь проливать?

Кондуктор, открывая дверь, толкнул Ерголышку в спину и, не извиняясь, сказал:

— Загромождаете, господин, пожалуйте либо в уборную, либо в вагон.

Прошли в вагон. Ерголышко влез на свою полку, над Модестом Ивановичем, и долго еще через узкий коридор к голове Кузьмы от окна хрипел его говор, приглушаемый стуком вагонных колес: то проклятие дилетантизму — фиговому листку современного эстетизма, то банкротству рационализма, вплоть до краха науки. Да, да, до краха...

И, сияя большими — от переполнявшего чувства глуповатыми — глазами, Ерголышко захлебывающейся скороговоркой просеивал речь афоризмом:

— Чтобы жить, нужен синтез. Новый, полный, опять не-по-сред-ствен-ный синтез. Великий правдивец Золя знал, что сказал: религии могут исчезнуть, но религиозное чувство создаст нечто новое. Да-с, даже и при науке.

— Это вы и есть, что ль, создатели?

Ерголышко, чуть не выпадая из своего гнезда вниз, на сердитых, разбуженных им пассажиров, забыв про спящих, вскричал:

— Не религию, а не угодно ли вам самое новую жизнь, самое осязаемую конкретность?

Сердитый разбуженный пассажир заворчал: «Господин, вы б заткнулись, ей-богу пора».

Ерголышко рассыпался в извинениях, перебудил новых сердитых людей, угомонился и, закутавшись в плед, утонул в подушке.

А Кузьма, едва закрыл глаза, как тотчас увидел, что кружится по саперному полю. Поле однообразное, снежное, над ним тускла луна. От луны, как в фокусе от театральной, яркое пятно; им освещен лишь один труп Британа, вождя военной собачьей стаи. Сверкает белый оскал зубов предсмертной собачьей усмешкой, и вот уже это не зубы Британа, а Пашенькины жемчуга на полной голой шее. За шею запрокинута голова, и белки закатившихся глаз бельмами смотрят на луну. Кузьма кинулся поднять Пашеньку — и вдруг не найти, где она. Пропала луна.

— Черт знает что, тут слезать, а у них свет погас, — заворчал в уровень с его головой готовый для выхода Модест Иванович.

— Тула, господа, кому нужна именно Тула, — привычной скороговоркой бросал вниз кондуктор, забравшись по лестничке к фонарю и вставляя в него новый толстый огарок.

В Туле вышел Модест Иванович, которому Ерголышко без конца спускал вещи и заботливо кричал, чтобы он не простудился.

До Москвы Кузьма больше не спал; билось сердце, мутило тоской и злобой: зачем залез в чужое дело — не по выбору, по чужому воздействию. Уж лучше бы остаться на месте охранять Пашеньку, разделить ее

участь. Один со своей бессонницей, беспощадно подсматривал мысли, опять ловил себя на желании не только не входить в реальную борьбу, — сбежать от всякой реальности, чтобы в одиночку, наконец, разобраться, какой из звучащих в нем голосов — его собственный голос. И в ушах звучала и томила строка:

Я жду призыва, ищу ответа...

От ритма строки, от биения сердца ширилось чувство, хотелось сгореть, не быть, отдать себя в жертву. Но чему отдать? И новая строчка того же поэта обличающе отвечала:

Чему нет названья, что вне описанья...

Вместе с тем разумом Кузьма не только знал, — он твердо хотел, выйдя в Москве, идти в район такой-то, к товарищу такому-то, чтобы приложить руку к работе реальной, касавшейся тех, которые еще недостаточно были сыты и простым черным хлебом. Воля его зачеркивала бесконечность между его тайной взволнованностью интеллигента, сына своего времени, и твердыми, простыми, ясными лозунгами бессрочных заводов и тех, перед кем неоплатный все множился долг. Но чувство, но чаянье зачеркнуть было вне воли, и тяжко болело сознание его двоедумством.

Утром сЕрголышкой пошли разговоры домашние. Оказалось, что он земляк отцу Пашеньки и самолично не раз закупал у дядька́ Вереды знаменитые примёры для своих «Новых пахарей», разумеется, сплошных вегетарианцев. Даже лошадь Фанфару он запомнил по звучному имени.

Кузьме было приятно это перечисление милых сердцу имен из уст Ерголышки, сиявшего дружелюбием и невинностью. И на повторенное приглашение ехать прямо к нему в подчердачник — Кузьма согласился.

Поехали за Сухареву башню, к заставе. В старом доме с проходами, кладовушками, витой лестницей Ерголышко ввел Кузьму в светлую горницу под крышей и сказал:

— Располагайтесь!

Кузьма долго глядел в окно на одноглазую башню, как в кружевном одеянии, в переплете лесов, красневшую

в утренней мгле, на дальний голый лес Сокольников и с ужасом думал, забыв всякую психологию, какие вести о киевском восстании суждено ему будет узнать от Шумко, вольноопределяющегося Ростовского полка, к которому была рекомендация Десницкого.

Кузьма решил без проволочек войти сразу в дело и отправился в Спасские казармы. Шумко куда-то торопился и, прочтя письма из Киева, сразу сказал про самое важное:

— Если запасных не отпустят — наш полк вот-вот подымется...

Предложил дня через два зайти снова, чтобы идти вместе на переговоры с комитетчиками.

До этого срока Кузьма решил съездить в свой поселок, повидаться с названым отцом и, отказавшись окончательно от ученой карьеры, целиком отдаться московским делам. Он переночевал у Ерголышки и утром опять понесся в вагоне в родной город, который был в нескольких часах от Москвы.

Выйдя на вокзале, Кузьма саней не взял, решив пройти пешком те две версты до дому, знакомые с детства от далей и горизонтов до последнего придорожного камня. Он сильно волновался, и ему надо было привести себя в порядок ходьбой.

По дороге из Москвы Кузьма ехал со знакомым агитатором, который отзывался с восхищением о рабочих его завода. За это короткое время в их сознании произошли огромные перемены. Рабочие поняли вдруг то, чего, думалось, они годы понять не способны.

Рабочие говорили, что вся их неудача от выступления цехами и вразброд. Цехи перестали сейчас враждовать, и в недавних переговорах о выставленных требованиях, как говорил агитатор, выборные держались сплоченно, как один. Возник свой «совет рабочих депутатов», который за один этот месяц, наподобие Петербургского совета, стал правительством.

Кузьма подумал, что если бы он не уезжал в Киев, то естественно стал бы участником заводских дел и такое бы сейчас чувствовал удовлетворение, как вот этот московский агитатор, не свой, пришлый на заводе человек, которому он завидовал. И поднимался гнев против названого отца за то, что испугался он за его судьбу и услал

с завода. На «Фонарике» от Пашеньки Кузьма узнал о сопроводительном объяснении доктором его болезни как «гипертрофии социального чувства».

Да, иное было бы дело, если б судьба его не выбила из среды. Оставался б рабочим, как отец и дядя. Сейчас знал бы злобно и твердо, вместе с лучшими заводскими, не сознанием только, а каждым мускулом, за что ему биться. И всей бы волею, без остатка хотел лишь одного — победы.

Волновался Кузьма и от предстоящей встречи с отцом. Твердо знал, что она будет последней, потому что решил уйти и ничем не зависеть от доктора. С такими думами шел он по крепкой тропе, над широким разгоном, за которым бесконечными черными лентами неслись к лесу рельсы.

С каждым шагом все ближе, все ярче, как живой виделся названый отец — доктор Вереда, последнее время сутулый, с сивою головой. Только глаза сохранялись прежние, синие, как река. Глаза, сквозь стекла очков, смотрели просительно и умно. Вставала та первая встреча, когда в ответ на свое хорохорство мальчонка встретил ласковую, твердую помощь. Вставала вся жизнь, год за годом, в крепнущей незаказанной связи свободного выбора отцовской и сыновней любви. Тем сейчас неблагодарнее и жесточе была невозможность не только взаимного соглашения — простой жизни вдвоем.

Впрочем, едва поднимались упреки доктору, как уже падали, не сказанные до конца и себе. Ведь если это доктор оторвал его от среды, заразил своим скепсисом, создал двоедумца, как кинул тогда на саперном поле ему Абрам Рут, он сделал все же лучшее, что он знал, и от своего лучшего.

Сейчас старый, с больным сердцем, разве незаслуженно ждет отец утешения? Без огляда взял к себе, вырастил и любил. И Кузьма думал о том, что счастливее для обоих было бы, если бы доктор вдруг умер, пока отношения не испорчены, и остался бы он с одной глубокой памятью о названом отце совершенно один, без роду-племени, свободный как ветер.

И так ярко он этого захотел, что от ужаса и испуга даже сразу не понял, о чем спросил его, затягивая вожжи

у бойкой лошадки и соболезнующе склоняясь с высоких саней, встречный знакомый сосед — купец Топырин.

— Чай, по телеграмме приехал? Это я спосылал. Фекла, вишь, ваша неграмотна. Ну, божья воля, не дождался он тебя...

— Кто не дождался? — крикнул Кузьма, хватаясь за борт ковровых саней так сильно, что как куль закачался Топырин, а его лошадь, вырвавшись, пробежала вперед.

— Кто не дождался меня, кто? — догнав Топырина, еще тяжко молвил Кузьма.

Топырин смешался, покраснел и, стараясь как поделикатнее, оправдываясь, бормотал:

— Ну, вижу я, что ты пеший, не спешит, чую, домой, знает, что горю уже не помочь. Ан ты с телеграммой-то, видать, и разъехался! Ну что, брат, делать, отец твой названый, почтеннейший врач Вереда, три дня пронемог — ночкой кончился. Да-с, под сердечным припадком. Садись, пожалуйста, для такого дела я и коня поверну...

Кузьма сел рядом с Топыриным. Лошадь нехотя завернула назад. Кузьма молчал, а купец, довольный его сыновним горем и гордый тем, что ему выпало первым так поразить известием, хрипел своим знающим приличие баском о превратностях жизни, о заслугах покойного, о ценах на гроба всех разрядов.

Кузьма же, больше всего потрясенный тем, что его тайные мысли совпали с свершившимся фактом, сейчас ощущал эти мысли позорными и будто повинными в в смерти отца, сколь ни оправдывал себя в том, что желание свободы от старика происходило наполовину от страха его же огорчить. Вспоминал, что доктор сам не однажды предсказывал себе подобную внезапную смерть, — ничего не помогало.

Свидание с отцом, сейчас совсем по-иному, согласно его тайным мыслям выходило последним, и Кузьма в родной дом вошел как преступник. Так памятные, синие, как река, глаза доктора были закрыты тяжелыми веками, и без привычных очков это лицо желтого пергамента стало просто чужим лицом мертвеца. Уже не было нужды заострять свой ум и волю на борьбу за линию жизни, и Кузьма растерялся. Он будто разбежался изо всех сил, чтобы разнести препятствие на пути, а взамен препятствия

оказалось голое место, и вот некуда деть развитую бегом силу.

Скорее обратно в Москву, там вложить эту силу в работу, которая здесь уже сделана без него. Слова агитатора подтвердились. Кузьма прогулял важнейшие события во внутренней жизни завода: сформировался комитет, железнодорожная организация росла и крепла, как сказочный богатырь. Огромное значение ее Кузьма воочию мог оценить сейчас же, в день похорон доктора.

Из дальней пограничной крепости пришла весть, что вынесен смертный приговор инженеру и железнодорожникам за принадлежность к союзу и революционную агитацию. Исполнение приговора назначено было на днях.

Вечером в большом здании театра со стойлами, изображавшими ложи, шел митинг. Кузьму поразил порядок: входили рабочие цех за цехом, подчищенные, причесанные как на праздник, пьяных не было. Под фотографиями, гордостью завода, где изображен был выпуск первого теплохода по Оке, увидал он знакомых: лысого благообразного монтера, заведующего театром, начальника соседней станции, присяжного поверенного в длинных волосах, похожего на престарелого Надсона, и чертежника-сердцееда, черные усики кверху, и того молодого блондина в черной рубашке — ехавшего с ним агитатора. Его, видимо, привыкли слушать, ему верили — все глаза были устремлены на него.

Блондин влез на стул, не входя на эстраду, и прочел для сведения товарищам: «Отдел союза инженеров... просит оказать энергическое содействие к спасению начальника участка и других агентов, назначенных к повешению».

— Товарищи, — сказал, глядя поверх голов, читавший, — телеграмма эта сейчас обсуждалась на собрании станции Москва, и единодушно постановили рабочие: за-щи-щать. Как же мы, товарищи?

Окончить не дали, загудели: «Присоединяемся!»

Лица пылали, все стали одной воли. Эти люди, разрозненные, доселе знавшие интересы своего цеха, часто враждебные цеху чужому, в один миг выросли из самих себя от одной товарищеской гордости, что заявили свое право на защиту осужденных.

Волнение собравшихся, еще непривычных облекать свою силу в формулировку словесную, было как страсть. Оно требовало себе простора и действия. Слышались возгласы: «Телеграмму министру... Директора в шею! Наша работа, наш и завод!»

Провизжали мальчишки: «Камнями хозяев!» И нацелились было сшибать в палисаднике бюсты братьев-инженеров, основателей завода. Старшие не дали.

Махая над головой белым листком, как флажком, молодой телеграфист пробрался к члену центра и, не в состоянии от радости и волнения что-либо сказать, молча подал ему полученную телеграмму. Блондин встал на стул и прочел: «Общее собрание рабочих и служащих нашей дороги, глубоко возмущенное произволом и беспримерным насилием над нашими товарищами со Средне-Азиатской дороги, постановило заявить, что если до десяти часов вечера не будет получено уведомления об отмене военно-полевого суда и смертной казни, то объявлена будет забастовка, ответственность за которую всецело падет на правительство, дающее одной рукой свободу, а другой производящее акты возмутительного насилия над личностью».

В театре крикнули: «Долой смертную казнь!»

И долго, как всплески разбушевавшихся волн, из общего гула взметывались ярко эти слова то вразбивку, то неразорванной тяжкой фразой: «Долой, долой смертную казнь!»

Наконец блондин опять взял слово:

— Товарищи, мы посылаем настоящую телеграмму и предупреждаем вас, что если в десять часов не получим удовлетворительный ответ, то предлагаем вам прекратить работу и поддержать общее дело.

Кузьма хотел уехать вечером и опять не уехал, а вместе с цехами, не желавшими расходиться, совсем поздно ночью дождался ответа в театре, освещенном как для спектакля.

Торжественно с эстрады член центра прочел: «По распоряжению военного министра исполнение приговора к смертной казни... будет вновь пересмотрено».

Рев восторга заглушил дальнейшее. Люди плакали, обнимались. Это было больше, чем радость, это было торжество рабов, получивших власть творить жизнь. Ведь

еще так недавно, летом, они на далеких, окутанных лесом полянах, пугаясь каждого куста, робко пытались запомнить посулы агитаторов о своем праве и силе в золотом каком-то веке. И вдруг этот миг наступил сейчас. Воля их союза — закон.

— Всеобщей забастовки струсили, добром их, чертей, не пронять, нипочем не отсрочили б казни!

— А забастовку кто делает? Разве не мы?

Перед отъездом в Москву Кузьма зашел попрощаться с заводом: знакомые места. Вот здесь на рельсах, у палисадника, паровоз раздавил дядю Потапа. Сейчас сомкнуты ворота, и краснеет на них все та же уберегающая надпись: «Берегись!»

Сконфуженно, будто ведая про вчерашние угрозы разбить их, такие домашние, созданные для гордости лишь семейного круга, темнеют в полисаднике бюсты братьев — основателей завода. Гордились заводом рабочие, им хвастали пьяные и тверезые: «У нас паровозов одних двести сорок что год. А землечерпалок? А ледоколов?» Хвастали сердцем всего производства, как мужик родимой кобылой, гордостью горячего цеха — печью Мартена.

Кузьма как свой прошел в середину завода. Не слышна поступь по мягкой земле. Здесь каждый знает свое. Здесь все само возникает, само исчезает: вот выплыл чудовище-кран, вот с грохотом тянутся цепи, и уже нету цепей, огромный крюк провис из лиловой мглы сверху. Как маятник в легкой раскачке, он что-то нащупал. В грохоте, в густой песочной пыли черны машинисты.

Кузьме здесь все с детства родное, все дорого, всему знает он имя. Как потомок древнего рода в фамильном склепе себя ощущает особенно остро членом фамилии, так Кузьма на заводе себя чувствовал только сыном, только внуком и правнуком рабочего.

— Мы сварочного цеха графья, и не запомнится какого колена, вот он наш герб, — говаривал дядя Потап, подходя, бывало, к печи Мартена.

И сегодня особенной кажется эта печь. То ли после вчерашнего от полученной телеграммы, от торжества, что пред рабочими сдались сами министры, но хоть закрыты

у печи Мартена веки-заслонки, сдается, гудит и бушует за ними сплав яростней, чем обычно. И как радует ее пламя, ее раскал добела. На него без стекла и не глянуть, а в стекло оно нежнолилово. И вот поражает — хоть заслонка огнеупорной глины не шире аршина и едва отдернута — за ней море, море огня.

Пред Кузьмой встала вчерашняя зала театра, и ликование цехов, и крики: «Долой, долой смертную казнь!» В непостижимом волнении Кузьма опустился на скамью мастера у стены: прямо напротив пролет. В него солнце метнуло лучи сквозь стекло потолка, и зашевелилась, пошла клубами голубоватая мгла.

— Словно в архиерейскую службу от ладана, — мимоходом бросил Кузьме Гудаков, указывая на подъемные краны, проплывавшие наверху, как в фимиаме, во мгле.

Гудит печь Мартена. Мастер делает знак, нагрузной длинным черпалом из волн бунтующей стали берет малую пробу. Эту пробу льет в форму — брызги огнем. Мастер пронзает сплав острием и роняет слова: «мягко», «твердо», — нет еще, нет пропорции.

Новый знак — разверзлась опять пасть Молоха: лопаты, лопаты железной руды. Опять за заслонкою волны сплава, как волны моря.

Форсунка в печи Мартена фыркает и клокочет, визжит пневматический молот. В кабинке какие-то высшие части машины подвергаются внутренней сложной прочистке, выдуванию прибором со сжатым воздухом. И визги, и стоны, и будто терзают кого-то живого.

В печи Мартена много сот пудов сплава, и плавится сплав круглые сутки. Работают смены, работают ночи и дни. Нагрузные, накидные мастера, и без счету руды...

Вот старшому на грудь вешают градусник, температура предельна. И смотрит с опаскою мастер, как бы не потек самый свод. А все еще «мягко», все еще «нет пропорции».

Вот последняя лиловая, светоносная струя «пробы»: как живое тело из пламени, выхватил ее нагрузной, и долго в куче мертвого лома не меркнет, как в темной зге светляк, этот огненный кубик. И торжественный удар в колокол: «есть».

Довольно кормить ненасытную печь черной рудой. Сплав готов. Чтобы его достойно принять, докрасна раз-

жечь, надо необъятно-сказочный чан. Уж не тот ли, что в сказке про Иванушку-дурака...

Стоит чан внизу под желобом из печи Мартена. Вот, багровея, раскаляются его стенки, пышет пожар изнутри, а сверху из мглы наезжает мостовой кран с адским грохотом. Крюк, тихонько спустившись, будто завернутый хобот слона, набредает на петли, вот зацепился, их воздел на себя, и бьет мастер третий, последний удар.

От замазанного отверстия печи Мартена к громаде ковша протянут желоб. Рабочий долбит ломом забитое глиной выходное отверстие. Вот он подался вперед головой, вот приник совсем к ложу стали — и вдруг... вдруг просчитается человек, когда отдернуть ему лом? А просчитался — в глаза ему бешеный сплав.

Но нет, опытен мастер; как пикадор в быка, он всадил в глину и вытащил лом. Вытащив, отскочил. И по желобу ринулся в чан, тяжко шумя, как кованая золотая парча, густой огненный сплав. И вот когда ферросилиций.

Лихо извернувшись со своею лопатой, подкинул рабочий в чан напряженной рукой порошок для улучшения качества стали. Облегченно вздохнул, весь взыграл тяжкий сплав легким серебряным светом. До краев полный, тяжко крякнул, сорвался с места сказочный чан, скользнул по рельсам и пошел разливать в разнообразие форм свой огонь.

II. «НОВЫЕ ПАХАРИ»

И в этот день на Сухаревке толкался народ с разной подержанной дребеденью. Рыжими жилетками, сюртуками и брюками торговали старьевщики, исходя в клятвах, что «тройка» как есть впору на всякого: и дородного, как овощ на полях орошения, от вечных паров раздутого банщика, и на щуплого чиновника, забежавшего прямо со службы с портфелем, пока только прикинуть глазом, по росту ли, в чаянии приближения срока рождественских наградных. Стоял декабрь.

На Спасские казармы, которые были тут под боком, никто не смотрел. Они, как и прекрасный фасад белоколонной больницы, давно стали сухаревцу привычным фоном всякой рыночной суматохи. И у прохожего, за мелкой

заботой, его заедавшей, не было глаза различать что-либо, кроме насущно потребного.

Да и что было в казарме особенно различать? Годами с утра до ночи здесь шел свой военный обычай, схожий с движением стрелок в заведенных часах: караулы, шагистика, отдание начальнику чести.

Но Кузьму, подходившего к казармам с особенным к ним интересом, еще издали поразил необычайный их вид.

Солдаты, без военной выправки с выпяченной грудью, шли сегодня вольно, с сутулиной, вразброд, или сновали из калитки во двор с узелками, как в банные дни. На большом внутреннем дворе, не видном с улицы, Кузьма узнал от знакомого фельдфебеля, что офицеры обезоружены и содержатся ротами под арестом. Глубже, во дворе, среди толпы шинелей, таких же серых и сбитых тесно, как в коробках инжир, стоял на бочке агитатор. Говорил он, видно, давно, судя по тому, что охрип и срывался с голоса, дорубывая фразу руками и энергичным сверкавшим лицом.

— Колесо немазаное... Да пусть тебя предыдущий сменит! — кричали оратору.

— Не угодно нам предыдущего, ногами он деркотит.

— Хрипи, товарищ, хрипи во здравие!

Солдаты были хмельны. По признаку предыдущего оратора — «деркотит ногами» — Кузьма догадался, что только что говорил вольноопределяющийся Шумко, к которому он и шел. По скромности, не доверяя силе своих слов, Шумко обычно дополнял речь егозливостью, что солдатам, привыкшим к внушительности начальников, совсем не нравилось, и за трепыханье они прозвали оратора «воробыш». Впрочем, Шумко любили и на деле слушались больше всех. На вопрос Кузьмы, где вольноопределяющийся, ответили:

— Из воробышев в орлы возведен.

— Довольно речей, — опять закричали оратору, — не раки, чтобы пятиться. Веди к комитетчикам, полк готов!

Вышел из погреба Шумко, принимавший винтовки и пулеметы. Это был блондин, с рыжинкой, чуть-чуть «кувшинное рыло». Он восторженно прошлепал толстыми губами:

— Ребята, все шесть в исправности; всего же на Москву тринадцать пулеметов. А винтовок...

Покрыли криком: «Выступать!»

Неправдоподобно было Кузьме, заодно с выборными и Шумко, выйти из казармы на улицу, такую как всегда, еще не знавшую, что солдаты обезоружили офицеров. Улица разворачивалась то оголившими деревья бульварами, то кривоколенностью переулков, то всегда нежданными в Москве площадями с добротным памятником и небьющим фонтаном. Все носило печать многолетия, уклада, с наведенным наскоро декадансом, как кудряшки и модный рукав баллоном на спокойном дородстве замоскворецких купчих.

Идущих то справа, то слева через всю Москву провожал золоченый купол храма Спасителя в синей эмали морозного неба. И мчались от храма стремглав, будто в ссоре, все дальше отбегая одна от другой: Пречистенка с Остоженкой, со своими присевшими, словно в страхе, церквушами.

На окраине Шумко провел выборных и Кузьму черным ходом в чью-то квартиру. Вышли двое: нестарый человек в очках, с умным ассиро-вавилонским лицом, похожий на те надгробия, что стоят в Историческом музее. Он печально всех оглядел и, ожидая, что скажут солдаты, молча укрылся за свои очки, как за защиту.

Солдаты, стесняясь непривычного положения, считая, что со штатским говорить надо как-то особенно, чтобы он понял, в чем дело, затоптались на месте, твердя: «Весь полк как один, весь полк».

Потом они умолкли и пальцами, не занятыми отданием чести, стали теребить борты шинелей.

Солдатам ответила женщина с гладко зачесанными волосами и твердым белым лбом. У нее было доброе лицо, несколько старинное, с дагерротипа, и белый воротничок. Она тоже была словно не рада заявлению солдат и сказала с тоской: «С выступлением надо бы подождать, пока будут сагитированы и другие части». Еще добавила: «Ведь у нас предначертан свой план».

Шумко покраснел, как краснеют одни рыжие — до корней, выкрикнул: «У вас план, а здесь люди».

Оборвался, махнул рукой. Кузьма понял, что, как и он, Шумко, едва упершись вплотную в людей теории, уже узнал свое бессилие объяснить им, что чувство, охватив-

шее солдат, вчерашнее пушечное мясо, не может ждать. Фельдфебель же простодушно сказал:

— Пока вам, партии, подсчитывать московские штыки, разложится наша часть.

— Ваше благородие, — доложил другой, приложив руку к козырьку, отчего нашел сразу нужные слова, — безусловно начальство за ум возьмется; а едва отпустят запасных — молодые отвалятся сами.

Комитетчики, измученные мыслями о неудачах и расправах в Свеаборге, Севастополе и Киеве, молчали. Наконец женщина с дагерротипным лицом встала и, жестом отпуская солдат, скорбно начала:

— Ведь мы обязаны быть осторожными, мы отвечаем, мы...

— Товарищи, — прервал ее, вбегая, человек в набекрень съехавшей студенческой фуражке. — В комитет депутация от казачьей сотни.

Из коридоров мгновенно набрались свои люди, открыли запертую на ключ входную дверь, и через нее молодцевато вступили в собрание два казака. Они протянули руки, как выстрелили из пистолета, сказали:

— Ваши листовки наша сотня читает, да одним не внятно, — приказали, чтоб от вас толмача.

Поднялись предложения, споры, каких ораторов лучше послать. Выборных от ростовцев забыли. Шумко, заметно побледневший от волнения, тронул за рукав человека в очках и с обидой вымолвил:

— Ведь решения люди ждут.

Комитетчики посоветовались между собой пониженными голосами, и тот, что в очках, объявил:

— Приходите дня через два, мы вам скажем, что решили на общем собрании.

Дорогой в казармы выборные были растеряны. Один, запомнилось Кузьме, с испугом, детскими молочными глазами, все оглядывался на Шумко и восклицал, именуя его партийной кличкой:

— Товарищ Лебедь, как же теперь? а, товарищ Лебедь?

Но Шумко, небольшой, егозливый, безмолвно деркотил ногами и, передергивая лопатками, будто утряхивал и не мог утряхнуть на спине какой-то незримый, тяжкий мешок.

Дом Ерголышко, где жил Кузьма, был у самой заставы. Комната лепилась под чердаком, и в далеком обхвате мог видеть глаз из окна и Сухареву мглистую башню и деревья дальних Сокольников. Здесь часами, глядя на золотеющие в синеве купола, пытался Кузьма осмыслить необыкновенные события последних недель. Но осмыслить ничего он не мог. Сейчас впору ему было только двигаться подобно лунатику, вознесенному на опасном карнизе, с ежеминутной угрозой падения вдребезги, если окликнут по имени.

Благодаря письму Десницкого Кузьма стал сразу у дел. Как доверенный, ходил в войска, заводил связи. Сжимая в кармане браунинг, ежеминутно готов был убивать, защищаясь от ареста, и все-таки той уверенности в необходимости своего дела, какая была у простейшего члена партии, у него не было. Он себя отдал чужому налаженному механизму как рабочую силу, помня слова Десницкого, что, не кинувшись в воду, не научишься плавать.

Апашин, тот самый, что приезжал в провинцию и носил на указательном пальце кольцо с мистическим кадуцеем, как-то, встретясь на улице, рекомендовал Кузьме всячески посещать собрания кружка Ерголышки, который, прибавил он, конечно, хотя не наш кружок, но имеет свои достоинства. Кузьма до сих пор как-то не встречался с Ерголышкою, который был хранителем чего-то в музее и приходил только вечером, когда Кузьмы не было.

Сегодня, войдя в свою подчердачную комнату, дальнозоркими глазами разглядев на часах Сухаревой башни ровно шесть, Кузьма вспомнил, что как раз накануне Ерголышко, ухватив его за руку, умолял непременно прийти для оценки какой-то «экспозиции» работы кружка.

— Всенепременно придите, вы продвинетесь, я уверен.

— Куда именно продвинусь? — рассеянно спросил Кузьма.

— Вы продвинетесь на Пути, — упирая на слово, мысля его, очевидно, с большой буквы, молвил Ерголышко. И Кузьма обещал.

Сейчас, выйдя на лестницу, извилистую, с мудреными завертками, с слуховыми оконцами и чуланами, Кузьма увидал двух подростков-маляров, которые старательно докрашивали какие-то куски. Ерголышко, в парусиновом

запачканном фартуке, топотался над ними, маленький, очень румяный, кругом лысый.

— Под брюхо ему подпусти, слышь ты, под брюхо! — кричал он подмастерью живописных дел мастера, выводившему на темном зубчатом куске картона желто-красную полосу.

— И то напустил... не одним, чай, баканом — в копеечку вгоните!

Другой подмастерье тут же ладился промахнуть тонкой кистью усы на ужасающей морде дракона.

— Злодей, где экспрессия, где? — вскричал Ерголышко, всплеснув руками, и Кузьма не опомнился, как он прыгнул сам к маляру, присел на корточки и, состроив лицом презабавную японскую маску, застыл.

Маляр, как на привычное глядя, прищурившись, на гримасу Ерголышки, деловито заносил складку за складкой с его бритых щек на зеленую морду дракона.

Кузьма смеялся, а Ерголышко, уже рядом, тряс ему руку и, будучи много ниже ростом, пучил на него вверх, как на дерево, большие смешливые глаза.

— Придете? Вот-вот подкрасим, и откроется.

То, что Ерголышко позировал сам на дракона, чем-то понравилось Кузьме, и ему захотелось впервые узнать, что у него там за кружок. С иным человеком бывает как с пейзажем, уже намозолившим глаза, которому отведено в мозгу неважное, серенькое запоминание, и вдруг в каком-нибудь необычайном наклоне увиденный, этот самый пейзаж предстанет цветистым, как радуга.

«Вот он какой, — думал про Ерголышку Кузьма, — не дурак, не глупец, а какой-то мудрый Иванушка-дурачок».

Ровно в шесть часов к Кузьме просунулась румяная лысая голова, огромные глаза Ерголышки выманили его на площадку, а рука, для крепости ухватив за рукав пиджака, повлекла за собой по бесконечным лестницам и переходам вниз. Ерголышко, торопясь как всегда, разъяснял на ходу работу кружка:

— Мы вас понимаем, а вам надо бы нас. Ведь ваша работа на то, чтобы всем быть без классов, без войн, а в смысле душевном — какая-нибудь этакая простокваша долголетия. Так? Уж признайтесь, как давеча я вам говорил: после ваших рук человек хоть и будет одет, да ста-

нет голеньким. Вот так ребус, хе-хе! Что я вам про Францию докладывал, все то как пить дать сами повторим, коли во-время не спохватимся, что не враги с вами, батюшка, а союзники. Вот скажите там вашим «кто был ничем, тот станет всем»: коль соединимся, всего и запасем! В одиночку же ни нам, ни им не потрафить. Ой, изверги, смазали...

Erголышко прыснул в угол, расставил по стенке сбившиеся в кучу куски декораций, повел пальцем, понюхал, лизнул и вдруг ринулся, напер на Кузьму руками, глазами, светлыми, как у горных пастухов, отвыкших от речи, завопил:

— В обоюдном союзе запасать нам кормы будущим!

«Иванушка-дурачок», — опять подумал Кузьма и спросил:

— Вы немец?

— Бабушка, — отрубилЕрголышко. — Для меня уже не существенно, я вне рас. Но бабушка нюрнбергская бюргерша, почему кюммелькухены с кофеем чту. Однако к нашей теме — последний удар обоюдной работы по раскрепощению гражданина таков: вести его до художника. Раскрепощаете — вы, доводим — мы. Тэк-с?

— Любопытно, каков ваш прием, — заинтересовался Кузьма.

— Рановато прием, лаборатория. Место нам после вас. Практически сейчас работа ваша. Когда вспашете, мы взбороним. Глядишь, семечко и даст сто крат... Сюда пожалуйте, вниз. Бутафории не пугайтесь, не у всех, знаете, воображение — соображение. Надо покрепче внедрить. Вот, между прочим, дракон...

Ерголышко не кончил, сбежал один скоро с лестницы, нашарил какую-то палку в углу, вернулся снова, крепко стиснул руку Кузьмы и, припирая его к стене, вышептал:

— А «Дневник-то писателя» — как про эти дела? У него, батюшка, капризов ни-ни, сплошь предуведомление. Из брезгливости к социализму механизированному, если вспомните, зна-ме-на-тельный порожден там персонаж. В грядущем-то, в утробном благоустроении, персонаж тот возьмет да и возжелает послать все гармонии к черту! Вот и скажите им, батенька, — кому, сами там знаете: если мы с ними рука об руку, механизация не воспоследует.

И опять на корточки, и, как из вербной игрушки ванька-встанька, Ерголышко порхнул кверху и перстом в грудь Кузьмы:

— Вы из подданных в гражданина, мы гражданина — в худож-ни-ка. По рукам? Куете вы, куем мы. Обоюдно — горячего цеха кузнецы, тэк-с.

Наконец утомился и уже безмолвно потащил за собою большого Кузьму через ступеньки, завертки, чуланы. Потоптали склад старых книг, испугали котов и внеслись в апартамент экспозиции «Новых пахарей».

По задней стене большой комнаты шла ниша, в ней полукругом скамья, на скамье люди: пиджаки, очки, платья темного цвета, как на любом педагогическом заседании, и посреди только одна не сидящая, очень красивая женщина стояла во весь рост в пеленах цвета картин Леонардо. В ней поражали длинно-подведенные, будто крылатые, змееподобные глаза. Женщина подняла голую руку, лениво махнула кистью, словно мух согнала, и тотчас вышли на эстраду из боковых дверей черные фигуры, скорее женские, чем мужские, вроде тех, что поют в опере Зибеля и пажей. Фигуры выстроились перед публикой — Кузьмой, двумя малярами, чьими-то гувернантками, чьей-то учащейся молодежью. Председатель, голенастый высокий человек, вышел к рампе среди ставших парами черных. На руках у него, как библия, лежал огромный квадрат. В него мелом был вписан круг, разделенный множеством радиусов. Концы их, точки на окружности, ртутными шариками трепетали на своих местах.

— Авва Дорофей! — воскликнул председатель и нажал какой-то механизм сзади круга. Шарики, перестав топтаться на месте, кинулись как остервенелые, чтобы слиться в общее ртутное озеро. В тот же миг грянул за дверью аккорд, и на стене в канделябрах пыхнул свет.

Председатель, торжествуя, сказал:

— Авва Дорофей учит так: люди — точки на окружности. Жизни их, даже диаметрально противоположные, если будут двигаться по своему радиусу к центру, одновременно станут и ближе друг к другу. Точки — люди, радиус — служение людей миру. Каждый, потонув в своем, встретится со всеми в центре, ибо все будут там, как дошедшие по собственному радиусу.

Председатель иерейским движением вознес на свою голову квадрат и, как в малом выходе, устремился в боковые двери. Скоро вернулся с пустыми руками и вопросительно глянул на прекрасную женщину, стоявшую среди ниши. Женщина снова махнула ленивой рукой, и четыре маски шагнули вперед. Руки их были стиснуты, головы опущены долу.

Маски сказали хором:

— Женщина! и умолкли.

И опять:

— Женщина, в облике Евы тленной, множит тоску древнего Адама по божественному Андрогину, по пленительному мифу Платона — не рассеченному яблоку, когда каждый имел сам в себе сад услад.

И аккорд, и контральто, и хор со скамьи:

— Сад усла-а-а-ад!

Выступил некто с отчаянной отчетливостью, как топор по дровам отрубил:

— Утрачена сила. Утрачена полнота. Утрачены, утрачены.

Фигуре не дали продолжать. Справа и слева взметнулись маски, выгнулись руки, и медленно, выпуская слова, словно штуку добра, бесстрастно разворачивали длиннейшую фразу: «Восстановитель единства — одна она, вечная, вечная женственность». Сидящие полукругом в очках, пиджаках, темных платьях встали, подняли руки, потом сели.

Пожилой человек вроде старого профессора, почему-то без всяких ухищрений, как обыкновенный лектор, вышел на обыкновенную середину и, старчески шамкая, объявил:

— Сейчас будет чудо Сикстинской мадонны, выпрямляющей Глеба Успенского.

— Будет! — возопил раньше времени хор справа и слева, старичок, осердясь, потряс бородой и, набрав воздуха, стремительно зачитал:

— Сквозь символ искусства дается опытное знание, но не пробужденный наш разум бесплоден...

Ерголышко вздернул вверх палец, и плеснули тонкие голоса по-гречески и по-русски: «Бесплоден».

Тут произошла неожиданность. Младший маляр, напряженно слушая, покраснел вдруг от гнева и закричал Ерголышке, сидевшему крайним:

— Ефрем Васильевич, прикажите, чтобы не переговаривали один другого!

Второй маляр тотчас присоединился и, решительно махнув рукавом, сказал:

— Пущай их поодиночке, один чтоб конец.

Засмеялась публика, зашептались на скамье.

Ерголышко, сияя сверхчеловеческой ясностью, взбежал на эстраду и закричал:

— Благодарю вас, друзья, сестры и братья, вы от нас назидаетесь, мы от вас. Прошлая аудитория была иного состава, и при ней инсценировка оправдана, но мы наладимся и с вами. Ведь мы не предрешаем, дорогие друзья, мы обслуживаем. Не правда ли, вы хотите, чтобы профессор читал совершенно один?

Опять маляры закричали:

— Довольно переговаривать! Желательно в одиночку.

Вышел профессор, упер глаза над головами слушателей в лепную звезду потолка и начал докладывать:

— У Гете, у Данте есть своя схема истории восстановления ущербного человека. Об этой истории вы узнаете во втором отделении экспозиции нашей работы, а сейчас на символе, который вы видите... — Профессор опустил взоры, затоптался и с видимым неудовольствием повторил: — На символе, который вы еще не видите, но который сейчас вам будет показан. Он будет показан...

— Федька, Пимен, — закричал Ерголышко, давно и тщетно делая знак малярам исчезнуть из зала и заняться каким-то с ним общим и, очевидно, им ведомым делом. Но маляры, вытянув головы, до самозабвения впились в сухонький рот профессора, слагавшего губы то трубочкой, то кружком, и, не будучи пьяны, дивились немало, почему в несомненно русской речи не могут понять ни синь пороха.

Крик Ерголышки оскорбил сидящих на скамье. Ближайшая дама дернула его за рукав, он вырвался и, страшно лупоглазя на маляров, пронесся, как конь, в боковую дверь. Через минуту все из тех же дверей, кивая публике оскаленной зверской пастью, нося отдаленное сходство с самим Ерголышкой, выбрыкнула первая часть дракона и, словно икнув, остановилась.

— Под хвост забирай, нагнетай, Федька, нагнетай, Пимен! — долетал вопль Ерголышки. Многократно икнув, дракон выбрался, наконец, весь наружу, обнаруживая вслед за хвостом, как незаконные придатки, мускулистые голые руки двух маляров, с разбегу выпавших из дверей. В тот же миг раздался повторный аккорд, вспыхнули канделябры, и торжественно подошедший голенастый председатель указал жезлом Меркурия на Ерголышку-дракона:

— Вот он!— И еще: — Вот он — побеждаемый Девой!

В этот миг горничная Стеша подбежала тихонько к Кузьме и зашуршала над ухом:

— Вас спрашивает военный, он прошел уже к вам. Какой-то не в себе, не унес бы чего!

Кузьма вскочил, догадавшись мгновенно, что это Шумко и с чем-то, наверное, важным, кинулся к себе на мансарду. За дверями у стены стоял точно он — Шумко. Не поздоровался и вообще имел вид человека, который куда-то шел, забрел сюда не по своей воле, а сами ноги завернули и взнесли на знакомую лестницу.

— Что случилось? — спросил Кузьма, подвигая стул.

Шумко все-таки не сел, сказал не сразу, с трудом:

— Ну вот... — и умолк.

Кузьма, не двигаясь, смотрел на Шумко, пока тот, видимо, отдыхал, как отдыхает тяжко больной в те первые минуты, когда его с привычного ложа страданий перенесут в новое место, — без мысли, боясь дохнуть, чтоб хоть миг не вызвать привычную боль, которая вот-вот с удвоенной силой вдруг кинется грызть.

Как для бега, Шумко вобрал глубоко воздух, выдохнул, повторил:

— Ну вот... На днях мы готовы были в бой против властей, а завтра пойдем уже в бой за власть.

Еще подышал Шумко и кончил:

— Полк принес покаянную, и в искупление вины он назначен на разгон митинга.

— А как ты? Как же вы?..

Кузьма шагнул к Шумко, тот отстранил его рукой, вздернул плечи своей особой манерой, подеркотил ногами на месте, круто повернулся и, бросив за собой дверь, стремглав ринулся вниз. Казалось, внезапно опомнившись, он вдруг понял, что забрел не туда.

Кузьма кинулся вдогонку за Шумко, крича ему: «Подождите!» Тот на ходу отмахнулся и, на миг протемнев на белом снегу улицы, скрылся в узком проходе.

Кузьма остался стоять на крыльце, жадно впивая морозный, яблочный воздух. В тоске пред надвигающимся ужасным каким-то делом смотрел он в ночное легкое небо без всякой мысли и цели, ища на нем алмазное дубль-ве Кассиопеи.

Только когда его затрясло от холода, Кузьма взбежал обратно, хватая сразу по три ступеньки, не глядя по сторонам. Он чуть не стукнулся о высокую женскую фигуру, недвижно стоявшую на плохо освещенной площадке вверху лестницы. Кузьма поднял голову и отступил. Перед ним была та самая красивая женщина, которую заметил он в несчастной экспозиции кружка Ерголышки. Сейчас она была без змеиного грима и без своих тканей цветов Леонардо — в простом темном платье. Белые, чуть пухловатые маленькие руки были тихо сложены, лицо простое. Вместо крылатости подведенных глаз глянули на Кузьму сейчас с детской надеждой, с какой-то непромолвленной просьбой глаза — просто красивые, с большими зрачками.

Странно было, что женщина не двигалась, не говорила. Она только спустилась ступенькой пониже, совсем близко к Кузьме, не спеша вскинула ему обе руки на плечи и поцеловала его в губы. Поцеловала так необыкновенно, как поцеловать может одна долго ждавшая, много обманутая и, наконец, все-таки нашедшая своего любимого женщина.

Перила лестницы, мигающий свет, дверь — все закачалось и на миг поплыло перед Кузьмой. Женщина помедлила, чуть откинулась и прошла в коридор к Ерголышке.

Кузьма влетел в подчердачник, открыл форточку, долго и яростно смотрел на дубль-ве Кассиопеи и вдруг решил, что все до чрезвычайности глупо. Конечно, женщина ждала кого-то другого, в полутьме ошиблась и сейчас чувствует себя как и он.

Всего досаднее Кузьме было на себя самого, когда он понял, что мысль о поцелуе, полученном им по ошибке, была ему неприятна.

III. «БУЙСТВО ЛЮБВИ»

Утром беспокойство за участь Шумко погнало Кузьму к Спасским казармам. Там уже все было в порядке, по-старому: навытяжку стояли часовые, и хотя Кузьма знал всех в лицо и люди знали его, часовой с одеревенелым лицом взял на прицел и крикнул: «Не суйсь — заколю!»

Это был один из ходивших с делегацией к комитетчикам, как раз тот, который тогда с детски расстроенным лицом сказал, что надо ждать, пока сагитируют все войска. И это он твердил с жалобой: «Товарищ Лебедь, как быть?»

Теперь он узнал, как ему быть. Шумко был прав, полк не смог вынести напряжения, не переходя в действие. Уже ночью часть раскаялась и освободила из-под ареста офицеров. А едва офицеры появились, все как зачарованные стали на прежние места. К тому же сбылись и догадки фельдфебеля. Власти спохватились и отпустили немедленно запасных и отслуживших сроки.

— Рота, стро-ой-ся! — командовал офицер. Вразумляющих речей никто не держал. Разговоры в военном мире, за исключением приказов, почитались делом штатским. Командиры с сознанием силы выпячивали грудь, отдавали краткие властные окрики, и по тону их Кузьма понял — солдаты опять плотно вогнаны в твердое расписание дня. Сверхсрочные, научившиеся рассуждать, были спешно отпущены, молодые отвалились сами.

Кузьме увидеть Шумко и думать было нечего, и, расстроенный, он пошел домой. Когда подымался на свою лестницу, мимоходом заметил, что Стеша и один из вчерашних маляров разнимают дракона на составные части. Они долго не могли выдернуть его голову, застрявшую шипами в следующем куске. Рядом с добродушно-ужасным драконом вставала голова Ерголышки, присевшего на корточки, вспомнился и нелепый тот вечер с женщиной в тканях да Винчи и внезапный поцелуй ее на площадке.

«А все-таки глуповато все это», — мелькнуло у Кузьмы и остро кольнуло, что, не поглощаясь с головой своим делом, всё чужие дела подсматривает.

Маляр и Стеша, бережно сложив кусок на кусок, вдвинули дракона в темнушку и прикрыли холстом.

— А ну как крысы сгрызут? — бросил Кузьма.

— А сгрызут, подмалюем, — деловито, как о путной работе, отозвался маляр.

Небрежно продолжая разговор, Кузьма спросил Стешу:

— А кто ж та высокая, что вчера стояла, когда все сидели?

— Да это ж Серафима, племяннница барина.

— Erголышки племянница?

— А не ж, — сказала по-своему Стеша, — фамилье ее только другое. А вам газет куча, чего не берете?

Кузьма взял газеты, пробрался к себе, лег на постель. Их скопилось за несколько дней. Привычные, на вертикали графленые столбцы: на крайнем левом объявлялось о дешевой продаже оставшихся от сезона материй, о том, что вышла новая книжка «Правды» с произведением Семена Юшкевича и почему-то Анатолия Франса — как в сороковых годах писали: Федора Гегеля.

Ответ графа Витте земской депутации тоже сопровождался аккомпанементом объявлений: «сегодня бега», «виноторговля кн. Голицына закрыта», «магазин Select». А в хронике театра, как на прошлой неделе, шли — «Одинокие», «Дядя Ваня», «Дети солнца» и «Чайка».

В следующем номере объявления всё те же, те же хроники и грабежи. Но под охраной вседневности, как под защитным брезентом артиллерийское орудие на фронту, буквами не большими, не меньшими, чем «остатки сезона», некое сообщение: «Петербургский совет рабочих депутатов от командированных делегатов в провинцию получает вести, что всюду, где делегаты побывали, учреждаются местные районные комитеты, немедля входящие в непосредственные сношения с центральным советом в Петербурге». И дальше на следующий день та же история: в крайнем левом столбце, как в вчерашнем: «Остатки у Шанца», а под защитным брезентом «происшествия каждого дня» новое многодюймовое орудие: «Русь», «Сын отечества», «Новая жизнь», «Свободный народ», «Наша жизнь» и «Начало» конфискованы за то, что напечатали манифест объединенных революционных организаций, где предлагается народу не допускать уплаты долгов по займам.

В последней газете была передовица под дерзким заглавием: «Что это? Провокация или безумие?» И разнос

графа Витте за обиду вчерашних газет и возгласы и упреки: «Где свобода печати? Свобода слова?»

На крайнем же левом столбце москвичи бессменно ходили в театр, в театрах шли бессменно «Дядя Ваня», «Чайка» и «Авдотьина жизнь» с Ермоловой.

Анонсировался приезд известного престидижитатора Лео, во фраке, в белом пластроне, в черных зарослях бороды и усов. Под ним «Вестник исследований о сношении с загробным миром» предлагал купить все свои двенадцать книжек за рубль, и, как венец, как символ окончательной незыблемости быта, в обособленной черной рамке:

«Подписка на «Ниву» 1906 года».

Но чем гуще быт, чем неколебимей киты обывательского благополучия, тем тревожней известия из-под брезента:

«...назначено экстренное заседание оставшихся на свободе делегатов. Место в строгой тайне. Слухи: в виду репрессий политических прав общества решено принять меры до всероссийской забастовки включительно и вооруженного восстания...»

О вооруженном восстании говорил весь город. Оно уже стояло в воздухе таким привычным, не называемым, как стоит в поле густой запах лип. Не хватало той, всегда внезапной, сколько бы ее ни ждали, чиркающей спички, от которой фосфорная нитка, окутывающая непременную рождественскую елку, зажженная в одном месте, обегает в мгновение дерево сверху донизу. Было празднично и напряженно до пределов. Уже из последнего говорили и агитировали. Но природа людей, нравоучительный и скупой хозяин, чтобы их привести к мысли, что человечество один организм, все еще дробила на многих дары: один правильно мыслил, другой в действии был быстр, как стрела спущенной тетивы, но, как и она, без направляющей руки сам не ведал, куда ему надо лететь.

Разорванных сил для восстания было довольно, но столковаться они всё еще не могли. Давно собирали деньги, копили оружие, из сугубо штатских людей формировали батальоны.

Боевые дружины боролись с погромами, охраняли митинги и демонстрации, но настоящий, открытый бой все еще казался несбыточен и далек. Но этот первый газет-

ный намек на вооруженное восстание взволновал Кузьму как сигнал, за которым уже неминуемо действие.

Кузьме в дверь постучали. Он открыл. Ерголышко, и тоже с газетой. Его болотные глаза доброй лягушки моргали часто, словно надеялись смигнуть что-то, мешавшее им смотреть.

— Извините, — сказал он, смущаясь, — у меня в доме только женщины, и не от мира сего, так что не с кем, знаете, поделиться...

Ткнув пальцем в столбец, Ерголышко прочел: «На Ильинке и других улицах, прилегающих к Красной площади, в виду каких-то ожидаемых на днях событий, в банках и конторах сооружают оконные и дверные заграждения...»

— Скажите, что же это будет-с?

— Поживем — увидим, что, — сказал неохотно Кузьма.

Увидев, что толку от него не добьешься, Ерголышко замолчал и, глядя блаженными глазами в одну точку, стал покачиваться с носков на пятки, как тогда на площадке вагона. Потом совсем другим тоном, внезапно просияв, сказал Кузьме:

— Ну, а как вам наше вчерашнее?

— Как сказать, не пойму, право, кому оно нужно. Разве что на драконе маляры заработали.

Ерголышко прыснул по-мальчишьи и присел.

— Ну, с вами, батенька, не мне, племяннице моей Серафиме разговаривать. Я, батенька, больно смешлив. А племянницу мою, верно, отметили? Серафима, не Ерголышко, а Гнучева. Фамилия символична — гнет всякое косное вещество в дугу. Впрочем, убедитесь сами. Племянница желает с вами иметь разговор после вчерашнего.

— После чего это вчерашнего? — Кузьма покраснел и рассердился от мысли, что женщина про поцелуй рассказала. И мелькнуло: уж не с его ли благословения инсценировка была?

— Сами знаете, — уклончиво сказал Ерголышко. — Вы всё решительно знаете сами, только паутина у вас на глазах — упрощать вам желательно. За все цап руками и под микроскоп. Однакож разрешите часок драгоценного времени для племянницы.

Кузьма ответить не успел, как Серафима, не стуча даже в дверь, будто опытная актриса, без режиссера знающая свой выход, плавно вошла.

Кузьме показалось: племянница Ерголышки была как лунатик, бродивший всю ночь и еще не пришедший в себя. Хотя она была плотная и большая, но впечатление от замедленности ее движений и особо спокойной тишины было такое, будто она может проходить сквозь стены, двигаться по водам, вообще нарушать законы, которым подвластны прочие люди. И странным двойником, как дракон за ее дядей, возникала с ней рядом та вчерашняя женщина, в драпировках да Винчи, с глазами удлиненными и крылатыми от грима. На самом же деле сейчас, при дневном свете, это была просто приятная баба-ключница (такую видал он в Третьяковской галерее). Глаза были обыкновенные, на совсем русском лице — серые, умные, понимающие. Кузьма подозрительно учел эти новые, спокойно-деловые глаза и насторожился. Отстраняюще сухо сказал:

— Чем могу служить?

— Вы ходить любите? Вот прошлись бы, поговорили, — ответила Серафима с ласкою, минуя сухость обращенного к ней вопроса.

— Ни на ходьбу без цели, ни на разговоры у меня времени нет.

Кузьма указал гостье на стул, сел сам, всем существом обличая, что речь Серафимы он будет слушать лишь по необходимости.

Несмотря на это, она, все так же, не пересекаясь сознанием с собеседником, совсем другая и странно похожая на себя вчерашнюю, стала говорить. Она не торопилась речью, иногда просительно, вроде как Ерголышко, вскидывала глаза, чуть отстраняя небольшой пухлой рукой возможные возражения Кузьмы.

Она говорила о том, что есть люди, которые пылают нетерпением жизнь обыденную преобразить в жизнь прекрасную — но путем иным, чем люди политики.

Прервала себя:

— Я знаю, люди политики говорят, что подобные затеи с жиру... но подумайте, так ли? Если они хотят уравнять всех в правах экономических, мы — в богатстве вну-

треннем, то наши дары — чем они меньше, чем бесполезнее ваших? Одним забота о *коллективе,* другим — о самом *человеке.*

Кузьма посмотрел на часы:

— Мне скоро идти.

Не закрывая крышку, он часы положил пред собой. Опять сел официально, нарочно облегчая Серафимину речь.

Она покраснела, медленно, с усилием сказала:

— Ну как хотите, хоть немедленно забудьте то, что я вам скажу. Но сказать я обязана. Только не думала, что это выйдет так трудно. Долго я не стану... Ну вот, в ком буйство любви...

— Буйство любви? Забавное выражение, — наконец улыбнулся Кузьма. — Откуда это?

— Конечно, Франция, представьте — двенадцатый век, символисты оттуда подхватили. А правда об этом выражении такова: обладать буйством любви — это значит вместо черепашьего шага эволюции, путем своеобразной революции, здесь вот, сейчас, до истечения всяких исторических сроков перековать свою злую природу в природу светлую и вступить с людьми в те легкие, доверчиво-радостные отношения, какие бывают только в детстве. Буйство любви раскует ограниченность!

Серафима говорила то сама себе, как говорит человек от избытка восхищающих чувств, то вдруг, доверчиво пригнувшись, засматривая в глаза, совсем некрасивая, похожая на Ерголышку, по-книжному, торжественно, как некую важнейшую тайну:

— Неравенство, скудость, всякое зло должны быть разрушены не одной революцией политической, а силой воли чистейшей, освобождающей завороженную темной страстью стихию жизни. Пора выйти всем из убожества, пора понять, что чудо Сикстинской мадонны не достояние клерикалов, а самой живой и необходимейшей жизни. Да, вечно живут Беатриче и Гретхен! И, как верующему сквозь догмат, — сквозь символ, рожденный искусством, дается сейчас уже новое, опытное знание. Это знание о том, что одна вечная женственность, пока нужен процесс исторический, способна его удержать. Выньте ее — и все внутренно оскудеет, превратится в бездарный хаос.

— Словом, мировой катаклизм, новый потоп...

— Напротив того: совершенная цивилизация и вместе — безмерная пустота. Подумайте, если выброшены будут из сознания быт, чувства, два животворных символа — Прекрасной Дамы и Девы-Матери... Когда человек плюнет в свое самое прекрасное и чистое, что, допустим, его собственный вымысел, но его же питавший века, когда он плюнет в колодезь, откуда ему надо пить...

Она оборвала, у нее захватило дух, она стояла уже около Кузьмы, схватив его крепко за руку, и, не повышая голоса, внутрь себя, как откровение, как молитву сказала не стихи Соловьева, затрепанные эпигонами, а внезапную вдохновенную импровизацию:

Знайте же, вечная женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.

От Серафиминой манеры говорить просто в строчку, без подчинения стиху и рифме, сказанные слова прозвучали Кузьме как совсем новые. Он только через минуту сообразил, чьи они, рассердился и жестко сказал:

— На меня вам вообще тратиться нечего: признаться, я подобных настроений хочу избежать, меня гораздо больше пленяет противоположение индивидуализму — простота и самозабвение одного ради всех.

— Но революция моральная не только не грозит гибелью декларации прав человека и гражданина — она, наоборот, утверждает их еще более, — так в последней своей книжке пишет богоискатель вашего толка, бывший марксист. Не правда ли? — нежданно с насмешливой остротой сказала Серафима.

— Хорошо, я покорился, дотерплю, — снова улыбнулся Кузьма. — Но времени у меня, право, очень мало, а потому разрешите мне самому назвать тему подоступнее, и попроще, и такую, что каждому на потребу. Ну хоть «о грядущей любви». Раз для новых, лучших условий жизни, по-вашему, нужен и новый человек, то, не правда ли, важнейшее в личной жизни каждого — это с кем он соединен.

Серафима прервала:

— Настоящее соединение совсем невозможно без завершения самого себя. Прежде всего себя найти до конца. От соединений преждевременных хотя бы с несомненной

дополняющей половиной, но еще тоже себя не завершившей, — вся скука, все горе прежнего брака. Но грядущий, изумительный брак, единственно достойный лучшей действительности, которая вам так дорога, — во встрече двух завершенных...

— Когда им стукнет по сту лет? Ведь завершаются люди пред смертью, и то...

Оба расхохотались.

— Ах, нет, — сказала Серафима, — дело все-таки будет раньше. Знайте, выбор окончательно перешел к женщине. Мужчина засорил свое зрение, он от лени, разврата и скепсиса давно научился брать малую дробь вместо целого, он докатился до последней крохи, до «изгибчика» Грушеньки вместо всей Грушеньки, он...

— Да что тут размазывать, дело ясное: мы — сплошь негодяи, вы — Прекрасные Дамы. Однако любопытствую, какова в вашей экспозиции, говоря языком вашего дядюшки, эта пресловутая встреча двух завершенных грядущих?

Не замечая насмешки, Серафима сказала:

— Про нее уж объявлено, но не слышат... Вот, к примеру, хотя бы «Идиота» по-настоящему прочесть.

— Ах, увольте, после целых пудов критики тут нового не придумаешь.

— Будет новое, будет, — даже вскинула руки Серафима. — Повторяю, только понять «Идиота»: это выхождение из себя, испепеление всякой отдельности, отграниченности людей друг от друга... Эти предвидения, прозрения, угадка без слов — разве не дают они новой способности заполняться стихией другого, едва с ним вступаешь в общение? Эта напоенность внутренней сущностью и восхищает и пугает как беззаконное покушение обратить скудную земную эротику в общение несказанное. Словом, великая встреча. Подлинность ее угадал первый князь Мышкин с первого слова Рогожина Настасье Филипповне. Припомните, в тот же день он целует портрет ее, случайно попавший в его руки. Знаменательно: поцелуй еще незнакомой Настасье Филипповне единственный во всем романе. В великой встрече поцелуй дается при узнании.

И, помолчав, она прибавила:

— При узнании одною из сторон другой.

— Однако встреча Мышкина и Настасьи Филипповны, хоть вы ее, чувствую, называете с большой буквы, оказалась катастрофической, — иронически сказал Кузьма, желая подчеркнуть, что тому поцелую на лестнице решающего значения не придает.

— Но почему? — прервала запальчиво Серафима. — Почему? Пора знать, почему.

— Кому пора?

— Вам пора. Из князя Мышкина вынуты — колорит, могучая мужская устремленность, действенная страсть, словом — все качества воли и характера. Эти качества возложены на духовно не рожденного Рогожина. Мышкин же, при всей внутренней свободе, хозяином жизни не делается. Он жизни не лепит, не лепит, — с такой укоризной повторила она, что Кузьма покраснел от досады, что слова эти обращаются прямо к нему.

Невольно обличая свое раздражение, Кузьма сказал:

— Ну, и Настасья-то Филипповна пока что не Прекрасная Дама.

— Вот и отлично, — засмеялась Серафима, — вы не заметили, как сами вошли в суть дела.

Серафима встала и без малейшей игры, которую Кузьма злобно и пристально хотел в ней подметить, произнесла, кланяясь по-бабьи в пояс:

— Ну, простите ж меня, что ошиблась.

— Простить за поцелуй? — с намерением нагловато, подавляя смущение, спросил Кузьма.

— Да, и за поцелуй, — не отвечая на вызов, не подчеркивая, серьезно и просто ответила Серафима и взялась за ручку дверей.

— Постойте, — крикнул Кузьма, — а в дни, когда грянет восстание, вы тоже творить будете новую личную жизнь и дарить наудачу избранников поцелуями?

— Я сестра милосердия и фельдшерица, два года работаю здесь в больнице; а как только будет нужда, выйду работать на улицу.

— Вы фельдшерица! Не может быть!

Серафима так забористо засмеялась, что засмеялся и он.

— Ну, попался, — сказала она, заправляя кончик выбившейся косы из двойного венца, обегавшего голову. — У кого ж это косность? У женщин или у вас? Да вы еще

от Тургенева не ушли. Если женщина на своих ногах, так уж ей быть мужеподобной обезьяной. Уж и косы ей нельзя. Однако вам окончательно пора. — Она скользнула лукавым глазом по открытым часам и вышла.

Кузьма совсем по-мальчишески прыгнул за дверь и ей крикнул вдогонку:

— Нет, коса это хорошо, если такая, как ваша. А вот зачем вы на «экспозиции» рукой помавали, зачем преглупейший дракон и прочая ерунда?

Серафима остановилась, обернулась, расцвела широкой улыбкой.

— Ведь мы еще сами не знаем, как надо, всё пробуем. И знаете: жаль, что вы после дракона ушли. Вы бы увидели, какой замечательный человек дядюшка Ерголышко. Он и советник и общественная совесть, он ведь имущество свое все роздал. Вы бы простили ему маленькую слабость к экспозициям... К тому же, если припомните, слова были все замечательны, все таили огромное содержание. Дайте срок, мы научимся это содержание раскрывать. Сейчас хоть бы только начать. Теоретики умнее нас, но в такой же мере они сухари, а у нас для людей, право же, есть кое-что, а дураками мы казаться не боимся.

Она подошла ближе и, понизив голос, не без лукавства сказала:

— Ну, а у вас не такая же ли детская подготовка, да хотя бы к восстанию? Одни споры о винтовках чего стоят. Знакомый дружинник рассказывал: намедни целую партию прозевали, пока в спорах надсаживались, конспиративны они или нет. Научитесь вы — научимся мы.

— Итак, до союза в завершенном и исправленном виде, — протянул руку Кузьма и чуть задержал небольшую пухлую руку Серафимы. — Но признайтесь, дракон все же преглупо икал.

Смеялись оба и от смеха вдруг сблизились больше, чем от длинного отвлеченного разговора.

— Однако вы опоздаете, — напомнила Серафима.

Кузьма надел пальто и кинулся в казарму.

Смеркалось. Над ларями и площадью стояла мгла. Черными чучелами чернели в ней, как вороны, обсевшие древнюю башню, сапожники с холодной починкой. Рядом с вышедшей ротой, там, где крайним выдавался Шумко,

Кузьма, несколько отступя, как человек из толпы, старался идти в ногу.

Шумко был так бледен, что встречная баба, взглянув на него, воскликнула:

— И куда же это ты, мой родимый, идешь? Гляньте-ка, душенька в нем на отлете.

Шумко услыхал, вспыхнул и, как-то легче ступая с носка на носок, подошел со своей ротой к тому зданию, которое приказано было оцепить. Неизвестно откуда выросла толпа, уже знавшая, что ростовцы присланы разогнать митинг. Переодетые городовые, особенно дубоватые в непривычном штатском, нелепо выдавали себя, то и дело хватаясь за несуществующую на боку кобуру.

А солдаты? Да, те самые, которые намедни предлагали свои пулеметы, сейчас с оцепенелыми лицами жаждали команды. Шеренги продвинулись. Теперь рядом с Кузьмой пришелся тот фельдфебель, с которым он был вместе у комитетчиков. Фельдфебель обернулся, встретился глазами с Кузьмой, узнал его и сказал со злобой и болью, отвечая на безмолвный укор и одновременно поясняя дело себе самому: «Солдат что бык. В одно может целить. Вразброску ему не поднять».

Кузьма не спускал глаз с Шумко. Он знал, что Шумко не может так кончить, как все, и ждал, отделенный от него солдатами и толпой, но всеми чувствами сливаясь с его волей. Он торопил его на что-то в крайнем напряжении сил.

И, как бы повинуясь, Шумко вдруг отделился от ряда серых шинелей, взлетел на бревна и повернулся к ротам лицом. Кузьма облегченно вздохнул. Шумко для чего-то снял шапку, сразу перестал быть военным, стоял рыжеватый, плохо выбритый, чуть-чуть кувшинное рыло. Вдруг во весь голос он крикнул:

— Братцы, вчера еще!..

Безо всякой команды, бешеной злобой заглушили со всех сторон:

— Вчера вчерашние были!

— Не смей с присяги сбивать!

— Чай, не святки, чтоб на качели перелетывать!

— Вчера разум был свой, нынче солдатский!

И кто-то звонко, всех громче, пронзительно как петух:

— Про-ку-ме-кали нашу свободушку!

Среди криков, не задерживаемый никем, подходил офицер. Такой же бледный, как Шумко, он держался за эфес шашки рукой. Не дойдя, заревел: «Ар-ре-сто-вать!»

Шумко обвел солдат ничего не выражающим взором, будто наскоро пересчитал для какой-то цели штыки, взмахнул рукой широко, как скомандовал песенникам, и всадил себе пулю в висок. Обезумевший офицер вскочил на те же бревна, рядом с упавшим телом, и крикнул солдатам: «Пли!» Солдаты, взяв на прицел, дали залп по осажденным участникам митинга, пытавшимся бежать через забор.

IV. «БИРЮЛЬКИ»

Как вода, напирая на плотину, долго глухо ворчит и грозится и вдруг, от небольшого дождя получив нужную для прорыва силу, сорвет плотину и уже помчится без удержу — так стихийно, само собой возникло восстание.

Революционные организации еще действовали под лозунгом накопления сил, а войска уже распадались. Словно частичные извержения вулкана, не нашедшего себе единого пути, бунты вспыхивали то тут, то там, но так же скоро, как вспыхивали, они опадали, и солдатский быт опять прикрывался привычной декорацией казарменного дня. Но обыватель, как и градоначальник, знали: вооруженному восстанию быть.

Наконец с первым декабрьским морозом приехал в Москву видный товарищ с предложением московскому комитету почин взять на себя. Созвали общегородскую конференцию.

Когда Кузьма вошел в зал, он был полон рабочими и делегатами от заводов. У всех, как капустные белые бабочки над лугами, трепетали в руках сотни легких бумажек, поднятых на голосование: «Район такой-то, завод такой-то...»

И стоял гул от криков: «В распоряжение комитета... В бой, сейчас в бой!»

— Куды рветесь? — осаживали старики. — Дружины полтысячи нет, ружей — кот наплакал.

Крыли негодующе:

— Ружей нет — пики выкуем!

Прорывался сквозь гул голос, выкрикивал, срываясь от боли:

— Время упущено, войска не примкнут, не восстание — а-ван-тю-ра.

Какой-то, очень молодой, в блузе, с яркими белыми зубами, вихрастый и злой, проговорил рядом с Кузьмой, обращаясь к приземистому человеку, слова, удивительно выражавшие как раз то, что давно волновало Кузьму, но чему не то что не умел, он не смел найти точное слово. Юноша сказал:

— Будь у комитетчиков не теория, а система, твердая, как тверда сталь, как механизм на заводе, что отсекает «прибылую часть», излишнюю для отливаемой формы, — система бы вынесла. Что отмела, что приняла. Стала бы каждому как скелет. Люди боятся ответа. Ответ был бы снят. Всякий посмел бы — лишь когда выгодно сметь.

Другой голос, захлебываясь от волнения, прервал:

— А сейчас что вышло-то, что? Комитет побоялся кровопролития, прозевал войска, прозевал пулеметы и браунинги. Сейчас зря уложат не одну сотню людей.

Отвечал молодой:

— Ну что ж, пролив много крови, узнают, что надо им знать: или не соваться, или... *ввести кровь в бюджет.*

— Ввести кровь в бюд-жет? Неслыханно... но, впрочем...

— Товарищи! — всех покрыл голосом некто, вспрыгнув на стол и вытягивая, как гусь, шею длинную, с вспухающим адамовым яблоком, — мы требуем немедленных боевых действий!

— Прежде чем объявлять, изложите, где конкретная часть?

— Пока не столковались, объявлять — захват власти.

— Все силы партии отданы агитации, но где же конкретная часть? Где конкретная часть? — настаивала борода с таким видом, будто конкретная часть такая же плотная и осязаемая, как казенная часть у орудия.

— Заводы подняты, а заводам что давать в руки? Куропаткин против японцев — икону, а мы — знамена, голые знамена?

— Созвано междупартийное совещание, чтобы эсеры, крестьянский союз, железнодорожники...

Крепкий приземистый человек, мерно колебля рукой, будто раскачивая язык колокола, ритмически, самозабвенно говорил:

— Бюро комитета заседать будет без пе-ре-ры-ва. Бюро комитета...

Кузьма увидал, как подошел к комитетчику тот бородатый и вдруг выкрикнул:

— Бел-летристика! — покушение с жалкими средствами, а могло б выйти восстание. Вам предлагали пулеметы, вам предлагали оружие. Что сейчас? — Пики самоковки!

Он не мог выразить все, что хотел, и, в отчаянии махнув рукой, выбежал.

К Кузьме подошел другой из комитета, тот, что ярко запомнился, ассиро-вавилонянин с надгробья царей. Подозрительно пронзил сквозь стекла глазами, спросил: «Вы Кузьма Вереда?» Получив ответ, чуть помедлил, потом сказал: «Я по вашему делу получил письмо из Киева, зайдемте поговорим».

У Кузьмы одно волнение перебилось другим. Когда очутились в клетушке, глаз на глаз, срываясь с голоса, он прошептал: «Это от Рута письмо?» — у него промелькнуло, что Пашеньки уже нет в живых.

Человек с черной бородой еще пронзительно глянул и с брезгливой горечью произнес:

— Быть может, и содержание письма вам известно, так что я избавлен от неприятной обязанности его вам приводить? Мы потребуем от вас только ответа: кому именно переданы вами пакеты, оставленные вам на хранение покойным Десницким?

— Тот пакет пропал?.. — Кузьма непритворно и както так неуклюже был потрясен, что комитетчик подумал: «Этот человек не лжет». Он сказал:

— Расскажите, как было дело.

Комитетчик сел на окно, и тотчас на сером небе, заключенном в решетку мелких стекол, вычернел сутулый его силуэт. Кузьма стал рассказывать, как спрятал конверт в пустую печку под кирпичи, как ключ отдал Пашеньке, невесте Десницкого, на глазах Рута, уезжая по его поручению в Москву.

— Вот эта упомянутая вами невеста Десницкого, вместе с Рутом, и обнаружила под кирпичами один пустой конверт, — сказал комитетчик. — А Рут свидетельствует, что тщательная укладка кирпичей и вся ненарушенность окружения перед печкой навели его на мысль, что похищение совершено было сознательно и с тем расчетом, чтобы до срока пакета никто не хватился. Срок же был — день выступления и развития инженерных войск. День гибели Десницкого от умело рассчитанной атаки миргородцев в устроенной ими засаде на базаре. Место засады помог, несомненно, определить точный маршрут восставших, приложенный в числе прочих доверенных вам бумаг в вышеупомянутом конверте. Что же вы скажете в свое оправдание?

— Ничего не скажу, ровно ничего.

Кузьма с ужасом думал о том, что пережила Пашенька, если это похищение сделал дядько́ Вереда. А кому же еще?

— Само время разъяснит это дело, — сказал он комитетчику, — я же готов явиться когда и куда скажете на допрос.

Кузьма, выйдя с конференции, пошел не домой, а далеко за город, за заставу. Шел долго, минуя домишки предместий, поднялся в гору, запутался в каких-то высоких заборах. При луне, большой и тяжелой, низко нависшей над остроконечным дрекольем забора, местность была как рериховская инсценировка древней Руси. И чудились за частоколом старцы-волхвы.

Кузьма пробрался в широкий просвет между досками и невольно шагнул назад: гора в двух шагах обрывалась, и по тому, как нескоро звякнули, разбившись о землю, ледышки, ринувшись из-под ног в глубокий провал, можно было судить о его глубине. Внизу спал город, то тут, то там подмигивая запоздавшими огоньками.

И вдруг впервые, как чувствовал недавно завод перед печью Мартена, Кузьма почувствовал весь этот город живым существом, и таким, за которое он отвечает. Он ведь знал, какими болезнями болен город, какие тайные силы готовятся к взрыву.

Сейчас, стоя над ним, необычным под матовым светом луны, без забивающего мысли шума, он его видел каким-то упрощенным планом, над которым стояли тума-

ном не ночное дыханье земли и воды, а проекция мысли и чаяний населявших его: войск, властей, людей партии, мечтателей, обывателей.

Кузьма чувствовал, не видя глазами, как мерзнут у генерал-губернаторского дома часовые, как в казармах спят мертвым сном солдаты, с тем чтобы, встав с зарей утренней, протянуть до зари вечерней подневольную лямку, — так, войдя в привычный хомут, лишенная выбора, потерявшая зрение, тянет свою бочку убогая водовозка.

Огромные заводы, не смягченные дремой, жестко насторожили свои черные трубы, чтобы по гудку приковать на свое место живого дополнителя машины — рабочего.

Лефортово, с купами старых деревьев, с массивными комодами корпусов, полными детей и юношей, судьбой обреченных стать особой породой людей — военной, и противопоставление военным — штатские или, по-солдатски, «вольные», вихрастые, длинноволосые — пиджаки, рубахи, очки, бороды, — населявшие этажи, чердаки и подвалы больших улиц, переулков и тупиков.

И в ушах встал живой гул конференции и отдельные выклики:

— Разве мы войско? Винтовки держать не умеем.

— И не учись — нет винтовок!

— Пики-самоковки!..

— Авантюра, не восстание!..

А защитники, искушенные книгами, цифрами, отвечные теоретики, громоздили в ответ знакомые абстракции:

— Неотвратимая сила событий диктует сама резолюцию: развитие массовых митингов, вызов стычек между полицией и казаками.

— Вызвав стычки, выдвинуть боевую дружину.

— Способ борьбы подскажет сама борьба.

— Без ружей?

— Заводы наделают железных дубин из прутьев решеток, накуют кинжалы...

И кто-то, сдается — писатель, тряся волосами, сверкая очками, твердит уныло, как дятел, от борта сюртука отводя то правую, то левую руку:

— У них пулемет, у нас — бел-лет-ристика!

Так пережитое на конференции вставало ночью над городом пронзительней и подробней, чем в зале.

И захватила острая боль за погибель огромного дела, которое волею судьбы и на его руках лежало доверчиво, как ребенок. Дело, которое еще на днях можно было защитить, сейчас неминуемо будет растерзано. Боль была большая, и, как всякая боль больше самого человека, причиняя разрывающее страдание, вместе с ним принесла сознанию чувство освобождения, выход из малого круга жизни своей в необъятный круг жизни общей.

Личного оскорбления за подозрение в предательстве Кузьма не чувствовал, думая, что все само объяснится. Удивляло как несообразность, что и Рут мог сомневаться. Впрочем, и это было неважно перед поглощающей мыслью: быть конференции двумя днями раньше, Шумко бы себя не убил и полки с пулеметами и оружием пошли бы не с властями, а против властей!

Не знали, что им сметь, чего не сметь. Вот уложат первых и лучших — узнают: без крови в старину город не строили...

И с кого спрашивать? Умереть все были готовы... Да, умереть, но не *убивать*. И Кузьма назвал последнее, самое главное, что держало его в двоедумцах, чего сам пред собой не хотел он узнать: если стать хозяином жизни, надо уметь убивать просто и расчетливо, как надо для дела. Да, тот молодой, твердый и злой верно сказал: «Как стальной механизм режет сталь, отбрасывая негодную «прибылую часть» за то, что мешает в отливке желаемой формы». Да, ввести кровь в бюджет.

Сталь режет сталь, человек — человека.

Заострились предсмертно обе проблемы: или скупо уйти в свое я и сложность его вырастить в целый мир, или малым винтиком — в готовое, бесспорное целое, нужное всем. Или я — человек, или дробь человечества? Обманывать себя нельзя: *одновременность* несбыточна. Кузьма слишком знал, что никакое *мы* проблемы полновластного, дерзкого *я* не решает, не может решить, а лишь только зачеркивает.

Но сейчас, в том волнении всех чувств, похожем на вдохновение, после которого неизбежен немедленный и живой результат, он не мыслил, он чувствовал мысли и чувством решал: если восстание не удастся, он, как стоявший у судьбы его, еще не испорченной, еще несшей удачу, он за него и ответит. Ведь это он, придя вместе с солда-

тами, рядом стоял с комитетчиками и не смог, не сумел силе их противопоставить свою силу и знание.

Он не защитил.

Шумко не вынес своей слабости и застрелился, он, Кузьма, если вынес, то обязан найти убеждающий всех ответ. Какой ответ? Тот, что подсказан тем, молодым? Систему такой твердости, чтобы ей стать опорою, костяком, архитектурою дела. Систему, в которой кровь введена будет в *бюджет*.

У Кузьмы было чувство как у юноши, над которым посвящающий переломил шпагу и провел ею непроходимую черту между вчерашним отроком и сегодняшним рыцарем. Только сам избрал он себе посвящение. Но отныне знал: вся личная жизнь до последнего пустяка будет строиться в зависимости от этого нового, главного.

Отодрав с силой огромную глыбину снега, промерзшего с камнем и щебнем, Кузьма двинул ее в пропасть, и когда, тяжко вякнув, она вдребезги рассыпалась в глубине, он, усмехнувшись, подумал: «Над прошлым точка».

Уже светало, когда Кузьма подходил к своему дому. На Мещанской улице его принял знакомый быт: суетня вокруг мелких лавчонок, ларей, баб, вышедших с пирогами, уже началась. Окончилась ранняя, и усердные богомольцы раскупали баранки и ставили свечи в часовенке, водруженной усердием окраинных лабазов на самой середине улицы, с луковками куполов такой густой синьки, что от цвета их делалось весело. Как два стража укатанных будней, высились водопроводы красных башен заставы.

Кузьма вошел к себе в подчердачник и как камень упал на постель. Отошли мысли, но тяжкий кошмар овладел его сознанием. Ему чудилось, что он поставлен связанный, как египетская мумия, с долотом в руках перед печью Мартена и надо ему продолбить замазанное глиной отверстие, чтобы выпустить сплав в подставленный к чану желоб. Но ноги его, ноги египетской мумии, ему невозможно раздвинуть и не поспеть отскочить самому. Он бьет молотом, и с каждым ударом он знает, что не успеет отпрыгнуть, что огненный сплав ему брызнет в лицо. И все-таки, повинуясь какой-то силе, не собствен-

ной воле, одна рука держит долото, другая бьет молотом — та-так.

Кузьма вскочил. В дверь настойчиво и уже, верно, долго стучали, и голос Стеши, надрываясь, кричал: «К вам из Киева. У-ставайте!»

Кузьма стремительно вышел. В передней над своим чемоданом стояла Пашенька. Стриженая, похудевшая, похожая на мальчика. От прежнего только серые, от черных ресниц как углем подведенные глаза.

Первое, что сказала Пашенька, не здороваясь, держа Кузьму обеими руками за плечи, привстав на цыпочки, взволнованным шепотом, хотя никого кругом не было:

— На тебе больше нет подозрений! Рут все разъяснил здешним. — И еще тише, со слезами, проступившими на глазах: — А няне и дяде ты, Кузьма, прости, довольно с них и того, что я навеки их покинула.

Взволнованный Кузьма молча смотрел на Пашеньку. Печальным и новым было ее осунувшееся лицо.

— Брат мой, — сказала Пашенька, — у меня, кроме тебя, близких в мире теперь нет никого.

Кузьма Пашеньку ни о чем не расспрашивал. Понемногу она сама рассказала про ближайшее... как уходила, не попращавшись со своими, про Дмитрия, как лежал он между ларями, пока не наскочил пикет подобрать. Хоронить не дали, и могила его неизвестна.

Кузьма был растроган и странно смущен: скажи ему сейчас Пашенька, что готова стать его женой, он уже не был бы счастлив. Чувство к ней стало спокойно и только братское. Оттого ли произошла эта перемена, что Пашенька изменилась, или иная была причина, самому было неясно. Но в Пашеньке уже не было обещанья какой-то богатой и новой жизни. Это ощущенье в нежданной, почти враждебной силе отошло помимо сознания к непонятному облику Серафимы. В легкой усмешке Пашеньки была тишина и одна ушедшая в себя отрешенность.

И она, сразу чувствуя перемену в отношении к ней Кузьмы, печально сказала:

— Ах, не выпрыгнуть мне из себя... То, бывало, казалось — весь мир, ветру навстречу, пройду. А вот легли на сердце двое покинутых и один убитый, и уже нет меня. Теперь и мне за какое бы хорошее дело лечь...

И, вспыхнув, что проговорилась, замяла, перевела речь.

Убитость Пашеньки чувствовалась во всем. Она утром еле вставала, еле жила, и хромало здоровье. Кузьма предложил ей, пока еще можно, перебраться в поселок, в дом покойного доктора к старой Фекле. Пашенька с радостью согласилась и даже оживилась, что ей предстоит забота держать дом наготове, чтобы можно было укрыть в нем того или иного беглеца.

Кузьма провожал Пашеньку к санитарному поезду, который согласился довезти ее до завода. Ехать до дому он с нею не мог, потому что записался в боевую дружину и спешно обучался за городом стрельбе.

Уже попрощавшись, Пашенька вернулась, положила Кузьме на плечи обе свои похудевшие в болезни руки и с какой-то новой, материнской заботой сказала:

— А может быть, и тебе лучше ехать со мной? Прости, я всю правду, как перед смертным часом... Ведь у тебя нет того твердого знания, что тебе надо делать, как было у Дмитрия, ни бесповоротности выбора, как у Рута. Тебе, может, лучше стать доктором, как твой названый мечтал, и мало ли еще для какого нужного дела жить? Брось самолюбие, Кузьма, — пока не знаешь *наверное*, надо гибель свою отложить.

— В таком случае надо так же твердо знать, ради чего отложить, — уклончиво ответил Кузьма.

Кузьме не хотелось говорить Пашеньке о том, что́ он пережил той ночью, стоя над обрывом, накануне ее приезда. Совсем новое чувство жизни, которое он теперь в себе носил, было слишком дорого ему и непередаваемо словами. И еще потому не тянуло говорить с Пашенькой, что ясно видел он: жизнь ее вся в прошлом, а у него только становится на новые рельсы.

Кузьма промолчал и тогда, когда Пашенька поцеловала его долгим прощальным поцелуем, глянула пытливо в глаза, быть может ожидая какого-то особенного слова. Он ушел домой с чувством вины. Но разбираться было некогда, наутро все личные чувства захлестнулись событиями.

Наутро улицы Москвы вдруг ощетинились баррикадами, и с птичьего полета могло показаться, что город сошел с ума, отбросил серьезные дела и пустился играть

в «бирюльки». Сухарева башня одна, облупленная, в бессменных лесах, равнодушно и обычно, как корова, глядела своим глазом-часами на необычную жизнь улиц. Улицы же встали дыбом.

Когда Кузьма читал у Толстого о том, как Пьер Безухов бродил по Москве, ему казалось, что те ощущения и обстановка — неповторимые, отошедшие в рассказ вещи, и бывало досадно, что все интересное уже перешло в литературу, а жизнь вобралась в какой-то заводной механизм. И сейчас не верилось, что пружина сломана, что завод стал.

Но вот Тверская пустынна, провис над городом зловещий, безмолвный день. Не торгуют. Колокольня Страстного монастыря, цвета давленой земляники, всю свою жизнь созывавшая к долгим монастырским службам, обнаружила вдруг коварство: не привычный гул почтенных колоколов укрывала она сегодня — бесовскую трескотню пулеметов. А молодые монашки из келий от долгих служб и слепящих глаза заказных вышивок легкими тенями убежали к проклятым забастовщикам и студентам, строившим баррикады. Это им пронесли монашки, под черной полой облаченья, отварную свежепросольную осетрину. Наваждение, наваждение...

Кузьма таскал вместе со всеми столбы, лестницы, ворота и сани. Было трудно и весело валить вагон конки, и под «дубинушка, ухнем» класть его огромным бегемотом поперек улицы. Отбежав, все, как дети, любовались баррикадою и приискивали, что еще хорошо навалить.

— Бирюльки!

И правда, война началась как игра. Военные власти никто еще объединить не сумел. Всем все было внове, в самый первый раз. И так как тактику приняли партизанскую, — дружинники налетали вдвоем, втроем, впятером. Подстерегали, тайком меняли место — Кузьме вспомнились детские игры — «казаки разбойники» — с заводскими. Он, смеясь, косолапо целил непривычной винтовкой в стоявших на Страстной колокольне наводчиков, он, играючи, следил за исполнением несложных правил: нападать из-за угла, стрелять с крыш, ускользать, утомлять врага непрерывностью нервного напряжения.

— Баррикад не защищать! — командовали дружинники, перебегая с одного тротуара на другой, вызывая

злой азарт у пулеметчиков на колокольне, которые, сообразив, наконец, тактику врагов, всё верней брали прицел и одного по одному, будто с выбором, «сымали» людей, сновавших за грудой «бирюлек».

Вот студент, пригнувшись от натуги, волочит фонарную лестницу; студенту кричат: «Упрел под махиной? Бросай в кучу!»

Студент грохнул с себя лестницу плашмя к баррикаде и только отошел полюбоваться ансамблем, как ловкая пуля жигнула прямо в голову, и вот уж студент на снегу. Распался сам собой рот, сверкнули зубы в фонтане хлещущей красной крови.

В перерывах между залпами и увозкою раненых говорили о последних событиях и ссорились так, будто ссора могла эти события изменить.

— Отчего взяли училище Фидлера?

Эсдеки винили эсеров, зачем они, когда конспирация ослабела, загнали туда боевые дружины. Ядовито отвечали эсеры...

В другом прикрытии, между забором и дверью, похвалялись своими дружинниками невесты и сестры:

— Вообразите, их власть уж престиж! В столовой в их угол так прямо и тычут: дескать, боевая дружина.

— А слыхали намедни курьез? Подошли в угол две классные дамы, и только подумать, что просят: устраните нашу начальницу, только, ах, пожалуйста, без обид!

Кузьма был со всеми, — участник первого боя и в то же время пристальный историк, подчиняясь какому-то подсознанию, он для неведомой еще себе цели отмечал в памяти каждый пустяк.

Сейчас, по просьбе начальника боевой дружины, он с докладом пошел в комитет и, задержавшись в ожидании нужных людей, сел на окно. Из районов то и дело подоспевали делегаты. В бюро, как было объявлено, заседали непрерывно, хотя объединенной власти все еще не было. Кузьма с изумлением отмечал: восставшие еще не понимают, что уже одним тем, что восстали, они стали хозяева. Нет, восстав, люди продолжали бояться ответа, пролития крови, своей совести. Да, *совесть* держала сильнее всего; взбунтовавшись против старого, все еще

в *старом* каждый искал утешения и опоры, и потому действия были не согласованы и случайны.

Уже решив, что убивать можно, спорили до одури, до бессмыслицы, *когда* именно можно и *сколько* можно.

Выполнив данное поручение, Кузьма хотел уже уходить и направиться прямо на Пресню, куда собственно шел с утра, как вошел тот комитетчик, ассиро-вавилонянин, который передавал ему подозрения из-за пропавших на «Фонарике» бумаг. Он первый подошел к Кузьме, протянул руку, крепко пожал ее и сказал, подчеркивая свое доверие:

— Вас мы назначили на Пресню!

Кузьма не поспел задать последних нужных вопросов, как с срочным делом ворвались железнодорожники.

Их лица были красны и безумны, словно они только что кого-то убили. Но вот один заговорил кратко и твердо: страшный смысл его слов поняли все и молчали.

Поняли: вокзал охраняется пустячной командой, а большинство вооруженных солдат спит спокойно в двух вагонах, стоящих на пути.

— Разрешите направить на них, товарищи, груженый поезд... Они разом в лепешку. В ле-пешку.

Говоривший слово со смаком был голубоглазый железнодорожник. Говоря, он ударял короткопалой правой рукой о другую.

— От нас крышка им на пути, а уж вы, боевая дружина, хватите огнем по тем, что от крушения уцелеют.

— Важное дело, чтоб нам, товарищи, одновременно, — подтвердил другой, рябоватый широкий кондуктор и, улыбаясь, прибавил: — И в хвост, значит, и в гриву!

Кузьма застыл на своем окне, ожидая, что скажут комитетчики. В уме стояло: посмеют ли? И еще: если б *посмели*.

Железнодорожники ждали с нетерпеливой уверенностью в одобрении своего плана. Им была совершенно очевидна вся выгода дела и необходимость решения. Но сами они не смели решиться — от прочной привычки, от доверия к новой власти.

Комитетчики мучительно смешались. Молчали. Наконец один с померкшим от волнения лицом сказал через силу:

— С революционной этикой не согласно нападать на солдат, себя еще не проявивших враждебно.

— В белых перчатках революцию делать? — яростно бросил через головы бородатый, он Кузьме показался знаком. Это был тот самый, что на конференции кричал, чтобы ему дали *конкретную* часть взамен конспирации.

В ответ не один, уже все отвечали:

— И революцию надо делать *этично*.

Резолюция комитета была: «Отвергнуть предложение железнодорожников — нападение на сонных солдат».

Кузьма задержался в комитете до ночи. Когда он вышел, улицы были черны. Всего освещения на перекрестках — пламя костров; за ними площади были пусты и нежданно громадны, и казалось опять, что это не явь.

Темнота, безмолвие, где-то дыхание подстерегающих друг друга засад. Не видишь, но чувствуешь: горят глаза, и напряжение многих воль как тугая резина — вот натянется, разорвется, хлестнет криком, бегом, воем. Вот все ближе настигает толпа, шуршат свежесшитые знамена, и чей-то голос, гимназически юный, торжественно цитирует из «Слова о полку» «...земля тутьнеет, реки мутно текуть, стязи глаголють».

Вот перешли площадь, вздохнули облегченно. Над огнями костров распластались знамена. Пронзительный свист резнул воздух, будто хлестнул длинный бич, и сказали, поясняя не знавшим:

— Сиреной дружина призывает дружину.

— Тоже соглашение: свистковое.

Ночью баррикады уже не казались бирюльками. Не видать было, где кончаются многоэтажные нагромождения, и казалось — идут они выше домов. Кострами освещены были только низы баррикад и, твердо очерченные в контурах, торчали вперемежку: извозчичьи сани, ворота, труба. Вокруг костров гурьбою топтались мальчишки и кричали в пространство, дразня языком: «А ну, попади!»

Из тьмы хватил залп. Один словно нарочно, как воробыш, запрыгал на ножке, помахал руками, упал. Дру-

гие ударились врассыпную. Куда-то легко пронеслись драгуны, тяжко прогромыхала артиллерия. Войска забили устья переулков, и, как выстрел, рванул крик: «Пли!»

Бежали.

А спрятавшись за хорошим прикрытием, спорили, спорили: кто за трехлинейные винтовки, кто за браунинг?

И укорял дружинник другого, что из-за каких-то дураков целую партию проворонили. Приставал: конспиративны винтовки или не конспиративны?

Ответа не последовало. На прикрытие наскочил эскадрон. Конский топот, как всплеск волн, яростным валом разбившихся о скалу, вдруг стих. Драгуны спешились, щелкнул залп.

Студент-медик, который собрался защищаться от укоризны дружинника, рванулся подать помощь раненому и сам сел на снег. Вспыхнувшая головешка костра осветила белый, вдруг заалевший сугроб.

— Се-мя гря-ду-щего се-ет...

Как живое существо, подняли голоса слова песни и, держась за нее, ринулись на драгун. Пронзила воздух сирена; ахнуло грозно орудие: гудя и урча, как огромная пьяная птица, пролетел низко снаряд.

Вдруг Кузьма увидал крупную фигуру Серафимы. Она куда-то пробиралась с чемоданчиком, закрываясь от яркого пламени костра.

Раньше чем она отвела свою руку от лица, Кузьма по одной фигуре узнал ее и окликнул. Она улыбнулась своей широкой бабьей улыбкой:

— А я на Пресню, послал Красный Крест.

V. ПРЕСНЯ

Когда наутро Кузьма пересекал Садовую, идя на Пресню, уже все бульвары оплетены были проволокой и ряд за рядом пересечены баррикадами. Казалось, готовилась цирковая скачка с препятствиями для каких-то гигантских неведомых зверей, и всюду толпились любопытные, осматривая следы вчерашних боев.

Странно удивляло, что при необычайности событий лица были всё те же, которые встречались изо дня в день в пассажах, в театрах, на площадях или перед университетом, — студенты, котелки, дамы с большими муфтами. Может быть, все они чувствовали сложные и необыкновенные вещи, но речи их были незначительны и обычны. Вздор этих речей вяз в ушах. Всех громче пищали барышни своим кавалерам:

— Ах, не правда ли, мы вроде как участники недавней панорамы Плевны? Всё будто нарочно, и совсем не ужасно, что пули...

— А по-моему, вовсе не Плевна, а Москва после разграбления французами, и вот мы как Ростовы...

— Только обе враждующие стороны говорят, к сожалению, по-русски.

— Бегите! Драгуны!

Бежали с визгом и смехом до ближайших прикрытий в такой тесной давке, что в переулках люди, как зайцы, прыгали вверх, чтоб размяться. На широкой улице полиция жгла баррикады. Спешившиеся драгуны уже стояли у пламени, растерянные от внезапности нападения, от неуловимости дружинников. Кроме того, листовки проникли и к ним: твердость многих была поколеблена или вовсе разбита. И сейчас могли они, только напившись пьяным-распьянó, брать на прицел.

Кузьма с волнением узнал знакомый отряд боевой дружины, вдруг появившийся из-за бульвара. Несмотря на мороз, все шли в пальто нараспашку, так что похоже было, будто школьники вперемежку высыпали на улицу наспех додраться в снежки. Через минуту веселье дружинников объяснилось. Им удалось, не внушая подозрения полиции, подойти близко к драгунам. Подойдя, они выхватили подвешенные на ремнях подмышкой винчестеры и, разъясняя секрет накинутых враспашку пальто, открыли огонь.

Кузьма разорвал рукав полушубка о проволочные заграждения, ловко миновал оградительную цепь и стал пробираться к Пресне. С невольным волнением он думал, что Серафима уже там.

У Пресни пока было тихо. Все так же на крутой горе стоял древний белый храм с приделами, только купол

и кресты, обычно тускло золотевшие, уходя в дымное от близких фабричных труб небо, сейчас горели как жар.

От паперти по накатанной дорожке, лежа на санках животом, с горы съехал мальчишка. За ним не последовало ничьих больше саней, и сам он не отважился повторить. И первый-то раз, видать, съехал для форсу, побившись на бабки об заклад.

Стоя у церкви, нельзя было и подозревать, что фабрика — вот она тут, сейчас под горой. Крут был подъем и так вдруг обрывался, что санки с мальчиком большим скачком перебросились на отлогий раскат до самого низу, откуда глазела вверх на гору многоочитая, широко застекленная, до четырех этажей возведенная, красного кирпича «мануфактура».

Пресня особый городок в городе. Зоологический со слоном и тигром, с ветвисторогим оленем, летом гуляющим на воле, открывал поселок. Рядом с Зоологическим ширилась улица, ровная и большая, носившая старую кличку — Пресненский мост.

Зелены здесь пруды. Холмы с церквами. Грузины, Провалы, старинный Камер-Коллежский вал.

Зимой крепки льдом пруды и пушисты от снега. Здесь конский бег, любимый купечеством, здесь на горе фабрика необыкновенного фабриканта, на свой счет поднявшего лучшую боевую дружину. Именуют фабриканта рабочие дружески — Николай Павлович.

Здесь Москва-река на закате перламутром и матовой мутью роднится с какой-то итальянской рекой, а огоньки противоположного берега кажутся огоньками кочевья, оттого что на горизонте не видно лесов.

Улицы — узкие кривоулки, дома не коммерческие и не барские, а больше дома «для себя» и тихого квартиранта с канарейкой, с непритязательным бальзаминчиком на окне — провинциальный городок.

И если б не ход событий, а стилист режиссер придумывал бедствия этому мирному царству, то к кисее занавесочек, к соленьям-вареньям, к переливчатому шелку повязок второгильдейских купчих бедствие шло бы стихийное: наводнение, трус или пробег по улицам из клеток сорвавшихся тигров.

Словом, меньше всего шло к этому месту как раз то, что здесь приключилось, — гражданское междоусобие. Но именно его возвещало цоканье пулеметов с стройной кудринской колокольни, годами сзывавшей своим постным звоном на канон св. Андрея Критского соседних бабушек из огромного вдовьего дома, что на площади.

Сейчас в ответ пулемету боевые дружины метнули огонь из засад: крыш, углов, чердаков. Поднялась трескотня. Воробьи без числа, не умея взлетать на тупых мелких крыльях как ласточки, тесной стаей взмывались, и оседали, и снова взмывались, а бабушки, как воробьи, — то с колен, то на колени перед заступницей...

Бабушки вдовьего дома — бедные вдовы чиновников, в коричневых платьях, почтенные, со званием «сердобольных» — носили большие кресты на широких коричневых пелеринах. От жестокого залпа, им попавшего в окна, заползали бабушки к себе под кровать, чихали от пыли и плакали.

Кузьма сообразил, что Серафима должна перевязывать раненых где-нибудь в глубине фабричного поселка, и пошел прямо к столовой. Он изумлялся как чему-то, живущему помимо сознания в его существе, беспричинному чувству радости, с детства забытому, которое им овладело, непрошенное и незваное, при этой мысли.

Идти было по длинной аллее к зданию, так присевшему в глубине, что сразу не найти было дверей, за необыкновенной толчеей. Здесь формировались боевые десятки, отсюда отправлялись в участки раздобыть хоть немного оружия.

Сформированные, шагавшие в ногу, эти штатские сборные люди с винтовками, с походкой вразвалку Кузьме показались кучей охотников-дебютантов, и странно было видеть, что при них нет собак.

В столовой в дальнем углу Кузьма действительно увидал Серафиму. Она ела щи из общей миски с другими сестрами милосердия. Лицо ее было совсем новое, щедрой детской радостью лучились глаза. Она отрывалась от еды, чтобы жадно ловить приносимые вести. Она была пьяна буйной сменой небывалых впечатлений.

— Сестра милосердия, какое счастье! — бессмысленно радовался Кузьма, недоумевая, как случилось, что жен-

щина из «экспозиции с драконом» ему стала такой волнующей. Сердце билось, и, боясь, как бы лицо не выдало его чувств, он сделал вид, что не может пробраться, и остался стоять у дверей. Впрочем, через минуту он был уже непроизвольно задержан на своем посту вбежавшим рабочим, которого сопровождала толпа.

Рабочий с винтовкой совсем вне себя кричал:

— Ну, ей-богу, товарищи, мы у солдат пушку отбили, ей-богу... — Он домахивал слова руками, торопясь рассказать, и все повторял: — Самое, самое пушку отбили! Атаковали у Зоологического, отогнали их, чертей... они и бросили.

Зашумели:

— Ужель пушку? Без прикрытия?

— Прикрытие утекло-о, — визганул женский голос.

— А пушка-то где?

— То-то, что нету... вдруг опомнившись и только сейчас дойдя мыслью до того, что было после краткого торжества, сказал понуро рабочий.

— Уж и так мы ее, уж и этак — нипочем не стреляет. Черт ее зарядит, мы не обучены. Думали на себе укатить, ведь обида бросать пушку-то? Пружились, дергали, мать честна, — уперлась, что вдовая. Так завозились, чуть с ею не влипли. Солдаты дело смекнули, обернулись.

— Ну и что?

— Ну и снова отбили ее, пушку-то.

— Э-эх, горе-артиллерия!

Теперь Серафима увидала Кузьму. Быстро подошла и, не скрывая радости, сказала, беря крепко за руку:

— Сейчас у нас тихо, пройдемтесь...

Они закоулками, пригибаясь от пуль, держась стен и заборов, вошли в сад фабрики Николая Павловича. Сверканием снега, синим небом над ним и яркою новою стройкой — фабрика была как картина, модная в ту зиму на выставке.

Трескотня ружей умолкла. То ли шло новое подкрепление, то ли иное раздумье нашло — но из города не стреляли, из Пресни не отвечали.

Молчали и Кузьма с Серафимой, смотрели друг другу в глаза: было очень серьезно. Оба знали, что берут навсегда в свою жизнь этот вот миг затишья в неравной

борьбе, этот снег, это небо, крепкий яблонный воздух. Еще знали, что хотя видятся всего третий раз, но уже угадали, уже верят, что они, может, враждебные, но так же необходимые один другому, как радость, чтоб жить. И то, что встретились здесь, за общим делом, сразу выжгло все, что их разделяло, что еще недавно всякое сближение делало невозможным. Сейчас невозможное, как по волшебству, стало свершившимся.

— А где ваш дядя? — спросил, улыбаясь, Кузьма, вспомнив пучеглазого, необыкновенного Ерголышку.

— Дядя с двумя малярами и другими «пахарями» — братом милосердия в Замоскворечье. А вы говорили...

— Я говорил, что дядя чудесный человек. Он пленил меня... еще когда позировал на дракона. Бедняга дракон — в темнушке без экспозиций, — небось крысы проели.

Засмеялись. Вдруг, не сговариваясь, взялись за руки и что духу сбежали вниз с горки, с разбегу въехав в сугроб. Вышли седые, румяные. Кузьма снял шапку и стал обивать снег с Серафиминой кофточки.

Внезапно, крадучись, чуть причавкивая, зацокали пулеметы, сначала дальние, потом ближе, потом самые ближние.

Кузьма вымолвил:

— Вам на перевязку, мне — рыть окопы.

Минуту помедлили, оглянулись, чтобы запомнить на всю жизнь до самой смерти то место, где испытали предчувствие большой любви, которое больше, лучше, чище самой любви. Потом стремглав, через закоулки, сливаясь с заборами и стенами, пробежали в столовую.

Окруженные со всех сторон, без орудия, накануне гибели, под грохот атаки, обреченные слушали спешные лекции по окопному делу. И как в религиозно-философских или иных поощряемых собраниях, и тут какие-то чудаки чиркали карандашами в блокноте. Однако рыть окопы все-таки не пришлось, — промерзшую землю лопаты не взяли.

За один день вставшие дыбом баррикады обратили Пресню в крепость, но сообщение с городом в ней не прекращалось. Горбатый мост, небольшой и открытый, соединял две улицы. Около моста находилась калитка,

через которую попадали в город. Сейчас из города шли недобрые вести о том, что баррикады разрушаются, что остыл у горожан пыл водружать за ночь новые, как было в первые дни. Войска побеждали, город сразу изнемог, едва пришла весть, что Петербург не поддержит. За последний день в колебавшихся батальонах окончательно восстановлена дисциплина, и солдаты, решив, что они просто были обмануты, готовились с яростью «усмирять». По Николаевской, не бастовавшей, дороге ехал лейб-гвардии Семеновский полк.

В эти полные, тугие, незабываемые дни Кузьма встретился на Пресне с Рутом. Это было в промежутках бомбардировок, когда оба наспех перехватывали горячий чай в столовой. Неожиданно Рут обрадовался, вспыхнули легким румянцем театрально бледные щеки. Он тоже был не тот, а какой-то новый. Охваченный раскрывшимся человеческим общением, Рут сказал Кузьме:

— Я хочу с вами поговорить, пройдемтесь.

Он вел сношения с городом, что было крайне ответственным делом. Выйдя из столовой, они пошли вместе, обходя опасные дозоры.

Опять оба в безлюдье, под морозным небом, как месяц назад. Люди, почти не говорившие друг с другом, чужие по складу и вместе с тем связанные особым пересечением судьбы.

— Не правда ли, — улыбнулся Рут, — мы с вами могли бы один другого убить или, напротив того, быть убитым друг за друга, но не проводить долгие годы, чтобы бриться у того же парикмахера, брать друг у друга взаймы, взаимно дружески клеветать?

Кузьма сказал:

— Да, второй раз мы с вами, Абрам Рут, перед смертельной опасностью смотрим на эту луну и через близких людей породнены самой жизнью. Но скажите мне: почему вы не воспринимаете меня, как я вас? Ведь в какое бы несчастное стечение обстоятельств вы ни попали — я дам голову на отсечение, что вы предателем быть не можете, хотя видал вас столько же, сколько вы меня? А вот вы так легко меня обвинили!

— Мне представили обвиняющие вас факты, и, по моим убеждениям, я был должен с ними считаться. Сам же я про вас не подумал ни минуты.

— Однако сюда дали знать?

Рут стал прежний, непроницаемо обособленный:

— Говорю вам, мне *представили факты,* и я должен был только с ними считаться.

— Сколько бы ваше личное впечатление с этими фактами ни расходилось?

— Я личными впечатлениями пренебрегаю всегда.

И, улыбнувшись опять нежданной, нежнейшей улыбкой, Рут, протягивая руку, сказал Кузьме:

— Но ведь это только для дела, для себя же...

Кузьма перебил:

— И дело не механизм. Я узнал здесь, на Пресне, такое... словом, если до сих пор я мучился от своего, как определили вы, двоедумства, то сейчас, здесь, я исцелен. Здесь, когда мы, окруженные войсками, обреченные, можем жить такой изумительной жизнью, нельзя не поверить и я верю, что может быть такая полнота содержания, которая, как вера, движет горами. И вот нужно идти только к ней. Полнота — разрешение всякого дуализма: личности, общества, теории, практики. Смотрите: естественно, любовно, сама собой возникла у нас иерархия, выделились начальники, судья, словом — явилось все то, чего не могло быть, пока теоретизировали, а не жили.

— Вы упускаете здесь одно, — возразил Рут: все охвачены здесь сознанием кратковременности изумительной нашей республики. На несколько дней у кого не хватит величия и характера. Но практик знает и то: едва закрепит сегодняшнее управление суд и быт, те же люди начнут есть друг друга. Пресненская идиллия подобна роскошным по раскраске однодневкам, мотылькам, муравьи же окраской много скромнее. А государству, без которого устроение жизни до времени невозможно, муравьи ближе мотыльков.

Рут вдруг оборвал, опять улыбнулся, сказал:

— Оставим слова, времени мало, заберем поглубже необычайный опыт этих дней. Только один вопрос... — краснея и с усилием Рут спросил: — Где сестра ваша Пашенька?

Кузьма ужасно обрадовался, что вдруг Рут, как обыкновенный человек, может краснеть и обнаруживать свое увлечение.

— Она в заводском поселке, в моем доме. Когда все уляжется, милости просим. Она будет вам рада...

Рут померк. Он глянул на Кузьму с гневом, который вмиг напомнил тому лекцию Вюсте в клубе автомобилистов.

— Вы ошиблись, — сказал он, — и ради будущего лучше отрезать сразу: сколь бы мне женщина ни была дорога, я должен и работать и умирать один.

— Вы должны быть прежде всего полным человеком, чтобы делать свое дело, — прервал Кузьма.

— Есть люди, которые именно для своего дела должны себя опустошить — дело само их заполнит. И еще вот: никто не смеет касаться сокровенного решения воли и подсекать уже одним соблазном пересмотра чужой отказ от личности. Ведь это значит самую стихию жизни делать объектом наблюдений, ведь... это преступнее, чем убить.

Кузьма хотел спросить Рута, не эта ли именно мысль вызвала в нем тогда гнев на Вюсте — за то, что тот не мог, ища в «истинах» — Истину, щадить какую бы то ни было стихию. Но Рута отозвали, а больше говорить им вообще не пришлось. Стало не до разговоров и каких бы то ни было личных дел. Все кипели в котле. Дни налились тугие, заполненные неслыханным делом — вдохновением, похожим на одно непрерывное открытие Робинзона.

То надо было готовить боевые десятки к выступлению, то создавать план обороны из противоречивых сведений, приходивших через лазейку у Горбатого моста, то разрешать задачи стратега, без контроля, без точки опоры, на один свой страх посылать на успех и на гибель. Но ответственность множила силы.

— Солдаты у ворот!

Прятали в подвалы женщин и детей, а сами с винтовками, с пиками, палками, с чем попало, неслись на защиту.

И вдруг жестокое, древнее торжество: вражеский конный разъезд сам попался в ловушку. Вместо атаки — крик ужаса, храп коней, увязших в проволочном заграждении, хитро протянутом вровень с землей. Едва выбравшись, пятная путь кровью, бешено настегивая раненых лошадей, умчался разъезд.

Но было и так: перед баррикадами у Зоологического казаки дрогнули и медлили стрелять. Кузьма близко видел их красные, словно пьяные лица. Но по глазам увидал: нет, не пьяны. В глазах была мысль, была мука и еще что-то... Он знал, что: готовность, если мука продлится, внезапно ее не вынести, освирепеть и палить без огляда.

«Как ростовцы...» — пронеслось в голове, и вся кровь зажглась тоже до зверства желанием — не дать!

Кузьма вскочил на баррикаду, гремя, руша и сбросив кому-то винтовку. Держась обеими руками, лез все выше до верха. Оттуда стал говорить казакам, что в рабочих, в братьев, в таких же своих родных людей, стрелять невозможно.

Кузьма был безоружен, говорил ясно, просто, громко. Говорил слова того стремительного захвата, от которых нельзя не дрогнуть в ответ. А дрогнуть — отступить.

И казаки отступили. Один за другим рванули коней, и каждый, скрывая волненье под насупленной бровью, отъехал гордо, как горец.

Кузьму сдернули с баррикады, протащили в прикрытие. И во-время: враждебный сигнальщик, в злобе на промах кому-то, махнул — чавкнули с двух сторон пулеметы.

В этой предельной сгущенности жизни было богатство от сближения замысла и результатов, потому что действительность стала тем чудом факира, когда зерно через минуту посадки дает вдруг и цвет и плод. Разнообразие применений энергии, воли, ума порождало гениальность — и, как брошенные в воду не умеющие плавать под угрозою утонуть — люди плыли.

В приземистой столовой шло непрестанное движение, толклась толчея. С постов приходили, уходили, спорили, отстаивая маузеры против револьверов, передавали дежурным оружие. Дежурные шли к мостам, на секретные посты, на вышку, на гору близ Москвы-реки. Возник собственный суд, своя необходимая иерархия, во главе которой стал неутомимейший из организаторов.

И все-таки к концу недели наступило утомление. Нечеловеческую энергию подрезало сомнение в целесообразности дальнейшего сопротивления. К войскам подошло петербургское подкрепление. Дубасов замыслил реши-

тельный удар. Силы упали, патронов не было. Поддержки никакой — гибель неминуема.

И все-таки Пресня, в кольце пожаров и враждебных войск, даже последние эти дни прожила сказочной жизнью.

Несколько улиц, несколько сот вооруженных обывателей — стали семьей. Пали раздоры. Общее дело обсуждали эсеры, эсдеки, беспартийные...

В эту неделю на окраине Москвы с обыкновенными домами, обывателем, дорожившим периной и пирогами, и кучкой революционеров, давно не имевших приюта и паспорта, предвосхищены были отношения людей в том далеком золотом веке, о котором мечтал только автор утопий.

Пали будни. Раздвинулись рамки личного: огромное дело легло на руки как дитя, не забитое мелочью и компромиссом. Дело стало волей и выполнением, служением и экстазом. Не разорванное, не расчлененное в частях дня, оно было как безумный полет по степи, когда, слившись с конем в единое существо, мчится с ним всадник в синеве и просторе без края.

Не выражаемая словами, по всем тупикам, кривоулкам, домам — прошла молниеносная работа, не мысли — всего существа. Средостение пало, пали неравенства. Сожитие обывателей сменила коммуна утопических чаяний. Как по щучьему велению, взамен вытряхнутого, старого, вступило содержание новое, — нет, вступила сама новая жизнь. И Кузьма увидел воочию: одной жизни дана власть гармоническим сложением сил создавать новую реальность. Так гению организующим прозрением из векового кропотливого и разрозненного труда дано совершать открытия.

Вокруг многоочитой, красно-кирпичной «мануфактуры» шел бой. Под солнцем стояла она как залитая яркой кровью. А к полудню войска навели орудия на спальни рабочих. От первого снаряда звенящим водопадом просыпались стекла. Люди кинулись в подвалы, где тотчас изнемогли от нестерпимой жары парового отопления.

Кузьма не однажды отметил крупную фигуру Серафимы, которая по-бабьи, коромысло с ведрами через плечо, носила укрывшимся пить в подвал. Сам же он заодно с уцелевшими дружинниками, забрав последние

патроны, метался то на разведку за Пресненскую заставу, к Камерколлежскому валу, то, взяв «пяток», шагал к Пресненскому мосту.

Сгоревшее здание, как декорацию, держали на черных обугленных столбах арки, легкие мосты уцелевших балок, переплеты окон. Над головой в несметном количестве, как деловые пчелы, жужжали пули. Наконец последние патроны вышли, и винтовки в руках дружинников стали безвредными палками. Стемнело. Пламя пожаров ночью сделалось злым и багровым, и на фоне его обугленными призраками сновали в смятении рабочие.

Обессиленные, обезоруженные люди замерли. Само дыханье, казалось, у них было обобрано и кем-то брошено в пасть орудий. Эти орудия, яростно охнув, послали снаряды в деревянный корпус мануфактуры, и ответным им вздохом легко рухнул на землю весь кружевной остов арок, переплетов, стропил.

Вражеская артиллерия уже стояла на Горбатом мосту.

Эту последнюю ночь никто не мог спать. Ее провели вместе, говорили, молчали, братались. Каждый стал каждому ближе кровных.

Когда на рассвете Кузьма собрался на последний обход, его догнала Серафима, окликнула, сказала:

— Хочу вместе.

В глазах ее было такое древнее, бабье такое любовное беспокойство, что Кузьма взял ее за руку и, уже не защищаясь от нее, повторил:

— Да, будем вместе.

Из столовой с последнего заседания вышел генштаб, все еще продолжая спорить, хотя большинством постановлено было: ликвидировать дело и всем искать на свой страх выхода. Пламя, в сером жидком рассвете, стало переходить в гигантские черные дымовые перья. Едкая гарь отравила воздух, и рабочие машинально, одними сухими губами, посеревшие от нечеловеческого напряжения всех чувств, словно заклинания или молитву перечисляли названия материалов, горевших на складах: смола, гарпиус, канифоль...

К Кузьме и Серафиме подошел Рут, сказал:

— В генштабе мнения разделились. Меньшинство осталось при том, что ликвидировать нельзя, пока не за-

метены следы и рабочие не стали на работу. Но это глупость, это романтика. Ради будущего надо спасаться.

— Что может быть лучшего, чем здесь было? Что прекрасней того, что здесь узнано? После этого хоть умереть...

— После этого и жить, — сказал Рут.

Подошли дружинники с известием, что есть нежданный свободный проход. Все вместе, через заборы переулков и Среднюю Пресню, направились в город.

1927

СОДЕРЖАНИЕ

Ольга Дмитриевна
ФОРШ
Собр. сочинений, т. 1

Редактор Р. Софронова
Художник Л. Хижинский
Художественный редактор
А. Гайденков
Технический редактор
Л. Чалова
Корректор В. Левищев

Сдано в набор 30/I 1956 г. Подписано к печати 30/V 1956 г. М-30406. Тираж 75000 экз. Бумага 84×108 1/32—печ. л. 37,5. Усл. печ. л. 30,75. Учетно-изд. 31,11+ +1 вкл. 31,15 листов. Заказ № 828. Цена 11 р.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 2-я типография «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.